Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ 7

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.



История простой души

КНИГА I

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ГЛАВА I

ЛАВЧОНКА В НЬЮ-РОМНЕЙ

1

Пока Киппс не стал совсем взрослым, он не знал, почему у него нет отца с матерью, как у всех мальчиков, а только дядя с тетей. Он едва помнил какое-то иное место, темную комнату, за окном белые дома и женщину, которая разговаривала с кем-то, кого он позабыл, и эта женщина была его мать. Он смутно представлял ее лицо, зато в памяти очень ясно сохранилось белое платье в цветочках и бантиках, подпоясанное жестким кушаком из полосатой ленты. На эти воспоминания неизменно наплывали иные, еще более смутные: кто-то плачет, плачет, и сам он тоже — неведомо почему — начинает плакать. И тут же какой-то мужчина, высоченный и громогласный; и каждый раз после этих слез или до них они, все трое, куда-то едут в поезде, и он подолгу смотрит в окно.

Он знал, хотя едва ли ему об этом когда-нибудь говорили, что задумчивое лицо на выцветшем дагерротипе в плюшевой с золотом рамке над камином в так называемой гостиной — лицо его матери. Но его туманные воспоминания не становились от этого яснее. С фотографии на него глядела молоденькая девушка — она облокотилась на перила и смотрела испуганно и застенчиво, как всегда бывает, когда позируешь. У нее были вьющиеся волосы и совсем юное миловидное лицо — матери такими не бывают. Широкополая шляпа с цветами висела на руке; послушно и напряженно она смотре-

ла на фотографа, видимо, объяснявшего, как ей лучше встать. Хорошенькая и хрупкая, она была совсем иная, чем та, что являлась ему в смутных воспоминаниях, хотя разницу он не мог бы определить. Может быть, все дело в том, что та была старше, или не такая испуганная, или просто по-другому одета...

Ясно только одно: однажды она препоручила его тете и дяде в Нью-Ромней вместе с подробными наставлениями и некоторой суммой денег. Видимо, она не лишена была сословного чувства, сыгравшего впоследствии столь важную роль в жизни Киппса. Она позаботилась, чтобы его отдали не в обыкновенную начальную школу для простонародья, а в частный пансион в Гастингсе — своего рода академию среднего сословия, с особыми головными уборами и некоторыми иными атрибутами привилегированного учебного заведения, к тому же весьма недорогого. Казалось, она жаждала сделать для Киппса все, что в ее силах, даже ценой кое-каких жертв, словно он был из какого-то иного, лучшего теста. Первые годдва после его поступления в пансион она изредка присылала ему денег на карманные расходы. Но лица ее в ту пору он так и не мог вспомнить.

Попал он к дяде и тете, когда они были уже очень немолоды. Они поженились, когда день их жизни клонился к закату или по крайней мере когда полдень был уже далеко позади. Поначалу они лишь неясно проступали на заднем плане его мира, простого мира вещей видимых и осязаемых: стульев и столов, служивших ему и конем и коляской, лестничных перил, кухонных табуретов, шкафчиков, поленьев для камина; были здесь и чайник, и кипы старых газет, и кот, и Главная улица, и задний двор, и поле, до которого в таких маленьких городках рукой подать. Каждый камень на заднем дворе, мшистую стену с плетями вьюнка в углу и мусорный ящик он знал куда лучше, чем иной муж знает лицо своей жены. Укромный уголок под гладильной доской, где в дни, когда судьба была милостива, он с помощью шали сооружал конурку, которая долго оставалась для него центром вселенной; протертые чуть не до дыр местечки на ковре, сучки в стенке кухонного шкафа, лоскутный коврик перед камином — рукоделие дяди —

все это наложило глубокий отпечаток на душу мальчика. Лавку он знал хуже: сюда ему ходить запрещалось; однако и с ней он ухитрился познакомиться довольно хорошо.

Дядя и тетя были, так сказать, главными богами этого мирка и, как боги в старину, время от времени наводили в нем порядок рукой деспотичной и карающей несоразмерно с проступками. Увы, за каждой трапезой приходилось подниматься на их олимпийские высоты. Надо было прочесть молитву, ложку и вилку держать, «как принято», то есть наиболее неудобным образом, и даже самое вкусное есть «не слишком поспешно». Стоило только чуть приналечь на еду — и сразу же неприятностей не оберешься; стоило как-нибудь не так взять нож, вилку или ложку — и он тут же получал по рукам от тетки, хотя сам дядя всегда подбирал подливку ножом. А подчас и дядя вдруг выходил из оцепенения и, поднявшись со стула, вынимал трубку изо рта и кричал на погруженного в какое-нибудь невинное занятие мальчишку:

— Пропади ты пропадом, негодник! Ты что это делаешь?

Бывало, только заведет Киппс интересный разговор с мальчишками, которые бог весть почему считались «низкого звания» и «неподходящей компанией», как в дверях или в окне появляется тетя и велит ему идти домой. Всякие звуки, даже самые приятные: тихонько побарабанишь по чайному подносу, протрубишь в кулак, или свистнешь в ключ, или зазвонишь, как в колокол, в пустое ведро,— вызывали гнев богов. По оконному стеклу и то пальцем не води, а кажется, что́ может быть тише! Случалось, правда, те же боги пробуждали в нем и теплые чувства: они приносили ему из лавки поломанные игрушки, ибо среди многого другого в лавке торговали игрушками. Вообще-то лавчонка тщилась быть магазином фарфоровых изделий, о чем сообщала вывеска, но на полках ее приютились еще и книги, которые выдавались для чтения и продавались по дешевке, и открытки с видами местных достопримечательностей; тут были и канцелярские товары, и стыдливо выглядывала кое-какая галантерея, а в окнах и по углам виднелись коврики, терракотовые блюда, складные стулья для

художников, и две-три рамы для картин, и каминные экраны, и рыболовные снасти, и духовые ружья, и купальные костюмы, и палатки — чего там только не было! И, конечно, мальчишке — от горшка два вершка — нестерпимо хотелось все это потрогать. Однажды тетя дала ему подержать трубу, взяв с него слово, что он не станет в нее трубить, а потом все равно отобрала. А по воскресеньям тетя заставляла его твердить катехизис и какую-нибудь молитву.

Дядя с тетей старели, а он подрастал, не замечая, как они меняются, и, когда уже юношей он наконец пригляделся к ним внимательно, ему стало казаться, что такими они и были всю жизнь: тетушка — тощая, всегда озабоченная, со сбившимся набок чепцом, дядя — солидный, со множеством подбородков, и вечно у него которая-нибудь пуговица не застегнута. Они ни у кого не бывали, и к ним никто не ходил. К соседям и вообще ко всем чужим они относились недоверчиво, сторонясь людей «низкого звания» и презирая «выскочек», а потому, как и положено истинным англичанам, «жили сами по себе». Вполне понятно, что у Киппса-младшего не было товарищей, кроме тех, с кем он подружился, лишь совершив грех неповиновения. А он от природы был человек общительный. Проходя по Главной улице, он непременно здоровался со всеми встречными велосипедистами, а при встрече с юными Куодлингами, стоило няне отвернуться, показывал им язык. Он завел дружбу с Сидом Порником, сыном соседа-галантерейщика, и дружбе этой, правда, с долгими перерывами, суждено было сохраниться на всю жизнь.

Скажу сразу: по мнению Киппса-старшего, галантерейщик Порник был круглый дурак; трезвенник, крикливый методист, вечно распевающий псалмы о том, как он приблизится к господу, и, насколько мог судить Киппс-младший, ни он сам, ни его домочадцы не отвечали вкусам истых Киппсов, не были достойны их просвещенного общества. Порник в самом деле обладал мощным басом и когда кричал на весь дом: «Эй, Энн, Сиди!» — то безмерно раздражал Киппса-старшего. Впрочем, Киппса-старшего раздражало в нем все: и воскресные богослужения, когда он со всей семьей распевал дома псалмы, и страсть разводить в саду шампиньоны, и то, что с пилястрой, разделявшей их лавки, он обходился как

с общей собственностью, и то, что он стучал молотком после обеда, когда Киппс-старший жаждал покоя и отдохновения, и то, как он топал в тяжелых башмаках вверх и вниз по лестнице, не застланной ковром, и то, что у него черная борода, и его попытки завязать добрососедские отношения, и... Да что говорить, решительно все в нем раздражало Киппса-старшего. И больше всего коврик перед входом в лавку Порника. Киппс-старший никогда не выбивал свой коврик, предпочитая не трогать его, чтобы не поднимать пыль. Пытаясь оправдать свое нелепое поведение, он утверждал, будто Порник принимается выбивать свой коврик как раз тогда, когда ветер дует в сторону лавки соседа, и вся пыль летит в дверь к нему, Киппсу! Эти разногласия нередко приводили к громким, яростным перебранкам, а однажды чуть было не кончились дракой, о чем впоследствии Порник, регулярно читавший газету, говорил как о «скандальном происшествии». Надо сказать, что в тот раз он с удивительным проворством скрылся в своей лавке.

Но именно такая ссора и положила начало дружбе Киппса-младшего и Сида. Однажды мальчики сошлись у ворот; оба не спускали глаз с докторовых коз; поговорили и разошлись во взглядах, какая коза сильнее; Киппс не удержался от замечания, что отец Сида — «круглый дурак». Сид сказал, ничего подобного. Киппс стоял на своем и сослался на авторитетное мнение дядюшки. Тогда Сид, ни с того, ни с сего угрожающе отклонясь от темы, заявил, что может побороть Киппса одной рукой; Киппс опроверг это утверждение, хотя, признаться, не очень-то уверенно. Сид сказал, а вот увидишь, Киппс ответил, как бы не так; на этом дело, вероятно, и кончилось бы, но, к счастью, их спор услыхал предприимчивый сын мясника и настоял на состязании. Он так раззадорил их, что наконец оба застегнулись на все пуговицы, стали лицом к лицу, и началась весьма поучительная битва—закончилась она вничью, когда сын мясника вспомнил, что пора уже отнести миссис Холиер баранину. Следуя указаниям этого турнирного знатока, они пожали друг другу руки в знак примирения. Потом с подозрительно блестящими глазами, закрасневшись от его похвалы («Молодцы, малявки!») и следуя дальней-

шим советам, они приложили к своим шеям по холодному камню, уселись рядышком на докторских воротах и стали вспоминать славную битву и зализывать почетные раны, выказывая при этом друг другу всяческое уважение. У обоих шла кровь из носу, у обоих был подбит глаз, и синяк целых три дня одинаково переливался всеми цветами радуги; но ни один не сдался, и, хотя вслух об этом не было сказано ни слова, ни один не стремился к новым сражениям.

Лучшего начала не придумаешь. После этой первой стычки они уже больше никогда не обсуждали друг с другом характеры взрослых родичей и собственные воинские качества, а если им чего и недоставало для полного согласия, они обрели его в совместной нелюбви к старшему отпрыску Куодлингов. Он шепелявил, носил какую-то нелепую соломенную шляпу, и его толстая румяная физиономия так и лучилась самодовольством, он учился в городской школе и носил ранец зеленого сукна — ну что может быть глупее! Они по-всякому обзывали его, кидали в него камнями, а когда он начинал грозить им («Шмотри, Арт Киппш, лучше перештань!»), кидались на него и обращали в бегство.

А потом они разбили голову кукле Энн Порник, и девчонка с громким ревом убежала домой — скверная история, которая, однако, лишь больше сблизила их. Сида выдрали, но он уверял, что ничего и не почувствовал, так как очень ловко подложил куда надо газет. А когда Киппс шел мимо лавки, миссис Порник вдруг выглянула из дверей и пригрозила, что и ему влетит по первое число.

2

«Академия Кевендиша», школа, которую избрала для Киппса его исчезнувшая мать (на другую, получше, у нее не хватало денег), помещалась в частном, видавшем виды доме в наиболее удаленной от моря части Гастингса; она называлась академией для юных джентльменов; родители же многих юных джентльменов жили где-то в «Индии» и иных краях, столь далеких, что проверить это было бы нелегко. Остальные были сыновьями легковерных вдов, жаждавших, как и мать Киппса, чтобы их дети получили образование хоть чуточку по-

лучше обычного, общедоступного, и при этом за самую низкую плату; кое-кого родители и опекуны посылали сюда, чтобы доказать всему свету свое превосходство над простыми смертными. Ну, и, разумеется, там были юные французы.

Глава академии — тощий, долговязый, желчный господин, страдавший несварением желудка,— прозывался Джорджем Гарденом Вудро и состоял членом Фарадеевского общества, как гласили золотые буквы на доске, украшавшей фасад, но это лишь означало, что он уплатил некую сумму за поддельный диплом. Классная комната помещалась в унылом, выбеленном известкой флигеле, о назначении ее свидетельствовали ветхие, изрезанные ножами учеников парты и скамьи, а также вовсе уж не пригодная доска, на которой совсем не видно было мела, когда пишешь, и две пожелтевшие от старости, допотопные карты — Африки и графства Уилтшир,— купленные по дешевке на какой-то распродаже. В кабинете, где мистер Вудро принимал родителей и отвечал на их вопросы, были и другие карты и даже глобусы, но ученики никогда их и в глаза не видели. А в стеклянном шкафу в коридоре хранилось несколько грошовых пробирок, кое-какие химикаты, треножник, стеклянная реторта и испорченная бунзеновская горелка, свидетельствующие о том, что «научная лаборатория», указанная в проспекте, не пустые слова.

Этот проспект, составленный в выражениях высокопарных, но не слишком грамотных, особенно подчеркивал, что академия дает серьезную подготовку к коммерческой деятельности, но, как можно было заключить по одной весьма хитрой фразе, не исключает и службу в армии, флоте и государственных учреждениях. В проспекте весьма уклончиво говорилось об «экзаменационных успехах», хотя Вудро, разумеется, не одобрял «зубрежку», и провозглашалось, что в курс обучения включено «искусство», «современные иностранные языки» и «серьезная техническая и научная подготовка». Далее подчеркивалась забота о «высокой нравственности» учеников и отличная постановка религиозного воспитания, которым «в наши дни столь часто пренебрегают даже в самых знаменитых учебных заведениях». «Ну, уж на эту приманку они клюнут»,— заметил мистер Вудро, дописав

проспект. И в сочетании с форменным головным убором эта приманка в самом деле пришлась по вкусу тем, на кого была рассчитана. Упоминалась здесь и «материнская» забота миссис Вудро, на самом же деле эта маленькая женщина с неизменно кислой миной держалась в тени и полагала, что следить за стряпней ниже ее достоинства; кончался проспект намеренно туманной фразой: «Питание без ограничений, собственное молоко и прочие продукты».

Киппс на всю жизнь запомнил удушливую, спертую атмосферу академии, постоянную путаницу в мыслях, бесконечные часы, которые он отсиживал на скрипучих скамьях, умирая от скуки и безделья; кляксы, которые он слизывал языком, и вкус чернил; книжки, изодранные до того, что в руки взять противно, скользкую поверхность старых-престарых грифельных досок; запомнил, как они тайно играли в камешки и шепотом рассказывали друг другу разные истории; запомнил и щипки, и побои, и тысячи подобных мелких неприятностей, без которых тут дня не проходило; запомнил, как приходилось стоять посреди класса и терпеть удары, которые обрушивались ни с того, ни с сего за воображаемое непослушание; запомнил дни, когда мистер Вудро был не в духе и срывал зло на ком попало; запомнил ничем не занятый ледяной час в ожидании скудного завтрака; страшные головные боли и дикие, ни на что не похожие ощущения, порождаемые особенностями «матерински заботливой», но весьма неумелой стряпни миссис Вудро. А унылые прогулки, когда мальчики шагали парами, в шапочках с квадратным верхом, так пленявших воображение их вдовых мамаш; а безрадостные субботы, когда за окном лил дождь и мальчишки, привыкшие подавлять свои желания и порывы, давали волю злобным выдумкам и не скупились на злые шутки: случались и бесчестные, позорные драки, которые кончались убогими поражениями и победами; были и жестокие задиры и их жертвы. Киппс особенно преследовал одного трусливого мальчугана, и однажды тот взбунтовался, избил Киппса и отучил его от тиранства.

Он вспоминал, как они спали по трое в одной постели, какой плотный, затхлый дух ударял в нос всякий раз, как они возвращались в класс после десятиминутной беготни

по двору или по коридорам; вспоминал и этот двор — сплошь из жидкой грязи, в которой нет-нет да и наткнешься, играя, на острый камень. И еще он вспоминал, как часто они потихоньку сквернословили.

«Воскресенья у нас самые счастливые дни»,— твердил родителям своих учеников мистер Вудро, но при этом Киппса не приглашали в свидетели. Для него это были дни томительно пустые, лишенные всякого смысла провалы — ни работы, ни игр; только дважды — рано утром и еще раз, попозже,— походы в таинственную тьму церкви да среди дня кусок пудинга с изюмом. Послеобеденное время посвящалось тайным удовольствиям, в том числе игре под названием «Камера пыток» — немалая роль в ней отводилась козлам отпущения из наиболее презираемых заморышей. Разница между воскресеньем и буднями помогла Киппсу составить суждение о том, что такое бог и рай. И он инстинктивно избегал более близкого с ними знакомства.

Занятия в академии разнообразились в зависимости от настроения мистера Вудро. Иногда тянулись долгие унылые часы, когда полагалось переписывать прописи, или решать задачи, или постигать тайны счетоводства, а они, заслонясь книгами и тетрадями, украдкой болтали друг с другом, загадывали загадки, играли в камешки, в то время, как мистер Вудро застывал за своим столом, ничего не замечая вокруг, уставясь в пространство невидящими глазами. Лицо его то вовсе ничего не выражало, то вдруг проступало на нем какое-то тупое изумление, словно ему с безжалостной ясностью открывалась вся бессмысленность, весь стыд и позор его существования...

В иные часы и дни дипломированного физика обуревала жажда деятельности, он поднимал трепещущий класс и с помощью злых насмешек или тумаков пытался вдолбить им главу Ахенского «Начального курса французского языка», или «Франции и французов», или диалог путешественника с прачкой, или описание оперного театра. Свои познания во французском языке он почерпнул много лет назад в одной частной английской школе и освежал, когда удавалось вырваться на недельку в Дьепп поразвлечься. Иной раз во время урока ему приходило на память какое-либо сомнительное похожде-

ние той поры, и он вдруг начинал хихикать и бормотать по-французски что-то уж вовсе не понятное мальчикам.

Чаще всего он приказывал им заучивать наизусть бесконечные страницы из «Поэтического альманаха» и поручал кому-нибудь из старших учеников проверять всех остальных; не забывал он и о чтении библии, стих за стихом — это вам не какая-нибудь новомодная безбожная школа! — и можно было, высчитав, какой тебе достанется стих, преспокойно болтать с соседом; а иногда ученики читали вслух из краткой «Истории Англии». Кроме того, они проходили, как сообщал Киппс дяде и тете, пропасть сколько глав из катехизиса. Заучивали также тьму географических названий, и иногда в приливе энергии мистер Вудро даже требовал, чтобы ученик отыскал эти названия на карте. А один раз, всего только один раз, состоялся урок химии, который привел их всех в неописуемое возбуждение: причудливые стеклянные посудины, запах, точно разбили тухлое яйцо, что-то где-то кипит и булькает — и вдруг со звоном лопнуло стекло, класс наполнился зловонием, мистер Вудро отчетливо произнес: «О черт!» — и потом они с наслаждением обсуждали все это в спальне. По этому случаю всю школу с чрезвычайной суровостью лишили прогулки...

Но в серой череде воспоминаний попадались редкие проблески — вакации, его, Киппса, праздники, когда, несмотря на междоусобицу старших, он старался проводить как можно больше времени с Сидом Порником, сыном вздорного чернобородого соседа-галантерейщика. Казалось, это воспоминания из другого мира. То были восхитительные дни. Приятели слонялись по отлогому морскому берегу, осаждали сдающиеся без боя башни Мартелло, с неизбывным любопытством взирали на полные тайн ветряные мельницы и их неутомимо вертящиеся крылья, доходили до самого Дандженесского маяка, всю дорогу ощущая под ногами гладкую, податливую гальку. Миновав большой камень, они превращались в вооруженных до зубов контрабандистов: они бродили по заросшим тростником болотам, совершали далекие походы — до самого Хайта, где не смолкал пулеметный лай, до Райа и Уинчелси, которые примостились на

пологих холмах, точно сказочные города. В дни летних каникул небеса были сияющие и бездонные, а зимой сливались с бурным морем; бывали и кораблекрушения, да, самые настоящие: неподалеку от Димчерча они набрели на черный гниющий остов одномачтового рыбачьего суденышка — море поглотило всю команду и, точно пустую корзинку, выбросило его на берег; мальчишки нагишом купались в море, заходя по самые подмышки, и даже пытались плыть, отдавшись теплым волнам (несмотря на тетушкин запрет); а иногда (с ее разрешения) брали с собой какую-нибудь домашнюю снедь и обедали за несколько миль от дома. Чаще всего в пакете оказывались хлеб и холодный пудинг из молотого риса со сливами — что может быть вкуснее?! И за всем этим стояла не гнусная фигура придиры и мучителя Вудро, а тетка — тощая, но, в общем, добродушная (она хоть и донимала по воскресеньям катехизисом, зато позволяла уходить на весь день, прихватив с собой вместо обеда пудинг), и дядя — тучный, вспыльчивый, но всему предпочитающий покойное кресло, так что он, в общем, не мешал. А главное — свобода!

Да, вакации, разумеется, были совсем не то, что учение. Они несли с собой свободу, простор душе и телу, и хоть сам он этого не понимал, в них присутствовала красота. Когда он вспоминал эти годы, вакации сверкали, точно окна цветного стекла на унылом однообразии школьных стен, и чем старше он становился, тем ярче они сияли в памяти. В конце концов пришло время, когда он стал вспоминать те дни с нежностью, чуть не со слезами.

Последнее из этих окон запомнилось ярче всего — в нем не было того разнообразия и пестроты, что в предыдущих, его озарил лишь один сияющий образ. Ибо как раз перед тем, как Киппсом завладел Молох Розничной Торговли, он сделал первые робкие шаги в таинственной стране Любви. Шаги поистине очень робкие, ибо мальчик привык подавлять свои чувства, бурные порывы и страсти еще дремали на дне его души.

Предметом его первых волнений оказалась та самая Энн Порник, чьей кукле они с Сидом, вволю повесе-

лившись, оторвали голову много лет назад, в дни, когда Киппс еще не понимал, что за штука человеческое сердце.

3

Но еще до того, как Киппс заметил огоньки, что мерцали в глубине глаз Энн Порник, дядя решил определить племянника по мануфактурной части и начал соответствующие переговоры. Школа осталась позади окончательно и бесповоротно. И это сейчас было самое главное. Стояло жаркое лето. Расставание со школой отпраздновали шумно и весело, и, заботясь о своем добром имени, Киппс свято выполнил превосходное правило — на прощание платить долги. Всем своим врагам он надавал тумаков, повыворачивал руки и наподдал по ногам; тем же, кто с ним дружил, он раздал свои неоконченные тетради, все учебники, коллекцию камешков и форменный головной убор и на последних страницах их книг тайком написал: «Помни Арти Киппса». Потом он сломал жиденькую тросточку Вудро, всюду, где только мог, вырезал перочинным ножиком свое имя и разбил окно в буфетной. Он так упорно твердил всем и каждому об ожидающей его карьере морского капитана, что уже и сам почти верил в это. И вот наконец он дома и больше никогда в жизни не вернется в школу.

В первый день он поднялся чуть свет, выскочил на залитый солнцем двор и трижды пронзительно свистнул — этот особенный тройной свист неизвестно почему ученики академии, а также и они с Сидом считали военным кличем гуронов. Но, вспомнив о вражде дяди с мистером Порником, спохватился и сделал вид, будто вовсе и не свистел, а с почтительным восхищением взирал на новую секцию мусорного ящика, пристроенную дядей. Впрочем, его невинному виду не поверил бы и грудной младенец.

Через минуту из угодий Порников прозвучал ответный клич. И Киппс запел: «В полдевятого ля-ля жди за церковью меня». И кто-то невидимый пропел в ответ: «В полдевятого ля-ля жду за церковью тебя». Предполагалось, что «ля-ля» делает песенку непонятной для непосвященных. Чтобы еще больше замаскировать сговор, оба

участника этого дуэта вновь издали воинственный клич гуронов, надолго задержавшись на последней, самой пронзительной ноте, и разошлись в разные стороны, чтобы, как и положено мальчишкам на отдыхе, начать веселый день.

В половине девятого Киппс сидел за церковью на освещенной солнцем калитке у начала длинной тропки, ведущей к морю; он неторопливо отбивал такт башмаком и с чувством высвистывал какую-то душещипательную песенку, вернее, те клочки ее, которые знал на память. В это время из-за церкви показалась девочка в коротком платье, темноволосая, синеглазая, с нежным румянцем. Она так вытянулась, что стала даже чуть выше Киппса, и очень похорошела. Вообще с последних вакаций она так переменилась, что Киппс едва узнал ее. Да и видел ли он ее в последний раз?.. Он вовсе этого не помнил.

Увидев ее, он ощутил какое-то смутное беспокойство. Он перестал свистеть и, странно смущенный, молча на нее уставился.

— Ему нельзя прийти,— объявила Энн, храбро подходя ближе.— Покамест нельзя.

— Чего? Это ты про Сида?

— Ага. Папаша наказал ему перетереть все коробки.

— Для чего это?

— А кто его знает. Папаша сегодня сердитый.

— Вон что!

Помолчали. Киппс взглянул на нее и больше уже не смел поднять глаз. А она с любопытством его разглядывала.

— Ты уже отучился? — спросила она немного погодя.

— Ага.

— И Сид тоже.

Беседа оборвалась. Энн взялась за край калитки и принялась раз за разом подпрыгивать на одном месте — это было что-то вроде неумелой гимнастики.

— А наперегонки умеешь? — спросила она.

— Уж тебя-то запросто обгоню,— ответил Киппс.

— Дашь мне фору?

— Докуда? — спросил Киппс.

Энн подумала немного и показала пальцем на дерево. Подошла к нему и обернулась.

— Досюда, ладно?

Киппс, который к этому времени слез с калитки, снисходительно улыбнулся.

— Дальше!

— Досюда?

— Давай еще чуток,— сказал Киппс, но тотчас пожалел о своем великодушии и с криком «Пошли!» рванулся с места, разом наверстав упущенное.

Они подбежали к финишу одновременно — оба раскраснелись и тяжело дышали.

— Ничья! — сказала Энн и рукой отбросила волосы со лба.

— Моя взяла,— задыхаясь, вымолвил Киппс.

Они решительно, но вполне вежливо заспорили.

— Бежим еще раз,— предложил Киппс.— Хочешь?

Они вернулись к калитке.

— А ты ничего, можешь,— снисходительно заметил восхищенный Киппс.— Я ведь здорово бегаю.

Привычно мотнув головой, Энн отбросила волосы назад.

— Ты ж ведь дал мне фору,— признала она.

И тут они увидели Сида.

— Смотри, малявка, влетит тебе,— сказал Сид сестре с истинно братской недоброжелательностью.— Ты пропадаешь целых полчаса. В комнатах не прибрано. Папаша не знает, куда ты запропастилась, говорит: как явится, надеру ей уши.

Энн собралась уходить.

— А как же гонки? — спросил Киппс.

— Ух ты! — воскликнул изумленный Сид.— Да неужто ты с ней бегаешь наперегонки?

Энн раскачалась на калитке, не сводя глаз с Киппса, потом вдруг отвернулась и кинулась бежать по тропинке. Киппс проводил ее взглядом и нехотя обернулся к Сиду.

— Я дал ей большущую фору,— сказал он виновато.— Это не настоящие гонки.

Больше они об этом не говорили. Но минуту-другую Киппс был какой-то рассеянный, и в душе у него началось что-то неладное.

4

Они стали обсуждать, как истым гуронам надлежит наилучшим образом провести утро. Путь их, несомненно, лежал к морю.

— Там еще один затонул — выбросило новые обломки,— сказал Сид.— Ух! И воняют же!

— Воняют?

— Прямо тошнит. Там гнилая пшеница.

Они шли и говорили о кораблекрушениях, потом принялись рассуждать о броненосцах, войнах и о многом другом, достойном внимания настоящих мужчин. Но на полпути Киппс вдруг ни с того ни с сего заметил небрежно:

— А твоя сестра ничего девчонка.

— Я ее поколачиваю,— скромно ответил Сид.

И, помолчав, они снова заговорили о более интересных предметах.

Выброшенная на берег посудина была и вправду полна гниющего зерна и распространяла ужасающее зловоние. Восхитительно! И все это принадлежит только им. По предложению Сида они взяли судно с бою, и теперь надо было спешно защищать его от несметных полчищ воображаемых «туземцев», которых в конце концов удалось отогнать, оглушительно вопя «бом-бом» и отчаянно размахивая и тыча в воздух палками. Вслед за тем, опять же по команде Сида, они врезались в соединенный франко-германо-русский флот, наголову разбили его без чьей-либо помощи, потом пристали к берегу, вскарабкались по крутому откосу, ловким маневром отрезали собственный корабль; потом, крича что есть мочи, изобразили бурю, потерпели отличное кораблекрушение и, «полузатопленные»— этого требовал Сид,— оказались посреди угомонившегося моря.

Все эти события на время вытеснили Энн из головы Киппса. Но когда без воды и пищи, застигнутые штилем, они дрейфовали, затерянные посреди океанских просторов, и, положив подбородки на скрещенные руки, воспаленными глазами озирали горизонт в тщетной надежде на спасительный парус, он вдруг опять о ней вспомнил.

— А хорошо, когда есть сестра,— заметил этот терпящий бедствие моряк.

Сид обернулся и задумчиво на него посмотрел.

— Ну, нет! — сказал он.

— Нет?

— Вот уж ничуть.

Он доверительно улыбнулся.

— Девчонки во все суют нос,— сказал он и прибавил: — Ну прямо во все.

И он вновь принялся мрачно оглядывать пустынные морские дали. Но вот он энергично сплюнул сквозь зубы — он считал, что именно так положено сплевывать настоящим морским волкам, жующим табак,— и сказал:

— Сестры что? С ними одна морока. Вот девчонки — дело другое, а сестры...

— А разве сестры не девчонки?

— Ну, нет! — с невыразимым презрением произнес Сид.

И Киппс поспешно поправился:

— То есть, конечно, я не про то... Совсем я не про это.

— А у тебя есть девчонка? — спросил Сид и опять ловко сплюнул.

Пришлось Киппсу признаться, что девчонки у него нет. Правда, это было очень обидно.

— Спорим, Арт Киппс, ты ни в жизнь не угадаешь, кто моя девчонка!

— А кто? — спросил Киппс, чувствуя, что сам он обделен судьбой.

Сид только усмехнулся.

Выждав минуту, Киппс спросил, как это от него и требовалось:

— Ну кто? Скажи! Кто?

Сид в упор посмотрел на него и еще помедлил.

— А ты никому не скажешь?

— Могила.

— Клянешься?

— Помереть мне на этом месте!

Как ни был Киппс занят собственными переживаниями, в нем пробудилось любопытство.

Сид потребовал с него ужасную клятву.

Потом медленно, постепенно стал раскрывать свою тайну.

— Начинается с мэ,— начал он загадочно.

— М-о-д,— неторопливо называл он букву за буквой, сурово глядя на Киппса.— Ч-а-р-т-е-р-и-з.

Эта Мод Чартериз была особа восемнадцати лет от роду, дочь священника в приходе св. Бэйвона да к тому же обладательница велосипеда, так что едва Киппс понял, о ком речь, лицо его почтительно вытянулось.

— Брось,— недоверчиво выдохнул он.— Ты заливаешь, Сид Порник.

— Провалиться мне на этом месте! — решительно возразил Сид.

— Не врешь?

— Не вру.

Киппс заглянул ему в глаза.

— Честное-пречестное?

Сид постучал по дереву, свистнул и произнес самую страшную клятву:

— Эне-бене-рас! Лопни мой глаз!

Весь мир предстал перед Киппсом, который все еще не мог справиться с изумлением, в совсем новом свете.

— И... и она знает?

Сид покраснел до корней волос, лицо у него стало печальное и строгое. Он вновь задумчиво уставился на сияющее под солнцем море.

— Я готов за нее помереть, Арт Киппс,— сказал он, помолчав.

И Киппс не стал повторять свой вопрос, он был явно неуместен.

— Я все для нее сделаю, чего ни попросит,— продолжал Сид и поглядел Киппсу прямо в глаза,— ну все на свете. Скажет кинуться в море — кинусь.

Каждый углубился в свои мысли, и некоторое время они молчали, потом Сид пустился в рассуждения о любви, о которой Киппс уже втайне тоже подумывал, но еще никогда не слышал, чтобы об этом говорили друг с другом всерьез, вот так, среди бела дня. Конечно, в заведении Вудро втихомолку происходил обмен опытом, обсуждались многие стороны жизни, но о любви романтической там речи не было. Сид, наделенный богатым воображением, заговорив о любви, открыл Киппсу свое сердце, или по крайней мере новый уголок своего сердца, не требуя при этом от Киппса ответных призна-

ний. Он вытащил из кармана затрепанную книжицу, которая способствовала пробуждению его романтических чувств; протянул ее Киппсу и признался, что в ней есть один герой, баронет, ну, прямо его собственная копия. Этот баронет — человек бурных страстей, которые он скрывает под маской «ледяного цинизма». Самое большее, что он себе позволяет,— это скрежетать зубами; тут Киппс заметил, что Сид тоже не чужд этой привычки и уж, во всяком случае, сегодня скрежещет зубами все утро. Некоторое время они читали, потом Сид снова заговорил. На его взгляд, любовь состоит из преданности и жарких схваток, и все это с привкусом тайны, а Киппс слушал, и ему мерещилось залитое румянцем лицо и прядь волос, которую то и дело отбрасывали назад.

Так они мужали, сидя на грязных обломках старого корабля, на котором жили и погибли люди, они сидели там, глядя на море, раскинувшееся перед ними, и болтали об иной стихии, по которой им предстояло пуститься вплавь.

Разговор оборвался. Сид взялся за книгу, а Киппс, который не поспевал за ним и не хотел признаваться, что читает медленнее Сида, окончившего самую обыкновенную начальную школу, отдался своим мыслям.

— Хорошо бы у меня была девушка,— вздохнул Киппс.— Ну, просто чтоб разговаривать и все такое...

От этого запутанного предмета их отвлек плывущий по морю мешок. Они покинули остов потерпевшей крушение посудины и добрую милю следовали за ним по берегу, осыпая его камнями, пока мешок наконец не прибило к берегу. Они ждали чего-то таинственного, необычайного, а в нем оказался всего-навсего дохлый котенок,— это, знаете ли, уж слишком даже для них!

Наконец они вспомнили про обед, который ждал их дома, и голодные, задумчивые зашагали рядышком назад.

5

Но утренний разговор о любви разжег воображение Киппса, и, когда после обеда он встретил Энн Порник на Главной улице, его «Привет!» прозвучал совсем ина-

че, чем прежде. Через несколько шагов оба они обернулись и поймали на этом друг друга. Да, ему очень, очень хотелось обзавестись подружкой...

Однако потом его отвлек ползущий по улице тягач, а на ужин тетушка подала восхитительную рыбку. Но когда он улегся в постель, его вдруг вновь подхватил могучий поток чувств, и, спрятав голову под подушку, он стал тихонько шептать: «Я люблю Энн Порник»,— точно каялся в верности.

Во сне он бегал с Энн наперегонки, и они жили вдвоем в выброшенном на берег корабле, и всегда она виделась ему раскрасневшаяся, и на лоб падали непослушные волосы. Они просто жили вместе в выброшенном на берег корабле, и бегали наперегонки, и очень-очень любили друг друга. И всему на свете предпочитали шоколадный горошек, финики, что продают с лотка, и еще рыбешку, жареную рыбешку...

Утром, проснувшись, он услыхал, как она поет в пристройке за кухней. Полежал, послушал и понял, что должен ей открыться.

Когда завечерело, они случайно встретились у калитки, что рядом с церковью, и хоть Киппс мог бы сказать ей так много, он не отважился вымолвить ни слова, пока, набегавшись до изнеможения за майскими жуками, они не уселись снова на свою калитку. Энн сидела прямая, неподвижная — темный силуэт на фоне багряно-пурпурного неба,— не сводя глаз с Киппса. Оба затихли, замерли, и тогда Киппс вдруг решился поведать ей о своей любви.

— Энн,— сказал он.— Ты мне правда нравишься. Вот если б ты была моей подружкой... Слышишь, Энн? Будешь моей подружкой?

Энн не стала притворяться удивленной, поглядела на Киппса, подумала и сказала небрежно:

— Ну, что ж, Арти. Я не против.

— Вот и хорошо,— задыхаясь от волнения, сказал Киппс,— значит, уговорились.

— Вот и хорошо,— сказала Энн.

Казалось, что-то стало между ними, теперь ни тот, ни другая не решались поднять глаз.

— Ой! — вдруг закричала Энн.— Гляди, какой красавчик! — И, спрыгнув с калитки, кинулась за майским

жуком, который прожужжал у нее перед носом. И они снова стали просто-напросто мальчишкой и девчонкой...

Они старательно избегали переходить на новые отношения. Несколько дней ни о чем таком не заговаривали, хотя виделись дважды. Оба чувствовали, что им предстоит совершить что-то еще, прежде чем это знаменательное событие станет явью, но ни один из них не осмеливался сделать следующий шаг. Болтая с нею, Киппс перескакивал с одного на другое, но больше всего рассказывал о великих приготовлениях, которые должны были сделать его настоящим мужчиной и торговцем мануфактурой: ему справили две пары брюк, и черный сюртук, и четыре новые сорочки. Но при этом разыгравшееся воображение толкало его сделать сей неведомый шаг, а когда он оставался один и гасил огонь, то превращался в весьма предприимчивого поклонника. Хорошо бы взять Энн за руку — даже вполне добропорядочные книжицы, которые так высоко ставил Сид, толкали его на это проявление близости.

И наконец Киппса осенило: он вспомнил газетную заметку под названием «Любовные сувениры», которая попалась ему как-то в обрывке «Пикантных новостей». Разломать пополам шестипенсовик — вот что он придумал, на это у него как раз хватит мужества. Он раздобыл лучшие тетушкины ножницы, выудил ими шестипенсовик из своей почти пустой жестяной копилки и поранил палец, пытаясь разрезать монету пополам. Но как ни старался, когда они с Энн снова встретились, шестипенсовик по-прежнему был целехонек. Киппс еще не скоро собрался бы что-нибудь ей сказать, но это получилось само собой. Он попытался объяснить ей вещий смысл разломанного шестипенсовика и неожиданную неудачу, которая его постигла.

— А для чего ломать? — спросила Энн.— На что он нужен сломанный?

— Это сувенир,— ответил Киппс.

— Как это?

— Ну, просто половинка будет у тебя, а половинка у меня, и когда мы расстанемся, я буду глядеть на свою половинку, а ты на свою, понимаешь? И будем вспоминать друг о дружке.

— Ишь ты!

Похоже, что Энн все поняла.

— Только мне никак его не разломить,— сказал Киппс.

Они обсудили эту неожиданную помеху, но ничего не могли придумать. И вдруг Энн осенила догадка.

— А, я знаю! — сказала она и чуть коснулась его локтя.— Дай-ка мне монету, Арти. Я знаю, где у папаши напильник.

Киппс вручил ей шестипенсовик, и они смолкли.

— Я это мигом,— сказала Энн.

Стоя рядышком, они разглядывали монетку, голова Киппса почти касалась щеки Энн. И вдруг что-то его толкнуло на следующий шаг в неведомую страну любви.

— Энн,— сказал он и судорожно глотнул, испуганный собственной храбростью,— я очень тебя люблю. Правда. Я все для тебя сделаю, Энн. Вот ей-богу!

Он совсем задохнулся и умолк. Энн не отвечала, но слушала с явным удовольствием. Он придвинулся совсем близко, коснулся ее плечом.

— Энн, я... ты...

И опять замолчал.

— Ну? — спросила Энн.

— Энн... можно я тебя поцелую?

Сказал — и сам испугался. Голос его прозвучал робко, внутри все похолодело, он уже и сам не верил в то, что говорил. Поистине Киппс был не из тех сердцеедов, что умеют повелевать.

Энн рассудила, что ей еще рано целоваться. Целоваться глупо, заявила она, а когда Киппс проявил запоздалую предприимчивость, отскочила подальше. Он заспорил. Стоя поодаль от нее — теперь их разделял чуть ли не ярд,— он убеждал ее: дай поцелую, ну что тебе стоит и что тебе за радость быть моей подружкой, если тебя и поцеловать нельзя...

Она повторила, что целоваться глупо. Между ними пробежал холодок, и они двинулись к дому. На сумеречную Главную улицу они вступили не то чтобы вместе, но и не врозь. Они так и не поцеловались, но все равно оба чувствовали себя виноватыми. На пороге лавки Киппс завидел внушительную фигуру дяди, невольно замедлил шаги, и расстояние между ним и Энн увеличилось. Окно над лавкой Порников было растворено —

миссис Порник наслаждалась вечерней прохладой. Киппс прошествовал мимо с самым невинным видом. И чуть не уткнулся в пуговицы жилета на солидном дядюшкином брюшке.

— Откуда держишь путь, сынок?

— Я гулял, дядя.

— Неужто с отродьем Порника?

— С кем?

— Вон с той девчонкой.— И дядя ткнул трубкой в сторону Энн.

— Что вы, дядя! — нетвердым голосом возразил племянник.

— Шагай домой, парень.— Киппс-старший посторонился, глянул искоса на отворенное окно, а племянник неловко прошмыгнул мимо него и скрылся в темной глубине лавчонки.

Тревожно задребезжал колокольчик — дверь в лавку закрылась за Киппсом-старшим; он стал зажигать единственную керосиновую лампу, освещавшую лавку по вечерам. Дело это требовало осторожности и внимания, не то фитиль разом вспыхивал и начинал коптить. Несмотря на все предосторожности, это случалось часто. Гостиная, где сумерничала тетка, почему-то показалась Киппсу-младшему слишком людной, и он поплелся к себе наверх.

«Отродье Порника!» Ему казалось, что произошла ужасная катастрофа. Словами «Что вы!..» он поставил себя на одну доску с дядей, этого уже не исправишь, он навсегда отрезал себе дорогу к Энн. За ужином мальчик был так явно угнетен, что тетя спросила, уж не заболел ли он случаем. Испугавшись, что ему прикажут глотать какое-нибудь снадобье, он стал сразу неестественно весел...

Улегшись в постель, он добрых полчаса лежал без сна и тяжело вздыхал — плохо дело, хуже некуда, Энн не позволила себя поцеловать да еще дядя обозвал ее отродьем. Ведь это почти все равно, что он сам так ее обозвал.

Энн стала совершенно недосягаема. Прошел день, другой, третий, а Киппс все не видел ее. С Сидом они встречались за эти дни несколько раз; ходили на рыбалку, дважды купались, но хотя он за это время взял у

Сида, прочитал и вернул две книжки про любовь, они больше о любви не говорили. Однако вкусы у них попрежнему были общие, и больше всего обоим нравилась история, сентиментальная до невозможности. Киппсу все время хотелось заговорить об Энн, да смелости не хватало. В воскресенье вечером он видел, как она отправилась в церковь. В воскресном платье она была еще красивее, но она шла с матерью и потому сделала вид, будто не замечает его. Он же решил, что она просто навсегда отвернулась от него. Отродье! Да этого никто вовеки не простит. Он предался отчаянию, он даже перестал бродить по местам, где можно было ее встретить...

И тут словно гром грянул среди ясного неба — всему настал конец.

Мистер Шелфорд, владелец мануфактурного магазина в Фолкстоне, к которому его определили «в мальчики», выразил желание «малость натаскать парнишку» перед началом осенних распродаж. Киппс обнаружил, что тетка укладывает его пожитки, и в вечер накануне отъезда осознал во всей непоправимости, что произошло. Ему до смерти захотелось еще хоть раз увидеть Энн. Под самыми нелепыми и никому не нужными предлогами он то и дело выбегал во двор, трижды уже без всякого предлога переходил на противоположную сторону улицы, чтобы заглянуть в окна Порников. Но Энн как сквозь землю провалилась. Отчаяние овладело им. За полчаса до отъезда он наткнулся на Сида.

— Привет! — крикнул он.— Уезжаю!

— Поступаешь на службу?

— Ага.

Помолчали.

— Слушай, Сид. Ты скоро домой?

— Прямо сейчас.

— Знаешь что... Спроси Энн, как насчет того...

— Чего?

— Она знает.

Сид пообещал спросить. Но и это, видно, не помогло: Энн не показывалась.

Наконец по улице загромыхал фолкстонский омнибус, и Киппс взобрался наверх. Тетя вышла на порог пожелать Киппсу счастливого пути. Дядя помог ему вынести сундучок и чемодан. Лишь украдкой удалось ему

взглянуть на окна Порников, но, видно, сердце Энн ожесточилось и не хочет она его видеть.

— Отправляемся! — объявил кучер, и копыта зацокали по мостовой. Нет, она не выйдет даже проводить его. Омнибус двинулся, дядя пошел обратно в лавку. Киппс неподвижным взором уставился перед собой, уверяя себя, что ему все равно.

Вдруг позади хлопнула дверь, он круто обернулся, вытянул шею. Этот стук был ему так хорошо знаком. Вот оно! Из лавки галантерейщика выбежала маленькая растрепанная фигурка в домашнем розовом платье и пустилась догонять омнибус. И вот она уже рядом. Сердце Киппса бешено заколотилось, но он и не поглядел в ее сторону.

— Арти! — запыхавшись, крикнула Энн.—Арти! Арти! Слушай! Я его разломила!

Омнибус покатил быстрее, обгоняя Энн, и тут только Киппс понял, о чем она. Он сразу встрепенулся, судорожно глотнул и, собрав все свое мужество, заплетающимся языком попросил кучера «остановить на минуточку, дело есть». Кучер заворчал,— как солидному человеку не поворчать на мальчишку! — но все же придержал лошадей; и вот Энн рядом.

Она вскочила на колесо. Киппс нагнулся и поглядел ей в лицо — сверху оно казалось совсем маленьким и очень решительным. Их руки встретились, и на мгновение они заглянули друг другу в глаза. Киппс не умел читать по глазам. Что-то быстро скользнуло из руки в руку, что-то такое, чего не удалось разглядеть кучеру, искоса наблюдавшему за ними. Киппс не сумел вымолвить ни слова, а Энн только сказала:

— Я его нынче утром разломила.

Мгновение это было словно чистый лист, на котором надо было написать что-то очень важное; но оно так и осталось ненаписанным. Энн спрыгнула, и омнибус покатил прочь.

Только секунд через десять Киппс спохватился, вскочил и принялся махать ей своим новым котелком и хрипло, срывающимся голосом крикнул:

— До свидания, Энн!.. Помни обо мне... Не забывай!

Она стояла посреди дороги, глядела ему вслед, потом помахала рукой.

Он тоже стоял, покачиваясь, лицом к ней, пунцовый, с блестящими глазами, ветер взъерошил ему волосы, а он все махал и махал котелком, пока Энн не скрылась за поворотом. Тогда только он повернулся, сел на свое место и спрятал в карман брюк половинку шестипенсовика, зажатую в руке. И украдкой покосился на кучера: видел ли он что-нибудь?

А потом углубился в размышления. И решил, что когда на рождество вернется в Нью-Ромней, будь что будет, а он непременно поцелует Энн. Вот тогда все пойдет как полагается, и это будет самое настоящее счастье.

ГЛАВА II

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИН

1

Когда, прихватив с собой желтый жестяной сундучок, маленький чемоданчик, новый зонт и подаренную на память половинку шестипенсовика, Киппс покинул Нью-Ромней, чтобы стать продавцом мануфактуры, ему исполнилось четырнадцать лет; это был худенький подросток с забавным хохолком на макушке и мелкими чертами лица, с глазами то светлыми, то вдруг темневшими — способность, унаследованная от родителей; говорил он невнятно, в мыслях его царила страшная путаница, держался он скованно и робко—таким уж его воспитали. Неумолимая Судьба послала его служить отечеству на поприще коммерции; и та же чисто английская склонность к частному предпринимательству и стремление худо ли, хорошо ли вершить свои дела самому, которые обрекли Киппса на пребывание в частном заведении мистера Вудро, ныне отдала его во власть владельца крупнейшего в Фолкстоне мануфактурного магазина мистера Шелфорда. Ученичество — и поныне признанный английский путь к служению на сей обширной общественной ниве. Если бы мистеру Киппсу выпало несчастье родиться в Германии, он мог бы получить образование в дорогостоящем специальном учебном заведении, где его основательно и всесторонне подготовили бы к этой деятельности,—

такова немецкая педагогическая система («больно образованные» — наберутся там всякого, говаривал Киппс-старший). Он мог бы... Но зачем развивать в романе мысли столь непатриотичные? Во всяком случае, мистер Шелфорд был отнюдь не педагог.

То был вспыльчивый, неутомимый человечек, ходил он, заложив волосатые руки за спину, под фалды сюртука, лысая яйцевидная голова так и сияла, орлиный нос слегка кривился на сторону, холеная бородка вызывающе торчала. Походка у него была легкая, подпрыгивающая, и он вечно что-то мурлыкал себе под нос. Он обладал редкостной деловой хваткой, а к тому же однажды весьма умело и выгодно обанкротился и с умом выбрал себе жену. Его заведение было одно из самых крупных в Фолкстоне, фасады домов, где размещались его магазины, он велел раскрасить зелеными и желтыми полосами. Магазины занимали дома под номерами 3, 5 и 7, а на бланках значилось 3—7.

Смущенному, исполненному благоговения Киппсу он первым делом стал расписывать свою систему и себя самого. Он развалился в кресле за письменным столом и, взявшись за лацкан сюртука, произнес небольшую речь.

— Твое дело — работать справно, свято блюсти наш интерес,— важно произнес мистер Шелфорд, говоря о себе во множественном числе, как это принято у особ королевской крови и у коммерсантов.— Наша система — первый сорт. Уж я-то знаю, сам придумал, в четырнадцать лет начал, с самого низу всю лестницу прошел, каждую ступеньку, как свои пять пальцев... Мистер Буч, конторщик, даст табличку — правила там, штрафы и прочее. Погоди-ка!

И он сделал вид, будто углубился в какие-то пыльные счета, лежавшие под прессом, а Киппс, боясь шевельнуться, благоговейно созерцал сверкающую лысину своего нового повелителя.

— Две тыщи триста сорок семь фунтов,— внятно шептал мистер Шелфорд, притворяясь, будто забыл о Киппсе.

Да, тут делаются большие дела!

Наконец мистер Шелфорд поднялся, вручил Киппсу пресс-папье и чернильницу — просто как символ

рабства, ибо оба эти предмета были ему не нужны — и направился в контору, где, едва повернулась ручка двери, все трое служащих лихорадочно застучали костяшками счетов.

— Буч,— окликнул мистер Шелфорд,— экземпляр Правил имеется?

Жалкий, забитый старичок с линейкой в руке и гусиным пером в зубах молча подал хозяину книжонку в полосатом желто-зеленом переплете, почти целиком посвященную, как вскоре понял Киппс, ненасытной системе штрафов. Тут Киппс с ужасом сообразил, что руки у него заняты и все в комнате пялят на него глаза. Не сразу он решился поставить чернильницу на стол, чтобы взять Правила.

— Не годится быть размазней,— сказал мистер Шелфорд, глядя, как Киппс неловко засовывает Правила в карман.— Мямлям у нас не место. Пошли, пошли.— Он подобрал полы сюртука, точно дама юбки, и повел Киппса в магазин.

Киппсу открылась просторная, необъятная зала с бесконечными, сверкающими лаком прилавками и великим множеством безупречно одетых молодых людей и юных гурий, глядящих на него во все глаза.

Вот целый ряд с перчатками, висящими на протянутых над прилавком шнурах, а там — ленты, а еще дальше — пеленки и распашонки. Невысокая девица в черных митенках что-то подсчитывала для покупательницы, но под орлиным взором Шелфорда явно сбилась со счета.

Коренастый, плешивый молодой человек с круглым, очень смышленым лицом, который сосредоточенно расставлял вдоль прилавка пустые стулья, заботливо отставляя один от другого на равные расстояния, оторвался от своего занятия и почтительно выслушал несколько властных, но совершенно ненужных замечаний хозяина. Киппсу было сообщено, что сего молодого человека зовут мистер Баггинс и его надлежит слушаться беспрекословно.

Они повернули за угол, где пахло чем-то совсем незнакомым; то был запах, которому на долгие годы суждено было пропитать жизнь Киппса,— слабый, но отчетливый запах хлопчатобумажной ткани. Толстый но-

сатый человек подскочил (*именно подскочил!*) при их появлении и принялся сворачивать штуку камчатного полотна, словно машина, которую неожиданно пустили в ход.

— Каршот, вот вам парнишка. Займитесь завтра,— распорядился хозяин.— Чтоб не был размазней. Сделать из него человека.

— Слушаюсь, сэр,— тупо отозвался Каршот, взглянул на Киппса и опять с величайшим усердием принялся сворачивать штуку полотна.

— Что мистер Каршот велит, то и делай,— сказал мистер Шелфорд, проходя дальше; едва они скрылись, Каршот надул щеки и с откровенным облегчением вздохнул.

Они прошли через большую комнату, уставленную какими-то удивительными предметами. Киппс ничего подобного сроду не видывал. Стоит вроде бы женская фигура, но там, где полагалось бы находиться изящной головке, торчит черная деревянная втулка, эти странные фигуры стояли повсюду в самых кокетливых позах, совсем как живые.

— Пошивочная,— объяснил мистер Шелфорд.

Два голоса, спорившие о чем-то («Уверяю вас, мисс Мергл, вы ошибаетесь, вы глубоко ошибаетесь, напрасно вы думаете, что я способна на столь неженственный поступок»), смолкли при их появлении: две молодые дамы, очень высокие и очень красивые, в черных платьях со шлейфами, что-то писали, сидя за столиком. Киппс понял, что должен делать все, что они велят. Разумеется, ему следовало также делать все, что велят Каршот и Буч. И, конечно, Багинс и мистер Шелфорд. *И ничего не забывать и не быть размазней.*

Потом они спустились в подвал, именуемый «Складом», и Киппсу померещилось, будто здесь дерутся мальчишки-посыльные. Но кто-то невидимый крикнул «Тедди!» — и мираж рассеялся. Нет, конечно, никакой драки не было. Мальчишки как паковали свертки, так и пакуют и век будут паковать, а драться им и в голову не придет. Но, проходя между рядами этих тружеников, даже не поднимавших головы от работы, мистер Шелфорд рявкнул что-то такое, из чего следовало, что мальчишки все-таки дрались... разумеется, когда-то, в незапамятные времена.

Они вернулись в магазин, на сей раз в отдел безделушек и украшений. Шелфорд выпростал руку из-под полы сюртука и указал Киппсу на размещенные вверху коробочки с мелкой монетой, чтобы легко и удобно было отсчитывать сдачу. Он пустился в сложные подсчеты, дабы показать, сколько минут удалось таким образом сэкономить в год, и сбился со счета.

— Семь тыщ восемьсот семьдесят девять... так, что ль? Не то семьсот восемьдесят девять? Ну, ну! Чего молчишь? В твои годы я мигом в уме подсчитывал какую хочешь сумму. Ладно, мы тебя живо натаскаем. Сделаем работягу. В общем, уж поверь на слово, экономит нам немало фунтов в год, немало фунтов. Система! Система во всем. Расторопность.— Он никак не мог остановиться.— Расторопность,— опять и опять бормотал он.— Система.

Они вышли во двор, и мистер Шелфорд широким движением указал в сторону трех фургонов, развозящих покупки по домам,— фургоны тоже были выкрашены в желтую и зеленую полоску.

— Чтоб все одинаковое... зеленое и желтое... Система!

На всех помещениях висели таблички с нелепыми надписями: «Эта дверь запирается после 7.30. Приказ Эдвина Шелфорда» — и другие в этом же роде.

Мистер Шелфорд всегда писал «приказ Эдвина Шелфорда» вместо того, чтобы просто поставить свою подпись, хотя в этом не было решительно никакого смысла. Он был из тех, к кому всякая казенщина липнет, точно грязь к навозному жуку. Он был не просто невежда, но даже со своим родным языком и то не мог совладать. Если он, например, хотел предложить покупателю миткаль по шести с половиной пенсов за ярд, он говорил:

— Могу сделать один шестиполовинный, если желаете,— и этой бессмыслицей, разумеется, только отпугивал покупателей... Ему казалось, что такая хитрая манера говорить и есть основа деловитости. Он, как мог, сокращал и слова; ему казалось, что он станет посмешищем всей Вудстрит, если нечаянно скажет «дюжина носков» вместо «дюж. носок». Но если в одних случаях он бывал сверх меры краток, то в других страдал излишним многословием, он подписывал заказ не иначе, как «с вели-

чайшим удовольствием», отсылал отрез не иначе, как с «почтительнейшей просьбой принять». Он никогда не выговаривал себе кредит на столько-то месяцев, но тянул с уплатой как только мог. В своих сношениях с Лондоном он сокращал далеко не только слова. При оплате оптовых заказов его Система неизменно допускала ошибку — недоплату одного-двух пенни; когда, выписывая чек, опустишь какой-то там пенни, это лишь облегчает расчеты, утверждал он. Его старший счетовод был так пленен этой стороной Системы, что завел свою собственную, в свою собственную пользу, о существовании которой Шелфорд так никогда и не узнал.

Сей превосходный коммерсант безмерно гордился своим редкостным умением писать заказы лондонским фирмам.

— Ха-ха, может, воображаешь, что когда-нито наловчишься писать лондонские заказы? — самодовольно вопрошал он. Магазин уже давно закрыли, и Киппс нетерпеливо дожидался, когда же наконец можно будет отнести на почту эти шедевры коммерческого гения и завершить таким образом нескончаемо долгий день. Он мечтал лишь о том, чтобы мистер Шелфорд поскорей кончал свою писанину, и вместо ответа только головой помотал.

— Ну вот, к примеру. Я написал... видишь? В 1 куске бум. черн. эласт. ½. Что означает дробь? Не знаешь?

Киппс понятия об этом не имел.

— И дальше: Сему 2 шел. сетки согл. прилаг. образцу. Ну?

— Не знаю, сэр.

Мистер Шелфорд был не любитель объяснять.

— Ну и ну! Хоть бы в школе малость обучили коммерции. Заместо всякой там книжной чепухи. Так вот, малый, надо быть посмекалистей, не то вовек не выучишься составлять лондонские заказы, это уж как пить дать. Налепи-ка марки на письма, да, гляди, поаккуратней. Тетка с дядей поставили тебя на рельсы, так пользуйся. Коли не воспользуешься таким счастливым случаем, уж и не знаю, что с тобой будет.

И усталый, голодный, заждавшийся Киппс принялся торопливо нашлепывать марки.

— Лижь конверт, а не марку,— распорядился мистер Шелфорд, словно ему было жаль клея.— Пушинка к пушинке, и выйдет перинка,—любил он говорить. И в самом деле, расторопность и бережливость всегда и во всем — вот суть его философии. В политике он исповедовал Реформизм, что, в сущности, ничего не значило, а также Мир и Бережливость, что означало — заставляй каждого работать до седьмого пота; а от городских властей требовал одного — чтобы они «не повышали налоги». Даже религия, по его мнению, предназначалась лишь для того, чтобы сберечь его душу и сделать всех такими же скопидомами.

2

Договор, связавший Киппса с мистером Шелфордом, был составлен по старинке и заключал в себе много пунктов; он облекал мистера Шелфорда родительскими правами, запрещал Киппсу играть в кости и прочие азартные игры и на долгие семь лет самого критического возраста вверял его душу и тело заботам мистера Шелфорда. Взамен давалось весьма туманное обязательство обучить подопечного искусству и тайнам торговли; но поскольку за невыполнение этого обязательства не грозила никакая кара, мистер Шелфорд, человек трезвый и практический, считал, что сей пункт не больше как пустые слова, и все семь лет не покладая рук старался выжать из Киппса как можно больше, а вложить в него как можно меньше.

Вкладывал он главным образом хлеб с маргарином, настой цикория и третьесортного чая, мороженое мясо самой низкой упитанности (цена — три пенса за фунт), картофель, поставляемый мешками, без отбора, пиво, разбавленное водой. Впрочем, когда Киппс желал сварить что-либо купленное на свои деньги, ибо он рос и этого скудного питания ему не хватало, мистер Шелфорд великодушно позволял ему бесплатно воспользоваться плитой, разумеется, если в это время в ней еще не угас огонь. Киппсу позволялось также делить комнату с восемью другими юнцами и спать в постели, в которой, кроме разве уж очень холодных ночей, неизбалованному человеку можно было согреться и уснуть, если накрыться собственным пальто, всем запасным бельиш-

ком и несколькими газетами. К тому же Киппса ознакомили с целой системой штрафов, обучили перевязывать свертки с покупками, показали, где хранятся какие товары, как держать руки на прилавке и произносить фразы вроде: «Чем могу служить?», «Помилуйте, нам это одно удовольствие»,— наматывать на болванки, свертывать и отмерять ткани всех сортов, приподнимать шляпу, повстречав мистера Шелфорда на улице, и безропотно повиноваться множеству людей, выше него стоящих. Но его, разумеется, не выучили распознавать истинную стоимость товара разных марок, который он продает, и не объяснили, как и где этот товар выгоднее покупать. Не ознакомили его и с укладом жизни, с обычаями того сословия, представителей которого обслуживал магазин. Киппс не понимал назначения половины товаров, которые продавались у него на глазах и которые он вскоре сам стал предлагать покупателям. Ткани драпировочные — кретон, вощеный ситец и прочее; салфетки и иное сверкающее накрахмаленное столовое белье, употребляемое в солидных домах; нарядные плательные ткани, материи для подкладок, корсажей; все они, все до единой, были для него просто штуки материй, большие тяжелые рулоны, с ними трудно управляться, их надо без конца разворачивать, сворачивать, отрезать, они превращаются в аккуратные свертки и исчезают в таинственном счастливом мире, где обитает Покупатель. Разложив по местам тяжелые, как свинец, кипы полотняных скатертей, Киппс спешил в освещенный газовым рожком подвал, наскоро ужинал за столом без всякой скатерти, а ложась в постель, укрывался своим пальто, сменой белья и тремя газетами и во сне расчесывал пушистый ворс бесчисленных одеял,— все это по крайней мере давало ему случай постичь основы философии. За все эти блага он платил тяжким трудом — валился в постель усталый до изнеможения, со стертыми ногами. Вставал он в половине седьмого и до восьми часов, неумытый, без рубашки, в старых штанах, обмотав шею шарфом, отчаянно зевая, стирал пыль с ящиков, снимал обертки с кусков ткани и протирал окна. Потом за полчаса приводил себя в порядок и съедал скудный завтрак, состоящий из хлеба, маргарина и напитка, который лишь живущий в метро-

полии англичанин может счесть за кофе; подкрепившись таким образом, он поднимался в магазин и приступал к дневным трудам.

Обычно день начинался с торопливой беготни взад и вперед с дощечками, ящиками и разными товарами для Каршота, который украшал витрины и, как бы Киппс ни старался, бранил его не переставая, ибо страдал хроническим несварением желудка. Время от времени приходилось заново наряжать витрину готового платья, и тогда Киппс, спотыкаясь, тащил из пошивочной через весь магазин деревянных дам, крепко, хотя и несколько смущенно подхватив их под деревянные коленки. Если же не надо было украшать витрины, он без роздыха таскал и громоздил на полки штуки и кипы мануфактуры. За этим следовала самая трудная, поначалу просто отчаянно трудная работа: некоторые сорта тканей поступали в магазины сложенными, и их надо было намотать на болванки, чему они всячески противились, во всяком случае, в руках Киппса; а другие ткани, присланные оптовиками на болванках, следовало перемерить и сложить — для юных учеников не было работы ненавистней. И ведь всего этого тяжкого труда вполне можно было избежать, если бы не то обстоятельство, что сия чрезвычайно «тонкая» работа обходится дешево, а наш мир дальше собственного носа ничего не видит. Потом надо было разложить новые товары, запаковать их, что Каршот проделывал с ловкостью фокусника, а Киппс — как мальчишка, которому это дело не по душе, а что по душе — он и сам не знает. И все это время Каршот шпынял его и придирался к каждому шагу.

В выражениях, весьма своеобразных и цветистых, Каршот взывал к своим внутренностям, но утонченность нашего времени и советы друзей заставили меня заменить цветы его красноречия жалкой подделкой.

— Лопни мое сердце и печенка! Отродясь не видал такого мальчишки,— вот как условно передам я любимое выражение Каршота. И даже если покупатель стоял совсем рядом, натренированное ухо Киппса опять и опять улавливало в неразборчивом бормотании Каршота знакомое: ...ну, скажем, «Лопни мое сердце и печенка!».

Но вот наступал блаженный час, когда Киппса отсылали из магазина с поручениями. Чаще всего требова-

лось подобрать для пошивочной мастерской пуговицы, резинки, подкладку и прочее взамен оказавшихся негодными. Ему вручали письменный заказ с приколотыми к нему образчиками и выпускали на заманчивую солнечную улицу. И вот до той минуты, пока он не сочтет за благо вернуться и выслушать выговор за нерасторопность, он свободный человек, и никто не вправе его ни в чем упрекнуть!

Он совершал поразительные открытия по части топографии; оказалось, например, что самый удобный путь от заведения мистера Адольфуса Дейвиса к заведению фирмы Кламмер, Роддис и Терел, куда его посылали чаще всего, не вниз по улице Сандгейт, как все думают, а в обратную сторону, вокруг Западной террасы по набережной, где можно поглядеть, как поднимется и опустится фуникулер — дважды, не больше, а то на это уйдет слишком много времени,— потом можно вернуться по набережной, немного постоять и поглазеть на гавань, а потом вокруг церкви, на Черч-стрит (уже потораплиunion) и прямо на Рандеву-стрит. В самые теплые и погожие дни его путь лежал через Рэднорский парк к пруду, где малыши пускали кораблики и можно было поглядеть на лебедей.

А потом он возвращался в магазин, где все были поглощены служением Покупателю. И его приставляли к кому-нибудь из тех, кто служил Покупателю, и он снова бегал по магазину с пакетами и счетами, всякий раз снимал с прилавка все, что не понравилось разборчивому Покупателю, до ломоты в руках поддерживал драпировки, чтоб видней было все тому же Покупателю. Но труднее всего было ничего не делать, когда не оказывалось работы, и при этом не глазеть на покупателей, чтобы, не дай бог, не докучать им своими взглядами. Он погружался в пучину скуки или уносился мыслями далеко-далеко: сокрушал врагов отечества либо отважно вел сказочный корабль по неведомым морям и океанам. Но грубый начальственный окрик возвращал его на нашу высокоцивилизованную землю.

— Эй, Киппс! Живо, Киппс! Подержи-ка, Киппс! — И впридачу чуть слышно: — Лопни мое сердце и печенка!

В половине восьмого — за исключением дней, когда торговля продолжалась допоздна,— в магазине начинали лихорадочно убирать товары, и, когда опущена была последняя ставня, Киппс стремглав мчался завешивать полки и укрывать товары на прилавках, чтобы побыстрее усыпать полы мокрыми опилками и подмести торговые залы.

Случалось, покупательницы задерживались надолго после того, как наступало время закрывать магазин.

— У Шелфорда с этим не считаются, — говорили они.

И они неторопливо перебирали материи, а служащим запрещалось задергивать полки и вообще каким-либо неосторожным движением намекнуть на поздний час — до тех пор, пока не закрывалась дверь за последней покупательницей.

Укрывшись за кипой товаров, мистер Киппс не спускал глаз с этих припозднившихся покупателей, и какие только проклятия он не обрушивал на их головы! К ужину, хлебу с сыром и водянистому пиву, ожидавшему его в подвале, он приходил обычно в десятом часу, и остаток дня был в полном его распоряжении — можно было почитать, развлечься и заняться самообразованием...

Входная дверь запиралась в половине одиннадцатого, а в одиннадцать в комнатах гасили свет.

3

По воскресеньям Киппсу полагалось один раз побывать в церкви, но он обычно ходил дважды: все равно больше нечего делать. Он садился сзади на какое-нибудь свободное даровое место; у него не хватало смелости подтягивать хору, а иногда и сообразительности, чтобы понять, в каком месте следует открыть молитвенник, и он далеко не всегда прислушивался к проповеди. Но он почему-то вообразил, что тому, кто часто ходит в церковь, легче жить на свете. Тетушка давно хотела, чтобы он конфирмовался, но он вот уже несколько лет уклонялся от этой церемонии.

Между службами он прогуливался по Фолкстону с таким видом, будто что-то разыскивает. Но по воскресеньям на улицах было далеко не так интересно, как в

будни: ведь магазины все закрыты; зато ближе к вечеру набережную заполняла нарядная толпа, которая приводила его в смущение. Иногда ученик, стоявший на служебной лестнице в заведении Шелфорда на ступеньку выше Киппса, снисходил до того, чтобы составить ему компанию; но если до него самого снисходил ученик, стоявший еще ступенькой выше, Киппс оставался в одиночестве, ибо в своем дешевом костюме—порядочным сюртуком он еще не обзавелся — он, конечно же, не годился для столь изысканного общества.

Иногда он устремлялся за город — тоже словно в поисках чего-то утерянного, но еда, которая ждала в столовой лишь в определенные часы, крепко привязывала его к городу, и приходилось поспешно возвращаться; а случалось, он тратил чуть ли не весь шиллинг, который вручал ему в конце недели Буч, на то, чтобы насладиться концертом, устраиваемым на пристани. После ужина он раз двадцать — тридцать прохаживался по набережной, мечтая набраться храбрости и заговорить с кем-нибудь из встречных — судя по виду, таких же учеников и служащих. Почти каждое воскресенье он возвращался в спальню со стертыми ногами.

Книг он не читал: где их достанешь, да к тому же хоть они проходили у мистера Вудро скверно изданную со скверными примечаниями «Бурю» (серия «Английские классики»), вкуса к чтению это ему не привило; он никогда не читал газет, разве что заглянет случайно в «Пикантные новости» или в грошовый юмористический листок. Пищу для ума он черпал лишь в перепалках, которые иногда вспыхивали за обедом между Каршотом и Баггинсом. Вот это был кладезь мудрости и остроумия! Киппс старался запомнить все их остроты, приберечь на то время, когда он и сам станет таким вот Баггинсом и сможет так же смело и свободно вступать в разговор.

Изредка заведенный порядок жизни нарушался: наступала распродажа, которая омрачалась сверхурочной работой за полночь, но зато озарялась подаваемой дополнительно на ужин килькой и двумя-тремя шиллингами в виде «наградных». И каждый год — не в редких, исключительных случаях, а каждый год — мистер Шелфорд, сам восхищаясь своим отеческим великодушием и не забывая напомнить о куда более суровой поре соб-

ственного ученичества, щедро отваливал Киппсу целых десять дней отпуска. Каждый год целых десять дней! Не один бедняга в Портленде мог бы позавидовать счастливчику Киппсу. Но сердце человеческое ненасытно! Как жаль было каждого уходящего дня — они так быстро пролетали!

Раз в год проводился переучет товара, и время от времени бывала горячка — разбирали по сортам новые, только что прибывшие партии. В такие дни мистер Шелфорд просто подавлял служащих своим великолепием.

— Система! — выкрикивал он.— Система! Поди-ка сюда! Слушай! — И он выпаливал одно за другим путаные, противоречивые приказания. Каршот, пыхтя и потея, трусил по магазину, держа свой крупный нос по ветру, поминутно косился испуганными глазками на хозяина, морщил лоб и беззвучно шептал излюбленное «Лопни мое сердце и печенка!». Пронырливый младший приказчик и самый старший ученик состязались друг с другом в угодливости и льстивом усердии. Молодой проныра метил на место Каршота и буквально пресмыкался перед Шелфордом. И все они понукали Киппса. Киппс держал пресс-папье, и непроливающуюся чернильницу, и ящик с ярлычками, и бегал, и подносил то одно, то другое. Стоило ему поставить чернильницу и умчаться за чем-нибудь, как мистер Шелфорд непременно ее опрокидывал, а если Киппс уносил ее с собой, оказывалось, что она нужна мистеру Шелфорду сию же секунду.

— Тошно мне от тебя, Киппс,—говорил мистер Шелфорд.— Через тебя нервалгия. Ничегошеньки не смыслишь в моей Системе.

Унесет Киппс чернильницу — и мистер Шелфорд, багровея, тычет сухим пером куда попало, ругается на чем свет стоит, Каршот, в свою очередь, поднимает крик, и молодой проныра бежит в конец зала и поднимает крик, и старший ученик мчится за Киппсом и кричит:

— Живее, Киппс, живей! Чернил, парень! Чернил!

В эти периоды бури и натиска душа Киппса наполнялась смутным недовольством собой, которое переходило в острую ненависть к Шелфорду и его приспешникам. Он чувствовал, что все происходящее гадко и несправедливо, но понять, почему и отчего так получается, было не под силу его неразвитому уму. В мыслях у

него царил совершенный сумбур. Неловко и нерасторопно исполняя свои многочисленные обязанности, он жаждал только одного — избежать хоть малой доли попреков, которые обрушивались на его бедную голову. До чего все мерзко и отвратительно! И отвращение отнюдь не становилось меньше оттого, что ноги вечно ныли и опухали и пятки были стерты,— без этого никак не сделаешься настоящим продавцом тканей. А тут еще старший ученик, Минтон, долговязый, мрачный юнец с черными, коротко остриженными, жесткими волосами, безобразным губастым ртом и похожими на кляксу усиками под носом,— своими разговорами он заставлял Киппса глубже задумываться над происходящим и окончательно приводил в отчаяние.

— Как постареешь и силенок поубавится, так тебя выбрасывают вон,—сказал Минтон.— Господи! Куда только не подается старый продавец тканей — и в бродяги, и в нищие, и грузчиком в доках, и кондуктором в автобусе, и в тюрьму. Всюду он, только не за прилавком.

— А почему они не заводят собственную лавку?

— Господи! Да откуда? На какие шиши? Разве наш брат приказчик когда скопит хоть пятьсот фунтов? Да нипочем. Вот и цепляешься за прилавок, пока не выгонят. Нет уж, раз угодил в сточную канаву,— будь она проклята,— стало быть, век барахтайся в ней, пока не сдохнешь.

У Минтона руки чесались «двинуть коротышке в морду» — коротышкой он величал мистера Шелфорда — и поглядеть, что станется тогда с его хваленой системой.

И теперь всякий раз, когда Шелфорд заходил в отдел Минтона, Киппс замирал в сладком предвкушении. Он поглядывал то на Минтона, то на Шелфорда, словно прикидывая, куда его лучше «двинуть». Но по причинам, ведомым лишь самому Шелфорду, он никогда не помыкал Минтоном, как помыкал безответным Каршотом, и Киппсу так и не довелось полюбоваться поучительным зрелищем.

4

Иной раз все спят и похрапывают, а Киппс лежит без сна и с тоской думает о будущем, которое ему нарисовал Минтон. Он начинал смутно понимать,

что́ с ним произошло,— его захватили колеса и шестерни Розничной Торговли, и вырваться из тисков этой тупой, неодолимой машины он не в силах: нет ни воли, ни умения. Так и пройдет вся жизнь. Ни приключений, ни славы, ни перемен, ни свободы. О любви и женитьбе тоже нечего мечтать,— впрочем, в полной мере он понял это позднее. И было еще нечто — «увольнение», когда тебе вручают «ключи от улицы» и начинается «охота за местом»,— об этом говорили редко и скупо, но вполне достаточно, чтобы это запало в голову. Чуть не каждую ночь Киппс решал наняться в солдаты или на корабль, поджечь склады или утопиться, а наутро вскакивал с постели и мчался вниз, чтобы не оштрафовали. Он сравнивал свое нудное и тяжелое рабство с ветреными, солнечными днями в Литлстоуне, с этими окнами счастья, которые сияли чем дальше, тем ярче. И в каждом таком окне маячила фигурка Энн.

Жизнь не пощадила и ее. Когда Киппс впервые после поступления к Шелфорду приехал домой на рождество, его великая решимость поцеловать Энн вспыхнула с новой силой; он поспешил во двор и засвистел, вызывая ее. Никакого ответа — и вдруг за спиной голос Киппса-старшего.

— Зря стараешься, сынок,— произнес он громко, отчетливо, так, чтобы слышали за стеной.— Разъехались твои дружки. Девчонку отправили в Ашфорд, сынок, помогать по хозяйству. Прежде говорили: в услужение, да нынче ведь все по-другому. Того гляди, скажут «экономкой». С них все станется.

А Сид?.. Оказалось, и его нет.

— Посыльным заделался или вроде того,— сказал Киппс-старший.— В велосипедной мастерской, пропади они все пропадом.

— Вон как? — выдавил Киппс, сердце его сжалось, и он понуро поплелся к дому.

А Киппс-старший, думая, что племянник все еще здесь, продолжал поносить Порников...

Когда Киппс очутился наконец один в своей комнатушке, он сел на постель да так и застыл, глядя в одну точку. В тисках... все они в тисках. Вся жизнь сразу превратилась в унылый понедельник. Гуронов раскидало по свету, обломки кораблекрушений, походы вдоль

берега — все утрачено безвозвратно, ласковое солнце литлстоунских вечеров закатилось навеки...

Из всех радостей отпуска осталась одна-единственная: он не в магазине. Но ведь и это ненадолго. Вот впереди у него уже всего два дня, один день, полдня. И когда он вернулся в магазин, первые две ночи были полны тоски и отчаяния. Он дошел даже до того, что в письме домой туманно намекнул на свои мысли о работе, о будущем и сослался на Минтона, но в ответном письме миссис Киппс спросила: он, что же, хочет, чтобы Порники сказали, будто у него не хватило ума стать продавцом тканей? Довод был поистине убедительный. Нет, решил Киппс, он не допустит, чтобы его сочли неудачником.

Его очень подбодрила мужественная проповедь, которую громовым голосом читал рослый, откормленный, загорелый священник, только что вернувшийся из какой-то колониальной епархии по причине слабого здоровья; проповедник увещевал прихожан делать любое дело в полную силу; притом, готовясь к конфирмации, Киппс снова взялся за катехизис, и это тоже напомнило ему, что человеку следует исполнять свои обязанности на той стезе, по которой богу было угодно его направить.

Шло время, Киппс понемногу успокаивался, и, если бы не чудо, на этом бы и кончилась его недолгая трагедия. Он примирился со своим положением — этого требовала от него церковь, да и все равно он не видел никакого выхода.

Первое облегчение своей участи он ощутил, когда мало-помалу привыкли и перестали болеть ноги. А затем чуть повеяло вольным ветерком: мистер Шелфорд упорно держался за так называемую «всеобщую свободу», за «идею» своей «Системы», опираясь, конечно, на высокопатриотические соображения, но наконец под нажимом кое-кого из постоянных покупателей вынужден был присоединиться к «Ассоциации магазинов короткого дня»; и вот каждый четверг мистер Киппс мог теперь наконец выйти в город засветло и отправиться куда угодно. Вдобавок пессимист Минтон отслужил положенный по договору срок и уволился — он записался в кавалерию, пустился по белу свету, жил жизнью беспорядочной, но полной приключений, которая кончилась в одной

хорошо известной и, в сущности, вовсе не кровопролитной ночной битве.

Скоро Киппс перестал протирать окна; теперь он обслуживал покупателей (самых незначительных), подносил товары на выбор; и вот он уже старший ученик, и у него пробиваются усы, и уже есть три ученика, которыми он имеет полное право помыкать, раздавая им оплеухи и подзатыльники. Правда, один из них, хоть и моложе Киппса, но такой верзила, что его не стукнешь — и это с его стороны просто бессовестно.

5

Теперь Киппс уже не думает неотступно о своей горькой судьбе, его отвлекает множество других забот, свойственных юности. Он стал, например, больше интересоваться своим платьем, стал понимать, что на него смотрят, начал заглядывать в зеркала в пошивочной и в глаза учениц.

Ему есть у кого поучиться, с кого брать пример. Его непосредственное начальство Пирс, что называется,—записной щеголь и рьяно исповедует свою веру. В часы затишья в отделе хлопчатобумажных тканей с важностью рассуждали о воротничках и галстуках, о покрое брюк и форме носка у башмаков. Настал наконец час, когда Киппс отправился к портному и сменил куртку на утреннюю визитку. Окрыленный, он купил еще на свой страх и риск взамен отложных три стоячих воротничка. Они были высотой чуть не в добрых три дюйма, даже выше воротничков Пирса, безжалостно натирали шею, оставляя красный след под самым ухом... Что ж, теперь не стыдно показаться даже и в обществе модника Пирса, занявшего место Минтона.

Когда Киппс начал одеваться, как подобает молодому человеку, юные красавицы, служившие в заведении Шелфорда, обнаружили, что он перестал быть «маленьким чучелом»,— и это лучше всего помогло ему забыть о своей горькой судьбе. Прежде они и смотреть на него не желали: пусть знает свое место. Теперь они вдруг заметили, что он «симпатичный мальчик»,— отсюда лишь один шаг до «милого дружка», и это даже в некотором смысле предпочтительнее. Как это ни прискорбно, его вер-

ность Энн не выдержала первого же испытания. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, насколько выиграла бы эта повесть во мнении романтически настроенного читателя, если бы мой герой не изменил своей первой любви. Но то была бы совсем иная повесть. И все же в одном отношении Киппс оставался ей верен: сколько он потом ни влюблялся, ни разу не испытал он того удивительного тепла, того ощущения внутренней близости, какие вызывало в нем зарумянившееся личико Энн. И однако в этих новых увлечениях тоже были свои волнения и радости.

Прежде всех его заметила и своим поведением дала ему понять, что он может возбуждать интерес, одна из красавиц, служивших в пошивочной мастерской. Она заговаривала с ним, вызывала его на разговоры, дала ему почитать книжку, даже заштопала ему однажды носок и сказала, что отныне будет его старшей сестрой. Она милостиво разрешала сопровождать ее в церковь и всем своим видом говорила: *это я его сюда привела.* Вслед за тем она обратила свои заботы на его душу, одолела его показное, чисто мужское равнодушие к религии и добилась от него обещания конфирмоваться. Это подстегнуло другую девицу из мастерской, ее соперницу, и она во всеоружии всех женских чар и лукавства тоже повела наступление на готовое расцвести сердце Киппса. Она избрала более светский путь к его сердцу: по воскресеньям после обеда ходила с ним прогуляться на набережную, внушала ему, что настоящий джентльмен, сопровождая даму, всегда должен идти со стороны мостовой и надевать или хотя бы держать в руках перчатки,— словом, старалась сделать из него истого англичанина. Вскоре соперницы обменялись весьма колкими замечаниями по поводу воскресного времяпрепровождения Киппса. Таким образом, Киппс был признан мужчиной, подходящим объектом для не слишком острых стрел платонического Эроса, которые залетают даже в самые первоклассные торговые заведения. И, как многие и многие молодые англичане, он возжаждал если уж не стать «джентльменом», то хотя бы возможно больше походить на таковоro.

Он отдался этим новым интересам со всем пылом юности. Его посвятили в тайны флирта, а немного погодя

из поучительных намеков Пирса, который охотно рассуждал о таких предметах, ему открылись и менее невинные формы ухаживания. Вскоре он был обручен. За какие-нибудь два года он был обручен шесть раз, и, по его собственному убеждению, стал отчаянным сердцеедом. Но все равно оставался истинным джентльменом, не говоря уже о том, что за четыре весьма кратких урока, данных ему сдержанным и угрюмым молодым священником, он подготовился к конфирмации, а затем окончательно вступил в лоно англиканской церкви.

В мануфактурных магазинах за помолвкой вовсе не обязательно следует женитьба. Она куда более утонченна, не носит столь вульгарно практического характера и не так неизбежно связывает людей, как среди прозаических богачей. Какой же юной красотке приятно обходиться без суженого? Это даже противоестественно, а Киппса совсем не трудно было заполучить на эту роль Когда вы обручены, рассуждают девицы, это очень удобно. Есть кому сопровождать вас в церковь и на прогулки: неприлично прогуливаться с молодым человеком, тем паче принимать его ухаживания, если он вам никто — не жених и не названый брат; вас сочтут легкомысленной особой или скажут, что ведешь себя, как служанка. Все мы, конечно, равны перед богом, но молоденькая продавщица у нас в Англии так же страшится походить на служанку, как скажем, журналистка — на продавщицу, а настоящая аристократка — на любую девушку, которая в поте лица зарабатывает свой хлеб. Но даже когда им казалось, что чувства их глубоки, они только еще резвились в мелководье, у самого берега любви, они в лучшем случае по-детски плескались подле глубин, которые человеку суждено преодолеть вплавь,— либо пойти ко дну.

Киппс не изведал ни глубин, ни опасностей, ни взлета на могучих волнах. Для него любовь состояла в заботах о туалете, в стремлении покрасоваться, блеснуть удачным словцом, польстить друг дружке, похвастать, в радостях ответного рукопожатия, в безрассудно смелом переходе к обращению просто по имени, а высшим выражением любви были совместные прогулки, разговоры по душам, более или менее робкое пожатие локотка. По-

сидеть в обнимку с любимой на скамейке, когда стемнеет,— это, разумеется, верх дерзости, большего уже никак нельзя себе позволить на стезе служения неумолимой богине, что вышла из пены морской. Так называемые «невесты» входили в сердце Киппса и вновь покидали его, точно пассажиры омнибуса, и за недолгий срок, что проводили с ним в пути, и в минуту расставания не ведали ни бурного счастья, ни горя. И, однако, любовные интересы постоянно занимали Киппса, помогая ему, как и многое другое, пройти через эти годы рабства...

6

Виньеткой, заключающей эту главу, пусть послужит такая сценка.

Солнечный воскресный день; место действия — уединенная скамейка на набережной. Киппс на четыре года старше, чем был в час расставания с Энн. Над верхней губой у него заметный невооруженным глазом пушок, и костюм его — предел щегольства, какое позволяют его средства. Воротничок врезается в отнюдь не волевой подбородок, поля шляпы изогнуты, галстук говорит об отменном вкусе; на нем щегольские, но скромного покроя брюки и светлые ботинки на пуговицах. Дешевой тросточкой он ворошит гравий на дорожке и искоса поглядывает на молоденькую кассиршу Фло Бейтс. На Фло ослепительная блузка и шляпка с яркой отделкой. Она одета по последней моде — какая-нибудь светская дама в этом, пожалуй, усомнилась бы, но Киппс чужд подобных сомнений и горд, что состоит ее «дружком» и что ему позволено хотя бы изредка называть ее просто по имени.

Они, как теперь принято, легко и непринужденно беседуют, с лица Фло не сходит улыбка; веселый нрав — главное ее очарование.

— Понимаете, вы думаете совсем не про то, про что я,— говорит Киппс.

— Ну, хорошо, а вы про что?

— Не про то, про что вы.

— Тогда скажите.

— Ну, это совсем другой разговор.

Молчание. Они многозначительно смотрят друг на друга.

— С вами не больно-то поговоришь напрямки,— говорит молодая девица.

— Ну и вы, знаете, не простушка.

— Не простушка?

— Да.

— Это чего же, мол, со мной нельзя напрямки?

— Нет. Я не про то... Хотя...

Молчание.

— Ну?

— Вы совсем даже не простушка... вы (тут он пускает петуха) хорошенькая. Понимаете?

— Ах, да ну вас! — Она тоже чуть не взвизгивает от удовольствия, ударяет его перчаткой и вдруг бросает быстрый взгляд на кольцо у себя на пальце. Улыбки как не бывало... Снова молчание. Но вот глаза их встретились, и на лице Фло снова заиграла улыбка.

— Интересно знать...— начал Киппс.

— Что знать?..

— Откуда у вас это кольцо?

Она подносит к глазам руку с кольцом, так что теперь только и видны эти глазки (очень миленькие).

— Ишь, какой любопытный,— медленно говорит она, и улыбка ее становится еще шире, победительнее.

— Я и сам догадаюсь.

— А вот не догадаетесь.

— Не догадаюсь?

— Нипочем.

— Догадаюсь с трех раз.

— А имя не угадаете.

— Да ну?

— А вот и ну!

— Ладно уж, дайте-ка я на него погляжу.

Киппс рассматривает кольцо. Молчание, хихиканье, легкая борьба, Киппс пытается снять кольцо с ее пальца. Она хлопает Киппса по руке. Невдалеке на дорожке появляется прохожий, и она торопливо отдергивает руку.

Косится на прохожего: вдруг знакомое лицо? И пока он не скрывается из виду, оба пристыженно молчат...

ГЛАВА III

КЛАСС РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

1

Служение Венере и уроки искусства одеваться очень помогали Киппсу рассеяться и облегчали тяготы жизни, однако лишь ярый оптимист счел бы его счастливым человеком. Смутное недовольство жизнью порой поднималось со дна его души и затуманивало ее. Когда для Киппса наступала такая полоса, он чувствовал, что есть же, есть в жизни что-то важное, чего он лишен. Ну почему его преследует ощущение, что он живет как-то не так и что этого уже не поправишь? Все сильней одолевала его юношеская застенчивость и перерастала в уверенность: конечно, он неудачник, никуда он не годится! Это очень мило — обзавестись перчатками, в дверях пропускать даму вперед, никогда не обращаться к девушке просто «мисс», сопровождая ее, идти со стороны мостовой, но неужели в жизни нет чего-то иного, более серьезного, глубокого? Например, знания. Киппс уже обнаружил непроходимые трясины невежества, капканы, расставленные на каждом шагу; наверно, другим людям, настоящим дамам и джентльменам, или, скажем, духовным особам, у которых есть и знания и уверенность в себе, все это не страшно, а вот простым смертным их подчас очень нелегко миновать. В отделе дамских шляп появилась девушка, которая, по ее словам, умеет изъясняться по-французски и по-немецки. Она с презрением отвергла попытки Киппса поухаживать за ней, и он вновь мучительно ощутил свое ничтожество. Впрочем, он попытался обратить все в шутку — при встрече он неизменно приветствовал ее словами: «Парлевус франсей» — и подговорил младшего ученика следовать его примеру.

Втайне от всех он даже сделал попытку избавиться от недостатков, о которых сам догадывался. За пять шиллингов купил у одного малого, который оказался на мели, пять выпусков «Библиотеки самообразования» и даже намеревался их читать — «Избранное» Шекспира, «К вершинам знания» Бэкона и поэмы Роберта Геррика. Он сражался с Шекспиром всю вторую половину

воскресного дня и в конце концов понял, что даже те скудные познания в области английской литературы, которыми снабдил своих питомцев мистер Вудро, безнадежно улетучились из его памяти. Он читал и чувствовал, что все это красиво написано, но про что тут говорится и для чего, так и не мог взять в толк. Он знал: в литературе есть некий тайный смысл, но как до него доискаться — забыл. Хуже того, однажды он язвительно отчитывал младшего ученика за невежество, и вдруг оказалось, что у него самого выскочили из головы реки Англии и только с величайшим трудом ему удалось вспомнить какой-то давным-давно заученный наизусть стишок.

Мне думается, каждый человек переживает в юности пору неудовлетворенности собой и своей жизнью. Созревающая душа ищет чего-то, что помогло бы ей закалить волю, на что можно было бы направить бурный поток чувств, становящийся с каждым годом все полноводнее. Для многих, хотя и не для всех, таким руслом становится религия, но в те годы в духовной жизни Фолкстона царил застой, не происходило ничего такого, что могло бы дать направление мыслям Киппса. Для иных — это любовь. Мне также приходилось наблюдать, как внутренняя неудовлетворенность кончалась торжественной клятвой прочитывать по серьезной книге в неделю, за год прочесть библию от корки до корки, сдать с отличием вступительные экзамены в какой-либо колледж, стать искусным химиком, никогда не лгать. Киппса эта неудовлетворенность привела к стремлению получить техническое образование, как понимают его у нас, на юге Англии.

В последний год ученичества эти поиски свели Киппса с фолкстонским обществом Молодых Людей, где верховодил некий мистер Честер Филин. Это был молодой человек с весьма скромными средствами, унаследовавший долю в агентстве по продаже домов, который читал филантропические романы миссис Хемфри Уорд и чувствовал призвание к общественной деятельности. У него было бледное лицо, крупный нос, бледно-голубые глаза и срывающийся голос. Неизменный член всевозможных комитетов, он всегда был незаменим и на виду во всех общественных и благотворительных начина-

ниях, во всех публичных мероприятиях, до участия в которых снисходили великие мира сего. Жил он вместе со своей единственной сестрой. Для юношей вроде Киппса, членов общества Молодых Людей, он прочел весьма поучительный доклад о самообразовании. «Самообразование,— заявил он,— одна из примечательнейших особенностей английской жизни»,— и весьма возмущался чрезмерной ученостью немцев. Под конец молодой немец, парикмахер, вступился за немецкую систему образования, а потом почему-то перешел на ганноверскую политику. Он разволновался, заспешил, стал заметен его акцент; слушатели радостно хихикали и потешались над его скверным английским языком, и Киппс так развеселился, что совсем забыл спросить совета у этого Честера Филина, как бы заняться самообразованием при том ограниченном времени, которое оставляет Система мистера Шелфорда. Но поздно ночью он снова вспомнил о своем намерении.

И лишь через несколько месяцев, когда уже кончился срок его ученичества и мистер Шелфорд произвел его в стажеры с окладом двадцать фунтов в год, присовокупив к этому парочку шпилек, Киппс случайно прочел статью о техническом образовании в газете, которую забыл на прилавке какой-то коммивояжер, и вновь подумал о своих планах. Зерно упало в добрую почву. Что-то сдвинулось в нем в эту минуту, мысль его упорно заработала в одном определенном направлении. Статья была написана горячо и убедительно, и Киппс тут же принялся наводить справки о местных курсах Науки и Прикладного Искусства; он рассказал о своем намерении всем и каждому, выслушал советы тех, кто поддерживал этот его отважный шаг, и отправился на курсы. Поначалу он занялся рисунком, так как группа рисунка занималась в дни, когда магазин закрывался раньше, и сделал уже кое-какие успехи в копировании, что для двух поколений англичан было первым этапом на пути в искусство, но тут дни занятий изменили. Поэтому, когда задули мартовские ветры, Киппса занесло в класс резьбы по дереву, где он заинтересовался сначала этим полезным и облагораживающим предметом, а затем и преподавательницей.

2

Класс резьбы по дереву посещали только избранные слушатели, и руководила им молодая особа из хорошей семьи по фамилии Уолшингем; а поскольку ей суждено было учить Киппса далеко не только резьбе по дереву, читателю не грех познакомиться с нею поближе. Она была всего на год или на два старше Киппса; бледное лицо с темно-серыми глазами светилось мыслью, из своих черных волос она сооружала довольно прихотливую прическу, позаимствованную с какой-то картины Россетти в Музее Южного Кенсингтона. Стройная и тоненькая, она при небольшом росте производила впечатление высокой; красивые руки казались особенно белыми рядом с загрубевшими от свертков и тюков материи руками Киппса. Она носила платья свободного покроя из мягких неярких тканей, которые появились в Англии в пору всеобщего увлечения социализмом и эстетизмом и еще поныне пользуются успехом среди тех, кто читает романы Тургенева, презирает развлекательную беллетристику и размышляет только о предметах высоких и благородных. На мой взгляд, мисс Уолшингем была не красивее многих других, но Киппсу она казалась настоящей красавицей. Она принята в Лондонский университет, сказали Киппсу, и это совершенно поразило его воображение. А до чего ловко и умело она кромсала добротные деревянные дощечки и чурбачки, обращая их в никчемные безделушки! Как тут было не восхищаться!

Поначалу, узнав, что его будет учить «девица», Киппс был возмущен, тем более что Баггинс недавно метал громы и молнии против хозяев, которые все чаще принимают нынче на службу женщин.

— Нам же надо прокормить жен,— говорил Баггинс (хотя, заметим к слову, у него самого никакой жены не было),— а как их нынче прокормишь, когда толпы девиц вырывают у нас работу из рук.

Потом с помощью Пирса Киппс взглянул на дело по-другому и решил, что это даже любопытно. Когда же наконец он увидел свою учительницу, увидел, как уверенно она ведет занятия, как спокойно подходит к нему, он был совершенно сбит с толку и стал взирать на темноволосую, очень изящную, тоненькую девушку с благоговением.

Занятия посещали две юные девицы и одна особа постарше — подруги мисс Уолшингем, которые хотели не столько овладеть искусством резьбы по дереву, сколько поддержать ее интересный опыт; ходил туда старообразный молодой человек в очках и с черной бородкой, который никогда ни с кем не заговаривал и был, кажется, так близорук, что не мог охватить взглядом свою работу целиком; и мальчик, у которого, как говорили, особый дар в этой области; и хозяйка меблированных комнат, которая зимой «не могла обходиться без курсов»,— они ей «очень помогают», сообщила она Киппсу, словно это было какое-то лекарство. Изредка в класс заглядывал мистер Честер Филин — изысканно вежливый, иногда с какими-то бумагами, иногда без оных; заходил он будто бы по делам какого-нибудь очередного комитета, а в действительности, чтобы поболтать с самой невзрачной подружкой мисс Уолшингем; иной раз появлялся и брат мисс Уолшингем, худощавый, темноволосый молодой человек с бледным лицом, минутами походивший на Наполеона; он приходил к концу занятий, чтобы проводить сестру домой.

Все они подавляли Киппса, заставляли чувствовать себя ничтожеством, и чувство это возрастало во сто крат при взгляде на мисс Уолшингем. Казалось, они так много знают, во всем разбираются и так непринужденно держатся... Прежде Киппс и не подозревал, что есть на свете такие люди. Ведь это был такой удивительный мир — муляжи, диаграммы, таблицы, скамьи, доски — мир искусства и красоты, полный тайн, которые он ревниво хранит от Киппса, а вот они чувствуют себя тут, как рыба в воде. Да, наверно, у себя дома все они без труда играют на фортепьяно, говорят на иностранных языках, а на столах повсюду лежат книги. У них уж, конечно, подают какие-нибудь особые кушанья. Они «знают этикет», им ничего не стоит избежать в речи всяческих ошибок и не надо, как ему, покупать грошовые наставления «Чего следует избегать» или «Распространенные ошибки в речи». А он ничего этого не знает, ровным счетом ничего; из глубокой тьмы он вдруг попал в мир, залитый ярким светом, о существовании которого даже не подозревал, и вот теперь щурится, ослепленный.

Он слышал, как легко и свободно, а иногда свысока они рассуждают об экзаменах, о книгах и картинах, с презрением — о последней академической выставке, а однажды в конце занятий мистер Честер Филин, молодой Уолшингем и две девицы затеяли спор о чем-то, что называлось не то «Вагнер», не то «Варгнер» — кажется, они говорили и так и эдак, и потом Киппс понял, что так зовется человек, который выдумывает музыку (у Каршота и Баггинса было на этот счет свое особое мнение). Молодой Уолшингем сказал что-то такое, что называлось «эпиграммой», и все ему аплодировали. Киппс, как я уже упоминал, чувствовал себя существом из мира тьмы, наглым самозванцем на этих высотах. Когда была прочитана эпиграмма, он улыбнулся первый, делая вид, что понял, и тотчас погасил улыбку — пусть не думают, что он слушал. Его даже в жар бросило (так ему стало неловко), но никто ничего не заметил.

Был лишь один способ утаить всю глубину своего невежества — держать язык за зубами, и Киппс старательно и сосредоточенно обтесывал чурбачки, в душе поклоняясь даже тени мисс Уолшингем. Она обычно подходила и поправляла, давала совет, с трудом скрывая презрение — так думал Киппс,— и он не очень ошибался; на первых порах она видела в нем лишь юнца с красными ушами.

Мало-помалу он справился с первым приступом благоговейного смирения, перестал ощущать себя существом низшей породы, в чем ему немало помогла содержательница меблированных комнат: во время работы ей необходимо было разговаривать, но так как она сильно недолюбливала мисс Уолшингем и ее подружек, а молодой человек в очках был глуховат, ей оставалось разговаривать только с Киппсом. Скоро он понял, что обожает мисс Уолшингем, и называть это чувство просто влюбленностью было бы поистине кощунственной фамильярностью.

Это чувство, как вы, надеюсь, понимаете, ни капельки не походило на флирт, заигрывание или те неглубокие страсти, которыми наэлектризованы гуляющие по набережной и в гавани. Киппс знал это с самого начала. Бледное одухотворенное лицо мисс Уолшингем, осененное темным облаком волос, сразу поставило ее совсем в иной

ряд; у него и в мыслях не было, что за ней можно поухаживать. Самое большее, на что можно осмелиться с таким существом, ему ли, другому ли человеку,— это, почтительно приблизившись, приносить ей жертвы, не жалеть ради нее даже своей жизни. Ибо если его любовь была самоуничижением, в ней при этом было столько мужественности, что хватило бы на всю мужскую половину рода человеческого. Киппс еще не научился в глубине души считать себя лучше всех. Вот когда человек пришел к этому, значит, песенка его спета и ждать от жизни больше нечего.

Новое вдохновенное чувство заставило его забыть все остальные увлечения. Он думал о мисс Уолшингем, наматывая на болванку кретон, она стояла у него перед глазами, когда он пил чай, и заслоняла всех вокруг, и он становился молчалив, задумчив и так рассеян, что младший ученик, сосед Киппса по столу, потешался и передразнивал его, откусывая огромные куски хлеба с маслом, а Киппс даже не замечал насмешки. Он уже не пользовался прежним успехом в отделе украшений и безделушек, «пошивочная» охладела к нему, а «дамские шляпы» и знать его не хотели. Но ему было все равно. Незадолго до того Фло Бейтс ушла на другое место, в Танбридж, «поближе к дому», и между ними завязалась переписка, которая на первых порах подняла Киппса на неслыханные эпистолярные высоты, но теперь и она сошла на нет: он перестал отвечать. Вскоре он прослышал, что Фло, должно быть, обиженная его молчанием, завела флирт с одним молодым фермером, но не испытал ни боли, ни досады.

По четвергам он выковыривал и выдалбливал на кусках дерева пересекающиеся окружности и ромбы, всю ту вымученную бессмыслицу, которая в нашем сумасшедшем мире называется орнаментом, и украдкой следил за мисс Уолшингем. Поэтому окружности получались неровные, а прямоугольники — кривые, но они стали только приятнее для неискушенного взгляда; а однажды он даже порезал палец. Он с радостью порезал бы все пальцы до одного, если бы через рану могли излиться обуревавшие его смутные чувства. Но он старательно уклонялся от разговора, о котором так мечтал: боялся, что тут-то и обнаружится все его невежество.

3

И вот однажды во время занятий она хотела растворить окно и не смогла. Обладатель черной бородки долбил свой чурбачок и ничего не заметил.

Киппс мигом понял, что ему улыбнулось счастье. Он уронил свой инструмент и кинулся на помощь.

— Позвольте мне,— сказал он.

Но и ему не удалось растворить окно!

— О, пожалуйста, не беспокойтесь,— сказала мисс Уолшингем.

— Какое ж тут беспокойство! — тяжело дыша, возразил Киппс.

Однако рама не поддавалась. Он чувствовал — на карту поставлено его мужское достоинство. Он поднатужился, и вдруг с треском лопнуло стекло, а его рука, сорвавшись, проскочила в пустоту за окном.

— Ну вот! — сказала мисс Уолшингем, и стекло со звоном упало во двор.

Киппс хотел было вытащить руку, но в запястье вонзился острый край стекла. Он обернулся, виноватый и огорченный.

— Простите великодушно,— сказал он, прочитав упрек в глазах мисс Уолшингем.— Кто его знал, что оно треснет этак.— Как будто он надеялся, что стекло треснет по-другому и гораздо удачнее.

Одаренный мальчик глядел на Киппса и весь корчился, еле удерживаясь от смеха.

— Вы порезались,— сказала одна из подружек и встала. У нее было милое лицо, усеянное веснушками, чувствовалось, что она доброжелательна и отзывчива, и слова ее прозвучали спокойно и бодро, как у заправской сестры милосердия.

Киппс опустил глаза — по руке шла длинная алая полоса, молодой человек с бородкой смотрел на него круглыми испуганными глазами.

— Да, вы порезались,— сказала мисс Уолшингем.

И Киппс посмотрел на свою руку уже с гораздо большим интересом.

— Он порезался,— сказала девица в летах. Она, видно, не знала, как следует в таких случаях поступать благовоспитанной особе.— Рана... э-э...— Слово «крово-

точит» она была не в силах вымолвить и лишь беспомощно кивнула содержательнице меблированных комнат.

— Это ужасно,— прибавила она; ей и хотелось поглядеть, и она не знала, прилично ли это.

— Конечно же, он порезался,— сказала содержательница меблированных комнат, вдруг рассердившись на Киппса; а девица в летах, которая не могла снизойти до человека столь явно не аристократического происхождения, вновь принялась преспокойно резать по дереву с таким видом, словно только так сейчас и следует поступить, хотя никто, кроме нее, кажется, не был в этом уверен.

— Вам надо перевязать руку,— сказала мисс Уолшингем.

— Надо перевязать ему руку,— вторила ей ее веснушчатая подружка.

— Кто ж его знал, что оно этак треснет,— простодушно повторил Киппс.— Я и думать не думал...

Он опять поглядел на руку, увидел, что кровь вот-вот капнет на пол этого святилища, и, другой рукой нащупывая носовой платок, аккуратно слизнул каплю.

— Что вы делаете! — воскликнула мисс Уолшингем, а ее веснушчатая подружка вся сморщилась от ужаса.

Одаренный мальчик, не в силах дольше сдерживаться, как-то визгливо захихикал, но все же Киппсу в ту минуту казалось, что поступок, вызвавший испуганное восклицание мисс Уолшингем, вполне похвальный: мужчине подобает стойко переносить боль, в особенности если он ранен при обстоятельствах, которые, что ни говори, делают ему честь.

— Надо сделать перевязку,— сказала содержательница меблированных комнат, подняв резец.— Порез, наверно, глубокий, вон как кровь хлещет.

— Надо перевязать руку,—сказала девица в веснушках и нерешительно остановилась перед Киппсом.— У вас есть носовой платок? — спросила она.

— Нету, и как это я его позабыл? — ответил Киппс.— Я... Насморка-то у меня нет, вот, видать, я и не захватил...

Он опять слизнул кровь.

Девица с веснушками переглянулась с мисс Уолшингем. Потом обе взглянули на рану Киппса. Одаренный мальчик наконец не выдержал и отчаянно загототал. Словно завороженная взглядом девицы с веснушками, мисс Уолшингем вынула свой носовой платок.

— Я дважды слушала лекции по первой помощи на курсах сестер милосердия,— изрекла девица в летах,— и когда порезана вена, надо действовать по-одному, а когда артерия — по-другому... вот именно...

— Дайте-ка вашу руку,— сказала девица в веснушках и с помощью мисс Уолшингем принялась деловито накладывать повязку. Да, они и в самом деле взялись его перевязывать. Отвернули манжеты — к счастью, он надел сегодня не очень обтрепанные — и, поддерживая его руку, обмотали ее мягким носовым платком, а концы стянули узлом. Совсем близко он видел лицо мисс Уолшингем, такое невообразимо прекрасное лицо.

— Мы не делаем вам больно? — спросила она.

— Ни капельки,— сказал Киппс. Да отпили они ему руку напрочь, он все равно ответил бы так же.

— Мы ведь не очень умелые сестры милосердия,— сказала девица в веснушках.

— Ужасно глубокий порез,— сказала мисс Уолшингем.

— Пустяковина,— возразил Киппс,— а вам вон какое беспокойство. И окно я разбил, вот что нехорошо. Кто ж его знал.

— Опасна не сама рана, опасно последующее заражение,—произнесла девица в летах.

— За стекло я заплачу, вы не сомневайтесь,— важно изрек Киппс.

— Надо затянуть как можно туже, чтобы остановить кровотечение,— сказала девица с веснушками.

— Да чепуховина это,— сказал Киппс.— Вот что окно я разбил, это нехорошо.

— Прижми узел покрепче, душенька,— сказала девица в веснушках.

— А? — не понял Киппс.— Я хотел сказать...

Обе девицы были поглощены узлом, а мистер Киппс, весь пунцовый, всецело поглощен ими обеими.

— Начинается омертвение, и тогда неизбежна ампутация,— продолжала девица в летах.

— Ампутация,— эхом отозвалась содержательница меблированных комнат.

— Да-с, ампутация,— сказала девица в летах и вонзила резец в свой искромсанный орнамент.

— Ну вот,— сказала девица в веснушках.— Помоему, хорошо. Не слишком туго, вы уверены?

— Ни капельки,— сказал Киппс.

Он встретился взглядом с мисс Уолшингем и улыбнулся: вот видите, раны, боль — мне все нипочем.

— Это ж просто царапина,— прибавил он.

Тут возле них очутилась девица в летах.

— Надо было промыть рану, милочка,— сказала она.— Я как раз говорила мисс Коллис...— Она сквозь очки уставилась на повязку.— Вы перевязали не по правилам,— заметила она неодобрительно.— Вам следовало бы прослушать курс первой помощи. Но, видно, придется обойтись этим. Вам очень больно?

— Ни капельки,— ответил Киппс и улыбнулся им всем, точно бывалый солдат в госпитале.

— Ну, конечно, это очень больно,— сказала мисс Уолшингем.

— Во всяком случае, вы очень терпеливый пациент,— сказала девица в веснушках.

Мистер Киппс зарделся.

— Одно нехорошо — окно я разбил,— сказал он.— Да кто ж его знал, что оно так разобьется!

Наступило молчание.

— Боюсь, вы сегодня уже не сможете резать,— нарушила его мисс Уолшингем.

— Я попробую,— сказал Киппс.— Мне правда не больно, тут и толковать не о чем.

Рукой, перевязанной платком мисс Уолшингем, Киппс героически резал по дереву. Немного погодя она подошла к нему. Впервые она смотрела на него с интересом.

— Боюсь, сегодня дело у вас подвигается медленно,— сказала она.

Девица в веснушках подняла глаза от своей работы и внимательно посмотрела на мисс Уолшингем.

— А все-таки помаленьку движется,— сказал Киппс.— Мне нельзя терять время. У нашего брата свободного времени в обрез.

В этом «у нашего брата» молодые особы почувствовали истинную скромность. Им открылось что-то новое и неожиданное в этом тихом пареньке; мисс Уолшингем рискнула похвалить его работу и спросила, думает ли он продолжать занятия в дальнейшем. Киппс сам еще толком не знал, мало ли как все обернется, но если на будущую зиму он останется в Фолкстоне, он непременно будет продолжать. В ту минуту мисс Уолшингем не пришло в голову спросить, почему его занятия искусством зависят от пребывания в Фолкстоне. Так они говорили, и беседа оборвалась не сразу, даже когда в класс вошел мистер Честер Филин. И лишь когда она наконец иссякла, Киппс понял, какую неоценимую услугу оказала ему порезанная рука...

В ту ночь он снова и снова перебирал в уме весь разговор, смаковал одни слова, по двадцать раз мысленно возвращался к другим, сочинял фразы, которые мог бы сказать мисс Уолшингем, фразы, в которых более или менее ясно мог бы выразить, как он ею восхищается. Пожалуй, пусть бы даже его рука немножко омертвела — может быть, тогда мисс Уолшингем им заинтересуется, или уж пускай рана поскорей заживет — тогда сразу станет видно, какое у него отличное здоровье...

4

Окно было разбито в конце апреля, а занятия кончались в мае. За этот короткий срок ничего существенного не произошло, зато бурно расцветали чувства. Будет несправедливо, если я позволю читателю думать, что лицо Киппса лишено приятности. Как выразилась веснушчатая подружка Элен Уолшингем, он был «интересный» юноша — теперь его нелепая прическа и красные уши почему-то уже не так бросались в глаза.

Подружки обсудили его со всех сторон, и девица в веснушках обнаружила в нем какую-то особую задумчивость. Они нашли в нем «прирожденную деликатность», и девица в веснушках решила его опекать. Эта девятнадцатилетняя, умненькая, доброжелательная особа, движимая материнским инстинктом, опекала Киппса с куда большей охотой, нежели резала по дереву. От нее не укрылось, что Киппс влюблен в Элен Уолшингем, и эта

любовь показалась ей необыкновенно романтичной и трогательной, и ведь подумайте, как интересно! Элен просто прелесть, ну можно ли не посодействовать Киппсу, который готов беззаветно предаться ей во власть!

Она разговаривала с Киппсом, расспрашивала его и вскоре уяснила и себе и ему, как обстоит дело. Он тяготится своим положением, его не понимают. Он признался ей, что «не больно умеет приноравливаться» к покупателям, она же сразу поняла, что он «слишком щепетилен для своей профессии». Недовольство своим местом в жизни, мучительное ощущение, что образование от него ускользает, боль, которая уже стала привычной и немного притупилась,— теперь он вновь ощутил все это с прежней остротой, но уже без прежней безнадежности. Теперь все это стало отчасти даже приятно: ведь ему сочувствуют.

Однажды за обедом Каршот и Баггинс затеяли разговор про «этих самых писателей»: Диккенс — да он наклеивал этикетки на банки с ваксой, а Теккерей — тот картины рисовал, и никто не желал покупать его «мазню», а Сэмюэл Джонсон пришел в Лондон без сапог, «из гордости» выбросил свою единственную пару.

— Тут главное — удача, — сказал Баггинс.— Вытащил счастливый билет — вот ты и на коне!

— И ведь не жизнь — малина,— сказала мисс Мергл.— Попишут час-другой в день — и гуляй себе. Ни дать ни взять аристократы.

— Не такое уж это легкое дело, как вам кажется,— сказал Каршот, наклоняясь за очередным куском.

— Хорошо бы с ними сменяться,— сказал Баггинс.— Вот бы поглядеть, как какой-нибудь писака станет сортировать с Джимми.

— Небось, они все списывают друг у дружки без зазрения совести,— сказала мисс Мергл.

— А хоть бы и так,— громко чавкая, сказал Каршот.— Переписать-то все своей рукой тоже не шутка.

Они продолжали рассуждать о жизни писателей — какая она легкая да почетная, и все тебя уважают.

— Всюду их портреты да фотографии... Только наденет новый костюм, и уже: щелк! Прямо как коронованные особы,— сказала мисс Мергл.

Все эти разговоры воспламенили воображение Киппса. Вот мост через пропасть. Люди из самых низов, а вступили на это чудесное поприще — и возвысились в обществе до степеней, к которым стремится каждый истый англичанин; достигнув этих высот, можно давать чаевые лакею, презирать портного и даже общаться с полководцами.

«Вот это жизнь! Ни дать ни взять аристократы». Весь день этот разговор не шел у Киппса из головы, он стал грезить наяву. А вдруг он возьмет да и напишет книгу под вымышленным именем, и она наделает шуму, а он пока что будет все равно продавать мануфактуру... Нет, это невозможно. Ну, а вдруг все-таки?.. Прекрасная мечта, он никак не мог с ней расстаться.

И в следующий же раз на уроке резьбы он не скрыл, признался, что хотел бы стать сочинителем, «только ведь не каждому такая удача».

С этих пор Киппс время от времени испытывал приятное ощущение человека, на которого смотрят с интересом. Он молчаливый, никому не ведомый Диккенс или на крайний случай что-то в этом роде; все окружающие так и думают. В нем что-то есть, но только жестокая судьба не дала ему расцвести. И вот это-то таинственное нечто помогло перекинуть мост через пропасть, отделявшую его от мисс Уолшингем. Он, конечно, неудачник, серый и необразованный, но в нем что-то есть. И, быть может, если ему помочь?.. Обе девушки, в особенности обладательница веснушек, старались подбодрить его, может, он еще сделает героическое усилие и не даст пропасть втуне своим талантам (а что талант есть, эти добрые души не сомневались). Они были еще очень молоды и верили, что для милых и премилых молодых людей, особенно под женским влиянием, нет ничего невозможного.

Как я уже сказал, дирижировала всем этим девица в веснушках, но божеством была мисс Уолшингем. Иной раз, когда она глядела на Киппса, в ее глазах загорался огонек собственницы. Сомнений нет — он принадлежит ей безраздельно.

С ней самой Киппс почти не разговаривал. Все те смелые речи, которые он постоянно сочинял для нее, либо оставались невысказанными, либо в измененном виде

обращались к девице с веснушками. А она однажды поразила его до глубины души. Глядя в другой конец класса, где ее подружка доставала с полки какой-то слепок, она сказала ему:

— По-моему, в иные минуты Элен Уолшингем красивее всех красавиц на свете. Смотрите, до чего она сейчас хороша!

Киппс задохнулся и не мог перевести дух, а она смотрела на него, точно подающий надежды молодой хирург на больного, оперируемого без наркоза.

— Да, верно,— сказал наконец Киппс и поднял на нее глаза, в которых можно было прочесть все его чувства.

Его молчаливое признание заставило девушку с веснушками покраснеть, и сам он тоже весь залился краской.

— Я с вами согласен,— хрипло прибавил он, кашлянул, задумался было, потом продолжал священнодействовать — резать по дереву.

— Ты прелесть,— ни с того ни с сего сказала девица с веснушками, когда они с мисс Уолшингем возвращались в этот день домой.— Он тебя просто обожает.

— Но, дорогая, чем же я виновата?—спросила Элен.

— Так в этом же вся соль,— сказала девица в веснушках.— Чем же ты виновата?

А потом — Киппс оглянуться не успел — настал последний день занятий, день, который должен был оборвать их знакомство. Киппс совсем забыл о времени, и роковая дата застала его врасплох. Только-только он начал делать успехи и вырезать лепестки покрасивее — и вдруг все кончилось.

Но лишь возвратясь в магазин, он по-настоящему понял, что это и в самом деле конец, конец окончательный и бесповоротный.

В сущности, это началось на последнем уроке, когда о конце заговорила девица в веснушках. Она спросила, что станет делать Киппс, когда курсы закроются на каникулы. И высказала надежду, что он, как и собирался, займется самообразованием. Она честно и прямо сказала, что его долг перед самим собой — развить свой талант. Да, непременно, сказал Киппс, но на пути встает немало препятствий. У него нет книг. Она объ-

яснила ему, как записаться в городскую библиотеку. Чтобы получить библиотечную карточку, нужно подать заявление и чтоб за вас поручился какой-нибудь состоятельный человек, сказала она, ваш мистер Шелфорд, конечно же, не откажется подписать... И Киппс поддакнул, хотя прекрасно понимал, что обращаться к мистеру Шелфорду с подобной просьбой нечего и думать. Потом она сказала, что уезжает на лето в Северный Уэллс,— это ничуть не огорчило Киппса. Он, в свою очередь, сообщил, что после каникул непременно хочет продолжать заниматься резанием по дереву и прибавил: «...если только...».

Она проявила величайшую, на ее взгляд, деликатность — не стала спрашивать, что скрывается за этим «...если только...».

Потом он некоторое время молча работал резцом, то и дело поглядывая на мисс Уолшингем.

А потом поднялась суматоха с упаковкой, начали прощаться — мисс Коллис и девица в летах жали руки всем подряд, и вдруг Киппс очутился на площадке лестницы и с ним — обе его приятельницы. Кажется, только тут он понял, что это кончился самый последний урок. Все трое молчали,— и неожиданно девица в веснушках ушла обратно в класс, и Киппс впервые за все время остался наедине с мисс Уолшингем. У него тотчас захватило дух. Она поглядела на него в упор то ли сочувственно, то ли с любопытством и протянула руку.

— Ну что ж, до свидания, мистер Киппс,— сказала она.

Он держал эту беленькую ручку в своей и никак не мог выпустить.

— Я бы все-все сделал...— он хотел прибавить «ради вас», да смелости не хватило. И он не договорил, только пожал ей руку и прибавил:

— До свидания.

Помолчали.

— Желаю вам приятно отдыхать,— сказала Элен.

— Я на тот год опять стану ходить сюда на курсы, уж это точно,— расхрабрившись, выпалил Киппс и шагнул к лестнице.

— Надеюсь,— сказала мисс Уолшингем

Он быстро обернулся.

— Правда?

— Надеюсь, все мои ученики вернутся.

— Я-то вернусь... уж будьте в надежде,— сказал Киппс.— Уж не сомневайтесь,— произнес он насколько мог значительнее.

С минуту они молча смотрели друг на друга.

— До свидания,— повторила она.

Киппс приподнял шляпу.

И мисс Уолшингем пошла в класс.

— Ну?— кинулась к ней веснушчатая подружка.

— Ничего,— ответила Элен.— Пока — ничего.

И она стала деловито собирать разбросанные по столу инструменты. Девица в веснушках вышла на лестницу и немного постояла там. А возвратясь, поглядела на подругу строгими глазами. Ведь случилось нечто важное, очень важное. Все это, конечно, ни на что не похоже, нелепо, и все же вот оно, самое, самое главное для всякой девушки — любовь, поклонение, все то, ради чего существует женщина. Да, пожалуй, все-таки Элен приняла это слишком холодно и спокойно.

ГЛАВА IV

ЧИТТЕРЛОУ

1

В следующий четверг, в час, когда обычно начинались занятия на курсах, Киппсом овладело глубочайшее уныние. Облокотясь на груду юмористических листков, подперев ладонями подбородок, сидел он в читальне и смотрел на часы — сегодня ему было не до смеха. Человечек в очках, которому не терпелось перехватить у него номер журнала «Забавы», бросал на него яростные взгляды, но Киппс ничего не замечал. Здесь, в этом самом зале, он сидел, бывало, вечер за вечером, дожидаясь часа, когда можно будет идти к Ней — и раз от разу все праздничней становилось у него на душе. И наконец наступал счастливый час! Вот и сегодня этот час наступил, а идти некуда, занятий не будет до самого октября. А для него, может, и вовсе никогда не будет.

Может, и вовсе не будет этих занятий, ибо Киппс стал рассеянным, а рассеянность ведет к ошибкам, и на днях несколько ярлыков в витрине хлопчатобумажных тканей оказались приколотыми вверх ногами. Шелфорд это заметил, взбеленился и теперь придирается как только может...

Киппс глубоко вздохнул, отодвинул юмористические листки — за них тотчас ухватился человечек в очках — и принялся разглядывать развешанные на стенах старинные гравюры с видами Фолкстона. Но и это не принесло ему утешения. Он побродил по коридорам, порылся в каталоге. Здорово придумано! Однако и каталога хватило ненадолго. Вокруг сновали люди, смеялись, и от этого ему становилось еще тяжелее. Киппс вышел на улицу, и на него, точно в насмешку, обрушилась развеселая песенка шарманщика. Нет, надо идти к морю. Может, хоть там он останется наедине с собой. Может, море шумит и бушует — под стать его настроению. И там по крайней мере темно.

«Будь у меня пенни, вот, ей-богу, пошел бы да и кинулся с мола... А она обо мне и не вспомнит...»

И он опять задумался.

— Пенни! Не пенни, а два,— буркнул он немного погодя.

Медленно, с таким похоронным видом, будто шел за своим собственным гробом, шагал он по Дувр-стрит, равнодушный ко всему на свете. Ни на что не обращая внимания, стал переходить улицу, и тут, в странном обличье и громко возвестив о себе, на него натолкнулась сама Судьба; кто-то оглушительно крикнул над самым ухом, и Киппса сильно ударило в спину. Шляпа съехала на глаза, на плечи навалилось что-то очень тяжелое, и что-то больно наподдало под коленку.

Мгновение — и Киппс оказался на четвереньках в куче грязи, которую Судьба вкупе с фолкстонским муниципалитетом бог весть из каких высших соображений приготовила в этом месте будто нарочно для него.

Он помедлил немного, ожидая продолжения, уверенный в душе, что у него не осталось ни единой целой косточки. Наконец сообразил, что продолжения, видно, не будет, поднялся, опираясь на чью-то крепкую руку, и столкнулся нос к носу с каким-то смуглым человеком, ко-

торый испуганно всматривался в него, другой рукой придерживая велосипед.

— Здорово разбились, приятель? — спросил этот человек, тяжело дыша.

— Так это вы меня сшибли? — сказал Киппс.

— Это все руль, будь он неладен,— ответил человек с таким видом, точно пострадали они оба.— Жутко зловредный. Уж очень он низко посажен, забудешь об этом на повороте — и хлоп, нате вам! Вечно во что-нибудь врежешься.

— Ловко вы меня двинули...— сказал Киппс, оглядывая себя.

— Я ведь с горы,— объяснил велосипедист.— Дрянная штука — эти наши фолкстонские пригорки. Конечно, я тоже хорош — повернул крутовато.

— Это уж точно,— сказал Киппс.

— Я тормозил изо всей мочи,— сказал велосипедист.— Да толку чуть.

Он оглянулся и вдруг сделал странное порывистое движение, словно хотел вскочить на велосипед. Но тут же круто повернулся к Киппсу, который, наклонясь, разглядывал свои брюки.

— Штанина вся разодрана,—сказал Киппс,—и нога, небось, в кровь. Все ж таки надо полегче...

Незнакомец стремительно наклонился и тоже стал изучать ногу Киппса.

— Ух ты! И верно! — Он дружески положил Киппсу руку на плечо.— Вот что я вам скажу: идемте-ка в мою берлогу и зачиним эту штуку. Я... Ну, конечно, я виноват, так вот...— Он вдруг перешел на заговорщицкий шепот:—Смотрите-ка, фараон сюда топает. Ни слова ему, что я вас сшиб. У меня, понимаете, фонарика нет. Достанется мне на орехи.

В самом деле, к ним шагал полицейский. Незнакомец не зря взывал к великодушию Киппса. Жертва, не раздумывая, приняла сторону своего обидчика. Блюститель закона был уже совсем близко, и Киппс поспешно встал и постарался сделать вид, будто ничего худого не произошло.

— Ладно,— сказал он.— Пошли!

— Вот и хорошо,— быстро отозвался незнакомец и зашагал вперед, но тут же, видно, чтоб окончательно про-

вести полицейского, бросил через плечо:— Я так рад, что повстречался с вами, дружище!

— Тут совсем близко, каких-нибудь сто шагов,— сказал он, когда они миновали полицейского,— я живу за углом.

— Ясно,— отвечал Киппс, прихрамывая рядом.— Я не желаю, чтоб из-за меня человек попал в беду. Мало ли какая нечаянность стрясется. А все-таки надо полегче.

— Да-да! Это вы в точку. Мало ли какая нечаянность стрясется — этого не миновать. Особенно когда на велосипеде катит ваш покорный слуга.— Он рассмеялся.— Не вы первый, не вы последний. Но, по-моему, вам не так уж сильно досталось. Я ведь не мчался во весь опор. Просто вы меня не заметили. А я тормозил изо всей мочи. Само собой, вам показалось, я налетел с разгону. Я вовсю старался смягчить удар. Ногу вам, наверно, задело педалью. Но с полицейским — это вы молодчина. Высший класс! Скажи вы ему, что я на вас наехал,— и взял бы он с меня сорок монет штрафа! Сорок шиллингов! Поди растолкуй им, что нынче для моей милости время — деньги.

Да и подними вы шум, я бы вас не осудил. Когда тебя так стукнет, всякий обозлится. Так что я обязан вам предложить хотя бы иголку с ниткой. И платяную щетку. Другой на вашем месте поднял бы крик, а вы молодчина.

Во весь опор! Да если б я мчался во весь опор, от вас бы мокрое место осталось!

Но, знаете, на вас стоило поглядеть, когда я сказал вам про фараона. В ту минуту, по совести сказать, у меня мало было надежды, что вы меня не выдадите. А вы — хлоп! Сразу же нашлись. Вот что значит самообладание у человека! Мигом сообразили, как себя вести. Нет, не всякий на вашем месте так бы поступил, это я вам верно говорю. Нет-нет, в этой истории с фараоном вы держались как настоящий джентльмен.

Киппс уже не чувствовал боли. Он прихрамывал чуть позади велосипедиста и, слушая все эти славословия, смущенно хмыкал, пытался понять странного малого, осыпающего его похвалами. При свете уличных фонарей Киппс понемногу разглядел спутника: брюшко и очень полные, вдвое толще киппсовых ноги колесом, с могучими

икрами. Он в бриджах, в велосипедном картузике, лихо надетом набекрень, из-под картузика небрежно свисают прямые темно-рыжие пряди, а при ином повороте головы виден крупный нос. Толстые щеки, массивный, гладко выбритый подбородок, усов тоже нет. Осанка свободная, уверенная, и движется он по узкой пустынной улочке так, словно он здесь полновластный хозяин; подле каждого уличного фонаря из-под ног его вставала, росла, завладевая всем тротуаром, и исчезала большая тень, повторяя все его размашистые, уверенные жесты. В этом мерцающем свете Киппс разглядел, что они движутся по Фенчерч-стрит; потом они завернули за угол, проскользнули в темный двор и остановились у дверей на редкость убогого, ветхого домишки; с боков его зажали, точно полицейские пьяного, два дома побольше.

Незнакомец осторожно прислонил велосипед к окну, достал ключ и с силой дунул в него.

— Замок с норовом,— сказал он и довольно долго мудрил над ним. Наконец что-то загремело, защелкало, и дверь отворилась.

— Обождите минутку,— сказал хозяин дома,— я зажгу лампу. Еще есть ли в ней керосин...— И он растворился во тьме коридора. — Слава тебе, господи, спички нашлись,— услышал Киппс; розовая вспышка света озарила коридор и самого велосипедиста, нырнувшего в следующую комнату. Все было так интересно, что на время Киппс совсем забыл о своих ушибах.

Еще минута — и его ослепила керосиновая лампа под розовым абажуром.

— Входите, — пригласил рыжий, — а я втащу велосипед.

И Киппс остался один. При свете лампы он смутно различал убогую обстановку комнаты: круглый стол, покрытый изодранной красной скатертью, в кругах от стаканов; на столе лампа — все это отражается в испещренном черными точками зеркале над камином; газовый рожок, видимо, испорченный; потухший камин; за зеркало заткнуты пыльные открытки и какие-то бумаги, пыльная пухлая подставка с бумагами на каминной полке, тут же торчат несколько кабинетных фотографий; на письменном столе в беспорядке разбросаны листы бумаги, усыпанные пеплом, и стоит сифон содовой воды...

Но вот снова появился велосипедист, и Киппс впервые увидел все его гладко выбритое, живое лицо и яркие светло-карие глаза. Он был, пожалуй, лет на десять старше Киппса, но отсутствие бороды делало его моложавым, едва ли не ровесником Киппса.

— В истории с полицейским вы держались молодцом,— повторил он, проходя в комнату.

— Да как же тут еще держаться,— скромно возразил Киппс.

Велосипедист впервые внимательно оглядел гостя, обдумывая, что же для него сделать.

— Грязь сперва пускай подсохнет, а уж тогда мы ее счистим. Вот виски, добрый старый Мафусаил, настоящая канадская хлебная водка, а тут немного коньяку. Вы что предпочитаете?

— Не знаю,— ответил застигнутый врасплох Киппс, но, чувствуя, что отказаться невозможно, прибавил: — Давайте виски.

— Правильно, дружище. И вот вам мой совет — не разбавляйте. Я, может, в таких делах вообще и не судья, но уж старика Мафусаила знаю как облупленного. Старик Мафусаил, четыре звездочки. А это я! Старина Гарри Читтерлоу и старина Мафусаил. Оставьте их наедине, хлоп! — и Мафусаила нет!

Рыжий громко захохотал, огляделся, помедлил в нерешительности и удалился, оставив Киппса наедине с комнатой, которую он мог теперь на свободе разглядеть как следует.

2

Внимание Киппса привлекли фотографии, украшавшие квартиру. Это были все больше дамы. Одна даже в трико, что показалось Киппсу «не больно прилично»; а вот и сам хозяин дома в каком-то необыкновенном старинном костюме. Киппс довольно быстро смекнул, что это все актрисы, а рыжий велосипедист — актер, это подтверждала и половинка огромной цветной афиши, висевшей на стене. Немного погодя он позволил себе прочитать короткую записку, вставленную в серую рамку, которая была для нее слишком велика. «Дорогой мистер Читтерлоу,— было написано там,— если вы все-

таки пришлете пьесу, о которой говорили, я постараюсь её прочесть». За этим следовала элегантная, но совершенно неразборчивая подпись, и через все письмо было написано карандашом: «Ай да Гарри, что за молодец!» В тени у окна висел набросок мелом на коричневой бумаге — небрежная, но умелая рука наскоро изобразила велосипедиста; сразу бросались в глаза круглое брюшко, толстые икры, выдающийся нос, да еще внизу для ясности приписано: «Читтерлоу». Киппс нашел, что художник «малость перехватил». Листы бумаги на столе возле сифона были исписаны вкривь и вкось неровным почерком, усеяны кляксами и помарками.

Вскоре он услышал звон и лязг металла, словно что-то вдребезги разбивали, — это открылась входная дверь, и вот появился слегка запыхавшийся Читтерлоу; большая веснушчатая рука его сжимала бутылку со звездочками на этикетке.

— Садитесь, дружище, садитесь,— сказал он.— Все-таки пришлось сбегать в лавочку. Дома не осталось ни единой бутылки. Зато теперь все в порядке. Нет-нет, на этот стул нельзя, на нем куски моей пьесы. Лучше усаживайтесь в кресло, вон в то, с отломанной ручкой. По-моему, этот стакан чистый, но на всякий случай ополосните его из сифона, воду выплесните в камин. Нет, лучше я сам! Дайте-ка сюда!

Говоря все это, мистер Читтерлоу вытащил из ящика штопор, вонзил его в пробку старины Мафусаила и открыл бутылку с ловкостью, которой позавидовал бы любой буфетчик, потом своим простым и надежным способом вымыл стаканы и налил в каждый понемногу древнего напитка. Киппс взял стакан, небрежно сказал: «Спасибочки»,— подумал, не прибавить ли: «Ваше здоровье»,— и молча выпил. Глотку обожгло, как огнем, и некоторое время он ничего больше не замечал, а потом оказалось, что мистер Читтерлоу, сидящий с зажженной трубкой в зубах по другую сторону холодного камина, наливает себе новую порцию виски, а под его крупным носом меж мясистых щек прячется улыбка.

— В конце концов,— сказал мистер Читтерлоу, глядя на бутылку,— дело могло кончиться куда хуже. Мне до смерти хотелось с кем-нибудь поболтать, а в кабак идти не хотелось, по крайней мере в фолкстонский ка-

бак, ибо, да будет вам известно, я обещал миссис Читтерлоу (она сейчас в отъезде) в кабак не ходить: на то есть много причин; но только уж, если б меня по-настоящему заело, я бы все равно пошел, я такой. Словом, все это здорово получилось! Занятно, как на велосипеде сталкиваешься с людьми!

— Вот это верно! — отозвался Киппс, чувствуя, что пора ему вставить словечко.

— Нет, ну до чего здорово: сидим мы с вами и болтаем, как старые друзья, а еще полчаса назад и понятия не имели друг о друге. Просто даже понятия не имели. Я мог пройти мимо вас на улице, а вы — мимо меня, и невдомек было бы, что, когда дойдет до дела, вы окажетесь таким молодцом. Но случилось иначе, только и всего. Что же это вы не курите! — спохватился он.— Хотите сигарету?

Киппс смущенно пробормотал что-то, что должно было означать: могу, мол, и закурить,—и в смущении отхлебнул еще немного старика Мафусаила. И долго ощущал, как вечный странник движется по его внутренностям. Казалось, будто почтенный старец размахивает у него где-то внутри пылающим факелом, раздувая его то здесь, то там, и, наконец, огонь охватил все внутренности Киппса.

Читтерлоу достал кисет с табаком, папиросную бумагу и стал сворачивать Киппсу сигарету; попутно он поведал ему весьма увлекательную историю — только почему-то Киппсу плохо удавалось за ней следить — о некоей даме по имени Китти, обучившей его этому искусству, когда он был еще, что называется, милым мальчиком; наконец он вручил Киппсу сигарету и любезно предложил содовой, которая, в сущности, неплохо сочетается с виски; Киппс с великой благодарностью принял это любезное предложение.

— Некоторые любят разбавлять виски содовой,— сказал Читтерлоу и запальчиво прибавил:—Только не я!

Почувствовав, что жгучий враг ослабел, Киппс воспрянул духом и проворно допил остатки, и заботливый хозяин тотчас снова наполнил его стакан. В приятной уверенности, что он куда крепче, чем думал, Киппс стал прислушиваться к речам Читтерлоу: надо же и самому почаще вставлять словечко. К тому же он ловко пу-

скал дым через нос, каковому искусству обучился совсем недавно.

Между тем Читтерлоу объяснил, что он сочиняет пьесы; у Киппса развязался язык, и он сказал, что знал одного человека, или, вернее, один его приятель знал человека, а уж если быть совсем точным, брат этого приятеля знал человека, который сочинил пьеску. Но когда Читтерлоу пожелал узнать название пьесы, где она была поставлена и кто ее поставил, Киппс ничего не мог вспомнить, вот только называлась она, кажется, как-то вроде «Любовный выкуп».

— Тот малый огреб на ней целых пятьсот фунтов,— сказал Киппс.— Это уж точно.

— Гроши! — внушительно возразил Читтерлоу. Сразу видно было, что человек знает, что говорит.— Гроши! На ваш взгляд, это, может, и много, но, уверяю вас, такие деньги можно заработать запросто. На сто́ящей пьесе деньги можно загребать лопатой, ло-па-той.

— Еще бы,— отозвался Киппс, потягивая из стакана.

— Лопатой загребать!

И Читтерлоу принялся сыпать примерами. Он, без сомнения, был непревзойденный мастер монолога. Словно прорвалась плотина, и на Киппса обрушился могучий словесный поток, и скоро его уже несло неведомо куда по половодьям разных театральных разностей, в которых его собеседник был в своей стихии. Незаметно беседа перешла к частной жизни известных импресарио: малыша Тедди Болтуина, проныры Мак-Олуха и великолепного Бегемота, которого «наши светские дамы уж так заласкали, что ему и жизнь не мила». Читтерлоу повествовал о своих встречах с этими знаменитостями, скромно оставляя себя в тени, и очень насмешил Киппса, ловко изобразив Мак-Олуха в подпитии. Потом одну за другой быстро опрокинул в себя две солидные порции старины Мафусаила.

Киппс, забывшись, жевал сигарету, то и дело с видом знатока восклицал «Еще бы!» и «А как же!», и в душе очень восхищался легкостью, с какой ему удается поддерживать разговор с этой необыкновенной и занимательной личностью. Читтерлоу свернул ему еще сигарету и, как-то незаметно все больше и больше входя в роль богатого, преуспевающего драматурга, которо-

го навестил юный поклонник, стал отвечать на вопросы Киппса, а чаще — на свои собственные о том, как и почему он достиг таких высот. К этой добровольно взятой на себя задаче он отнесся с величайшей серьезностью и рвением, излагая все столь обстоятельно, что временами, увлекшись отступлениями и примечаниями, совсем терял главную нить своего рассказа. Но все эти необычные случаи, воспоминания, анекдоты так причудливо переплетались, что рано или поздно он неизменно возвращался к основной теме. В сущности, это был богатейший материал для биографии человека, который объездил весь свет и все на свете перепробовал, а главное — выступал с успехом и зашибал деньгу́ на сценах Америки и всего цивилизованного мира (он привел несколько примеров, когда ему случалось заработать тридцать, сорок, а то и пятьдесят долларов в неделю).

Он говорил и говорил своим раскатистым, приятным, звучным голосом, а старик Мафусаил, этот негодник и пьяница, пробирал Киппса все глубже и зажигал светильник за светильником, пока все существо маленького продавца мануфактуры само не засияло ослепительным светом, словно какой-нибудь праздничный павильон, и вот уже все озарено, все преобразилось: и Читтерлоу, и сам Киппс, и эта комната. Читтерлоу и вправду человек зрелый, умный, преуспевающий — какой опыт, юмор, талант! Он собрат Шекспира, Ибсена и Метерлинка (три имени, которые сам он скромно ставил намного выше своего собственного), и на нем уже не сомнительный наряд яхтсмена, дополненный велосипедными бриджами, а элегантное, хоть и своеобразное платье. И сидят они уже не в фолкстонской трущобе, не в крохотной комнатушке с видавшей виды мебелью, а в просторной, богато обставленной квартире, и по стенам развешаны не засиженные мухами фотографии, а изумительные старинные полотна, и вокруг повсюду не дешевые сувенирчики, а редкостные, драгоценные безделушки, и уже не дрянная керосиновая лампа, а великолепная люстра заливает все мягким, ласковым светом. И старик Мафусаил, в чьем солидном возрасте, наперекор очевидности, старались уверить звездочки на этикетке, и вправду обернулся весьма почтенным напитком; даже две дыры, прожженные в скатерти, и грубая штопка оказались просто милыми причу-

дами, столь естественными в доме гения; ну, а сам Киппс — о, конечно же, это блестящий молодой человек, он подает большие надежды; совсем недавно в неких обстоятельствах (впрочем, о них он особенно не распространялся) он проявил отвагу и находчивость, и это открыло ему доступ в святилище и облекло таким доверием, о котором напрасно вздыхают обыкновенные молодые люди из богатых семей и даже «светские дамы».

— На что они мне, мой мальчик? — говорил обо всей этой публике Читтерлоу.— Они помеха работе. Сторонние люди, разные чиновники и студенты воображают, будто дамы и слава — это и есть жизнь. Но вы не верьте им! Не верьте!

Затем Читтерлоу стал презабавно рассказывать о всяких бездарностях, которые, возомнив себя артистами, нанимаются в гастролирующие труппы. Читтерлоу изображал этих бездарных простофиль в лицах, и Киппс покатывался со смеху, как вдруг...

Бум!.. бум... бум...

— Господи! — воскликнул Киппс, словно вдруг проснувшись.— Неужто одиннадцать!

— Наверно,— ответил Читтерлоу.— Когда я принес виски, было около десяти. Время детское...

— Все равно, мне надо бежать,— сказал Киппс и поднялся.— Может, еще как-нибудь поспею. Я ведь... я и не думал, что уже... Дверь-то у нас запирают в половине одиннадцатого. Было б мне раньше схватиться...

— Что ж, если вам непременно надо идти... Вот что. Я тоже пойду... Постойте! А ваша нога, дружище! Начисто забыл! Вы же не можете показаться на улице в рваных брюках. Сейчас я вам их зашью. А вы пока что хлебните-ка еще глоточек.

— Да нет, мне надо бежать,— слабо запротестовал Киппс.

Но Читтерлоу уже командовал, как ему повернуться на стуле, чтобы можно было достать дыру под коленкой, а старик Мафусаил, пущенный по третьему кругу, поспешно раздувал поостывший жар в киппсовых жилах. Потом Читтерлоу вдруг расхохотался и, прервав шитье, заявил, что вся эта сцена прямо просится в фарс, и тут же начал вслух сочинять этот фарс; попутно он вспомнил

другую свою комедию; у него уже давно написана превосходная первая сцена, сейчас он ее прочтет, это займет всего каких-нибудь десять минут. Там есть нечто совершенно новое, в театре такого еще никогда не бывало, и при этом ровно ничего предосудительного. Так вот, представьте, человеку за шиворот заполз жук, а в комнате полно народу, и человек этот старается не подать виду...

— Да не могут ваши мануфактурщики не впустить вас в дом,— сказал Читтерлоу так убежденно, что невозможно было ему не поверить, и тут же стал изображать в лицах первую сцену своей комедии. Лучшего начала комедии еще никто и никогда не создавал (это он утверждает вовсе не потому, что сам ее написал, просто у него огромный опыт, и он может судить со знанием дела)— и Киппс был с ним совершенно согласен.

Когда чтение закончилось, Киппс, который обычно избегал сильных выражений, от избытка чувств воскликнул, что сцена «чертовски хороша», и повторил это раз шесть, после чего Читтерлоу на радостях отхлебнул огромный глоток вдохновляющего напитка и объявил, что ему редко приходилось встречать столь тонкий ум (более зрелые умы, может, и существуют, об этом ему пока судить трудно, ведь они с Киппсом еще почти не знают друг друга, но, что касается тонкости, тут он готов поспорить с кем угодно), и просто позор, чтобы человеку такого ясного, изящного ума приходилось с десяти часов, ну, ладно, с половины одиннадцатого, сидеть взаперти или ночевать на улице, и вообще он, кажется, порекомендует старине такому-то (очевидно, редактору лондонской ежедневной газеты) немедленно поручить Киппсу отдел театральной критики, который сейчас ведет очередная бездарность.

— Да ведь я сроду ничего не печатал,— сказал Киппс.— А уж попробовал бы с превеликим удовольствием, был бы только случай. Ох уж и попробовал бы! Вот ярлычки для витрины — это я сколько раз писал. И разрисовывал их и отделывал. Но только это ведь совсем другой коленкор.

— Ну и что ж, у вас зато свежее восприятие. А как вы подмечали все самое интересное в этой сцене — да это ж просто любо-дорого, мой мальчик! Уверяю вас, вы

заткнете за пояс самого Уильяма Арчера. Конечно, не по части литературного стиля, но я не верю в критиков-литераторов, да и в драматургов-литераторов тоже. Пьесы совсем не то, что литература,— вот чего эта публика никак не возьмет в толк. Пьесы — это пьесы. Нет, это, во всяком случае, вам не помешает. Вы там в магазине попусту теряете время, поверьте мне. Со мной было то же самое, пока я не пристал к театру. Послушайте, да мне же просто необходимо узнать ваше мнение о первых двух актах моей трагедии. Я еще не говорил вам о ней. Сейчас я вам прочту, на это всего-то уйдет какой-нибудь час...

3

Насколько Киппс мог потом вспомнить, он еще разок приложился к стаканчику и, вдруг потеряв всякий интерес к трагедии, стал твердить, что ему «и вправду пора»; с этой минуты он уже не помнил в точности, что было дальше. Кое-что сохранилось у него в памяти совершенно отчетливо, а так как всем известно, что пьяные, протрезвев, ничего не могут вспомнить, выходит, что он вовсе не был пьян. Читтерлоу пошел вместе с ним — хотел его проводить, а заодно перед сном подышать свежим воздухом. На Фенчерч-стрит — Киппс это ясно помнил — оказалось, что он не может идти прямо, и еще, что иголка с ниткой, которую Читтерлоу так и оставил в незашитой штанине, тащится за ним по тротуару. Он нагнулся, хотел захватить иголку врасплох, но почему-то споткнулся и упал, и Читтерлоу, хохоча во все горло, помог ему подняться.

— На сей раз велосипед ни при чем, дружище,— сказал Читтерлоу, и обоим показалось, что это превосходная острота. Они так и покатывались со смеху и подталкивали друг друга локтем в бок. Некоторое время Киппс прикидывался вдрызг пьяным — делал вид, будто даже идти не может, и Читтерлоу, включившись в игру, стал его поддерживать. Потом Киппса одолел смех; ну и потеха — спускаться по Тонтайн-стрит, чтобы потом опять лезть в гору, к магазину. Он пытался втолковать это своему спутнику, но не сумел — так его разобрал смех; притом Читтерлоу был пьян в стельку; следующее воспоминание — фасад магазина, запертого, неосвещенно-

го, который хмуро глядел на него всеми своими зелеными и желтыми полосами. Огромные, холодно поблескивающие под луной буквы «ШЕЛФОРД» ярко отпечатались в его сознании. И ему показалось, что отныне это заведение закрыто для него навсегда. Позолоченные буквы вопреки видимости складывались для него в слово КОНЕЦ, означали изгнание из Фолкстона. Не резать ему больше по дереву, никогда больше не увидит он мисс Уолшингем. У него и так-то почти не было надежды встретиться с ней снова, но теперь он терял ее окончательно и бесповоротно. Он не пришел домой в положенный час, он напился пьян, а ведь всего три дня назад был скандал из-за витрины... Вспоминая об этом позже, Киппс ничуть не сомневался, что в ту минуту был совершенно трезв и глубоко несчастен, но держался молодцом и храбро заявил своему спутнику, что все это ему нипочем, ну и пускай их не открывают дверь!

Тут Читтерлоу с размаху хлопнул его по спине и сказал, что все «высший класс», он и сам, когда был клерком в Шеффилде (это еще до того, как подался в актеры), случалось, оставался за дверью по шесть ночей подряд.

— И что же? — продолжал Читтерлоу.— Теперь они когда угодно примут меня с распростертыми объятиями... Хоть сейчас! С распростертыми объятиями,— повторил он и прибавил: — Если только вспомнят меня... но это навряд ли.

— Что ж мне теперь делать? — упавшим голосом спросил Киппс.

— Оставайтесь на улице,— сказал Читтерлоу.— Сейчас ломиться не стоит — не то вам мигом дадут расчет. Лучше попробуйте проскользнуть утром вместе с кошкой. Это безопаснее. Просто войдете утром — и дело в шляпе, если только никто вас не выдаст.

Потом, может быть, оттого, что Читтерлоу так сильно хлопнул его по спине, у Киппса стало двоиться в глазах, и по совету Читтерлоу он пошел на набережную проветриться. Немного погодя все стало на свои места; Читтерлоу похлопывал его по плечу и уверял, что теперь в два счета полегчает,— и так оно и случилось. Ветер стих, лунная ночь и вправду оказалась чудесной, и Киппс мог

погулять всласть, вот только иногда мир начинал слегка покачиваться из стороны в сторону, нарушая великолепие картины, и они прогуливались по набережной до самой Сандгейт-стрит, а потом обратно, и Читтерлоу говорил сперва о том, как лунный свет преображает море, потом, как он преображает лица, потом, наконец, заговорил о любви, и говорил долго-долго, черпая материал из своего богатого опыта и приводя для убедительности разные случаи, по мнению Киппса, на редкость пикантные и значительные. И Киппс опять позабыл о навеки потерянной для него мисс Уолшингем и о разгневанном хозяине. Пример Читтерлоу вдохновлял его, он и сам чувствовал себя отчаянным, бесшабашным малым.

Каких только приключений не знавал Читтерлоу, поразительных приключений! Он человек с прошлым, с весьма богатым прошлым, и ему явно доставляло удовольствие возвращаться к своему прошлому, перебирать свои богатства.

Это не был связный рассказ, но живые наброски запутанных встреч и отношений. Вот он спасается бегством — но это достойное бегство — от мужа некоей малайки в Кейптауне. Вот у него бурный и сложный роман с дочерью священника в Йорке. Потом пошли поразительные рассказы о Сифорде.

— Говорят, нельзя любить двух женщин сразу,— сказал Читтерлоу.— Но поверьте мне...— Он вскинул руки и пророкотал:— Это чепуха! Чепуха!

— Я-то знаю,— сказал Киппс.

— Господи, да когда я разъезжал с труппой Бесси Хоппер, у меня их было три! — Он рассмеялся и после некоторой заминки прибавил: — Понятно, не считая самой Бесси.

И он стал живописать Киппсу всю подноготную гастролирующих трупп — это настоящие джунгли любовных связей всех со всеми, вот уж поистине давильный пресс, сокрушающий сердца.

— Говорят, любовь — одна докука, только работать мешает. А я совсем другого мнения. Без этого никакая работа не пойдет. Актеры только так и должны жить. Если живут иначе — значит, у них просто нет темперамента. А какой же актер без темперамента! Ну, а коли темперамент есть — хлоп!

— Это верно,— сказал Киппс.— Я понимаю.

Читтерлоу принялся сурово критиковать мистера Клемента Скотта за то, что тот позволял себе нескромные высказывания по поводу нравственности актеров. Говоря по секрету, не для широкой публики, он, Читтерлоу, вынужден с сожалением признать, что эти высказывания, в общем, справедливы. Он поведал Киппсу несколько типичных историй, в которые был вовлечен чуть не силой, и особо подчеркнул, как по-разному относится к женщинам он сам и достопочтенный Томас Норгейт, с которым его одно время связывала тесная дружба...

Киппс с волнением слушал эти удивительные воспоминания. Поразительная, неправдоподобная жизнь — и, однако, все правда. Жизнь бурная, беспорядочная, исполненная страстей, бьет ключом всюду, кроме первоклассных торговых заведений. О такой жизни пишут романы, пьесы, а он, глупец, думал, что это все выдумки, что на самом деле так не бывает. Его доля в беседе теперь ограничивалась, так сказать, заметками на полях, а Читтерлоу болтал без умолку. Он хохотал, и на пустынной улице разносился рокот, потом голос его становился сдержанным, вкрадчивым, задушевным, смягченным воспоминаниями; Читтерлоу был откровенен, необычайно откровенен, раскрывал всю душу, а если иногда кое о чем и умалчивал, то тоже вполне откровенно; огромный, черный в лунном свете, он размахивал руками, и с упоением исповедовался перед Киппсом, и старался обратить его в свою веру, символами которой были риск и плоть. Все это было сдобрено малой толикой романтики, романтического изыска, впрочем, довольно грубого и эгоцентричного. Да, бывали в его жизни случаи, и еще какие, а ведь он был в ту пору еще моложе Киппса.

Ну, ладно, внезапно оборвал себя Читтерлоу, он, конечно, перебесился, без этого нельзя, а теперь — кажется, об этом уже упоминалось — он счастливо женат. Жена, по его словам, «аристократка по натуре». Ее отец — выдающийся юрист, стряпчий в одном городе графства Кент, «ведет кучу трактирных дел»; ее мать — троюродная сестра жены Абеля Джоунза, модного портретиста, «в известном смысле люди из общества». Но ему это неважно. Он не сноб. Важно другое: у жены — чудесное, нежнейшее, не испорченное никакой школой конт-

ральто,— да, да, другого такого нет на свете. («Но чтобы насладиться им в полной мере,— сказал Читтерлоу,— требуется большой зал».) О свой женитьбе Читтерлоу повествовал туманно и не вдавался в подробности, лишь головой помотал. Сейчас она «гостит у родителей». Было совершенно ясно, что Читтерлоу не очень с ними ладит. Похоже даже, они не одобряют его занятия драматургией: невыгодное, мол, занятие,— но они-то с Киппсом знают, скоро на него так и посыплются несметные богатства... Нужно только набраться терпения и упорства...

Тут Читтерлоу вдруг вспомнил о долге гостеприимства. Киппс должен вернуться к нему на Фенчерч-стрит. Нельзя же всю ночь болтаться по улице, когда дома ждет славная бутылочка.

— Вы будете спать на диване. И никакие сломанные пружины не помешают, уже недели три, как я их все повытаскивал. И на что вообще в диванах нужны пружины? Я в этом деле понимаю. Я на этом собаку съел, когда был в труппе Бесси Хоппер. Три месяца мы гастролировали, объездили всю Англию вдоль и поперек — Северный Уэллс, остров Мэн,— и всюду, где ни остановишься на ночлег, в диване непременно торчит хоть одна сломанная пружина. Ни одного целого дивана за все время, ни одного. Вот оно как бывает,— прибавил он рассеянно.

Они направились вниз, к Харбор-стрит, и скоро миновали Павильон-отель.

4

Так они вновь оказались в обществе старика Мафусаила, и под руководством Читтерлоу сей достойный старец со свойственной ему добросовестностью тут же снова раздул пламя в жилах Киппса. Влив в себя солидную порцию, Читтерлоу зажег трубку и погрузился в раздумье, из которого его вывел голос Киппса, заметившего, что ему сдается, «жизнь артистов уж очень беспокойная — то вроде на коне, а то — хлоп в лужу».

Читтерлоу снова встряхнулся.

— Пожалуй,— согласился он.— Иногда артист сам в этом повинен, иногда нет. Чаще всего сам же и виноват. Не одно, так другое... То с женой антрепренера свя-

зался, то расхвастался по пьяной лавочке... Рано или поздно непременно на чем-нибудь да сорвешься. Я фаталист. От своего нрава никуда не денешься. Сам от себя не уйдешь. Нипочем.

Он призадумался.

— На этом-то и строится настоящая трагедия. На психологии. Ирония греков... Ибсен... и вся прочая драматургия. Это современно.

Он изрек эту глубокую мысль — плод исчерпывающего анализа — таким тоном, точно отвечал заученный урок, думая совсем о другом. Но, назвав Ибсена, он словно очнулся.

Вот сидит перед ним наивный, непосвященный Киппс, для которого Ибсен — книга за семью печатями. Даже интересно открыть ему глаза, пускай знает, чего Ибсену недостает. Ведь вот совпадение: Ибсен слаб как раз в том, в чем сам он, Читтерлоу, силен. Разумеется, он и не думает ставить себя на одну доску с Ибсеном, но факт остается фактом: и Англию, и Америку, и колонии он знает куда лучше, чем Ибсен. Пожалуй, Ибсен ни разу на своем веку не побывал в кабаке и не видал хорошей потасовки. Это, разумеется, не вина Ибсена и не его, Читтерлоу, заслуга, но так уж оно получилось. Говорят, гений умеет делать все и обходиться без всего; но что-то оно сомнительно. Вот он сейчас пишет пьесу, вряд ли она понравится Уильяму Арчеру, но мнение Киппса ему куда важнее — эта пьеса, пожалуй, закручена покруче, чем у Ибсена.

Итак, после бесконечных околичностей Читтерлоу, наконец, перешел к своей пьесе. Он решил не читать ее Киппсу, а пересказать. Это проще, ведь большая часть еще не написана. И он принялся излагать сюжет, весьма сложный, об аристократе, который все на свете видел, все на свете испытал и знал о женщинах все то, что знал сам Читтерлоу,— иными словами, решительно все, да и не только о женщинах. Рассказывая, Читтерлоу оживился и разгорячился. Он даже вскочил, чтобы лучше изобразить сцену, которую не передашь одними словами. Удивительно живая сценка!

Киппс аплодировал вовсю.

— Ох и здорово заверчено! — воскликнул новоявленный театральный критик, вполне усвоив свою роль, и

стукнул кулаком по столу, едва не опрокинув при этом третью (после возвращения) порцию старины Мафусаила.

— Здорово! Ай да Читтерлоу!

— Вы понимаете, в чем тут соль? — спросил Читтерлоу, и туча, омрачавшая его чело, окончательно рассеялась.— Вот молодчина, дружище! Я так и знал, что вы поймете. А вот критик-литератор этого не поймет. Но вообще-то это — только начало...

Он вновь наполнил стакан Киппса и принялся рассказывать дальше.

А потом уже незачем стало расшаркиваться перед этим хваленым Ибсеном и приличия ради ставить его впереди себя. Они с Киппсом друзья и могут признаваться в том, о чем обычно умалчивают.

— Как там ни верти, а здорово это у вас закручено,— не совсем к месту заявил Киппс, потягивая из вновь наполненного стакана.— Верно вам говорю.

Все вокруг слегка покачивалось, в ушах немножко шумело, это было очень славно, очень приятно, и, соблюдая некоторую осторожность, Киппс без особого труда поставил стакан обратно на стол. Оказывается, Читтерлоу все еще рассказывает пьесу, а старик Мафусаил уже почти весь вышел, в бутылке осталось на донышке. Это хорошо, значит, теперь уже не опьянеешь. Во всяком случае, сейчас он не пьян, правда, больше ему уже не хочется. Он-то знает меру. Он хотел было перебить Читтерлоу и выложить ему все это, но не знал, с чего начать. А вот Читтерлоу, похоже, из тех, кто не знает меры. Вот оно что, пожалуй, он не одобряет Читтерлоу. И даже очень не одобряет. Заговорил его совсем, спасенья нет! Киппс вдруг очень рассердился на Читтерлоу — непонятно почему и совершенно несправедливо — и даже хотел сказать ему: — Ну и мастер же вы языком болтать,— но только и выдавил из себя: «Ну и мастер же вы...» — но тут Читтерлоу поблагодарил его и сказал, что Арчер ему в подметки не годится. А Киппс глядел на Читтерлоу недобрым взглядом, и вдруг его осенило: что за чудеса, с чего это Читтерлоу все время поминает какого-то Киппса?! С чего бы это? Что-то здесь не так... И вдруг выпалил:

— Послушайте, вы это про что? Какой такой Киппс?

— Ну, тот самый малый, Киппс, про которого я рассказываю.

— Про какого такого Киппса вы рассказываете?

— Да я же вам говорил.

Киппс помолчал, пытаясь понять, что к чему. Потом упрямо повторил:

— Какой-такой Киппс?

— Ну, этот малый из моей пьесы... Ну, который целует девушку.

— Отродясь не целовал девушку,— сказал Киппс,— по крайней мере...—и умолк на полуслове. Он никак не мог вспомнить, поцеловал он в конце концов Энн или нет, хотел поцеловать, —это уже точно. И вдруг скорбно поведал погасшему камину: — Это я и есть Киппс.

— Как?

— Киппс,—сказал Киппс и улыбнулся не без вызова.

— Что Киппс?

— Он — это я.— И для вящей убедительности Киппс пальцем ткнул себя в грудь.

— Послушайте, Читтерлоу,— строго сказал он, близко наклонившись к собеседнику.— Нечего вам совать мое имя в пьесу. Это не годится. Меня в два счета уволят.— Тут, помнится, они слегка поспорили. Читтерлоу долго и обстоятельно объяснял, откуда он берет имена действующих лиц. Для этой пьесы он в основном пользовался газетой, которая еще и сейчас «где-нибудь тут валяется». Он даже принялся ее искать, а Киппс тем временем продолжал рассуждать, обращаясь к фотографии девушки в трико. Он сказал, что поначалу ее костюм сильно ему не понравился и он не хотел на нее смотреть, а теперь видит: у нее очень умное лицо. Вот если б она повстречала Баггинса, он бы ей понравился, это уж точно. Она, конечно, согласится... Да что там — каждый разумный человек согласится, нельзя совать в пьесы чужие имена. За это можно и к суду притянуть.

Он доверительно растолковал ей, что у него и так хватит неприятностей: ведь он не ночевал дома, а тут еще и в пьесу попал. Ему закатят такой скандал, уж это как пить дать. И зачем он такое учинил? Почему не вернулся в десять? Потому что одно цепляется за другое.

Одно всегда цепляется за другое, так уж повелось на этом свете...

Он хотел еще сказать ей, что совершенно недостоин мисс Уолшингем, но тут Читтерлоу махнул рукой на газету и вдруг обругал Киппса, уверяя, что он пьян и несет околесицу.

ГЛАВА V

УВОЛЕН

1

Он проснулся на необычайно удобном диване, из которого хозяин давно повытаскал все пружины. И хотя вчера он, конечно же, не был пьян, но сейчас ему казалось (и это безошибочно угадал Читтерлоу), что весь он — одна огромная, тяжелая голова и мерзкий, пересохший рот. Он спал, не раздеваясь, все тело одеревенело и ныло, но голова и рот не позволяли думать о подобных пустяках. В голове колом торчала одна гнетущая мысль, которая причиняла ему физическую боль. Стоило лишь слегка повернуть голову, и кол вонзался с новой силой, причиняя невероятные мучения. Это была мысль, что он потерял место, погиб окончательно и что ему почему-то на это наплевать. Шелфорду уж, конечно, доложат о его выходке да если еще прибавить к этому давешний скандал из-за витрины!..

Подбадриваемый увещаниями Читтерлоу, он наконец приподнялся и сел.

Равнодушно подчинялся он заботам хозяина дома. Читтерлоу, который, по его собственному признанию, тоже чувствовал себя «довольно кисло» и мечтал глотнуть наперсточек коньяку, ну, хотя бы наперсточек, нянчился с Киппсом, словно мать со своим единственным дитятей. Он сравнивал состояние Киппса с тем, как переносят похмелье другие его приятели, и в особенности достопочтенный Томас Норгейт.

— Вот кто так и не научился пить,— сказал Читтерлоу.— Кое с кем это случается.

Итак, он излил на голову новоявленного прожигателя жизни словесный бальзам и дал ему гренок, нама-

занный маслом, с анчоусами (лучшее лекарство в подобных случаях — это он знал по опыту), и вот наконец Киппс пристегнул измятый воротничок, почистил щеткой костюм, кое-как затянул прореху на штанине и приготовился предстать пред очи мистера Шелфорда и держать ответ за бурную, ни на что не похожую ночь — первую в его жизни ночь, проведенную вне дома.

По совету Читтерлоу — подышать свежим воздухом, а потом уже идти в магазин — Киппс прошелся взад и вперед по набережной, а потом завернул в закусочную близ гавани и выпил чашку кофе. Это сразу его взбодрило, и он зашагал по Главной улице навстречу неотвратимым ужасам, которые ожидали его в магазине, конечно, смиренный и униженный, но и чуточку гордый тем, что он такой отчаянный грешник. В конце концов, если у него и разламывается голова, это нисколько не умаляет его мужского достоинства, совсем напротив: он не вернулся ночевать, он пил всю ночь напролет, и его теперешнее состояние — лишнее тому свидетельство. Если бы не Шелфорд, он бы просто нос задрал от гордости, что с ним, наконец, такое случилось. Но мысль о Шелфорде была невыносима. Вскоре Киппсу повстречались два ученика — они урвали минутку перед открытием магазина и выскочили подышать воздухом. Увидев их, Киппс встряхнулся, залихватски сдвинул шляпу с бледного лба, сунул руки в карманы (ну чем не заправский кутила!) и улыбнулся этим невинным юнцам вымученной улыбкой. В это мгновение ему было лестно, что заметны, конечно, и неумело зашитое место на брюках и пятна грязи, которые так и не поддались щетке Читтерлоу. Чего только они не вообразят, повстречав его в таком виде! И он молча прошествовал мимо. Уж, наверно, они сейчас во все глаза глядят ему вслед! Но тут он опять вспомнил про мистера Шелфорда...

Ох, и взбучка же его ждет, а может быть, даже и... Он попытался придумать какое-нибудь благовидное оправдание. Можно сказать, что какой-то бешеный сшиб его велосипедом; что его оглушило — в затылке и сейчас еще отдается; что, приводя его в чувство, ему дали виски,— и «по правде говоря, сэр...— скажет он удивленным тоном, изумленно подняв брови, словно никогда не ожидал, что спиртное способно так странно подейст-

вовать на человеческий организм,— оно ударило мне в голову!»

В таком виде случившееся казалось вовсе не столь предосудительным.

Он пришел в магазин за несколько минут до восьми, и домоправительница, которая заметно отличала его среди прочих учеников («Уж очень он безобидный, наш мистер Киппс»,— говаривала она), кажется, еще больше исполнилась сочувствия за то, что он преступил Правила, и дала ему большой гренок и горячего чаю.

— Хозяин уж, небось, знает,— начал Киппс.

— Знает,— ответила домоправительница.

Он появился в магазине чуть раньше времени и тотчас был вызван к Бучу. Из кабинета Буча он вышел через десять минут.

Младший конторщик внимательно поглядел на него. Баггинс просто спросил, без обиняков. И Киппс в ответ сказал одно только слово:

— Уволен!

2

Киппс привалился к прилавку и, засунув руки в карманы, беседовал с двумя младшими учениками.

— Наплевать мне, что меня уволили,— говорил Киппс,— я сыт по горло нашим Тедди и его Системой. Когда мой срок кончился, я сам хотел уволиться. Зря я тогда остался.

Немного погодя подошел Пирс, и Киппс повторил все сначала.

— За что тебя? — спросил Пирс.— Все из-за той несчастной витрины?

— Еще чего! — ответил Киппс, предвкушая, как огорошит Пирса сообщением о том, что он такой отчаянный грешник.— Я не ночевал дома.

И сам Пирс, известный гуляка Пирс, вытаращил на него глаза.

— Да что ты? Куда ж тебя занесло?

Киппс ответил, что «шатался по городу. С одним знакомым артистом».

— Нельзя же вечно жить монахом,— сказал он.

— Еще чего! — сказал Пирс, стараясь показать, что он и сам малый не промах.

Но, конечно, на этот раз Киппс всех заткнул за пояс.

— Ух, знали бы вы, что у меня в голове и во рту творилось утром, пока я не опохмелился,— сообщил он, когда Пирс ушел.

— А чем опохмелялся?

— Анчоусами на горячих гренках с маслом. Знаменитое средство! Уж можешь мне поверить, Роджерс. Другого не употребляю и тебе не советую. Так-то.

У него стали выпытывать, как было дело, и он опять повторил, что шатался по городу с одним знакомым артистом. Ну, а чем же они все-таки занимались? — приставали любопытные.

— А вы как думаете? — гордо и загадочно молвил Киппс.

Они пристали, чтоб он рассказал подробнее, но он, многозначительно посмеиваясь, заявил, что маленьким мальчиком такое знать не полагается.— Вот накатайте-ка на болванку льняное полотно, это — ваше дело.

Так Киппс пытался отогнать от себя мысли о том, что Шелфорд выставил его за дверь.

3

Все это было хорошо, пока на него глазели юные ученики, но перестало помогать, когда он остался один на один со своими мыслями. На душе скребли кошки, руки и ноги ныли, в голове и во рту хоть и стало получше, но все еще было тошно. По правде говоря, он чувствовал себя премерзко, сам себе казался грязным и отвратительным. Работать было нестерпимо, а просто стоять и думать — еще хуже. Зашитая штанина была точно живой укор. Из трех пар его брюк эти были не худшие, они стоили тринадцать шиллингов шесть пенсов. А теперь на них надо поставить крест. Пару, в которой он по утрам убирает магазин, в торговые часы не наденешь, придется взять в носку выходные. На людях Киппс держался небрежно, словно ему все трын-трава, но, оставшись один, сразу падал духом.

Его все сильнее угнетали денежные дела. Пять фунтов, положенные в Почтовый банк, да четыре шиллинга

шесть пенсов наличными — вот и весь его капитал. Да еще ему причитается жалованье за два месяца. Жестяной сундучок уже не вмещает его гардероб, и выглядит он убого, неловко с ним являться на новое место. А еще понадобится куча бумаги и марок: писать письма по объявлениям — и деньги на железную дорогу: придется ездить в поисках нового места. И надо писать письма, а кто его знает, как их писать. Он, сказать по правде, не больно силен в правописании. Если к концу месяца он не подыщет место, придется, пожалуй, ехать к дяде с тетей.

Как-то они его примут?

Пока он, во всяком случае, ничего им сообщать не станет.

Вот такие малоприятные мысли прятались за беспечными словами Киппса: «Надоело мне все одно и то же. Если бы он меня не уволил, я бы, глядишь, сам сбежал».

В глубине души он был ошеломлен и не понимал, как же все это случилось. Он оказался жертвой судьбы или по крайней мере силы, столь же безжалостной,— в лице Читтерлоу. Он пытался вспомнить шаг за шагом весь путь, который привел его к погибели. Но это оказалось не так-то просто...

Вечером Баггинс засыпал его советами и случаями из жизни.

— Чудно̀,— говорил он,— а только каждый раз, как меня увольняют, меня страх берет: не найду места в магазине — и все тут. И всегда нахожу. Всегда. Так что не вешай нос. Первое дело — береги воротнички и манжеты; хорошо бы и рубашки тоже, но уж воротнички беспременно. Спускай их в самую последнюю очередь. Хорошо еще, сейчас лето, можно обойтись без пальто... И зонтик у тебя приличный...

Сидя в Нью-Ромней, работы не подыщешь. Так что подавайся прямиком в Лондон, сними самую что ни на есть дешевую каморку и бегай ищи место. Ешь поменьше. Многие ребята похоронили свое будущее в брюхе. Возьми чашку кофе и ломтик хлеба... ну, если уж невтерпеж, яйцо... но помни: в новый магазин надо явиться при полном параде. Нынче, я так понимаю, заправляться лучше всего в старых извозчичьих харчевнях. Часы и цепочку не продавай до самой последней крайности...

Магазинов теперь хоть пруд пруди,— продолжал Баггинс. И прибавил раздумчиво: — Только сейчас, пожалуй, не сезон.

Он принялся вспоминать, как сам искал работу.

— Столько разного народу встречаешь, прямо на удивление,— сказал он.— С кем только не столкнешься! На иного поглядишь — ну что твой герцог. Цилиндр на нем. Ботиночки первый сорт, лакированные. Сюртучок. Все как полагается. Такого хоть сейчас возьмут в самый шикарный магазин. А другие — господи! Поглядишь — ну, берегись! Как бы самому не дойти до такой жизни. Дырки на башмаках замазаны чернилами,— видно, в какую-нибудь читальню заходил. Я-то сам обычно писал по объявлениям в читальне на Флит-стрит — самый обыкновенный грошовый клуб... Шляпа, сто раз промокшая, совсем потеряла форму, воротничок обтрепался, сюртучишко застегнут по самое горло, только и виден черный галстук, рубашки-то под ним вовсе нет.— Баггинс в благородном негодовании воздел руки к небесам.

— Совсем без рубашки?

— Проел,— ответил Баггинс.

Киппс задумался.

— Где-то сейчас старина Минтон,— сказал Киппс наконец.— Я его часто вспоминаю.

4

На другое утро после того, как Киппсу было заявлено об увольнении, в магазине появилась мисс Уолшингем. Она вошла с темноволосой стройной дамой, уже немолодой и увядшей, в очень опрятном платье — это была ее матушка, с которой Киппсу предстояло впоследствии познакомиться. Он увидел их в центральном зале, у прилавка с лентами. Сам он как раз принес новую партию товара, который только что распаковал у себя в отделе, к прилавку напротив, где торговали перчатками. Обе дамы склонились над коробкой черных лент.

На мгновение Киппс совсем растерялся. Как тут себя вести, чего требуют приличия? Он тихонько поставил коробки с товаром и, положив руки на прилавок, молча

уставился на обеих покупательниц. Но, когда мисс Уолшингем выпрямилась на стуле, он тотчас сбежал...

К себе в хлопчатобумажный отдел он вернулся страшно взволнованный. Как только он ушел, ему сейчас же захотелось опять ее увидеть. Он метался за прилавком, отдавая отрывистые приказания ученику, убиравшему витрину. Потом повертел в руках какую-то коробку, зачем-то развязал ее, снова стал завязывать и вдруг опять кинулся в главный зал. Сердце его неистово колотилось.

Дамы уже поднялись со стульев — очевидно, выбрали все, что хотели, и теперь дожидались сдачи. Миссис Уолшингем равнодушно взирала на расставленные по прилавку коробки с лентами; Элен обводила взглядом магазин, увидела Киппса — и в глазах ее явственно вспыхнула искорка оживления.

Он по привычке опустил руки на прилавок и смущенно глядел на нее. Как она поступит? Не пожелает его узнать? Элен пересекла зал и подошла к нему.

— Как поживаете, мистер Киппс? — спросила она своим ясным, чистым голосом и протянула ему руку.

— Хорошо, благодарю вас,— ответил Киппс.— А вы как?

Она сказала, что покупала ленты.

Киппс почувствовал, что миссис Уолшингем чрезвычайно удивлена, и не решился намекнуть на занятия резьбой по дереву; вместо этого он сказал, что она, небось, рада каникулам. Она ответила: да, рада, у нее теперь остается больше времени на чтение и тому подобное. Она, наверно, поедет за границу, догадался Киппс. Да, они, вероятно, отправятся ненадолго в Нок или в Брюгге.

Они замолчали; в душе Киппса бушевала буря. Ему хотелось сказать ей, что он уезжает и никогда больше ее не увидит. Но у него не было таких слов, да и голос ему изменил. Отпущенные ему секунды пролетели. Девица из отдела лент вручила миссис Уолшингем сдачу.

— Ну, до свидания, — сказала мисс Уолшингем и опять подала ему руку.

Киппс с поклоном пожал ее. Никогда еще она не видела, чтобы он держался так хорошо. Она повернулась к матери. Все пропало, все пропало. Ее мать! Разве такое можно сказать при ее матери! Ему оставалось лишь быть

вежливым до конца. И он кинулся отворять им дверь. Стоя у дверей, он еще раз низко и почтительно поклонился, лицо у него было серьезное, почти строгое, а мисс Уолшингем, выходя, кивнула ему и улыбнулась. Она не заметила его душевных мук, а только лестное для нее волнение. И горделиво улыбнулась, словно богиня, которой воскурили фимиам.

Миссис Уолшингем кивнула чопорно и как-то стесненно.

Они вышли, а Киппс еще несколько мгновений придерживал дверь, потом кинулся к витрине готового платья, чтобы увидеть их, когда они пойдут по улице. Вцепившись в оконную решетку, он не сводил с них глаз. Мать, кажется, о чем-то осторожно расспрашивала. Элен отвечала небрежно, с невозмутимым видом человека, вполне довольного нашим миром.

— Ну, право, мамочка, не могу же я делать вид, будто не узнаю своего студента,— говорила она в эту минуту.

И они скрылись за углом.

Ушла! И он больше никогда ее не увидит... никогда!

Киппса будто полоснули хлыстом по сердцу. Никогда! Никогда! Никогда! И она ничего не знает! Он отвернулся от витрины. Но смотреть на свой отдел, на двух подчиненных ему учеников было нестерпимо. Весь залитый светом мир был невыносим.

Он постоял еще мгновение в нерешительности и сломя голову кинулся в подвал, на склад своего хлопчатобумажного отдела. Роджерс о чем-то его спросил, но он сделал вид, что не слышит.

Склад хлопчатобумажного отдела находился в подвальчике, отдельно от больших подвалов здания и едва освещался тусклым газовым рожком. Не прибавляя газа, он кинулся в самый темный угол, где на нижней полке хранились ярлычки для витрин. Трясущимися руками схватил и опрокинул коробку с ярлычками; теперь он с полным правом мог на какое-то время остаться здесь, укрывшись в тени, и хоть ненадолго дать волю горю, от которого разрывалось его сердчишко.

Так он сидел, пока крик «Киппс! Живо!» не заставил его вновь предстать перед этим безжалостным миром.

ГЛАВА VI

НЕОЖИДАННОСТЬ

1

В тот же день, после обеда, в часы затишья, перед тем как нахлынут вечерние покупатели, виновник всех бед Читтерлоу нагрянул к Киппсу с невероятным, ошеломляющим известием. И нет, чтобы просто, как полагается, войти в магазин и вызвать Киппса,— нет, он явился весьма необычно, таинственно, с непонятными предосторожностями. Сперва Киппс заметил, что какая-то тень мечется на улице перед витриной чулочных изделий. Потом он узнал Читтерлоу: тот пригибался, становился на цыпочки, вытягивал шею, пытаясь в просвет среди чулок и носков заглянуть внутрь, в магазин. Потом перенес свое внимание на дверь, но, повертевшись возле нее, перешел к витрине «Все для младенцев». В каждом его движении, в каждом шаге сквозило еле сдерживаемое волнение.

При дневном свете Читтерлоу выглядел далеко не столь внушительно, как при неярких ночных огнях или в блеске собственных рассказов. Общие контуры, разумеется, оставались те же, но весь он словно слинял. Его велосипедный картузик оказался совсем жалким, а пропыленная двубортная тужурка вся лоснилась. Рыжие волосы и профиль и сейчас поражали своей живописностью, но уже не казались созданием Микеланджело. Однако карий глаз, пытливо пронизывающий витрину, был все так же ярок.

Киппсу ничуть не хотелось вновь беседовать с Читтерлоу. Знай он наверняка, что Читтерлоу не войдет в магазин, он бы спрятался и переждал опасность на складе, но поди угадай, что еще выкинет этот сумасброд. Лучше пока держаться в тени, а когда Читтерлоу подойдет к боковой хлопчатобумажной витрине, выйти — как будто бы за тем, чтобы посмотреть, в порядке ли витрина,— и объяснить ему, что дела плохи и болтать с ним сейчас никак нельзя. Стоит, пожалуй, даже сказать, что он, Киппс, уже потерял место...

— Привет, Читтерлоу,— сказал Киппс, выходя на улицу.

— Вас-то мне и надо,— ответил Читтерлоу, крепко пожимая его руку.— Вас-то мне и надо.— И он взял Киппса за локоть.— Сколько вам лет, Киппс?

— Двадцать один. А чего такое?

— А еще говорят, совпадений в жизни не бывает. И зовут вас... Погодите, погодите.— Он ткнул в Киппса пальцем.— Артур?

— Верно.

— Значит, это вы тот самый и есть,— объявил Читтерлоу.

— Какой еще тот самый?

— Бывают же такие совпадения! — воскликнул Читтерлоу, засунув ручищу во внутренний карман куртки.— Минуточку, сейчас я скажу вам, как звали вашу матушку.

Он захохотал и, порывшись в кармане, вытащил счет от прачки и два огрызка карандаша; переложив их в боковой карман, извлек мятую, покалеченную сигару, резиновый хоботок велосипедного насоса, кусок бечевки, дамский кошелек и ко всему записную книжечку, из которой вылетело несколько визитных карточек; подобрав их, он извлек из той же книжки обрывок газеты.

— Юфимия,— прочел он и вытянул шею в сторону Киппса.— Ну? — Он громко засмеялся.— Бывает же такая удача!.. Ну и совпадение. Только, чур, не говорите, что ее звали не Юфимия, не надо портить это великолепное представление.

— Кого звать Юфимия? — спросил Киппс.

— Вашу матушку.

— Дайте я погляжу, чего тут в газете.

Читтерлоу вручил ему обрывок газеты и небрежно отвернулся.

— Говорите, что хотите, а совпадения существуют,— сказал он в пространство и снова гулко захохотал.

Киппс начал читать. «Уодди или Киппс,— было напечатано большими буквами.— Если Артур Уодди или Артур Киппс, сын Маргарет Юфимии Киппс, которая...»

Читтерлоу ткнул пальцем в обрывок газеты.

— Я просматривал эту колонку и выуживал имена, будь они неладны, искал подходящие для своей пье-

сы. Никогда не нужно выдумывать имена. Я уже вам говорил. Тут я вполне согласен с Эмилем Золя. Чем документальнее, тем лучше. Я их беру горяченькие, прямо из жизни. Понимаете? Кто этот Уодди?

— Почем я знаю.

— Не знаете Уодди?

— Да нет же!

Киппс снова поглядел в газету, но тут же махнул рукой.

— Что все это значит? — спросил он.— Я никак не пойму.

— Это значит,— принялся, наконец, объяснять Читтерлоу,— насколько я понимаю, вы напали на жилу. Бог с ним, с Уодди, это мелочь. Что такие вещи обычно означают? Вам сообщат нечто... очень для вас приятное. Я тогда совершенно случайно взял эту газету, чтобы подыскать имена для пьесы. А тут заглянул в нее еще раз — и мигом понял, что это вы и есть. Я верю в совпадения. Говорят, совпадений не бывает. А я говорю: бывают. Все на свете сплошные совпадения. Только умей видеть. И вот, пожалуйста. Вот вам совпадение! Невероятно? Очень даже вероятно! Понимаете? Это вы Киппс! К черту Уодди! Вы вытащили счастливый билет. Моя пьеса несет удачу. Хлоп! Вы в ней, и я в ней. Мы оба в ней по уши. Хватай! — Он громко щелкнул пальцами.— И плевать на этого Уодди.

— Чего? — отозвался Киппс, тревожно косясь на пальцы Читтерлоу.

— Все в порядке,— сказал Читтерлоу,— можете биться об заклад на свои единственные штаны. И не волнуйтесь из-за Уодди... все ясно, как божий день. Правда на вашей стороне... как пить дать. Ну что рот разинули, дружище? Нате, прочтите сами, если мне не верите. Читайте!

И он потряс клочком газеты перед носом Киппса.

В эту минуту Киппс заметил, что из витрины на них глазеет второй ученик. Это помогло ему немного собраться с мыслями,

— ...который родился в Восточном Гринстеде. И верно, я там родился. Я слышал, тетушка говорила, что...

— А я и не сомневался,— сказал Читтерлоу; он ухватил край газетной вырезки и уставился в нее, щекой к щеке Киппса.

— ...первого сентября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года...

— Все в порядке,—сказал Читтерлоу.— Все в полном порядке, теперь вам только остается написать Уотсону и Бину и получить его...

— Чего получить?

— А кто его знает... Что б там ни было.

Киппс нерешительно потрогал свои чуть заметные усики.

— А вы бы написали? — спросил он.

— Еще бы!

— А чего там может быть?

— Так это же самое интересное! — воскликнул Читтерлоу, проделав три па какого-то фантастического танца.— В этом же вся штука. Там может быть что угодно... ну, хоть миллион. Вот бы хорошо! А что там очистится для Гарри Читтерлоу?

Киппса стала бить легкая дрожь.

— Но...— начал он и задумался.— А вы бы на моем месте... — опять заговорил он.— И как же насчет этого Уодди?..

Он поднял глаза и увидел, что второй ученик, глазевший на них из витрины, молниеносно скрылся.

— Что там такое? — спросил Читтерлоу, но не получил ответа.

— Господи! Хозяин! — произнес Киппс и в мгновение ока нырнул в дверь.

Он ворвался в магазин, когда Шелфорд в сопровождении младшего ученика проследовал к остаткам хлопчатобумажных плательных тканей, чтобы рассортировать их, и уже требовал Киппса.

— Ага, Киппс! Прогуливался.

— Вышел поглядеть, в порядке ли витрина, сэр,— ответил Киппс.

Шелфорд только хмыкнул.

Некоторое время Киппсу, занятому по горло, было не до Читтерлоу и не до скомканного в кармане брюк обрывка газеты. Но в какую-то минуту он с тревогой заметил, что на улице за стеклом витрины возникла какая-

то суматоха. И совсем перетрусил, когда за стеклянной дверью, ведущей в его отдел, замаячил знакомый любопытный нос и яркий карий глаз: Читтерлоу искал причину внезапного бегства Киппса — потом, должно быть, углядел лучезарную плешь мистера Шелфорда, мигом все понял и удалился.

Киппс облегченно вздохнул и опять занялся своими неотложными делами, объявление же по-прежнему лежало у него в кармане.

Не сразу он сообразил, что Шелфорд спрашивает его о чем-то.

— Да, сэр, нет, сэр, совершенно верно, сэр. Завтра буду сортировать зефир, сэр.

Но вот, наконец, он улучил минутку и, укрывшись за только что распакованным тюком с летними кружевными занавесями, достал из кармана обрывок газеты, разгладил его и перечел. Поди разберись, что тут к чему. «Артур Уодди или Артур Киппс» — один это человек или два? Надо бы спросить Пирса или Баггинса. Только вот...

Тетка с детства внушала ему не отвечать ни на какие расспросы про мать: видно, было в ее жизни что-то, требовавшее тайны.

— Станут спрашивать — знай помалкивай,— наказывала тетушка.— Ничего, мол, не знаю, и все тут.

Так вот оно что... Так, может быть, она?..

Лицо у Киппса стало хмурое и озабоченное, и он энергично подергал свои усики.

Он всегда утверждал, что его отец был «фермер из благородных». «Но ферма не оправдывала себя»,— говорил он обычно, и при этом ему представлялся измученный заботами и преждевременно состарившийся аристократ из какого-нибудь грошового журнальчика. «Я круглый сирота»,— объяснял он как человек, хлебнувший горя на своем веку. Он рассказывал, что живет с тетей и дядей, но умалчивал об их лавчонке, и уж, конечно, у него хватало ума скрывать, что дядюшка в прошлом был дворецким, то есть, попросту говоря, слугой. Да и все младшие служащие в заведении Шелфорда говорили о своих родителях туманно и сдержанно, избегая вдаваться в подробности: ведь это так постыдно, если тебя причислят к простонародью! Спросить, что значит

это «Уодди или Киппс»,— значит разрушить невинную легенду о своем происхождении и сиротстве. В сущности, Киппс и сам очень смутно представлял, каково его положение в мире (да, по правде говоря, он вообще все на свете представлял себе довольно смутно), но он знал, что в его положении есть что-то... незавидное.

А если так?..

Взять, что ли, да и разорвать это объявление, не то хлопот не оберешься.

Но тогда придется все объяснить Читтерлоу!

— Нет уж! — выдохнул Киппс.

— Киппс! Киппс, живо! — скомандовал Каршот, который сегодня исправлял должность старшего.

Киппс скомкал обрывок газеты, снова сунул его в карман и поспешил к покупательнице.

— Мне бы хотелось что-нибудь такое, чем можно покрыть небольшую скамеечку. Ничего особенного, какой-нибудь остаточек, что угодно,— говорила покупательница, сквозь очки рассеянно глядя по сторонам.

На долгих полчаса Киппс оторвался от мыслей о газетном объявлении, и к концу этого получаса скамеечку все еще нечем было покрыть, а на прилавке у Киппса образовалась богатейшая выставка тканей, которые ему предстояло вновь убрать на полки. Он так разозлился на злосчастную скамеечку, что совсем позабыл о скомканном в кармане объявлении.

2

В тот вечер Киппс сидел на своем жестяном сундучке под газовым рожком и листал сборник «Ответы на все вопросы», составлявший справочную библиотеку Баггинса,— надо же найти имя Юфимия и узнать, что оно значит! Киппс надеялся, что Баггинс по своему обыкновению спросит, что это он ищет, но была суббота, и Баггинс собирал белье в стирку.

— Два воротничка,— бормотал он,— один носок, две манишки. Рубашка?.. Хм... Где-то должен быть еще воротничок.

— Юфимия,— не выдержал наконец Киппс; он не мог не поделиться осенившей его счастливой догадкой о

своем высоком происхождении.— Юфимия... ведь правда, в простой семье так девочку не назовут?

— В простой,— фыркнул Баггинс,— ни в какой порядочной семье так не назовут,— заявил он.

— Вот тебе и на!—воскликнул Киппс.—Это почему?

— Да потому, что, когда у девчонки такое имя, она почти наверняка пойдет по дурной дорожке. С таким имечком только собьешься с панталыку. Была бы у меня дочка, чего там — десять дочек, я бы всех назвал Джейн. Всех до одной. Самое распрекрасное имя. А то — Юфимия! Выдумают тоже... Эй, слышь! Там у тебя под кроватью, случаем, не мой воротничок?

— А по-моему, не такое уж плохое имя,— сказал Киппс, доставая из-под кровати воротничок.

Но после этого разговора он уже не мог успокоиться.

— Вот возьму и напишу письмо,— сказал он; видя, что Баггинс, занятый своим бельем, ничего не замечает и не слышит, он добавил про себя: — Напишу — и все тут.

Итак, он достал пузырек с чернилами, одолжил у Баггинса перо и, не особенно раздумывая над правописанием и стилем, сделал, как решил.

Примерно через час он вернулся в спальню; он немного запыхался и даже побледнел.

— Где пропадал? — спросил Баггинс, проглядывая «Дейли Уорлд Мэнеджер», который по заведенному обычаю перешел к нему от Каршота.

— Ходил на почту, опускал письма,— ответил Киппс, вешая шляпу.

— Насчет места?

— Само собой,— сказал он и прибавил с нервным смешком: — Чего ж еще?

Баггинс снова углубился в газету. А Киппс сел на свою койку и задумчиво уставился на оборотную сторону его газеты.

— Баггинс,— решился он наконец.

Тот опустил газету и посмотрел на Киппса.

— Послушай, Баггинс, чего это такое, когда в газете помещают объявление: такого-то и такого-то, мол, просят зайти туда-то в его собственных интересах?

— Разыскивают людей,— ответил Баггинс, снова углубляясь в газету.

— А для чего? — спросил Киппс.— Чтоб передать им наследство? Или еще что?

Баггинс покачал головой.

— Долги,— сказал он.— Чаще всего долги.

— Какой же тогда человеку интерес?

— А на эту удочку скорей клюнешь,— объяснил Баггинс.— Обычно это жены стараются.

— Как так?

— Ну когда брошенная жена хочет вернуть мужа из бегов.

— А все-таки бывает, что это и наследство, правда? К примеру, кто-нибудь отказал кому-нибудь сто фунтов?..

— Очень редко.

— Ну, а как же...— начал было Киппс, но его вновь одолели сомнения.

Баггинс вновь погрузился в газету. Его взволновала передовая о положении в Индии.

— Господи боже мой! — воскликнул он.— Да разве можно давать этим черномазым право голоса!

— Они, небось, и не дадут,— сказал Киппс.

— Это ж какой народ! — горячился Баггинс.— Ни тебе английского здравомыслия, ни характера. И они всегда готовы мошенничать, лжесвидетельствовать и всякое такое... У англичанина этого и в мыслях нет. У них прямо возле суда сидят свидетели и ждут, чтоб их наняли... Верно тебе говорю, Киппс, истинная правда. Такая у них профессия. Ты идешь в суд, а они тебе кланяются, перед тобой шляпы снимают. Англичанину такое и в голову не придет, уж можешь мне поверить... А у них это в крови. Больно они трусливые, откуда ж им быть честными. Характер у них рабский. Они не привычны к свободе, не то, что мы; дай им свободу, а они и не знают, что с ней делать, и ничего хорошего не получится. А вот мы... А, черт!

Газовый рожок неожиданно погас, а Баггинсу оставалось прочесть еще целую колонку светской хроники.

Теперь Баггинс уже вовсе не слушал Киппса, он принялся честить Шелфорда: сквалыга, в этакую пору выключает газ! Он не пожалел для хозяина самых язвительных слов, разделся в темноте, ударился босой ногой о сундучок, выругался и мрачно, злобно умолк.

Киппс попытался уснуть, прежде чем все связанное с письмом, которое он только что отправил, вновь завладеет его мыслями, но это ему не удалось. И, вконец измученный, он принялся вновь обдумывать все с самого начала.

Теперь, когда первоначальный страх утих, он все-таки не мог решить, рад он или не рад, что отправил письмо. А вдруг он получит сто фунтов!

Конечно же, сто фунтов!

Если так, он продержится целый год,— чего там, даже два, три года, пока не найдет себе места.

Даже если только пятьдесят фунтов!..

Баггинс уже мерно дышал, когда Киппс снова заговорил.

— Баггинс,— окликнул он.

Притворяясь спящим, Баггинс задышал громче. и даже стал похрапывать.

— Послушай, Баггинс,— немного погодя снова окликнул его Киппс.

— Ну, чего еще? — весьма нелюбезно отозвался Баггинс.

— Вдруг бы ты увидал в газете объявление и свою фамилию: дескать, тебя приглашают зайти к какому-то человеку, и он тебе сообщит что-то такое, очень тебе интересное... Ты бы что сделал?

— Удрал бы,— буркнул Баггинс.

— Но...

— Я бы удрал и носу не высовывал.

— А почему?

— Спокойной ночи, старина.— Баггинс произнес это таким тоном, что стало совершенно ясно: разговоры кончены, пора спать.

Киппс надолго притих, потом тяжело вздохнул, повернулся на другой бок и снова уставился во тьму.

Дурак он, что отправил это письмо!

Господи! Вот дурак-то!

3

Ровно через пять с половиной дней после того, как был выключен свет, что помешало Баггинсу дочитать газету, на набережной появился бледный молодой человек с широко раскрытыми горящими глазами. На нем

был лучший его костюм, и, несмотря на хорошую погоду, в руках — зонтик, словно он шел из церкви. Он приостановился в нерешительности, потом повернул направо. Он пристально вглядывался в каждый дом, мимо которого проходил, и вдруг резко остановился. «Хьюгенден» — было выведено строгими черными буквами на воротах. «Хьюгенден» — гласили золотые буквы, выписанные на стекле полукруглого окна над дверью. Прекрасный оштукатуренный дом, прямо дух захватывает, и балкон дивного цвета морской волны да еще с позолотой. Молодой человек, задрав голову, оглядывал этот прекрасный дом.

— Боже милостивый! — благоговейно прошептал он наконец.

Во всех окнах нижнего этажа богатые темно-красные портьеры, а над ними — жалюзи на медных карнизах. В окне гостиной в большом, изящной работы вазоне — пальма. На двери — добротный бронзовый дверной молоток; были тут и два звонка, под одним табличка — «Для прислуги».

— Боже милостивый! Прислуга, а?

Молодой человек отошел в сторонку, не сводя глаз с дома, потом возвратился на прежнее место. Нерешительность совсем одолела его, он отошел еще дальше, к морю, сел на скамью, облокотился на спинку и опять уставился на «Хьюгенден». Тихонько насвистывая какую-то песенку, он склонил голову направо, потом налево. Затем некоторое время хмуро, в упор смотрел на дом.

Тучный краснолицый пожилой джентльмен с глазами навыкате сел рядом с Киппсом, снял панаму с необыкновенно лихо изогнутыми полями и, шумно отдуваясь, отер пот со лба. Потом стал вытирать панаму изнутри. Киппс глядел на соседа, пытаясь сообразить, какой у него годовой доход и где он купил такую необыкновенную панаму. Но скоро «Хьюгенден» снова завладел его мыслями.

— Послушайте, — поддаваясь внезапному порыву, сказал Киппс, обратившись к пожилому джентльмену.

Пожилой джентльмен вздрогнул и обратил взор на Киппса.

— Что вы сказали? — свирепо спросил он.

— Вы, небось, не поверите, а ведь этот вот дом мой.— И Киппс ткнул пальцем в сторону «Хьюгендена».

Пожилой джентльмен повернул голову и поглядел на дом. Потом обернулся к Киппсу, налитыми кровью глазами человека, которого вот-вот хватит апоплексический удар, уставился на его плохонький «парадный» костюм и вместо ответа лишь запыхтел.

— Правда, мой,— повторил Киппс, уже не так уверенно.

— Не болтайте глупостей,—сказал пожилой джентльмен, надел панаму, глаза сразу скрылись под ее полями.— И так жарко,— возмущенно пропыхтел он,—а тут еще вы со своими глупостями.

Киппс перевел взгляд с пожилого джентльмена на дом, потом снова на пожилого джентльмена. Пожилой джентльмен поглядел на Киппса, фыркнул, отвернулся к морю и снова, фыркнув весьма презрительно, посмотрел на Киппса.

— Не верите, что он мой? —спросил Киппс.

Пожилой джентльмен вместо ответа через плечо мельком взглянул на дом, а потом сделал вид, будто тут и нет никакого Киппса, будто рядом с ним пустое место.

— Нынче утром я получил его в наследство,— сказал Киппс.— И этот дом и еще кое-чего.

— Ох!—выдохнул пожилой джентльмен с видом вконец измученного человека. Казалось, он ждет, чтобы прохожие избавили его от Киппса.

— Да, получил,— сказал Киппс.

Он помолчал, неуверенно поглядывая на дом, словно его все сильнее одолевали сомнения.

— Я получил...— снова начал он и осекся.

— Да нет, чего ж говорить, раз вы не верите,— сказал он.

После нелегкой внутренней борьбы возмущенный пожилой джентльмен решил на сей раз обойтись без апоплексического удара.

— Знаю я эти штучки,— пропыхтел он.— Вот сдам вас в полицию!

— Какие штучки?

— Не первый день живу на свете,— сказал пожилой джентльмен, отдуваясь.—Достаточно на вас поглядеть!— прибавил он.— Знаю я таких...

Пожилой джентльмен кашлянул, покивал головой и снова кашлянул.

Киппс поглядывал то на дом, то на пожилого джентльмена, то снова на дом. Похоже, разговаривать им больше не о чем.

Вскоре он поднялся и прямиком через газон медленно зашагал к внушительному подъезду. Остановился и неслышно, одними губами произнес волшебное слово: «Хьюгенден». Домик первый сорт! Он поглядел через плечо, словно призывая пожилого джентльмена в свидетели, потом пошел своей дорогой. Такого разве убедишь?

Он шел медленно, очень медленно, словно какая-то невидимая нить тянула его назад. Когда с тротуара дом перестал быть виден, Киппс сошел на мостовую. И наконец, сделав усилие, оборвал нить.

Завернув в тихую боковую улочку, он украдкой расстегнул пиджак, вынул конверт с тремя банковыми билетами, посмотрел на них и положил обратно. Потом выудил из кармана брюк пять новеньких золотых и полюбовался ими: вот каким доверием прониклись к нему мистеры Бин и Уотсон; а все потому, что он точная копия портрета его покойной мамаши!

Да, все верно.

Так оно и есть.

Он бережно спрятал золотые и вдруг повеселел — и радостно зашагал дальше. Все чистая правда: у него есть свой дом, он богатый человек и сам себе хозяин. Он уже свернул было за угол, направляясь к Павильону, но передумал и повернул назад: сейчас он пойдет в магазин и все им расскажет!

Далеко впереди кто-то переходил дорогу, кто-то, с кем до странности связано его нынешнее настроение. Да это же Читтерлоу! Тот самый Читтерлоу, от которого все и пошло! Драматург бодро шагал по перекрестку. Голова высоко вскинута, велосипедный картузик сдвинут на затылок, в веснушчатой ручище два романа из библиотеки, утренняя газета, завернутая в бумагу новая шляпа и корзинка, полная лука и помидоров...

Надо его догнать и рассказать о поразительной перемене, только что совершившейся в мире, решил Киппс, но в эту минуту Читтерлоу скрылся за винным магазином на углу.

Киппс уже окликнул было его, но прикусил язык и только помахал зонтиком. Потом, ускорив шаг, заторопился вдогонку. Повернул за угол — а Читтерлоу уже и след простыл, почти бегом дошел до следующего угла — и тут Читтерлоу не оказалось. Тогда Киппс повернул назад, напрасно отыскивая глазами еще какой-нибудь таинственный угол, за которым мог исчезнуть Читтерлоу. В недоумении он прижал палец к губам, постоял на краю тротуара, озираясь по сторонам. Но Читтерлоу как сквозь землю провалился.

Нет как нет!

А между тем для его смятенной души оказалось целительно даже мельком увидеть Читтерлоу — все сразу стало на свои места, а это было ему сейчас так необходимо!

Все правильно, все хорошо.

Его вдруг взяло нетерпение рассказать о том, что с ним случилось, в магазине, всем и каждому. Это как раз то, что требуется. Вот тогда он наконец и сам поверит, что все это чистая правда. И, подхватив зонтик как попало, он скорым шагом направился к магазину.

Вошел он через хлопчатобумажный отдел. Стремительно распахнув дверь, сквозь стекло которой еще так недавно со страхом следил за любопытным носом Читтерлоу, он увидел второго ученика и Пирса, занятых разговором. Пирс ковырял булавкой в зубе и между делом вещал о том, что такое хороший тон.

Киппс подошел к прилавку.

— Слышь,— сказал он.— У меня новости!

— Чего еще? — отозвался Пирс, не вынимая изо рта булавки.

— Угадай.

— Ты смылся, потому что Тедди в Лондоне.

— Лучше.

— Тогда чего?

— Получил наследство.

— Рассказывай!

— Вот ей-ей!

— *Ври больше!*

— Верно говорю. Получил наследство — тыщу двести фунтов. Тыщу двести в год!

И он двинулся к маленькой дверце, ведущей из магазина в жилую часть дома, точно regardant passant[1], как говорят герольды.

Пирс застыл, разинув рот, с булавкой в руке.

— Врешь! — вскрикнул он наконец.

— Вот ей-богу,— сказал Киппс.— Я ухожу из магазина.

И шагнул через половик, постеленный перед дверью из магазина в жилую часть дома.

4

В это время мистер Шелфорд как раз был в Лондоне — закупал товары для летнего сезона и, надо думать, беседовал с претендентами на место Киппса.

И вот слух о необычайном происшествии вихрем пронесся из конца в конец магазина. Мужчины все до одного, встречаясь, первым делом спрашивали: «Слыхали про Киппса?»

Новая кассирша узнала о событии от Пирса и ринулась в отдел безделушек, спеша всех поразить. Киппс получил наследство — тысячу фунтов в год, нет, двенадцать тысяч фунтов! Киппс получил наследство — миллион двести тысяч фунтов в год. Цифры назывались разные, но суть была верна. Киппс пошел наверх. Киппс укладывает вещи. Киппс сказал: он и за тысячу фунтов не останется в этом заведении больше ни одного дня! Передавали даже, что он вслух честил старину Шелфорда.

Киппс спустился вниз! Киппс в конторе! И тотчас все кинулись туда. (Бедняга Баггинс занимался с покупательницей и не мог понять, какого черта все словно с цепи сорвались. Да, да, Баггинс ровно ничего не знал!)

Он видел, что в магазине поднялась беготня, слышал, что то и дело поминается имя Киппса. «Динь-динь-динь»,— надрывался звонок, возвещая обед, но никто не обращал на него внимания. У всех горели глаза, все были возбуждены, всем не терпелось поделиться новостью,

---

[1] Посторонний прохожий (*франц.*).

хоть тресни, найти кого-нибудь, кто еще ничего не знает, и первым выпалить: «Киппс получил наследство, тридцать, сорок, пятьдесят тысяч фунтов!»

— Что?! — вскричал старший упаковщик.— Он? — И стремглав кинулся в контору, словно ему сказали, что Киппс сломал себе шею.

— Тут один наш только что получил наследство — шестьдесят тысяч фунтов,— сказал старший ученик покупательнице, которая давно уже его дожидалась.

— Неожиданно? — спросила покупательница.

— В том-то и дело...

— Уж если кто заслужил наследство, так это мистер Киппс,— сказала мисс Мергл и, шурша юбками, поспешила в контору.

На Киппса градом сыпались поздравления. Он стоял весь красный, волосы растрепались. В левой руке он все еще сжимал шляпу и свой лучший зонтик. Правой он уже не чувствовал: ее все время кто-нибудь пожимал и тряс. «Динь-динь-дон, дурацкий дом, все вверх дном»,— надрывался всеми забытый обеденный колокол.

— Дружище Киппс! — говорил Пирс, тряся его руку.— Дружище Киппс!

В глубине конторы Буч потирал свои бескровные руки.

— А вы уверены, что тут нет никакой ошибки, мистер Киппс? — спросил он.

— Я уверена, что нам всем следует его поздравить,— заявила мисс Мергл.

— Господи помилуй! — воскликнула новенькая продавщица из отдела перчаток.— Тысяча двести фунтов в год! Господи помилуй! Вы не собираетесь жениться, мистер Киппс?

— Три фунта пять шиллингов и девять пенсов в день,— сообщил мистер Буч, чудесным образом подсчитавший это прямо в уме.

Все твердили, что они рады за Киппса, все, кроме младшего ученика: единственный сынок любящей матери-вдовы, привыкший и считавший своим правом получать все самое лучшее, он стал чернее тучи: его терзала зависть, он не мог примириться с такой явной несправедливостью. Все же остальные и в самом деле радова-

лись от души, радовались в эту минуту, пожалуй, больше самого Киппса, которого ошеломило это нежданное-негаданное счастье...

Он спустился в столовую, бросая на ходу отрывочные фразы: «Ничего такого не ждал... Когда этот самый Бин сказал мне, я совсем ошалел... Вам, говорит, оставили в наследство деньги. Но я и тут не чаял такого, думал, может, фунтов сто. Это уж самое большее».

Пока сидели за обедом и передавали друг другу тарелки, общее возбуждение поулеглось. Домоправительница, разрезая мясо, поздравила Киппса, а служанка чуть было не залила кому-то платье: загляделась на Киппса,— где уж тут было ровно держать полные тарелки! Удивительно, как она все их не опрокинула. Казалось, новость прибавила всем проворства и аппетита (всем, кроме младшего ученика), и домоправительница оделяла всех порциями мяса с небывалой щедростью. В этой комнате, освещенной газовыми рожками, было сейчас совсем как в добрые старые времена, поистине как в добрые старые времена!

— Уж если кто заслужил богатство,— сказала мисс Мергл,— передайте, пожалуйста, соль... да, уж если кто заслужил богатство, так это мистер Киппс.

Шум поутих, когда в столовой раздался лающий голос Каршота.

— Ты теперь заделаешься важной персоной, Киппс,— сказал он.— Сам себя не узнаешь.

— Прямо как настоящий джентльмен,— сказала мисс Мергл.

— Мало ли настоящих джентльменов со всей семьей живут на меньшие деньги! — сказала домоправительница.

— Мы еще увидим тебя на набережной,— сказал Каршот.— Лопни моя...— начал было он, но поймал взгляд домоправительницы и прикусил язык. Она уже раньше выговаривала ему за это выражение.—Лопни мои глаза! —покорно поправился он, дабы не омрачать торжественный день препирательствами.

— Небось, поедешь в Лондон,— сказал Пирс.— Станешь настоящим гулякой. Сунешь в петлицу букетик фиалок и будешь эдак прохаживаться по Берлингтонскому пассажу.

— Я бы на твоем месте снял квартирку где-нибудь

в Вест-Энде,— продолжал он.— И вступил бы в первоклассный клуб.

— Так ведь в эти клубы разве попадешь,— сказал Киппс, вытаращив глаза и с полным ртом картофеля.

— Чего уж там. Были бы денежки,— сказал Пирс.

А девица из отдела кружев, относящаяся к современному обществу с цинизмом, почерпнутым из беззастенчивых высказываний мисс Мари Корелли, подтвердила:

— В наши дни с деньгами все можно, мистер Киппс.

Зато Каршот показал себя истым англичанином.

— А я бы на месте Киппса поехал в Скалистые горы,— сказал он, подбирая ножом подливку,— стрелять медведей.

— А я бы первым делом скатал в Булонь,— сказал Пирс,— и хоть одним бы глазком глянул, что там за жизнь. На пасху уж как пить дать, все равно поеду, вот увидите.

— Съездите в Ирландию,— прозвучал мягкий, но настойчивый голосок Бидди Мерфи, которая заправляла большой мастерской; с первого же слова Бидди залилась румянцем и вся засветилась — чисто по-ирландски.— Съездите в Ирландию. На свете нет страны краше. Рыбная ловля, охота на дичь, на зверя. А какие красотки! Ах! Вы увидите озера Килларни, мистер Киппс! — На ее лице выразился беспредельный восторг, она даже причмокнула.

Наконец было решено достойно увенчать великое событие. Придумал это Пирс.

— С тебя причитается, Киппс! — сказал он.

А Каршот тут же перевел его слова на язык более поэтичный:

— Шампанского!

— А как же! — весело откликнулся Киппс.

И за всем остальным, а также за добровольными курьерами дело не стало.

— Вот и шампанское! — раздались голоса, когда на лестнице появился посланный за этим напитком ученик.

— А как же магазин? — спросил кто-то.

— Да пропади он пропадом! — ответил Каршот и ворчливо потребовал штопор и что-нибудь, чем перерезать проволоку. У Пирса — ну и ловкач — в перочинном ноже оказался специальный ножичек. Вот бы у Шелфор-

да полезли глаза на лоб, если б он вдруг вернулся ранним поездом и увидел бутылки с золотыми головками! Хлоп, хлоп! — выстрелили пробки. И полилось, запенилось, зашипело шампанское!

И вот Киппса обступили со всех сторон и в свете газовых рожков с важностью, торжественно повторяют: «Киппс! Киппс!» — и тянутся к нему бокалами, ибо Каршот сказал:

— Надо пить из бокалов. Такое вино не пьют из стаканов. Это вам не портвейн, не херес какой-нибудь! Оно и веселит, а не пьянеешь. Оно ненамного крепче лимонада. Есть же счастливчики, каждый день пьют его за обедом.

— Да что вы! По три с половиной шиллинга бутылка?! — недоверчиво воскликнула домоправительница.

— А им это нипочем,— сказал Каршот.— Для таких это разве деньги?

Домоправительница поджала губы и покачала головой...

Так вот, когда Киппс увидел, что все обступили его, чтобы поздравить, у него защекотало в горле, лицо сморщилось, и он вдруг испугался, что сейчас заплачет на виду у всех. «Киппс!» — повторяли они и смотрели на него добрыми глазами. Как это хорошо с их стороны и как обидно, что и им на долю не выпало такое счастье!

Но при виде запрокинутых голов и бокалов он снова приободрился...

Они пили за него, в его честь. Без зависти, сами, по своей воле.

Вот почему Каршот, предлагая покупательнице кретон и желая отодвинуть штуки отвергнутых материй, чтобы было где отмерять, не рассчитал, толкнул слишком сильно, и они с грохотом обрушились на пол и на ноги все еще пребывающего в мрачности младшего ученика. А Баггинс, который, пока Каршот обслуживал покупателей, должен был исполнять роль старшего, прохаживался по магазину с видом необычайно важным и неприступным, покачивая на пальце новомодный солнечный зонтик с изогнутой ручкой. Каждого входящего в магазин он встречал серьезным, проникновенным взором.

— Солнечные зонтики. Самые модные,— говорил он и, выдержав для приличия паузу, прибавлял:—Слыхали,

какое дело: одному нашему приказчику привалило наследство, тыща двести фунтов в год! Самые модные, сударыня. Ничего не забыли купить, сударыня?

И он шел и распахивал перед ними двери по всем правилам этикета, и с левой руки у него элегантно свисал солнечный зонтик.

А второй ученик, показывая покупательнице дешевый тик, на вопрос, крепкий ли он, ответил удивительно:

— Ну что вы, сударыня! Крепкий! Да он ненамного крепче лимонаду...

Ну, а старший упаковщик исполнился похвальной решимости поставить рекорд быстроты и наверстать таким образом упущенное время. Вот почему мистер Суофенхем с Сандгейт-Ривьер, который к семи часам в этот вечер был приглашен на ужин, вместо ожидаемой в половине седьмого фрачной сорочки получил корсет, из тех, что рассчитаны на полнеющих дам. А комплект дамского летнего белья, отобранный старшей мисс Уолдершо, был разложен в качестве бесплатного приложения по нескольким пакетам с покупками не столь интимного свойства, в коробке же со шляпой (с правом возвращения обратно), доставленной леди Пэмшорт, оказалась еще и фуражка младшего посыльного...

Все эти мелочи, незначительные сами по себе, красноречиво свидетельствуют, однако, о бескорыстном радостном волнении, охватившем весь магазин при известии о богатстве, нежданно-негаданно свалившемся на голову мистера Киппса.

5

Омнибус, что курсирует меж Нью-Ромней и Фолкстоном, окрашен в ярко-красный цвет, на боках его изображены ленты с пышной надписью золотыми буквами «Самый скорый». Омнибус этот неторопливый, осанистый и смолоду тоже, должно быть, был такой. Под ним — прикрепленное цепями меж колес — покачивается нечто вроде багажника, а на крыше летом выставляются скамейки для пассажиров. За спинами двух видавших виды лошадей амфитеатром поднимаются места для сидения; ниже всех место кучера и его спутника, над этими двумя еще одно, а над ним, если только мне не изменяет память, еще одно. В общем, как на картине какого-

нибудь раннего итальянского художника с изображением небожителей.

Омнибус ходит не каждый день, а в какой день он пойдет, об этом надо заранее справиться. Он-то и доставит вас в Нью-Ромней. И будет доставлять еще долгие годы, ибо продолжить узкоколейку по прибрежной полосе, к счастью, подрядилась Юго-восточная железнодорожная компания и мирную тишину поросшей вереском равнины нарушают лишь звонки велосипедистов вроде нас с Киппсом. Итак, в этом самом омнибусе, огненно-красном, весьма почтенном и, по воле божией, бессмертном, что неспешно катил по фолкстонским холмам, через Сандгейт и Хайт и выехал на овеваемые ветром просторы; на одном из сидений трясся Киппс с печатью счастливого жребия на челе.

Вообразите себе это зрелище. Он сидит на самом верхнем месте, прямо над кучером, и голова его кружится и кружится — от выпитого шампанского и от поразительной, ни с того ни с сего привалившей ему удачи; и грудь все ширится, ширится — кажется, вот-вот разорвется от напора чувств, и лицо его, обращенное к солнцу, совсем преобразилось. Он не произносит ни слова, но то и дело тихонько смеется, радуясь каким-то своим мыслям. Кажется, его прямо распирает от смеха, смех бурлит в нем, вскипает, точно пузырьки в шампанском, живет в нем сам по себе, какой-то своей, особой жизнью... В руках у него банджо, он держит его, оперев о колено, стоймя, точно скипетр. Киппсу всегда хотелось иметь банджо, и вот он купил его, пока дожидался автобуса.

Рядом с Киппсом сосет мятный леденец молоденькая служанка, тут же совсем маленький мальчик, он сопит и то и дело взглядывает на Киппса: ему, видно, до смерти хочется узнать, почему это Киппс все посмеивается; по соседству с кучером двое молодых людей в гетрах рассуждают о спорте. И среди всего этого люда — богач Киппс, с виду самый обыкновенный молодой человек, вот только, пожалуй, банджо бросается в глаза, и пассажир в гетрах, сидящий слева от кучера, нет-нет да и глянет на Киппса, а особенно на банджо, словно и это банджо и ликующая физиономия Киппса для него неразрешимая загадка. Что и говорить, многие короли въезжали

в завоеванные города с еще меньшим блеском, нежели Киппс.

Омнибус держит путь на сияющий запад, и тени пассажиров становятся все длиннее, и лица в золотом блеске солнца преображаются. Солнце садится еще прежде, чем они достигают Димчерча, и когда, миновав ветряную мельницу, громыхая, въезжают в Нью-Ромней, уже совсем смеркается.

Кучер спустил вниз банджо и саквояж, и Киппс заплатил ему, сказал, как и подобает джентльмену: «Сдачи не надо»,— повернулся и чемоданом прямехонько угодил в Киппса-старшего, который, услыхав, что у дверей лавки остановился омнибус, вскочил в гневе из-за стола и, не прожевав куска, кинулся на улицу.

— Здравствуйте, дядя, я вас не приметил,— сказал Киппс.

— Дурень неуклюжий,— ответствовал Киппс-старший.— Ты-то как сюда попал? У вас сегодня рано закрывают, что ли? Сегодня разве вторник?

— Я с новостями, дядя,— сказал Киппс, опуская саквояж.

— Тебя, часом, не уволили? И что это у тебя в руках? О, чтоб мне провалиться, да это ж банджо! Боже праведный, тратить деньги на банджо! И не ставь ты здесь саквояж. Прямо на самом ходу. О, чтоб мне провалиться, да что ж это за парень, ты последнее время совсем от рук отбился. Эй! Молли! Погляди-ка! И чего это ты приехал с саквояжем? Может, тебя и впрямь уволили?

— Есть новости, дядя,— сказал немного оглушенный Киппс.— Ничего худого. Сейчас расскажу.

Киппс-старший взял банджо, а его племянник снова подхватил саквояж.

Распахнулась дверь столовой, открыв взору Киппса тщательно сервированный ужин, и на пороге появилась миссис Киппс.

— Да неужто Арти приехал! — воскликнула она.— Какими судьбами?

— Здравствуйте, тетя,— сказал Арти.—Это я. У меня новости. Мне повезло.

Нет, он не выложит им все прямо с ходу. Пошатываясь под тяжестью саквояжа, он обогнул прилавок,

мимоходом задел вставленные друг в друга детские жестяные ведерки, так что вся пирамида закачалась и задребезжала, и прошел в гостиную. Приткнул свой багаж в угол за стоячими часами и обернулся к дяде с тетей. Тетушка глядела на него подозрительно. Желтый свет маленькой настольной лампы пробивался над верхним краем абажура и освещал ее лоб и кончик носа. Сейчас они успокоятся. Но только он не выложит им все прямо с ходу. Киппс-старший стоял в дверях лавки с банджо в руках и шумно отдувался.

— Так вот, тетя, мне повезло.

— Может, ты стал играть на бегах, Арти? — со страхом спросила она.

— Еще чего!

— В лотерею он выиграл — вон что,— провозгласил Киппс-старший, все еще не отдышавшись после столкновения с саквояжем.— Будь она неладна, эта лотерея! Знаешь что, Молли. Он выиграл эту дрянь, банджо это, и взял да и бросил свое место; вот что он сделал. И ходит радуется, дурень. Все очертя голову, не подумавши. Ну в точности бедняжка Фими. Прет напролом, а остановить ее и думать не смей!

— Неужто ты бросил место, Арти? — спросила миссис Киппс.

Киппс не упустил столь прекрасной возможности.

— Бросил,— ответил он.— Именно, что бросил.

— Это почему же? — спросил Киппс-старший.

— Стану учиться играть на банджо!

— Господи помилуй! — воскликнул Киппс-старший в ужасе, что оказался прав.

— Буду ходить по берегу и играть на банджо,— сказал Киппс-младший, хихикнув.— Вымажу лицо ваксой и буду петь. Буду веселиться за милую душу и загребать деньги лопатой — понимаете, тетя? И этаким манером живо заработаю двадцать шесть тысяч фунтов!

— Послушай,— сказала мужу миссис Киппс,— да он выпивши!

Лица у супругов вытянулись, и оба они через накрытый к ужину стол уставились на племянника. Киппс-младший расхохотался во все горло, а когда тетушка скорбно покачала головой, закатился еще пуще. И

вдруг сразу посерьезнел. Хватит, хорошенького понемножку.

— Да это не беда, тетя. Вот ей-ей. Не спятил я и не напился. Я получил наследство. Двадцать шесть тысяч фунтов.

Молчание.

— И ты бросил место? — спросил Киппс-старший.

— Ну да,— ответил Киппс,— ясно!

— И купил это самое банджо, напялил новые брюки и заявился сюда?

— Ну и ну! — сказала миссис Киппс.— Что только делается!..

— Это не новые мои брюки, тетя,— с огорчением возразил Киппс.— Мои новые брюки еще не готовы.

— Даже от тебя не ожидал такой дурости, даже от тебя,— сказал Киппс-старший.

Молчание.

— Да ведь это правда, — сказал Киппс, несколько смущенный их мрачной недоверчивостью.— Право слово... вот ей-ей. Двадцать шесть тыщ фунтов. Да еще дом.

Киппс-старший поджал губы и покачал головой.

— Дом на самой набережной. Я мог туда пойти. Да не пошел. Не захотел. Не знал, чего там делать и как говорить. Я хотел сперва рассказать вам.

— А откуда ты знаешь про дом?

— Мне сказали.

— Так вот.— Киппс-старший зловеще мотнул головой в сторону племянника, и уголки губ у него опустились (это тоже не предвещало ничего хорошего).— Простофиля ты!

— Вот уж не ждала от тебя, Арти! — сказала миссис Киппс.

— Да чего это вы? — едва слышно спросил Киппс, растерянно переводя взгляд с дяди на тетку.

Киппс-старший прикрыл дверь в лавку.

— Это с тобой шутки шутили,— мрачно, вполголоса проговорил он.— Так-то. Вздумали посмеяться над простофилей — что, мол, он станет делать.

— Тут беспременно молодой Куодлинг приложил руку,— сказала миссис Киппс.— Он ведь такой.

(Юный отпрыск Куодлингов, ходивший некогда в школу с ранцем зеленого сукна, вырос настоящим головорезом и теперь держал в страхе весь Нью-Ромней.)

— Это, небось, подстроил кто-то, кто метит на твое место,—сказал Киппс-старший.

Киппс перевел взгляд с одного недоверчивого, осуждающего лица на другое, оглядел знакомую убогую комнатку — знакомый дешевый саквояж на залатанном сиденье стула, среди накрытого к ужину стола — банджо, свидетельство его непоправимой глупости. Да разбогател ли он в самом деле? Правда ли все это? Или кто-то попросту зло над ним посмеялся?

Но стой... а как же тогда сто фунтов?

— Да нет же,— сказал он,— ей-богу, дядя, это все взаправду. Не верите?.. Я получил письмо...

— Знаем мы эти письма! — ответил Киппс-старший.

— Так ведь я ответил и в контору ходил.

На мгновение уверенность Киппса-старшего пошатнулась, но он тут же глубокомысленно покачал головой. Зато Киппс-младший, вспомнив про Бина и Уотсона, вновь обрел почву под ногами.

— Я разговаривал с одним старым джентльменом, дядя. Он самый настоящий джентльмен. И он мне все растолковал. Очень почтенный джентльмен. Бин и Уотсон, стало быть, то есть сам-то он Бин. Он сказал,— Киппс торопливо полез во внутренний карман пиджака,— сказал: наследство мне оставил мой дед...

Старики так и подскочили.

Киппс-старший вскрикнул и кинулся к камину, над которым с выцветшего дагерротипа улыбалась всему свету его давно умершая младшая сестра.

— Его звали Уодди,— сказал Киппс, все еще роясь в кармане.— А его сын мне отец.

— Уодди! — вымолвил Киппс-старший.

— Уодди! — повторила миссис Киппс.

— Она ни слова нам не сказала,— молвил Киппс-старший.

Все долго молчали.

Киппс нащупал наконец письмо, скомканное объявление и три банковых билета. Он не знал, что же лучше предъявить в доказательство.

— Послушай! А помнишь, приходил парнишка и все расспрашивал?..— вдруг сказал Киппс-старший и озадаченно поглядел на жену.

— Вот оно что,— сказала миссис Киппс.

— Вот оно что,— сказал Киппс-старший.

— Джеймс,— понизив голос, с трепетом сказала миссис Киппс,— а вдруг... Может, и вправду?

— Сколько, сынок? — спросил Киппс-старший.— Сколько, говоришь, он тебе отказал?

Да, это были волнующие минуты, хотя Киппс в своем воображении рисовал их немного по-иному.

— Тыщу двести фунтов,— кротко ответил он через стол, на котором дожидался скудный ужин, и в руках у него был документ, подтверждающий его слова.— Примерно тыщу двести фунтов в год, так тот джентльмен сказал. Дед написал завещание перед самой смертью. С месяц назад, что ли. Когда он стал помирать, он вроде как переменился — так сказал мистер Бин. Прежде он нипочем не хотел простить сына, нипочем... пока не стал помирать. А его сын помер в Австралии, давным-давно, и даже тогда он сына не простил. Того самого, который мне отец. Ну, а когда старик занемог и стал помирать, он вроде забеспокоился, и ему захотелось, чтоб про него вспоминала какая-никакая родная душа. И он признался мистеру Бину, что это он помешал сыну жениться. Так он думал. Вот как оно получилось...

6

Наконец, освещая себе путь неверным светом свечи, Киппс поднялся по узкой, ничем не застеленной лестнице в крохотную мансарду, которая в дни детства и юности служила ему кровом и убежищем. Голова у него шла кругом. Ему советовали, его остерегали, ублажали, поздравляли, угощали виски с горячей водой, лимоном и сахаром, пили за его здоровье. Ужин у него тоже был совсем необычный — два гренка с сыром. Дядя полагал, что ему следует идти в парламент, тетю же снедала тревога, как бы он не взял себе жену из простых.

— Тебе следует где-нибудь поохотиться,— наставлял Киппс-старший.

— Смотри, Арти, беспременно найди себе жену из благородных.

— Найдется сколько угодно повес из этих благородных, которые живо сядут тебе на шею,— вещал Киппс-старший.— Попомни мои слова. И будут тянуть из тебя деньги. А дашь им взаймы — поминай как звали.

— Да, мне надо быть поосторожнее,— сказал Киппс.— Мне и мистер Бин говорил.

— А ты с этим Бином тоже поосторожнее,— сказал Киппс-старший.— Мы тут в Нью-Ромней, может, и отстали от жизни, а только слыхал я про этих самых стряпчих. Гляди в оба за этим самым Бином. Кто его знает, может, он сам добирается до твоих денег! — продолжал свое старик: видно, эта забота все больше грызла его.

— На вид он очень даже почтенный джентльмен,— возразил Киппс.

Раздевался Киппс с величайшей медлительностью и то и дело застывал в раздумье. Двадцать шесть тыщ фунтов!

Тетушкины тревоги вновь пробудили в нем мысли, которые тысяча двести фунтов в год вытеснили было из его головы. Он снова вспомнил о курсах, о резьбе по дереву. Тыща двести фунтов в год... Глубоко задумавшись, он присел на край кровати — много времени спустя на пол шлепнулся его башмак, и очень не скоро второй. Двадцать шесть тыщ фунтов... Бог ты мой! Киппс сбросил на пол остатки одежды, нырнул под стеганое лоскутное одеяло и положил голову на подушку, которой некогда первой поведал о том, что в его сердце поселилась Энн Порник.

Но сейчас он не думал об Энн Порник. Сейчас он, кажется, пытался думать обо всем на свете — и притом обо всем сразу,— только не об Энн Порник. Все яркие события дня вспыхивали и гасли в его непривычно усталом мозгу: «Этот самый Бин» все что-то объясняет и объясняет, пожилой толстяк никак не желает поверить, что дом на набережной, и правда, принадлежит ему, Киппсу...

Остро пахнет мятными леденцами. Тренькает банджо, мисс Мергл говорит: он заслужил богатство, Читтерло исчезает за углом, дядюшка с тетушкой изрекают мудрые советы и предостережения... Тетушка боится, что он женится на девушке из простых. Знала бы она...

Мысли его перенеслись на урок резьбы по дереву: вот он входит в класс и поражает всех. Скромно, но вполне внятно он говорит: «Я получил в наследство двадцать шесть тысяч фунтов». Потом спокойно, но твердо объявляет, что всегда любил мисс Уолшингем, всегда, и вот, глядите, теперь отдает ей эти двадцать шесть тысяч фунтов — все до последнего шиллинга. И ему ничего не нужно взамен... Совсем ничего. Вот отдаст ей конверт с деньгами и уйдет. Разумеется, банджо он оставит себе... и сделает какой-нибудь небольшой подарок тете с дядей... Ну и, пожалуй, купит новый костюм и еще какую-нибудь мелочь, мисс Уолшингем от этого не пострадает. Внезапно мысль его сделала скачок. А ведь можно купить автомобиль или эту — как ее — пианолу, что ли, которая сама играет... Вот старик Баггинс удивится! А он прикинется, будто когда-то обучался на фортепьянах... и велосипед можно купить и велосипедный костюм...

Великое множество планов — что сделать, а главное, что купить — теснилось в мозгу Киппса. И он не столько спал, сколько смотрел беспорядочную вереницу снов: в экипаже, запряженном четверкой лошадей, он спускался с Сандгейтского холма («Мне надо быть поосторожнее») и менял один костюм за другим, но почему-то — вот ужас! — в каждом костюме оказывался какой-нибудь непорядок. И его подымали на смех. Под натиском бесчисленных костюмов карета отступает на задний план. Вот Киппс в костюме для гольфа, а на голове у него шелковый цилиндр. Потом на смену этому видению приходит кошмар: Киппс прогуливается по набережной в костюме шотландских горцев, и юбка прямо на глазах становится все короче и короче... А за ним спешит Шелфорд с тремя полисменами. «Это мой служащий,— твердит Шелфорд,— он сбежал. Это сбежавший стажер. Не спускайте с него глаз, и сами увидите, его придется арестовать. Знаю я эти юбки! Мы говорим, они не садятся в стирке, а на самом деле они садятся...» И вот

юбка все короче, короче... Надо бы изо всех сил потянуть ее вниз, да только руки у Киппса никак не действуют. Тут ему почудилось, что у него отчаянно кружится голова и сейчас он свалится без чувств. В ужасе он вскрикнул. «Пора!» — сказал Шелфорд. Киппс проснулся, обливаясь холодным потом: оказалось, одеяло сползло на пол.

Вдруг ему послышалось, что его кто-то окликнул: неужто он проспал и теперь не успеет прибрать в магазине? Но нет, еще ночь, и в окно светит луна, и он уже не в заведении Шелфорда. Где же это он? Ему вдруг примерещилось, что весь мир скатали, точно ковер, а сам он повис в пустоте. Может, он сошел с ума?

— Баггинс! — позвал он.

Никакого ответа, даже притворного храпа не слышно. Ни комнаты, ни Баггинса, ничего!

И тут он вспомнил. Посидел на краю кровати. Видел бы его кто-нибудь в эти минуты — бледное, жалкое, испуганное лицо, остановившийся взгляд... Он даже застонал тихонько.

— Двадцать шесть тысяч фунтов! — прошептал он

Ему прямо страшно стало: как быть, что делать с таким несметным богатством?

Он подобрал с полу одеяло и снова лег. Но сон все не шел. Господи, да ведь теперь вовсе незачем подниматься ровно в семь утра! Это открытие сверкнуло ему, точно звезда среди туч. Теперь можно сколько угодно валяться по утрам в постели, и вставать когда вздумается, и идти куда вздумается, и каждое утро есть на завтрак яйца, или ветчину, или копченую селедку, или... А уж мисс Уолшингем он удивит!..

Да, уж ее он удивит... удивит...

На заре его разбудила песенка дрозда. Вся комната была залита теплым золотым сиянием.

— Слушайте! — распевал дрозд.— Слушайте! Слушайте! Тысяча двести в год! Ты-ся-ча две-сти в год! Слушайте! Слушайте! Слушайте!

Киппс сел в постели и протер глаза — сон как рукой сняло. Спрыгнув с постели, он стал торопливо одеваться. Нечего терять ни минуты, надо начинать новую жизнь!

КНИГА II

МИСТЕР ФИЛИН — НАСТАВНИК

ГЛАВА I

ПО-НОВОМУ

1

Теперь на сцене появляется своего рода добрый гений, некий весьма воспитанный и любезный джентльмен по имени Честер Филин и кое-какое время будет играть в событиях главную роль. Представьте его накануне того часа, когда он начнет действовать в нашем повествовании,— под вечер он идет к Публичной библиотеке, прямой и стройный, с великолепной осанкой, с крупной головой. Поглядишь на эту голову и сразу подумаешь: уж, наверно, у этого человека могучий и уравновешенный ум; в его белой, несколько узловатой руке — большой, казенного вида конверт. В другой руке — трость с золотым набалдашником. На мистере Филине серый элегантный костюм, застегнутый на все пуговицы, и в эту минуту он откашливается, прикрыв рот казенным конвертом. У него крупный нос, холодные серые глаза и тяжеловатая нижняя челюсть. Он дышит ртом, и при каждом вдохе нижняя челюсть слегка выдается вперед. Его соломенная шляпа чуть надвинута на лоб, он заглядывает в лицо каждому встречному, но, едва ему отвечают взглядом, отводит глаза в сторону.

Таков был мистер Честер Филин в вечер, когда он набрел на Киппса. Он агент по продаже и сдаче внаем домов, человек чрезвычайно деятельный и воспитанный, всегда помнит, что он джентльмен, вращается в свете, но отдает дань и более серьезным сторонам жизни. Он непременный деятель и участник самых разных начинаний, без него не обойдется ни прелестный, изящный любитель-

ский спектакль, ни общеобразовательные курсы Он обладает приятным глубоким басом, не очень выразительным и, пожалуй, слегка дрожащим, но одним из самых мощных в хоре церкви св. Стилитса.

В эту минуту он направляется к дверям Публичной библиотеки, поднимает конверт, приветствуя идущего навстречу священника, улыбается и входит...

Здесь-то, в Публичной библиотеке, он и сталкивается с Киппсом.

К этому времени Киппс был богат уже неделю, а то и больше, и с первого взгляда видно было, что обстоятельства его переменились. На нем новый фланелевый тускло-коричневый костюм, панама и — впервые в жизни! — красный галстук, в руке трость, отделанная серебром, с черепаховым набалдашником. Ему мнится, что между жалким стажером, каким он был еще неделю назад, и сегодняшним Киппсом огромная разница, хотя на самом деле она, вероятно, не так уж велика. Он чувствовал себя ну прямо герцогом, однако (в глубине души) оставался все тем же скромным Киппсом. Опершись на палку, он с неистребимым почтением разглядывал каталог. Потом обернулся и увидел широчайшую улыбку мистера Филина.

— Что вы тут делаете? — спросил мистер Честер Филин.

Киппс мгновенно сконфузился.

— Да так,— протянул он и, чуть помедлив, прибавил: — время провожу.

То, что Филин заговорил с ним так запросто, лишний раз напомнило ему, как изменилось его положение в обществе.

— Да так как-то, время провожу,— повторил он.—Я уже три дня как вернулся в Фолкстон. У меня ведь тут собственный дом.

— Ну, как же, — сказал мистер Филин.— Вам повезло. Рад случаю вас поздравить.

Киппс протянул руку.

— Это на меня прямо с неба свалилось,— признался он. — Когда мистер Бин сказал мне все как есть, я прямо ошалел.

— Это, должно быть, означает для вас колоссальную перемену.

— Еще бы. Перемену? А как же, я сейчас вроде того парня из песни — не знаю, на каком я свете. Сами понимаете.

— Поразительная перемена,— сказал мистер Филин.— Да-а. Могу себе представить. Думаете остаться в Фолкстоне?

— Поживу малость. У меня ведь тут дом. Это в котором жил мой дед. Я там и квартирую. Его экономка осталась, она за всем смотрит. Ведь надо же — в том же самом городе, да и вообще!

— Вот именно,— подхватил мистер Филин,— поразительно! — И, прикрыв рот ладонью, он кашлянул, совсем как овца.

— Мистер Бин велел мне вернуться, надо было уладить кое-какие дела. А то я уехал было в Нью-Ромней, там у меня дядя с тетей. Но так приятно вернуться. Да...

Помолчали.

— Хотите взять книгу? — возобновил разговор мистер Филин.

— Да вот только у меня еще нет билета. Но я его беспременно добуду и стану читать. Мне и раньше, бывало, хотелось. А как же. Я вот глядел этот самый каталог. Здорово придумано. Сразу все узнаешь.

— Это — дело несложное, — сказал Филин, внимательно глядя на Киппса, и снова кашлянул.

Помолчали, но ни тому, ни другому явно не хотелось расставаться. И тут Киппс вдруг подумал... Он уже целый день, а то и дольше вынашивал одну мысль... Правда, тогда он не связывал ее именно с мистером Филином.

— У вас тут дела? — спросил он.

— Да нет, только заглянул на минуту, тут у меня одна бумага насчет курсов.

— Потому что... Может, зайдете ко мне, поглядите дом, покурим, поболтаем, а? — Киппс мотнул головой, указывая куда-то назад, и тут его обуял страх: а вдруг этим приглашением он непоправимо нарушил правила хорошего тона? Подходящий ли это, например, час? — Я был бы страх как рад,— прибавил он.

Мистер Филин попросил его подождать секундочку, вручил казенного вида конверт библиотекарше и объявил, что он весь к услугам Киппса.

Они замешкались в дверях, и это повторялось у каждой следующей двери — ни тот, ни другой не желал проходить первым — и, наконец, вышли на улицу.

— Спервоначалу, знаете, прямо как-то не по себе,— сказал Киппс. — Собственный дом и все такое... Чудно даже! И времени свободного сколько хочешь. Прямо даже не знаю, куда его девать. Вы курите? — вдруг спросил он, протягивая великолепный, отделанный золотом портсигар свиной кожи, который он, точно фокусник, вдруг вытащил неизвестно откуда.

Филин заколебался было и отказался, но тут же прибавил великодушно:

— Но вы сами, пожалуйста, курите.

Некоторое время они шли молча, Киппс изо всех сил старался делать вид, будто в своем новом костюме чувствует себя непринужденно, и осторожно поглядывал на Филина.

— Да, большая удача,— сказал наконец Филин.— У вас теперь твердый доход примерно... э-э...

— Тысяча двести фунтов в год,— ответил Киппс.— Даже малость побольше...

— Собираетесь поселиться в Фолкстоне?

— Еще сам не знаю. Может, да, а может, и нет. У меня ведь тут дом, со всей обстановкой. Но его можно и сдать.

— В общем, у вас еще ничего не решено?

— То-то и оно, что нет,— ответил Киппс.

— Необыкновенно красив был сегодня закат,— сказал Филин.

— Ага,— отозвался Киппс

И они поговорили о красотах неба на закате. Киппс не рисует? Нет, с самого детства за это не брался. Сейчас, небось, ничего бы не смог. Филин сказал, что его сестра — художница, и Киппс выслушал это с должным почтением. Филину иногда так хотелось бы располагать временем, чтобы и самому рисовать, но жизнь наша коротка, всего не переделаешь, и Киппс ответил: «То-то и оно».

Они вышли на набережную и теперь смотрели сверху на приземистые темные громады портовых сооружений

в драгоценной россыпи крохотных огоньков, притаившихся у серого сумеречного моря.

— Вот если б изобразить это,— сказал Филин.

И Киппс, словно по вдохновению, откинул голову назад, склонил к плечу, прищурил один глаз и заявил, что — да, это не так-то просто. Тогда Филин произнес какое-то диковинное слово, абенд [1], что ли, видать, на каком-то чужом языке,— и Киппс, чтобы выиграть время и успеть что-нибудь сообразить, прикурил новую сигарету о вовсе еще не докуренную предыдущую.

— Да, верно,— сказал он наконец, попыхивая сигаретой.

Что ж, пока он не подкачал, вполне сносно поддерживает беседу, но надо держать ухо востро, чтоб не осрамиться.

Они повернули в сторону от набережной. Филин заметил, что по такому морю приятно плыть, и спросил Киппса, много ли ему приходилось бывать за морем. Киппс ответил: нет, немного, но он подумывает в скором времени съездить в Булонь; тогда Филин заговорил о прелести заграничных путешествий; при этом он так и сыпал названиями всяких мест, о которых Киппс и слыхом не слыхал. А Филин всюду бывал! Киппс из осторожности по-прежнему больше помалкивал, но за его молчанием таился страх. Как ни притворяйся, а рано или поздно попадешься. Ведь он же ничего в этих вещах не смыслит...

Наконец они подошли к дому. У порога своих владений Киппс страшно заволновался. Дверь была такая красивая, видная. Он постучал — не один раз и не два, а вроде полтора... словно заранее извинялся за беспокойство. Их впустила безукоризненная горничная с непреклонным взором, под которым Киппс весь внутренне съежился. Он пошел вешать шляпу, натыкаясь по дороге на все стулья и прочую мебель холла.

— В кабинете камин затопили, Мэри? — спросил он, набравшись храбрости, хотя, конечно, и так это знал; и, отдуваясь, точно после тяжелой работы, первый пошел наверх.

---

[1] Abend — вечер (*нем.*).

Войдя в кабинет, он хотел закрыть дверь, но оказалось, что следом за ним идет горничная — зажечь лампу. Тут Киппс совсем смешался. И пока она не вышла, не произнес ни слова. Но чтобы скрыть свое смущение, стал мурлыкать себе под нос, постоял у окна, прошелся по комнате.

Филин подошел к камину, обернулся и внимательно посмотрел на хозяина. Потом поднял руку и похлопал себя по затылку — такая у него была привычка.

— Ну вот и пришли,— сказал Киппс, засунув руки в карманы и поглядывая по сторонам.

Кабинет был длинной, мрачной комнатой в викторианском стиле с тяжелым потемневшим карнизом и лепным потолком, по которому лепка расходилась лучами от висевшей здесь раньше газовой люстры. Тут стояли два больших застекленных книжных шкафа, на одном — чучело терьера под стеклянным колпаком. Над камином висело зеркало, на окнах — великолепные узорчатые малиновые занавеси и портьеры. На каминной полке — массивные черные часы классической формы, веджвудские вазы в этрусском стиле, бумажные жгуты для зажигания трубки, зубочистки в бокалах резного камня, большие пепельницы из застывшей лавы и огромная коробка со спичками. Каминная решетка очень высокая, медная. У самого окна большой письменный стол палисандрового дерева; стулья и вся прочая мебель тоже палисандрового дерева и обиты красивой материей.

— Это был кабинет старого джентльмена,— понизив голос, сказал Киппс,— моего деда, стало быть. Он всегда сидел за этим столом и писал.

— Писал книги?

— Нет. Письма в «Таймс» и все такое. А потом он их вырезает... и вклеивает в тетрадь... То есть так он делал, покуда был жив. Тетрадка эта здесь, в книжном шкафу... Да вы присядьте.

Филин сел, деликатно высморкавшись, а Киппс стал на его место на огромной черной шкуре перед камином. Он широко расставил ноги и постарался сделать вид, будто ничуть не смущен. Ковер, каминная решетка, полка и зеркало — все словно нарочно собралось здесь, чтобы на фоне их привычного высокомерия он выглядел жалким, ничтожным выскочкой, и даже его собствен-

ная тень на противоположной стене ехидно передразнивала каждое его движение и вовсю над ним потешалась...

2

Некоторое время Киппс помалкивал, предоставляя Филину вести беседу. Они не касались перемены, происшедшей в судьбе Киппса, Филин делился с ним местными светскими и прочими новостями.

— Вам теперь следует интересоваться всем этим.— Это был единственный личный намек.

Но скоро стало ясно, что у Филина широкие знакомства среди людей высокопоставленных. По его словам выходило, что «общество» в Фолкстоне весьма разнородное и объединить всех на какое-нибудь совместное дело очень нелегко: каждый живет в своем узком кругу. Как бы вскользь Филин упомянул, что хорошо знаком с несколькими военными в чинах и даже с одной титулованной особой, леди Паннет. И заметьте, он называл такие имена без малейшего хвастовства, совершенно не предумышленно, а так, мимоходом. Похоже, что с леди Паннет он беседовал о любительских спектаклях! В пользу больницы для бедных. У нее здравый ум, и ему удалось направить ее по верному пути — он сделал это, разумеется, очень деликатно, но твердо.

— Таким людям нравится, когда держишься с ними независимо. Чем независимей держишься с этими людьми, тем лучше они к вам относятся.

И с лицами духовного звания он явно был на равной ноге.

— Мой друг мистер Денсмор, он, знаете ли, священник, и вот что любопытно — из весьма родовитой семьи.

После каждого такого замечания Филин сразу вырастал в глазах Киппса; оказывается, он не только знаток какого-то Вагнера или Варгнера, брат особы, представившей картину на выставку в Королевской академии художеств, для которого культура вовсе не книга за семью печатями, но человек, причастный к тем великолепным «высшим сферам», где держат мужскую прислугу, обладают громкими титулами, переодеваются к обеду, за каждой едой пьют вино — да не какое-нибудь, а по три шиллинга шесть пенсов бутылка,— и с легкостью следуют



«КИППС»



«КИППС»

по лабиринту правил хорошего тона, а что может быть труднее?

Филин откинулся в кресле и с наслаждением курил, распространяя вокруг себя восхитительную атмосферу savoir faire[1]; Киппс же сидел, напряженно выпрямившись, уставив локти на ручки кресла и слегка склонив голову набок. Маленький, жалкий, он чувствовал себя в этом доме еще меньше и ничтожней. Но беседа с Филином была чрезвычайно интересна и волновала его. И скоро, оставив самые общие темы, они перешли к более важным — личным. Филин говорил о людях, которые преуспели, и о тех, что не преуспели; о тех, кто живет разносторонней жизнью, и о тех, кто этого не делает; и тут он заговорил о самом Киппсе.

— Вы теперь будете весело проводить время,— вдруг сказал он, выставив напоказ все зубы, как на рекламе дантиста.

— Кто его знает,— ответил Киппс.

— Конечно, поначалу и промахов не избежать.

— То-то и оно.

Филин закурил новую сигарету.

— Поневоле, знаете, любопытствуешь, чем же вы намерены заняться,— заметил он.— Естественно... Молодой человек с характером... неожиданно разбогател... конечно, его подстерегают разные соблазны.

— Да, мне надо быть поосторожнее,— сказал Киппс.— Старина Бин меня с самого начала предупреждал.

Филин заговорил о всяческих ловушках — как опасно держать пари, попасть в дурную компанию...

— Да-да,— соглашался Киппс,— знаю.

— А возьмите Сомнение,— продолжал Филин.— Я знаю одного юношу... он адвокат... приятной наружности, очень способный. И однако, представьте, настроен весьма скептически... Самый настоящий скептик.

— Господи! — воскликнул Киппс.— Неужто безбожник?

— Боюсь, что да,— сказал Филин.— Но, право же, вы знаете, на редкость приятный юноша... такой способ-

[1] Светской и житейской искушенности *(франц.)*.

ный! Но весь проникнут этими ужасающими новыми веяниями. Так циничен! Весь этот вздор насчет сверхчеловека... Ницше и тому подобное... Хотел бы я ему помочь.

— Да-а,— протянул Киппс и стряхнул пепел с сигареты.— Я знаю одного малого... он раньше служил у нас в магазине... Все-то у него насмешки... А потом бросил место.

Он помолчал.

— И рекомендации у хозяина не взял...— скорбно прибавил Киппс, словно повествуя о величайшей нравственной трагедии. И, немного помолчав, докончил: — Вступил в армию.

— Да-а! — протянул Филин и задумался. Потом прибавил: — И ведь обычно на дурной путь вступают как раз самые решительные юноши, самые симпатичные.

— А все соблазн,— заметил Киппс. Он взглянул на Филина, нагнулся вперед и стряхнул пепел за внушительную каминную решетку.— То-то и оно,— сказал он, — оглянуться не успеешь, хвать — и поддался соблазну.

— Современная жизнь... как бы это определить... так сложна,— сказал Филин.— Не у всякого хватает силы устоять. Половина юношей, которые вступают на дурной путь, по натуре совсем не так плохи.

— То-то и оно,— подтвердил Киппс.

— Все зависит от того, с кем человек общается.

— Вот-вот,— соглашался Киппс.

Он задумался.

— Я познакомился тут с одним,— сказал он.— Он артист. Пьески сочиняет. Умный парень. Но...— Киппс покачал головой, что должно было означать суровое осуждение нравственной позиции нового знакомца.— Конечно, зато он много чего повидал в жизни,— прибавил он.

Филин сделал вид, что понял все тонкие намеки собеседника.

— А стоит ли оно того? — спросил он.

— Вот то-то и есть,— ответил Киппс.

И решил высказаться определеннее.

— Сперва болтаешь о том о сем. Потом начинается: «Выпейте рюмочку!» Старик Мафусаил, три звездочки... И оглянуться не успеешь — готово дело. Я напивал-

ся,— сказал он тоном глубочайшего смирения и прибавил: — Да еще сколько раз!

— Ай-я-яй,— сказал Филин.

— Десятки раз,— сказал Киппс с печальной улыбкой и прибавил:— В последнее время.

У него разыгралось воображение.

— Одно за другое цепляется. Глядишь, карты, женщины...

— Да-да,— сказал Филин.— Понимаю.

Киппс уставился в камин и слегка покраснел. И вспомнил фразу, недавно услышанную от Читтерлоу.

— Не годится болтать лишнее,— сказал он.

— Ну, понятно,— согласился Филин.

Киппс доверительно заглянул ему в лицо.

— Когда денег в обрез — и то опасно идти по этой дорожке,— сказал он.— А уж при больших деньгах...— И он поднял брови.— Видать, надо мне остепениться, иначе в разврате погрязнешь и без гроша останешься.

— Иначе вам нельзя,— сказал Филин и от озабоченности даже вытянул губы, точно свистнуть собрался.

— Иначе нельзя,— повторил Киппс и снова, подняв брови, медленно покачал головой. Потом посмотрел на свою сигарету и бросил ее в камин. Что ж, вот он и ведет светскую беседу и не ударил лицом в грязь.

Киппс никогда не умел лгать. И он первый нарушил молчание.

— Не то чтоб я уж совсем отпетый или уж вовсе пьяница. Ну, голова поболела, и всего-то раза три-четыре. Но все-таки...

— А вот я в жизни не пробовал спиртного,—не моргнув глазом, заявил Филин.— Даже не пробовал!

— Ни разу?

— Ни разу. И не в том дело, что я боюсь опьянеть. И я вовсе не хочу сказать, что выпить рюмочку-другую за ужином уж так опасно. Но ведь если я выпью, глядя на меня, выпьет и кто-нибудь другой, кто не знает меры... Понимаете?

— То-то и оно,— сказал Киппс, с восхищением глядя на Филина.

— Правда, я курю,— признался Филин.— Я вовсе не фарисей.

И тут Киппса осенило; да он же замечательный человек, этот Филин! Необыкновенный! Не только необыкновенно умный, образованный, настоящий джентльмен, знакомый с самой леди Паннет, но еще и очень хороший. Видно, он только о том и старается, как бы сделать людям побольше добра. Вот бы довериться ему, рассказать о своих тревогах и сомнениях! Да только неизвестно, в чем признаться, чего больше хочется: то ли заняться благотворительностью, то ли предаться разврату? Все-таки, пожалуй, благотворительность. Но вдруг мысли его приняли совсем иное направление, куда более серьезное. Ведь, наверно, Филин может помочь ему в том, чего он сейчас жаждет больше всего на свете.

— Многое зависит от того, с кем человек сводит знакомство,— сказал Филин.

— То-то и оно,— подхватил Киппс.— Конечно, сами понимаете, при моем нынешнем положении... в том-то и загвоздка.

И он храбро пустился рассуждать о самой сокровенной своей тревоге. Вот чего ему не хватает: лоска... культуры... Богатство—это очень хорошо... но культуры маловато... и как ее приобрести? Он никого не знает, не знает людей, которые... Эту фразу он так и не закончил. Его приятели из магазина все очень хорошие, очень славные и все такое, но ведь ему другое нужно.

— Я ж чувствую, необразованность меня заедает,— сказал Киппс.— Невежество. Не годится так, я ж чувствую. Да еще если впадешь в соблазн...

— Вот именно,— сказал Филин.

И Киппс поведал, как он уважает мисс Уолшингем и ее веснушчатую подружку. Ему даже кое-как удалось одолеть свою застенчивость.

— Понимаете, очень хочется потолковать с такими вот людьми, а боязно. Кому ж охота срамиться!

— Да-да,— согласился Филин,— разумеется.

— Я ведь, знаете, учился не в обыкновенной городской школе. Это, знаете, было частное заведение, да только, видать, не больно хорошее. Наш мистер Вудро во всяком случае не больно старался. Кто не хотел учиться, тот и не учился. По-моему, наша школа была немногим лучше обычной городской. Шапочки форменные у нас были, это верно. А что толку-то?

С этими деньгами я сейчас ну прямо сам не свой. Как я их получил — с неделю уж,— ну, думаю, теперь больше ничего на свете и не надо, чего ни пожелаю — все мое. А сейчас прямо и не знаю, что делать.— Последние слова прозвучали совсем жалобно.

— По правде сказать,— прибавил Киппс,— ну, чего уж закрывать глаза на правду: я ведь джентльмен.

Филин пресерьезно наклонил голову в знак согласия.

— И у джентльмена есть известные обязанности перед обществом,— заметил он.

— То-то и оно,— подхватил Киппс.— Взять хотя бы визиты. К примеру, если хочешь продолжать знакомство с кем-нибудь, кого знал прежде. С людьми благородными.— Он смущенно засмеялся. — Ну, я прямо сам не свой,— сказал он, с надеждой глядя на Филина.

Но Филин только кивнул, давая понять, чтобы он продолжал.

— Вот этот артист,— вслух размышлял Киппс,— он хороший малый. Но джентльменом его не назовешь. С ним знай держи ухо востро. А то и оглянуться не успеешь, как потеряешь голову. А больше я вроде никого и не знаю. Ну, кроме приказчиков из магазина. Они уже у меня побывали — поужинали, а потом стали петь. И я тоже пел. У меня ведь есть банджо, и я немного бренчу. Подыгрываю. Купил книжку «Как играть на банджо», прочитал покамест немного, но кое-что получается. Приятно, конечно, но ведь на одном банджо далеко не уедешь?.. Ну, потом есть у меня еще дядя с тетей. Очень хорошие старики... очень... Правда, малость надоедают, думают, я еще маленький, но славные старики. Только... Понимаете, это не то, что мне нужно. Ведь я же полный невежа. Вот и хочу все наверстать. Хочу водить компанию с образованными людьми, которые знают, что да как надо делать... как полагается себя вести.

Его милая скромность пробудила в душе Филина одну только благожелательность.

— Вот был бы у меня кто-нибудь вроде вас,— сказал Киппс,— добрый знакомый...

С этой минуты все пошло как по маслу.

— Если только я могу быть вам полезен,— сказал Филин.

— Да ведь вы человек занятой...

— Не так уж я занят. И знаете, с вами — это ведь очень интересный случай. Я отчасти поэтому и заговорил и вызвал вас на откровенность. Молодой человек, с живым нравом, с деньгами и без всякого жизненного опыта.

— То-то и оно,— подтвердил Киппс.

— Я и подумал: дай-ка я погляжу, из какого он теста сделан, и, должен признаться, мне редко с кем доводилось беседовать с таким интересом...

— Я вроде с вами не так стесняюсь, не боюсь говорить,— сказал Киппс.

— Рад. Весьма рад.

— Мне нужен настоящий друг. Вот что... если говорить начистоту.

— Дорсгой мой, если я...

— Да. Но только...

— Я тоже нуждаюсь в друге.

— Право слово?

— Да. Знаете, дорогой мой Киппс... вы позволите называть вас так?

— Ну ясно!

— Я и сам довольно одинок. Вот хотя бы сегодняшний наш разговор... Я уже давным-давно ни с кем не говорил так свободно о своей деятельности.

— Да неужто?

— Представьте. И, дорогой мой, если я могу как-то направить вас, помочь...

Филин широко улыбнулся доброй, прочувствованной улыбкой, глаза его заблестели.

— Дайте руку,— сказал глубоко взволнованный Киппс, и оба они поднялись и обменялись крепким, сердечным рукопожатием.

— Какой же вы добрый! — сказал Киппс.

— Я сделаю для вас все, что только в моих силах,— сказал Филин.

Так был скреплен этот союз. Отныне они друзья — близкие, исполненные доверия друг к другу и высоких помыслов, sotto-voce[1] друзья. Вся дальнейшая беседа (а ей, казалось, не будет конца) развивала и углубляла все ту же тему. В этот вечер Киппс наслаждался, самозабвенно изливая душу, а мистер Филин вел себя

[1] Сдержанные в проявлении чувств *(итал.)*.

как человек, облеченный величайшим доверием. Им овладела опасная страсть воспитывать себе подобных — страсть, которой роковым образом поддаются люди благонамеренные и которая делает человека столь безмерно самонадеянным, что он осмеливается вершить судьбу другого, хотя и сам он всего лишь игрушка судьбы. Филину предстояло стать своего рода светским духовником, наставлять и направлять Киппса; ему предстояло помогать Киппсу во всем, в большом и в малом; ему предстояло стать наставником Киппса при его знакомстве с иными, лучшими и высшими, сферами английского общества. Ему предстояло указывать Киппсу на его промахи и ошибки, советовать, как поступить в том или ином случае...

— Ведь я ничего этого не знаю,— говорил Киппс.— Я вот даже не знаю, как надо одеваться... Даже не знаю, так я сейчас одет, как надо, или не так...

Филин выпятил губы и поспешно кивнул (да-да, он прекрасно понял).

— Во всем этом доверьтесь мне,— сказал он,— полностью доверьтесь мне.

Дело шло к ночи, и чем дальше, тем разительнее менялись манеры Филина: он все больше походил не на гостя, а на хозяина. Он входил в роль, посматривал на Киппса уже иным, критическим и любовным взором. Новая роль явно пришлась ему по вкусу.

— Это будет ужасно интересно,— говорил он.— Вы знаете, Киппс, вы представляете собой отличный материал для лепки.

(Он теперь говорил просто «Киппс» или «Мой дорогой Киппс», опуская «мистер», и звучало это у него на редкость покровительственно.)

— Ну да,— отвечал Киппс.— Да ведь на свете столько всего, а я ни о чем и понятия-то не имею. Вот в чем беда!

Они говорили, говорили, и теперь Киппс уже не чувствовал никакого стеснения. Они без конца перескакивали с одного на другое. Среди прочего они подробно обсудили характер Киппса. Тут помогли ценные признания самого Киппса.

— Сгоряча я что хочешь могу натворить, уж и сам не знаю, что делаю. Я такой,— сказал он. И прибавил: —

Не люблю я действовать исподтишка. Лучше все выложу начистоту...

Он наклонился и снял с колена какую-то нитку, а огонь плясал у него за спиной, и его тень на стене и на потолке непочтительно кривлялась.

3

Киппс улегся в постель с ощущением, что вот теперь улажено нечто важное, и долго не мог уснуть. Да, ему повезло. Баггинс, Каршот и Пирс растолковали ему, что, раз его положение в обществе так круто изменилось, ему теперь надо изменить и всю свою жизнь; но как, что надо для этого сделать, он понятия не имел. И вдруг так просто, так легко отыскался человек, который поведет его по этому неизведанному пути. Значит, он и в самом деле сможет изменить свою жизнь. Это будет нелегко, но все-таки возможно.

Немало предстоит потрудиться и поломать голову, чтобы запомнить, как к кому обращаться, как кланяться,— ведь на все есть свои непостижимо сложные законы. Стоит нарушить хотя бы один — и вот ты отверженный. Ну как, например, себя вести, если вдруг столкнешься с леди Паннет? А ведь в один прекрасный день это вполне может случиться. Филин возьмет да и представит его. «Господи!» — воскликнул он то ли с восторгом, то ли с отчаянием. Потом ему представилось: вот он приходит в магазин, скажем, покупать галстук — и там на виду у Баггинса, Каршота, Пирса и всех прочих встречает «своего друга леди Паннет!» Да что там леди Паннет! Его воображение взыграло, понесло, пустилось галопом, полетело, как на крыльях, воспарило в романтические, поэтические выси...

А вдруг в один прекрасный день он встретится с кем-нибудь из королевской семьи! Ну, предположим, случайно. Вот куда он занесся в своих мечтах! Но в конце концов тысяча двести фунтов в год — не шутка, они вознесли его очень высоко. Как обращаться к августейшей особе? Наверное, «Ваша королевская милость?»... что-нибудь вроде этого... И, конечно, на коленях. Он постарался взглянуть на себя со стороны. Раз у него больше тысячи в год, значит, он эсквайр. Видать, так. А стало быть, его должны представить ко двору? Бархатные шта-

ны, как для катания на велосипеде, и шпага! Вот уж, небось, диковинное место — королевский дворец! Только успевай кланяться да преклонять колени... и как это рассказывала мисс Мергл? А, да!.. У всех дам длинные шлейфы, и все пятятся задом. Во дворце все или стоят на коленях, или пятятся задом, это уж дело известное. Хотя, может, некоторые даже стоят перед королем. И даже разговаривают с ним, ну, вот прямо как разговариваешь с Баггинсом. Надо же набраться нахальства. Это, наверное, герцоги... по особенному разрешению, что ли? Или миллионеры?..

От этих мыслей сей свободный гражданин нашей венценосной республики незаметно уснул, и на смену мыслям пришли сны о восхождении по бесчисленным ступеням лестницы, в виде каковой и представляет себе современное общество истый британец: достигнув ее вершины, надо ходить задом и согнув спину.

4

Наутро Киппс спустился к завтраку с чрезвычайно важным видом—с видом человека, которому предстоит многое совершить.

Завтракал Киппс не кое-как, тут все было продумано. То, о чем еще так недавно он мог только мечтать, стало явью. У них в магазине так было заведено: к тому поистине неограниченному количеству хлеба и маргарина, которые уделял им от щедрот своих Шелфорд, они обычно что-нибудь прикупали и за свой счет, так что воображение Киппса могло нарисовать яркими красками самые пышные трапезы. Можно съесть баранью котлету и даже баранью отбивную — эту роскошь, по словам Баггинса, подают в лучших лондонских клубах,— потом пикшу, копченую селедочку, мерлана или расстегаи с рыбкой, яйца всмятку или яичницу-болтунью, или яичницу с ветчиной, нередко почки, иногда печенку. Среди всего этого великолепия мелькали сосиски, всевозможные пудинги, жаркое с овощами, жареная капуста, морские гребешки. Вдогонку неизменно следовали всевозможные мясные консервы, холодный бекон, немецкая колбаса, консервированная свинина, варенье и два сорта джема; а разделавшись со всем этим, Киппс закуривал

и с блаженным удовлетворением взирал на громоздящиеся перед ним блюда. Завтрак был его главной трапезой. Он курил и с благодушием, какое порождает широко задуманный и успешно осуществленный пир, поглядывал по сторонам, и в это время ему принесли газеты и письма.

Среди почты оказалось несколько рекламных торговых проспектов фирм, два трогательных письма от просителей—история с наследством Киппса попала в газеты,—письмо от какого-то литератора с просьбой ссудить ему десять шиллингов, дабы он мог раз и навсегда разгромить социализм, а для вящей убедительности приложена книга. Из книги явствовало, что собственникам надлежит действовать немедленно, ибо иначе в ближайший же год частная собственность перестанет существовать. Киппс принялся читать и не на шутку встревожился. А кроме того, пришло письмо от Киппса-старшего. Он сообщал, что покуда ему трудно оставить лавку и навестить племянника, но накануне он был на аукционе в Лидде и купил несколько отличных старых книг и кое-что из вещей — в Фолкстоне таких не сыщешь. «В наших местах не знают цену таким вещам,—писал Киппс-старший,— но, уж можешь мне поверить, все ценное и добротное, первый сорт». После чего следовал краткий финансовый отчет. «Тут есть одна гравюра, за нее тебе вскорости дадут огромные деньги. Ты не сомневайся, в старые вещи поместить капитал — самое верное дело».

Киппс-старший издавна питал страсть к аукционам; в былые времена ему только и оставалось, что пожирать глазами недоступные сокровища и лишь изредка случалось перехватить на распродаже что-нибудь из садовых инструментов или кухонной утвари и прочих пустяков, которые идут за шесть пенсов и потом верой и правдой служат в хозяйстве. Зато теперь, когда племянник разбогател, старик наконец смог дать волю этой страсти. С непроницаемым лицом осмотреть, умело и рассчитанно набавлять цену и купить, купить!.. Старик был на верху блаженства.

Пока Киппс перечитывал письма просителей и огорчался, что ему не хватает здравомыслия, каким в избытке наделен Баггинс, чтобы не попасть впросак, с почты доставили посылку от дяди: большой, непрочный на

вид ящик, сбитый несколькими старыми гвоздями и перевязанный обрывками веревок, в которых военное министерство без труда признало бы свое давнишнее имущество. Киппс вскрыл посылку столовым ножом, в решающую минуту прибегнув еще и к помощи кочерги, и увидел пространное собрание книг и разных старинных предметов.

Здесь оказались три переплетенных тома ранних выпусков Альманаха Чемберса, карманный выпуск юмористического журнала «Панч» за 1875 год, «Размышления» Штурма, раннее издание «Географии» Джилла (несколько потрепанное), иллюстрированный труд об искривлении позвоночника, раннее издание «Физиологии человека» Кирке, «Шотландские вожди» и томик «Языка цветов». Тут же была красивая гравюра на стали в дубовой рамке и со следами ржавчины, великолепно изображающая Валтасаров пир. Были тут еще медный чайник, щипцы, чтобы снимать нагар со свечи, латунный рожок для башмаков, запирающаяся шкатулка для чая, два графина (один без пробки) и еще нечто непонятное, может быть, половинка старинной погремушки, какими развлекали младенцев в прошлом веке. Киппс все это внимательно рассмотрел и пожалел, что так мало смыслит в подобных древностях. Он принялся листать «Физиологию» и наткнулся на удивительную таблицу: атлетически сложенный юноша являл испуганному взору и выставлял напоказ свои внутренности. Впервые человечество предстало перед Киппсом в таком разрезе.

— Сколько всего,— прошептал он,— жилы, кишки...

Эта анатомированная фигура заставила его на некоторое время начисто забыть, что он, «в сущности, джентльмен», и он все еще рассматривал удивительный и сложный внутренний механизм человека, когда появилось еще одно напоминание о том, что существует мир, совсем непохожий на те аристократические сферы, куда он занесся мечтами накануне вечером: вслед за служанкой в столовую вошел Читтерлоу.

5

— Привет! — воскликнул Киппс, вставая навстречу гостю.

— Я не помешал? — спросил Читтерлоу, заграбастав

своей ручищей руку Киппса, и кинул картузик на массивный буфет резного дуба.

— Да нет, просто я тут глядел одну книжку,— ответил Киппс.

— Книжку, вон как? — Читтерлоу скосил рыжий глаз на книги и прочие предметы, громоздящиеся на столе, и продолжал: — А я все ждал, что вы опять заглянете как-нибудь вечерком.

— Я собирался,— сказал Киппс,— да тут один знакомый... Вчера вечером совсем было собрался, да вот встретил его.

Он подошел к ковру перед камином.

— А я за эти дни начисто переделал пьесу,— сказал Читтерлоу, похаживая по комнате и оглядывая вещи.— Не оставил от нее камня на камне.

— Какую такую пьесу?

— О которой мы с вами говорили. Вы же знаете. Вы даже что-то такое говорили... не знаю только, серьезно ли вы это... будто собираетесь купить половину... Не трагедию. В трагедии я не уступлю долю даже родному брату. Это мой основной капитал. Это мое Творение с большой буквы. Нет, нет! Я имею в виду тот новый фарс, над которым я сидел последнее время. Ну, помните, эта комедия с жуком...

— Ага,— сказал Киппс.— Помню, как же.

— Ну, я так и думал. Вы хотели откупить четвертую долю за сто фунтов. Да вы и сами знаете.

— Да вроде что-то такое было...

— Так вот, теперь она совсем другая. Я ее всю переделал. Сейчас расскажу. Помните, что вы сказали про бабочку? Вы тогда спутали... ну, не без старика Мафусаила. Все время называли жука бабочкой, и это навело меня на мысль. Я ее переделал. Совсем переделал. Мазилус — имя-то какое потрясающее, а? Специально для комедии. Я выудил его из какой-то книги посетителей. Да, так вот: Мазилус раньше метался как ошалелый, потому что ему за шиворот заполз жук, а теперь он у меня будет коллекционер — собирает бабочек, и эта бабочка, понимаете, очень редкий экземпляр. Она залетела в окно, между рамами! — И Читтерлоу принялся размахивать руками, изображая, как было дело.— Мазилус кидается за ней. Он сразу забыл, что не

должен выдавать своего присутствия в доме. А потом... Потом он им объясняет. Редкая бабочка, стоит больших денег. Это в самом деле бывает. И тогда все кидаются ее ловить. Бабочка не может вылететь из комнаты. Только попробует — сразу все к ней, беготня, суматоха, свалка... В общем, я изрядно потрудился. Вот только...

Он подошел вплотную к Киппсу. Повернул руку ладонью вверх и с таинственным, заговорщическим видом побарабанил по ней пальцами другой руки.

— Тут есть и еще одно,— сказал он.— Появляется такая совсем ибсеновская нота, как в «Дикой утке». Понимаете, эта женщина-героиня — я сделал ее легкомысленнее — она видит бабочку. Когда они в третий раз кидаются за бабочкой, она ее ловит. Глядит на нее. И говорит: «Да это ж я!» Хлоп! Загнанная бабочка. Она сама и есть загнанная бабочка. Это закономерно. Куда более закономерно, чем «Дикая утка», в которой и утки-то нет!

Они с ума сойдут от восторга! Одно название чего стоит. Я работал, как вол... Ваша доля озолотит вас, Киппс... Но мне что, я не против. Я готов продать, вы готовы купить. Хлоп — и делу конец!

Тут Читтерлоу прервал свои рассуждения и спросил:

— А нет ли у вас коньячку? Я не собираюсь пить. Мне просто необходимо хлебнуть глоточек, подкрепиться. У меня что-то печень пошаливает... Если нет, не беспокойтесь. Пустяки. Я такой. Да, виски сойдет. Даже лучше!

Киппс замешкался на мгновение, потом повернулся и стал шарить в буфете. Наконец, отыскал бутылку виски и выставил ее на стол. Потом достал бутылку содовой и, чуть помешкав, еще одну. Читтерлоу схватил бутылку виски и посмотрел этикетку.

— Дружище Мафусаил,— сказал он.

Киппс вручил ему штопор. И вдруг спохватился и растерянно прикусил палец.

— Придется позвонить, чтоб принесли стаканы,— сказал он.

Он в замешательстве наклонился к звонку, помедлил и все-таки позвонил.

Когда появилась горничная, он стоял перед камином, широко расставив ноги, с видом отчаянного сорвиголовы. Потом оба они выпили.

— Вы, видно, знаете толк в виски,— заметил Читтерлоу,— в самый раз.

Кипс достал сигареты, и вновь потекла беседа.

Читтерлоу расхаживал по комнате.

Решил денек передохнуть, объяснял он, вот и навестил Киппса. Всякий раз, как он задумывает коренные переделки в пьесе, он прерывает работу, чтобы денек передохнуть. В конечном счете это экономит время. Ведь если начать переделывать, не успев все хорошенько обдумать, того гляди, придется переделывать еще и еще. А что толку браться за работу, если все равно потом надо будет начинать сызнова?

Потом они пошли пройтись к Уоррену—излюбленному месту для прогулок в Фолкстоне, и Читтерлоу, пританцовывая, неторопливо шагал по ступеням и разглагольствовал без умолку.

Прогулка получилась отличная, недолгая, но поистине отличная. Они поднялись к санаторию, прошли над Восточным Утесом и оказались в причудливом, диком уголке: под меловыми холмами, среди скользкой глины и камней разрослись терновник, ежевика, дикие розы и калина-гордовина, которая много способствует очарованию Фолкстона. Они не сразу выбрались из этих зарослей и крутой тропкой поднялись наконец на холм, а Читтерлоу ухитрился придать всему этому такую прелесть и торжественность, словно они совершили опасное увлекательнейшее восхождение где-нибудь в Альпах. Он нет-нет да и взглядывал то на море, то на утесы глазами фантазера-мальчишки и говорил что-нибудь такое, отчего перед Киппсом сразу вставал Нью-Ромней и выброшенные на берег остовы потерпевших крушение кораблей, но по большей части Читтерлоу говорил о своей страсти к театру и сочинительству пьес и о пустопорожней нелепице, столь серьезной в своем роде, которая и есть его искусство. Он прилагал титанические усилия, чтобы сделать свою мысль понятной. Так они шли, иногда рядом, иногда друг за другом — узкими тропками, то спускались, то поднимались, то скрывались среди кустов, то выходили на гребень над побережьем; Киппс

следовал за Читтерлоу, изредка пытаясь ввернуть какое-нибудь пустяковое замечание, а Читтерлоу размахивал руками, и голос его то гремел, то падал до шепота, он так и сыпал своими излюбленными «бац» и «хлоп» и нес уж такую околесицу, что Киппс скоро потерял надежду что-либо понять.

Предполагалось, что они принимаются — ни много ни мало — за преобразование английского театра, и Киппс оказался в одном ряду со многими именитыми любителями театра, в чьих жилах течет благородная и даже королевская кровь, с такими людьми, как достопочтенный Томас Норгейт,— одним словом, с теми, кто немало сделал для создания истинно высокой драмы. Только он, Киппс, куда тоньше разбирается во всем этом и к тому же не станет жертвой вымогателей из числа заурядных писак и актеришек — «а имя им легион,— прибавил Читтерлоу,— я-то знаю, не зря я колесил по свету»,— нет, не станет, ибо у него есть Читтерлоу. Киппс уловил кое-какие подробности. Итак, он купил четвертую долю в фарсе — а это сущий клад (поистине, золотое дно), — и похоже, не худо бы купить половину. Мелькнуло предложение или намек на предложение, что не худо бы ему даже купить всю пьесу и тотчас ее поставить. Кажется, ему предстояло поставить ее при новой системе оплаты автору, какова бы ни была эта новая система. Только вот способен ли этот фарс сам по себе произвести переворот в современной английской драме, ведь она в столь плачевном состоянии... Для этого, пожалуй, лучше подойдет новая трагедия Читтерлоу, правда, она еще не окончена, но он выложит в ней все, что знает о женщинах, а главным героем сделает русского дворянина, и это будет двойник самого автора. Затем оказалось, что Киппсу предстоит поставить не одну, а несколько пьес. И даже великое множество пьес. Киппсу предстоит основать Национальный театр...

Умей Киппс спорить и протестовать, он, вероятно, запротестовал бы. Но он не умел, и лишь изредка по его лицу проходила тень — на большее он не был способен.

Очутившись в плену у Читтерлоу и всяческих неожиданностей, неизбежных при общении с ним, Киппс забрел в дом на Фенчерч-стрит, и ему пришлось принять участие в трапезе. Он совсем забыл кое-какие признания Читтер-

лоу и вспомнил о существовании миссис Читтерлоу (обладательницы лучшего в Англии контральто, хоть она никогда не брала уроки пения), лишь увидев ее в гостиной. Она показалась Киппсу старше Читтерлоу, хотя, возможно, он и ошибался; бронзовые волосы ее отливали золотом. На ней было одно из тех весьма удобных одеяний, которые при случае могут сойти и за капот, и за туалет для чаепития, и за купальный халат, и в крайности даже за оригинальное вечернее платье — смотря по обстоятельствам. Киппс сразу заметил, что у нее нежная округлая шея, руки красивой формы, которые то и дело мелькают в разрезе широких рукавов, и большие, выразительные глаза; он опять и опять встречал их загадочный взгляд.

На небольшом круглом столе в комнате с фотографиями и зеркалом был небрежно и непринужденно сервирован простой, но обильный обед, и когда по подсказке Читтерлоу жена достала из буфета тарелку из-под мармелада и поставила ее перед Киппсом и отыскала для него кухонные нож и вилку, у которых еще не разболталась ручка, началась шумная трапеза. Читтерлоу уплетал за обе щеки и при этом болтал без умолку. Он представил Киппса жене наскоро, без лишних церемоний; судя по всему, она уже слышала о Киппсе, и Читтерлоу дал ей понять, что с постановкой комедии дело на мази. Своими длинными руками он без труда дотягивался до любого блюда на столе и никого не утруждал просьбами что-либо передать. Миссис Читтерлоу поначалу, видно, чувствовала себя несколько связанной и даже упрекнула мужа за то, что он насадил картофелину на вилку и перенес ее через весь стол вместо того, чтобы придвинуть тарелку к блюду.

— Вышла за гения, так терпи,— ответил он, и по тому, как она приняла его слова, было совершенно ясно, что Читтерлоу отлично знает себе цену и не скрывает этого.

Они сидели в приятной компании со стариком Мафусаилом и содовой, миссис Читтерлоу, видно, и не думала убирать со стола, она взяла у мужа кисет, свернула себе сигарету, закурила, выпустила струйку дыма и поглядела на Киппса большими карими глазами. Киппс и прежде видел курящих дам, но те только забавлялись,

а миссис Читтерлоу явно курила всерьез. Он даже испугался. Нет, эту даму нипочем не следует поощрять, особенно при Читтерлоу.

После трапезы они совсем развеселились, и, так как дома нечего опасаться, не то, что на улице, на ветру, голос Читтерлоу гремел и сотрясал стены. Он громко и не скупясь на выражения превозносил Киппса. Да, он давно знает, что Киппс — парень что надо, он с первого взгляда это понял; Киппс тогда еще и подняться на ноги не успел, а он, Читтерлоу, уже знал, что̀ перед ним за человек.

— Иной раз это мигом понимаешь,— сказал Читтерлоу.— Поэтому я...

Он замолчал на полуслове, но, кажется, собирался объяснить, что поэтому он и преподнес Киппсу целое состояние: понимал, что парень того стоит. Так по крайней мере показалось его собеседникам. Он обрушил на них поток длинных, не слишком связных, зато глубокомысленных философских рассуждений о том, что такое, в сущности, совпадение. Из его речей явствовало также, что театральная критика, на его взгляд, стоит на катастрофически низком уровне...

Около четырех часов пополудни Киппс вдруг обнаружил, что сидит на скамейке на набережной, куда его водворил исчезающий вдали Читтерлоу.

Читтерлоу — личность выдающаяся, это ясно как день. Киппс тяжело вздохнул.

Что ж, он, конечно, познавал жизнь, но разве он хотел познавать жизнь именно сегодня? Все-таки Читтерлоу нарушил его планы. Он собирался провести день совсем иначе. Он намеревался внимательно прочесть драгоценную книжицу под названием «Не полагается», которую ему вручил Филин. В книжице этой содержались советы на все случаи жизни, свод правил поведения англичанина; вот только кое в чем он слегка устарел.

Тут Киппс вспомнил, что хотел нанести Филину так называемый дневной визит; сие нелегкое предприятие он задумал как репетицию визита к Уолшингемам, к которому относился с величайшей серьезностью. Но теперь это придется отложить на другой день.

Киппс снова подумал о Читтерлоу. Придется ему объяснить, что он слишком размахнулся—хочешь не хочешь,

а придется. За глаза это раз плюнуть, а вот сказать в лицо не так-то просто. Половинная доля, да снять театр, да еще что-то,— нет, это уж слишком.

Четвертая доля — еще куда ни шло, да и то!.. Сто фунтов! С чем же он останется, если выложит сто фунтов вот так, за здорово живешь?

Ему пришлось напомнить самому себе, что в известном смысле не кто иной, как Читтерлоу принес ему богатство; и только после этого он примирился с четвертой долей.

Не судите Киппса слишком строго. Ведь в таких делах ему пока еще неведомо чувство соразмерности. Сто фунтов для него — предел. Сто фунтов в его глазах—такие же огромные деньги, как тысяча, сто тысяч, миллион.

ГЛАВА II

УОЛШИНГЕМЫ

1

Филины жили на Бувери-сквер в маленьком домике с верандой, увитой диким виноградом.

По дороге к ним Киппс мучительно решал, как следует постучать: два раза или один—ведь именно по таким мелочам и видно человека, но, к счастью, на двери оказался звонок.

Маленькая чудна́я служанка в огромной наколке отворила дверь, откинула бисерные портьеры и провела его в маленькую гостиную—здесь стояло черное с золотом фортепьяно и книжный шкаф с дверцами матового стекла, один угол был уютно обставлен в мавританском стиле, над камином висело задрапированное зеркало, а вокруг него виды Риджент-стрит и фотографии различных светил. За раму зеркала было заткнуто несколько пригласительных билетов и таблица состязаний крикетного клуба, и на всех красовалась подпись вице-президента — Филина. На шкафу стоял бюст Бетховена, а стены были увешаны добросовестно исполненными маслом и акварелью, но мало интересными «видами» в золотых рамах. В самом конце стены напротив окна висел, как сперва показалось Киппсу, портрет Филина в очках и

женском платье, но, приглядевшись, Киппс решил, что это, должно быть, его мамаша. И тут вошел оригинал собственной персоной — старшая и единственная сестра Филина, которая вела у него хозяйство. Волосы она стягивала пучком на затылке. «Вот почему Филин так часто похлопывает себя по затылку!» — вдруг подумалось Киппсу. И тотчас он спохватился: экая нелепость!

— Мистер Киппс, полагаю,— сказала она.

— Он самый,—с любезной улыбкой ответил Киппс

Она сообщила ему, что «Честер» отправился в художественную школу присмотреть за отправкой каких-то рисунков, но скоро вернется. Потом спросила, рисует ли Киппс, и показала развешанные на стенах картины. Киппс поинтересовался, какие именно места изображены на каждой картине, и когда она показала ему Лиизские склоны, сказал, что нипочем бы их не узнал. Прямо даже интересно, как на картинах все бывает непохоже, сказал он. И прибавил:

— Но они страх какие красивые! Это вы сами рисовали?

Он старательно выгибал и вытягивал шею, откидывал голову назад, склонял набок, потом вдруг подходил чуть не вплотную к картине и усердно таращил глаза.

— Очень красивые картинки. Вот бы мне так!

— Честер тоже всегда об этом жалеет,— сказала она.— А я ему говорю, что у него есть дела поважнее.

Что ж, Киппс как будто не ударил перед ней лицом в грязь.

Потом пришел Филин, и они покинули хозяйку дома, поднялись наверх, потолковали о чтении и о том, как следует жить на свете. Вернее, говорил Филин: о пользе размышлений и чтения он мог говорить не умолкая...

Вообразите кабинет Филина — спаленка, приспособленная для занятий науками; на каминной полке множество предметов, которые, как ему когда-то внушили, должны свидетельствовать о культуре и утонченном вкусе хозяина: автотипии «Благовещения» Россетти [1] и «Минотавра» Уоттса [2], швейцарская резная трубка со сложным составным чубуком и фотография Амьенского собо-

---

[1] Россетти, Данте Габриель (1828—1882) — английский художник и поэт.

[2] Уоттс, Джордж Фредерик (1817—1904) — английский художник и скульптор.

ра (и то и другое — трофеи, вывезенные из путешествия), макет человеческой головы — для поучения, и несколько обломков каких-то окаменелостей из Уоррена. На вращающейся этажерке Британская энциклопедия (издание десятое), на верхней полке—большой, казенного вида, пожелтевший от времени пакет с таинственной надписью «Военная канцелярия его Величества», несколько номеров «Книжника» и ящик с сигаретами. На столе у окна — микроскоп, блюдце с пылью, несколько грязных узких и треснувших стеклышек для образцов — сразу видно: Филин интересуется биологией. Одна из длинных стен сплошь уставлена книжными полками, аккуратно накрытыми сверху клеенкой в зубчиках; здесь уживались рядом самые разнообразные книги, прямо как в какой-нибудь городской библиотеке,— отдельные произведения классиков в старых изданиях, в подборе которых не чувствовалось никакой системы; нашумевшие современные книги; Сто Лучших Книг (включая «Десять тысяч в год» Сэмюэля Уоррена), старые школьные учебники, справочники, атлас, выпущенный приложением к «Таймс», множество томов Рескина, полное собрание сочинений Теннисона в одном томе, Лонгфелло, Чарльз Кингсли, Смайлс, два или три путеводителя, несколько брошюрок на медицинские темы, разрозненные номера журналов и еще немало всякого неописуемого хлама — словом, как в мозгу современного англичанина. И на эти богатства в благоговейном испуге взирает Киппс — недоучка, с неразвитым умом, исполненный желания, в эту минуту во всяком случае, учиться и познавать мир, а Филин толкует ему о пользе чтения и о мудрости, заключенной в книгах.

— Ничто так не расширяет кругозор, как путешествия и книги,— вещал Филин.— А в наши дни и то и другое так доступно, так дешево!

— Я сколько раз хотел налечь на книги,— сказал Киппс.

— Вы даже не представляете, как много можно из них извлечь,— сказал Филин.— Разумеется, я имею в виду не какие-нибудь дрянные развлекательные книжонки. Вы должны взять себе за правило, Киппс, прочитывать каждую неделю одну серьезную книгу. Романы, конечно, тоже поучительны, я имею в виду добропорядоч-

ные романы, но все-таки это не то, что серьезное чтение. Вот я непременно прочитываю одну серьезную книгу и один роман в неделю — ни больше и ни меньше. Вон там на столе несколько серьезных книг, которые я читал в последнее время: Сартор Резартус, «Жизнь в пруду» миссис Болтотреп, «Шотландские вожди», «Жизнь и письма преподобного Фаррара».

2

Наконец прозвучал гонг, и Киппс спустился к чаю, мучась тревожной неуверенностью в себе, которую всегда испытывал перед трапезой — видно, ему век не забыть, как доставалось от тетушки, когда он в детстве ел или пил не так, как принято. Через плечо Филина он заметил, что в мавританском уголке кто-то сидит, и, так и не закончив довольно бессвязную фразу (он пытался объяснить мисс Филин, как он уважает книги и как мечтает приобщиться к чтению), он обернулся и увидел, что новый гость не кто иной, как мисс Элен Уолшингем — она была без шляпы и явно чувствовала себя здесь как дома.

Чтобы помочь ему, она поднялась и протянула руку.

— Вы снова в Фолкстоне, мистер Киппс?

— Я по делам, — ответил Киппс.—А я думал, вы в Брюгге.

— Мы уедем позднее,— объяснила мисс Уолшингем.— Ждем брата, у него еще не начались вакации, и потом мы пытаемся сдать наш дом. А где вы остановились?

— У меня теперь свой дом... на набережной.

— Да, мне как раз сегодня рассказали о счастливой перемене в вашей жизни.

— Вот повезло, верно?— сказал Киппс.— Мне до сих пор не верится. Когда этот... как его... мистер Бин сказал мне, я прямо ошалел... Ведь это, как говорится, колоссальная перемена.

Тут он услыхал, что мисс Филин спрашивает, как он будет пить чай — с сахаром, с молоком?

— Все равно,— ответил Киппс.— Как желаете.

Филин деловито передавал гостям чай и хлеб с маслом. Хлеб был совсем свежий, нарезан тонко, и стóило Киппсу взять ломтик, как половинка его шлеп-

нулась на пол. Киппс держал хлеб за самый краешек, он еще не привык к такому бродячему чаепитию—не за столом, да еще без тарелочек. Это маленькое происшествие на время отвлекло его от разговора, а когда он оправился от смущения и прислушался, речь шла о чем-то вовсе не понятном — будто приезжает какой-то артист, что ли, и зовут его как-то вроде Падрусски! Пока суд да дело, Киппс тихонько присел на стул, доел хлеб с маслом, сказал «нет, спасибо», когда ему предложили еще хлеба с маслом, и благодаря столь благоразумной умеренности теперь освободил себе обе руки, чтобы управляться с чашкой.

Он не просто конфузился, как всегда за едой, но трепетал и волновался вдвойне из-за того, что здесь оказалась мисс Уолшингем. Он взглянул на мисс Филин, потом на ее брата и, наконец, на Элен. Он рассматривал ее, глядя поверх чашки с чаем. Вот она перед ним, не во сне, а наяву. Это ли не чудо! Он отметил уже не в первый раз, как легко и свободно ложатся ее темные волосы, отброшенные с красиво очерченного лба назад на уши, как хороши белые руки, схваченные у запястий простыми белыми манжетками.

Немного погодя она вдруг посмотрела на него и улыбнулась легко, спокойно, дружески.

— Вы ведь тоже пойдете, правда? — спросила она и пояснила: — На концерт.

— Если буду в Фолкстоне, пойду,— ответил Киппс, деликатно откашлявшись,—от волнения он даже охрип.—Я не больно разбираюсь в музыке, но что слыхал, то мне нравится.

— Падеревский вам непременно понравится, я уверена,— сказала мисс Уолшингем.

— Ясно понравится, раз вы так говорите,— сказал Киппс.

Тут оказалось, что Филин любезно берет у него из рук чашку.

— Вы собираетесь обосноваться у нас в Фолкстоне?—стоя у камина, спросила мисс Филин таким тоном, словно она была хозяйкой не только этого дома, но и всего города.

— Нет,— ответил Киппс.— То-то и оно, что... я и сам еще не знаю.

Он прибавил, что хочет сперва осмотреться.

— Тут надо многое принять во внимание,— сказал Филин, поглаживая затылок.

— Я, наверно, ненадолго съезжу в Нью-Ромней,— сказал Киппс,— у меня там дядя с тетей. Право слово, не знаю.

— Непременно навестите нас, пока мы еще не уехали в Брюгге,— сказала Элен, остановив на нем задумчивый взгляд.

— А можно?! — обрадовался Киппс.— Я бы с удовольствием.

— Приходите,— сказала она, и не успел еще Киппс спросить, когда же ему позволят нанести этот визит, как она поднялась.

— Вы в самом деле можете обойтись без этой чертежной доски?—спросила она мисс Филин; и они заговорили о чем-то своем.

Когда мисс Уолшингем распрощалась с Киппсом, повторив свое приглашение навестить их, он снова поднялся с Филином к нему в комнату, чтобы взять для начала несколько книг, о которых они говорили. Потом решительным шагом отправился домой, унося под мышкой, во-первых, «Сезам и лилии», во-вторых, «Сэра Джорджа Триседи» и, в-третьих, книгу неизвестного автора под названием «Жизненная энергия», которую Филин ценил особенно высоко. Дома Киппс уселся в гостиной, раскрыл «Сезам и лилии» и некоторое время с железной решимостью читал.

3

Вскоре он откинулся в кресле и попытался представить себе, что о нем подумала мисс Уолшингем, увидев его сегодня у Филинов. Достаточно ли хорош был его серый фланелевый костюм? Он повернулся к зеркалу над камином, потом встал на стул, чтобы проверить, как сидят брюки. Вроде все в порядке. Хорошо, что она не видела его панаму. Он наверняка загнул поля не так, как полагается, это ясно. А вот как полагается? Кто их разберет! Ну да ладно, она не видела. Может, спросить в магазине, где он покупал эту самую панаму?

Некоторое время Киппс задумчиво рассматривал в зеркале свое лицо — он сам не знал, нравится он себе или

нет,— потом слез со стула и поспешил к буфету, где лежали две книжечки, одна в дешевой, но броской, красной с золотом обложке, другая в зеленом коленкоровом переплете. Первая называлась «Как вести себя в обществе» и была написана настоящим аристократом; в самом низу яркой, легкомысленной, но вполне подходящей к случаю обложки, под выведенным золотом названием большие буквы гласили: «двадцать первое издание». Вторая была знаменитое «Искусство вести беседу», служившее верой и правдой многим поколениям. С обеими этими книжками Киппс снова уселся в кресло, положил их перед собой, со вздохом раскрыл «Искусство вести беседу» и пригладил ладонью страницу.

Потом озабоченно сдвинул брови и, шевеля губами от усердия, принялся читать с отмеченного абзаца.

«Усвоив таким образом суть темы, не следует направлять свой скромный корабль сразу в глубокие воды, пусть он сперва неторопливо и плавно скользит по мелководью; иными словами, начиная беседу, не следует что-либо решительно утверждать или сразу высказывать свое мнение или, того хуже, поучать; в этом случае может получиться, что предмет сразу окажется полностью исчерпанным, беседа не завяжется, либо вам только и ответят кратко, односложно: «В самом деле» или «Вот как». Ведь если человек, которому вы адресовали свои категоричные слова, с вами незнаком и притом придерживается другого мнения, он может не пожелать прямо возразить вам или вступить с вами в спор. Надо научиться вступать в беседу незаметно, понемногу, не привлекая поначалу к себе внимания»...

Тут Киппс озадаченно запустил пальцы в волосы и принялся перечитывать все с самого начала.

4

Когда Киппс явился наконец с визитом к Уолшингемам, все получилось настолько непохоже на сценку из руководства «Как вести себя в обществе» (раздел «Визиты»), что он с самого начала совершенно растерялся. Дверь ему отворил не дворецкий или горничная, как полагалось по руководству, а сама мисс Уолшингем.

— Очень рада вас видеть,— сказала она и улыбнулась, а ведь она улыбалась нечасто!

И посторонилась, пропуская гостя в узкий коридорчик.

— Вот, решил зайти,— сказал Киппс, не выпуская из рук шляпу и палку.

Она затворила дверь и провела его в маленькую гостиную, которая показалась ему еще меньше и скромнее гостиной Филинов и в которой ему прежде всего бросилась в глаза медная ваза с белыми маками на столе, покрытом коричневой скатертью.

— Заходите, мистер Киппс. Правда, мамы нет дома,— сказала она.— Но ведь вас это не смущает?

— Мне все равно, коли вы не против,— ответил он, простодушно улыбаясь.

Элен обошла стол и теперь глядела на Киппса с выражением то ли задумчивого любопытства, то ли одобрения, которое ему запомнилось с их последней встречи на уроке резьбы по дереву.

— А я все думала, зайдете вы до отъезда из Фолкстона или не зайдете.

— Я покуда не уезжаю, а и уезжал бы — все равно бы зашел.

— Мама будет огорчена, что не повидала вас. Я ей о вас рассказывала, и она будет рада с вами познакомиться.

— А я ее видал... тогда... в магазине... Это она была? — спросил Киппс.

— Да, в самом деле... Она отправилась с деловыми визитами, а я не пошла. Мне надо писать. Вы знаете, я ведь пописываю.

— Вон как! — промолвил Киппс.

— Ничего особенного,— сказала она,— и, конечно, ничего из этого не выйдет.— Она взглянула на письменный столик, на небольшую стопку бумаги.— Но надо же что-то делать... Смотрите, какой у нас тут вид,— неожиданно перевела она разговор и прошла к окну, Киппс стал рядом.— Наши окна выходят прямо на пустырь. Но ведь бывает и хуже. Правда, перед самым окном тележка соседа-носильщика и этот ужасный забор, но все-таки это лучше, чем вечно видеть напротив точную копию твоего дома, правда? Ранней весной здесь славно — кустарник покрывается яркой зеленью... и осенью тоже славно.

— Мне нравится,— сказал Киппс.— Вон та сиренька симпатичная, правда?

— Ребятишки то и дело совершают на нее набеги,— ответила Элен.

— Это уж как водится,—сказал Киппс.

Он оперся на свою палку и с видом знатока выглянул из окна, и в эту минуту она кинула на него быстрый взгляд. Наконец он придумал, о чем заговорить — видно, недаром он читал «Искусство вести беседу».

— А сад у вас есть?—спросил он.

Элен передернула плечами.

— Крохотный,— сказала она и прибавила: — Хотите посмотреть?

— Я люблю копаться в саду,— ответил Киппс, вспомнив, как однажды вырастил на помойке у дяди дешевенькие настурции.

Она с явным облегчением пошла из комнаты.

Через двойную дверь цветного стекла они вышли на маленькую железную веранду и по железным ступенькам спустились в обнесенный стеной игрушечный садик. Здесь еле-еле уместилась клумба и клочок газона величиной с носовой платок; в углу рос единственный кустик неприхотливого пестрого бересклета. Но ранние июньские цветы — крупные белоснежные нарциссы и прелестная желтофиоль—веселили глаз.

— Вот и наш сад,— сказала Элен.— Не велик, правда?

— Мне нравится,— ответил Киппс.

— Совсем маленький,— сказала Элен.— Но такое уж теперь время: все измельчало.

Киппс не понял и заговорил о другом.

— Я, верно, помешал,— сказал он,— вы ведь писали, когда я пришел.

Она обернулась к нему и, стоя спиной к перилам, взялась за них обеими руками.

— Я кончила,—сказала она,—мне сегодня что-то не пишется.

— Вы прямо сами сочиняете? — спросил Киппс.

— Я пытаюсь... тщетно пытаюсь... писать рассказы,— не сразу ответила она и улыбнулась.—Надо же что-то делать. Не знаю, достигну ли я чего-нибудь... во всяком случае на этом поприще. По-моему, это совершенно без-

надежно. И, конечно, надо изучать вкусы читателей. Но сейчас брат уехал в Лондон, и у меня вдоволь досуга.

— А я его видал, вашего брата?

— Да, вероятно, видели. Он раза два приходил к нам на занятия. Сейчас он уехал в Лондон сдавать экзамены, чтобы стать адвокатом. После этого, я думаю, перед ним откроются кое-какие возможности. Только, наверно, все равно очень скромные. Но он удачливее меня.

— Так ведь у вас есть эти курсы и еще много всего.

— Да, работа должна бы давать мне удовлетворение. Но не дает. Наверно, я честолюбива. Мы оба такие. Но нам негде расправить крылья.— И она кивком показала на убогий садик в тесных четырех стенах.

— По-моему, вы все можете, лишь бы захотели,— сказал Киппс.

— А между тем мне ничего не удается сделать.

— Вы уже вон сколько сделали.

— Что же именно?

— Так ведь вы прошли это... как его... ну, в университете.

— А, вы хотите сказать — меня приняли в университет!

— Уж, верно, если б меня приняли, я бы так задрал нос—ой-ой! Это уж как пить дать.

— А вы знаете, мистер Киппс, сколько народу поступает в Лондонский университет каждый год?

— Нет, а сколько?

— Около трех тысяч человек.

— Ну и что ж, а сколько не поступает!

Элен вновь улыбнулась, потом не выдержала и засмеялась.

— О, эти не в счет,— сказала она, но тотчас спохватилась, что слова ее могут задеть Киппса, и поспешно продолжала:— Так или иначе, мистер Киппс, но я недовольна своей жизнью. Вы сами знаете, Фолкстон—город приморский, коммерческий, здесь оценивают людей просто и грубо: по их доходам. Ну, а у нас доходы весьма скромные, вот мы и живем на задворках. Нам приходится здесь жить, ведь это наш собственный дом. Еще слава богу, что нам не нужно его сдавать внаем. В общем,

нет благоприятных возможностей. Когда они есть, ими, может быть, и не пользуешься. И все-таки...

Киппс был тронут ее доверием и откровенностью.

— Вот то-то и оно,— сказал он.

Он весь подался вперед, опираясь на палку, и сказал проникновенно:

— А я верю, вы сможете все, лишь бы захотели.

Элен только руками развела.

—Уж я знаю,—и Киппс глубокомысленно покивал головой.—Я иногда на вас нарочно смотрел, когда вы нас учили.

Это ее почему-то насмешило, она рассмеялась очень мило и ничуть не обидно, и Киппс воспрянул духом: вот какой он остроумный, как успешно ведет светскую беседу.

—Видимо, вы один из тех немногих, кто в меня верит, мистер Киппс,—сказала она.

— А как же! — поспешно отозвался Киппс.

И тут они увидели миссис Уолшингем. Вот она уже прошла через двойную стеклянную дверь, точно такая же, как тогда в магазине,—настоящая леди, в шляпке и слегка увядшая. Несмотря на все успокоительные заверения Филина, при ее появлении у Киппса упало сердце.

— Нас навестил мистер Киппс,— сказала Элен.

И миссис Уолшингем сказала, что это очень, очень мило с его стороны, и прибавила, что в нынешние времена у них почти никто не бывает, кроме старых друзей. При виде Киппса миссис Уолшингем явно не была неприятно удивлена или шокирована, как тогда в магазине: наверно, она уже слышала, что он теперь джентльмен. Тогда она показалась ему заносчивой и спесивой, но сейчас, едва ощутив ее дружеское рукопожатие, он понял, что глубоко ошибался. Она сказала дочери, что не застала миссис Уэйс дома, и, снова обернувшись к Киппсу, спросила, пил ли он уже чай. Киппс сказал, нет, не пил, и Элен пошла к дому.

— Но, послушайте,—сказал Киппс,—не хлопочите вы из-за меня...

Элен исчезла, и он оказался наедине с миссис Уолшингем. В первое мгновение у него захватило дух, и лицо стало чернее тучи.

— Вы ведь ученик Элен, занимались у нее резьбой по дереву? — спросила миссис Уолшингем, спокойно, как ей и подобало, разглядывая гостя.

— Да,—ответил Киппс,—поэтому, значит, я имел удовольствие...

— Она очень увлекалась этими уроками. Она ведь, знаете, такая деятельная, а это какой-то выход для ее энергии.

— По-моему, она учила нас, ну, прямо лучше некуда.

— Да, так все говорят. Мне кажется, за что бы Элен ни взялась, у нее все получится превосходно. Она такая умница. И чем бы ни занялась, она отдается делу всей душой.

Тут миссис Уолшингем с милой бесцеремонностью развязала ленты своей шляпки.

— Она все-все рассказывала мне про свой класс. Она была полна этим. И рассказывала, как вы поранили руку.

— Господи! — выдохнул Киппс.— Да неужто?

— Да-да. И как мужественно вы держались!

(По правде говоря, Элен рассказывала больше о том, каким своеобразным способом Киппс пытался остановить кровь.)

Киппс залился краской.

— Она говорила, вы и виду не подали, что вам больно.

Киппс почувствовал, что ему придется не одну неделю покорпеть над «Искусством вести беседу».

Пока он подыскивал подходящий ответ, вернулась Элен, неся на подносе все, что требуется для чаепития.

— Вам не трудно, мистер Киппс, подвинуть этот столик?—сказала миссис Уолшингем.

Это тоже было совсем по-домашнему. Киппс пристроил в углу шляпу и палку и с грохотом выдвинул железный в ржавчине зеленый столик, а потом вполне непринужденно отправился с Элен за стульями.

Когда он наконец выпил чай и поставил чашку на стол—от еды он, разумеется, отказался, и дамы, слава богу, не настаивали, — он почувствовал себя на удивление легко и свободно. Вскоре он даже разговорился. Скромно, без затей он говорил о том, как переменилась его жизнь, о своих затруднениях, о планах на

будущее. Он раскрыл перед ними всю свою бесхитростную душу. Скоро они почти перестали замечать его неправильную речь и начали понимать то, что уже давно поняла девушка с веснушками: в этом Киппсе есть много хорошего. Он доверился им, ждал их совета, и обеим льстили его явное благоговение и почтительность.

Он пробыл у них чуть не два часа, начисто забыв, что сидеть так долго не полагается. Но мать и дочь ничего не имели против столь затянувшегося визита.

ГЛАВА III

ПОМОЛВЛЕН

1

Не прошло и двух месяцев, а Киппс почти достиг всего, о чем мечтал.

Это произошло потому, что Уолшингемы,— видимо, их уговорил Филин — в конце концов раздумали ехать в Брюгге. Они остались в Фолкстоне, и этот счастливый случай открыл перед Киппсом все возможности, которых ему так не хватало.

Счастливейшим днем для него оказалась поездка в Лимпн, задолго до того, как лето пошло на убыль, ибо август выдался на редкость жаркий. Кто-то предложил отправиться на лодках на плес старого военного канала в Хайте, устроить пикник у кирпичного мостика, а потом подняться к Лимпнскому замку. И с самого начала было ясно, что хозяин сегодня Киппс, все же прочие — его приглашенные.

Все веселились на славу. Канал зарос водорослями, то и дело попадались мели, и компания разместилась в плоскодонках. Киппс еще прежде научился грести; то был первый вид спорта, которым он овладел; а вторым будет велосипед—он уже взял несколько уроков езды, остается еще три-четыре урока. Греб Киппс совсем не плохо, руки его привыкли перетаскивать тяжелые рулоны кретона, его мышцы были не чета Филиновым, и девушка с веснушками, та самая, что так хорошо

его понимала, села к нему в лодку. Они поплыли наперегонки с братом и сестрой Уолшингем, а позади усиленно работал веслами Филин—весь мокрый, он тяжело дышал, но не желал сдаваться и при этом, как всегда, был безупречно учтив и внимателен. Его пассажиркой была миссис Уолшингем. Никто, конечно, не ждал, что она станет грести (хотя она, разумеется, предложила свою помощь), и, облокотившись на приготовленные специально для нее подушки, под черно-белым солнечным зонтиком, она наблюдала за Киппсом и дочерью и время от времени заботливо спрашивала Филина, не жарко ли ему.

По случаю пикника все приоделись; глаза девушек поблескивали в тени широкополых шляп; даже веснушчатая подружка Элен была сегодня очень мила, а сама Элен с такой грацией разбивала веслом солнечные лучи, что Киппс едва ли не впервые за время их знакомства заметил, какая у нее прелестная фигурка. На Киппсе был безукоризненный спортивный костюм, и когда он снял модную панаму и волосы его растрепались на ветру, он оказался не хуже большинства молодых людей, да и цвет лица у него был отличный.

Обстоятельства, погода, спутники и спутницы—все были к нему благосклонны. Молодой Уолшингем, девушка с веснушками, Филин, миссис Уолшингем любезно подыгрывали ему, и сама судьба словно сговорилась с ними: на прелестном лужке между тем местом, где они пристали к берегу, и Лимпном заботливо поместила молодого бычка. То был не матерый грозный бык, но и не телок; молодой бычок, с еще неопределившимся нравом, вроде Киппса, пасся на лужке, «где ручей впадает в речку». И наша компания, ничего не подозревая, держала путь прямо на него.

Когда они пристали к берегу, молодой Уолшингем с братской непринужденностью бросил сестру на Киппса и присоединился к девушке с веснушками, предоставив Филину нести шерстяную шаль миссис Уолшингем. Он тут же пустился в путь — ему хотелось как можно скорее остаться наедине со своей спутницей и притом избежать неотвязной опеки Филина. Я, кажется, уже упоминал, что у молодого Уолшингема были темные волосы и наполеоновский профиль — естественно, он дерзко мыс-

лил и язвительно острил и давно приметил, что девушка с веснушками способна понять и оценить его таланты и остроумие. В тот день он был в ударе, ибо Киппс только-только сделал его своим поверенным (старик Бин был отставлен без всяких объяснений), а это совсем не плохо для начала, ведь молодой адвокат всего несколько месяцев назад закончил учение. Кроме того, он недавно прочитал Ницше и полагал, что он тоже сверхчеловек, стоящий по ту сторону добра и зла, из тех, кого имеет в виду писатель. Шляпа у него, во всяком случае, была куда больше, чем следовало. Ему хотелось подробно рассказать девушке с веснушками о сверхчеловеке, для которого не писаны законы морали, хотелось поверить ей свои мысли, и, чтобы никто не помешал, они сошли с тропинки и удалились в рощу, избежав таким образом встречи с молодым бычком. Им удалось скрыться от остальной компании, да и то случайно, ибо за ними по пятам следовали Филин и миссис Уолшингем, оба прирожденные и искусные менторы, не склонные сегодня, по мотивам весьма серьезным, мешать Киппсу и Элен. Они дошли по тропинке до перехода в живой изгороди, за которой пасся бык, и при виде животного в Филине тотчас заговорило присущее ему отвращение ко всему грубому и жестокому. Он решил, что перелаз слишком высок, лучше им обойти кругом, и миссис Уолшингем охотно с ним согласилась.

Тем самым они оставили путь открытым для Киппса и Элен, и эти двое и повстречались с быком. Элен его не заметила, но Киппс заметил; однако сегодня он готов был сразиться хоть со львом. Бык пошел прямо на них. То не был настоящий боевой бык, он не делал отчаянных выпадов, не бодался, но просто шел на них, и глядел на них большими, злобными синеватыми глазами, пасть у него была открыта, влажный нос блестел, и если он не ревел, то, уж во всяком случае, мычал и злобно тряс головой и всем своим видом говорил, что не прочь поднять их на рога. Элен испугалась, но чувство собственного достоинства ей не изменило. Киппс побелел, как полотно, но сохранил полное спокойствие, и в эти минуты она совсем забыла, что он неправильно говорит и робеет в обществе. Он велел ей спокойно отходить к перелазу, а сам сбоку пошел на быка.



«КИППС»



«КИППС»

— Убирайся прочь! — прикрикнул он.

Когда Элен оказалась за изгородью, Киппс спокойно и неторопливо отступил. Он ловко отвлек внимание быка и перелез через изгородь; дело было сделано — он не совершил ничего особенного, но и этого было достаточно, чтобы Элен рассталась с ложным представлением, будто человек, который так постыдно трусит перед чашкой с чаем, и во всем остальном жалкий трус. В эту минуту она, пожалуй, даже впала в другую крайность. Прежде она считала, что Киппс не слишком крепок душой и телом. И вдруг оказалось, что на него можно положиться. И есть у него еще немало других достоинств. В конце концов и за такой спиной вполне можно укрыться!..

Все эти мысли нетрудно было прочесть в ее глазах, когда они проходили мимо поросших травой развалин Portus Lemanus и поднимались по крутым склонам на гребень горы, к замку.

2

Каждый, кто попадает в Фолкстон, рано или поздно непременно отправляется в Лимпи. Замок давным-давно превратился в ферму, почтенная ферма эта и сама уже в годах, а древние стены, окружающие ее, — точно пальто на дитяти с чужого, взрослого плеча. Добрейшая фермерша принимает бесчисленных посетителей, показывает им огромный каток для белья и просторную кухню, ведет их в залитый солнцем садик, разбитый на плоской вершине, откуда видны крутые склоны, на которых пасутся овцы, а вдалеке, за каналом, под деревьями, покоятся вечным сном рассыпавшиеся в прах останки Римской империи. По извилистой каменной лесенке, по избитым, стоптанным ступеням поднимаешься на главную башню — и вокруг распахивается неоглядная ширь, и кажется, нет ей ни конца, ни края. Далеко внизу, у самого подножия горы, начинается вересковая равнина и стелется, стелется вольным полукружьем, и простирается до самого моря, и переходит в невысокие синие холмы Уинчелси и Гастингса, и по всей равнине, то здесь, то там, подимаются церкви забытых и заброшенных средневековых городков, на востоке между морем и небом маячит Франция; а на севере, за бесчисленными

фермами, домами, рощами, поднимаются Меловые холмы с крутыми срезами выработок и каменоломен, и по ним то и дело проходят тени плывущих мимо облаков.

И здесь, вознесенные высоко над будничным миром, перед лицом пленительных далей Элен и Киппс очутились только вдвоем; сначала как будто все шестеро собирались подняться на главную башню, но миссис Уолшингем испугалась узких, неровных ступенек, а потом почувствовала легкую дурноту, так что и она, а с ней и девушка с веснушками остались внизу и стали прохаживаться в тени дома; а Филин вдруг обнаружил, что ни у кого нет ни одной сигареты, и, прихватив с собой молодого Уолшингема, отправился в деревню. Элен и Киппсу покричали и все это объяснили, но вот крики стихли, они снова остались наедине с окрестными далями, повосхищались красотами и умолкли.

Элен храбро уселась в амбразуре, Киппс стал рядом.

— Мне всегда нравилось глядеть, когда вид красивый,— немного погодя (и уже не в первый раз) вымолвил Киппс.

И вдруг мысль его сделала неожиданный скачок.

— По-вашему, Филин все правильно говорил?

Она вопросительно на него взглянула.

— Про моё фамилие.

— Что на самом деле это испорченное Квипс? Не уверена. Вначале я тоже так подумала... С чего он взял?

— Да кто ж его знает?—Киппс развел руками.—Просто я думал...

Она быстро испытующе взглянула на него и стала смотреть вдаль, на море.

Киппс растерялся. Он хотел перейти от этого вопроса к рассуждениям о фамилиях вообще, о том, что фамилию можно и переменить; ему казалось, это самый легкий и остроумный способ высказать то, что было у него на уме,— и вдруг он почувствовал, что все это ужасно грубо и глупо. Недоумение Элен спасло его, заставило вовремя остановиться. Он замолчал, любуясь профилем Элен в рамке изъеденного временем камня, на голубом фоне моря и неба.

Нет, не стоит больше толковать про свое имя. И он снова заговорил о красотах природы.

— Вот погляжу на красивый вид... и вообще на... на какую ни то красоту — ну, и чувствую себя... как-то так...

Элен быстро взглянула на него и увидела, с каким трудом он подыскивает нужное слово.

— Дурак дураком,— докончил он.

Она окинула его взглядом собственницы, впрочем, пожалуй, даже ласковым. И заговорила голосом столь же недвусмысленным, как и ее взгляд.

— Вы не должны так чувствовать,— сказала она.— Право же, мистер Киппс, вы слишком дешево себя цените.

Ее взгляд, ее слова ошеломили Киппса. Он посмотрел на нее, словно пробуждаясь от глубокого сна. Она опустила глаза.

— А по-вашему...— начал он. И вдруг выпалил: — А вы цените меня не дешево?

Она подняла глаза и покачала головой.

— Но... к примеру... вы же не считаете меня... за ровню.

— Ну отчего же?

— Господи! Так ведь...

Сердце его бешено колотилось.

— Кабы я думал...—начал он. Потом сказал:— Вы такая образованная.

— Какие пустяки! — возразила она.

Потом,— так показалось обоим,— они долго-долго молчали, но молчание это многое договорило и довершило.

— Я ведь знаю, кто я есть,— сказал наконец Киппс.— Кабы я думал, что это возможно... Кабы я надеялся, что вы... Да я бы горы своротил...

Он замолчал, и Элен вдруг как-то притихла, опустила глаза.

— Мисс Уолшингем,— сказал он,— неужто... неужто вы относитесь ко мне так хорошо, что... что захотите помочь мне? Мисс Уолшингем, неужели вы вправду хорошо ко мне относитесь?

Ему казалось, прошла вечность. Наконец она заговорила.

— По-моему,—сказала она и подняла на него глаза,— вы самый великодушный человек на свете... Только поду-

майте, как вы поддержали моего брата! Да, самый великодушный и самый скромный. А сегодня... сегодня я поняла, что вы и самый храбрый тоже.

Она отвернулась, глянула вниз, помахала кому-то и встала.

— Мама зовет,—сказала она.—Пора спускаться.

Киппс по привычке вновь стал вежлив и почтителен, но чувства его были в полном смятении.

Он шел впереди нее к маленькой дверце, что открывалась на винтовую лестницу. «Вверх и вниз по лестнице всегда иди впереди дамы». И вдруг на второй ступеньке решительно обернулся.

— Но...— сказал он, глядя на Элен снизу вверх; в тени белел его спортивный костюм, блестели глаза на побледневшем лице, никогда еще он не казался ей таким взрослым — настоящим мужчиной.

Элен остановилась, держась за каменную притолоку, и посмотрела на него.

Он протянул руку, словно хотел ей помочь.

— Вы только скажите,—продолжал он.—Уж верно, вы знаете...

— О чем вы?

— Вы хорошо ко мне относитесь?

Элен долго молчала. Казалось, мир неотвратимо движется к катастрофе и вот сейчас взорвется.

— Да, — вымолвила она наконец,— я знаю.

Шестым чувством он вдруг разгадал, каков будет ее ответ, и замер.

Она наклонилась к нему, и прелестная улыбка смягчила и озарила ее лицо.

— Обещайте мне,— потребовала она.

Его замершее лицо было само обещание.

— Раз уж я вас ценю высоко, вы и сами должны ценить себя по достоинству.

— Цените меня? Так, значит, по-вашему...

На сей раз она наклонилась совсем близко.

— Да, я вас ценю,— перебила она и закончила шепотом:—И вы мне очень дороги.

— Это я?

Элен громко рассмеялась.

Киппс был потрясен. Но, может быть, он все-таки чего-то не понял! Нет, тут надо все выяснить до конца.

— И вы пойдете за меня замуж?

Она смеялась, переполненная чудесным сознанием своей силы, своей власти и торжества. Он славный, такого приятно покорить.

— Да, пойду,— со смехом ответила она.— Что же еще я могла этим сказать?—И повторила:—Да.

Киппс обомлел. У него было такое чувство, точно у отшельника, которого вдруг схватили посреди тихой молитвы, в рубище, с главой, посыпанной пеплом, и ввергли в сияющие врата рая, прямо в объятия ясноглазого праздничного херувима. Он чувствовал себя точно смиреннейший праведник, вдруг познавший блаженство...

Он изо всех сил вцепился в веревку, которая служила перилами на этой каменной лестнице. Хотел поцеловать руку Элен и не отважился.

Он не прибавил ни слова. Повернулся — лицо у него было застывшее, чуть ли не испуганное — и стал медленно спускаться впереди Элен в поджидавшую их тьму...

3

Казалось, все понимали, что произошло. Не было никаких слов, никаких объяснений, достаточно было взглянуть на обоих. Киппс потом вспоминал: едва все собрались у ворот замка, Филин как бы невзначай крепко сжал ему локоть. Конечно же, он знал. Он ведь так и лучился благожелательством, он поздравлял, конечно же, он был очень доволен, что хорошее дело пришло к благополучному концу. Миссис Уолшингем, еще недавно столь утомленная подъемом в гору, явно оправилась и почувствовала необычайный прилив любви к дочери. И мимоходом потрепала ее по щеке. Спускаясь с горы, она пожелала опереться на руку Киппса, и он, как во сне, повиновался. Совершенно безотчетно он пытался быть внимательным к ней и скоро в этом преуспел.

Миссис Уолшингем и Киппс шли неторопливо и беседовали, как умудренные жизнью солидные люди, а остальные четверо бежали вниз бойкой, легкомысленной стайкой. Интересно, о чем они говорят? Но тут с ним заговорила миссис Уолшингем. А где-то, бог весть в каких глубинах, никому и ему самому неведомых, оглушен-

ное и притихшее, затаилось, замерло его сокровенное «я». Эта первая их беседа, похоже, была интересная и дружеская. Прежде он побаивался миссис Уолшингем,—наверно, она над ним смеется,— а оказалось, она женщина понимающая и душевная, и, несмотря на все свое смятение, Киппс, как ни странно, не оплошал. Они поговорили об окружающих красотах, о том, что древние развалины всегда навевают грусть, о минувших поколениях.

— Быть может, здесь когда-то сходились в поединке рыцари,— сказала миссис Уолшингем.

— Чего только не вытворяли в те времена,— подхватил Киппс.

А потом оба заговорили об Элен. Миссис Уолшингем говорила о том, как дочь увлекается литературой.

— Из нее выйдет толк, я уверена. Вы знаете, мистер Киппс, на мать ложится огромная ответственность, когда у нее такая дочь... такая одаренная.

— А как же,—согласился Киппс.—Это уж как водится.

Миссис Уолшингем говорила и о своем сыне — они так схожи с Элен, словно близнецы, и все же очень разные. И Киппс вдруг ощутил доселе неведомые ему отеческие чувства к детям миссис Уолшингем.

— Они такие сообразительные и такие артистические натуры,— говорила она,— у них головы полны всяких идей. Иногда даже страшно за них. Им нужны широкие возможности—просто как воздух.

Она говорила о пристрастии Элен к сочинительству.

—Она была еще совсем крошка, а уже сочиняла стихи.

(Киппс потрясен.)

— Она вся в отца...—Миссис Уолшингем сочла необходимым пролить трогательный свет на их прошлое.— В душе он был не деловой человек, а художник. В этом-то вся беда... Компаньон ввел его в заблуждение, а когда случился крах, все стали винить его... Ну, полно, стоит ли вспоминать все эти ужасы... тем более сегодня. В жизни, мистер Киппс, бывают и хорошие времена и плохие. И у меня в прошлом далеко не все безоблачно.

На лице Киппса выразилось глубокое сочувствие, достойное самого Филина.

Теперь миссис Уолшингем заговорила о цветах, а перед глазами Киппса все стояла Элен, склонившаяся к нему там, на Главной башне...

Чай расположились пить под деревьями, у маленькой гостиницы, и в какое-то мгновение Киппс вдруг ощутил, что все украдкой на него поглядывают. Если бы не спасительный такт Филина да не осы, налетевшие как раз вовремя, все почувствовали бы себя неловко и напряженно. Но Филин хотел, чтобы этот памятный день прошел без сучка без задоринки, и неутомимо шутил и острил, развлекая всю компанию. А потом молодой Уолшингем заговорил о римских развалинах под Лимпном и уже собирался перейти к своей излюбленной теме — сверхчеловеку.

— Эти древние римляне...— начал было он, но тут налетели осы. В одном только варенье завязли три и были убиты.

И Киппс, точно во сне, убивал ос, передавал что-то не тому, кто просил, и вообще с величайшим трудом соблюдал кое-как усвоенные правила поведения в обществе. Мгновениями окружавшую его тьму вдруг точно рассекала молния, и он видел Элен. Элен старательно не глядела в его сторону и держалась на удивление спокойно и непринужденно. Ее выдавал лишь едва заметный румянец, чуть ли не впервые ожививший матовую бледность щек...

Не сговариваясь, Киппсу предоставили право плыть домой в одной лодке с Элен; он помог ей сойти в лодку, взялся за весло и стал грести так медленно, не спеша, что скоро они оказались позади всех. Теперь душа его очнулась. Но он ничего не сказал Элен. Да и осмелится ли он когда-нибудь еще с нею заговорить? Она изредка показывала ему на отражения в воде, на цветы, на деревья и что-то говорила, и он молча кивал в ответ. Но мысленно он все еще был там, на Главной башне, все не мог прийти в себя от счастливого потрясения и понять, что все это не сон. Даже в самой глубине души он еще не верил, что она теперь принадлежит ему. Одно только он понял: каким-то чудом богиня спустилась со своего пьедестала и взяла его за руку!

Бездонное синее небо раскинулось над ними, их хранили и укрывали темные деревья, а за бортом мерцали

покойные, тихие воды. Элен видела лишь прямой темный силуэт Киппса; он не без ловкости погружал в воду широкое весло то слева, то справа,— и позади змеился серебристый переливчатый след. Нет, не так уж он плох! Молодое тянется к молодому, как бы ни была широка разделяющая их пропасть, и Элен радовалась и торжествовала победу. И ведь победа над Киппсом означала еще и деньги, широкие возможности, свободу, Лондон, свершение многих хоть и неясных, но соблазнительных надежд. Киппс же смутно различал ее лицо — оно нежно светлело в сумерках. Он, конечно, не мог видеть ее глаза, но, околдованный любовью, воображал, будто видит, и они светили ему точно далекие звезды.

В этот вечер весь мир — и темное небо, и вода, и окунувшиеся в нее ветви — казался Киппсу всего лишь рамкой для Элен. Словно он обрел какое-то внутреннее зрение и ясно, как никогда, увидел, что в ней сосредоточены все прелести мира. Сбылись его самые заветные мечты. Для него настал час, когда перестаешь думать о будущем, когда время останавливается и кажется, мы — у предела всех желаний. В этот вечер Киппс не думал о завтрашнем дне; он достиг всего, дальше этого он не заходил даже в мечтах. Душа его покойно и тихо наслаждалась блаженным часом.

4

В тот же вечер, около девяти, Филин зашел к Киппу на его новую квартиру на Аппер-Сандгейт-роуд — дедовский дом на набережной Киппс собирался продать, а пока что сдал внаем со всей обстановкой. Не зажигая лампы, Киппс тихо сидел у растворенного окна и пытался осмыслить происшедшее. Растроганный Филин крепко сжал пальцы юноши, положил ему на плечо узловатую бледную руку и вообще всячески постарался выразить подобающие случаю нежные чувства. Киппс тоже сегодня был растроган и встретил Филина как родного брата.

— Она восхитительна,— с места в карьер заявил Филин.

— Ведь правда?—подхватил Киппс.

—Какое у нее было лицо!— сказал Филин.— Дорогой мой Киппс, это поважнее наследства.

— Я ее не заслужил,— сказал Киппс.

— Не надо так говорить.

— Нет, не заслужил. Все никак не поверю. Прямо не верится мне. Ну, никак!

Наступило выразительное молчание.

— Чудеса, да и только!—сказал Киппс.—Никак в себя не приду.

Филин надул щеки и почти бесшумно выпустил воздух, и оба снова помолчали.

— И все началось... до того, как вы разбогатели?

— Когда я учился у нее на курсах,— торжественно ответил Киппс.

Да, это прекрасно, объявил Филин из тьмы, в которой таинственно вспыхивали огоньки: он пытался зажечь спичку. Лучшего Киппсу и не пожелаешь...

Наконец он закурил сигарету, и Киппс, с лицом задумчивым и важным, последовал его примеру.

Скоро беседа потекла легко и свободно.

Филин принялся превозносить Элен, ее мать, брата; рассчитывал, на какой день может быть назначено великое событие, и Киппс начинал верить, что свадьба и вправду состоится.

— Они ведь в известном смысле графского рода,— сказал Филин,—в родстве с семейством Бопре... слышали, наверно,—лорд Бопре?

— Да ну! — воскликнул Киппс.— Неужто?

— Родство, конечно, дальнее,— сказал Филин.— А что ни говори...

И в полутьме сверкнули в улыбке его прекрасные зубы.

— Нет, это уж слишком,— сказал Киппс, сраженный.— Что же это такое делается?

Филин шумно перевел дух. Некоторое время Киппс слушал, как он расхваливает Элен, и его решимость крепла.

— Послушайте, Филин,— сказал он.— Чего ж мне теперь полагается делать?

— То есть? — удивился Филин.

— Да вот, наверно, надо явиться к ней с визитом, и все такое?— Киппс задумался, потом прибавил: — Я ведь хочу, чтоб все было как полагается.

— Ну, конечно,— сказал Филин.

— А то вдруг возьмешь да и сделаешь что-нибудь шиворот-навыворот, вот ужас-то.

Филин размышлял, и огонек его сигареты мерцал в полутьме.

— Визит нанести, разумеется, нужно,— решил он.— Вам следует поговорить с миссис Уолшингем.

— А как?

— Скажете ей, что хотите жениться на ее дочери.

— Да ведь она, небось, и сама знает,—сказал Киппс: страх придал ему прозорливости.

В полутьме видно было, как Филин рассудительно покачал головой.

— Да еще кольцо, — продолжал Киппс. — Как быть с кольцом?

— Какое кольцо?

— Которое для помолвки. «Как вести себя в обществе» про это не пишет ни словечка.

— Ну, разумеется, надо выбрать кольцо... со вкусом выбрать. Да.

— А какое?

— Какое-нибудь поизящнее. В магазине вам покажут.

— Это верно. И я его принесу, а? И надену ей на палец.

— Ох, нет! Пошлите его. Это гораздо лучше.

— А-а!—В голосе Киппса впервые послышалось облегчение.— Ну, а визит как же? К миссис Уолшингем, стало быть... Как я к ней пойду?

— Да, это особо торжественный случай,— с важностью молвил Филин.

— Стало быть, как же? В сюртуке?

— Надо полагать,— со знанием дела произнес Филин.

— Светлые брюки и все такое?

— Да.

— Роза?

— Да, пожалуй. По такому случаю можно и розу в петлицу.

Завеса, что скрывала от Киппса будущее, стала менее плотной. Уже можно думать о завтрашнем дне и о тех, что придут за ним,— уже можно их различить. Сюртук, цилиндр, роза! В мыслях он почтительно созерцал сам себя — вот он медленно, но верно превращает-

ся в настоящего джентльмена. Артур Киппс, облаченный по торжественным случаям в сюртук, коротко знакомый с леди Паннет, жених дальней родственницы самого графа Бопре.

Поистине судьба неслыханно добра к нему — даже страшно. Золотой волшебной палочкой он коснулся мира — и мир стал раскрываться перед ним, точно заколдованный цветок. И в пламенеющей сердцевине цветка ждет его прекрасная Элен. Всего два с половиной месяца назад он был только жалкий младший приказчик, с позором уволенный со службы за беспутство — он как бы ждал в безвестности своего триумфа,—ничтожное зернышко, у которого весь этот пышный расцвет был еще впереди. Да, кольцо—залог помолвки — должно и качеством своим и видом соответствовать его чувствам, иными словами, оно должно быть самое что ни на есть лучшее.

— А цветы надо ей послать? — вслух подумал он.

— Не обязательно,— ответил Филин.— Хотя, конечно, это знак внимания.

Киппс задумался о цветах.

— При первой же встрече вы должны попросить ее назначить день,— сказал Филин.

Киппс в испуге чуть не подскочил.

— Как, уже? Прямо сейчас?

— Не вижу причин откладывать.

—Как же это... ну хоть на год.

— Слишком большой срок.

— Да неужто? — резко обернулся к нему Киппс.— Но...

Наступило молчание.

— Послушайте,— заговорил наконец Киппс, и голос у него дрогнул,— помогите мне со свадьбой.

— С величайшей радостью! — отозвался Филин.

— Оно конечно, — сказал Киппс. — Разве ж я думал?..—Но тут у него мелькнула другая мысль.—Филин, а что это такое тета-те?

—Тета тей [1],— поправил Филин,— это разговор наедине.

---

[1] Tête-a-tête *(франц.)* — свидание с глазу на глаз. (Не только Киппс, но и поправляющий его Филин тоже произносит неправильно, нужно: тет-а-тет.)

— Господи!—воскликнул Киппс,—а я думал... Там строго-настрого запрещается увлекаться этими тетами, сидеть рядышком, и гулять вдвоем, и кататься верхом, и вообще встречаться днем. А повидаться когда же?

— Это в книге так написано? — спросил Филин.

— Да вот перед тем, как вам прийти, я все это наизусть выучил. Вроде чудно, но, видать, ничего не попишешь.

— Нет, миссис Уолшингем не будет придерживаться таких строгостей,— сказал Филин.— По-моему, это уж слишком. В наше время этих правил придерживаются лишь в самых старинных аристократических семействах. Да потом Уолшингемы такая современная... можно сказать, просвещенная семья. У вас будет вдоволь возможностей поговорить друг с другом.

— Ужас сколько теперь надо всего обдумать да решить,— с тяжелым вздохом сказал Киппс.— Стало быть, по-вашему... прямо уже через несколько месяцев мы поженимся?

— Непременно,—ответствовал Филин.—А почему бы и нет?..

Полночь застала Киппса в одиночестве, вид у него был усталый, но он прилежно листал страницы книжечки в красном переплете.

На странице 233 его внимание привлекли слова:

«Траур по тете или дяде мужа (жены) носят шесть недель: платье черное, с плерезами».

«Нет,— поднатужившись, сообразил Киппс,— это не то!»

И опять зашуршали страницы. Наконец он дошел до главы «Бракосочетания» и ладонью расправил книгу.

На его лице отразилась мучительная работа мысли. Он уставился на фитиль лампы.

— Сдается мне, надо поехать и все им объявить,— вымолвил он наконец.

5

Облаченный в костюм, подобающий столь торжественному случаю, Киппс отправился с визитом к миссис Уолшингем. На нем был глухой сюртук, лакированные башмаки и темно-серые брюки, в руках блестящий ци-

линдр. Широкие белые манжеты с золотыми запонками так и сверкали, в руке он небрежно держал серые перчатки (один палец лопнул по шву, когда он их надевал). Небольшой зонтик был свернут искуснейшим образом.

Счастливое ощущение, что он одет безукоризненно, переполняло его и боролось в его душе с сознанием чрезвычайной важности его миссии. Он то и дело проверял, на месте ли шелковый галстук-бабочка. А роза в петлице наполняла весь мир своим благоуханием.

Киппс сел на краешек заново обитого ситцем кресла и облокотился на его ручку рукой, в которой держал цилиндр.

— Я уже знаю, все знаю,— неожиданно и великодушно пришла ему на помощь миссис Уолшингем. Недаром ему и раньше казалось, что она женщина здравомыслящая и все понимает. Она смотрела так ласково, что Киппс совсем растрогался.

— Для матери это великий час,— сказала миссис Уолшингем и на мгновение коснулась рукава его безупречного сюртука.— Для матери, Артур, дочь значит куда больше сына! — воскликнула она.

Брак, говорила она,—это лотерея, и если нет любви и терпимости, супруги будут очень несчастливы. Ее собственная жизнь тоже состояла не из одних только радостей: были у нее и темные дни, были и светлые. Она ласково улыбнулась.

— Сегодня у меня светлый день,— сказала она.

Она сказала Киппсу еще много добрых и лестных слов и поблагодарила его за великодушное отношение к ее сыну. («Чего там, пустяки это все!» — возразил Киппс.) Но, заговорив о своих детях, она уже не могла остановиться.

— Они оба просто совершенство,— сказала она.— А какие одаренные! Я их называю «мои сокровища».

Она вновь повторила слова, сказанные в Лимпне: да, она всегда говорила — благоприятные возможности нужны ее детям как воздух, и вдруг остановилась на полуслове: в комнату вошла Элен. Наступило неловкое молчание: видно, Элен была поражена великолепием наряда Киппса в будний день. Но уже в следующую минуту она пошла к Киппсу с протянутой рукой.

Оба они были смущены.

— Я вот зашел...— начал Киппс и замялся, не зная, как кончить фразу.

— Не хотите ли чаю?— предложила Элен.

Она подошла к окну, окинула взглядом знакомый пустырь, обернулась, бросила на Киппса какой-то непонятный взгляд, сказала: «Пойду приготовлю чай»— и исчезла.

Миссис Уолшингем и Киппс поглядели друг на друга, и на губах ее появилась покровительственная улыбка.

— Ну что это вы, дети, робеете да стесняетесь?— сказала она, и Киппс чуть не провалился сквозь землю.

Она принялась рассказывать, какая Элен деликатная натура, и всегда была такая, с малых лет, это заметно даже в мелочах, но тут прислуга принесла чай; за ней появилась Элен, заняла безопасную позицию за бамбуковым чайным столиком и зазвенела посудой, нарушив воцарившееся в комнате молчание. Немного погодя она упомянула о предстоящем спектакле на открытом воздухе:—«Как вам это понравится!»—и скоро они уже не чувствовали себя так неловко и связанно. Заговорили о лжи и правде на сцене.

— А я не больно люблю, когда пьесы представляют,—сказал Киппс.— Какое-то все получается ненастоящее.

— Но ведь пьесы в основном пишутся для театра,— сказала Элен, устремив взгляд на сахарницу.

— Оно конечно,— согласился Киппс.

Наконец чай отпили.

— Что ж,— сказал Киппс и поднялся.

— Куда вы спешите?—сказала миссис Уолшингем, вставая и взяв его за руку.— Еще рано, а вам с Элен уж, наверно, есть о чем поговорить.—И пошла к двери.

6

В это великое мгновение Киппс окончательно растерялся. Что делать? Пылко заключить Элен в объятия, едва мать выйдет из комнаты? Очертя голову выпрыгнуть из окна? Но тут он сообразил, что надо растворить дверь перед миссис Уолшингем, а когда исполнил сей долг вежливости и обернулся, Элен все еще стояла за

столом, прелестная и недоступная. Он притворил дверь и, подбоченясь, пошел к Элен. Он вновь почувствовал себя угловатым и неловким и правой рукой потрогал усики. Ну, зато уж одет-то он как надо. Откуда-то, из самой глубины его сознания, всплыла робкая, неясная и очень странная мысль: а ведь у него сейчас к Элен совсем иное чувство: там, на Лимпнской башне, что-то между ними развеялось в прах.

Элен окинула его критическим оком, как свою собственность.

— Мама курила вам фимиам,— сказала она с полуулыбкой. И прибавила: — Это очень мило, что вы ее навестили.

Минуту они молча глядели друг на друга, словно каждый ожидал найти в другом что-то иное и, не найдя, был слегка озадачен. Киппс заметил, что стоит у стола, покрытого коричневой скатертью, и, не зная, чем заняться, ухватился за небольшую книжку в мягком переплете.

— Я сегодня купил вам кольцо,— сказал он, вертя в руках книжку (надо же хоть что-нибудь сказать!). И вдруг наружу прорвалось то, что было на душе: — Знаете, я прямо никак не поверю.

Ее лицо снова смягчилось.

— Вот как?

И, может быть, она прибавила про себя: и я тоже.

— Ага,— продолжал Киппс.— Все теперь вроде перевернулось. Даже больше, чем от наследства. Это ж надо—мы с вами собираемся пожениться! Будто я не я. Хожу сам не свой...

Он был такой серьезный, весь красный от смущения. И она увидела его в эту минуту совсем иными глазами.

— Я ничегошеньки не знаю. Ничего во мне нет хорошего. Я ж неотесанный. Вот познакомитесь со мной поближе и сами увидите: ничего я не стою.

— Но ведь я хочу вам помочь.

— Вам страх сколько придется помогать.

Элен прошла к окну, выглянула на улицу, что-то, видно, решила и, заложив руки за спину, направилась к Киппсу.

— Все то, что вас тревожит,— сущие пустяки. Если вы не против, если позволите, я буду вас поправлять...

— Да я буду рад до смерти.

— Ну, вот и хорошо.

— Для вас это пустяки, а вот мне...

— Все зависит от того, согласны ли вы, чтобы вас поправляли.

— Вы?

— Конечно. Я ведь не хочу, чтобы вам делали замечания посторонние.

— О-о!—В этот возглас Киппс вложил многое.

— Понимаете, речь идет о сущих пустяках. Ну, вот, вы, например, не очень правильно говорите. Вы не сердитесь, что я делаю вам замечание?

— Мне даже приятно.

— Прежде всего ударения.

— Это я знаю,— сказал Киппс и прибавил для убедительности:—Говорили мне. Тут вон какое дело: есть у меня один знакомый, из артистов, он все про это твердит. Даже учить обещался.

— Вот и хорошо. Надо просто за собой следить.

— Ну да, они ведь представляют, им без этого нельзя. Их этому учат.

— Разумеется,—несколько рассеянно сказала Элен.

— Уж это я одолею,— заверил ее Киппс.

— И как одеваться — тоже важно,— продолжала Элен.

Киппс залился краской, но по-прежнему слушал с почтительным вниманием.

— Вы не сердитесь, что я об этом говорю?—снова спросила Элен.

— Нет-нет.

— Не нужно так... так наряжаться. Нехорошо, когда все так с иголочки, сразу видно — только что от портного. Это уж чересчур. Кажется, вы прямо сошли с витрины... как самый обыкновенный богач. В платье должна чувствоваться непринужденность. Настоящий джентльмен всегда одет, как следует и при этом выглядит так, словно это произошло само собой.

— Будто надел чего под руку попалось? — огорченно спросил ученик.

— Не совсем так, просто нужна некоторая непринужденность.

Киппс кивнул с понимающим видом. Он готов был

разорвать, уничтожить свой цилиндр — так он был огорчен.

— И вам надо привыкнуть держаться непринужденно на людях,— сказала Элен.— Просто надо поменьше стесняться и не тревожиться из-за пустяков...

— Я постараюсь,— сказал Киппс, мрачно уставясь на чайник.— Буду стараться изо всей мочи.

— Я на это надеюсь,— сказала Элен; и на секунду коснулась рукой его плеча.

Киппс и не заметил этой ласки.

— Буду учиться,—сказал он немного рассеянно. Он был поглощен непосильной работой, которая совершалась у него в мозгу: надо же перевести на непринужденный и изящный язык корявый вопрос, который все не дает ему покоя: «Ну, а свадьбу-то когда сыграем?» Но до самого ухода он так ничего и не придумал...

Потом он долго сидел в своей гостиной у растворенного окна и напряженно вспоминал весь этот разговор с Элен. Наконец глаза его чуть ли не с упреком остановились на новеньком цилиндре. «Ну откуда же мне все это знать?» — вопросил он пустоту. Тут он заметил, что в одном месте шелк потускнел, и, хоть мысли его все еще были далеко, он ловко свернул в комочек мягкий носовой платок и стал наводить глянец.

Мало-помалу выражение его лица изменилось.

— Ну, откуда ж мне все это знать, будь оно неладно? — сказал он и сердито поставил цилиндр на стол.

Потом встал, подошел к буфету, раскрыл все ту же книжицу «Как вести себя в обществе» и сразу же, не садясь, принялся читать.

ГЛАВА IV

ВЛАДЕЛЕЦ ВЕЛОСИПЕДНОЙ МАСТЕРСКОЙ

1

Итак, собираясь жениться на девушке, стоящей выше него по рождению, Киппс стал готовиться к этой трудной задаче. На следующее утро он совершал туалет в суровом молчании, а за завтраком, на взгляд прислуги, был непривычно важен. В глубокой задумчивости он

поглощал копченую рыбу, почки и бекон. Он собирался в Нью-Ромней — поведать своим старикам о великом событии. Причем любовь Элен придала ему смелости, и он решился на поступок, подсказанный ему Баггинсом: тот однажды уверял, что на месте Киппса непременно так бы и поступил, а именно — на полдня нанял автомобиль. Он не стал дожидаться обеда, перекусил пораньше на скорую руку, хладнокровно и решительно надел кепи и пальто, купленные нарочно для этого случая, и, пыхтя, зашагал к гаражу. Все устроилось неожиданно легко, и уже через час, в огромных очках, укутанный пледом, он мчался в автомобиле через Димчерч.

Машина с шиком подкатила к дядиной лавке.

— Погудите малость, будьте так любезны,— попросил Киппс.

Автомобиль дал гудок. Потом еще один— подлиннее, погромче.

— Во-во. Это мне и надо.

Из лавки вышли дядя с тетей.

— Батюшки, да это никак Арти!— воскликнула миссис Киппс.

Для Киппса настала минута торжества.

Он пожал им руки, откинул плед, снял очки и сказал шоферу, что «отпускает его на часок».

Дядя придирчиво оглядел автомобиль и на миг смутил Киппса, спросив тоном знатока, сколько с него содрали за эту штуковину. На зависть соседям дядя и племянник постояли, разглядывая автомобиль со всех сторон, и пошли через лавку в крошечную гостиную промочить горло.

— Нет, эти машины еще не первый сорт,— сказал старик Киппс в расчете на соседей.—Мудрят над ними, мудрят, а хорошего-то пока не видать. В каждой какой ни то изъян. Послушайся совета, мой мальчик, не спеши покупать, лучше обожди годик-другой.

(А Киппс-младший и не помышлял о такой покупке.)

— Ну как, понравилось вам виски, что я прислал? — спросил Киппс, привычно увертываясь от пирамиды детских ведерок, по-прежнему стоящих на самом ходу.

— Виски первый сорт, мой мальчик,— тактично ответил старик Киппс.—Виски что надо, отличное, и выложил ты за него, небось, немалые денежки. Да только

не тешит оно меня, будь оно неладно. В него подбавляют шипучку, мой мальчик, и оно меня вон где мучит.— И он ткнул пальцем себя под ложечку.—Изжога у меня от этого,— прибавил он и горестно покачал головой.

— Виски первый сорт,— сказал Киппс.— Я слыхал, его даже пьют директора, какие в Лондоне заправляют театрами.

— А как же, мой мальчик, конечно, пьют,—согласился старик Киппс,— так ведь они все печенки себе посжигали, а я нет. У них натура будет погрубее. А у меня сроду желудок больно нежный. Бывало, ну прямо ни капли не принимает. Но это я так, между прочим. А вот сигары твои больно хороши. Вот сигар этих, пожалуй, пришли еще...

Нельзя же заговорить о любви сразу после разговора о пагубном действии шипучки на желудок, и Киппс принялся благосклонно рассматривать литографию со старой гравюры Морленда (в отличном состоянии, если не считать дыры посредине), которую дядюшка недавно приобрел для него на торгах; потом заговорил о переезде стариков.

Как только Киппс разбогател, он задумал позаботиться о них, и они втроем часто и подолгу это обсуждали. Порешили, что племянник обеспечит их до конца дней, и в воздухе витало предложение «удалиться на покой». В воображении Киппса вставал премиленький домик, увитый цветущей жимолостью, в тихом уголке, где неизменно светит солнце, и не дуют ветры, и двери домика всегда гостеприимно раскрыты. Очень приятное видение! Но когда дошло до дела и старикам стали предлагать на выбор разные домики и коттеджи, Киппс с удивлением убедился, что они цепляются за свой домишко, который всегда казался ему никудышным.

— Нечего нам пороть горячку,— сказала миссис Киппс.

— Уж переезжать, так раз и навсегда,—поддержал ее Киппс-старший.— Я и так на своем веку наездился с места на место.

— Вон сколько здесь терпели, можно и еще чуток потерпеть,— сказала миссис Киппс.

— Ты уж дай мне перво-наперво оглядеться,— сказал Киппс-старший.

Он оглядывался, приглядывался и получал от этого, пожалуй, куда больше удовольствия, чем если бы уже владел самым распрекрасным домиком на свете. В любой час он закрывал лавку и отправлялся бродить по улицам в поисках нового предмета для своих мечтаний; пусть дом был явно слишком велик либо чересчур мал,— все равно он с видом заправского знатока дотошно его осматривал. Дома занятые были ему милее пустующих, и, если разгневанные жильцы возмущались, когда он совал нос в самые интимные помещения, он замечал:

— Ведь не век же вам здесь жить, все одно не заживетесь.

Возникали и совершенно неожиданные затруднения.

— Если у нас будет дом побольше,— вдруг с горечью сказала тетушка,—без служанки не обойтись. А мне все эти вертихвостки без надобности. Станет надо мной хихикать, да фыркать, да во все совать свой нос, да насмешничать! Нет уж, не бывать этому! А купим дом поменьше, так и плюнуть негде,— прибавила она.

Да, тут уж ничего не попишешь. Это очень важно, чтобы в доме было где плюнуть. Необходимость в этом приходит нечасто, но все же приходит...

— Хорошо бы поблизости было где поохотиться...— мечтательно сказал Киппс-старший.— И я не желаю отдавать дом и лавку за гроши,— продолжал он.— Сколько лет обзаводился... Я вот выставил в окошке билетик «Продается», а толку чуть. За весь вчерашний день только и пришел один покупатель, чтоб им пусто было,— духовое ружье ему, видите ли, понадобилось. Уж я-то их насквозь вижу: пришел разнюхать, что к чему, а ушел и, небось, еще хихикает над тобой в кулак. Нет уж, спасибочки! Вот как я смотрю на это дело, Арти.

Они еще и еще толковали о том, где и как они заживут, и чем дальше, тем трудней было Киппсу найти удобный повод и перевести разговор на величайшее событие в его жизни. Правда, в какую-то минуту, желая уйти от опасного разговора о переезде, Киппс-старший спросил:

— Ну, а ты там чего поделываешь у себя в Фолкстоне? Вот скоро приеду и погляжу на твое житье-бытье.

Но Киппс и рта не успел раскрыть, а дядя уже вещал, как надо обращаться с квартирными хозяйками, какие они все хитрющие, как ловко обсчитывают, и

удобный случай был упущен. Киппс решил, что ему только и остается пойти прогуляться, на досуге придумать, с чего бы начать, а вернувшись, с места в карьер объявить им все со всеми подробностями. Но даже на улице, оставшись один, он никак не мог собраться с мыслями.

2

Он бессознательно свернул с Главной улицы на дорожку, ведущую к церкви, постоял у калитки, до которой когда-то бегал наперегонки с Энн Порник, и не заметил, как уселся на ограду. Надо поуспокоиться, думал он; душа его была сейчас, точно потревоженная ветерком гладь озера. Образ Элен и великолепное будущее разбились на мелкие кусочки, к ним примешались отражения далекого прошлого, и добрый старый Мафусаил — три звездочки, и давно уснувшие воспоминания, которые пробудила в нем Главная улица игрой предвечернего света...

И вдруг совсем рядом раздался приятный, звучный голос:

— Здорово, Арт!

Вот те на, да это Сид Порник! Облокотился на калитку, ухмыляется во весь рот и дружески протягивает Киппсу руку.

Он был вроде совсем прежний Сид — и какой-то другой. Все то же круглое лицо, усыпанное веснушками, тот же большой рот, короткий нос, квадратный подбородок и все то же сходство с Энн, только нет ее красы; но голос совсем новый — громкий, грубоватый, и над верхней губой жесткие белобрысые усики.

Они пожали друг другу руки.

— А я-то сижу и думаю про тебя,— сказал Киппс.— Сижу и думаю: свидимся ли еще когда... доведется ли? И вдруг ты тут как тут!

— Надо же иной раз понаведаться в родные места,— сказал Сид.— Как поживаешь, старик?

— Лучше некуда,— ответил Киппс.— Я ведь получил...

— Ты не больно изменился,— перебил Сид.

— Да ну?—Киппс даже растерялся.

— Я как вышел из-за угла, сразу признал тебя по

спине. Хоть на тебе и шикарная шляпа. Провалиться мне на этом месте, если это не Арт Киппс, говорю. И впрямь ты.

Киппс повернул было голову, словно хотел проверить, каков он со спины. Потом поглядел на Сида.

— Ишь, какие усы отрастил!—сказал он.

— Ты чего, на побывку, что ли?—спросил Сид.

— Да вроде того. Я еще тут получил...

— Я вот тоже гуляю,— продолжал Сид.— Только я теперь сам себе хозяин. Когда хочу, тогда и гуляю. Свое дело открыл.

— Здесь, в Нью-Ромней?

— Еще чего! Дурак я, что ли! У меня предприятие в Хэммерсмите,— небрежно, будто он вовсе и не раздувался от гордости, пояснил Сид.

— Магазин тканей?

— Еще чего! Я механик. Делаю велосипеды.

Сид похлопал себя по грудному карману и вытащил оттуда пачку розовых рекламных листков. Вручил один листок Киппсу и, не давая времени прочесть, принялся объяснять и тыкать пальцем:

— Вот это наша марка... верней сказать, моя. Красный флажок... вон, гляди. Вот и документ на мое фамилие. С покрышками Пантократа — восемь фунтов... да, а вот, гляди — системы Клинчера — десять, Данлопа — одиннадцать, дамский — на фунт дороже — вот он. За такую дешевую цену лучше машины не сыщешь. Никаких тебе гиней и никаких скидок — дело чистое. Я их делаю на заказ. У меня на счету...— он задумался, глядя в сторону моря,— уже семнадцать штук. Считая еще не выполненные заказы. А сейчас вот приехал пошататься по родным местам,— перебил себя Сид.— Мамаша нет-нет да и пожелает на меня поглядеть.

— А я думал, вас всех и след простыл...

— Это после смерти папаши? Где там! Мамаша вернулась обратно и живет в коттеджах Маггета. Ей морской воздух на пользу. Ей тут нравится, не то, что в Хэммерсмите... ну, а мне это по карману. У ней тут подружки закадычные... Языки чешут... Чайком балуются... Слышь, Киппс, а ты, часом, не женился?

Киппс помотал головой.

— Я вот...— снова начал он.

— А я женатый,— сказал Сид.— Третий год пошел, и малец уже есть. Парень—лучше некуда.

— А я позавчерашний день обручился,—наконец удалось вставить Киппсу.

— Да ну! — беззаботно воскликнул Сид.—Вот и хорошо. Кого осчастливил?

Киппс очень старался говорить небрежным тоном. Он засунул руки в карманы и начал:

— Она адвокатская дочь. Живет в Фолкстоне. Из хорошей семьи. В родстве с графами. С графом Бопре...

— Врешь!—воскликнул Сид.

— Понимаешь, Сид. Мне повезло. Я получил наследство.

Сид невольно скользнул взглядом по костюму Киппса.

— Сколько?

— Тыщу двести в год,—еще небрежнее сказал Киппс.

— Ух ты!— чуть ли не со страхом воскликнул Сид и даже отступил на шаг.

— Это мне дед завещал!— прибавил Киппс, изо всех сил стараясь говорить спокойно и просто.— А я и знать не знал про этого деда. И вдруг — бац! Когда старина Бин—это поверенный его—сказал мне про это, я прямо ошалел.

— Так сколько, говоришь? — резко переспросил Сид.

— Тыщу двести в год... вроде этого.

Сиду потребовалось не больше минуты, чтобы совладать с завистью и изобразить на лице искреннюю радость. С неправдоподобной сердечностью он пожал Киппсу руку и заявил, что ужасно рад.

— Вот это повезло так повезло,— сказал он. И повторил:— Везет же людям!— Его улыбка быстро увяла.— Хорошо, что эти денежки достались не мне, а тебе. Нет, я не завидую, старик. Мне бы их все равно не удержать.

— Это почему же? — спросил Киппс; явная досада Сида огорчила его.

— Видишь, какое дело: я социалист,— ответил Сид.— Богатство я не одобряю. Что есть богатство? Труд, украденный у бедняков. В лучшем случае оно дано тебе на хранение. Я по крайней мере так считаю.

Он призадумался.

— Нынешнее распределение богатств... — начал он и вновь замолчал. Потом заговорил с нескрываемой горечью: — Где ж тут смысл? Все устроено по-дурацки. Кто станет работать да еще думать о пользе общества? Вот работаешь, работаешь какую-никакую работу, а получаешь вроде как шиш, а потом вдруг говорят: можешь сидеть сложа ручки... и платят за это тыщу двести в год. Ведь это разве настоящие законы да порядки? Глупость одна. Какой дурак станет их уважать?

И, переведя дух, повторил:

— Тыща двести в год!

Поглядел на расстроенное лицо Киппса и смягчился.

— Да ты тут ни при чем, старик, это система виновата. Уж лучше пускай тебе досталось, а не кому еще. А, все равно...— Он взялся обеими руками за калитку и повторил:

— Тыща двести в год... Ну и ну! Ай да Киппс! Заважничаешь, небось!

— Нет, — без особой убежденности сказал Киппс.— Еще чего!

— При таких-то деньгах как не заважничать? Ты, гляди, скоро и разговаривать со мной не станешь. Я ведь кто? Как говорится, простой механик.

— Еще чего! — на сей раз убежденно возразил Киппс.— Я не из таких, Сиди.

— Э! — недоверчиво отмахнулся Сид.—Деньги сильней тебя. И потом... ты вон уже заважничал.

— Это как же?

— А девчонка, твоя невеста, это как называется? Мастермен говорит...

— Это кто ж такой?

— Один знакомый, парень первый сорт... снимает у меня комнату на втором этаже. Мастермен говорит, тон всегда жена задает. Всегда. Жене всегда надо лезть вверх: хочется занять положение получше.

— Ну, ты ее не знаешь! — с чувством произнес Киппс.

Сид покачал головой.

— Видали! — сказал он.— Арт Киппс — и вдруг на̀ тебе... тыща двести в год!

Киппс попытался перекинуть мост через эту зияющую пропасть.

— Сид, а помнишь гуронов?
— Спрашиваешь! — откликнулся Сид.
— А помнишь тот разбитый корабль на берегу?
— Да уж вонища была... и сейчас в нос ударяет!
Киппс, захваченный воспоминаниями, глядел на все еще озабоченное лицо Сида.
— Сид, слышь-ка, а Энн как поживает?
— Что ей делается! — сказал Сид.
— Где она сейчас?
— В услужении она... в Ашфорде.
— Вон что!..
Лицо Сида еще больше потемнело.
— Понимаешь, какое дело,— сказал он.— Не больно мы с ней ладим. Не по душе мне, что она живет в прислугах. Конечно, мы люди простые, а все равно мне это не по душе. Почему это моя сестра должна прислуживать чужим людям? Не желаю я этого. Будь у них хоть тыща двести в год.
Киппс попытался направить его мысли по другому руслу.
— А помнишь, мы тут бегали с ней наперегонки и ты сюда заявился?.. Она хоть и девчонка, а неплохо бегала.
И при этих словах он вдруг ясно увидел Энн; он и не ждал, что она встанет перед ним вот так, совсем как живая; и образ ее не потускнел даже через час-другой, когда Киппс вернулся в Фолкстон.
Но никакие воспоминания об Энн не в силах были отвлечь Сида от горьких и ревнивых мыслей, которые породило в нем богатство Киппса.
— И что ты будешь делать с этакими деньжищами? — вслух размышлял он.— Что хорошего ты с ними сделаешь? И вообще можно ли с деньгами сделать что-нибудь путное? Вот бы тебе послушать Мастермена! Он бы тебя надоумил. К примеру, достались бы они мне, что бы я сделал? Государству возвращать их при нынешнем устройстве нечего: добра от этого не будет. Фабрику, что ли, завести бы, как у Оуэна, а прибыли чтоб всем поровну. Или новую социалистическую газету открыть. Нам нужна новая социалистическая газета.
В этих давно взлелеянных идеях он пытался утопить свою досаду...

3

— Мне пора идти к моему автомобилю,— сказал наконец терпеливо слушавший его Киппс.

— Чего?! У тебя автомобиль?

— Нет,— виновато ответил Киппс.— Просто нанял на денек.

— Сколько отдал?

— Пять фунтов.

— Пяти семьям хватило бы на неделю! Тьфу, пропасть! — Сид был возмущен безмерно.

И, однако, не устоял перед искушением — пошел поглядеть, как Киппс садится в автомобиль. Он с удовольствием отметил про себя, что машина не из самых последних моделей, но это было слабое утешение. Киппс судорожно подергал звонок при лавке, чтобы предупредить стариков, что отбывает, и поспешно взобрался в автомобиль. Сид помог ему завернуться в отделанное мехом автомобильное пальто и с интересом осмотрел очки.

— Бывай здоров, старик,— сказал Киппс.

— Бывай здоров,— эхом отозвался Сид.

Дядя и тетя вышли проститься. Киппс-старший весь так и сиял.

— Ей-богу, Арти, мне и самому охота прокатиться!— крикнул он. И вдруг вспомнил: — Да ты же можешь прихватить ее с собой!

Он заковылял в лавку и скоро вернулся с дырявой литографией с гравюры Морленда.

— Береги ее, сынок,— наказывал он.— Отдай в хорошие руки, пускай зачинят. Это штука ценнейшая, ты мне поверь.

Автомобиль взревел, зафыркал, попятился и чихнул, а Киппс-старший беспокойно вертелся на тротуаре, словно ожидая неведомых бедствий, и твердил шоферу: «Все в порядке, сейчас пойдет».

Он помахал своей толстой палкой вслед племяннику и обернулся к Сиду.

— Ну-с, молодой Порник, если бы ты завел себе такое, ты бы уж звонил по всему свету!

— Я еще и не того добьюсь,— буркнул Сид и засунул руки поглубже в карманы.

— Где уж тебе! — с презрением отозвался Киппс-старший.

Автомобиль истошно взвыл и скрылся за углом. Сид долго стоял неподвижно, словно не слышал, что там еще язвил Киппс-старший. В этот час молодой механик понял, что собрать семнадцать велосипедов, считая еще не выполненные заказы, не такая уж большая удача, как ему казалось, а подобные открытия — тяжкое испытание для мужчины...

— А, ладно! — сказал он наконец и зашагал к дому матери.

Она приготовила для него сдобные булочки и обиделась, что сын едва ли замечает их вкус — такой он хмурый и озабоченный. А ведь он сызмальства любил сдобные булочки, и она-то старалась, пекла, а он и не рад даже.

Сид ни словом не обмолвился матери — да и никому другому — о встрече с Киппсом-младшим. Ему пока вовсе не хотелось говорить о Киппсе.

ГЛАВА V

ВЛЮБЛЕННЫЙ УЧЕНИК

1

Когда Киппс задумался обо всем, что произошло в этот день, он впервые начал догадываться, как много несообразностей и помех оказалось на пути его любви. Он ощутил, еще не понимая, как несовместимо с представлениями дяди и тети то, о чем он хотел им сообщить. Он ведь хотел поделиться с ними своей радостью, а промолчал, пожалуй, как раз оттого, что почувствовал: приехав из Фолкстона в Нью-Ромней, он из круга людей, которые считают его помолвку с Элен поступком вполне разумным и естественным, попал к людям, которые отнесутся к этому шагу подозрительно и недоверчиво и иначе отнестись не могут. Думать об этом было очень неприятно, а тут еще и Сид — ведь старый друг, а как сразу переменился, услыхав о богатстве Киппса, как враждебно сказал: «Ты, небось, скоро так заважничаешь, что и разговаривать не захочешь с простым механиком вроде меня!» Для Киппса была горькой неожиданностью прискорбная истина, что путь из низов в верхи общества

усыпан обломками разбитых дружб, и это неизбежно, иначе не может быть. Впервые столкнувшись с этой истиной, он пришел в смятение. А ему скоро предстояли куда более неприятные столкновения с нею — из-за приятелей по магазину и милейшего Читтерлоу.

Со дня прогулки к Лимпнскому замку его отношения с Элен стали другими. Вначале он мечтал о ней, точно верующий о рае, и, как все верующие, не очень понимал предмет своих мечтаний. Но время, когда он униженно прятался в тени алтаря в храме своей богини, осталось позади; сбросив покрывало таинственности, богиня спустилась к нему с высот, завладела им, завладела прочно и безраздельно и пошла с ним рядом. Он ей нравился. Самое поразительное, что она в скором времени трижды поцеловала его и, что забавно,— в лоб (так ей вздумалось), а он не поцеловал ее ни разу. Киппс не умел разобраться в своих ощущениях, он только чувствовал, что весь мир вокруг чудесно изменился; но хоть он попрежнему боготворил ее и трепетал, хоть он безмерно, до смешного гордился своей помолвкой, невесту свою он больше не любил. То неуловимое, чем полна была его душа и что сплетается из тончайших нитей себялюбия, нежности, желания, незаметно исчезло, чтобы уже никогда больше не возвращаться. Но ни Элен, ни сам Киппс и не подозревали об этом.

Она добросовестно взялась за его воспитание. Она учила его правильно говорить, правильно держать себя, правильно одеваться, правильно смотреть на мир. Острой рапирой своего ума она проникала в самые чувствительные местечки его души, в заповедные уголки тайного киппсова тщеславия, и на гордости его оставались кровавые раны.

Он пытался предвидеть хоть часть ее выпадов, всячески используя Филина, и не подставлять себя под удары, но это удавалось далеко не всегда...

Элен находила особую прелесть в простодушной готовности Киппса учиться всему на свете. Да, чем дальше, тем он все больше ей нравился. В ее отношении к нему было что-то материнское. Но его воспитание и окружение были, по ее мнению, просто ужасны. Нью-Ромней едва ли ее заботил: это дело прошлое. Но при инвентаризации — а Элен делала опись душевных качеств и

свойств Киппса так хладнокровно и основательно, точно ей достался не человек, а дом — она обнаружила более поздние влияния: ее поразило, что Киппс по вечерам с увлечением распевает песенки. Какой стыд — петь под банджо! А чего стоят пошлые сентенции, позаимствованные у какого-то Баггинса! «Да кто он, собственно, такой, этот Баггинс?» — спрашивала Элен; а эти неясные, но определенно вульгарные фигуры — Пирс, Каршот и в особенности страшный бич общества — Читтерлоу!

В первый же раз, как Элен и Киппс вышли вместе на улицу, он обрушился на них как снег на голову во всем своем назойливом великолепии.

Они шли по набережной в Сандгейт на школьный спектакль — в последнюю минуту оказалось, что миссис Уолшингем не может их сопровождать,—и тут над новым миром, в котором ныне обитал Киппс, угрожающе навис Читтерлоу. На нем был костюм из полосатой фланели и соломенная шляпа, купленные на аванс, который он получил у Киппса за курс красноречия; руки он глубоко засунул в карманы и поигрывал полами пиджака, и по тому, с каким вниманием он разглядывал прохожих, по улыбке, чуть тронувшей губы, по дерзкому носу, ясно было, что он изучает характеры — для какой-нибудь новой пьесы, надо полагать.

— Эй, там! — воскликнул он, увидев Киппса, и, снимая шляпу, так широко размахнулся своей ручищей, что перепуганная Элен вообразила, будто он фокусник и на ладони у него сейчас окажется монетка.

— Привет, Читтерлоу,— стесненно ответил Киппс, не снимая шляпу.

Читтерлоу замялся было, потом сказал:

— Секундочку, мой мальчик,— и придержал Киппса, упершись рукой ему в грудь.— Прошу прощения, дорогая,— прибавил он, отвешивая Элен изысканнейший поклон (так кланялся в его пьесе русский князь), и одарил ее улыбкой, которая могла бы и за милю поразить женщину в самое сердце.

Он отошел немного с Киппсом, доверительно наклонился к нему — ясно было, что у них свои секреты,— а Элен, ошарашенная, осталась в стороне.

— Я насчет той пьесы,— сказал Читтерлоу.

— Как она? — спросил Киппс, всей кожей ощущая присутствие Элен.

— Дело на мази,— заверил его Читтерлоу.— О пьесе пронюхал синдикат и создает ей рекламу. Похоже, что ею заинтересуются, очень похоже.

— Вот и хорошо,— сказал Киппс.

— Только пока незачем болтать об этом всем и каждому,— сказал Читтерлоу, приложив палец к губам, и выразительно повел бровью в сторону Элен, так что совершенно очевидно было, кто это «все и каждый».— Но, по-моему, дело верное. Да, но что ж это я вас задерживаю? До скорого! Заглянете ко мне?

— Беспременно,— ответил Киппс.

— Сегодня вечерком?

— В восемь.

И, отвесив церемонный поклон, достойный уже не какого-нибудь там князя, а самого наследника русского престола, Читтерлоу удалился. Он бросил быстрый, победительный и вызывающий взгляд на Элен и сразу признал в ней аристократку.

Некоторое время наши влюбленные молчали.

— Это Читтерлоу,— сказал наконец Киппс.

— Он... он ваш друг?

— Вроде того... Видите, какое дело: я на него налетел. Вернее, он на меня налетел. Велосипедом на меня наехал, ну мы и разговорились.

Киппс старательно делал вид, что ничуть не смущен. Элен сбоку испытующе смотрела на него.

— Чем же он занимается?

— Он из артистов. Вернее сказать, пьесы сочиняет.

— И продает их?

— Кое-что.

— Кому же?

— Разным людям. Он паи продает... Тут все почестному, вот ей-ей!.. Я давно собирался вам про него рассказать.

Элен обернулась, чтобы взглянуть на удаляющуюся спину Читтерлоу. Нет, эта спина не внушала ей особого доверия.

И спокойно, властно, тоном, не допускающим возражений, она сказала жениху:

— Расскажите мне об этом Читтерлоу. Сейчас же, не откладывая.

И Киппс принялся объяснять...

Когда они наконец подошли к школе, Киппс вздохнул с облегчением. В суетне и толкотне при входе он мог на время забыть о своих титанических, но безнадежных попытках объяснить, что̀ же его связывает с Читтерлоу, а во время антрактов он тоже изо всех сил старался не помнить об этом. Однако на обратном пути Элен мягко, но настойчиво возобновила свои расспросы.

А попробуйте объяснить, что за человек Читтерлоу. Вы даже и не представляете, каково это!

Но Элен упорно допытывалась, что же все-таки связывает Киппса с Читтерлоу, допытывалась чуть ли не с материнской тревогой и в то же время с неумолимой твердостью классной дамы. Вскоре уши Киппса пылали огнем.

— А вы видели хоть одну его пьесу?

— Он мне одну рассказывал.

— А на сцене видели?

— Нет. Их еще не представляют. Но беспременно будут представлять.

— Обещайте мне,— сказала в заключение Элен,— что вы ничего не предпримете, не посоветовавшись со мной.

И Киппс, конечно же, горячо обещал.

Некоторое время они шли молча.

— Надо быть разборчивее в своих знакомствах,— подытожила Элен.

— А ведь без него я, может, и не узнал бы про наследство.

И Киппс путано и смущенно поведал Элен историю с объявлением.

— Мне не хотелось бы так сразу взять и раззнакомиться,— прибавил он.

—Мы переедем в Лондон,— помолчав, неожиданно ответила Элен.—Так что все это ненадолго.

То были ее первые слова об их совместном будущем.

— Снимем славную квартирку где-нибудь в западной части Лондона, не слишком далеко от центра, и там у нас будет свой круг знакомых.

2

Весь конец лета Киппс оставался воспитанником-влюбленным. Он не скрывал, что стремится к самоусовершенствованию, напротив, Элен даже пришлось намекнуть ему разок-другой, что его скромность и откровенность чрезмерны, а все новые знакомые Киппса каждый на свой лад старались облегчить задачу Элен и помочь Киппсу обрести непринужденность, освоиться в том более цивилизованном обществе, куда он теперь стал вхож. Главным учителем-наставником по-прежнему оставался Филин — на свете столько всяких мелочей, о которых мужчине гораздо легче справиться у мужчины, нежели у любимой женщины,— но и Филин и все прочие добровольные помощники были уже, так сказать, сверх штата. Даже девушка с веснушками сказала Киппсу однажды, мило улыбаясь: «Надо говорить не так, как пишется: не «антре нус», а «антр ну» [1],— а ведь он позаимствовал это выражение из «Правил хорошего тона».

Придравшись к случаю, она попыталась дать ему урок правильного произношения и долго толковала о разных хитроумных тонкостях грамматики, так что он окончательно запутался.

...Мисс Филин занялась художественным образованием Киппса. Она чуть не с первой встречи решила, что он обладает незаурядным художественным чутьем; его суждения о ее собственных работах показались ей на редкость разумными, и всякий раз, как он навещал Филинов, она непременно показывала ему какое-либо произведение искусства: то иллюстрированное издание, то цветную репродукцию Ботичелли, то Сто лучших картин, то «Академическую школу», то немецкий справочник по искусству, то какой-либо журнал с рисунками и чертежами мебели.

— Я знаю, вы любитель таких вещей,— говорила она.

— Оно конечно,— отвечал Киппс.

Вскоре у него образовался кое-какой запас хвалебных присловий. Когда Уолшингемы взяли его с собой на выставку Искусств и Ремесел, он вел себя безупречно.

---

[1] Entre nous *(франц.)*—между нами. Девушка объясняет Киппсу, что эти слова произносятся по-французски не так, как пишутся.

Сперва осторожно помалкивал, потом вдруг остановился у какой-то цветной репродукции.

— Очень миленькая штучка,— сказал он миссис Уолшингем.— Вон та, поменьше.

Он всегда предпочитал высказывать подобные суждения не дочери, а матери; к Элен он обращался, лишь когда был совершенно в себе уверен.

Миссис Уолшингем нравилась Киппсу. Его подкупали ее несомненные такт и утонченность; она казалась ему воплощением истинного аристократизма. В этом его убеждала педантичная тщательность ее туалета, не допускавшая ни малейшей небрежности, и даже то, что ее лицо, волосы, манера держаться, проявления чувств—все словно тронуто было увяданием. Киппс был невелик ростом и никогда не чувствовал себя крупным мужчиной, но рядом с миссис Уолшингем ощущал себя огромным и неуклюжим, точно землекоп или дровосек, который еще и отравился каким-то непонятным ядом и раздувается прямо на глазах — вот-вот лопнет! И ему все чудилось, будто он вывалялся в глине и волосы у него слиплись от смолы. И голос-то у него скрипучий и резкий, и говорит-то он бестолково, неправильно и нескладно — ни дать ни взять ворона каркает. От всего этого он еще сильнее уважал и почитал будущую тещу. И рука ее, которая частенько мимоходом касалась его руки, была такая прохладная и такой удивительно красивой формы. И с самого начала она называла его просто «Артур».

Она не столько учила и наставляла его, сколько тактично им руководила и служила ему образцом, не столько поучала, сколько приводила полезные примеры для подражания. Обычно она говорила: «Мне нравится, когда человек поступает так-то и так-то!» и рассказывала ему истории о том, как люди бывают любезны и милы, изящно предупредительны, совершают истинно джентльменские поступки; она делилась с ним наблюдениями над каким-нибудь соседом по омнибусу или поезду; вот, к примеру, человек по ее просьбе передал деньги кондуктору. «Совсем простой на вид,— говорила миссис Уолшингем,— а снял шляпу». С ее легкой руки Киппс так прочно усвоил привычку снимать шляпу в присутствии дам, что обнажал голову даже в железнодорожной кассе, завидев особу женского пола, и

так и стоял, церемонно держа шляпу в руке, но приходилось все-таки получать сдачу, и тогда, хоть на время, виновато и сконфуженно он снова нахлобучивал злополучный головной убор. Миссис Уолшингем так искусно преподносила эти свои притчи, словно в них не таилось для Киппса никаких намеков, и щедро пересыпала их рассказами о своих детях — своих двух сокровищах. Она говорила об их дарованиях и характерах, о том, к чему они стремятся и как они нуждаются в широких возможностях. Широкие возможности нужны им как воздух, опять и опять повторяла она.

Киппс всегда предполагал, да и она, казалось, предполагала, что она поселится с ними в Лондоне, в квартирке, которую облюбует Элен, но однажды он с удивлением узнал, что ошибается.

— Это не годится,— решительно заявила Элен.— Мы должны завести свой собственный круг знакомств.

— Но ведь вашей матушке, верно, будет скучно одной,— сказал Киппс.

— Тут у нее масса знакомых: миссис Преббл, миссис Биндон Боттинг, и Уэйсы, и еще много народу.

Иными словами, Элен желала поселиться отдельно от матери...

Роль молодого Уолшингема в воспитании и образовании Киппса была не столь значительна. Зато когда они приехали в Лондон, на выставку Искусств и Ремесел, он затмил всех. Этот подающий надежды молодой делец обучил Киппса, в каких еженедельниках больше пишут о театре — за это их и стоит покупать для чтения в пригородных поездах,— как, где и какие покупать сигареты с золотым обрезом и сигары по шиллингу штука, обучил заказывать рейнвейн ко второму завтраку и искрящееся мозельское к обеду, научил рассчитываться с извозчиком: пенни за каждую минуту езды, научил делать понимающее лицо, когда проглядываешь счет в гостинице, и молчать в поезде с глубокомысленным видом, а не выкладывать первому встречному всю свою подноготную. И он тоже порой предвкушал, какое славное время настанет, когда они наконец переселятся в Лондон.

Эта перспектива все больше завладевала их воображением и обрастала подробностями. Элен теперь почти

ни о чем другом не говорила. В разговорах с Киппсом она никогда не опускалась до пошлых изъявлений чувств; говорить о чувствах оба стеснялись; но строить планы предстоящей жизни в Лондоне Киппсу было много увлекательнее и гораздо приятнее, чем выслушивать обстоятельный разбор своих промахов, что поначалу очень мешало ему наслаждаться обществом невесты. Из довольно откровенных разговоров Уолшингемов будущее вставало как завоевание мира «сокровищами» миссис Уолшингем, а Киппсу отводилась роль обоза и интендантства, без которых ведь армии завоевателей тоже не обойтись. Считалось, что пока «братик» не начнет преуспевать, они, разумеется, будут еще очень-очень бедствовать. (Это безмерно удивляло Киппса, но он не возражал.) Однако если они будут разумны и если повезет, они добьются многого.

Стоило Элен заговорить о Лондоне, и взгляд у нее становился задумчивый и мечтательный, словно ей виделся далекий-далекий край. Собственно, у них уже наметилось ядро будущего кружка. Братик стал членом «Театральных судий», — небольшого, но влиятельного и первоклассного клуба журналистов и иных литераторов, и он знаком с Шаймером, Старгейтом и Уифлом из «Красного дракона», и к тому же в Лондоне живут Ривелы. С Ривелами они на короткой ноге. До того, как Сидней Ривел стремительно выдвинулся и стал автором остроумных эссе, доступных пониманию лишь избранного круга читателей, он был помощником директора одной из лучших фолкстонских школ. Братик несколько раз приводил его домой к чаю, и не кто другой, как Ривел, посоветовал Элен попробовать свое перо.

— Это очень легко,— сказал он.

Он уже тогда пописывал для вечерних газет и еженедельников. Потом он уехал в Лондон — и как же ему было не стать театральным критиком! Он напечатал несколько блестящих эссе, а потом роман «Бьются алые сердца», который и принес ему известность. Роман повествовал о захватывающе смелом приключении, о юности, красоте, наивной страсти, великодушной преданности, был подчас дерзким и откровенным (так отзывался о нем «Книгопродавец»), но отнюдь не натуралистичным. Ривел познакомился с одной американкой-вдовой, и

притом богатой, и они заняли весьма видное место в лондонских кругах, причастных к искусству и литературе. Элен часто заговаривала о Ривелах; это был один из ее любимых рассказов, и, говоря о Сиднее — а она нередко именно так его и называла,— она становилась задумчива. Она говорила главным образом о Сиднее, и это естественно, ибо с миссис Ривел ей еще только предстояло познакомиться... Да, они очень скоро войдут в круг избранных, даже если отдаленное родство с семейством Бопре и немногого стоит.

Из ее речей Киппс понял, что в связи с женитьбой и переездом в Лондон ему придется несколько изменить фамилию — как в самом начале предлагал Филин. Они станут Квипсами: мистер и миссис Квипс — это звучит куда изысканнее. Или, может, Квип?

— Ух, и чудно будет спервоначалу!— сказал Киппс.— Но ничего, приобыкну...

Итак, все по мере сил старались обогатить, усовершенствовать и развить ум Киппса. И за всем этим строго и придирчиво наблюдал ближайший друг Киппса и своего рода церемониймейстер — Филин. Вообразите: вот он, слегка пыхтя от озабоченности, серыми глазами, выпуклыми и холодноватыми, но добрыми, следит за каждым шагом нашего героя. По его мнению, все идет как нельзя лучше. Он тщательно изучал характер Киппса. Он готов обсуждать его со своей сестрой, с миссис Уолшингем, с девушкой в веснушках, с каждым, кому не надоело слушать.

— Интереснейший характер,— говорил он,— очень привлекательный... прирожденный джентльмен. Очень восприимчив, уроки не проходят для него даром. Он совершенствуется прямо на глазах. Он скоро обретет sang froid[1]. Мы взялись за него как раз вовремя. Теперь... ну, может быть, на будущий год... ему надо прослушать курс хороших популярных лекций по литературе. Ему очень полезно заняться чем-нибудь в этом роде.

— Сейчас он увлекается велосипедом,— сказала миссис Уолшингем.

— Ну что ж, летом и это неплохо,— сказал Филин,— но ему недостает серьезного умственного занятия, чего-

---

[1] Хладнокровие, самообладание (*франц.*).

то такого, что поможет ему избавиться от застенчивости. Savoir faire и непринужденность — вот главное, научишься этому — обретешь и sang froid.

3

Мир Филина был все тот же, немного подправленный, подчищенный и расширенный мир, в котором обитал Киппс,— сперва у четы нью-ромнейских стариков, потом в магазине; то был, в сущности, мир заурядного английского обывателя. Здесь так же остро было развито чувство общественных различий, в силу которого миссис Киппс запрещала племяннику дружить с детьми «из простых», и так же сильна была боязнь всего, что может показаться «простонародным»,— боязнь, благодаря которой процветало шикарное заведение мистера Шелфорда. Но теперь Киппса уже не тревожили неприятные сомнения о его собственном месте в мире: наравне с Филином он прочно вошел в круг джентльменов. Здесь тоже существуют свои различия, но все это люди одного сословия; тут есть и вельможи и утонченные, но скромные джентльмены вроде Филина, которые даже вынуждены трудиться ради хлеба насущного; но только они, конечно, служат не за прилавком, а на каком-нибудь более благородном поприще; тут есть лорды и магнаты, а есть и небогатые дворяне, которым не так-то легко сводить концы с концами, но они могут бывать друг у друга, у них у всех отменные манеры; иными словами, это — государство в государстве, свет, высшее общество.

— Так ведь у нас тут нет высшего общества?

— Ну почему же,— возразил Филин.— У нас, конечно, светской публики немного, но все-таки есть свое местное общество. И законы и правила здесь те же самые.

— Как являться с визитами и все такое?

— Совершенно верно,— ответил Филин.

Киппс задумался, засвистал было и вдруг заговорил о том, что не давало ему покоя:

— Я вот никак не пойму, надо мне переодеваться к обеду, когда я один, или не надо?

Филин вытянул губы и задумался.

— Не полный парад,— вынес он наконец приговор.— Это было бы уж чересчур. Просто следует переменить костюм. Надеть, скажем, сюртук, ну, или что-нибудь в этом роде, но только проще, чем при гостях. Во всяком случае, если бы я не был вечно занят и не нуждался бы, я бы поступал именно так.

Он скромно кашлянул и пригладил волосы на затылке.

После этого разговора счет киппсовой прачки вырос в четыре раза, и время от времени наш герой появлялся у эстрады, где играл оркестр, в расстегнутом светлом пальто, чтобы все видели его отличный белый галстук. Они с Филином курили сигареты с золотым обрезом — «самый шик», по словам молодого Уолшингема,— и наслаждались музыкой.

— Это... пф... миленькая штучка,— говорил Киппс. Или просто: — Очень мило.

При первых же внушительных звуках государственного гимна они поднимались и, обнажив головы, почтительно застывали. Обвиняйте их в чем угодно, но, уж во всяком случае, они верные подданные Его величества.

Филин и Киппс стояли очень близко к границе, отделявшей избранное общество от простых смертных, и, естественно, джентльмену в таком положении прежде всего надлежит остерегаться, чтобы не завести недостойных знакомств, держать на подобающем расстоянии тех, кто стоит ступенькой ниже его на общественной лестнице.

— Вот это мне страх как тяжело,— говорил Киппс.

Ему приходилось овладевать искусством соблюдать «расстояние» и отучать от панибратства, отваживать самонадеянных невеж и старых друзей. Да, соглашался Филин, это нелегко.

— Уж больно мы долго в одном котле варились,— сказал Киппс.— Вот в чем вся загвоздка.

— Можно им намекнуть,— посоветовал Филин.

— А как?

— Ну, какой-нибудь случай подвернется.

Случай представился в один из дней, когда магазин закрывался пораньше. Киппс восседал в парусиновом кресле неподалеку от раковины оркестра в летнем пальто нараспашку и в новом надвинутом на лоб складном цилиндре и поджидал Филина. Они собирались часок

послушать оркестр, а потом помочь мисс Филин и девушке с веснушками разучивать бетховенские дуэты (если окажется, что они хоть что-либо помнят). Киппс удобно откинулся в кресле и, как всегда в такие вечера, предавался любимому своему занятию — воображал, что все вокруг заинтересованы его особой и гадают, кто он такой; и вдруг кто-то бесцеремонно хлопнул по спинке кресла, и над ухом Киппса раздался знакомый голос Пирса.

— Недурно быть джентльменом, как я погляжу, — сказал Пирс и поставил рядом с Киппсом грошовый складной стульчик, а с другой стороны появился приятно улыбающийся Баггинс и оперся на свою палку. И — о ужас! — он курил вульгарную вересковую трубку!

Две самые настоящие леди, одетые по последней моде, которые сидели совсем рядом с Киппсом, мельком взглянули на Пирса, отвернулись и, уж будьте уверены, потеряли к Киппсу всякий интерес.

— А он живет не тужит,— изрек Баггинс; он вынул трубку изо рта и с любопытством разглядывал Киппса.

— А, Баггинс! — не слишком приветливо отозвался Киппс.— Как живешь-можешь?

— Да ничего. На той неделе в отпуск. Гляди, Киппс, я еще закачусь в эту самую Европу пораньше твоего!

— Нацелился на Булонь?

— А как же! Парлей вус франсе. Будь спокоен.

— Я тоже на днях туда скатаю,— сказал Киппс.

Наступило молчание. Прижав ко рту ручку трости, Пирс раздумчиво смотрел на Киппса. Потом бегло оглядел тех, кто сидел поближе.

— Слышь, Киппс,— громко и отчетливо сказал он,— ты давно видал ее милость?

Уж, наверно, вопрос этот произвел впечатление на публику, но Киппс ответил не очень охотно.

— Давно.

— Она позавчерашний день была у сэра Уильяма,— все так же громко и ясно продолжал Пирс,— и велела тебе кланяться.

Киппсу показалось, что по лицу одной из его соседок скользнула улыбка, она что-то сказала второй даме, и они обе мельком взглянули на Пирса. Киппс покраснел до ушей.

— Вон как? — спросил он.

Баггинс добродушно рассмеялся, не вынимая трубку изо рта.

— Сэра Уильяма допекла подагра,— не смущаясь, продолжал Пирс.

(Баггинс молча покуривал, сразу видно — доволен!)

И тут в нескольких шагах Киппс увидел Филина.

Филин подошел и довольно холодно кивнул Пирсу.

— Надеюсь, я вас не заставил долго ждать, Киппс,— сказал он.

— Я занял для вас кресло,— сказал Киппс и снял ногу с перекладины.

— Но вы, я вижу, с друзьями.

— Ну и что ж,— радушно вмешался Пирс,— чем больше народу, тем веселей.—И прибавил, обращаясь к Баггинсу: — А ты чего не берешь стул?

Баггинс мотнул головой: пошли, мол,— а Филин деликатно кашлянул, прикрыв рот ладонью.

— Что, хозяин задержал? — спросил Пирс.

Филин весь побелел и сделал вид, что не слышит. Он стал шарить глазами по рядам, увидал наконец какого-то случайного знакомого и торопливо приподнял шляпу.

Пирс тоже слегка побледнел.

— Это ведь мистер Филин?—понизив голос, спросил он Киппса.

И тут Филин заговорил, обращаясь исключительно к Киппсу. Он был холоден и напряженно спокоен.

— Я запоздал,— сказал он.— Мне кажется, нам не следует терять ни минуты.

Киппс тотчас поднялся.

— Ладно, идемте,— сказал он.

— Вам в какую сторону? — спросил Пирс, тоже вставая и отряхивая с рукава пепел.

У Филина даже дух захватило.

— Благодарю вас,— молвил он наконец. Чуть запнулся и нанес неизбежный удар:—Мы, видите ли, не нуждаемся в вашем обществе.

Он круто повернулся и пошел прочь. Киппс, спотыкаясь о кресла и стулья, поспешил за ним; через минуту они уже выбрались из толпы.

Некоторое время Филин молчал, потом с несвойственной ему резкостью сердито бросил:

— Какая потрясающая наглость!

Киппс промолчал.

Этот случай был прекрасным наглядным уроком искусства соблюдать «расстояние», и он надолго врезался в память Киппса. Перед глазами его стояло лицо Пирса — и удивленное и вместе гневное. Словно он, Киппс, дал Пирсу пощечину, заведомо зная, что тот сейчас не сможет ответить тем же. Бетховенские дуэты он слушал довольно рассеянно и после одного из них даже забыл воскликнуть, что это очень мило.

4

Но не воображайте, пожалуйста, будто идеального джентльмена, в понимании Филина, создает лишь умение себя держать и избегать дурного общества, то есть быть осторожным в выборе знакомых и друзей. У истого джентльмена есть и более серьезные достоинства. Но они не бросаются в глаза. Истый джентльмен не выставляет напоказ свои чувства. Так, например, он глубоко религиозен, подобно самому Филину, подобно миссис Уолшингем, но вне стен храма они этого не показывают, разве что изредка это можно угадать в каком-то особом молчании, сосредоточенном взгляде, в неожиданно уклончивом ответе. Киппс тоже очень скоро постиг искусство молчания, сосредоточенного взгляда, уклончивого ответа—все то, что свидетельствует о тонкой, впечатлительной и глубоко верующей натуре.

Истый джентльмен к тому же еще и патриот. Когда видишь, как при первых же звуках национального гимна Филин обнажает голову, начинаешь понимать, сколь глубокие патриотические чувства могут таиться за бесстрастным видом и поведением джентльмена. А как грозно звучат в его устах стихи против врагов Мидийских, когда он присоединяется к хору в церкви св. Стилитса,—в эти минуты постигаешь всю глубину его духовного «я».

Христианин, ты слышишь?
Видишь ли их во мгле?
Рыщут мидийские орды
По священной земле.
Воспрянь и врагов поверни...

Но все это можно подметить лишь случайно, изредка. Ибо о религии, нации, страсти, финансах, политике, а еще того более, о таких важнейших предметах, как рождение и смерть, истый джентльмен предпочитает молчать, в этом он непреклонен, он умолкает на полуслове и только отдувается.

— О подобных вещах не говорят,— объяснял Филин и отстраняющим жестом поднимал узловатую руку.

— Оно конечно,— со столь же многозначительным видом откликнулся Киппс.

Джентльмен всегда поймет джентльмена.

О подобных вещах молчат, зато в поступках надо быть крайне щепетильным. Поступки говорят сами за себя. И хотя Уолшингемов никак нельзя было назвать ревностными прихожанами, Киппс, который еще так недавно слушал воскресную службу каждый раз в новой церкви, теперь обзавелся собственным местом в церкви св. Стилитса и, как полагается, за него платил. Тут его всегда можно найти во время вечерней службы, а иногда и по утрам; одет он скромно и тщательно и не сводит глаз со стоящего у алтаря Филина. Теперь он без труда отыскивает нужное место в молитвеннике. Вскоре после конфирмации, когда его названая сестра — молодая девица из пошивочной мастерской — покинула магазин, он охладел было к религии, но теперь вновь ходит к причастию, а когда служба кончается, нередко поджидает Филина у церкви. Однажды вечером Филин представил его достопочтенному и преподобному Десмору, тому самому, о котором упоминал, когда впервые зашел к Киппсу. Киппс так смешался, что не мог вымолвить ни слова, и святому отцу тоже нечего было сказать, но, как бы то ни было, знакомство состоялось.

Нет! Не воображайте, пожалуйста, что истинному джентльмену несвойственно серьезное отношение к некоторым сторонам жизни,—есть вещи, в которых он и суров и непримирим. Трудно, разумеется, вообразить Филина, показывающего чудеса храбрости на поле брани, но и в мирной жизни иной раз приходится быть суровым и неумолимым. Даже самая добрая душа не может не признать, что есть на свете люди, которые совершают неблаговидные поступки, ужасные поступки;

люди, которые самыми разными способами ставят себя «вне общества»; более того, есть люди, которым на роду написано оказаться вне общества; и чтобы уберечь своих Филинов от подобных людей, общество изобрело жестокую защиту: оно их не замечает. Не думайте, что от этого можно отмахнуться. Это — своего рода отлучение. Вас может не замечать какой-то один человек или круг лиц, а может не замечать и ваш родной край — тогда это уже трагедия, недаром этому посвящены великолепные романы. Представьте себе Филина, исполняющего этот последний долг. Прямой, бледный, он проходит мимо, глядя на вас, как на пустое место, серо-голубые глаза смотрят безжалостно, нижняя челюсть чуть выдвинута, губы поджаты, лицо холодное, непроницаемое...

Киппсу и в голову не приходило, что настанет день, когда он столкнется с этим ужасным ликом, когда для Филина он будет все равно, что мертвец, да, да, как наполовину разложившийся труп, и при встрече Филин поглядит сквозь него и пройдет мимо, не замечая, и он будет предан анафеме и станет отверженным на веки вечные. Нет, ни Киппсу, ни Филину это и в голову не приходило.

А между тем этого не миновать!

Вы, конечно, уже понимаете, что великолепный взлет Киппса неминуемо кончится падением. До сих пор вы видели его восхождение. Вы видели, как день ото дня он вел себя изысканнее и обходительнее, все тщательней одевался, все более непринужденно чувствовал себя в новом окружении. Вы видели, как ширилась пропасть между ним и его прежними приятелями. И, наконец, я показал вам его, безупречно одетого, исполненного благочестия, на его собственном месте — собственном! — среди свечей и песнопений в одном из самых аристократических храмов Фолкстона... До сих пор я старался не касаться, даже слегка, трагических струн, которые неминуемо зазвучат отныне в моем повествовании, ибо прежние недостойные связи были точно сети, раскинутые у самых его ног, а иные нити проникли в самую ткань его существа...

ГЛАВА VI

РАЗЛАД

1

В один прекрасный день Киппс взобрался на свой велосипед, на котором совсем недавно научился ездить, и покатил в Нью-Ромней, чтобы решительно и бесповоротно объявить старикам о своей помолвке. Он был уже законченный велосипедист, правда, еще недостаточно опытный; на вересковых равнинах ехать навстречу юго-западному ветру, даже летом, когда он не так свиреп, все равно, что взбираться на довольно крутую гору, и время от времени Киппс слезал с велосипеда и, чтобы передохнуть, шел немного пешком. Перед самым Нью-Ромней, готовясь к триумфальному въезду в город (он покажет, на что способен,— будет править лишь одной рукой), он решил еще немного пройти пешком, и вдруг откуда ни возьмись—Энн Порник.

И, представьте, как раз в эту минуту он о ней думал. Удивительные мысли бродили у него в голове: может быть, здесь, на вересковой равнине, в Нью-Ромней, какой-то иной дух, что-то здесь есть неощутимое, чего недостает там, за холмом, в большом и светском Фолкстоне. Здесь все так знакомо и близко, так по-домашнему. Вот калитка старика Клиффердауна подвязана новой веревкой. А в Фолкстоне—да появись там хоть сотня новых домов—он и то не заметит, ему это все равно. Как-то даже чудно́. Тысяча двести в год—чего уж лучше; и очень приятно разъезжать в трамваях и омнибусах и думать, что из всех пассажиров ты самый богатый; очень приятно покупать и заказывать все, что душе угодно, и не работать, и быть женихом девушки, которая состоит в родстве, хоть и отдаленном, с самим графом Бопре; но в прежние времена, бывало, как радуешься, когда уедешь на вакации, или в отпуск, или просто на дворе вовсю светит солнце, или можно побегать по берегу моря, пройтись по Главной улице, а теперь ничего такого уже не чувствуешь. Какими счастливыми были яркие, сияющие окна—школьные вакации, когда он вспоминал их в дни ученичества в магазине. Чудно́, ей-богу: стал бо-

гат, чего-чего не достиг, а те далекие дни и сейчас кажутся воистину счастливыми!

Теперь былые радости ушли безвозвратно — может, все дело в этом? Что-то случилось с миром: будто погасили лампу — и уж никогда не будет светло, как прежде. Он ведь и сам переменился, и Сид переменился, да еще как. Энн тоже, верно, переменилась.

А какая она была, когда они бежали наперегонки, а потом стояли у калитки... волосы растрепались, щеки горят...

Да, она наверняка переменилась, и уж, конечно, не стало той колдовской прелести, которой дышал каждый ее волосок, каждая складочка ее короткого платьишка. И только он успел про это подумать —а может, еще даже и не подумал, а только по своему обыкновению кое-как, ощупью пробирался в этих мыслях, как в лесу, путаясь и спотыкаясь,— он поднял голову, а Энн — вот она!

Она стала на семь лет старше и сильно изменилась, но в ту минуту ему показалось, что она совсем такая, как прежде.

— Энн! — выдохнул он.

И она радостно откликнулась:

— Господи, Арт Киппс!

И тут он заметил, что она стала другая — лучше. Она, как и обещала, стала очень хорошенькая, глаза все такие же темно-синие и так же мгновенно вспыхивают румянцем щеки; но теперь Киппс стал выше ее ростом. На ней было простое серенькое платье, облегавшее ее стройную, крепко сбитую фигурку, и воскресная шляпка с розовыми цветочками. От нее исходило тепло, нежность, радушие. Лицо ее так и сияло навстречу Киппсу, сразу видно — обрадовалась.

— Господи, Арт Киппс! — воскликнула она.

— Он самый,— ответил Киппс.

— В отпуск приехал?

И тут Киппса осенило: значит, Сид не рассказал ей про наследство. После той встречи он много и горько раздумывал над тем, как вел себя Сид, и понял, что сам во всем виноват: слишком тогда расхвастался... но уж на этот раз он не повторит ту ошибку. (И он совершил другую, прямо противоположную.)

— Да, отдыхаю малость,— ответил он.

— И я тоже,—сказала Энн.

— Погулять вышла? — спросил Киппс.

Энн показала ему букет скромных придорожных цветов.

— Давно мы с тобой не виделись, Энн. Сколько ж это лет прошло? Семь... нет, скоро уж все восемь.

— Чего ж теперь считать,— сказала Энн.

— Прямо не верится! — с некоторым волнением сказал Киппс.

— А у тебя усики,— сказала Энн; она нюхала свой букет и не без восхищения поглядывала поверх него на Киппса.

Киппс покраснел.

Но вот они дошли до развилки.

— Мне сюда,— сказала Энн.— Я к мамаше.

— Я тебя малость провожу, ладно?

Едва попав в Нью-Ромней, он начисто забыл о сословных различиях, которые играли такую важную роль в его фолкстонской жизни, и ему казалось вполне позволительным прогуливаться в обществе Энн, хоть она и была всего лишь служанка. Они болтали с завидной непринужденностью и незаметно перешли к общим и дорогим для обоих воспоминаниям. Скоро, однако, Киппс с изумлением понял, куда завела их эта беседа...

— А помнишь половинку шестипенсовика? Ну, который мы разрезали?

— Да, а что?

— Она все у меня.—Энн запнулась было, потом продолжала: —Чудно̀, правда? — И прибавила: — Арти, а твоя половинка у тебя?

— Где ж ей быть,— ответил Киппс.— А ты как думала? —И в глубине души подивился, отчего это он так давно не глядел на эту монетку.

Энн открыто ему улыбнулась.

— Я и думать не думала, что ты ее сберег,— сказала она.— Я сколько раз себе говорила: и чего ее хранить, все это одни глупости. И потом,— вслух размышляла она,— все равно ж это ничего не значит.

Она подняла глаза на Киппса, и взгляды их встретились.

— Ну, почему ж,— чуть запоздало возразил Киппс и сразу понял, что, говоря такие слова, предает Элен.

— Во всяком случае, это не очень много значит,— сказала Энн.— Ты все в магазине?

— Я живу в Фолкстоне,— начал Киппс и тут же решил ни о чем больше не распространяться.— А разве Сид не говорил тебе, как мы с ним повстречались?

— Нет. В Нью-Ромней?

— Ага. Совсем недавно. С неделю назад, даже больше.

— А я приехала — недели нет.

— А-а, понятно,— сказал Киппс.

— Сид у нас выбился в люди, — сказала Энн. — Слышь, Арти, у него своя мастерская.

— Он мне говорил.

Они уже почти дошли до маггетовых коттеджей, где жила теперь миссис Порник.

— Ты домой? — спросил Киппс.

— Наверно,— ответила Энн.

И оба замолчали. Энн решилась первая.

— Ты часто приезжаешь в Нью-Ромней? — спросила она.

— Да все ж таки навещаю своих,— ответил Киппс.

И опять они замолчали. Энн протянула руку.

— Я рада, что повстречала тебя,— сказала она.

Необычайное волнение всколыхнуло все его существо.

— Энн,— сказал он и умолк.

— Ну? — отозвалась она и вся так и просияла.

Они поглядели друг на друга.

Все чувства, какие он питал к ней в отрочестве, и еще другие, каких он прежде не знал, разом нахлынули на него. Одним своим присутствием она мгновенно заставила его забыть все, что их разделяло. Ему нужна Энн, только Энн, еще нужнее, чем прежде. Она стояла перед ним, ее нежные губы были чуть приоткрыты (казалось, он даже ощущал ее дыхание), и в глазах, обращенных к нему, светилась радость.

— Я страх как рад, что тебя повстречал,—сказал Киппс.— Сразу вспомнились прежние времена.

— Правда?

И опять молчание. Хорошо бы вот так говорить с ней, говорить долго-долго или пойти погулять, что ли, только бы стать поближе к ней, хоть как-нибудь, а самое главное — глядеть и глядеть ей в глаза, в которых

светится неприкрытое восхищение... но тень Фолкстона еще маячила над Киппсом и подсказывала, что все это ему не пристало.

— Ну, ладно,— сказал он,— мне пора.

Он нехотя повернулся и заставил себя пойти прочь...

На углу он обернулся: Энн все еще стояла у калитки. Она, верно, огорчилась, что он так вдруг ушел. Ясно, огорчилась. Он приостановился, полуобернулся к ней, постоял и вдруг, сорвав с головы шляпу, изо всех сил замахал ею. Ай да шляпа! Замечательное изобретение нашей цивилизации!..

А через несколько минут он уже беседовал с дядей на привычные темы, но только был при этом непривычно рассеян.

Дядя жаждал купить для Киппса несколько штук кабинетных часов, с тем чтобы впоследствии их продать,— прекрасный способ поместить деньги без риска! Кроме того, в одной лавке в Лидде он присмотрел два недурных глобуса, один земной, а другой небесный: они послужат прекрасным украшением гостиной, и ценность их со временем, безусловно, возрастет... Потом Киппс так и не мог вспомнить, дал ли он согласие на эти покупки.

На обратном пути юго-западный ветер ему, видно, помогал, во всяком случае, он даже и не заметил, как миновал Димчерч. И вот он уже подъезжает к Хайту — тут Киппсом овладело странное чувство. Холмы, что вздымались слева от него, и деревья, что росли справа, будто сошлись совсем близко, надвинулись на него, и ему осталась лишь прямая и узкая дорожка впереди. Киппс не мог обернуться назад: еще свалишься с этой предательской, покуда плохо прирученной машины,—но он знал, твердо знал, что позади расстилается, сияя под лучами предвечернего солнца, бескрайняя ширь Вересковой равнины. И это почему-то влияет на ход его мыслей. Но, проезжая через Хайт, он уже думал, что в жизни джентльмена мало может быть общего с жизнью Энн Порник—они принадлежат к разным мирам.

А у Сибрука стал подумывать, что, пожалуй, гуляя с Энн, унизил свое достоинство... Ведь как-никак она простая прислуга.

Энн!

Она пробудила в нем самые неджентльменские инстинкты. Во время разговора с ней была даже минута, когда он совершенно отчетливо подумал, как, наверно, приятно поцеловать ее прямо в губы... Что-то в ней было такое, от чего быстрей колотилось сердце — по крайней мере его сердце. И после этой встречи ему казалось, что за долгие годы разлуки она каким-то образом стала гораздо ближе и теперь принадлежит ему, и он уже не представлял, как сможет обойтись без нее.

Надо же столько лет хранить половинку шестипенсовика!

Это ли не лестно! Такого с Киппсом никогда еще не случалось.

2

В тот же вечер, листая «Искусство беседы», Киппс поймал себя на странных мыслях. Он встал, походил по комнате, застыл было у окна, однако скоро встряхнулся и, чтобы немножко рассеяться, открыл «Сезам и лилии». Но и на этой книге не сумел сосредоточиться. Он откинулся в кресле. Мечтательно улыбнулся, потом вздохнул. А немного погодя встал, вытащил из кармана ключи, поглядел на них и отправился наверх. Он открыл желтый сундучок, главную свою сокровищницу, вытащил из него маленькую, самую скромную на свете шкатулку и, не вставая с колен, раскрыл ее. Там, в уголке, лежал бумажный пакетик, запечатанный на всякий случай красной сургучной печатью, чтоб не заглянул в него нечаянно чужой любопытный глаз. Долгие годы его не трогали, не вспоминали о нем. Киппс осторожно, двумя пальцами вытащил пакетик, оглядел его со всех сторон, потом отставил шкатулку и сломал печать...

И только ложась спать, впервые за весь день вспомнил еще кое о чем.

— О, чтоб тебе!— в сердцах воскликнул он.— Опять я не сказал старикам... Надо же!.. Придется сызнова катить в Нью-Ромней!

Он забрался в постель и долго сидел, задумавшись, на подушке.

— Вот чудеса,— вымолвил он наконец.

Потом вспомнил, что она заметила его усики. И погрузился в самодовольные размышления.

Он представлял, как сообщает Энн о своем богатстве. Вот она удивится!

Наконец он глубоко вздохнул, задул свечу, свернулся поуютнее и немного погодя уже спал крепким сном...

Но на следующее утро да и весь следующий день он все время ловил себя на мыслях об Энн — сияющей, желанной, приветливой, и ему то до смерти хотелось опять съездить в Нью-Ромней, то до смерти хотелось никогда больше там не бывать.

После обеда он сидел на набережной, и тут его осенило: «Как же это я ей не сказал, что помолвлен!»

Энн!

Все мечты, все волнения и надежды, которые за все эти годы выветрились бесследно и прочно забылись, вновь вернулись к нему, но теперь они стали иными, ибо иной стала Энн, а она-то и была средоточием грез и волнений. Киппс вспоминал, как однажды приехал в Нью-Ромней на рождество с твердым решением поцеловать ее и как уныло и пусто стало все вокруг, когда оказалось, что она уехала.

Просто не верится, а ведь он плакал тогда из-за нее самыми настоящими слезами... А быть может, и не так уж трудно этому поверить... Сколько же лет прошло с тех пор?

3

Я должен бы каждый день благодарить Создателя за то, что он не препоручил мне возглавить Страшный суд. Пытаясь умерить пыл несправедливости, я поддавался бы порой приступам судорожной нерешительности, которая не смягчала бы, а лишь продлила муки в День Страшного суда. К обладателям чинов, званий, титулов, к тем, кто ставит себя выше других, я был бы чужд всякого снисхождения: к епископам, к преуспевающим наставникам, к судьям, ко всем высокоуважаемым баловням судьбы. В особенности к епископам, на них у меня зуб — ведь мои предки были викингами. Я и сейчас нередко мечтаю приплыть, высадиться, прогнать, завоевать с мечом в руках— и чтобы цвет этого зловредного сословия удирал от меня что есть мочи, а я судил бы его не по заслугам, пристрастно, чересчур сурово.

Другое дело — такие, как Киппс... Тут от моей решительности не останется и следа. Приговор замрет у меня на устах. Все и вся замрут в ожидании. Весы будут колебаться, колебаться, и едва только они станут крениться в сторону неблагоприятного суждения, мой палец подтолкнет их, и они вновь закачаются. Короли, воины, государственные мужи, блестящие женщины — все сильные и славные мира сего, задыхаясь от негодования, будут ждать, не удостоенные приговора, даже незамеченные, либо я вынесу им суровый приговор по́ходя, лишь бы не приставали, а я буду озабочен одним: что бы такое сказать, где бы найти хоть какой-нибудь довод в защиту Киппса... Хотя, боюсь, ничем нельзя оправдать его по той простой причине, что через два дня он уже опять говорил с Энн.

Человек всегда ищет себе оправдания. Накануне вечером Читтерлоу встретился у Киппса с молодым Уолшингемом, и между ними произошла стычка, которая несколько поколебала кое-какие представления Киппса. Оба пришли почти одновременно и, проявив чисто мужской, повышенный интерес к старику Мафусаилу—три звездочки, быстро потеряли равновесие, после чего, не стесняясь присутствия радушного хозяина, завели свару. Поначалу казалось, что победа на стороне Уолшингема, но потом Читтерлоу стал орать во все горло и просто-напросто заглушил противника; поначалу Читтерлоу стал распространяться об огромных доходах драматургов, и молодой Уолшингем тут же перещеголял его, бесстыдно, но внушительно выставив напоказ свои познания по части финансовой политики. Читтерлоу хвастался тысячами, а молодой Уолшингем — сотнями тысяч и, потрясая богатствами целых народов, остался бесспорным победителем. От деятельности финансовых воротил он уже перешел к своим излюбленным рассуждениям о сверхчеловеке, но тут Читтерлоу оправился от удара и снова ринулся в наступление.

— Кстати, о женщинах,— вдруг прервал он Уолшингема, который рассказывал кое-какие подробности об одном недавно умершем столпе общества, неизвестные за пределами тесного круга коллег Уолшингема.—Кстати, о женщинах и о том, как они умеют прибрать к рукам нашего брата.

(А между тем разговор шел вовсе не о женщинах, а о *спекуляции* — этой язве, разъедающей современное общество.)

Очень скоро стало ясно, что и на сей раз победителем в споре выйдет Читтерлоу. Он знал столь много и столь многих, что его мудрено было перещеголять. Молодой Уолшингем сыпал злыми эпиграммами и многозначительными недомолвками, но даже неискушенному Киппсу было ясно, что мудрость этого знатока всех пороков почерпнута из книг. Очевидно, сам он не испытал настоящей страсти. Зато Читтерлоу поражал и убеждал. Он безумствовал из-за женщин, и они из-за него безумствовали, он бывал влюблен в нескольких сразу — «не считая Бесси»,— он любил и терял, любил и сдерживал свою страсть, любил и покидал возлюбленных. Он пролил яркий свет на мораль современной Америки, где его турне прошло с шумным успехом. Он поведал историю в духе одной из самых известных песен Киплинга. То был рассказ о простой и романтической страсти, о неправдоподобном счастье, о любви и красоте, которые он познал на пароходе во время поездки по Гудзону с субботы до понедельника, и в заключение он процитировал:

— Это она мне раскрыла глаза, я женское сердце постиг.

И он повторил рефрен известного стихотворения Киплинга, а потом принялся превозносить самого поэта.

— Милый, славный Киплинг,—с фамильярной нежностью говорил Читтерлоу,—уж он-то знает.—И вдруг стал читать киплинговские стихи.

Я смолоду повесой был
И уз никаких не знал,
Без удержу тратил сердца пыл,
Сердца́, как цветы, срывал.

(Такие строки, на мой взгляд, могут расшатать чьи угодно моральные устои.)

— Жаль, что это не я сочинил,—сказал Читтерлоу.— Ведь это сама жизнь! Но попробуйте изобразить это на сцене, попробуйте изобразить на сцене хоть крупицу истинной жизни—и увидите, как все на вас набросятся! Только Киплинг мог отважиться на такое. Эти стихи меня ошарашили! То есть, конечно, его стихи меня и пре-

жде поражали и после тоже, но эти строки положили меня на обе лопатки. А между тем, знаете... там ведь есть и такое... вот послушайте:

Я смолоду повесой был,
Пришли расплаты сроки:
Когда на многих растратишь свой пыл,
Останешься одиноким.

Так вот. Что касается меня... Не знаю, быть может, это еще ничего не доказывает, ибо я во многих отношениях натура исключительная, и нет смысла это отрицать, но если уж говорить обо мне... признаюсь только вам двоим, и вам незачем распространяться об этом... С тех пор, как я женился на Мюриель, я свято храню верность... Да! Ни разу я не изменил ей. Даже случайно ни разу не сказал и не сделал ничего такого, что хоть в малейшей степени...

Такое доверие лестно слушателям—и его карие глазки стали задумчивы, а раскатистый голос зазвучал серьезнее и строже.— Это она мне раскрыла глаза! — выразительно продекламировал он.

— Да,— сказал Уолшингем, воспользовавшись этой многозначительной паузой,—мужчина должен знать женщин. И единственно разумный путь познания — это путь эксперимента.

— Если вас привлекает эксперимент, мой мальчик, могу сообщить вам...—снова заговорил Читтерлоу.

Так они беседовали. И когда поздней ночью Киппс отправился спать, в голове у него шумело от речей и от выпитого виски, и он долго, непозволительно долго сидел на краю постели и горестно размышлял о своей постыдной, недостойной мужчины моногамии и все чаще, все определеннее возвращался к мысли, что, пожалуй, можно бы и не порывать с Энн.

4

Несколько дней Киппс упорно противился желанию снова удрать в Нью-Ромней...

Не знаю, можно ли этим в какой-то мере оправдать его поступок. Настоящий мужчина, волевой, сильный,

с твердым характером, остался бы глух к болтовне легкомысленных приятелей, но я никогда и не пытался ставить Киппса столь высоко. Так или иначе, вторую половину следующего дня он провел с Энн и без зазрения совести вел себя так, словно готов влюбиться без памяти.

Он повстречался с ней на Главной улице, остановил ее и, еще ни о чем не успев подумать, храбро предложил прогуляться «в память о прежних временах».

— Я-то не против,— ответила Энн.

Ее согласие, пожалуй, даже испугало Киппса. В своем воображении он не заходил так далеко.

— Вот будет весело,— сказал он и огляделся по сторонам.—Пошли прямо сейчас.

— Я с удовольствием, Арти. Я как раз вышла прогуляться, дай, думаю, пройду к святой Марии.

— Что ж, пошли той дорогой, что за церковью,— сказал Киппс.

И вот они уже идут к берегу моря и в отличном настроении беседуют о том, о сем. Сперва поговорили о Сиде. И поначалу Киппс совершенно забыл, что ведь и Энн тоже «девчонка», как выражался Читтерлоу, он помнил только, что она — Энн. Но некоторое время спустя он словно ощутил отрыжку того ночного разговора и стал смотреть на свою спутницу какими-то другими глазами. Они вышли к морю и сели на берегу, выбрав усыпанное галькой местечко, где среди камней пробивалась худосочная травка и даже морские маки; Киппс оперся на локоть и подбрасывал и ловил камешки, а Энн тихонько сидела рядом, освещенная солнцем, и не сводила с него глаз. Изредка они перекидывались словечком-другим. Они уже переговорили обо всех делах Сида и об Энн, но Киппс старательно умалчивал о свалившемся на него богатстве.

И теперь Киппс начал слегка заигрывать с Энн.

— А я еще берегу ту монетку,— сказал он.

— Право слово?

С этой минуты беседа потекла по новому руслу.

— А я свою всегда хранила...— сказала Энн и умолкла.

Они говорили о том, как часто вспоминали друг друга все эти годы. Тут Киппс, пожалуй, немножко приврал, но Энн, вероятно, говорила правду.

— Я встречала разных людей, Арти,— сказала она.— Да только такого, как ты, ни одного не видала.

— А хорошо, что мы опять повстречались,— сказал Киппс.—Гляди, пароход. Уже совсем близко...

Киппс задумался, запечалился было, но скоро попробовал перейти в наступление. Он стал подкидывать камешки, чтобы они, будто случайно, попадали на руки Энн. И тогда он в раскаянии гладил ушибленное местечко. Будь на месте Энн другая девушка, ну, к примеру, Фло Бейтс, уж она бы не упустила случая пококетничать, но поведение Энн смутило и даже остановило Киппса: она не уклонялась, не отодвигалась от него, она лишь мило улыбалась, полузакрыв глаза (ее слепило солнце). Она словно считала, что так и должно быть.

Киппс снова заговорил — наставления Читтерлоу опять зазвучали у него в ушах,— и он сказал, что никогда-никогда ее не забывал.

— И я не забывала тебя, Арти,— сказала Энн.— Чудно̀, правда?

Киппсу тоже это показалось чудно́.

Он унесся мыслями в прошлое и вдруг вспомнил далекий теплый летний вечер.

— Слышь, Энн, а помнишь майских жуков?

Но вспомнился ему тот вечер вовсе не из-за жуков. Самое главное, о чем они оба тотчас подумали,—что он так ни разу ее и не поцеловал. Киппс поднял глаза и увидел губы Энн.

И опять ему нестерпимо захотелось поцеловать ее. Словно не было долгих лет разлуки. И вот он снова, как прежде, одержим этим желанием, а все иные желания и решения вылетели у него из головы. И ведь с той мальчишеской поры он кое-чему научился. На этот раз он не стал спрашивать позволения. Он как ни в чем не бывало продолжал болтать, но каждый нерв его трепетал, как струна, а мысль работала быстро и четко.

Он огляделся по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, подсел к Энн поближе и сказал — какой прозрачный сегодня воздух; кажется, до Дандженесского маяка рукой подать.

И снова они оба замолчали. Проходили минуты.

— Энн,— прошептал Киппс и обнял ее дрожащей рукой.

Она не произнесла ни слова, не противилась, и (ему суждено было потом об этом вспомнить) лицо у нее стало очень серьезное.

Он повернул это лицо к себе и поцеловал ее в губы, и она ответила ему поцелуем—бесхитростным и нежным, как поцелуй ребенка.

5

Как ни странно, но, вспоминая об этом поцелуе, Киппс не испытывал ни малейшего удовлетворения от своей, как он полагал, измены. Конечно, это разврат, да, да, разврат, достойный Читтерлоу,— заигрывать с «девчонкой» в Литтлстоуне, сидеть с нею на берегу, даже добиться от нее поцелуя, когда помолвлен с другой «девчонкой» в Фолкстоне; но почему-то для Киппса они были не «девчонки», они были для него Энн и Элен. К Элен в особенности не шло понятие «девчонка». И в тихом дружелюбном взгляде Энн, в ее бесхитростной улыбке, в том, как наивно, не таясь, она сжимала его руку, была какая-то беззащитность и доброта, которая сообщила этому приключению совсем неожиданную прелесть. Это она мне раскрыла глаза... Строчка эта кружилась у него в голове и не давала думать ни о чем другом, но на самом деле он узнал только самого себя.

Непременно надо еще раз повидать Энн и объяснить ей... Но что ж тут объяснишь? Этого он и сам толком не знал.

Ничего он теперь толком не знал. Осмыслить всю свою жизнь, все душевные движения и поступки как нечто единое и закономерное, когда одно неизбежно вытекает из другого,— это может далеко не всякий, это—высшее, на что способен человеческий разум, а Киппс просто жил, как живется, бездумно и безотчетно — как трава растет. Его жизнь была просто сменой настроений: то найдет стих, то сойдет, то вновь нахлынет.

Когда он думал об Элен, или об Энн, или о ком-либо из своих друзей, он видел их то в одном, то в другом свете, не понимая, какие они на самом деле, не замечая, что его представления о людях нелогичны и противоречивы. Он любил Элен, боготворил ее. И вместе с тем уже

начинал ее люто ненавидеть. Когда он вспоминал поездку к Лимпнскому замку, его охватывали глубокие, смутные и прекрасные чувства; но стоило ему подумать о неизбежных визитах, которые придется проделать вместе с нею, или о ее последнем замечании по поводу его манер,— и в душе закипал гнев и на язык просились разные колкости, облеченные в отнюдь не изысканную форму. Но об Энн, которую он видел так недолго, вспоминать было гораздо проще. Она такая милая, такая на удивление женственная; о ней можно думать так, как никогда не подумаешь об Элен. Быть может, всего милее в Энн, что она так его уважает, каждый ее взгляд—словно бальзам для его самолюбия, которое ранят все, кому не лень.

Направление его мыслей определили случайные подсказки и намеки приятелей, немалую роль тут сыграло и то, что он был здоров, молод и жил теперь в довольстве и достатке, не зная нужды. И все же одно ему было ясно: ездить вторично в Нью-Ромней нарочно, чтобы повидаться с Энн, дать ей понять, будто все это время он думал только о ней, а главное, поцеловать ее, было дурно и подло с его стороны. Но, к сожалению, он понял это на несколько часов позже, чем следовало.

6

На пятый день после поездки в Нью-Ромней Киппс поднялся позднее обычного; во время бритья он порезал подбородок, когда умывался, зашвырнул шлепанец в таз и в сердцах выругался.

Вам, дорогой читатель, наверно, знакомы эти невыносимые утра, когда, кажется, нет ни сил, ни охоты встать с постели, и нервы напряжены, и все валится из рук, и весь белый свет ненавистен. В такое утро кажется, что ни на что не годен. Обычно такое утро наступает после бессонной ночи и означает, что вы не выспались, так как с вечера слишком плотно поужинали, а может быть, ваше душевное равновесие нарушилось оттого, что вы, по выражению Киппса-старшего, хлебнули шипучего сверх меры, а может быть, вас одолела какая-то тревога. И хотя накануне вечером у Киппса опять побывал в гостях Читтерлоу, больше всего на сей раз виновата была тревога. В последние дни заботы обступали его со

всех сторон, а накануне вечером эти враги мидийские просто одолели его, и в хмурые предрассветные часы Киппс делал им смотр.

Главная неприятность надвигалась на него вот под каким флагом:

Мистеру Киппсу.

Миссис Биндон Боттинг будет рада видеть
Вас у себя в четверг, 16 сентября.
От 4 до 6.30 имеют быть анаграммы

R.S.V.P.[1]

Это вражеское знамя во образе пригласительного билета было засунуто за зеркало в гостиной. И из-за сего чрезвычайной важности документа они с Элен серьезно поговорили, а, точнее сказать, по мнению Киппса, поругались.

Давно уже стало ясно, что Киппс вовсе и не жаждет пользоваться теми возможностями привыкать к обществу, какие ему предоставлялись, и уж, конечно, не ищет новых возможностей — из-за этого они с Элен были постоянно недовольны друг другом и между ними назревал разлад. Киппса явно приводило в ужас это общепринятое развлечение — послеобеденные визиты,— и Элен недвусмысленно дала ему понять, что его страх — просто глупость и его надо побороть. Впервые Киппс проявил столь недостойную мужчины слабость в гостях у Филина накануне того дня, когда он поцеловал Энн. Они все сидели в гостиной и мило болтали, и вдруг вошла маленькая служанка в огромной наколке и возвестила о приходе мисс Уэйс-младшей.

На лице Киппса изобразилось отчаяние, он привстал со стула и пробормотал:

— Вот напасть! Можно, я пойду наверх?

И тут же снова опустился на стул, так как было уже поздно. Вполне вероятно даже, что, входя, мисс Уэйс-младшая слышала его слова.

Элен промолчала, хотя и не скрыла своего удивления, а потом сказала Киппсу, что он должен привыкать к обществу. Ей с матерью предстоит целый ряд визитов,

---

[1] Rèpondez s'il vous plait.— Соблаговолите ответить *(франц.)*.

так вот пусть он их сопровождает. Киппс нехотя согласился, но потом с неожиданной для Элен изобретательностью всячески от этого уклонялся. Наконец ей удалось заполучить его для визита к мисс Панчефер — визита весьма несложного: мисс Панчефер была глуха и при ней можно было говорить что вздумается; однако у самых дверей дома подле Рэднор-парка Киппс снова увильнул.

— Я не могу войти,— сказал он упавшим голосом.

— Вы должны.— Прекрасное лицо Элен стало суровым и непреклонным.

— Не могу.

Киппс торопливо вытащил носовой платок, прижал его к лицу и глядел на Элен поверх платка круглыми враждебными глазами.

— У меня... э-э... у меня кровь из носу,—хриплым чужим голосом пробормотал он сквозь платок.

Тем и кончилась его попытка взбунтоваться, и когда настал день чая с анаграммами, Элен безжалостно отмела все его протесты. Она настаивала.

— Я намерена как следует вас пробрать,— честно сказала она. И пробрала...

Филин, как мог, растолковал Киппсу, что такое анаграммы и каковы правила игры. Анаграмма, объяснял Филин,—это слово, состоящее из тех же букв, что и какое-нибудь другое слово, только порядок букв другой. Ну, вот, например, анаграмма к слову в-и-н-о — в-о-и-н.

— Воин,— старательно повторил Киппс.

— Или о-в-и-н,— сказал Филин.

— Или о-в-и-н,— повторил Киппс, при каждой букве помогая себе кивком своей бедной головушки. Он изо всех сил пытался постичь эту мудрость.

Когда Киппс усвоил, что такое анаграмма, Филин стал объяснять, что значит чай с анаграммами. Киппс наконец усвоил: собирается человек тридцать, а то и шестьдесят, и у каждого к платью пристегнута анаграмма.

— Вам дают карточку, ну, вроде той, куда на танцевальных вечерах записывают танцы, и вы ходите, смотрите и записываете на нее все свои догадки, — говорит Филин.— Это очень забавно.

— Еще как забавно! — с притворным увлечением отозвался Киппс.

— Такое поднимается непринужденное веселье,— сказал Филин.

Киппс улыбнулся и понимающе кивнул...

Среди ночи все его страхи воплотились в грозное видение чая с анаграммами; этот чай царил над всеми его неприятностями: тридцать, а то и шестьдесят человек, по преимуществу дамы и кавалеры, и великое множество букв, в особенности в-и-н-о и о-в-и-н, появлялись, и исчезали, и маршировали взад и вперед, и Киппс тщетно пытался составить хоть одно какое-нибудь слово из этой нескончаемой процессии...

И слово это, которое он наконец с чувством произнес в ночной тиши, было «Проклятье».

Вся эта буквенная вереница сплеталась вокруг Элен, и она была такая, как в ту минуту, когда они побранились: лицо строгое, немного раздраженное и разочарованное. И Киппс вдруг представил, как он ходит по комнате от гостя к гостю и строит догадки, а она не сводит с него строгих глаз...

Он пробовал подумать о чем-нибудь другом, избегая, однако, еще более тягостных раздумий, от которых неотделимы были золотистые морские маки, и тогда в ночи перед ним возникли хорошо знакомые лица — Баггинс, Пирс и Каршот — три погубленные дружбы, и под их укоризненными взглядами ужасные предчувствия сменились жесточайшими угрызениями совести. Вчера был четверг, в этот день они обычно собирались и распевали под банджо, и Киппс с робкой надеждой выставил на стол старика Мафусаила в окружении стаканов и открыл ящик отборных сигар. Напрасно старался. Теперь, видно, уже они не нуждались в его обществе. А вместо них заявился Читтерлоу — ему не терпелось узнать, не передумал ли Киппс вступать с ним в долю. Он не пожелал пить ничего, кроме самого слабого виски с содовой, «просто чтобы промочить горло», во всяком случае, пока они не обсудят дело, и он изложил Киппсу четко и ясно свои планы. Вскоре он ненароком налил себе еще виски, и могучий ткацкий станок у него в голове заработал быстрее, щедро окутывая Киппса прихотливой тканью слов. В этот узор вплетался рассказ о коренных изменениях, которые предстоит внести в «Загнанную бабочку» — жук опять заползет герою за шиво-

рот,— и повесть о серьезном и затяжном споре с миссис Читтерлоу о том, где и как они заживут после шумного успеха пьесы; и мысли о том, почему достопочтенный Томас Норгейт никогда не финансировал ни одно товарищество, и всевозможные соображения о товариществе, которое они теперь основывают. Но хоть разговор был сумбурный, сразу обо всем, вывод из него был ясен и прост. Столпом товарищества будет Киппс, и его взнос составит две тысячи фунтов. Киппс застонал, перевернулся на другой бок, и тут перед ним снова предстала Элен. «Обещайте мне,— говорила она,— что вы ничего не станете предпринимать, не посоветовавшись со мной».

Киппс опять перевернулся на другой бок и некоторое время лежал не шевелясь. Он чувствовал себя желторотым птенцом, угодившим в силки.

И вдруг всем своим существом он отчаянно затосковал по Энн и увидел ее на берегу моря, среди желтых морских маков, и солнечный луч играл на ее лице. И он воззвал к ней из самой глубины души, как взывают о спасении. Он понял— и ему уже казалось, будто он всегда это понимал,— что Элен он уже не любит.

Энн—вот кто ему нужен! Обнять Энн, и пусть она обнимает его, и целовать ее снова и снова, а до всего остального ему нет дела...

Он поднялся поздно, но наваждение не сгинуло и при свете дня. Руки у него дрожали, и, бреясь, он порезал подбородок. Наконец он спустился в столовую, где, как всегда, ждал обильный и разнообразный завтрак, и позвонил, чтобы принесли горячие блюда. Потом стал просматривать почту. Среди неизбежных рекламных листков — электрического звонка, лотереи и расписания скачек — были и два настоящих письма. Одно — в довольно мрачном конверте, надписанное незнакомым почерком. Киппс тотчас распечатал его и вытащил записочку.

Миссис Реймонд Уэйс имеет честь пригласить мистера Киппса отобедать в четверг, 21 сентября, в 8 часов.

R.S.V.P.

Киппс схватился за второе письмо, как за якорь спасения. Оно было от дяди, непривычно длинное.

«Дорогой мой племянник,— писал Киппс-старший.— Прочитали мы твое письмо и сильно напугались, хотя и ждали чего-нибудь в этом роде, да только все уповали на лучшее. Ежели твоя нареченная и впрямь в родстве с графом Бопре, очень прекрасно, только гляди, как бы тебя не провели, а теперь, при твоем-то богатстве, на тебя всякая позарится. Я в прежнее время служил у графа Бопре, он был очень уж скупой на чаевые и маялся мозолями. Гневливый был хозяин, никак ему бывало не угодишь... Он уже меня, небось, забыл... да и чего старое ворошить. Завтра как раз будет омнибус в Фолкстон, а ты говоришь, девица живет поблизости, вот мы и порешили закрыть на денек лавку, все равно настоящей торговли нынче нет, нынешние гости все привозят с собой, даже детские ведерки, и приедем повидаем твою нареченную, и, коли она нам приглянется, поцелуем и скажем, чтоб ничего не боялась... Ей удовольствие будет поглядеть на твоего старика дядю. Надо бы нам, известное дело, поглядеть на нее пораньше, но ничего, беды нет. Остаюсь в надежде, что все обернется хорошо.

Твой любящий дядя
Эдвард Джордж Киппс.

Меня все донимает изжога. Я прихвачу с собой ревеню, я его сам собрал, в Фолкстоне такого нет, и если сыщу — хороший букет для твоей нареченной».

— Нынче и приедут,— растерянно произнес Киппс, все еще держа в руке письмо.— Да пропади оно все пропадом! Как же это мне теперь... Нет, не могу я. «Поцелуем ее»!

Он ясно представил себе это сборище несочетаемых людей и похолодел от ужаса, от предчувствия неминучей катастрофы.

— Нет, у меня и язык не повернется ей сказать!

В голосе его зазвучало настоящее отчаяние.

И уже поздно посылать им телеграмму, чтоб не ехали!

7

А минут через двадцать к носильщику с тележкой на Касл-хилл-авеню подошел бледный, чрезвычайно расстро-

енный молодой человек с щегольски свернутым зонтиком и тяжелым кожаным саквояжем.

— Свезите, пожалуйста, саквояж на станцию,— сказал молодой человек.— Мне надо поспеть на лондонский поезд... Да поторапливайтесь, как бы не опоздать.

ГЛАВА VII

ЛОНДОН

1

Лондон был третьим миром, в котором очутился Киппс. Бесспорно, на свете существуют и другие миры, но Киппс знал только три: прежде всего Нью-Ромней и торговое заведение—они составляли его первый мир, тот, где он родился и в котором жила Энн; затем мир людей, образованных и утонченных—здесь его наставником был Филин и здесь после женитьбы ему предстояло прочно обосноваться, но этот мир (Киппс с каждым часом понимал это ясней) совершенно несовместим с тем, первым, и, наконец, мир, еще почти совсем не изведанный,— Лондон. Лондон предстал перед Киппсом точно неоглядный лес серого камня и несчетных людских толп, причем все это сосредоточено вокруг вокзала Черинг-кросс и Королевского гранд-отеля, и повсюду, в самых неожиданных местах рассыпаны удивительнейшие магазины, памятники, площади, рестораны (ловкие люди вроде молодого Уолшингема ухитряются спокойно и не торопясь заказать там обед, блюдо за блюдом, и официанты взирают на них почтительно и понимающе), выставки самых невероятных вещей (Уолшингемы водили его на выставку Искусств и Ремесел и в картинную галерею) и театры. В Лондоне можно жить только благодаря извозчикам. Молодой Уолшингем был мастер их нанимать; он человек ловкий, все умеет и за те два дня, что они прожили в Лондоне, возил Киппса в кэбе раз десять, так что Киппс на диво быстро к ним привык и ничуть не боялся. В самом деле, куда бы ты ни попал, едва почувствуешь, что заблудился, стоит крикнуть «Эй!» первому встречному кэбу, и, пожалуйста, вот он перед тобой — Королевский гранд-отель. В любое время дня и ночи эти надежные экипажи возвращают заблудившегося лондон-

ца куда надо, а если б не они, все население города в два счета запуталось бы в хитром лабиринте улиц и закоулков. Во всяком случае, так представлялось Киппсу, и примерно то же самое говорили мне приезжавшие в Лондон американцы.

Поезд, в который попал Киппс, состоял из вагонов с крытыми тамбурами, и, восхищенный этим прогрессом техники, Киппс на время забыл все свои беды.

Он перешел из вагона для некурящих в вагон для курящих и выкурил сигарету, потом прошелся из своего вагона второго класса в первый класс и обратно. Но вскоре в поезд вошла злая забота и уселась рядом с Киппсом. Радости от того, что ему удалось сбежать, как не бывало, и воображение живо нарисовало Киппсу чудовищную картину: тетя с дядей приходят к нему домой, а его и след простыл. Правда, он наспех черкнул им записку — его, мол, срочно вызвали по делу, по очень важному делу,— и велел прислуге угостить их по-царски. Удрал он не подумавши, с перепугу, лишь бы не видеть, как превосходные, но отнюдь не обученные тонкому обхождению старики встретились с Уолшингемами,— а теперь, когда бояться уже нечего, ему так ясно представляются их гнев и обида.

— Как перед ними оправдаться?

И зачем только он им писал и сообщил о помолвке! Надо было сперва жениться, а тогда уж им сообщить. Надо было посоветоваться с Элен.

«Обещайте мне»,— сказала она.

— Тьфу, пропасть! — воскликнул Киппс.

Потом встал, прошел в вагон для курящих и принялся курить одну сигарету за другой.

А вдруг старики разузнают адрес Уолшингемов и пойдут к ним!

Однако, прибыв на Черинг-кросс, Киппс опять отвлекся от своих забот. Он, совсем как молодой Уолшингем, подозвал кэб, велел ехать в Королевский грандотель и с удовольствием заметил, что извозчик сразу проникся к нему уважением. Он говорил и делал все в точности, как Уолшингем в их прошлый приезд,—и все шло гладко. В конторе отеля с ним были отменно любезны и отвели отличнейший номер — четырнадцать шиллингов в сутки.

Он поднялся наверх и долго разглядывал обстановку своей комнаты, потом изучал себя самого в многочисленных зеркалах, потом сидел на краешке постели и насвистывал. Комната первый сорт — большая, шикарная, за такую не жалко отдать четырнадцать шиллингов. Но тут Киппс почувствовал, что его мыслями вот-вот завладеет Энн, вышел из комнаты, потоптался у лифта и отправился вниз пешком. Хорошо бы перекусить. С этой мыслью он вошел в огромную гостиную и стал изучать список европейских отелей, и вдруг его взяло сомнение: а можно ли сидеть в этой роскошной зале без особой платы? Теперь аппетит разыгрался вовсю, но слишком велик был привычный с детства страх перед накрытым столом. Наконец Киппс набрался храбрости и отправился мимо важного швейцара в галунах прямо к ресторану, но, увидав еще с порога множество официантов и столики с бесчисленными ножами и бокалами, в ужасе попятился к двери и пробормотал подскочившему официанту, что ошибся дверью.

Он праздно слонялся по вестибюлю, пока ему не показалось, что главный портье поглядывает на него подозрительно, тогда он поднялся к себе в номер — опять по лестнице, не в лифте,— взял шляпу и зонтик и храбро пересек двор. Можно пойти и пообедать в каком-нибудь другом ресторане.

В воротах он приостановился гордый и довольный,— уж, конечно, весь многолюдный Стрэнд глядит, как он выходит из этого роскошного отеля. «Вон важная шишка,— говорят, наверно, прохожие.— Умеют жить эти богатые франты!»

Извозчик, поджидавший седока, прикоснулся рукой к шляпе.

— Не беспокойтесь,— любезно улыбнулся ему Киппс.

Тут голод снова напомнил о себе.

Однако вопреки требованиям желудка он решил, что нечего спешить с обедом, повернул к востоку и не спеша зашагал по Стрэнду. Уж, верно, подвернется какое-нибудь подходящее местечко. Вот только хорошо бы вспомнить, что заказывал Уолшингем. Не очень-то приятно сидеть в ресторане и смотреть на названия блюд, как баран на новые ворота. Есть такие заведения,— там тебя бессовестно обдерут да еще над тобой же и по-

смеются. Неподалеку от Эссекс-стрит внимание Киппса привлекла яркая витрина, где красовались очень аппетитные помидоры, салат и отбивные. Он постоял перед нею в раздумье, потом сообразил: видно, все это продается в сыром виде, а готовить надо дома. Нет, лучше пройти мимо. Скоро он заметил витрину поскромнее — тут были выставлены бутылки шампанского, тарелка спаржи и в рамке — меню обеда за два шиллинга. Он уже совсем было собрался зайти, да, по счастью, успел заметить за стеклом двух официантов, которые насмешливо на него поглядывали, и поспешно отступил. Посреди Флит-стрит его вдруг обдало восхитительным ароматом жаркого — перед ним был очень приятный на вид ресторанчик с несколькими дверями, но непонятно было, в какую же дверь следует войти. Самообладание начало ему изменять.

У поворота на Фаррингдон-стрит Киппс помедлил, потом свернул к собору св. Павла, обошел его, миновал магазины, где выставлены были все больше венки да гробы, и вышел на Чипсайд. Но теперь он уже совсем пал духом, и каждая новая закусочная казалась ему все более недоступной. Неизвестно, как войти, куда девать шляпу, неизвестно, что сказать официанту, и совершенно непонятно, какое кушанье как называется, и он наверняка начнет «мямлить», как говаривал Шелфорд, и будет выглядеть дурак дураком. И его, чего доброго, еще поднимут на смех! Чем сильней терзал Киппса голод, тем нестерпимей становилась мысль, что его поднимут на смех. А что, если схитрить и ловко воспользоваться своим невежеством? Войти и притвориться иностранцем — будто он не знает по-английски... А вдруг все откроется? Наконец он забрел в такие кварталы, где вовсе не видно было ни ресторанов, ни закусочных.

— Ах, чтоб тебе провалиться! — воскликнул Киппс, замученный собственной нерешительностью.— Теперь, как попадется что-нибудь подходящее, сразу возьму и войду.

Скоро ему попалась на боковой улочке лавчонка, где торговали жареной рыбой и прямо при покупателе поджаривали сосиски.

Киппс совсем уже собрался войти, но тут его опять взяло сомнение: уж слишком он хорошо одет, куда лучше

всех посетителей, которых можно разглядеть за клубами пара и табачного дыма. Они сидят у стойки и наскоро, без всяких церемоний поглощают рыбу и сосиски.

2

Киппс уже решил было подозвать кэб, вернуться в Гранд-отель и, набравшись храбрости, пообедать в ресторане — ведь там никому не известно, куда и зачем он ходил,— как вдруг появился единственный человек, которого он знал в Лондоне, и хлопнул его по плечу (так всегда бывает: если во всем Лондоне у вас есть только один знакомый, вы непременно столкнетесь с ним на улице). Не в силах ни уйти от закусочной, ни войти в нее, Киппс топтался перед соседней витриной, с притворным интересом изучая необыкновенно дешевые розовые распашонки.

— Привет, Киппс! — окликнул его Сид.— Соришь своими миллионами?

Киппс обернулся и с радостью заметил, что у Сида не осталось и следа от досады, которая так огорчила его тогда в Нью-Ромней. Сид был серьезный, важный, одет довольно просто, как подобает социалисту, но на голове — новенький шелковый цилиндр, как подобает владельцу мастерской. В первое мгновение Киппс безмерно обрадовался: перед ним друг, он выручит! Но сразу пришла другая мысль: ведь это же брат Энн...

И он забормотал какие-то дружеские приветствия.

— А я тут ходил по соседству,— объяснил Сид,— торговал подержанную сушилку для эмали. Буду свои велосипеды сам красить.

— Ух ты! — сказал Киппс.

— Ну да. Очень выгодная штука. Пускай заказчик выбирает, какой хочет цвет. Ясно? А тебя чего сюда принесло?

Перед глазами Киппса промелькнули озадаченные лица дядюшки с тетушкой, и он ответил.

— Да так, охота проветриться.

— Пошли ко мне в мастерскую,— не раздумывая, предложил Сид.— Там у меня есть один человек, тебе не вредно с ним поговорить.

И опять Киппс не подумал об Энн.

— Понимаешь,— промямлил он, подыскивая предлог, чтобы отказаться.— Я... я вот ищу, где бы позавтракать.

— У нас в это время уже обедают,— сказал Сид.— Да это все едино. В этом квартале не пообедаешь. А если ты не больно задрал нос и не откажешься зайти в трущобы, там у меня уже, небось, жарится баранинка...

У Киппса потекли слюнки.

— Отсюда до меня полчаса, и того не будет,— сказал Сид, и тут Киппс уже не мог устоять.

Теперь он познакомился с другим средством передвижения по Лондону — с метрополитеном и, с любопытством разглядывая его, понемногу пришел в себя.

— Поедем третьим классом, ладно? — спросил Сид.

— А чего ж,— с готовностью отозвался Киппс.

В вагоне они сперва молчали: слишком много вокруг было чужого народу,— но вскоре Сид принялся объяснять, с кем он хочет познакомить Киппса.

— Отличный малый, звать Мастермен... его, знаешь, как полезно послушать.

Он снимает у нас залу на втором этаже. Да я не для выгоды сдаю, а для компании. Нам целый дом без надобности, это раз, а потом я этого парня еще раньше знал. Познакомился с ним на собрании, а в скором времени он и сказал: мол, ему не больно удобно на квартире, где он стоит. Ну вот, так оно и получилось. Он парень первый сорт... да... Ученый! Поглядел бы ты, какие у него книжки!

Вообще-то он вроде газетчика. У него много чего понаписано, да только он сильно болел, так что теперь ему нельзя налегать на писание. Стихи сочиняет какие хочешь. Дает статейки для «Всеобщего блага», а бывает, и отзывы на книжки пишет. Книг у него — горы, ну, прямо горы. А продал сколько...

Знает он всех и все на свете. Был и дантистом, и аптекарем, и читает немецкие да французские книжки, я своими глазами видел. Это он сам научился. Три года проторчал вон там... (Сид кивнул за окно — в это время

как раз проезжали Южный Кенсингтон[1].) Изучал науку. Да вот погоди, сам увидишь. Уж коли он разговорится, сразу видать, какой он образованный.

Киппс одобрительно покивал, опираясь обеими руками на ручку зонтика.

— Он еще себя покажет! — пообещал Сид.— Он уже написал ученую книгу. Называется Фи-зи-о-гра-фия. Начальная физиография. Стало быть, для школьников. А потом еще напишет для студентов... когда у него будет время.

Сид помолчал, чтобы дать Киппсу время как следует оценить услышанное.

— Конечно, я не могу познакомить тебя со всякими лордами да франтами,— снова заговорил он,— зато знаменитого человека тебе покажу... который непременно станет знаменитым. Это я могу. Вот только... понимаешь...— Сид замялся, потом докончил: — Он больно кашляет.

— Так он, верно, и не захочет со мной говорить,— рассудил Киппс.

— Да нет, если ты не против, он-то с удовольствием. Говорить-то он любит. Он с кем хочешь станет говорить,— заверил Сид и в заключение ошеломил Киппса латинской цитатой, переправленной на лондонский манер: — Он не pute ничего alienum[2]. Ясно?

— Ясно,— с понимающим видом ответил Киппс, хотя на самом деле, разумеется, ровно ничего не понял.

3

На взгляд Киппса, мастерская Сида выглядела очень внушительно — он еще никогда в жизни не видел столько всяких велосипедов и велосипедных частей.

— Это я даю напрокат,— Сид обвел рукой всю эту кучу металла,— а вот это самая лучшая из дешевых машин во всем Лондоне. Марка — Красный флаг, я сам ее сделал. Вон гляди.— И он показал на стройный серо-коричневый велосипед, что красовался в витрине.— А вот это разные запасные части по оптовой цене. Страсть люблю моторы да рули,— прибавил Сид.

---

[1] Южный Кенсингтон — район колледжей и библиотек.
[2] Искаженное латинское выражение «ничто человеческое ему не чуждо».

— Рулеты? — переспросил Киппс, не расслышав.

— Я говорю, рули... А рулеты не по моей части, это вон где.

И Сид показал на дверь, в верхней половине которой было прорезано окошко, затянутое шторкой; он отдернул шторку, и Киппс увидел маленькую веселую комнатку — на стенах красные обои, мебель обита зеленой материей, а стол накрыт белой скатертью и заставлен всякой всячиной.

— Фанни! — крикнул Сид.— Познакомься, это Арт Киппс.

Появилась женщина лет двадцати пяти, в розовом ситцевом платье и сама вся розовая — видно, только что от плиты; она вытерла руку фартуком, поздоровалась с гостем и, улыбаясь, попросила подождать еще только одну минуточку. И еще она сказала, что много слышала про Киппса и про то, какое ему счастье привалило; а тем временем Сид вышел нацедить пива и сейчас же возвратился, неся два полных стакана — для себя и для Киппса.

— Выпей-ка,— сказал он.

Киппс выпил и сразу почувствовал себя куда лучше.

— А мистеру Мастермену я уж час как снесла,— сказала миссис Порник.— Ему не годится так долго ждать обеда.

Каждый быстро и споро совершил все, что требовалось, и вот они уже все четверо сидят за столом — четвертым был Уолт Уитмен Порник, веселый джентльмен полутора лет от роду; ему вручили ложку, и он забавлялся, колотя ею по столу, он сразу же выучился говорить «Киппс» и весь обед повторял это имя с разными прибавлениями. «Какой важный Киппс!» — говорил Уолт, и все громко хохотали, а потом он повторял: «Еще баранинки, Киппс!»

— Мы прямо диву даемся,— сказала миссис Порник.— Только скажешь какое слово,— глядь, он уже подхватил!

В этом доме не в ходу были салфетки и всякие церемонии, и Киппсу казалось, он никогда еще не ел с таким удовольствием. Все были слегка взбудоражены встречей, и болтали, и смеялись всякому пустяку, и с самого

начала чувствовали себя легко и непринужденно. Стоило взрослым на мгновение замолчать, и тут же подавал голос юный Уолт Уитмен. Супруга Сида явно восхищалась и умом, и социализмом, и деловой хваткой мужа, но восхищение это умерялось чисто материнской снисходительностью — ведь она была женщина и притом немного старше его; а потому она и мужа и сына называла «мальчики» и в те минуты, когда не уговаривала Киппса съесть еще немножко одного блюда и еще капельку другого, рассуждала все больше об этой самой разнице в годах.

— Нипочем бы не поверил, что вы его хоть на год старше,— сказал Киппс.— Вы с ним друг дружке как раз под пару.

— Уж я-то ему верно под пару,— объявила миссис Порник, и, кажется, ни одну остроту молодого Уолшингема не встречали с таким восторгом.

— Пара,— подхватил Уолт, он понял, что это слово всех насмешило, и сам хотел их еще раз повеселить.

Киппс давно забыл о своем богатстве и высоком положении и почтительно глядел на хозяев дома. Да, Сид и впрямь замечательный парень; ведь ему всего двадцать два, а он хозяин дома, глава семьи, вот он как важно сидит за столом и режет на куски баранину. Он прекрасно обходится безо всякого наследства! И жена у него такая добрая, веселая, душевная! А малыш-то, малыш! Да, старина Сид и сыном обзавелся и вообще изрядно его, Киппса, обскакал. И если бы не сознание своего богатства, которое все-таки не вовсе оставило Киппса, он почувствовал бы себя самым жалким человеком на свете. «При первом же удобном случае надо купить Уолту какую-нибудь неслыханную игрушку»,— решил он.

— Еще пивка, Арт?

— Это можно.

— Отрежь мистеру Киппсу хлебца, Сид.

— Позволь и тебе кусочек?..

Да, старик Сид молодчина, тут уж ничего не скажешь!

Теперь Киппс уже вспомнил, что Сид — брат Энн, но по очень веским причинам не обмолвился о ней ни словом. Ведь тогда, в Нью-Ромней, Сид говорил о ней

очень сердито — видно, с сестрой он не больно дружит. Тогда они с Сидом мало о чем успели поговорить. И потом, кто его знает, ладит ли еще Энн с женой Сида.

Да, а все-таки Сид — брат Энн.

Обед за щедро накрытым столом проходил так весело, что Киппсу недосуг было разглядывать в подробностях, как обставлена комната, но он решил, что все выглядит очень мило. Здесь был посудный шкафчик с веселенькими тарелками и парой кружек, на стене висела афишка Дня труда, а за шторкой, что на стеклянной двери мастерской, виднелись яркие рекламы велосипедных фирм и на полке ящики с этикетками: звонок «Идеал», звонок «Берегись» и «Патентованный Гудок Оми».

Неужто еще сегодня утром он был в Фолкстоне? Неужто в этот самый час дядя с тетей...

Бр-р. Нет, о дяде с тетей лучше не думать.

4

Наконец Сид предложил Киппсу пойти поговорить с Мастерменом, и Киппс, раскрасневшийся от пива и тушеной баранины с луком и картофелем, ответил: отчего ж, он с удовольствием; тогда Сид покричал, сверху раздался ответный крик и кашель — и два приятеля отправились наверх.

— Такого человека поискать,— прошептал Сид, оглянувшись на Киппса через плечо.— Ты бы слышал, как он выступает на собрании... Ну, понятно, когда в ударе.

Он постучал, и они вошли в большую неприбранную комнату.

— Это Киппс,— сказал Сид.— Тот самый, я вам про него рассказывал. У которого тыща двести в год.

Мастермен сидел у самого камина, как будто в камине пылал огонь и на дворе стояла зима, и посасывал пустую трубку. Киппс в первые минуты смотрел только на него и не сразу разглядел убогую обстановку комнаты: узкую кровать, наполовину скрытую шаткой ширмой (наверно, предполагалось, что кровать за нею вовсе не видна), плевательницу у каминной решетки, грязную посуду с остатками обеда на комоде и повсюду множество книг и бумаг. Мастермену на вид было лет сорок, а то

и больше, виски запали, глаза ввалились, скулы торчат. Глаза лихорадочно блестят, на щеках горят красные пятна, жесткие черные усы под вздернутым красным носом неумело подстрижены щеточкой, видно, сам ножницами подстригал, зубы почерневшие, гнилые. Воротник куртки поднят, и за ним виден вязаный белый шарф, а вот манжет из-под рукавов пиджака не видать. Он не встал навстречу Киппсу, только протянул ему худую, костлявую руку, а другой рукой указал на стоявшее у постели кресло.

— Рад с вами познакомиться,— сказал он.— Присаживайтесь, будьте как дома. Курить хотите?

Киппс кивнул и достал портсигар. Совсем уже собрался взять сигарету, да вовремя спохватился и угостил прежде Мастермена и Сида. Мастермен сперва с притворным удивлением заметил, что его трубка пуста, и тогда только взял сигарету. Затем последовала интермедия со спичками. А потом Сид оттолкнул ширму, уселся на открывшуюся всем взорам постель и какой-то тихий и даже ублаготворенный приготовился наблюдать, как Мастермен обойдется с Киппсом.

— Ну, и каково это иметь тысячу двести в год? — спросил Мастермен, смешно задрав сигарету к самому кончику носа.

— Чудно́,— подумавши, признался Киппс.— Не по себе как-то.

— Никогда ничего подобного не испытывал,— сказал Мастермен.

— Сперва никак не привыкнешь,— сказал Киппс.— Это я вам верно говорю.

Мастермен курил и с любопытством разглядывал гостя.

— Я так и думал,— сказал он не сразу. Потом спросил в упор: — И вы теперь совершенно счастливы?

— Да, право, не знаю,— промямлил Киппс.

Мастермен улыбнулся.

— Нет, я не так спросил. Вы стали от этого много счастливее?

— Спервоначалу да.

— Вот-вот. А потом вы привыкли. Ну, и сколько же времени примерно вы на радостях ног под собой не чуяли?

— А-а, это! Ну, может, неделю,— ответил Киппс. Мастермен кивнул.

— Вот это и отбивает у меня охоту копить деньги,— сказал он Сиду.— Привыкаешь. Эта радость недолгая. Я всегда так и предполагал, но любопытно получить подтверждение. Да, видно, я еще посижу у вас на шее.

— Ничего вы и не сидите,— возразил Сид.— Вот еще выдумали.

— Двадцать четыре тысячи фунтов,— сказал Мастермен и выпустил облако дыма.— Господи! И у вас от них не прибавилось забот?

— Да временами скверно... Случается всякое.

— Собираетесь жениться?

— Да!

— Гм. И невеста, надо полагать, благородного происхождения?

— Да,— подтвердил Киппс.— Родственница графа Бопре.

Мастермен удовлетворенно потянулся всем своим длинным костлявым телом, видно, узнал все, что ему было нужно. Откинулся поудобнее на спинку кресла, подтянул повыше угловатые колени.

— Я думаю,— сказал он, стряхнув пепел прямо в пространство,— при современном положении вещей счастье человека вряд ли зависит от того, приобрел он или потерял деньги, пусть даже и очень большие. А ведь должно бы быть иначе... Если бы деньги были тем, чем они должны быть,— наградой за полезную деятельность — человек становился бы сильнее и счастливее с каждым полученным фунтом. Но дело в том, что в мире все вывихнуто, вывернуто наизнанку — и деньги... деньги, как и все остальное, приносят лишь обман и разочарование.

Он обернулся к Киппсу и, выставив указательный палец, подчеркивая каждое слово взмахом тонкой, исхудалой руки, сказал:

— Если бы я думал иначе, я бы уж из кожи вылез вон, чтобы обзавестись кой-какими деньгами. Но когда все ясно видишь и понимаешь, это начисто отбивает охоту... Когда вам достались эти деньги, вы, должно

быть, вообразили, будто можете купить все, что вам вздумается, да?

— Вроде того,— ответил Киппс.

— А оказалось, ничего подобного. Оказалось, надо еще знать, где купить и как купить, а если не знаешь, тебе за твои же деньги мигом подсунут вовсе не то, что ты хочешь, а что-нибудь совсем другое.

— В первый день меня обжулили с банджо,— сказал Киппс.— По крайней мере так мой дядюшка говорит.

— Вот именно,— сказал Мастермен.

Тут в разговор вступил Сид.

— Все это очень хорошо, Мастермен,— сказал он,— а только что ни говори, деньги — все равно сила. Когда деньги есть, чего не сделаешь.

— Я говорю о счастье,— перебил его Мастермен.— На большой дороге с заряженной винтовкой тоже чего не сделаешь, да только никого этим не осчастливишь, и самому радости мало. Сила — дело другое. А что до счастья, то чтобы деньги, собственность и все прочее стали истинной ценностью, в мире все должно стать на место, а сейчас, повторяю вам, все в нем вывернуто и вывихнуто. Человек — животное общественное, и в наше время он охватывает мыслью весь земной шар, и если люди несчастливы в одной части света, не может быть счастья нигде. Все или ничего, отныне и навсегда никаких заплат и полумер. Беда в том, что человечество постоянно об этом забывает, а потому людям кажется, будто где-то выше их, или ниже их, существует такой порядок или такое сословие или где-то есть такая страна или такой край,— только попади туда и обретешь счастье и покой... А на самом деле общество — единый организм, и он либо болен, либо здоров. Таков закон. Общество, в котором мы живем, больное. Это капризный инвалид, его вечно лихорадит, его мучит подагра, он жаден и худосочен. Ведь не бывает же так, что страдаешь невралгией, а нога твоя счастлива, или нога сломана, зато горло счастливо. Такова моя точка зрения, и вы в конце концов тоже это поймете. Я так в этом уверен, что вот сижу и спокойно жду смерти и твердо знаю: рвись я хоть из последних сил,— ничего бы не изменилось; по крайней мере для меня. Я уже и от жадности излечился, мой эгоизм покоится на

дне пруда с философским кирпичом на шее. Мир болен, век мой короток, и силы мои ничтожны. И здесь я не более и не менее счастлив, чем был в любом другом месте.

Он закашлялся, помолчал, потом снова ткнул в сторону Киппса костлявым пальцем.

— У вас теперь есть случай сравнить два слоя общества. Ну и как, по-вашему, люди, среди которых вы очутились, много лучше или счастливее тех, среди которых вы жили прежде?

— Нет,— раздумчиво ответил Киппс.— Нет. Я на это вроде раньше так не глядел, но... Нет. Не лучше они да и не такие уж счастливые.

— Так вот, поднимитесь хоть до самых верхов, спуститесь хоть в самые низы — всюду одно и то же. Человек — животное стадное, именно стадное (а не рак-отшельник), и никакими деньгами ему не откупиться от своего времени, все равно как не вылезти из собственной шкуры. Куда ни погляди — от самого верха и до самого низа — всюду та же неудовлетворенность. Никто не знает, на каком он свете, и всем не по себе. Стадо не знает покоя, его лихорадит. Старые обычаи, старые традиции отживают или уже отжили, и некому создать новые. Где ваша знать? Где земельная аристократия? Она сошла на нет, едва крестьянин понял, что он несчастлив, и бросил крестьянствовать. Остались только важные вельможи да мелкий люд, и притом все вперемешку. Никто из нас не знает, где его место. И в вагонах третьего класса и в шикарных собственных автомобилях разъезжают все те же хамы, и не отличишь, только что доходы у них разные. Ваш высший свет так же низок, вульгарен, так же тесен и душен для нормального человека, как любой кабак, ничуть не лучше; в мире не осталось такого места, такого слоя общества, где люди живут достойно и честно, так что толку рваться вверх?

— Правильно, правильно! — прямо как в парламенте, поддержал Сид.

— Это верно,— сказал Киппс.

— Вот я и не рвусь,— сказал Мастермен и взял сигарету, молча предложенную Киппсом.

— Нет,— продолжал он,— в этом мире все вывернуто и вывихнуто. Он серьезно болен и вряд ли излечим.

Сильно сомневаюсь, излечим ли он. При нас начался тяжкий всемирный недуг.

Он покатал сигарету в своих тощих пальцах и удовлетворенно повторил:

— Всемирный недуг.

— А мы должны его лечить,— сказал Сид и взглянул на Киппса.

— Ну, Сид у нас — оптимист,— сказал Мастермен.

— Вы и сами почти всегда оптимист,— сказал Сид.

Киппс покивал с понимающим видом и снова закурил.

— Откровенно говоря,— сказал Мастермен, перекинув ногу на ногу и с наслаждением выпуская струю дыма,— откровенно говоря, я считаю, что наша цивилизация катится в пропасть.

— А как же социализм? — возразил Сид.

— Люди не способны им воспользоваться, они даже не умеют мечтать о лучшем будущем.

— А мы их научим,— не сдавался Сид.

— Лет через двести, пожалуй, и научим,— сказал Мастермен.— А пока надвигается страшнейший вселенский хаос. Вселенский хаос. Бессмысленная давка, когда люди убивают и калечат друг друга без всякой причины — вроде как в толпе, на митинге или кидаясь в переполненный поезд. Конкуренция в торговле и промышленности. Политическая грызня. Борьба из-за пошлин. Революции. И все это кровопролитие происходит из-за кучки дураков, которые называют белое черным. В такие времена искажаются все человеческие отношения. Никто не останется в стороне. Каждый дурак пыхтит и расталкивает всех локтями. У всех у нас будет такая же веселая и уютная жизнь, как у семьи, которая перебирается на новую квартиру. Да и чего еще можно ждать в наше время?

Киппсу захотелось вставить и свое слово, но не в ответ на вопрос Мастермена.

— А что это за штука социализм, я никак не пойму? — сказал он.— Какой от него, что ли, прок?

Они думали, что у него есть хоть какое-то свое, пусть примитивное мнение, но быстро убедились, что он попросту не имеет обо всем этом ни малейшего понятия; тогда Сид пустился в объяснения, а немного погодя, забыв про свою позу человека, стоящего на краю могилы и

чуждого страстей и предвзятости, к нему присоединился и Мастермен. Поначалу он только поправлял Сида, но вскоре принялся объяснять сам. Он стал неузнаваем. Он выпрямился, потом уперся локтями в колени, лицо его раскраснелось. Он с таким жаром стал нападать на частную собственность и класс собственников, что Киппс увлекся и даже не подумал спросить для полной ясности, что же придет на смену, если уничтожить собственность. На какое-то время он начисто забыл о своем собственном богатстве. В Мастермене будто вспыхнул какой-то внутренний свет. От его недавней вялости не осталось и следа. Он размахивал длинными, худыми руками и, быстро переходя от довода к доводу, говорил все более резко и гневно.

— Сегодня миром правят богачи,— говорил Мастермен.— Они вольны распоряжаться, как им вздумается. И что же они делают? Разоряют весь мир.

— Правильно, правильно! — сурово подтвердил Сид.

Мастермен поднялся — тощий, высокий,— засунул руки в карманы и стал спиной к камину.

— Богачи в целом сегодня не обладают ни мужеством, ни воображением. Да! Они владеют техникой, у них есть знания, орудия, могущество, о каком никогда никто и мечтать не мог, и на что же они все это обратили? Подумайте, Киппс, как они используют все, что им дано, и представьте себе, как можно было бы это использовать. Бог дал им такую силу, как автомобиль, а для чего? Они только разъезжают по дорогам в защитных очках, давят насмерть детей и вызывают в людях ненависть ко всякой технике! («Верно,— вставил Сид,— верно!») Бог дает им средства сообщения, огромные и самые разнообразные возможности, вдоволь времени и полную свободу! А они все пускают на ветер! Здесь, у них под ногами (и Киппс поглядел на коврик перед камином, куда указывал костлявый палец Мастермена), под колесами их ненавистных автомобилей, миллионы людей гниют и выводят свое потомство во тьме, да, во тьме, ибо они, эти богачи, застят людям свет. И множатся во тьме массы темного люда. И нет у них иной доли... Если вы не умеете пресмыкаться, или сводничать, или воровать, вам суждено всю жизнь барахтаться в болоте, где вы родились. А над вами эти бо-

гатые скоты грызутся из-за добычи и стараются урвать кусок побольше, заграбастать еще и еще, и все им мало! Они готовы отнять у нас все — школы и даже свет и воздух,— обкрадывают нас и обсчитывают, а потом пытаются забыть о нашем существовании... В нашем мире нет правил, нет законов, в нем распоряжается несчастный или счастливый случай, прихоть судьбы... Толпы нищих и обездоленных множатся, а кучка правителей ни о чем не заботится, ничего не предвидит, ничего не предчувствует!

Он перевел дух, шагнул и остановился возле Киппса, сжигаемый яростью. А Киппс только слушал и уклончиво кивал, пристально и хмуро глядя на его шлепанцы.

— И не думайте, Киппс, будто есть в этих людях что-то такое, что ставит их над нами, что дает им право втаптывать нас в грязь. Нет, ничего в них нет. Мерзкие, подлые, низкие души! А посмотрите на их женщин! Размалеванные лица, крашеные волосы! Они прячут свои уродливые фигуры под красивыми тряпками и подхлестывают себя наркотиками! Любая светская дамочка хоть сейчас продаст тело и душу, станет лизать пятки еврею, выйдет замуж за черномазого — на все пойдет, только бы не жить честно, с порядочным человеком на сто фунтов в год! На деньги, которые и для вас и для меня означали бы целое состояние! Они это отлично знают. И знают, что мы это знаем... Никто в них не верит. Никто больше не верит в благородных аристократов. Никто не верит в самого короля. Никто не верит в справедливость законов... Но у людей есть привычка, люди идут проторенными дорожками до тех пор, пока у них есть работа и пока они каждую неделю получают свое жалованье...Это все ненадолго, Киппс.

Он закашлялся и помолчал минуту.

— Близятся худые времена! — воскликнул он. — Худые времена!

Но тут он затрясся в жестоком приступе кашля и сплюнул кровью.

— Пустяки,— сказал он, когда Киппс ахнул в испуге.

Потом Мастермен опять заговорил, и слова его то и дело прерывались кашлем, а Сид так и сиял и глядел на него с мукой и восторгом.

— Посмотрите, в какой гнусный обман они обратили всю нашу жизнь, как насмеялись над юностью. Что за юность была, к примеру, у меня? В тринадцать меня загнали на фабрику, точно кролика под нож. В тринадцать лет! Со своими отпрысками в этом возрасте они нянчатся, как с младенцами. Но даже тринадцатилетнему мальчишке ясно, что это за ад — фабрика! Там тебя изнуряют однообразным, тяжким трудом, и оскорбляют, и унижают! А потом смерть. И я стал бороться — в *тринадцать* лет!

Эхом отдались в памяти Киппса слова Минтона «будешь барахтаться в сточной канаве, пока не сдохнешь», но Мастермен не ворчал, как Минтон, голос его звенел негодованием.

— Наконец мне удалось вырваться оттуда,—сказал он негромко и вдруг снова опустился в кресло. Потом, помолчав, продолжал: — Да только времени осталось мало. Одному выпадет удача, другой как-нибудь изловчится,— и вот мы выползаем на травку, измученные, искалеченные, только затем, чтобы умереть. Вот он, успех бедняка, Киппс. А большинству и вовсе не удается выкарабкаться. Я весь день работал и полночи занимался. И вот что из этого вышло, да и не могло быть иначе. Я побежден! И ни разу за всю жизнь мне не улыбнулось счастье, ни разу,— дрожа от гнева, Мастермен взмахнул костлявым кулаком.— Эти подлые твари отменили в университетах стипендии для студентов старше девятнадцати лет — из страха перед такими, как я. Что же нам оставалось после этого?.. Пропадать ни за грош. К тому времени, как я успел чему-то научиться, все двери были уже заперты. Я думал, знания выведут меня из тупика... я был уверен! Я боролся за знания, как другие борются за хлеб. Ради знаний я голодал. Я отворачивался от женщин, вот на что шел. Я загубил это чертово легкое...— Голос его задрожал от бессильного гнева.— Да я сто́ю десятка принцев! Но я побежден, моя жизнь пропала зря. Стадо свиней опрокинуло меня и растоптало. От меня уже нет никакого толку ни мне самому, ни кому другому. Я загубил свою жизнь и не гожусь для этой драки из-за жирного куска. Если бы я стал дельцом, предпринимателем, если бы я только о том и старался, как бы половчее обобрать ближнего сво-

его, вот тогда другое дело... А, ладно! Теперь уже поздно. Слишком поздно об этом думать. Теперь уже для всего слишком поздно! Да и все равно я бы не мог... А ведь сейчас в Нью-Йорке какой-нибудь любимец общества занимается корнером пшеницы! Господи! — хрипло вскрикнул он и судорожно сжал кулак.— Господи, мне бы на его место! Уж тогда бы я еще успел послужить человечеству.

Он свирепо взглянул на Киппса, лицо его пылало темным румянцем, глубоко запавшие глаза сверкали, и вдруг его точно подменили.

За дверью послышался звон стаканов, и Сид пошел отворять.

— Так я вот что хочу сказать.—Мастермен вдруг опять успокоился и теперь спешил договорить, пока ему не помешали.—В нашем мире все вверх дном, и каждый человек, кто бы он ни был, впустую растрачивает свои силы и способности. Куда бы вас ни привела ваша удача, вы в конце концов на собственном опыте убедитесь, что это так... Я возьму еще сигарету, ладно?

Рука у него так дрожала, что он не сразу ухватил сигарету из протянутого Киппсом портсигара; тут в комнату вошла жена Сида, и Мастермен поднялся, лицо у него стало какое-то виноватое.

Миссис Порник встретила его взгляд, посмотрела на горящие лихорадочным румянцем щеки и спросила почти сурово:

— Опять про социализм говорили?

5

В шесть часов вечера Киппс шел по южному краю Гайд-парка, вдоль аллеи для верховой езды. Вообразите, вот он неторопливо шагает по беспредельному и подчас беспредельно сложному миру, невысокий, очень прилично одетый человечек. Порой лицо его становится задумчиво-печальным, и он тихонько насвистывает, порой рассеянно поглядывает по сторонам. Изредка по аллее проскачет всадник, промчится по мостовой коляска; меж высоких рододендронов и лавров по зеленым лужайкам гуляют группами и поодиночке люди, одетые примерно так, как одет был Киппс, когда нанес Уолшинге-

мам свой первый визит после помолвки с Элен. И в путанице мыслей, одолевавших Киппса, мелькнула еще одна: надо было одеться получше...

Вскоре ему захотелось присесть, зеленый стул так и манил. Киппс помедлил, потом сел, откинулся на спинку и перекинул ногу на ногу.

Ручкой зонта он тер подбородок и думал о Мастермене и его обличительных речах.

— Малость спятил, бедняга,— пробормотал Киппс, потом прибавил:—Интересно... (На лице его отразилась усиленная работа мысли.) Интересно, что это он говорил: худые времена...

Когда сидишь тут, в парке, кажется, что мир наш — предприятие вполне солидное, процветающее и умирающий Мастермен не дотянется до него своей костлявой рукой. И все же...

Чудно̀, что Мастермен заставил его вспомнить о Минтоне.

Но тут Киппсу пришло на ум нечто куда более важное. Перед самым его уходом Сид спросил:

— Ты Энн видал?—И, не дожидаясь ответа, прибавил: — Теперь будете видеться чаще. Она поступила на место в Фолкстоне.

И мир, в котором все вверх дном, и все прочее в этом духе сразу перестали заботить Киппса.

Энн!

Теперь с ней того и гляди встретишься на улице.

Киппс подергал свои усики.

Вот бы хорошо с ней встретиться...

Да, но ведь это будет страх как неловко!

В Фолкстоне! Это, пожалуй, уж слишком...

Вот бы встретить ее, когда он в своем великолепном вечернем костюме идет слушать оркестр... Мгновение Киппс тешился этой блаженной грезой, но вдруг похолодел: сладкий сон обернулся злым кошмаром.

А вдруг они повстречаются, когда он будет с Элен!

— О господи!—воскликнул Киппс.

Жизнь подсунула ему новое осложнение, и от него никуда не денешься. И зачем только он поцеловал Энн, зачем ездил второй раз в Нью-Ромней! Как он мог тогда забыть про Элен? На время Элен завладела его мыслями. Надо непременно ей написать — этакое лег-

кое, непринужденное письмецо: уехал, мол, на денек-другой в Лондон. Он попытался вообразить ее лицо в ту минуту, когда она это прочтет. И еще надо написать старикам — повторить, что дела неожиданно заставили его уехать. С ними-то это сойдет, но Элен не такая, она потребует объяснений.

Эх, хорошо бы никогда не возвращаться в Фолкстон! Тогда бы все уладилось.

Внимание Киппса привлекли проходящие мимо два безупречно одетых джентльмена и молодая леди в ослепительном наряде. И разговор у них, наверно, так и сверкает остроумием. Киппс проводил их глазами. Изящной перчаткой леди похлопала по руке джентльмена, идущего слева. Франты! Вырядились...

Он смотрел сейчас на весь окружающий его мир, точно только-только вылупившийся птенец, который впервые выглянул из гнезда. Какая же она удивительная, жизнь, и каких только нет на свете людей!

Он закурил сигарету и, выпуская медленные струйки дыма, задумался, глядя вслед тем троим. Вот у кого, видно, денег вдоволь. Уж, верно, у них годовой доход побольше тысячи. А может, и нет. Верно, проходя мимо него, они и не подозревали, что этот скромно одетый человек—тоже джентльмен со средствами. Им, конечно, легче живется. Они привыкли хорошо одеваться; их с пеленок учили всему, что требуется; им не приходилось, как ему, на каждом шагу становиться в тупик; они не жили среди таких разных людей, которых никак невозможно свести друг с другом. Если, к примеру, та леди обручится с одним из своих провожатых, ей не грозит встреча с тучным дядюшкой, которому не терпится ее облобызать, или с Читтерлоу, или с опасно-проницательным Пирсом.

Он стал думать об Элен.

Интересно, когда они поженятся, станут Квипсами, или Квипами (Филин не одобрил окончания на «эс»), заживут в квартирке в Вест-Энде и избавятся от знакомых низкого звания и им уже не придется сталкиваться с людьми, стоящими ступенькой ниже, будут они с Элен прогуливаться здесь разодетые, вроде тех троих? Очень было бы приятно. Если только одет как полагается.

Элен!

Иногда ее не поймешь.

Киппс сильно затянулся и выпустил клуб дыма.

Будут званые чаи, обеды, визиты... Ничего, можно и привыкнуть.

А только начинать с анаграмм — это уж слишком!

Сперва и за столом было одно мучение: не разберешь, что можно брать вилкой, а что нельзя, к какому блюду как подступиться. И все же...

И все же почему-то его сильнее прежнего терзали сомнения: нет, наверно, он никогда не привыкнет. Ненадолго он отвлекся, глядя на девушку с грумом верхами, потом его снова одолели собственные заботы.

Надо написать Элен. Как ей объяснить, почему он не явился на чай с анаграммами? Она ведь непременно хотела, чтобы он пришел. Киппсу вспомнилось ее решительное лицо, и оно не пробудило в нем никаких нежных чувств. Охота была выставлять себя дураком на этом проклятом чае! Ладно, допустим, он увильнул от анаграмм, но еще поспеет к званому обеду! Эти обеды—тоже чистое мучение, а все-таки не то, что анаграммы. Вот приедет он в Фолкстон и первым делом столкнется на улице с Энн. А вдруг он и впрямь повстречает Энн, когда пойдет куда-нибудь с Элен!

И какие только встречи не приключаются на свете!

Хорошо еще, что они с Элен переедут в Лондон!

Но тут он вспомнил про Читтерлоу. Ведь супруги Читтерлоу тоже надумали поселиться в Лондоне. Если не дать им обещанных двух тысяч, они сами пожалуют за деньгами; от этих Читтерлоу не так-то просто отделаться; а если они получат денежки, они приедут в Лондон ставить пьесу. Киппс попытался представить: Элен принимает гостей, все так чинно и благородно, и вдруг врывается неутомимый, напористый и самоуверенный Читтерлоу и захлестывает всех и вся оглушительными потоками красноречия,— да ведь все полягут, точно пшеница в ураган!

Будь он неладен, этот Читтерлоу, провались он в тартарары! А только рано или поздно, в Фолкстоне ли, в Лондоне ли, с ним надо будет расплатиться, этого не миновать. А тут еще Сид! Сид — брат Энн. Внезапно Киппс с ужасом понял: не следовало ему, джентльмену, принимать приглашение Сида на обед.

Сид не из тех, кого можно осадить или не заметить, и притом он брат Энн! Да вовсе и не хочется не замечать Сида; это было бы еще хуже, чем с Баггинсом и Пирсом, в тысячу раз хуже. А уж после сегодняшнего обеда! Это почти все равно, что не заметить самое Энн. Да какое там почти, одно и то же!

А вдруг бы он шел с Элен или с Филином!..

— Да пропади оно все пропадом!—вырвалось наконец у Киппса, и он повторил со злостью: — Пропади все пропадом!

Потом встал, швырнул окурок и нехотя, будто из-под палки, поплелся в столь не соответствующий его теперешнему настроению великолепный Гранд-отель...

А еще говорят: коли денежки есть, живи припеваючи, без забот, без хлопот.

6

Три дня и три ночи Киппс терпел великолепие Гранд-отеля, а потом в панике бежал. Королевский отель взял над Киппсом верх, разбил его наголову и обратил в бегство не по злой воле, а просто своим великолепием, великолепием в сочетании с чрезмерной заботой о постояльце и его удобствах. Вернувшись в отель, Киппс обнаружил, что потерял карточку с номером своей комнаты, и некоторое время озадаченно бродил по холлам и коридорам, но потом спохватился: верно, все портье и все служащие в фуражках с золотыми галунами глядят на него и потихоньку посмеиваются. Наконец в тихом уголке, возле парикмахерской, он набрел на какого-то добродушного на вид служащего в ливрее бутылочного цвета и поведал ему о своей беде.

— Послушайте,— вежливо, с улыбкой сказал он этому человеку,—я что-то никак не отыщу свою комнату.

Человек в бутылочной ливрее вовсе не стал насмехаться, напротив, услужливо объяснил, как тут быть, достал ключ, посадил Киппса в лифт и проводил по коридору до самого номера. Киппс дал ему на чай полкроны.

Укрывшись у себя в номере, Киппс стал собираться с духом, чтобы идти обедать. Уроки молодого Уолшин-

гема не прошли даром: он взял с собой в Лондон фрак и теперь стал облачаться. К сожалению, удирая от тети с дядей, он второпях забыл прихватить еще одни туфли и довольно долго не мог решить, идти ли в темно-красных суконных шлепанцах, шитых золотом, или в башмаках, которые не снимал весь день и которые в таком случае придется чистить полотенцем; а он еще и ногу натер и потому под конец выбрал шлепанцы.

Уже после, заметив, какие взгляды бросают на его шлепанцы портье, официанты и прочие обитатели Гранд-отеля, Киппс пожалел, что не остановил свой выбор на башмаках. Впрочем, чтобы как-то возместить нарушение стиля, он сунул под мышку шапокляк.

Ресторан он отыскал без особого труда. В просторной, великолепно убранной зале стояли маленькие столики, освещенные электрическими свечами под красными абажурами, и за столиками обедало множество народу, все явно au fait [1]—джентльмены во фраках и ослепительные дамы с обнаженными плечами. Киппс еще никогда не видел настоящих вечерних туалетов и сейчас просто глазам не верил. Но были тут и люди, одетые обыкновенно, не по-вечернему,—эти, наверно, смотрят сейчас на него и гадают, к какому аристократическому роду принадлежит этот молодой человек. В красиво убранной нише расположился оркестр, и музыканты — все до одного—уставились на его темно-красные шлепанцы. Ну, пускай теперь не надеются на подачку, уж он-то им ни гроша не пожертвует. Беда, что этот роскошный зал так велик: пока еще доберешься до места и спрячешь ноги в темно-красных домашних туфлях под стол...

Киппс выбрал столик — не тот, где довольно нахальный с виду официант услужливо отодвинул для него стул, а другой,—сел было, да вспомнил, что у него с собой шапокляк, и, чуть поразмыслив, тихонько приподнялся и сунул его под себя.

(Поздно вечером компания, что ужинала за этим столиком, обнаружила злополучный головной убор на стуле, и на следующее утро его вручили Киппсу.)

---

[1] В курсе дела, на высоте положения. Здесь — знающие, как себя держать *(франц.)*.

Он осторожно отодвинул салфетку в сторону, без труда выбрал суп: «Бульон, пожалуйста»,— но карточка вин с великим множеством названий совсем сбила его с толку. Он перевернул ее, увидел раздел с разными марками виски, и тут его осенила блестящая идея.

— Послушайте,—обратился он к официанту и ободряюще кивнул, потом спросил доверительно:—А старика Мафусаила, три звездочки у вас не найдется?

Официант пошел узнавать, а Киппс, очень гордый собой, принялся за суп. Оказалось, что старика Мафусаила в ресторане не имеется, и Киппс заказал кларет, углядев его в середине карточки вин.

— Что ж, выпьем вот этого,— сказал он, ткнув пальцем в карточку. Он знал, что кларет — хорошее вино.

— Полбутылки? — спросил официант.

— В самый раз,— ответил Киппс.

Что ж, он не ударил лицом в грязь и чувствовал себя настоящим светским человеком. Покончив с супом, он откинулся на спинку стула и медленно повел глазами на дам в вечерних туалетах, сидящих за столиком справа.

Вот это да! Услыхал бы, не поверил!

Они были чуть не нагишом. Плечи едва прикрыты кусочком черного бархата.

Он опять поглядел направо. Одна, с виду уж такая греховная, хохотала, приподняв бокал с вином; другая, та, что в черном бархате, быстрыми, беспокойными движениями совала в рот кусочки хлеба и трещала без умолку.

Вот бы старина Баггинс поглядел!

Тут Киппс поймал на себе взгляд официанта и покраснел до корней волос. Некоторое время он не поворачивал голову в сторону того столика и безнадежно запутался с ножом и вилкой: как есть рыбу? Вскоре он заметил, что за столиком слева от него дама в розовом управляется с рыбой при помощи каких-то совсем других орудий.

Потом подали волован[1], и это было начало конца. Киппс взял было нож, но тут же увидел, что дама в ро-

---

[1] Волован (*франц.*) — нечто вроде пудинга с мясом или рыбой, ломтиками, притом с соусом или гарниром.

зовом справляется одной только вилкой, и поспешно положил вымазанный в соусе нож прямо на скатерть. И очень скоро убедился, что при его неопытности с вилкой в руках можно долго охотиться и все равно ничего не поймаешь. У него пылали уши, он поднял глаза и встретился взглядом с дамой в розовом; она сейчас же отвела глаза и с улыбкой что-то сказала своему спутнику.

Ох, как возненавидел Киппс эту розовую даму!

Наконец он подцепил на вилку большой кусок волована и на радостях хотел разом сунуть его в рот. Но кусок был слишком велик, он разломился и шлепнулся обратно в тарелку. Бедная, бедная крахмальная сорочка!

— А, черт! — сказал Киппс и схватился за ложку.

Его официант отошел к двум другим официантам и что-то сказал им: ясно, насмехается! Киппс вдруг рассвирепел.

— Эй, послушайте! — крикнул он и помахал официанту рукой.—Уберите это!

Все, кто сидел за столиком справа — и обе дамы, те самые, с голыми плечами,— обернулись и посмотрели на него... Киппс чувствовал, что все смотрят на него и забавляются, и возмутился. Несправедливо это! В конце концов ведь им с детства даны блага и преимущества, которых он всегда был лишен. А теперь, когда он изо всех сил старается, они, конечно, глумятся над ним, и перемигиваются, и пересмеиваются! Он хотел поймать их на этом, но никто не пялил на него глаза и не подталкивал друг друга локтем, и в поисках утешения он налил себе еще бокал вина.

Нежданно-негаданно он почувствовал себя социалистом. Да, да, пускай приходят худые времена, и пускай все это кончится!

Подали баранину с горошком. Киппс придержал руку официанта.

— Не надо горошка,— сказал он.

Он уже знал, как трудно справляться с горошком и какие тут подстерегают опасности. Горошек унесли, а Киппс опять ожесточился. Он будто вновь услыхал зажигательные речи Мастермена. Ну и публика здесь, а еще поднимают человека на смех! Женщины чуть не нагишом... Потому-то он и растерялся. Поди-ка пообедай,

когда кругом сидят в таком виде... Ну и публика! Нет, хорошо, что он не их роду-племени. Ладно, пускай смотрят. Вот что, если они опять станут пялить на него глаза, он возьмет да и спросит какого-нибудь мужчину: на кого, мол, уставился? Сердитое, взволнованное лицо Киппса не могло не привлечь внимания. На беду, оркестр исполнял что-то весьма воинственное. С Киппсом происходило то, что психологи называют обращением. В несколько минут переменились все его идеалы. Он, который еще недавно был «в сущности, джентльмен», прилежный ученик Филина, то и дело из учтивости снимавший шляпу, в мгновение ока обернулся бунтовщиком, отверженным, ненавистником всех, кто задирает нос, заклятым врагом высшего света и нынешнего общественного устройства. Вот они разряженные, сытые, они, эти люди, ограбили весь мир и вертят им как хотят...

— Не желаю,— сказал он, когда ему принесли новое блюдо.

С презрением оглядел он голые плечи дамы слева.

Он отказался и от следующей перемены. Не нравится ему эта разукрашенная еда! Верно, у них тут иностранец какой-нибудь в поварах. Он допил вино и доел хлеб.

— Не желаю.

— Не желаю.

Какой-то человек, обедавший за столиком неподалеку, с любопытством смотрел на его пылающее лицо. Киппс отвечал свирепым взглядом. «Не хочу и не ем, а вам какое дело?»

— Это чего?—спросил Киппс, когда ему подали какую-то зеленую пирамиду.

— Мороженое,— ответил официант.

— Ладно, я попробую,— сказал Киппс.

Он схватил вилку и ложку и накинулся на нового врага. Пирамида поддавалась с трудом.

— Ну же! — с ожесточением сказал Киппс, и тут срезанная вершина пирамиды вдруг с удивительной легкостью взлетела и шлепнулась на пол в двух шагах от его столика. Киппс на минуту замер, время словно застыло, он словно провалился куда-то в пустоту.

За соседним столиком дружно засмеялись.

Запустить в них остатками мороженого?

Сбежать?

Во всяком случае, если уж уходить, то с достоинством.

— Нет, больше не надо,— сказал Киппс официанту, который любезно попытался положить ему еще мороженого.

Может, сделать вид, будто он нарочно бросил мороженое на пол—будто оно ему не понравилось и вообще здешний обед ему не по вкусу? Киппс оперся обеими руками на стол, отставил подальше стул, отбросил с темно-красной туфли упавшую салфетку и поднялся. Осторожно переступил через мороженое, загнал ногой салфетку под стол, засунул руки глубоко в карманы и зашагал прочь, отрясая, так сказать, прах дома сего с ног своих. Позади остались тающее на полу мороженое, теплый, вдавленный в сиденье стула шапокляк и в придачу все его мечты и надежды сделаться светским человеком.

7

Киппс вернулся в Фолкстон как раз вовремя, чтобы поспеть на чай с анаграммами. Но, пожалуйста, не воображайте, будто после душевного переворота, который он пережил, обедая в Гранд-отеле, Киппс стал по-другому относиться к этому светскому и умственному развлечению. Он вернулся просто потому, что Гранд-отель оказался ему не по плечу.

Три дня длилось его молчаливое отчаянное единоборство с огромным отелем, и все это время внешне он был спокоен, разве что, может быть, минутами краснел и немного ощетинивался, но в душе его шла мучительная, непрестанная, ожесточенная борьба, все перемешалось: угрызения совести, сомнения, стыд, самолюбие, стремление утвердить себя. Он не желал сдаться этому чудовищу без боя, но в конце концов пришлось признать себя побежденным. Слишком неравны были силы. По одну сторону он сам — всего с одной парой башмаков, не говоря уже ни о чем другом; а по другую—настоящие джунгли бесчисленных комнат и коридоров—лабиринт, раскинув-

шийся на несколько акров, и в дебрях его тысяча с лишним человек—постояльцев и прислуги, и все только тем и заняты, что подозрительно поглядывают на него, исподтишка над ним смеются, нарочно поджидают его в самых неожиданных местах, чтобы столкнуться с ним нос к носу в самую неподходящую минуту, сбить его с толку и унизить. К примеру, отель взял над ним верх в схватке из-за электричества. После обеда Киппс нажал кнопку, думая, что это выключатель, а оказалось, это электрический звонок, и тотчас явилась горничная—угрюмая, несимпатичная молодая женщина, которая глядела на него свысока.

— Послушайте,— обратился к ней Киппс, потирая ногу, которую ушиб, пока в темноте шарил по стенам в поисках выключателя,— почему у вас тут нет свечей и спичек?

Последовало объяснение, и тем самым отель взял верх.

— Не всякий умеет обращаться с этими штучками,— сказал Киппс.

— Да, не всякий,—ответила горничная с плохо скрытым презрением и захлопнула за собой дверь.

— Эх, надо было дать ей на чай,— спохватился Киппс.

Потом он обтер башмаки носовым платком и отправился гулять; гулял долго и вернулся в кэбе; но отель побил его в следующем раунде: Киппс не выставил с вечера башмаки за дверь и утром снова должен был чистить их сам. Отель унизил его утром и еще раз: ему принесли горячей воды для бритья, застали его уже совсем одетым и с удивлением оглядели его воротничок и галстук; но не могу не отметить, что зато с завтраком он справлялся почти без осложнений.

Потом отель опять взял над ним верх, ибо в сутках было двадцать четыре часа, а Киппсу решительно нечем было заняться. В первый же день, пока он скитался по Лондону, не зная, где бы утолить голод, он натер ногу и теперь не отваживался на долгие прогулки. Несколько раз на дню он выходил из отеля и очень скоро возвращался обратно, и вежливый швейцар, который при этом неизменно прикасался к фуражке, первый вынудил Киппса дать ему на чай.

Это он чаевые зарабатывает, догадался Киппс.

И в следующий же раз, к удивлению швейцара, отвалил ему шиллинг; а тут ведь лиха беда—начало... Он купил в киоске газету и сдачу с шиллинга отдал газетчику; потом поднялся в лифте и дал мальчику-лифтеру шестипенсовик, а газету, так и не развернув, забыл в лифте.

В коридоре он встретил ту самую горничную и дал ей полкроны. Теперь он покажет этому заведению, кто он такой! Он невзлюбил этот отель; он не одобрял его с точки зрения политической, общественной и нравственной, но пусть на его пребывание в этих роскошных палатах не ляжет тенью подозрение, что он скряга! Он спустился на лифте в холл (и опять дал лифтеру на чай), тут его перехватил вчерашний официант и вручил забытый на стуле складной цилиндр, за что тотчас получил полкроны. У Киппса было смутное ощущение, что он обходит своего врага с фланга и переманивает его служащих на свою сторону. Они станут считать его оригиналом и поневоле начнут к нему хорошо относиться. Оказалось, мелкая серебряная монета у него на исходе, и он пополнил запас, разменяв деньги у портье в холле. Потом дал на чай служащему в бутылочно-зеленой ливрее только потому, что он походил на того, который накануне помог ему отыскать его номер; тут он заметил, что один из постояльцев смотрит на него во все глаза, и усомнился, правильно ли он поступил в данном случае. В конце концов он вышел на улицу, сел в первый попавшийся омнибус, доехал до конечной остановки, побродил немного по удивительно красивому предместью и вернулся в город. Закусил он в дешевом ресторанчике в Ислингтоне и сам не заметил, как около трех часов пополудни вновь оказался в Гранд-отеле; во время этой прогулки он опять, и на сей раз основательно, натер ногу и притом почувствовал, что сыт Лондоном по горло. В холле он заметил аккуратную афишку, которая приглашала постояльцев в пять часов в гостиную на чаепитие.

Пожалуй, все-таки напрасно он начал раздавать подачки. Он убедился, что сделал неверный шаг, когда заметил, что служащие отеля глядят на него вовсе не с уважением, как следовало бы ожидать, а с веселым любопытством, словно гадают, кого же следующего он

осчастливит чаевыми. Но если он теперь пойдет на попятный, они сочтут его уж совсем распоследним дураком. Нет, пускай знают, с кем имеют дело, такого богача не каждый день встретишь. И такая у него прихоть — налево и направо раздавать чаевые. А все-таки...

А все-таки, видно, этот отель снова взял над ним верх.

Киппс сделал вид, будто задумался, и так прошел через холл, оставил в гардеробной зонтик и шляпу и отправился в гостиную пить чай.

Сперва ему показалось, что в этом раунде победа за ним. Поначалу в большой комнате было тихо и покойно, и он с облегчением откинулся в кресле и вытянул ноги, но скоро сообразил, что выставил на всеобщее обозрение свои запыленные башмаки; он выпрямился и подобрал ноги, и тут в гостиную стали стекаться леди и джентльмены; они рассаживались вокруг него и тоже пили чай, и вновь пробудили в нем враждебное чувство к высшим сословиям, вспыхнувшее накануне в его душе.

Вскоре Киппс заметил неподалеку даму с пышными белокурыми волосами. Она разговаривала со священником, который, видимо, был ее гостем и отвечал ей вполголоса и очень почтительно.

— Нет,— говорила она,— наша дорогая леди Джейн так бы не поступила!

Священник что-то пробормотал в ответ, голоса его почти не было слышно.

— Бедняжка леди Джейн, она такая чувствительная! — громко, с выражением произнесла белокурая.

Подошел важный лысый толстяк и подсел к этим двоим, самым оскорбительным образом поставив свой стул так, что спинка торчала прямо перед носом Киппса.

— Вы рассказываете о несчастье нашей дорогой леди Джейн? — прожурчал лысый толстяк.

Молодая пара—она в роскошном туалете, он во фраке, наверно, от самого лучшего портного — расположилась по правую руку от Киппса, тоже не обращая на него никакого внимания, словно его тут и нет.

— Я ему так и сказал,— прогудел молодой джентльмен глухим басом.

— Да что вы!—воскликнула его спутница и ослепительно улыбнулась, точно красотка с американской рекламы.

Все они, конечно, считают его чужаком. И Киппсу отчаянно захотелось как-то утвердить себя. Хорошо бы вдруг вмешаться в разговор, поразить их, ошеломить. Может, произнести речь в духе Мастермена? Нет, невозможно... А все-таки хорошо бы доказать им, что он чувствует себя здесь легко, как дома.

Озираясь по сторонам, он заметил какое-то строгого вида сооружение с черными гладкими стенками, а на нем прорезь и эмалированную табличку-указатель.

А что, если завести музыку—тогда все сразу признают в нем человека со вкусом и увидят, что он чувствует себя вполне непринужденно. Киппс встал, прочел несколько названий, наудачу выбрал одно, опустил шестипенсовик в прорезь — да, целый шестипенсовик! — и приготовился услышать что-нибудь утонченное и нежное.

Для столь изысканного заведения, как Гранд-отель, сей инструмент поистине оказался чересчур громогласен. Вначале он трижды взревел, точно осел, и тем прорвал плотину издавна царившей здесь тишины. Казалось, это подают голос пращуры труб, допотопные медные тромбоны-великаны и железнодорожные тормоза. Ясно слышалось, как гремят колеса на стрелках. Это было не столько вступление к музыкальному опусу, как рывок из окопов и стремительная атака под аккомпанемент шрапнели. Не столько мотив, сколько рикошет. Короче говоря, это неистовствовал несравненный саксофон. Музыка эта ураганом обрушилась на приятельницу леди Джейн и унесла в небытие светскую новость, которой она так и не успела никого поразить; юная американка слева от инструмента взвизгнула и отшатнулась от него.

Фью-ить!.. Ку-ка-реку!.. Тру-ту-ту. Фью-ить!.. Кука-ре-ку... Тра-ла-ла. Бам! Бам, бам, трах! Чисто американская музыка, полная чисто американских звуков, проникнутая духом западных колледжей с их одобрительными воплями, предвыборных кампаний с их завываниями и улюлюканьем, развеселая, неуемная музыка, достойная этой огромной детской человечества.

Этот бурный, стремительный поток звуков подхватывал слушателя — и тот чувствовал себя так, словно его

посадили в бочку и швырнули в Ниагару. Уау-у! Эх! Так его! Давай! И-эх!.. Стоп!.. Пощады! Пощады! Нет! Бум! Трах!

Все оглядывались, разговоры оборвались и уступили место жестам.

Приятельница леди Джейн ужасно разволновалась.

— Неужели нельзя это прекратить?—прокричала она официанту, указывая рукой в перчатке на инструмент, и что-то прибавила насчет «этого ужасного молодого человека».

— Этот инструмент вообще не следует пускать в ход,— сказал священник.

Лысый толстяк, видно, тоже что-то сказал, официант в ответ покачал головой.

Люди начали расходиться. Киппс с шиком развалился в кресле, потом постучал монетой, подзывая официанта.

Он расплатился, щедро, как и положено джентльмену, оставил на чай и не торопясь зашагал к двери. Его уход, видно, окончательно возмутил приятельницу леди Джейн, и, выходя, он все еще видел, как она потрясала рукой в перчатке — должно быть, все допытывалась: «Неужели нельзя это прекратить?» Музыка неслась за ним по коридору до самого лифта и смолкла, лишь когда он затворился в тиши своей комнаты; немного погодя он увидел из окна, что приятельница леди Джейн и ее гости пьют чай за столиком во дворе.

Это уж, надо думать, было очко в его пользу. Но только оно одно и было у него на счету, все прочие достались дамам и господам из высшего сословия и самому Гранд-отелю. А вскоре он стал сомневаться: может быть, и это очко не в его пользу? Если разобраться, так это, пожалуй, просто грубость — помешать людям, когда они сидят и беседуют.

Он заметил, что из-за конторки на него уставился портье, и вдруг подумал, что отель, пожалуй, сквитается с ним, да еще как—на обе лопатки положит!—когда придет время платить по счету.

Они могут взять свое, представив ему чудовищный, непомерный счет.

А вдруг они потребуют больше, чем у него есть при себе?

У клерка физиономия премерзкая, такому обмануть нерешительного человека—одно удовольствие.

Тут он заметил какого-то служащего, который приложил к форменной фуражке два пальца, и машинально протянул ему шиллинг, но его уже брала досада. Нешуточный расход эти чаевые!

Если отель и вправду представит непомерный счет, что тогда делать? Отказаться платить? Устроить скандал?

Но где ж ему справиться со всеми этими толпами в ливреях бутылочного цвета?..

Около семи Киппс вышел из отеля, долго гулял и наконец поужинал в дешевом ресторанчике на Юстон-роуд; потом дошел до Эджуэр-роуд, заглянул в «Метрополитен Мюзик-холл», да так и остался там сидеть, пока не начались упражнения на трапеции,— от этого зрелища он совсем пал духом и отправился в отель спать. Он дал лифтеру на чай шестипенсовик и пожелал ему спокойной ночи, но сам долго не мог уснуть и перебирал в уме историю с чаевыми, вспоминал все ужасы вчерашнего обеда в ресторане отеля, и в его ушах вновь звучал торжествующий рев дьявола, что издавна был заточен в гармоникон и наконец по его, Киппса, милости вырвался на свободу. Завтра он станет притчей во языцех для всего отеля. Нет, хватит с него. Надо смотреть правде в глаза — он разбит наголову. Конечно же, тут никто отродясь не видал такого дурака. Бр-р!..

Когда Киппс объявил портье, что уезжает, в его голосе звучала горечь.

— Я желаю съехать,—сказал Киппс и со страхом перевел дух.—Покажите-ка, чего там в моем счете.

— Завтрак один?—осведомился клерк.

— А по-вашему, я что, по два завтрака съедаю?

Отъезжая, Киппс с горящим лицом и обидой в душе лихорадочно раздавал чаевые всем встречным и поперечным, оделил и рассеянного торговца бриллиантами из Южной Африки, который ожидал в вестибюле свою супругу. Извозчику, отвезшему его на вокзал Черинг-Кросс, Киппс дал четыре шиллинга—никакой мелочи у него уже не осталось,—хотя предпочел бы удавить его. И тут же, экономии ради, отказался от услуг носильщика и ожесточенно потащил по перрону свой чемодан.

ГЛАВА VIII

КИППС ВСТУПАЕТ В СВЕТ

1

Киппс покорился неумолимой судьбе и решил явиться на чай с анаграммами.

По крайней мере он встретится с Элен на людях, так будет легче выдержать трудную минуту объяснений насчет его неожиданной прогулки в Лондон. Они не виделись со дня его злополучной поездки в Нью-Ромней. Он обручен с Элен, он должен будет жениться на ней— и чем скорее они увидятся, тем лучше. Когда он как следует поразмыслил, все его головокружительные планы— заделаться социалистом, бросить вызов всему миру и навсегда махнуть рукой на всякие визиты—рассыпались в прах. Нет, Элен ничего подобного не допустит. Что же касается анаграмм,—выше головы все равно не прыгнешь, но стараться он будет изо всех сил. Все, что произошло в Королевском Гранд-отеле, все, что произошло в Нью-Ромней, он похоронит в своей памяти и примется сызнова налаживать свое положение в обществе. Энн, Баггинс, Читтерлоу—все они в трезвом свете дня, проникавшем в поезд, увозивший его из Лондона в Фолкстон, снова стали на свое место, все они теперь не ровня ему и должны навсегда уйти из его мира. Вот только с Энн очень неловко вышло, неловко и жалко. Киппс задумался об Энн, но потом вспомнил про чай с анаграммами. Если посчастливится увидеть сегодня вечером Филина, может, удастся уговорить его, и он как-нибудь выручит, что-нибудь присоветует. И Киппс принялся думать, как бы это устроить. Речь идет, конечно, не о недостойном джентльмена обмане, а только о небольшой мистификации. Филину ведь ничего не стоит намекнуть ему, как решить одну или две анаграммы,— этого, конечно, мало, чтобы выиграть приз, но вполне достаточно, чтобы не опозориться. А если это не удастся, можно прикинуться шутником и сделать вид, будто он нарочно разыгрывает тупицу. Если быть настороже, уж как-нибудь можно вывернуться, не так, так эдак...

Наряд, в котором Киппс явился на чаепитие с анаграммами, сочетал в себе строгость вечернего костюма с

некоторой небрежностью в духе приморского курорта — не самый парадный костюм, но и не будничный. Первый упрек Элен прочно засел у него в памяти. Он надел сюртук, но смягчил его строгость панамой романтической формы с черной лентой; выбрал серые перчатки, но для смягчения — коричневые башмаки на пуговицах. Единственный мужчина, кроме него и особ духовного звания,— новый доктор, с очень хорошенькой женой,— явился в полном параде. Филина не было.

Подходя к двери миссис Биндон Боттинг, Киппс был слегка бледен, но вполне владел собой. Он переждал других, а потом и сам вошёл храбро — как подобает мужчине. Дверь отворилась, и перед ним предстала... Энн!

В глубине, за дверью с портьерой, отделявшей прихожую от комнат, скрытая огромным папоротником в искусно разрисованном вазоне, мисс Боттинг-старшая беседовала с двумя гостями; и оттуда же, из глубины, доносилось дамское щебетанье...

И Энн и Киппс были так поражены, что даже не поздоровались, хотя расстались они в прошлый раз очень сердечно. Но сейчас у обоих нервы и без того были до крайности напряжены; оба опасались, что им не по силам окажется эта задача — чай с анаграммами.

— Господи!—только и воскликнула Энн; однако тут же вспомнила о всевидящем оке мисс Боттинг и овладела собой. Она отчаянно побледнела, но машинально приняла шляпу Киппса, а он уже тем временем снимал перчатки.

— Энн.— прошептал он и прибавил: — Это ж надо!

Мисс Боттинг-старшая помнила, что Киппс из тех гостей, которых хозяйке дома следует опекать, и пошла ему навстречу, готовясь пустить в ход все свое обаяние.

— Как мило, что вы пришли, ах, как мило,—говорила она.— Ужасно трудно зазвать в гости интересных мужчин!

Она поволокла ошеломленного, что-то бормочущего Киппса в гостиную, и там он столкнулся с Элен—она была в какой-то незнакомой шляпке и сама показалась ему какой-то незнакомой, словно он не видел ее тысячу лет.

К изумлению Киппса, Элен словно бы нисколько не сердилась за его поездку в Лондон. Она протянула ему свою красивую руку и ободряюще улыбнулась.

— Все-таки не убоялись анаграмм? — сказала она.

К ним подошла вторая мисс Боттинг, держа в руках листки с какими-то таинственными надписями.

— Возьмите анаграмму,— сказала она,— возьмите анаграмму.— И смело приколола один листок к лацкану Киппсова сюртука.

На листке было выведено «Ксивп», и Киппс с самого начала заподозрил, что это анаграмма — «Квипс». Кроме того, мисс Боттинг вручила ему карточку, похожую на театральную программу, с которой свисал карандашик. Киппс и оглянуться не успел, как его представили нескольким гостям, и вдруг очутился в углу, рядом с низенькой особой в огромной шляпе, причем сия леди, точно мелкими камушками, забрасывала его пустопорожними светскими фразами,—он не успевал ни ловить их, ни отвечать.

— Ужасная жара, — говорила дама.—Просто ужасная... Все лето жара... Поразительный год... Теперь все годы поразительные... право, не знаю, что же это будет дальше. Вы согласны, мистер Киппс?

— Оно, конечно,— ответил Киппс и подумал: «Где-то сейчас Энн? Все еще в прихожей? Энн!»

Нечего было глазеть на нее, как баран на новые ворота, и делать вид, будто он с ней незнаком. Это неправильно. Да, но что же правильно?

Маленькая леди в огромной шляпе швырнула новую пригоршню камушков.

— Надеюсь, вы любите анаграммы, мистер Киппс... трудная игра... но надо же как-то объединять людей... это по крайней мере лучше, чем трик-трак. Вы согласны, мистер Киппс?

За растворенной дверью порхнула Энн. Взгляды их встретились, и в ее глазах Киппс прочел недоумение и вопрос. Что-то сместилось в мире—и они оба запутались...

Надо было тогда в Нью-Ромней сказать ей, что он помолвлен. Надо было все ей объяснить. Может, еще и сейчас удастся ей намекнуть.

— Вы согласны со мной, мистер Киппс?

— Оно, конечно,— в третий раз ответил Киппс.

Какая-то дама с усталой улыбкой, на платье которой красовался листок с надписью «Жадобар», подплыла к

собеседнице Киппса, и они о чем-то заговорили. Киппс оказался в полном одиночестве. Он огляделся по сторонам. Элен беседовала с помощником приходского священника и смеялась. Хорошо бы перемолвиться словечком с Энн, подумал Киппс и стал бочком пробираться к двери.

— А вы что такое?—вдруг остановила его высокая, на редкость самоуверенная девица и стала разглядывать надпись на его лацкане — «Ксивп».

— Понятия не имею, что это такое,—сказала она.— А я — Сэр Нессе. Ужасное мучение эти анаграммы, правда?

Киппс что-то промычал в ответ, и вдруг эту девицу окружила стайка шумливых подружек, они принялись отгадывать все вместе и преградили Киппсу путь к двери. Самоуверенная девица больше не обращала на Киппса внимания. Его прижали к какому-то столику, и он стал невольно прислушиваться к разговору миссис «Жадобар» с маленькой леди в огромной шляпе.

— Она уволила обеих своих красоток,— сказала леди в огромной шляпе.— И давно пора. Но эта ее новая горничная тоже не находка. Смазливенькая, правда, но для горничной это вовсе не обязательно, скорее напротив. Да и навряд ли она справится со своей работой. Слишком уж у нее удивленное лицо.

— Кто знает,— сказала леди под названием «Жадобар»,—кто знает. Моих негодниц ничем не удивишь, а вы думаете, они дело делают? Ничуть не бывало.

Нет, он всей душой против этих людей, всей душой на стороне Энн!

Киппс оценивающим взглядом уставился сзади на огромную шляпу — отвратительная, безобразная шляпа! Она судорожно подскакивала и подавалась вперед всякий раз, как ее хозяйка словно откусывала короткую бездушную фразу, и при этом султан из перьев цапли, украшавший шляпу, тоже судорожно вздрагивал.

— Ни одной не отгадала! — вдруг весело завизжали подружки самоуверенной высокой девицы.

Того гляди, они и про него это завизжат! Он ведь так и не понял ничего в этих анаграммах, только вот надпись на его листочке, наверное, означает «Квипс». Ох, как они все стрекочут! Прямо как на летней распрода-

же! С такими всегда хлопот не оберешься, из-за них и уволить могут! И вдруг тлевший в душе Киппса мятежный огонь вновь запылал. Все они тут дрянь, и анаграммы—чепуха и дрянь, и сам он, Киппс, дрянь и дурак, что пришел. Вон Элен все смеется с помощником приходского священника. Хорошо бы она вышла замуж за этого священника и оставила его, Киппса, в покое! Уж тогда бы он знал, что делать. Он ненавидел всю эту компанию, всех вместе и каждого в отдельности. И чего они стараются втянуть и его в свою дурацкую игру? Все вокруг вдруг стало казаться ему на редкость уродливым. В шляпу высокой девицы воткнуты две огромные булавки, из-под полей висят волосы, завитые в штопор, и выбился кончик тесемки. Б-рр, противно смотреть! Миссис «Жадобар» затянута чем-то вроде кружевного корсета, а еще какая-то леди вся сверкает бусами, драгоценностями и прочими украшениями, так что в глазах рябит. Все они костлявые, угловатые, и никакими лентами да оборками этого не скроешь. Ни одну не сравнить с милой, скромной, аккуратненькой Энн, ни у одной нет такой складной фигурки. В ушах Киппса вновь зазвучали речи Мастермена. Подумаешь, благородные леди! Стрекочут, как сороки, всего у них вдоволь — и досуга и денег, и весь мир к их услугам, а они только и умеют, что набиться в какую-нибудь гостиную и тараторить про дурацкие анаграммы.

«А может, «Ксивп»—это на самом деле и не «Квипс», а что-нибудь еще?»—ни с того ни с сего проплыла в мозгу случайная мысль.

И внезапно созрело твердое и бесповоротное решение. Хватит, надо со всем этим кончать!

— Виноват,— сказал он и, словно пловец в водовороте, с трудом стал пробираться к дверям через веселую, оживленную толпу.

Хватит, надо с этим кончать.

Его прибило к Элен.

— Я ухожу, — сказал он, но она лишь скользнула по нему взглядом. Верно, не слыхала.

— И все-таки, мистер Килькингшпрот, вы не можете не признать, что и для ортодоксальности есть предел,— говорила она.

Киппс очутился в завешенном портьерой проходе,

навстречу шла Энн с подносом, уставленным маленькими сахарницами.

Ему захотелось сказать ей хоть что-то.

— Ну и народец! — сказал он и прибавил таинственно: — Я помолвлен вон с той.— Он ткнул пальцем в ту сторону, где колыхалась новая шляпка Элен, и почувствовал, что наступил на юбку.

Глаза у Энн стали растерянные, она посмотрела и прошла мимо, подгоняемая неодолимой силой.

Почему они не могут поговорить друг с другом?

Он очутился в какой-то маленькой комнатке, а потом — в холле, у лестницы. Тут послышался шелест платья—его настигла какая-то особа, должно быть, хозяйка дома.

— Надеюсь, вы еще не уходите, мистер Киппс? — сказала она.

— Мне нужно,— ответил он.— Надо.

— Но помилуйте, мистер Киппс!

— Мне нужно,—сказал он.—Я что-то захворал.

— Но ведь еще и разгадывать не начинали! И чаю вы не пили!

Откуда-то возникла Энн и остановилась у него за спиной.

— Мне надо идти,— сказал Киппс.

Если он тут начнет с ней препираться, Элен, пожалуй, хватится его.

— Что ж, конечно, раз вам непременно нужно...

— Я тут забыл про одно дело,— сказал Киппс, начиная сожалеть о содеянном.—Мне правда нужно.

Миссис Боттинг с видом оскорбленного достоинства отступила, а Энн, вся красная, но как будто совсем спокойная (бог весть, что скрывалось под этим спокойствием!), пошла отворять дверь.

— Мне очень неприятно,— сказал Киппс.— Очень неприятно,— повторил он то ли ей, то ли хозяйке дома, и все та же могучая сила общественных условностей пронесла его мимо, точно бурный поток утопающего, и выбросила на Аппер-Сандгейт-роуд. На крыльце он обернулся было, но дверь со стуком захлопнулась...

Терзаемый стыдом, растерянный, шел он по набережной, и перед глазами его стояло огорченное и удивленное лицо миссис Боттинг...

Прохожие оглядывались на него, и по этим взглядам, несмотря на захлестнувшую его сумятицу мыслей и чувств, он наконец сообразил: что-то неладно.

Оказалось, к лацкану его сюртука все еще приколот листок с буквами «Ксивп».

— Тьфу, пропасть! — И Киппс с яростью сорвал эту гадость. Миг — и клочки этикетки, выполнившей свое предназначение, разлетелись по набережной, подхваченные ветром.

2

Собираясь на обед к миссис Уэйс, Киппс оделся за полчаса до выхода и теперь сидел и ждал, когда за ним зайдет Филин. Руководство «Как вести себя в обществе» было отложено в сторону. Он читал изысканную прозу аристократа, дошел на странице девяносто шестой до строк:

«Принятие приглашения накладывает на принявшего обязательство, отказ или уклонение от коего могут быть оправданы лишь болезнью, семейной утратой или иной, не менее серьезной причиной»...—и погрузился в мрачное раздумье.

В тот вечер у него произошло серьезное объяснение с Элен.

Он попытался рассказать ей кое-что о тех переменах, которые произошли в его душе. Но выложить все начистоту оказалось ему не под силу. И он сказал лишь то, что было проще всего:

— Не нравится мне это светское общество.

— Но вам необходимо встречаться с людьми,—возразила Элен.

— Ну да, но... Все эти ваши знакомые...— Киппс наконец собрался с духом.— Чего в них хорошего, в этих... которые толклись там, на чае с анаграммами.

— Если вы хотите знать жизнь, вам надо встречаться с самыми разными людьми,—сказала Элен.

Киппс долго молчал и с трудом переводил дух.

— Дорогой мой Артур,— снова непривычно мягко заговорила Элен.— Ну разве я стала бы настаивать, чтобы вы бывали в обществе, если бы не думала, что это вам на пользу?

Киппс промолчал в знак согласия.

— Когда мы поселимся в Лондоне, вы и сами почувствуете, что это все не напрасно. Ведь прежде, чем отдаться морским волнам, человек учится плавать в бассейне. В здешнем обществе вполне можно кое-чему научиться. Люди здесь чопорны, и не слишком умны, и ужасно ограниченны, и здесь не сыщешь человека, способного самостоятельно мыслить, но, право же, это не имеет никакого значения. Вы скоро научитесь держаться свободно и непринужденно.

Киппс хотел было снова заговорить, но оказалось, у него просто не хватает слов. И он только глубоко вздохнул.

— Вы очень скоро с этим освоитесь,— обнадежила Элен.

И теперь он сидел и размышлял об этом разговоре и о видах на лондонскую жизнь, которые открывались перед ним: маленькая квартирка, чаепития и иные развлечения, неизбежное присутствие «братика» и прочие радужные перспективы новой, лучшей жизни... И уже никогда больше нельзя увидеть Энн... Тут вошла горничная с пакетиком, вернее, маленьким квадратным конвертом, на котором было написано: «Артуру Киппсу, эсквайру».

— Какая-то молодая женщина передала для вас, сэр,— довольно строго доложила горничная.

— Чего?— переспросил Киппс.— Какая женщина? —И вдруг начал понимать.

— По виду из простых,— холодно ответила горничная.

— А-а!—сказал Киппс.—Ну ладно.

Он уставился на конверт и ждал, пока за горничной закроется дверь, потом со странным ощущением, будто натянулась какая-то струна, вскрыл его. И неким шестым чувством, еще ничего не увидев и не нащупав, угадал, что̀ там, в конверте. То была половинка шестипенсовика Энн. И — ни словечка!

Значит, она тогда все-та̀ки услыхала его слова!..

За дверью послышались шаги Филина, а Киппс все еще стоял, застыв с конвертиком в руке.

Филин вошел во фраке, свежий и сияющий, даже его большие зеленовато-белые перчатки и необычайных

размеров белый галстук с черной каемкой так и сияли.

— В память о троюродном брате,— тотчас объяснил он эту траурную каемку.— Мило, правда?

Он, верно, заметил, что Киппс бледен и взволнован, но решил, что это тревога новичка перед выходом в свет.

— Только не робейте, Киппс, дорогой мой,—и все будет отлично,— сказал Филин и по-братски потрепал Киппса по плечу.

3

Волнение Киппса достигло предела, когда за обедом миссис Биндон Боттинг заговорила о прислуге, но еще перед этим некоторые обстоятельства, одни более, другие менее значительные, взбудоражили его и сбили с толку. Все время, пока длился обед, одна мелочь не давала ему покоя: поведение (да будет мне позволено коснуться столь интимных подробностей) его левой подтяжки. Тесьма веселого алого шелка выскочила из пряжки, которую он, видно, в суете сборов плохо застегнул, и всячески старалась вырваться на свет божий и пересечь белоснежный пластрон наподобие орденской ленты.

Впервые упрямица показала себя еще до того, как сели за стол. Киппс, улучив минуту, когда никто на него не смотрел, стремительно и ловко засунул непрошеное украшение подальше и потом уже только о том и заботился, чтобы не позволить этой веселой детали оживлять его строгий вечерний костюм. Впрочем, скоро он решил, что понапрасну сперва так уж перепугался — ведь никто и слова не сказал. Однако, сами понимаете, приходилось быть начеку — весь вечер, чем бы он ни занимался, один глаз его все время косил в сторону опасного места и одна рука была наготове.

Но это, я бы сказал, еще пустяк. Куда больше он растревожился и даже ужаснулся, увидев Элен в вечернем туалете.

Предвкушая переезд в Лондон, сия молодая особа дала волю воображению: ее наряд был, вероятно, рассчитан на маленькую разумно устроенную квартирку где-то в Вест-Энде, которой суждено стать центром восхити-

тельного литературно-художественного кружка. Уж это-то было поистине вечернее платье. Ни одна из присутствующих дам не могла бы похвастать столь совершенным туалетом. Благодаря этому платью не оставалось сомнений, что у мисс Уолшингем прелестные руки и плечи; не оставалось сомнений, что, кроме чувства собственного достоинства, она обладает и очарованием, да еще каким. Это было, видите ли, ее первое вечернее платье — жертва, на которую Уолшингемы пошли во имя ее грядущих богатств. Если бы ей понадобилась опора и поддержка, ее подбодрил бы вид хозяйки дома, которая блистала в смело открытом черном платье со стальной отделкой. Прочие дамы удовольствовались разного рода полумерами. Изящный треугольный вырез платья миссис Уолшингем был весьма скромен, и миссис Биндон Боттинг тоже едва приоткрыла взорам свои пухленькие прелести, если не считать усыпанных веснушками и родинками ручек. Мисс Боттинг-старшая и мисс Уэйс не решились явить миру свои обнаженные плечи. Но Элен оказалась смелее. Будь у Киппса в ту минуту способность видеть, он бы заметил, что она прелестна; сама она это знала и встретила его сияющей улыбкой, которая ясно говорила, что мелкие недоразумения забыты. Но для Киппса ее наряд был последней каплей. Бесконечно далекая и чужая ему эта красавица, и просто невозможно вообразить ее в роли жены и спутницы жизни,— это все равно, как если бы сама Венера Книдская в своей безыскусственной наготе вдруг при свидетелях объявила, что принадлежит ему. Да неужели он воображал, что она и вправду может стать его женой и спутницей жизни!

Элен приписала его смущение благоговейному восторгу, который он не решился высказать, и, одарив его лучезарной улыбкой, повернула к нему точеное плечо и заговорила с миссис Биндон Боттинг. Киппс ненароком нащупал в кармане жалкую монетку Энн и вдруг стиснул ее, точно спасительный талисман. Но сразу же выпустил: надо было заняться своей самозванной орденской лентой. И тут на него напал кашель.

— Мисс Уэйс сказала мне, что ждет мистера Ривела,— услышал он голос миссис Боттинг.

— Это восхитительно, правда? — отозвалась Элен.— Мы его видели вчера вечером. Он остановился в Фолкс-

тоне на пути в Париж. Там он должен встретиться с женой.

Взгляд Киппса на мгновение задержался на ослепительном декольте Элен, потом — вопрошающий, почти суровый — устремился на Филина. Чего стоит ваша проповедь самообладания и сдержанности, когда женщина может выставить себя в таком виде? А вы еще толковали об уважении к религии и политике, к рождению и смерти и всему прочему, уверяли, что без этого уважения нет и не может быть истинного джентльмена. Сам он слишком скромен, он никогда не решался даже заговорить об этом со своим наставником, но, конечно, конечно же, тот, кто был для него воплощением всех добродетелей, мог отнестись к этой откровенной нескромности лишь одним определенным образом. Филин выставил нижнюю челюсть, и на лице его ходуном заходили желваки, а неяркие, но жесткие серые глаза явно избегали смотреть в ту самую сторону; он судорожно стиснул за спиной большие руки в зеленоватых перчатках и лишь изредка разжимал их, чтобы проверить, в порядке ли безупречный галстук с траурной каймой, и провести ладонью по массивному затылку, и притом он все чаще покашливал. И по всем этим признакам Киппс с облегчением и вместе с уверенностью, что худшие его опасения подтвердились, понял: Филин тоже не одобряет Элен!

Вначале Элен была для Киппса прекрасной и нежной мечтой, существом иного мира, бесплотным и таинственным. Но сегодня она окончательно обрела плоть и кровь, сегодня растаяли последние остатки ее романтического ореола. Почему-то (он уже не помнил и решительно не понимал, как и почему это могло случиться) он оказался связанным с этой темноволосой, решительной молодой особой из плоти и крови, чью тень, чей загадочный призрак он некогда боготворил. Разумеется, он исполнит свой долг, как и подобает джентльмену. Но все же...

И ради нее он отказался от Энн!

Нет, он многое сносил, но этого он не потерпит... Сказать ей, что он думает про ее платье?.. Может быть, завтра?

Он решительно запретит ей это. Он скажет:

— Послушайте. Делайте со мной, что хотите, но этого я не потерплю. Ясно?

А она, конечно, ответит что-нибудь, чего и не ждешь. Она всегда говорит что-нибудь такое, чего не ждешь. Что ж, на этот раз он пропустит ее слова мимо ушей, он будет твердо стоять на своем.

Так думал Киппс, а миссис Уэйс опять и опять врывалась в его раздумья, пытаясь занять его разговором, но вот прибыл Ривел и тотчас завладел всеобщим вниманием.

Автор блестящего романа «Бьются алые сердца» оказался вовсе не таким представительным мужчиной, как думал раньше Киппс, зато манера держаться у него была весьма внушительная. Хоть он и вращался постоянно в лондонском высшем свете, его воротничок и галстук ничем не поражали, и он не отличался ослепительной красотой, волосы у него были не кудрявые и даже не особенно длинные. По виду это был человек кабинетный; склонность к полноте, нездоровая бледная кожа, тусклые прямые волосы — с такой внешностью никак не вязались скачки, любовные забавы и бурные страсти, которыми изобиловал его шедевр; нос бесформенный, короткий, подбородок асимметричный. И один глаз больше другого. Словом, если бы не совершенно неожиданные нафабренные усы да неприхотливые морщинки вокруг того глаза, что побольше, он был бы вовсе неприметный человечек. Войдя в комнату, он тотчас отыскал глазами Элен, и они обменялись рукопожатием с видом близких, очень близких друзей, что Киппсу почему-то сильно не понравилось. Он заметил, как они крепко пожали друг другу руки, услышал характерное покашливание Филина, как будто за четверть мили от вас заблеяла старая-престарая овца, в которую всадили небольшой заряд дроби, и у него в голове шевельнулась какая-то еще неясная мысль, но тут все пошли к столу, и обнаженная сверкающая рука Элен легла на его руку. Разговаривать сейчас он был не в силах. Элен взглянула на него и легонько сжала его локоть, но он ничего не понял и не почувствовал. У него как-то странно перехватывало горло и трудно было дышать. Прямо перед ними Филин вел миссис Уолшингем, до Киппса долетали обрывки его любезных речей, а во главе процессии вы-

ступала миссис Биндон Боттинг и быстро, оживленно говорила что-то невысокому, но ладному и по-военному подтянутому мистеру Уэйсу. (Он никогда не был военным, но, живя поблизости от Шорнклифа, обзавелся выправкой старого служаки.) Замыкал шествие Ривел, предоставленный попечениям царственной черно-стальной миссис Уэйс, и певучим мягким голосом рафинированного интеллигента любезно расхваливал мягкие тона обоев на лестнице.

Киппс только диву давался, глядя, как непринужденно все они держатся.

Едва успели приняться за суп, стало ясно, что Ривел считает своим долгом вести и направлять застольную беседу. Но еще до того, как с супом покончили, обнаружилось так же, что, по мнению миссис Биндон Боттинг, чувство долга у него развито сверх меры. В своем кружке миссис Биндон Боттинг слыла милой болтушкой; несмотря на полноту, она была на редкость подвижной и оживленной и умела посмешить, как настоящая ирландка. Ей ничего не стоило добрый час развлекать гостей рассказом о том, как ее садовник нечаянно женился и каков его семейный очаг, или о том, как излюбленный предмет ее насмешек, мистер Стигсон Уордер обучал всех своих детей играть на всех мыслимых и немыслимых музыкальных инструментах, потому что у бедняжек непомерно велика шишка музыкального таланта. И семья его тоже непомерно велика.

— Дело дошло до тромбонов, дорогая! — восклицала миссис Биндон Боттинг, захлебываясь от восторга.

Обычно все заранее уславливались дать ей поговорить, но на сей раз о ней забыли и не дали случая блеснуть в присутствии Ривела, а ей так этого хотелось! И, подождав и подумав, она решила, что остается одно — самой вступить в разговор. Она сделала несколько неудачных попыток завладеть общим вниманием, а затем Ривел заговорил о том, в чем она считала себя непревзойденным авторитетом,— как вести дом и хозяйство.

Перед этим рассуждали, где удобнее жить.

— Мы покидаем наш дом в Болтоне,— сказал Ривел,— и поселимся в небольшом домике в Уимблдоне, а кроме того, я думаю снять комнаты в Дейнском по-

дворье. Это будет во многих отношениях удобнее. Моя жена отчаянно увлекается гольфом, и вообще она ярая любительница спорта, а я люблю посиживать в клубах — у меня не хватает сил для всех этих высокополезных физических упражнений,— так что наше прежнее местожительство не подходит ни ей, ни мне. А кроме того, вы даже не представляете, как избаловалась прислуга в Вест-Энде за последние три года.

— Это повсюду одинаково,— вставила миссис Биндон Боттинг.

— Очень может быть. По мнению одного моего приятеля, это означает, что приходит в упадок традиция рабства; на его взгляд, это явление весьма обнадеживающее...

— Вот бы ему моих двух негодяек,— вставила миссис Биндон Боттинг.

Она обернулась к миссис Уэйс, а Ривел несколько запоздало вымолвил: «Возможно...»

— Вы ведь еще не знаете, дорогая,— затараторила миссис Биндон Боттинг,— у меня опять неприятность.

— С новой служанкой?

— Да, с новой служанкой. Я еще не успела нанять кухарку, а моя горничная, которую я раздобыла с таким трудом... — она сделала эффектную паузу,— уже хочет уходить.

— Испугалась? — спросил молодой Уолшингем.

— Переживает какую-то таинственную драму! До самого чая с анаграммами была весела, как жаворонок. А вечером сделалась черней тучи, не подступись, и стоило моей тетушке что-то ей сказать — сразу потоки слез и предупреждение об уходе! Разве в анаграммах есть что-нибудь такое... душераздирающее? — И ее взгляд на мгновение задумчиво остановился на Киппсе.

— Пожалуй, что и есть, — сказал Ривел. — Я полагаю...

Но миссис Биндон Боттинг не дала ему закончить.

— Сначала мне было прямо не по себе...

Киппс, который смотрел на нее, как завороженный, больно уколол губу вилкой и, очнувшись, опустил глаза.

— ...а может быть, анаграммы чем-то оскорбляют нравственные устои порядочной прислуги... кто знает?

Мы стали ее расспрашивать. На все твердит одно слово: нет. Она должна уйти — и все тут.

— В подобных вспышках душевной сумятицы,— сказал мистер Ривел,— ощущаешь последние смутные отблески эпохи романтизма. Предположим, миссис Боттинг, ну по крайней мере попробуем предположить, что тут повинна сама Любовь.

У Киппса дрогнули руки, вилка с ножом звякнули о тарелку.

— Конечно, это любовь,— сказала миссис Боттинг.— Что же еще? Под кажущимся благонравием и однообразием нашего существования разыгрываются романы, потом, рано или поздно, они терпят крах, тотчас следует предупреждение об уходе, и тогда все в доме идет колесом. Какой-нибудь роковой красавец солдат...

— Страсти простонародья или домашней прислуги...— начал Ривел и вновь завладел вниманием сотрапезников.

Киппс окончательно забыл все правила поведения за столом, но в душе у него вдруг воцарились непривычная тишина и покой. Впервые в жизни он самостоятельно и твердо решил, как ему поступать дальше. Он уже не слушал Ривела. Он отложил вилку и нож и не пожелал больше притронуться ни к одному блюду. Филин незаметно бросал на него участливые и озабоченные взгляды, а Элен чуточку покраснела.

4

В тот же вечер, около половины десятого, в доме миссис Биндон Боттинг громко и требовательно зазвонил звонок; у парадной двери стоял молодой человек во фраке и цилиндре — по всему видно, джентльмен. Его белоснежную манишку наискось пересекала алая шелковая тесьма, которая сразу обращала на него внимание и делала почти незаметными несколько ярких пятнышек — следов бургундского. Цилиндр был сдвинут на затылок, волосы встрепаны — знак отчаянной, безрассудной отваги. Да, он сжег свои корабли, он отказался присоединиться к дамам. Филин пытался было его образумить.

— Вы прекрасно держитесь, все идет как нельзя лучше,— сказал он.

Но Киппс ответил, что плевать он на все хотел, и после короткой стычки с Уолшингемом, который попытался преградить ему путь, вырвался и был таков.

— У меня есть дело,— сказал он.— Мне домой надо.

И вот, безрассудный и отважный, он стоит у дверей миссис Биндон Боттинг — он принял решение. Дверь распахнулась, и глазам открылся приятно обставленный холл, освещенный мягким розовым светом, и в самом центре этой картины, стройная и милая, в черном платье и белом фартучке, стояла Энн. При виде Киппса румянец на ее щеках поблек.

— Энн,— сказал Киппс.— Мне надо с тобой поговорить. Я хочу кое-что сказать тебе прямо сейчас. Понимаешь? Я...

— Здесь со мной не положено разговаривать,— сказала Энн.

— Но послушай, Энн! Это очень важно.

— Ты уже все сказал, хватит с меня.

— Энн!

— И вообще, моя дверь вон там. С черного хода. В полуподвале. Если увидят, что я разговариваю у парадного...

— Но, Энн, я...

— С черного хода после девяти. Тогда я свободна. Я прислуга и должна знать свое место. Если с парадного — как о вас доложить, сэр? У тебя свои друзья, у меня свои, и нечего тебе со мной разговаривать...

— Но, Энн, я хочу тебя спросить...

Кто-то появился в холле у нее за спиной.

— Не здесь,— сказала Энн.— У нас таких нет.— И захлопнула дверь у него перед носом.

— Что там такое, Энн? — спросила немощная тетушка миссис Биндон Боттинг.

— Какой-то подвыпивший джентльмен, мэм... кого-то чужого спрашивал, мэм.

— Кого чужого? — с сомнением спросила старая леди.

— Мы таких не знаем, мэм,— ответила Энн, торопливо направляясь к лестнице, ведущей в кухню.

— Надеюсь, вы были с ним не слишком грубы, Энн.

— Не грубей, чем он заслужил по его поведению,— ответила Энн, тяжело дыша.

Немощная тетушка миссис Биндон Боттинг вдруг поняла, что этот визит имел какое-то отношение к самой Энн, к ее сердечным делам, бросила на нее испытующий взгляд и, поколебавшись минуту, ушла в комнаты.

Она всегда готова была посочувствовать, немощная тетушка миссис Биндон Боттинг; она принимала близко к сердцу все дела слуг, учила их благочестию, вымогала признания и изучала человеческую натуру на тех горничных, которые, заливаясь краской, лгали и все же нехотя открывали ей тайники души; но Энн никому не желала открывать душу, и понуждать и выспрашивать ее казалось небезопасным...

Итак, старая леди промолчала и удалилась наверх.

5

Дверь отворилась, и Киппс вошел в кухню. Он был красен и тяжело дышал.

Не сразу ему удалось заговорить.

— Вот, — вымолвил он наконец и протянул две половинки шестипенсовика.

Энн стояла по другую сторону кухонного стола, бледная, широко раскрыв глаза; теперь Киппс видел, что она недавно плакала, и ему как-то сразу полегчало.

— Ну? — спросила она.

— Ты разве не видишь?

Энн чуть мотнула головой.

— Я его так долго берег.

— Чересчур долго.

Киппс умолк и сильно побледнел. Он смотрел на Энн. Видно, амулет не подействовал.

— Энн! — сказал он.

— Ну?

— Энн...

Разговор не клеился.

— Энн,— снова повторил Киппс, умоляюще протянул руки и шагнул к ней.

Энн помотала головой и насторожилась.

— Послушай, Энн,— сказал Киппс.— Я свалял дурака.

Они глядели друг другу в глаза, а глаза у обоих были несчастные, страдальческие.

— Энн,— сказал Киппс.— Я хочу на тебе жениться.

Энн ухватилась за край стола.

— Тебе нельзя,— едва слышно возразила она.

Киппс шагнул, словно хотел обогнуть стол и подойти к ней, но Энн отступила на шаг, и расстояние между ними осталось прежним.

— Я иначе не могу,— сказал он.

— Нельзя тебе.

— Я иначе не могу. Ты должна выйти за меня, Энн.

— Нельзя тебе жениться на всех подряд. Ты должен жениться на... на ней.

— Нет.

Энн покачала головой.

— Ты с ней обручился. Она же из благородных. Нельзя тебе теперь обручиться со мной.

— А мне и незачем с тобой обручаться. Я уж обручался, будет с меня. Я хочу на тебе жениться. Поняла? Прямо сейчас.

Энн побледнела еще больше.

— Как же так? — спросила она.

— Поедем в Лондон и поженимся. Прямо сейчас.

— Как же так?

— Да вот так: поедем и поженимся с тобой, пока я еще ни на ком другом не женат,— очень серьезно и просто объяснил Киппс.— Поняла?

— В Лондон?

— В Лондон.

Они снова поглядели друг другу в глаза. И вот ведь удивительно: обоим казалось, что все так и должно быть.

— Не могу я,— сказала Энн.— Первое дело, я еще месяц не отслужила, больше трех недель осталось.

На мгновение это их смутило, словно перед ними встала неодолимая преграда.

— Слушай, Энн! А ты отпросись. Отпросись!

— Не пустит она,— сказала Энн.

— Тогда поехали без спросу,— сказал Киппс.

— Она не отдаст мой сундучок.

— Отдаст.

— Не отдаст.

— Отдаст.

— Ты не знаешь, какая она.

— Ну, и провались она... и наплевать! Наплевать! Эко дело! Я куплю тебе сто сундучков, если поедешь.

— А как же та девушка... Неладно это.

— Ты об ней не заботься, Энн... Ты обо мне подумай.

— Нехорошо ты со мной поступил, Арти. Нехорошо. Зачем ты тогда...

— А я разве говорю, что хорошо?—перебил Киппс.— Я же такого не говорил, я кругом виноват. Только ты отвечай: поедешь или нет? Да или нет... Я свалял дурака. Вот! Слышишь? Я свалял дурака. Ну, хватит? Я тут бог знает с кем связался и совсем запутался, и вышло, что я круглый дурак...

Короткое молчание.

— Энн,— взмолился Киппс,— мы ж с тобой любим друг друга!

Она будто не слышала, тогда он снова поспешно принялся ее убеждать.

— Я уж думал, больше тебя и не увижу никогда. Правда, правда, Энн. Если б я видел тебя каждый день, тогда дело другое. Я и сам не знал, чего мне надо, вот и свалял дурака... это со всяким может случиться. А уж теперь я в точности знаю, чего мне надо и чего не надо.

Он перевел дух.

— Энн!

— Ну?

— Поедем!.. Поедешь?..

Молчание.

— Коли ты мне не ответишь, Энн... я сейчас отчаянный... коли ты не ответишь, коли нет твоего согласия ехать, я прямо пойду и...

Так и не закончив угрозу, он круто повернулся и кинулся к двери.

— Уйду! — сказал он.— Нет у меня ни единого друга на свете! Все порастерял, ничего не осталось. Сам не знаю, чего я наделал да почему. Одно знаю: не могу я так больше, не хочу — и все тут.— У него перехватило дыхание.— Головой в воду! — выкрикнул он.

Он замешкался со щеколдой, бормоча что-то жалостливое, шарил по двери, точно искал ручку, потом дверь открылась.

Он на самом деле уходил.

— Арти! — резко окликнула Энн.

Киппс обернулся, и опять оба застыли без кровинки в лице.

— Я поеду,— сказала Энн.

У Киппса задрожали губы, он затворил дверь и, не сводя глаз с Энн, шагнул к ней, лицо у него стало совсем жалкое.

— Арти! — крикнула Энн.— Не уходи.— Рыдая, она протянула к нему руки. И они прильнули друг к другу...

— Ох, как мне было плохо!—жалобно говорил Киппс, цепляясь за нее, точно утопающий; и вдруг теперь, когда все уже осталось позади, долго сдерживаемое волнение прорвалось наружу, и он заплакал в голос.

Модный дорогой цилиндр свалился на пол и покатился, никому не было до него дела.

— Мне было так плохо,— повторял Киппс, уже и не стараясь сдержаться.— Ох, Энн, как мне было плохо!

— Тише,— говорила Энн, прижимая его бедную головушку к своему плечу, задыхаясь и дрожа всем телом.— Тише. Там старуха подслушивает. Она тебя услышит, Арти, она там, на лестнице.

6

Последние слова Энн, когда час спустя они расстались — они услышали, как вернулись и поднялись в комнаты миссис и мисс Биндон Боттинг,— заслуживают отдельной подглавки.

— Запомни, Арти,— прошептала Энн,— я бы не для всякого так поступила.

ГЛАВА IX

ЛАБИРИНТОДОНТ

1

Теперь представьте, как они спасаются бегством путаными и извилистыми путями, установленными в нашем обществе,— сперва порознь пешком на Фолкстонский Центральный вокзал, потом вместе, в вагоне первого класса, с чемоданом Киппса в качестве единст-

венного провожатого, до Черинг-Кросс, а оттуда в извозчичьей тряской карете, неторопливо громыхающей по людскому муравейнику Лондона,— к дому Сида. Киппс то и дело выглядывает из окна кареты.

— Вот за следующим углом, сдается мне, — говорил он.

Ему не терпелось поскорей оказаться у Сида: там-то уж никто его не настигнет и не разыщет. Он щедро, как и подобало случаю, расплатился с извозчиком и обернулся к своему будущему шурину.

— Мы с Энн решили пожениться,— сказал он.

— А я думал...— начал Сид.

Киппс подтолкнул его к дверям мастерской — мол, все объясню там...

— Чего ж мне с тобой спорить,— заулыбался очень довольный Сид, выслушав, что произошло.— Что сделано, то сделано.

О случившемся узнал и Мастермен, медленно спустился вниз и оживленно стал поздравлять Киппса.

— Мне так и показалось, что светская жизнь будет не по вас,— сказал он, протягивая Киппсу костлявую руку.— Но я, право, никак не ждал, что у вас хватит самобытности вырваться... Должно быть, молодая аристократка клянет вас на чем свет стоит! Ну и пусть ее... Что за важность!

— Вы начали подъем, который никуда не вел,— сказал он за обедом.— Вы карабкались бы с одной ступеньки утонченной вульгарности на другую, но так никогда и не добрались бы до сколько-нибудь достойных высот. Таких высот не существует. Все там вертятся, как белки в колесе. В мире все вверх дном, и так называемый высший свет — это сверкающие драгоценностями картежницы и мужчины, которые только и знают, что бьются об заклад, а для приправы — горсточка архиепископов, чиновники и прочие лощеные блюдолизы и сводники... Вы бы застряли где-нибудь на этой лестнице, много ниже тех, у кого есть собственные автомобили, безутешный, несчастный и жалкий, а ваша жена тем временем шумно развлекалась бы или, напротив, терзалась оттого, что ей не удалось подняться на ступеньку выше. Я давным-давно все это понял. Видал я таких женщин. И больше я уже не лезу вверх.

— Я часто вспоминал, что вы говорили в прошлый раз,— сказал Киппс.

— Интересно, что ж это я такое говорил? — как бы про себя заметил Мастермен.— Но все равно, вы поступили разумно и правильно, а в наше время такое не часто увидишь. Вы женитесь на ровне и заживете посвоему, никого не слушая, без оглядки на тех, кто стоит ступенькой выше или ниже. Сейчас только так и следует жить: ведь в мире все вверх дном, и с каждым днем становится все хуже и хуже. А вы прежде всего создайте свой собственный мирок, свой дом, держитесь за это, что бы ни случилось, и женитесь на девушке вашего круга... Так, наверно, поступил бы я сам... если б нашлась мне пара... Но, к счастью для человечества, люди вроде меня парами не родятся. Так-то! А кроме того... Однако...— Он вдруг умолк и, пользуясь тем, что в разговор вмешался юный мистер Уолт Порник, о чем-то задумался.

Но скоро он очнулся от раздумий.

— В конце концов,— сказал он,— есть еще надежда.

— На что? — спросил Сид.

— На все,— ответил Мастермен.

— Пока есть жизнь, есть и надежда,— сказала миссис Порник.— А что ж это никто ничего не ест?

Мастермен поднял стакан.

— За надежду! — сказал он.— За светоч мира!

Сид, широко улыбаясь, поглядел на Киппса, словно говорил: «Не каждый день встретишь такого человека».

— За надежду! — повторил Мастермен.— Нет ничего лучше надежды. Надежды жить... Да. Так-то.

Эта величественная жалость к самому себе нашла отклик в их сердцах. Даже Уолт притих.

2

Дни перед свадьбой они посвятили увеселительным прогулкам. Сперва отправились пароходом в Кью и очень восхищались домом, полным картин, изображавших цветы; в другой раз встали чуть свет, чтобы насладиться долгим-долгим днем в Кристальном дворце. Они приехали в такую рань, что все еще было закрыто; все

павильоны темные, а все прочие развлечения под замком. В огромном и безлюдном в этот час зале они даже сами себе казались какими-то козявками, а их отдававшиеся эхом шаги — неприлично громкими. Они разглядывали отлично вылепленных гипсовых дикарей, в непринужденных позах, и Энн подумала: чуднò было бы повстречать таких на улице. Хорошо, что в Англии они не водятся. Задумчиво и по большей части молча Энн с Киппсом созерцали копии классических статуй. Киппс только заметил, что чуднò, видать, жили люди в те времена; но Энн вполне здраво усомнилась: неужто люди и впрямь ходили в таком виде? А все-таки вокруг в этот ранний час было слишком пустынно. Как тут было не разыграться фантазии! И они с облегчением вышли на огромные террасы парка, под скупое октябрьское солнце, и бродили среди множества искусственных прудов, по тихим просторным угодьям; все тут было такое огромное, сумрачное, пустынное — впору великанам, а вокруг ни души — все удивляло и восхищало их, но куда меньше, чем можно бы ожидать.

— Ни в жизнь не видал такой красоты,— сказал Киппс и повернулся, чтобы лучше разглядеть огромный зеркальный фасад с гигантским изображением Пакстона посредине.

— А уж что́ денег стоило такое построить! — почтительно протянула Энн.

Скоро они вышли к пещерам и протокам, где всевозможные диковинки напоминали о неистощимой изобретательности того, кто создал все живое. Они прошли под аркой из китовых челюстей и остановились: перед ними на лугу паслись отлично вылепленные, раскрашенные золотом и зеленью огромные доисторические звери — игуанадоны, динотерии, мастодонты и прочие чудища; одни щипали траву, другие просто стояли и глядели по сторонам, словно дивились на самих себя.

— Чего тут только нет! — сказал Киппс.— После этого и на графский замок смотреть не захочешь.

Огромные чудовища очень заинтересовали Киппса, он никак не мог с ними расстаться.

— И где только они добывали себе пропитание, ведь им какую прорву нужно! — повторял он.

3

Нагулявшись, они сели на скамью перед озером, над которым нависал великолепный зеленый с золотом лабиринтодонт, и заговорили о будущем. Они плотно позавтракали во дворце, насмотрелись на картины, на многое множество всяких диковинок, и все это да еще ласковое янтарное солнце настроило их на особый умиротворенно-философский лад, словно они причалили к тихой пристани. А потом Киппс нарушил это задумчивое молчание, он вдруг заговорил о том, что гвоздем сидело у него в голове.

— Я перед ними извинюсь и предложу ее брату денег в возмещение. Ну, а уж если она все равно подаст в суд, потому как я нарушил обещание, что ж... с меня взятки гладки... Из моих писем они на суде не больно много вычитают, потому как я ей писем не писал. В общем, выложу тыщу-другую — и все уладится, это уж верно. Я не больно боюсь, Энн. Чего ж тут бояться... Вовсе и нечего.— И помолчав, прибавил: — А здорово, что мы женимся! Интересно, как все в жизни получается. Вот если б не наткнулся я на тебя, что бы со мной сейчас было?.. Да уж потом мы и встретились, а у меня все равно ничего такого и в мыслях не было... то есть, что мы поженимся... вот до того самого вечера, как пришел к тебе. Правда-правда, и в мыслях не было.

— И у меня,— сказала Энн, задумчиво глядя на воду.

Некоторое время Киппс молча глядел на нее. До чего же милое у нее сейчас лицо! По озеру проплыла утка, легкая рябь пошла по воде, трепетные отсветы заиграли на щеках Энн и тут же истаяли.

— Верно, так было суждено,— вслух подумала Энн.

Киппс немного поразмыслил.

— Прямо даже чудно́, как это меня угораздило с ней обручиться,— сказал он.

— Она тебе не подходит, — сказала Энн.

— Вот то-то и оно. Еще бы! То-то и оно, что не подходит. Даже не пойму, как это все получилось?

— Уж, верно, все ее рук дело, я так понимаю,— сказала Энн.

Киппс уже готов был согласиться. Но тут он почувствовал угрызения совести.

— Да нет, Энн,— сказал он.— Вот ведь что чудно́. Я и сам не пойму, как оно вышло, да только она тут ни при чем. Даже и не припомню... Ну, никак... Одно скажу: заковыристая штука жизнь. И я тоже, видать, парень с закавыкой. Иной раз найдет на меня, накатит— и тогда мне все трын-трава, сам не знаю, что делаю. Вот и тогда так вышло. Да только...

Оба задумались, Киппс скрестил руки и подергал свои редкие усики. Но вот он слегка улыбнулся.

— Заведем себе славный домик где-нибудь в Хайте.

— Там поуютней, чем в Фолкстоне,— сказала Энн.

— Славный домик и чтоб беспременно маленький,— сказал Киппс.— Оно, конечно, у меня есть Хьюгенден. Так ведь он отдан внаем. И велик больно. Да и не по душе мне больше жить в Фолкстоне... никак не по душе.

— Это бы хорошо, свой домик,— сказала Энн.— Бывало, в услужении я сколько раз думала: вот бы похозяйничать в собственном домике!

— Да, уж ты всегда будешь знать про наших слуг, чего там у них на уме,— пошутил Киппс.

— Слуги? На что нам слуги! — испугалась Энн.

— А как же, у тебя беспременно будет прислуга,— сказал Киппс.— Хоть для всякой черной работы.

— Вот еще! Тогда и в собственную кухню не войдешь.

— Без прислуги никак нельзя.

— Всегда можно принанять женщину на черную работу, она придет и все сделает,— сказала Энн.— А потом... если мне попадется какая-нибудь девица из нынешних, так я все равно не утерплю, отберу у нее метлу и все сама переделаю. Так уж лучше вовсе без нее.

— Уж одна-то прислуга нам беспременно нужна,— сказал Киппс.— А то захочется пойти куда вдвоем или еще что, как же тут без прислуги?

— Ну, тогда я подыщу совсем молоденькую, выучу ее по-своему,— решила Энн.

Киппс удовольствовался этим и вновь заговорил о доме.

— По дороге, как ехать на Хайт, есть такие домики, нам в самый раз: не слишком большие и не слишком маленькие. Там будет кухонька, столовая и еще комнатка, чтоб сидеть по вечерам.

— Только чтоб в нем не было полуподвала,— сказала Энн.

— А это чего такое?

— Это в самом низу такое помещение, там света никакого нету, и все надо таскать по лестнице вверх-вниз, вверх-вниз с утра до ночи... и уголь и все. Нет уж, раковина и слив — это все пускай будет наверху. Знаешь, Арти, вот я сама жила в услужении, а то бы и не поверила, до чего ж иные дома глупо да жестоко построены... а лестницы какие... будто нарочно строили, назло прислуге.

— У нас будет не такой домик,— сказал Киппс.— Мы заживем тихо, скромно. Куда-нибудь сходим, погуляем, потом посидим дома. А нечего будет делать, может, книжку почитаем. А там в иной вечерок старина Баггинс заглянет. А то Сид приедет. На велосипедах можно прокатиться...

— Чудно́ что-то: я — и вдруг на велосипеде,— сказала Энн.

— А мы заведем тандем, и будешь сидеть, как настоящая леди. И я быстренько свезу тебя в Нью-Ромней, в гости к старикам.

— Это бы можно,— согласилась Энн.

— Домик мы выберем с умом и обзаводиться тоже будем с умом. Никаких этих картин и всякого художества, никаких фокусов да выкрутасов, все только добротное, нужное. Мы будем очень правильно жить, Энн.

— Без всякого социализма,— высказала Энн свое тайное опасение.

— Без всякого социализма,— подтвердил Киппс,— просто с умом.

— Которые в нем понимают, те пускай и занимаются социализмом, Арти, а мне его не надо.

— Да и мне тоже,— сказал Киппс.— Я не умею про это спорить, а только, по-моему, это — все одно воображение. Но вот Мастермен — он башковитый.

— Знаешь, Арти, сначала я его невзлюбила, а теперь он мне даже по душе. Такого ведь не сразу поймешь.

— Он до того умен, я и половины не разберу, куда он гнет,— признался Киппс.— Я такого башковитого сроду не видал. И разговору такого не слыхал. Ему бы кни-

ги сочинять... Какой-то сумасшедший этот мир,— чтоб такой парень и не мог заработать на хлеб.

— Это потому, что он хворый,— сказала Энн.

— Может, и так,— согласился Киппс и на время умолк. Потом вдруг сказал:—Нам будет хорошо в нашем домике, верно, Энн?

Она поглядела ему в глаза и кивнула.

— Я прямо его вижу,— сказал Киппс.— Такой уютный. Вот скоро время пить чай, а у нас сдобные булочки, сбоку в камине чайник греется, на коврике кошка... беспременно заведем кошку, Энн... и ты тут же сидишь?! А?

Они окинули друг друга одобрительным взглядом, и Киппс вдруг заговорил о том, что вовсе не относилось к делу.

— Да что ж такое, Энн,— сказал он,— я не целовал тебя, поди, целых полчаса. Как из пещер вышли, так и не целовал.

Ибо они уже не теряли поминутно голову и не начинали целоваться, не глядя на время и место.

Энн покачала головой.

— Веди себя как следует, Арти,— сказала она.— Расскажи лучше еще про мистера Мастермена...

Но мысли Киппса уже приняли другое направление.

— Мне нравится, как у тебя заворачиваются волосы вон там,— сказал он и показал пальцем.— Ты когда девочкой была, они тоже так заворачивались, я помню. Вроде как колечком. Я часто про это думал... Помнишь, как мы бегали наперегонки... тот раз, за церковью?

Посидели молча, каждый думал о чем-то приятном.

— Чудно́,— сказал Киппс.

— Чего чудно́?

— Как все получилось,— сказал Киппс.— Полтора месяца назад мы и думать не думали, чтоб нам с тобой вот так тут сидеть... А что у меня будут деньги — да разве кто бы поверил?

Он перевел взгляд на огромного лабиринтодонта. Сперва просто так, нечаянно поглядел и вдруг с любопытством всмотрелся в огромную широкую морду.

— Провалиться мне на этом месте,— пробормотал он.

Энн спросила, что это он. Киппс положил руку ей на плечо и показал пальцем на огромного зверя. Энн испытующе поглядела на лабиринтодонта, потом с немым вопросом — на Киппса.

— Неужели не видишь? — удивился Киппс.

— Чего не вижу?

— Да ведь он вылитый Филин!

— Он же вымерший,— возразила Энн, не поняв.

— Ну да, я знаю. А все равно он точь-в-точь наш Филин в старости.

И Киппс задумался, глядя на изображения доисторических чудовищных зверей и ящеров.

— А интересно, почему все эти допотопные твари вымерли? — спросил он.— Разве кому было под силу их перебить?

— А я знаю! — догадалась Энн.— Их потоп загубил...

Киппс поразмыслил.

— Так ведь в ковчег полагалось взять всех по паре...

— Ну и взяли, сколько могли, всех-то не увезешь,— сказала Энн.

На том и порешили.

Огромный зелено-золотой лабиринтодонт пропустил мимо ушей их разговор. Неколебимо спокойный, он устремил взор своих удивительных глаз поверх их голов — в бесконечность. Может, это и вправду был сам Филин, столь чуждый высокомерия Филин, который больше не желал их замечать.

Была в этом его спокойствии какая-то терпеливая уверенность, равнодушие могучей силы, ожидающей своего часа. И Энн с Киппсом смутно почувствовали это, обоим стало не по себе, и, посидев еще немного, они поднялись и, то и дело невольно оглядываясь, пошли своей дорогой.

4

В должный срок эти две простые души сочетались браком, и Урания, богиня супружеской любви, богиня поистине великая, благородная и добрая, благословила их союз.

КНИГА III

ЧЕТА КИППС

ГЛАВА I

КАКИМ БУДЕТ ДОМ

1

Медовый месяц, как и все на свете, приходит к концу, и вот уже мистер и миссис Артур Киппс выходят на перрон Хайтского вокзала, они приехали в Хайт искать славный маленький домик, осуществить лучезарную мечту о домашнем очаге, впервые высказанную в парке Кристального дворца. Киппсы — храбрая чета, вы это, конечно, уже заметили, но ведь они лишь песчинки в нашем огромном, нелепом и сложном мире. На мистере Киппсе серый костюм, воротничок с широкими отворотами и щегольской галстук. Миссис Киппс — все то же пышущее здоровьем юное существо, с которым вы встречались на вересковой равнине на протяжении всего моего объемистого труда; ей ничуть не прибавилось ни роста, ни солидности. Только теперь она в шляпе.

Однако шляпа ее совсем не похожа на те, которые она надевала прежде по воскресеньям, это роскошная шляпа, с перьями, с пряжкой, с бантами и прочими украшениями. От цены этой шляпки у многих захватило бы дух: она стоила две гинеи! Киппс сам ее выбирал. Сам за нее заплатил. И когда они вышли из магазина, у обоих пылали щеки и на глаза просились слезы, оба не чаяли поскорей убраться подальше от снисходительной усмешки надменной продавщицы.

— Арти,— сказала Энн,— зря ты это...

И больше ни слова упрека. И, вы знаете, шляпа совсем ей не шла. Все новые наряды совсем ей не шли. На смену простеньким, дешевым и веселым нарядам появилась не только эта шляпа, но и несколько других подобных вещей. И из всей этой пышности смотрело хо-

рошенькое личико умного ребенка — чудо безыскусственности пробивалось сквозь нелепую чопорную роскошь.

Киппсы купили эту шляпу, когда пошли однажды полюбоваться магазинами на Бонд-стрит. Киппс разглядывал прохожих, и вдруг ему пришло в голову, что Энн дурно одета. Ему приглянулась шляпа весьма надменной дамы, восседавшей в роскошном автомобиле, и он решил купить Энн такую же.

Носильщики на вокзале, извозчики, толпившиеся у дверей, два игрока в гольф, леди с дочерьми, которая тоже сошла в Хайте,— все заметили какую-то несообразность во внешности Энн. Киппс чувствовал, что на них смотрят, ему было не по себе — он побледнел и тяжело переводил дух. А Энн... трудно сказать, что из всего этого заметила Энн.

— Эй! — окликнул Киппс извозчика и огорчился, что это прозвучало не слишком внушительно.

— У меня там чемодан. И метка есть — А. К.,— сказал он контролеру, проверявшему билеты.

— Обратитесь к носильщику,— бросил контролер и повернулся к нему спиной.

— Тьфу, пропасть! — не сдержался Киппс, и вышло это у него довольно громко.

2

Одно дело — сидеть на солнышке и беседовать о своем будущем доме, и совсем другое дело — отыскать такой дом, как хочется. Мы, англичане,— да в сущности и весь мир — живем ныне странной жизнью: нам нет никакого дела до величайших общечеловеческих проблем, мы покорились наступающим со всех сторон, торжествующим свою победу мелочам; мы всему предпочли приятную незначительность общения со своим ограниченным кружком; мелочная благопристойность, тщательно соблюдаемые правила светского обхождения—вот основа нашего существования. И уйти от этого надолго никак не удается, даже если совершил из ряда вон выходящий поступок: сбежал в Лондон с девушкой без всяких средств и притом низкого звания. Туманная дымка благородного чувства, окутывающая вас, неминуемо растает, и, отторгнутый от своих божеств, вы снова окажетесь на виду

у всех, беззащитная овечка под неусыпным взором ревнивого стража, стоглазого Аргуса — нашего общества, и на вас обрушится град мелочных, низких придирок и беспощадных суждений: о вас самих, о вашей одежде, о вашей манере себя держать, о ваших стремлениях и желаниях, о каждом вашем шаге.

Наш сегодняшний мир устроен нечестно, и скрывать это было бы тоже нечестно. И вот одно из следствий этого нечестного устройства: в нем очень мало славных маленьких домиков. Они не являются пред вами по первому требованию; в наше постыдное время их не купишь за деньги. Их строят на землях чудовищно богатых бессовестных вымогателей несчастные алчные скупцы, одержимые страстью не ударить лицом в грязь перед соседями. Чего же можно ждать при таких нелепых порядках? Пустившись на поиски дома, поневоле убеждаешься, что мир наш, который пыжится изо всех сил, пытаясь выглядеть роскошно, на самом деле гол, что наша цивилизация неприглядна, если содрать оборки, занавеси и ковры, что люди в суете и растерянности тщетно пытаются свести концы с концами. Видишь подло задуманные и в подлых целях подло осуществленные планы, отброшенные условности, разоблаченные тайны и убеждаешься: от всего, что проповедуют, что считают основой бытия наши Филины, остались только грязь, лохмотья, запустение.

И вот наша милая чета бродит по Хайту, Сандгейту, Ашфорду, Кентербери, по Дилу и Дувру и, наконец, даже по Фолкстону; в руках у Киппса «разрешение на осмотр» — розовые, зеленые, белые листочки бумаги и ключи с ярлыками, ходят они озадаченные и хмурят брови...

Они сами толком не знают, чего хотят, но зато твердо знают: из того, что они уже осмотрели, они не хотят ничего. Повсюду до отчаяния много домов, которые им не подходят, и ни одного, который подошел бы. Взамен розовой мечты — пустые, заброшенные комнаты, на выцветших обоях темные пятна — следы некогда висевших здесь картин, все двери — без ключей. Они видели комнаты, где в деревянных полах зияли дыры, торчали занозы и в щели между половицами проваливалась нога, а плинтусы красноречиво свидетельствовали о пред-

приимчивости мышей; видели кухни с дохлыми тараканами в пустых буфетах и множество разных, но одинаково мерзких и неудобных подвалов для хранения угля и темных кладовых под лестницами. Они выглядывали из чердачных люков, в наивном изумлении таращили глаза на грязные крыши в саже и копоти. Подчас им казалось, что все агенты в заговоре против них: уж слишком унылы, мрачны были эти пустые дома по сравнению с любой самой жалкой, но обитаемой лачугой.

Обычно дома были чересчур велики. Огромные окна требовали широченных занавесей; множество комнат; бесчисленные каменные ступени, их надо мыть и чистить; а кухни приводили Энн в ужас. Она уже настолько правильно представляла себе высокое положение Киппса в обществе, что примирилась с мыслью о прислуге — об одной прислуге.

— Господи! — восклицала она.— Да с таким домом девушке нипочем не справиться, неужто брать мужчину!

Если же дом оказывался не очень велик, это была, чаще всего, дрянная, наспех сбитая постройка из тех, каким сейчас нет числа,— плод спекуляции, которую вызывал небывалый рост населения, сущий бич девятнадцатого столетия. От новых домов Энн отказывалась наотрез: они были сырые,— а те, в которых уже кто-то пожил, даже построенные совсем недавно, сразу выставляли напоказ свои пороки: штукатурка отваливалась, полы проваливались, обои покрывались плесенью и отставали, двери слетали с петель, кирпич крошился, перила ржавели; пауки, уховертки, тараканы, мыши, крысы, плесень и неистребимые малоприятные запахи наводняли дом — природа брала свое...

И вечно, неизменно никуда не годилось расположение комнат и всего прочего. У всех домов, которые они пересмотрели, был один общий недостаток — Энн не могла подыскать для него название, но вернее всего назвать это хамством.

— Они строят дома так, будто прислуга не человек,— говорила Энн.

Видно, ее заразил своим демократизмом Сид, но так или иначе во всех современных домах они обнаруживали все то же примечательное невнимание к людям, обязанным эти дома обслуживать.

— Тут из кухни уж больно крутая лестница, Арти!—говорила Энн.—Бедной девушке придется день-деньской бегать вверх-вниз, и она совсем собьется с ног, а все оттого, что у них не хватило ума сделать лестницу поудобнее... И наверху нигде нет воды... Каждый раз придется тащить снизу! Вот в таких домах служанки и выбиваются из сил.

— Я знаю, все беды оттого, что дома строят мужчины,— прибавляла она.

Как видите, чета Киппс воображала, будто ищет простенький и удобный по нынешним временам домик, на самом же деле она искала либо сказочную страну, либо от рождества Христова год примерно тысяча девятьсот семьдесят пятый, а до него, увы, было еще далеко.

3

И все же Киппс поступил преглупо, когда взялся строить собственный дом.

Его подхлестнула злость на агентов по продаже домов, которая все росла у него в душе.

Все мы ненавидим агентов по продаже домов, точно так же, как всем нам любы моряки. Без сомнения, ненависть эта необоснованная и несправедливая, но долг романиста — заниматься не этическими принципами, а фактами. Все ненавидят агентов по продаже домов, потому что все, кто имеет с ними дело, оказываются в невыгодном положении. Представители всех прочих профессий что-то получают, но и что-то дают, агенты по продаже домов только получают. Представители всех прочих профессий зависят от вас: поверенный боится, как бы вы не наняли другого, доктор не осмеливается заходить слишком далеко, романист — вы этого и не подозреваете,— точно жалкий раб, старается угадать ваши невысказанные желания; ну, а что до торговцев,— молочники будут чуть не драться за право носить вам молоко, зеленщики зальются слезами, если вы вдруг перестанете брать у них овощи; но слыхано ли, чтобы хоть один агент по продаже домов навязывал кому-либо свои услуги? Вам нужен дом; вы идете к агенту; растрепанный, утомленный поездкой, снедаемый нетерпением, вы забрасываете его вопросами; он же невоз-

мутим, отутюжен, медлителен, скуп на слова и пребывает в праздности. Вы упрашиваете его уменьшить ренту, побелить потолки, показать вам другие дома, где сочетались бы беседка, как в доме номер шесть, и оранжерея, как в доме номер четыре,— а ему хоть бы что! Вам нужно продать дом — агент все так же безмятежно равнодушен. Однажды, помню, я его расспрашивал, а он, отвечая, не переставал ковырять в зубах. Что им конкуренция! Все они на один лад; их ничуть не огорчит, если вы уйдете от одного агента к другому; и агента не уволишь, можно только уволить себя от покупки дома. За барьером красного дерева, сверкающим медью, агент неуязвим, его не достать, даже если сгоряча сделать ловкий выпад зонтиком; ну, а не вернуть ключи, которые он вам дал для осмотра, и попросту вышвырнуть их — это самое обыкновенное воровство и наказуется по закону...

И вот некий агент из Дувра в конце концов натолкнул Киппса на мысль строить дом. С дрожью в голосе Киппс выпалил свой ультиматум: никакого полуподвала, не больше восьми комнат, наверху горячая и холодная вода, кладовая для угля в доме, но с отдельной дверью, чтобы угольная пыль не попадала в буфетную, и так далее, и тому подобное. Выпалил — и, отдуваясь, замолчал.

— В таком случае придется вам самому строить дом,— с усталым вздохом ответил агент.

И поначалу, просто чтобы сбить с него спесь, вовсе не думая об этом всерьез, Киппс пробормотал:

— Вот этим-то я, видать, и займусь... Это мне подойдет.

Агент вместо ответа улыбнулся. У-лыб-нул-ся!

А потом, призадумавшись, Киппс с удивлением обнаружил, что зерно запало ему в душу и дало ростки. В конце концов мало ли народу строит дома! Откуда бы взялось столько домов, если б их не строили? А что, если и впрямь построить дом! И тогда он придет к этому агенту и скажет:

— Эй, послушайте! Вы тут копались, не могли мне подыскать что-нибудь подходящее, а ведь я сам построил свой собственный дом, вот провалиться мне на этом месте!

Он обойдет всех этих агентов, всех — в Фолкстоне, Дувре, Ашфорде, Кентербери, Маргете, Рамсгете — и всем-всем скажет эти самые слова!.. Может, хоть тогда они пожалеют, что так скверно с ним обошлись? И, раздумывая об этом среди ночи, он понял, что решение уже созрело.

— Энн, — позвал он, — Энн! — И подтолкнул ее локтем.

Она наконец открыла глаза и спросонок пробормотала:

— Чего ты?

— Энн, я решил строить дом.

— Что? — словно бы окончательно проснувшись, спросила она.

— Решил строить дом.

Она невнятно посоветовала ему подождать до утра и тут же с завидной доверчивостью опять крепко уснула.

А Киппс еще долго лежал без сна и в мыслях строил свой дом и утром за завтраком объяснил, что к чему. Хватит, натерпелся он от этих агентов. Теперь он с ними сквитается... Лучшей мести не придумаешь.

— И у нас вправду будет славный домик... Такой, как нам надо.

Порешив на этом, они без труда сняли дом на год — дом с полуподвалом, без подъемника, так что грязь растаптывалась по всему дому, без горячей воды в верхних комнатах, без ванной, с огромными подъемными окнами, которые приходится мыть, стоя на подоконнике, с неровными, открытыми всем дождям каменными ступенями в угольную кладовую, с тесными чуланами, немощеной дорожкой к мусорному ящику, неотапливаемой комнатой для прислуги, с щербатыми, занозистыми полами, которым конца-краю не было — мыть не перемыть! — короче говоря, то был типичный дом английского обывателя со средним достатком.

И, прикупив кое-какую мебель и наняв вялую молодую особу по имени Гвендолен с крашеными золотыми волосами, обрученную с каким-то старшиной и служившую прежде в гостинице, они переселились в свое новое жилище и провели несколько тревожных ночей, рыская по всем углам и закоулкам в поисках грабителей: непривычное сознание, что они одни в ответе за весь

дом, не давало уснуть. После этого Киппс на время успокоился и окончательно решил строить свой собственный дом.

4

Поначалу Киппс искал совета, ибо совершенно не представлял, как приняться за дело.

В один прекрасный день он отправился в контору подрядчика в Сибруке и заявил восседавшей там особе, что намерен построить дом. Он задыхался от волнения, но был исполнен решимости и готов тут же, не сходя с места, отдать все необходимые распоряжения, однако особа не торопилась, она сказала, что мужа сейчас нет, и Киппс ушел, даже не назвав себя. Потом один рабочий показал ему на какого-то человека, проезжавшего в двуколке, и сказал, что этот малый недавно построил дом близ Солтвуда, и Киппс заговорил с ним, но человек этот сперва слушал с недоверием, а затем уничтожил Киппса язвительной насмешкой.

— Вы, видно, каждое воскресенье строите новый дом,— сказал он, презрительно фыркнул и повернулся к Киппсу спиной.

Каршот, с которым Киппс поделился своими планами, сильно поколебал его решимость, рассказав две-три весьма тревожные истории про подрядчиков; потом Пирс высказал сомнение: разве надо начинать с подрядчика, а не с архитектора? У Пирса был в Ашфорде приятель, у приятеля — брат, архитектор, а так как всегда лучше иметь дело со знакомым человеком, то еще до ухода Пирса чета Киппсов, которую немало напугали рассказы Каршота, решила обратиться к брату Пирсова приятеля. Так они и сделали, хоть и не без колебаний.

Архитектор этот оказался маленьким подвижным человечком в шелковом цилиндре и с черным чемоданчиком; он уселся за обеденный стол, положил на равном расстоянии от себя, справа и слева, цилиндр и чемодан — и так восседал, важно, недвижимо, истукан истуканом, а Киппс, стоя на коврике перед камином, внутренне дрожал от сознания, что предпринимает нечто грандиозное, и неуверенно отвечал на конкретные, деловые вопросы архитектора. Энн облокотилась на угол резного дубово-

го буфета — эта позиция показалась ей самой подходящей для такого случая — и не сводила глаз с архитектора, готовая каждую минуту прийти на помощь мужу. Оба отчего-то чувствовали себя припертыми к стене.

Архитектор первым делом спросил о местоположении дома и, видно, был несколько обескуражен, узнав, что место еще не выбрано.

— Я просто желаю построить дом,— сказал Киппс,— а где, я еще не решил.

Архитектор заметил, что предпочел бы сперва увидеть место, чтобы решить, в какую сторону повернуть дом «неприглядной стороной», как он выразился, но, разумеется, если им угодно, можно проектировать дом и «просто в пространстве», не применяясь к определенному месту, с «условным фасадом». Киппс слегка покраснел и, втайне надеясь, что это не составит большой разницы в оплате, ответил без особой уверенности: ладно, можно и так.

Сухо кашлянув, и этим как бы отметив, что предварительные переговоры закончены, архитектор открыл свой чемодан, вынул из него рулетку, несколько сухарей, металлическую фляжку, пару новых лайковых перчаток, кое-как завернутый в бумагу игрушечный заводной автомобиль, букетик фиалок, пакет медных винтиков и, наконец, большой, распухший блокнот, потом аккуратно уложил все прочее обратно в чемодан, раскрыл блокнот, послюнил карандаш и спросил:

— Какой же вам требуется дом?

И тут Энн, которая с напряженным вниманием и возрастающим ужасом следила за каждым его движением, ответила так поспешно, так горячо, словно только и ждала этого вопроса:

— С кладовками! — И прибавила, вопросительно взглянув на мужа: — Беспременно.

Архитектор записал.

— Сколько комнат? — спросил он, переходя к второстепенным вопросам.

Молодожены уставились друг на друга. Что сказать? Ведь потом уж не отопрешься.

— Ну, сколько, например, спален? — спросил архитектор.

— Одна? — неуверенно предложил Киппс, жаждавший теперь, чтобы дом был как можно меньше.

— А Гвендолен? — вмешалась Энн.

— К вам могут приехать гости,— подсказал архитектор.— Да мало ли что может случиться,— прибавил он сдержанно.

— Тогда, может, две? — сказал Киппс.— Нам, понимаете, нужен совсем маленький домик...

— Но даже в самом скромном охотничьем домике...— возразил архитектор.

Сошлись на шести — архитектор упорно отвоевывал у них спальню за спальней, подогрел их воображение словом «детская» (он, разумеется, понимает, что это дело далекого будущего), и в конце концов они неохотно уступили: ладно, пусть будет шесть; после чего Энн подошла к столу, села и выложила одно из своих заранее обдуманных условий.

— Горячая и холодная вода во всех комнатах,— сказала она.— Беспременно.

Эта идея еще давно была позаимствована у Сида.

— Да,— сказал Киппс, стоя на коврике у камина,— горячая и холодная вода в каждой спальне, так мы порешили.

Тут архитектор впервые догадался, что ему предстоит иметь дело с весьма своеобразной четой, а так как только накануне он всю вторую половину дня потратил на то, чтобы отыскать в журнале «Строитель» три больших дома, из которых намеревался скомбинировать один и, позаимствовав из каждого по мере возможности, выдать его за свой оригинальный проект, он, естественно, изо всех сил сопротивлялся выдумкам Киппсов. Он долго разглагольствовал о чрезвычайной дороговизне водопроводов и всего того, что он не предусмотрел для задуманного проекта; наконец Энн заявила, что тогда лучше пускай вовсе никакого дома не будет, а Киппс, который все это время не вмешивался в разговор, сказал, что ему все равно, во сколько это обойдется, лишь бы все было, как он желает; и только после этого архитектор вопреки своим привычкам и методам согласился внести в будущий проект некоторое своеобразие. Он кашлянул в знак того, что с этим вопросом покончено, и сказал:

— Ну что ж, если вы не боитесь отступить от общепринятого...

Далее он объяснил, что неплохо бы построить дом в стиле королевы Анны (услыхав свое имя, Энн украдкой кивнула Киппсу). Сам он не любит, когда снаружи дом уж слишком педантично выдержан в каком-то одном стиле,— но пусть этот стиль преобладает; вот, скажем, слуховые окна, фронтоны и оконные переплеты можно сделать в стиле королевы Анны, кое-где пустить грубую штукатурку простым наметом, то тут, то там подделку под дерево, небольшой навес — все это придаст оригинальность, сделает дом поинтереснее. В том-то и преимущество стиля королевы Анны, что он допускает большое разнообразие... Но если они хотят уйти от общепринятого, что ж, это можно. Сейчас много строят в необычном стиле, и некоторые дома выходят очень недурно. В этих сугубо современных постройках часто делают упор, так сказать, на внутренние особенности — например, строят староанглийскую дубовую лестницу и галерею. В таких домах предпочитают грубую штукатурку простым наметом и зеленую краску.

Сухо кашлянув, он дал понять, что экскурс в область стилей окончен, и вновь раскрыл блокнот, которым вдохновенно размахивал, живописуя бессчетные достоинства внешней отделки дома в стиле королевы Анны.

— Шесть спален,— сказал он, послюнив карандаш.— В одной окна забраны решеткой — на случай, если понадобится превратить ее в детскую.

Киппс неохотно, осипшим голосом подтвердил свое согласие.

Затем стали обсуждать, где и как расположить хозяйственные помещения,— в этом интереснейшем разговоре Киппс играл более чем скромную роль. От спален перешли к кухне, потом к буфетной, и тут Энн проявила такое знание дела и сообразительность, что архитектор не мог не выразить ей своего восхищения. У Энн был свой, неслыханно новый взгляд на местоположение кладовой для угля: в обычных домах это подвал, и оттуда уголь слишком тяжело таскать. Они сочли непрактичной идею перенести кладовую и кухню на самый верх: тогда уголь придется проносить через весь дом, а значит, вдвое больше мыть и убирать; остановились бы-

ло на мысли сделать угольную кладовую на первом этаже, но подвести к ней удобную лестницу и вывести наружу лоток, через который будут пополняться запасы угля.

— Может быть, это была бы даже оригинальная деталь наружной отделки,— с некоторым сомнением сказал архитектор и сделал пометку в блокноте.— Только все неизбежно будет черное, пачкотня снаружи.

Потом они принялись обсуждать, не лучше ли построить подъемник, а потом архитектора вдруг осенило: газовое отопление! Киппс, пыхтя и еле переводя дух, исполнил сложнейшую словесную фугу на тему «Газовое отопление пожирает воздух»; наконец он сделался красный как рак и надолго замолчал, только беззвучно шевелил губами.

Несколько дней спустя архитектор написал им, что, просматривая свой блокнот, он нашел подробнейшие указания насчет окон фонарем во всех комнатах, насчет спален, водопровода, подъемника, высоты ступеней на лестнице, которая ни в коем случае не должна быть винтовой, насчет кухни, каковая должна быть размером в двадцать квадратных футов, с хорошей вентиляцией, с двумя шкафами для посуды и вместительным ларем... насчет буфетной, и служб, и кладовых, но ни слова о гостиной, столовой, библиотеке или кабинете, а также о примерной стоимости постройки; поэтому он ждет дальнейших указаний. Он полагает, что в доме необходимы комната для завтраков, столовая, гостиная и кабинет для мистера Киппса — таково по крайней мере его мнение,— и молодожены долго и горячо обсуждали этот план.

Энн явно ничего подобного не желала.

— Не пойму, для чего это надо — гостиная да еще столовая, когда есть кухня! Если б мы хотели пускать на лето жильцов, тогда ладно. Но мы ж не хотим. Ну и ни к чему нам столько комнат. Да еще холл! На что он нужен? Только уборки прибавится, вот и вся радость. А кабинет!

Прочитав письмо архитектора, Киппс принялся мурлыкать себе под нос какую-то песенку и поглаживать усики.

— А я бы не отказался от небольшого кабинета — совсем маленького, конечно, но чтоб в нем стоял письмен-

ный стол и книжный шкаф, как в Хьюгендене. Я бы не отказался.

И только снова поговорив с архитектором и увидев, как он шокирован идеей, что в доме не будет гостиной, они согласились еще и на эту особенность внутреннего устройства. Согласились только потому, что не хотели его огорчать.

— Да только она нам вовсе ни к чему,— сказала Энн.

Киппс твердил свое: ему нужен кабинет.

— Раз у меня будет кабинет, я стану почитывать книжки, — говорил он, — мне уж давно этого хочется. Стану каждый день уходить туда на часок и чего-нибудь читать. Есть Шекспир и еще много всяких сочинителей, человек вроде меня должен их знать, и потом надо ж куда ни то уставить Энциклопедию. Правда-правда, я всегда хотел иметь кабинет. Раз есть кабинет, поневоле станешь читать. А без кабинета... без кабинета только и будешь читать, что всякие дрянные романы.

Он поглядел на Энн и удивился: лицо у нее почему-то безрадостное, задумчивое.

— Хорошо-то как, Энн! — сказал он, но в голосе его не слышалось особого воодушевления.— Представляешь, будет у нас свой собственный домик!

— Какой уж там домик, это целый домище! — отозвалась Энн.— Экая тьма комнат...

5

Но когда дело дошло до чертежей, все томительные сомнения рассеялись.

Архитектор принес три пачки эскизов на прозрачной синеватой бумаге, которая издавала отвратительный запах. Он очень мило их раскрасил: кирпично-красным, рыжеватым, ядовито-зеленым, свинцово-голубым — и показал молодой чете. Первый проект был совсем простой, безо всяких наружных украшений — «стиль без затей», как определил его архитектор,— но все равно дом казался большим; в другом проекте имелись такие добавления, как оранжерея, несколько типов различных окон фонарем, один фронтон был исполнен в грубой штукатурке наметом, другой наполовину деревянный и повторен в

обыкновенной штукатурке, и еще имелась выступающая веранда — выглядело все это куда внушительнее; а третий сплошь оброс оригинальными подробностями снаружи и оказался битком набит оригинальными подробностями внутри; третий, по словам архитектора, был уже, «в сущности, особняк», поистине величественное создание человеческой мысли. Пожалуй, для Хайта такой дом даже слишком хорош, заметил архитектор; он увлекся и создал современный особняк «в лучшем фолкстонском стиле» — тут был главный холл с лестницей, мавританская галерея и тюдоровское, с цветными стеклами окно, зубчатые стены, ведущие к портику, восьмиугольный выступ на фронтоне с восьмиугольными фонарями окон, увенчанный металлическим куполом в восточном стиле, ряды желтого кирпича, разнообразящие красную кладку, и много иных украшений и приманок для глаза. Столь роскошный, величественно-сладострастный особняк вполне мог бы возвести для себя какой-нибудь современный воротила, но для четы Киппсов он был не в меру пышен. Первый проект предусматривал семь спален, второй — восемь, третий — одиннадцать; они «сами собой сюда проникли», пояснил архитектор, будто речь шла о камешках в башмаке альпиниста.

— Да это ж большие дома,— сказала Энн, едва архитектор развернул свои чертежи.

Киппс слушал архитектора, раскрыв рот, но высказывался очень осторожно, чтобы не связать себя каким-нибудь разрешением или согласием; а тот водил по чертежам ножичком из карманного маникюрного прибора, который всегда был при нем, и останавливался на каждой оригинальной подробности. Энн следила за выражением лица Киппса и украдкой подавала ему знаки.

— Не такой большой,— шепнула она одними губами.

— Этот дом для меня больно велик,— сказал Киппс, взглядом успокаивая Энн.

— Он кажется большим только на бумаге,— сказал архитектор,— можете мне поверить.

— Ни к чему нам больше шести спален,— стоял на своем Киппс.

— Можно превратить вот эту комнату в гардеробную,— предложил архитектор.

Ощущение собственного бессилия на минуту отняло у Киппса дар слова.

— Так какой же вы предпочитаете? — как ни в чем не бывало спросил архитектор, разложив чертежи и планы всех трех домов, и получше расправил проект роскошного особняка, чтобы он предстал взорам во всей красе.

Киппс осведомился, во что «самое большее» обойдется каждый дом, и Энн стала делать ему тревожные знаки. Но архитектор мог пока назвать лишь весьма приблизительные цифры.

Они так и не связали себя никаким обязательством, Киппс пообещал только все обдумать — с тем архитектор и ушел.

— Этот дом нам не годится,— сказала Энн.

— Да, они страх какие огромные, все три дома,— согласился Киппс.

— Тут придется... Да тут и четверых слуг не хватит,— сказала Энн.

Киппс подошел к камину и стал, эдак расставив ноги, прочно, важно.

— В другой раз как он придет, я ему растолкую,— заявил он небрежно.— Нам совсем не это надо. Это... это — недоразумение. Ты не бойся, Энн.

— А по мне, так, может, лучше и вовсе не строить,— сказала Энн.— Хорошего в этом мало, как я погляжу.

— Ну, что ты, раз взялись, куда ж теперь денешься,— сказал Киппс.— Ну, а если...

И он развернул самый скромный из эскизов и почесал щеку.

6

По несчастью, назавтра к ним в гости заявился Киппс-старший.

В присутствии дядюшки племянник всегда становился сам не свой: на него находила несвойственная ему самоуверенность, и он склонен был совершать необдуманные поступки. Немалого труда ему стоило примирить стариков с таким мезальянсом — женитьбой на дочери Порника,— и время от времени отзвуки недовольства еще слышались в речах Киппса-старшего. Может быть,

именно это, а не просто недостойное тщеславие, повинно в том, что племянник неизменно сбивался в разговорах с дядей на хвастливый тон. А миссис Киппс, по правде говоря, и вовсе не могла примириться с этим браком; она отклоняла все приглашения молодых, а когда они однажды навестили ее по дороге к матери Энн, оказала им весьма нелюбезный прием. Она все время фыркала носом, чему причиной явно была не столько простуда, сколько уязвленная гордость, и, высказав надежду, что Энн будет не слишком задирать нос по случаю своего замужества, все остальное время обращалась только к племяннику или отпускала замечания в пространство. Визит оказался очень коротким, разговор прерывался долгими паузами, гостям не предложили никакого угощения, и Энн покинула этот дом совсем пунцовая. Когда молодые снова оказались в Нью-Ромней, она почему-то не пожелала навестить стариков.

Но Киппс-старший отважился побывать у племянника, отведал стряпню молодой супруги, и она пришлась ему по вкусу, после чего он явно сменил гнев на милость. Скоро он навестил их снова, а потом приезжал еще и еще. Он приезжал омнибусом и, замолкая лишь на те мгновения, когда рот его был набит до отказа, обрушивал на племянника неиссякаемый поток мудрейших советов самого разного свойства, которые сбивали с толку Киппса-младшего, и так до той самой минуты, когда пора было поспешать на Главную улицу, чтобы не пропустить обратный омнибус. Он ходил с Киппсом к морю и принимался торговать у лодочников лодки. «Беспременно заведи собственную лодку»,— наставлял он племянника, хотя Киппс был никудышный моряк, или развивал перед Киппсом созревший у него в голове план — приобрести в Хайте домик на какой-нибудь тихой улочке и сдавать комнаты, как он выражался, «понедельно». Вся прелесть этой затеи заключалась в том, что каждую неделю он будет сам, собственной персоной собирать квартирную плату — единственный еще оставшийся в нашей демократической стране способ приблизиться к феодальному величию. Дядюшка никак не давал понять, откуда собирается взять капитал на свою затею, и иногда могло показаться, что он мечтает об этом занятии не столько для себя, сколько для племянника.

Но что-то в его отношении к Энн, в испытующих, подстерегающих взглядах тревожило Киппса и толкало на разные широкие жесты. Однажды, например, в ожидании дяди Киппс совершил отважную вылазку — она ему недешево обошлась — и принес домой ящик индийских сигар по девять пенсов штука и заменил вполне приличное вино белой марки «Мафусаилом» — четыре звездочки, с синей этикеткой.

— Сюда подбавили виски, мой мальчик,— сказал Киппс-старший, отведав рюмочку, и недоверчиво пожевал губами.— Сейчас встретил молодых офицеров, целую толпу. Надо бы тебе записаться в волонтеры, мой мальчик, и познакомиться с ними.

— А что ж, я и запишусь,— сказал Киппс-младший,— только после.

— Тебя мигом произведут в офицеры,— сказал дядя.— Им офицеры нужны, а на это ведь не у всякого есть деньги. Тебе знаешь как обрадуются. А собачку ты еще не завел?

— Покуда не завел, дядя. Хотите сигару?

— И автомобиль не купил?

— Покуда не купил, дядя.

— Оно, конечно, поспеется Только, гляди, не купи, что дешево да гнило, сынок. Уж покупать, так чтоб на весь век хватило. А покуда нанимал бы, как раньше. Я даже удивляюсь, чего это ты в них больше не ездишь.

— Да Энн не больно уважает автомобили,— ответил Киппс.

— А-а, ну оно и понятно,— сказал Киппс-старший и выразительно покосился на дверь.— Нет у ней этой привычки. Ей бы все дома сидеть.

— Такое дело, дядя,— заторопился Киппс,— надумали мы построить дом.

— Вот это, пожалуй, что и зря, мой мальчик,— начал Киппс-старший.

Но племянник уже рылся в ящике в поисках чертежей и эскизов. Он вытащил их как раз вовремя, чтобы помешать дядюшке обсуждать нрав и привычки Энн.

— Гм,— сказал старый джентльмен. Совершенно осо-

бенный запах и непривычная прозрачность кальки, которую он видел впервые в жизни, произвели на него впечатление.

— Стало быть, надумал строить дом, а?

Киппс начал с самого скромного проекта.

Дядя, вооружась очками в серебряной оправе, медленно прочел:

— «План дома Артура Киппса, эсквайра». Гм-гм...

Нельзя сказать, чтобы проект сразу воодушевил его, и когда в комнате появилась Энн, он все еще с некоторым сомнением изучал эскизы.

— Мы нигде не могли найти ничего подходящего,— облокотясь на стол, небрежно сказал Киппс.— Вот и надумали сами построить. А почему бы и нет?

Это прозвучало гордо и уверенно и не могло не понравиться Киппсу-старшему.

— Мы думали, попробуем, поглядим...— сказала Энн.

— Это, видать, спекуляция,— сказал Киппс-старший, отодвинул от себя план фута на два, на три и нахмурился, глядя через очки.— Я так полагаю: не такой бы дом тебе нужен,—сказал он.—Это же просто дача. Такой дом годится разве что какому счетоводу или там канцеляристу. А для джентльмена это не подходит, Арти.

— Он, конечно, скромный,— сказал Киппс, становясь возле дяди; теперь проект и вправду показался ему далеко не таким величественным, как при первом знакомстве.

— Незачем тебе строить чересчур скромный дом,— сказал дядя.

— А если он удобный...—отважилась вмешаться Энн.

Киппс-старший поглядел на нее поверх очков.

— В нашем мире удобно только тогда, когда живешь, как тебе пристало по положению.

Так прозвучало в его устах выраженное на современном английском языке старое французское изречение «noblesse oblige» [1].

— Это дом для удалившегося от дел торговца или для какого ни то жалкого стряпчего. А для тебя...

---

[1] Положение обязывает *(франц.)*.

— Что ж, есть и другой план,— сказал Киппс и выложил второй проект.

Но только эскиз третьего дома покорил сердце Киппса-старшего.

— Вот это дом так дом, мой мальчик,— сказал он тотчас.

Энн подошла и остановилась за спиной мужа, а Киппс-старший распространялся о том, что третий проект самый удачный.

— Тебе еще нужна бильярдная,— говорил он.—Где ж она? А так все очень даже хорошо. Все эти офицеры страх как рады будут поиграть в бильярд... А это чего — горшки какие-то? — прибавил он, разглядывая эскиз.

— Аллея,— ответил Киппс.— Насадим кустики. Будут цветы.

— В этом доме одиннадцать спален,— вставила свое слово Энн.— Больно много, правда, дядя?

— Сгодятся. Коли дела пойдут хорошо, от гостей отбою не будет. Друзья твоего мужа станут наезжать, глядишь, офицеры приедут... Небось, будешь рада-радехонька, если он сведет с ними дружбу. Да и мало ли что может быть.

— Если у нас будет много этих кустов, еще придется нанимать садовника,— не сдавалась Энн.

— А не будет кустов, так всякий бесстыдник станет пялить глаза прямо в окно гостиной,— терпеливо объяснил дядя,— а у вас, глядишь, как раз важные гости.

— Непривычные мы к аллеям,— заупрямилась Энн,— нам и так хорошо.

— А мы говорим не про то, к чему вы привычные, а про то, к чему надо нынче привыкать.

После такой отповеди Энн уже не пыталась вмешаться в разговор.

— Кабинет и библиотека,— прочел Киппс-старший.— Это подходяще. Я давеча в Брукленде видел Тантала — такая фигура для кабинета настоящего джентльмена в самый раз. Попробую схожу на аукцион, глядишь, приторгую.

Когда пришло время отправляться на омнибус, дядя был уже всей душой за то, чтобы строить дом, и как будто выбор пал на самый грандиозный проект.

Но Энн не вымолвила больше ни слова.

7

Киппс проводил дядю до омнибуса и в который раз с неизменным удивлением убедился, что эта тучная фигура все же втиснулась в маленький и тесный «экспресс»; когда он вернулся домой, Энн все еще стояла у стола и с величайшим неодобрением глядела на эскизы всех трех проектов.

— У дяди, видать, со здоровьем ничего,— сказал Киппс, становясь на привычное место перед камином,— только вот изжога у него. А так — взлетел на ступеньки, что твоя птичка.

Энн, не отрываясь, глядела на эскизы.

— Не нравятся они тебе, что ли? — спросил наконец Киппс.

— Нет, Арти, не нравятся.

— Ну, теперь, хочешь — не хочешь, надо строиться.

— Но... Это ведь настоящий барский дом, Арти!

— Он... понятно, он не маленький.

Киппс любовно взглянул на эскизы и отошел к окну.

— А уборки-то сколько! В таком доме и троим слугам не справиться, Арти.

— Нам без слуг нельзя,— сказал Киппс.

Энн уныло поглядела на свою будущую резиденцию.

— Нам все-таки надо жить по своему положению,— сказал Киппс, повернувшись к ней.— У нас теперь есть положение, Энн, это ясней ясного. Ну чего ты хочешь? Не дам я тебе мыть полы. Придется тебе завести прислугу и заправлять домом. Иначе я не оберусь стыда...

Губы Энн дрогнули, но она так ни слова и не сказала.

— Чего ты? — спросил Киппс.

— Ничего,— ответила Энн,— только мне так хотелось маленький домик, Арти! Мне хотелось удобный маленький домик, для нас с тобой.

Киппс вдруг залился краской, лицо у него стало упрямое. Он опять взялся за пахучие кальки.

— Не желаю я, чтоб на меня глядели свысока,— сказал он.— И дело тут не только в дяде!

Энн смотрела на него во все глаза.

— Возьми хоть молодого Уолшингема,— продолжал Киппс.— Не желаю я, чтоб он на меня фыркал да насмехался. Будто мы и не люди вовсе. Я его видал вче-

рашний день... Или Филина возьми. Я не хуже их... Мы с тобой не хуже их... Мало ли чего там получилось, а все равно не хуже.

Молчание, шелест кальки.

Киппс поднял голову и увидел блестящие от слез глаза Энн. Минуту они пристально глядели друг на друга.

— Ладно, пускай у нас будет большой дом,— трудно глотнув, сказала Энн.— Я про это не подумала, Арти.

Взгляд ее загорелся, лицо стало решительное, она едва справлялась с нахлынувшими на нее чувствами.

— У нас будет большой дом,— повторила она.— Пускай они не говорят, что, мол, я потащила тебя вниз... никто так не сможет сказать. Я думала... Я всегда этого боялась.

Киппс снова посмотрел на план, и вдруг большой дом показался ему чересчур большим. Он тяжело перевел дух.

— Нет, Арти. Никто из них не сможет так сказать.— И каким-то неуверенным движением, точно слепая, Энн потянула к себе эскиз...

«А ведь и средний дом не так уж плох»,— подумал Киппс. Но он зашел уже слишком далеко и теперь не знал, как отступить.

Итак, проект перешел в руки строителей, и в скором времени Киппс связал себя договором на строительство стоимостью в две тысячи пятьсот фунтов. Но ведь, как вам известно, доход его был тысяча двести фунтов в год.

8

Просто диву даешься, сколько возникает мелких трудностей, когда начинаешь строить дом!

— Слышь, Энн,— сказал однажды Киппс.— Оказывается, надо дать нашему дому название. Я думал, может, «Уютный коттедж». Да не знаю, годится ли. Все здешние рыбацкие домишки прозываются коттеджами.

— Мне нравится «Коттедж»,— сказала Энн.

— Да ведь в нем одиннадцать спален,— возразил Киппс.— Когда четыре спальни, еще ладно, а уж когда больше — какой же это коттедж! Это уж целая вилла. Это уж даже Большой дом. Во всяком случае — Дом.

— Ну что ж,— сказала Энн,— коли так надо, пускай будет вилла... «Уютная вилла»... Нет, не нравится.

Киппс задумался.

— А если «Вилла Эврика»! — воскликнул он, обрадовавшись находке.

— А чего это — «Эврика»?

— Имя такое,— ответил он.— Есть такие «платяные крючки «Эврика». Я сейчас подумал: в магазинах каких только названий нет. «Вилла Пижама». Это в трикотаже. Хотя нет, не годится. А может, «Марапоза»?.. Это — такое суровое полотно. Нет! «Эврика» лучше.

Энн призадумалась.

— Вроде глупо брать имя, которое ничего не значит,— сказала она.

— А может, оно и значит,— сказал Киппс.— Все равно, какое-никакое название надо.

Он еще немного подумал. И вдруг воскликнул:

— Нашел!

— Опять «Эврика»?

— Нет! В Гастингсе напротив нашей школы был дом — хороший, большой дом — прозывался Дом святой Анны. Вот это...

— Нет уж,—решительно заявила миссис Киппс.— Наше вам спасибо, да только не желаю я, чтобы всякий разносчик трепал мое имя...

Они обратились за советом к Каршоту, и, поразмыслив несколько дней, он предложил «Вилла Уодди», как изящное напоминание о дедушке Киппса; спросили совета и Киппса-старшего — он был за «Особняк Эптон», где он некогда служил ливрейным лакеем; спросили Баггинса — этому был по душе либо простой, строгий номер — «Номер один», если поблизости не окажется других домов, либо что-нибудь патриотическое, к примеру, вилла «Империя»; спросили Пирса — он высказался за «Сендрингем»; но они никак не могли выбрать что-нибудь одно, а тем временем после бурных волнений, после сложнейшей, отчаянной торговли, пререканий, страхов, неразберихи, бесконечных хождений взад и вперед Киппс (уже не ощущая от этого ни капли радости) стал обладателем земельного участка в три восьмых акра и наконец увидел, как срезают дерн с участка, на котором в один прекрасный день вырастет его собственный дом.

ГЛАВА II

ГОСТИ

1

Мистер и миссис Артур Киппс сидели за обеденным столом, с которого еще не убрали остатки пирога с ревенем, и говорили о двух открытках, доставленных дневной почтой. Яркий луч солнца скользнул по комнате — редкий гость в этот пасмурный и ветреный мартовский день. На Киппсе был коричневый костюм и галстук модного зеленого цвета; на Энн — яркое свободного покроя платье, из тех, что обычно сочетаются с сандалиями и передовыми идеями. Но у Энн не было ни сандалий, ни передовых идей, а платье купили совсем недавно по совету миссис Сид Порник.

— Уж больно оно художественное,— сказал Киппс, но особенно возражать не стал.

— Зато удобное,— сказала Энн.

Стеклянная дверь выходила на небольшую зеленую лужайку, а дальше виднелась набережная — излюбленное место прогулок жителей Хайта. Мокрая от дождя, она сияла под солнцем, а еще дальше ворочалось серо-зеленое неспокойное море.

Вся обстановка, если не считать двух-трех случайных цветных литографий, купленных Киппсом, на которых отдыхал глаз, утомленный кричащими обоями, была искусно навязана Киппсу опытным продавцом и особым изяществом не отличалась. Тут стоял буфет резного дуба, он был бы всем хорош, да только напоминал Киппсу о классе резания по дереву; в его кривом стекле сейчас отражался затылок Киппса. На буфетной полке лежали две книжки парсонской библиотечки, обе с закладками, но ни Киппс, ни Энн не могли бы назвать имя автора или хотя бы название книги, которую они читали. Каминная полка под черное дерево уставлена ярко раскрашенными флаконами и горшочками, которые еще умножены отражением в зеркале; тут же две японских вазы бирмингемского производства—свадебный подарок мистера и миссис Сид Порник, да еще несколько роскошных китайских вееров. На полу — ярчайший турецкий ковер. В придачу к этим новомодным творениям фир-

мы Пшик и Трах, поставляющей предметы изящного свойства любителям красивой жизни, тут были двое бездействующих кабинетных часов, чье глубочайшее молчание взывало о помощи; два глобуса — земной и небесный, последний с глубокой вмятиной; несколько почтенных, старых, насквозь пропыленных книг в чернильных пятнах и чучело совы с единственным стеклянным глазом (второй нетрудно было бы вставить) — все это раздобыл неутомимый Киппс-старший. Сервировка (на это было положено немало стараний) была почти точь-в-точь такая же, как у миссис Биндон Боттинг, только все подороже, на столе красовались зеленые и малиновые бокалы, хотя вина супруги Киппс никогда не пили...

Киппс опять взялся за ту открытку, что была написана более разборчивым почерком.

— «Неотложные дела» мешают ему сегодня повидаться со мной!.. Ну и нахал! А я-то помог ему стать на ноги!

Он тяжело перевел дух.

— Да, не больно он с тобой вежливый,— сказала Энн.

Киппс дал себе волю — он сильно недолюбливал молодого Уолшингема.

— Заважничал, прямо терпения нет,— сказал Киппс.— Уж пускай бы лучше она подала на меня в суд. А то как она сказала, что не станет, так вроде он решил не давать мне тратить мои собственные деньги.

— Он не хочет, чтоб ты строил дом.

Киппс вышел из себя.

— Тьфу ты, пропасть, да ему-то какое дело? Подумаешь, сверхчеловек! Сверхдурак!.. Я ему покажу сверхчеловека, он у меня дождется.

Он взял вторую открытку.

— Ну, ни словечка не разберу. Только подпись — «Читтерлоу».

Он старательно вглядывался.

— Будто в корчах писал. Вот это вроде «Ай-д-а Га-р-р-и...» Ага! «...м-о-л-о-д-е-ц»... прочел! Это у него вроде присказка такая. Видать, что-то такое сделал со своей пьесой или, может, чего-то не сделал.

— Видать, что так,— согласилась Энн.

— А дальше ничего не разберу,— проворчал Киппс, устав от усилий,— ну хоть тресни.

Не почта — одна досада. Он бросил открытку на стол, встал и отошел к окну. Энн после неудачной попытки расшифровать иероглифы Читтерлоу тоже встала и присоединилась к мужу.

— Ну чего мне сегодня делать? — сказал Киппс, засунув руки глубоко в карманы.

Он достал сигарету и закурил.

— Может, пойдешь погуляешь? — предложила Энн.

— Я уже с утра гулял... А может, и впрямь пойти еще пройтись,— прибавил он немного погодя.

Некоторое время они молча глядели на пустынные просторы моря, рябые от ветра.

— И чего это он не хочет меня увидать? — сказал Киппс, возвращаясь мыслью к молодому Уолшингему.— Это ведь одно вранье, ничего он не занят.

Но и Энн не знала, как разрешить эту загадку.

По окну забарабанил дождь.

— Опять полило! — сказал Киппс.— А, будь оно неладно, надо же что-нибудь делать! Слышь, Энн! Пошлепаю-ка я по дождю к Солтвуду, мимо Ньюингтона, за летними дачами, сделаю круг — и обратно, погляжу, как там подвигаются дела с домом. Ладно? И слышь, Энн! Отпусти Гвендолен, пока меня нет, пусть ее погуляет. Коли дождь не перестанет, пускай сходит в гости к сестре. А потом я приду, станем пить чай с тостами... и масла побольше... ладно? Может, сами их подрумяним. А?

— Ну, а у меня и дома дело найдется,— подумав, ответила Энн.— Только надень макинтош и краги. А то промокнешь насквозь, знаешь ведь, какие дороги.

— Это можно,— согласился Киппс и пошел спрашивать у Гвендолен коричневые краги и другие башмаки.

2

В этот день все словно сговорилось, чтобы испортить Киппсу настроение.

Когда он вышел из дому, под юго-западным ветром мир показался ему таким мокрым и унылым, что он сразу же раздумал плестись по глинистым тропинкам к Ньюингтону и зашагал на восток, к Фолкстону, вдоль Сибрукской дамбы. Полы макинтоша били его по ногам, дождь

хлестал по лицу — он чувствовал себя настоящим мужчиной, выносливым и отважным. Но вдруг дождь перестал так же неожиданно, как начался, ветер стих, и не успел еще Киппс миновать Главную улицу Сандгейта, а над головой уже весело сияло весеннее солнце. А он вырядился в макинтош и в скрипучие краги, и вид у него самый дурацкий!

По инерции он отшагал еще милю и оказался на набережной, где все и вся делали вид, будто на свете вообще нет и не было никаких дождей. В небе ни облачка, тротуары совершенно сухи, лишь изредка попадается случайная лужица. Какой-то франт в новомодном пальто, с виду оно из обыкновенной материи, но это ложь и обман, на самом деле она непромокаемая, прошел мимо и насмешливо покосился на макинтош, который стоял на Киппсе колом.

— Тьфу, пропасть! — не сдержался Киппс.

Макинтош хлопал по крагам, краги со свистом и писком терлись о башмаки.

— Ну, почему у меня все не как у людей?! — воззвал Киппс к лучезарной безжалостной вселенной.

По улице шли старые дамы приятной внешности, изысканно одетые люди с туго свернутыми зонтиками, красивые, надменные мальчики и девочки в ярких пальтишках. Ну, конечно же, в такой день надо было выйти в легком пальто и с зонтиком. Ребенок и тот бы догадался. Дома у него все это есть, но ведь не станешь доказывать про это каждому встречному и поперечному. Киппс решил повернуть к памятнику Гарвея и выйти из города через Клифтонский парк. И в эту самую минуту ему повстречался Филин.

Он уже и без того чувствовал себя самым жалким, презренным и недостойным из отбросов общества, а Филин нанес ему последний удар. Филин шел ему навстречу, по направлению к набережной. Они столкнулись чуть не нос к носу. При виде его у Киппса подкосились ноги, теперь он еле шел, спотыкаясь на каждом шагу. Филин заметил Киппса и вздрогнул. Потом все его существо словно подверглось своего рода rigor vitae [1], нижняя че-

[1] «Живому окоченению» (перефраз латинского медицинского термина «rigor mortis» — трупное окоченение) (*лат.*).

люсть выдвинулась вперед, под кожей как бы собрался лишний воздух, она натянулась, и лицо раздулось прямо на глазах («Как бы», говорю я, ибо знаю, что и в организме Филина, как у всех нас, существует соединительная ткань, которая делает подобные превращения невозможными). Глаза его остекленели и смотрели сквозь Киппса куда-то вдаль. Когда он проходил мимо, Киппс даже слышал его ровное, решительное дыхание. Он прошел, а Киппс, спотыкаясь, поплелся дальше, в мир, где остались одни только дохлые кошки да кучи мусора, очистки и пепел,— общество отвергло его, теперь ему место на свалке!

И таковы уж безжалостные законы судьбы, что тотчас после этой встречи тому, что осталось от Киппса, пришлось идти мимо длинного-предлинного здания женской школы, из всех окон которой, наверно, выглядывали любопытные девичьи лица.

Опомнился Киппс уже на дороге между станцией Шорнклиф и Черитоном, хотя и не мог (да по сей день и не пытался) вспомнить, как он туда забрел. Он думал о романе, который читал накануне вечером,— мысли, вызванные этим романом, оказались под стать горькому ощущению отверженности, что мучило его сейчас. Роман лежал у него дома на шкафчике; нет надобности называть ни самый этот роман, ни автора; он трактовал вопросы общества и политики и написан был с той тяжеловесной основательностью, против которой Киппс никак не мог устоять. Он сокрушил и стер в порошок жалкое здание его идеалов, его мечты о разумном, скромном существовании, об уюте, о возможности жить своим умом, не заботясь о том, что скажут люди; он утверждал (в который раз!) истинно английское понимание единственно правильного общественного устройства и нравов. Один из героев этой книги слегка баловался искусством, увлекался французскими романами, одевался вольно и небрежно, немало огорчал свою почтенную, убеленную сединами, добропорядочную матушку и дерзил епископам, пытавшимся его усовестить. Он дурно обходился с «милой девушкой», с которой его обручили; он женился на какой-то девице, стоявшей гораздо ниже его, на каком-то ничтожестве без всякого положения в обществе. И пал уж так низко...

Киппс читал — и поневоле думал о себе. Теперь он понимал, как все это выглядит в глазах порядочных людей; теперь он ясно представлял меру заслуженного наказания. И перед глазами встало застывшее, как у статуи, лицо Филина.

Он это заслужил!

Ох, уж этот день раскаяния! Некоторое время спустя Киппс оказался на месте своего будущего дома и, перекинув через руку макинтош, с чувством, близким к отчаянию, взирал на беспорядок, предшествующий началу строительства.

Похоже было, что никто не работает в этот день,— конечно же, подрядчик так или иначе его надувает, на участке мерзость запустения, и сарай подрядчика с крупной черной надписью «Уилкинс-подрядчик, гор. Хайт» выглядит каким-то чужеродным телом здесь, где все вверх дном, среди тачек, дощатых мостков, вздыбленной земли, песка и кирпичей. На месте будущих стен тянутся канавы, залитые жидким бетоном, кое-где уже затвердевшим; на месте комнат — неужели это и впрямь будут комнаты? — квадраты и прямоугольники, поросшие грубой мокрой травой и щавелем. И какие-то они маленькие, нелепо, возмутительно маленькие! А чего ж еще можно было ожидать? Конечно же, подрядчик его надувает — строит все слишком маленькое, и все не так, вкривь и вкось, из дрянного материала! Киппс-старший не зря ему намекал. Подрядчик его надувает, и молодой Уолшингем его надувает, все его надувают! Надувают его и насмехаются над ним, потому что нет у них к нему уважения. А не уважают его, потому что у него все не по-людски. Кто ж его станет уважать?..

Он отверженный, нет ему места среди людей. Судьба улыбалась ему, а он повернулся к ней спиной. Он «вел себя дурно и недостойно» — вот как сказано в той книге...

Скоро здесь вырастет огромный дом, за который придется платить и с которым не управиться ни ему, ни Энн,— дом, где будет одиннадцать спален и четверо непочтительных слуг, которые вечно будут их надувать!

Как же все это случилось?

Конец его огромному богатству! А ведь ему привалило такое счастье! Было бы куда лучше, если б он не изменил своим первоначальным планам. И если б у него

был наставник — именно об этом он мечтал с самого начала,— особенный наставник, который руководил бы им, учил, как правильно поступать, чтоб все было как следует. Наставник для того, кто «в сущности джентльмен», но не получил необходимого воспитания и образования. Если бы он больше читал, лучше исполнял советы Филина... Филина, который только что прошел мимо, сделав вид, что не заметил его!..

Одиннадцать спален! Да уж не рехнулся ли он? Никто никогда не приедет к ним гостить; никто никогда не захочет иметь с ними ничего общего. Даже тетка отвернулась от него! Только дядюшка его терпит, да и тот, видать, презирает. В целом мире у него нет ни одного стоящего друга! Баггинс, Каршот, Пирс — обыкновенные приказчики! Семейство Порник низкого звания, да к тому же социалисты! Одинокий, он стоял на фундаменте своего дома, точно посреди развалин; глупец, заблудшая душа, он стоял среди развалин своего будущего.

Он представлял, как они с Энн будут влачить позорное существование в огромном дурацком доме (а конечно, он будет дурацкий!), и все будут втихомолку насмехаться над ними, и при всех одиннадцати спальнях никто не станет их навещать, никто стоящий, из хорошего общества, и так будет всегда. А тут еще Энн!..

Что такое с ней сделалось? Последнее время она не желает выходить на прогулку, стала обидчивая, плаксивая, переборчивая в еде. Вот уж не ко времени! Это тоже кара за то, что он поступил не так, как следовало; теперь-то он понял: общество еще и не так покарает его, общество — грозный Джаггернаут из прочитанного накануне романа.

3

Он открыл дверь своим ключом. Угрюмо прошел в столовую, достал эскизы дома и собрался их пересмотреть. Откуда-то появилась смутная надежда: может быть, в доме не одиннадцать спален, а только десять. Увы, их по-прежнему было одиннадцать. Не оборачиваясь, он почувствовал, что за спиной стоит Энн.

— Гляди, Арти! — сказала она.

Киппс поднял голову. Энн протягивала ему несколько продолговатых кусочков белого картона.

Он удивленно поднял брови.

— Приходили гости,— сказала Энн.

Он медленно отодвинул кальки, взял у нее из рук визитные карточки и молча, даже как-то торжественно прочел все подряд. Гости! Тогда, может, он все-таки не будет изгнан из общества себе подобных. Миссис Поррет Смит, мисс Поррет Смит, мисс Мэйбл Поррет Смит; и две карточки поменьше — преподобный Поррет Смит.

— Ух ты! — воскликнул Киппс. — Священник!

— Приходила дама,— сказала Энн,— и две взрослые девицы... Все разряженные!

— А он сам?

— Никакого «его» не было.

— Нет?..— Киппс протянул ей карточку поменьше.

— Нет. Только дама с двумя девицами.

— А как же эти карточки? Чего ж они тогда оставили эти две карточки, преподобный Поррет Смит, раз он сам не приходил?

— Он не приходил.

— Может, он был такой низенький, за их спинами и не видать, а сам не вошел.

— Не было при них никакого джентльмена,— сказала Энн.

— Чудно́! — подивился Киппс.

И тут в его памяти всплыл один давний случай.

— А, знаю!— сказал он, помахивая карточкой преподобного Поррета Смита.—Он от них сбежал, вон что. Пока они стучались в дверь, взял и улизнул. Но все равно, это самые настоящие гости. (В душе Киппса шевельнулась недостойная радость: как хорошо, что его не было дома!) Про что ж они говорили, Энн?

Энн ответила не сразу.

— Я их не впустила,— вымолвила она наконец.

Киппс вскинул голову и тут только заметил, что с ней творится неладное. Щеки горят, глаза заплаканные и злые.

— Как не впустила?!

— Так! Они в дом не входили.

Киппс онемел от изумления.

— Я услыхала стук и пошла отворять,— стала рассказывать Энн.— Я была наверху, натирала полы. Откуда мне было знать, что это гости? Сколько здесь жи-

вем, никаких гостей и в помине не было. Я услала Гвендолен подышать воздухом, а сама натираю наверху полы, она так плохо натерла, вот, думаю, как раз поспею без нее переделать. Натру, думаю, полы, вскипячу чайник, и тихонько напьемся с тобой чаю, поджарим тосты, пока ее нет. Откуда мне было знать про гостей, Арти?

Она замолчала.

— Ну, — не выдержал Киппс,— дальше что?

— Они постучались в дверь. Откуда мне было знать? Я думала, это торговец какой. Прямо как была — в фартуке, руки в воске — отворяю. А это они!

И опять замолчала. Надо было переходить к самому тягостному.

— Ну, и что же они?

— Она говорит: «Миссис Киппс дома?» Понимаешь? Это мне-то.

— Ну?

— А я вся перемазанная, простоволосая, не то хозяйка, не то прислуга—не поймешь. Я от стыда прямо чуть сквозь землю не провалилась. Думала, словечка не вымолвлю. И ничего не могу надумать, взяла да и сказала: «Нету дома» — и по привычке протягиваю поднос. А они положили на поднос визитные карточки и пошли. Ну, как я теперь покажусь на глаза этой даме?.. Вот и все, Арти! Они эдак оглядели меня с ног до головы, а я и захлопнула дверь.

— О господи! — простонал Киппс.

Энн отошла и дрожащей рукой стала без всякой надобности ворошить кочергой уголья в камине.

— Дорого бы я дал, чтоб ничего этого не было, пять фунтов не пожалел бы,— сказал Киппс.— Да еще священник, не кто-нибудь.

Кочерга со звоном упала на каминную решетку; Энн выпрямилась, в зеркале отразилось ее пылающее лицо. Досада Киппса росла.

— Надо все-таки думать, что делаешь, Энн! Право же, надо думать.

Он сел за стол, все еще держа в руках визитные карточки, с каждой минутой острее чувствуя, что теперь-то уж двери общества для него навсегда закрыты. На столе расставлены были тарелки, на краю каминной решетки ждали (под фаянсовой крышкой в цветах) поджаристые

ломтики хлеба, тут же грелся чайничек для заварки, и чайник, только что снятый с полки в камине, уютно посвистывал среди углей. Энн с минуту смотрела на Киппса и принялась заваривать чай.

— Надо же! — сказал Киппс, все больше распаляясь.

— Не пойму, ну какой толк теперь злиться,— сказала Энн.

— Не поймешь! А я понимаю. Ясно? Пришли к нам люди, хорошие люди, хотят с нами завязать знакомство, а ты берешь да и выставляешь их за дверь.

— Не выставляла я их за дверь.

— Если разобраться,— выставила. Захлопнула дверь у них перед носом — и только мы их и видели. Дорого бы я дал, чтоб ничего этого не было, десять фунтов не пожалел бы.

Он даже застонал от огорчения. Некоторое время в столовой было тихо, только Энн звякала то крышкой, то ложкой, готовя чай.

— Возьми, Арти,— сказала она и подала ему чашку.

Киппс взял чашку.

— Сахар я уже положила,— сказала Энн.

— А пропади оно все пропадом! Положила, не положила — плевать я хотел! — взорвался Киппс, дрожащими от ярости пальцами кинул в чашку огромный кусок сахару и со стуком поставил ее на краешек буфета.— Плевать я хотел! Дорого бы я дал, чтоб ничего этого не было,— сказал он, словно еще пытаясь задобрить судьбу.— Двадцать фунтов не пожалел бы.

Минуту-другую он хмуро молчал.

Но тут Энн сказала роковые слова, от которых его окончательно взорвало.

— Арти! — позвала она.

— Чего?

— Вон там, около тебя, поджаренный хлеб с маслом!

Молчание, муж и жена в упор смотрят друг на друга.

— Ах, поджаренный хлеб!— крикнул Киппс.—Сперва берет и отваживает гостей, а потом пичкает меня своим жареным хлебом! Только жареного хлеба недоставало. В кои веки можно было свести знакомство со стоя-

щими людьми... Слушай, Энн! Вот что я тебе скажу... Ты должна отдать им визит.

— Отдать визит!

— Да... ты должна отдать им визит. Вот что тебе нужно сделать! Я знаю...— Он неопределенно махнул рукой на буфетную полку, где ютились его книги.—Это в книжке «Как вести себя в обществе». Посмотри, сколько надо оставить визитных карточек, и пойди и оставь им. Поняла?

На лице Энн выразился ужас.

— Что ты, Арти! Как же я могу?

— Как ты можешь? А как ты смогла? Все равно придется тебе пойти. Да они тебя не признают... наденешь ту шляпку с Бонд-стрит — и не признают. А и признают, так словечка не скажут.— Голос его зазвучал почти просительно.— Это нужно, Энн!

— Не могу!

— Так ведь нужно!

— Не могу я. И не пойду. Коли что разумное, всегда сделаю, а смотреть в глаза этим людям,— это после того-то, что случилось? Не могу я, и все.

— Не пойдешь?

— Нет!

— Значит, все! Мы никогда их больше не увидим! И так оно и будет! Так и будет! Никого мы не знаем и не узнаем! А ты не желаешь хоть немножко постараться, самую чуточку, и даже учиться не желаешь.

Тяжелое молчание.

— Не надо было мне выходить за тебя, Арти, вот в чем все дело.

— А, что теперь про это толковать!

— Не надо было мне выходить за тебя, Арти. Я тебе не ровня. Если б ты тогда не сказал, что пойдешь топиться...

Она не договорила, слезы душили ее.

— Не пойму я, почему бы тебе не попробовать... Вот я же выучился. А тебе почему не попробовать? Чем усылать прислугу и самой натирать полы, а когда приходят гости...

— Почем мне было знать, что они пожалуют, эти твои гости? — со слезами вскричала Энн и вдруг вскочила и выбежала из комнаты.

Чаепитие было загублено — семейное чаепитие, венцом и триумфом которого должен был стать поджаренный хлеб с маслом.

Киппс оторопело и испуганно посмотрел вслед жене. Но тотчас ожесточился.

— Вперед будет поосторожнее,— сказал он.— Вон чего натворила!

Некоторое время он так и сидел, потирая колени, и сердито бубнил себе под нос. «Не могу да не пойду»,— с презрением бормотал он. Ему казалось, что все его беды и весь позор — от Энн.

Потом он машинально встал и поднял цветастую фарфоровую крышку. Под нею оказались аппетитные, румяные, густо намасленные ломтики.

— Да провались он, этот жареный хлеб! — вспылил Киппс и кинул крышку на место...

Когда вернулась Гвендолен, она сразу поняла: что-то неладно. Хозяин с каменным лицом сидел у огня и читал какой-то том Британской энциклопедии, хозяйка заперлась наверху; она спустилась лишь позднее, и глаза у нее были красные. У камина под треснувшей крышкой томились все еще очень аппетитные ломтики поджаренного хлеба — к ним явно никто и не притронулся.

— Видать, малость поцапались,—решила Гвендолен и, набив рот, как была в шляпке, принялась хозяйничать в кухне.— Чудные какие-то! Право слово!

И она взяла еще один щедро намасленный Энн и подрумяненный ломтик.

4

В этот день Киппсы больше не разговаривали друг с другом.

Пустяковая размолвка из-за визитных карточек и поджаренного хлеба для них была точно серьезное расхождение во взглядах. Причина размолвки казалась им достаточно серьезной. Обоих сжигало ощущение несправедливости, незаслуженной обиды, упрямое нежелание уступить, уязвленная гордость. До поздней ночи Киппс лежал без сна, глубоко несчастный, чуть не плача. Жизнь представлялась ему ужасающей, безнадежной

неразберихой: затеял постройку никому не нужного дома, опозорил себя в глазах общества, дурно обошелся с Элен, женился на Энн, которая ему совсем не пара...

Тут он заметил, что Энн как-то не так дышит...

Он прислушался. Она не спала и тихонько, украдкой всхлипывала...

Он ожесточился: хватит! Он и без того был слишком мягкосердечен... И вскоре Энн затихла.

5

Как глупы маленькие трагедии этих жалких, ограниченных человечков!

Я думаю о том, какие несчастные лежат они сейчас в темноте, и взглядом проникаю сквозь завесу ночи. Смотрите и вы вместе со мною. Над ними, над самыми их головами нависло Чудовище, тяжеловесное, тупое Чудовище, точно гигантский неуклюжий грифон, точно лабиринтодонт из Кристального дворца, точно Филин, точно свинцовая богиня из Дунсиады, точно некий разжиревший, самодовольный лакей, точно высокомерие, точно праздность, точно все то, что омрачает человеческую жизнь, все то, что есть в ней темного и дурного. Это так называемый здравый смысл, это невежество, это бессердечие, это сила, правящая на нашей земле,— тупость. Тень ее нависла над жизнью моих Киппсов. Шелфорд и его система ученичества, Гастингская «академия», верования и убеждения Филина, стариков дяди и тети — все то, что сделало Киппса таким, каков он есть,—все это частица тени того Чудовища. Если бы не это Чудовище, они могли бы и не запутаться среди нелепых представлений и не ранили бы друг друга так больно; если бы не оно, живые ростки, которые столько обещают в детстве и юности, могли бы принести более счастливые плоды; в них могла бы пробудиться мысль и влиться в реку человеческого разума, бодрящий солнечный луч печатного слова проник бы в их души; жизнь их не была бы, как ныне, лишена понимания красоты, которую познали мы, счастливцы: нам дано видение чаши святого Грааля, что навечно делает жизнь прекрасной.

Я смеялся и смеюсь над этими двумя людьми; я хотел, чтобы и вы посмеялись...

Но сквозь тьму я вижу души моих Киппсов; для меня они оба — трепещущие розовые комочки живой плоти, маленькие живые твари, дурно вскормленные, болезненные, невежественные дети — дети, которым больно, испорченные, запутавшиеся в нашей неразберихе; дети, которые страдают — и не могут понять, почему страдают. И над ними занесена когтистая лапа Чудовища!

ГЛАВА III

ЗАВЕРШЕНИЯ

1

На другое утро пришла удивительная телеграмма из Фолкстона. «Пожалуйста, немедленно приезжайте. Крайне необходимо. Уолшингем», — говорилось в телеграмме, и после тревожного, но все же обильного завтрака Киппс отбыл...

Вернулся он белый, как мел, на нем поистине лица не было. Он открыл дверь своим ключом и вошел в столовую, где сидела Энн, делая вид, что усердно шьет крохотную тряпочку, которую она называла нагрудничком. Еще прежде, чем он вошел, она слышала, как упала в передней его шляпа — видно, он повесил ее мимо крючка.

— Мне надо кой-что тебе сказать, Энн,— начал он, будто и не было вчерашней ссоры, прошел к коврику у камина, ухватился за каминную полку и уставился на Энн так, словно видел ее впервые в жизни.

— Ну? — отозвалась Энн, не поднимая головы, и иголка быстрее заходила у нее в руках.

— Он удрал!

Энн подняла глаза и перестала шить.

— Кто удрал?

Только теперь она увидала, как бледен Киппс.

— Молодой Уолшингем... Я видел ее, она мне и сказала.

— Как так удрал?

— Дал тягу! Поминай как звали!

— Зачем?

— Да уж не зря,— с внезапной горечью ответил Киппс.— Он спекулировал. Он спекулировал нашими деньгами и их деньгами спекулировал, а теперь дал стрекача. Вот и все, Энн.

— Так, стало быть...

— Стало быть, он улизнул, и плакали наши денежки! Все двадцать четыре тыщи. Вот! Погорели мы с тобой! Вот и все.— Он задохнулся и умолк.

Для такого случая у Энн не было слов.

— О господи!— только и сказала она и словно окаменела.

Киппс подошел ближе, засунул руки глубоко в карманы.

— Пустил на спекуляции все, до последнего пенни, все потерял... и удрал.

У него даже губы побелели.

— Стало быть, у нас ничего не осталось, Арти?

— Ни гроша! Ни единой монетки, пропади оно все пропадом. Ничего!

В душе Киппса вскипела ярость. Он поднял крепко сжатый кулак.

— Ох, попадись он мне! Да я бы... я... я бы ему шею свернул. Я бы... я...— Он уже кричал. Но вдруг спохватился: в кухне Гвендолен!— и умолк, тяжело переводя дух.

— Как же это, Арти?— Энн все не могла постичь случившееся.— Стало быть, он взял наши деньги?

— Пустил их на спекуляции! — ответил Киппс и для ясности взмахнул руками, но ясней от этого ничего не стало.— Покупал задорого, а продавал задешево, мошенничал и пустил на ветер все наши деньги. Вот что он сделал, Энн. Вот что он сделал, этот...— Киппс прибавил несколько очень крепких слов.

— Стало быть, у нас теперь нет денег, Арти?

— Нету, нету, ясно, нету, будь оно все проклято!— закричал Киппс.— А про что же я твержу?

Он сразу пожалел о своей вспышке.

— Ты прости, Энн. Я не хотел на тебя орать. Только я сам не свой. Даже не знаю, что говорю. Ведь ни гроша не осталось...

— Но, Арти...

Киппс глухо застонал. Отошел к окну и уставился на залитое солнцем море.

— Тьфу, дьявол! — выругался он.— Стало быть,— продолжал он с досадой, вновь подходя к Энн,— этот жулик прикарманил наши двадцать четыре тысячи. Просто-напросто украл.

Энн отложила нагрудничек.

— Как же мы теперь, Арти?

Киппс развел руками. В этом всеобъемлющем жесте было все: и неведение, и гнев, и отчаяние. Он взял с каминной полки какую-то безделушку и сразу поставил обратно.

— У меня прямо голова кругом, как бы вовсе не рехнуться.

— Так ты, говоришь, видел ее?

— Да.

— Что ж она сказала?

— Велела мне идти к поверенному... велела найти кого-нибудь, чтобы сразу помог. Она была в черном... как обыкновенно, и говорила эдак спокойно, вроде как с осторожностью. Элен, она такая... бесчувственная она. Глядит мне прямо в глаза. «Я,— говорит,— виновата. Надо бы мне вас предупредить... Только при создавшихся обстоятельствах это было не очень просто». Так напрямик и режет. А я толком и словечка не вымолвил. Она уж меня к дверям ведет, а я все вроде ничего не пойму. И не знаю, что ей сказать. Может, так оно и лучше. А она эдак легко говорила... будто я с визитом пришел. Она говорит... как это она насчет мамаши своей?.. Да: «Мама,— говорит,— потрясена горем, так что все ложится на меня».

— И она велела тебе найти кого-нибудь в помощь?

— Да. Я ходил к старику Бину.

— К Бину?

— Да. Которого раньше прогнал от себя!

— Что же он сказал?

— Спервоначалу он вроде и слушать меня не хотел, а после ничего. Сказал, ему нужны факты, а так он пока ничего не может советовать. Только я этого Уолшингема знаю, тут никакие факты не помогут. Нет уж!

Киппс опять призадумался.

— Погорели мы, Энн. Да еще не оставил ли он нас по уши в долгах?.. Надо как-то выпутываться... Надо начинать все сначала,— продолжал он.— А как? Я вот ехал домой и все думал, думал. Придется как-то добывать на прожиток. Могли мы жить привольно, в достатке, без забот, без хлопот, а теперь всему этому конец. Дураки мы были, Энн. Сами не понимали, какое счастье нам привалило. И попались... Ох, будь оно все проклято!

Ему опять казалось, что он «того гляди рехнется».

В коридоре послышалось звяканье посуды и широкий, мягкий в домашних туфлях шаг прислуги. И, точно посланница судьбы, пожелавшей смягчить свои удары, в комнату вошла Гвендолен и принялась накрывать на стол. Киппс тотчас взял себя в руки. Энн снова склонилась над шитьем. И, пока прислуга оставалась в комнате, оба изо всех сил старались не выдать своего отчаяния. Она разостлала скатерть, медлительно и небрежно разложила ножи и вилки; Киппс, что-то пробормотав себе под нос, снова отошел к окну. Энн поднялась, аккуратно сложила шитье и спрятала в шкафчик.

— Как подумаю,— заговорил Киппс, едва Гвендолен вышла из комнаты,— как подумаю про своих стариков и что надо им про эти дела рассказать... прямо хоть бейся головой об стенку. Ну, как я им все это скажу? Впору расшибить мою глупую башку об стену! А Баггинс-то... Баггинс... Я же ему, почитай, обещался помочь, он хотел открыть магазинчик на Рандеву-стрит.

Опять появилась Гвендолен и вновь вернула супругам чувство собственного достоинства.

Она не спеша расставляла на столе все, что полагалось к обеду. А уходя, по своему обыкновению, оставила дверь настежь, и Киппс, прежде чем сесть за стол, старательно ее притворил.

Потом с сомнением оглядел стол.

— Верно, мне и кусок в горло не полезет,— сказал он.

— Надо ж поесть,— сказала Энн.

Некоторое время они почти не разговаривали и, проглотив первый кусок, невесело, но с аппетитом принялись за еду. Каждый усиленно думал.

— В конце-то концов,— нарушил молчание Киппс,— как там ни верти, а не могут нас выкинуть на улицу

или продать наше имущество с торгов, покуда квартал не кончился. Уж это я точно знаю.

— Продать с торгов! — ужаснулась Энн.

— Ну да, мы ж теперь банкроты.— Киппс очень старался сказать это легко и небрежно; дрожащей рукой он накладывал себе картофель, которого ему вовсе не хотелось.

Они снова надолго замолчали. Энн отложила вилку, по ее лицу текли слезы.

— Еще картошечки, Арти? — с трудом выговорила она.

— Нет,— сказал Киппс,— не могу.

Он отодвинул тарелку, полную картошки, встал и принялся беспокойно ходить по комнате. Даже обеденный стол выглядел сегодня как-то дико, непривычно.

— Что ж делать-то, а? Ума не приложу... О господи! — Он взял какую-то книгу и с размаху хлопнул ею об стол.

И тут его взгляд упал на новую открытку от Читтерлоу, которая пришла с утренней почтой, а сейчас лежала на каминной полке. Киппс взял ее, глянул на это неразборчивое послание и бросил обратно.

— Задержка! — с презрением сказал он.— Не ставят, дело за малым. Или за милым, что ли? У него разве разберешь? Опять хочет выманить у меня денег. Чего-то насчет Стрэнда. Нет уж!.. Теперь с меня взятки гладки!.. Я человек конченый.

Он сказал это так выразительно, что ему даже на минуту словно полегчало. Он уже остановился было на привычном месте перед камином и, казалось, готов был похваляться своим несчастьем... и вдруг подошел к Энн, сел рядом и оперся подбородком на сцепленные руки.

— Дурак я был, Энн,— мрачно, безжизненным голосом произнес он.— Безмозглый дурак! Теперь-то я понимаю. Только нам от этого не легче.

— Откуда ж тебе было знать?

— Надо было знать. Я даже вроде и знал. А теперь вот оно как! Я бы из-за себя одного так не убивался, я больше из-за тебя, Энн! Вот оно как теперь! Погорели мы! И ты ведь...— Он оборвал себя на полуслове, так и не договорив того, что делало еще страшнее по-

стигшую их катастрофу.— Я ведь знал, что ненадежный он человек, и все равно с ним не развязался! А теперь ты должна расплачиваться... Что теперь с нами со всеми будет, просто ума не приложу.

Он вскинул голову и свирепо уставился в глаза судьбы.

Энн молча глядела на него.

— А откуда ты знаешь, что он пустил в спекуляции все?— спросила она немного погодя.

— Конечно, все,— с досадой ответил Киппс, крепко держась за свое несчастье.

— Это она сказала?

— Она точно не знает, но уж можешь мне поверить. Она сказала: вроде как чуяла, что дело неладно, а потом вдруг видит — он уехал, прочла записку, какую он ей оставил, ну и поняла: ищи ветра в поле. Он удрал ночным пароходом. Она сразу отбила мне телеграмму.

Энн смотрела на него с нежностью и недоумением: какой он сразу стал бледный, осунулся, никогда еще она его таким не видала. Она хотела было погладить его руку, но не решилась. Она все еще не поняла до конца, какая беда обрушилась на них. Главное, вот он как горюет, мучается...

— А откуда ты знаешь?..— Она не договорила: он только еще больше рассердится.

А пылкое воображение Киппса уже не знало удержу.

— Продадут с торгов! — вдруг выкрикнул он, так что Энн вздрогнула.— Опять становись за прилавок, изо дня в день тяни лямку. Не вынесу я этого, Энн, не вынесу. А ты ведь...

— Чего ж сейчас про это думать,— сказала Энн.

Но вот он наконец на что-то решился.

— Я все думаю да гадаю, что теперь делать да как быть. Дома мне нынче сидеть нечего, какой от меня толк! У меня все одно и то же в голове, все одно и то же. Лучше уж я пойду прогуляюсь, что ли. Тебе от меня сейчас все равно никакого утешения, Энн. Моя бы воля, я бы сейчас все перебил да переколотил, лучше мне уйти из дому. У меня прямо руки чешутся. Ведь ничего бы этого не было, я сам, дурак, во всем виноват...

Он смотрел на нее то ли с мольбой, то ли со стыдом. Выходило, что он бросает ее одну.

Энн поглядела на него сквозь слезы.

— Ты уж делай, как тебе лучше, Арти...— сказала она.— А я примусь за уборку, мне так спокойнее. Гвендолен пускай свой месяц дослужит до конца, а только верхнюю комнату не грех прибрать хорошенько. Вот я и займусь, пока она еще моя,— хмуро пошутила она.

— А я уж лучше пойду пройдусь,— сказал Киппс.

И вот наш бедный, раздираемый отчаянием Киппс вышел из дому и пошел избывать внезапно свалившуюся на него беду. По привычке он зашагал было направо, к своему строящемуся дому, и вдруг понял, куда его потянуло.

— Ох, господи!

Он свернул на другую дорогу, взобрался на вершину холма, потом направился к Сэндлинг-роуд, пересек линию железной дороги неподалеку от обсаженного деревьями разъезда и полями двинулся к Постлингу — маленькая черная фигурка, упрямо уходящая все дальше и дальше; он дошел до Меловых холмов, перевалил через них — никогда еще он не забирался в такую даль...

2

Он вернулся, когда уже совсем стемнело, и Энн встретила его в коридоре.

— Куда ты запропастился, Арти? — каким-то не своим голосом спросила она.

— Я все ходил, ходил... хотел из сил выбиться. И все думал да гадал, как же мне теперь быть. Все старался что-нибудь *придумать*, да так ничего и не *придумал*.

— Я не знала, что ты уйдешь до самой ночи.

Киппс почувствовал угрызения совести...

— Не знаю я, как нам быть,— сказал он, помолчав.

— Чего ж тут надумаешь, Арти... вот погоди, что скажет мистер Бин.

— Да. Ничего не надумаешь. Оно конечно. Я вот ходил, ходил, и мне все чудилось — если ничего не надумаю, у меня прямо голова лопнет... Половину времени читал объявления, думал, может, найду место... Ну-

жен опытный продавец и кладовщик, чтоб понимал в тканях и витрины умел убрать... Господи! Представляешь, опять все начинать сызнова!.. Может, ты поживешь пока у Сида... А я стану посылать тебе все, что заработаю, все до последнего пенни... Ох, не знаю! Не знаю!..

Потом они легли и долго и мучительно старались уснуть... И в одну из этих нескончаемых минут, когда оба лежали без сна, Киппс сказал глухо:

— Я не хотел тебя пугать, Энн, вот что так поздно вернулся. Просто я все шел да шел, и мне вроде стало легчать. Я ушел за Стэнфорд, сел там на холме и все сидел, сидел, и мне вроде стало полегче. Просто глядел на равнину и как солнце садилось.

— А может, все не так уж плохо, Арти? — сказала Энн.

Долгое молчание.

— Нет, Энн, плохо.

— А может, все ж таки не так уж плохо. Если осталось хоть немножко...

И снова долгое молчание.

— Энн,— прозвучал в ночной тиши голос Киппса.

— Что?

— Энн,— повторил Киппс и умолк, будто поспешил захлопнуть какую-то дверку. Но потом снова начал:

— Я все думал, все думал... вот я тогда злился на тебя, шумел из-за всякой ерунды... из-за этих карточек... Дурак я был, Энн... но...— голос его дрожал и срывался...— все одно мы были счастливые, Энн... все-таки... вместе.

И тут он расплакался, как маленький, а за ним и Энн.

Они тесно прильнули друг к другу, теснее, чем когда-либо с тех пор, как сияющие зори медового месяца сменились серыми буднями семейной жизни...

Наконец они уснули рядышком, их бедные взбаламученные головы успокоились на одной подушке, и никакое самое страшное несчастье уже не могло бы их потревожить. Все равно ничего больше не поделаешь и ничего не придумаешь. И пусть время шутит над ними свои злые шутки, но сейчас, пусть ненадолго, они вновь обрели друг друга.

3

Киппс еще раз побывал у мистера Бина и вернулся в странном возбуждении. Он открыл дверь своим ключом и громко захлопнул ее за собой.

— Энн! — каким-то не своим голосом закричал он.— Энн!

Она отозвалась откуда-то издалека.

— Что я тебе скажу! — крикнул он.— Есть новостишка!

Энн вышла из кухни и поглядела на него почти со страхом.

— Послушай,— сказал Киппс, проходя впереди нее в столовую: новость была слишком важная, чтобы сообщать ее в коридоре.— Послушай, Энн, старик Бин говорит, очень может быть, у нас останется...— Он решил продлить удовольствие.— Догадайся!

— Не могу, Арти.

— Много-много денег!

— Неужто сто фунтов?

— Боль-ше ты-щи! — раздельно, торжественно объявил Киппс.

Энн уставилась на него во все глаза и ничего не сказала, только чуть побледнела.

— Больше,— повторил Киппс.— Почти наверняка больше тыщи.

Он прикрыл дверь столовой и поспешил к Энн, ибо при этом новом обороте дел она, видно, совсем потеряла самообладание. Она чуть не упала, он едва успел ее подхватить.

— Арти,— наконец выговорила она и, прильнув к нему, зарыдала.

— А тыща фунтов — это уж наверняка, — сказал Киппс, прижимая ее к себе.

— Я ж говорила, Арти,— всхлипывала она у него на плече, словно только теперь ощутила сразу всю горечь пережитых бед и обид,— я ж говорила, может, все не так плохо...

— Понимаешь, он не до всего мог добраться,— объяснил немного погодя Киппс, когда дело дошло до подробностей.— Наш участок, который под новым домом,— это земельная собственность, и за нее плачено;

да то, что успели построить,— это фунтов пятьсот — шестьсот... ну, самое маленькое триста. И нас не могут распродать с торгов, зря мы боялись. Старик Бин говорит: мы, наверно, сможем продать дом и получим деньги. Он говорит, всегда можно продать дом, если он и наполовину не готов, особенно когда земля в полной собственности. Почти наверно удастся продать — вот он как сказал. Потом есть еще Хьюгенден. Он был заложен, во всяком случае, не больше, чем за полцены. Стало быть, за него дадут фунтов сто, да еще мебель, и рента за лето еще идет. Бин говорит, может, и еще чего есть. Тыща фунтов — вот как он сказал. А может, и побольше...

Они теперь сидели за столом.

— Это уж совсем другое дело! — сказала Энн.

— Вот и я всю дорогу так думал. Я сейчас приехал в автомобиле. Как мы погорели — еще ни разу не ездил. И Гвендолен мы не уволим, хотя бы пока... Сама понимаешь. И нам не надо съезжать с квартиры... будем жить здесь еще долго. И моим старикам будем помогать... почти так же. И твоей мамаше!.. Я сейчас еду домой, а сам чуть не кричу от радости. Сперва чуть бегом не пустился.

— Ох, как я рада, что нам еще не надо отсюда съезжать и можно пожить спокойно,— сказала Энн.— Как я рада!

— Знаешь, я чуть не рассказал все шоферу... да только шофер попался какой-то неразговорчивый. Слышь, Энн, мы можем завести лавку или еще что. И не надо нам опять идти служить, ничего этого не будет!

Некоторое время они предавались бурным восторгам. Потом принялись строить планы.

— Мы можем открыть лавку,— сказал Киппс, давая волю воображению.— Лавку — это лучше всего.

— Мануфактурную? — спросила Энн.

— Для мануфактурной знаешь сколько надо: тыщи нипочем не хватит... если на приличную лавку.

— Тогда галантерейную. Как Баггинс надумал.

Киппс ненадолго замолчал: раньше эта мысль ему как-то не приходила в голову. Потом им вновь завладела давнишняя мечта.

— А я вот как располагаю, Энн,— сказал он.— Понимаешь, я всегда хотел завести книжную лавочку... Это тебе не мануфактура... тут никакого обучения не требуется. Я про это мечтал, еще когда мы и не погорели,— дескать, будет мне занятие, а то что́ у нас за жизнь: будто каждый божий день — воскресенье.

Энн призадумалась.

— Да ведь ты не больно разумеешь в книжках, Арти?

— А тут и разуметь нечего.— И он принялся пояснять:— Вот мы ходили в библиотеку в Фолкстоне, я и приметил: дамы там совсем не то, что в мануфактурной лавке... Ведь там, если не подашь в точности то, чего она желает, она тут же: «Ах, нет, не то!» — и к дверям. А в книжной лавке совсем другие пироги. Книжки-то все одинаковые, все равно, какую ни возьми. Было бы что читать, и ладно. Это ж не ситец, не салфетки — там, известное дело, товар либо нравится, либо нет, и потом, по платью да по салфеткам тебя и судят. А книжки... берут, что дашь, да еще незнамо как рады, когда им чего присоветуешь. Вот как мы, бывало... придешь в библиотеку...

Он помолчал.

— Слышь, Энн... Позавчерашний день я читал одно объявление. И я спросил мистера Бина. Там сказано: пятьсот фунтов.

— Это чего?

— Филиалы,— сказал Киппс.

Энн смотрела на него, не понимая.

— Это такая штука, они устраивают книжные лавки по всей Англии,— толковал Киппс.— Я тебе раньше не говорил, а только я уж стал было про это разузнавать. А потом бросил. Это еще когда мы с тобой не погорели. Дай, думаю, открою книжную лавку, так просто, для забавы, а потом решил: нет, все это глупость одна. И не пристало мне по моему положению. — Он залился краской.— Была у меня такая думка, Энн. Да только в те поры это не годилось,— прибавил он.

Нелегкая это была для супругов задача — что-либо растолковать друг другу. Но из путаницы отрывочных объяснений и вопросов стала понемногу выри-

совываться маленькая веселенькая книжная лавка, где им хорошо и спокойно.

— Я подумал про это один раз, когда был в Фолкстоне. Проходил мимо книжной лавки. Гляжу, парень убирает витрину и посвистывает, знать, на сердце у него легко. Я и подумал: хорошо бы завести такую лавочку, просто для удовольствия. А нет покупателей — сиди себе и почитывай. Поняла? Что, разве плохо?

Положив локти на стол и подперев щеки кулаками, они раздумчиво глядели друг на друга.

— А может, мы еще посчастливей будем, чем с большими-то деньгами,— сказал наконец Киппс.

— Уж больно нам было непривычно...— Энн не договорила.

— Будто рыба без воды,— сказал Киппс.— И теперь не надо тебе отдавать тот визит,— сказал он, переводя разговор в новое русло.— Так что оно и к лучшему.

— Господи! — воскликнула Энн. — И впрямь не надо!

— По теперешним нашим делам, если и пойдешь, так, пожалуй, не примут.

Лицо Энн просияло еще больше.

— И никто не будет приходить к нам и оставлять разные эти карточки. Ничего этого больше не будет, Арти!

— Нам теперь ни к чему задирать нос,— сказал Киппс,— с этим кончено. Мы теперь такие, как есть, Энн, простые люди, и нет у нас никакого положения, чтоб лезть из кожи вон. И прислугу не надо держать, коли неохота. И наряжаться лучше других не надо. Только одно и досадно, что нас ограбили, а то вот провалиться на этом месте, не жалко б мне было этих денег. Я думаю,— он заулыбался, наслаждаясь остроумным парадоксом,— я и впрямь так думаю: в конце концов мы на этом только выиграем.

4

Примечательное объявление, от которого Киппс так воспламенился и вспомнил былую мечту о книжной лавке, и в самом деле выглядело очень заманчиво. Предполагалось создать еще одно отделеньице в разветвленной

заокеанского происхождения системе продажи книг, которая должна была «перетряхнуть» наши устаревшие европейские приемы книготорговли и сулила быстроту оборота, простоту и успех, что вызывало у мистера Бина глубочайшее недоверие. Снова увлекшись этой идеей, Киппс отыскал их проспект — вполне убедительный, с яркими рисунками (на взгляд мистера Бина, чересчур хорошо отпечатанный для почтенной фирмы). Мистер Бин ни за что не разрешил бы Киппсу губить капитал, пустив его на покупку акций будущей компании, которая решила торговать книгами на новый лад, но он не мог запретить Киппсу вступить в число книгопродавцев. И когда стало ясно, что новой эпохи в книготорговле они не откроют и акционерное общество «Объединенные книгопродавцы» увяло, съежилось, рассыпалось в пыль и исчезло с лица земли, а его основатели тут же принялись осуществлять очередной гениальный замысел, Киппс, целый и невредимый, все так же преуспевал в новой для него и увлекательной роли независимого книгопродавца.

Если не считать того, что они провалились, у «Объединенных книгопродавцев» были все качества, необходимые для успеха. Беда, вероятно, в том и заключалась, что налицо были не одно-два качества, а все сразу. Компания предполагала закупать товар оптом для всех компаньонов и участников обменного фонда, имея подробный перечень всех книг и обменный пункт; у них был разработан единый тип витрины, которая должна была поведать обо всем этом и привлечь понимающего прохожего. Если б не то, что во главе компании стояли бойкие молодые люди из породы сверхчеловеков, которые, как и все гении, не умели считать, «Объединенные книгопродавцы», повторяю, вполне могли оправдать доверие и надежды. Киппс несколько раз ездил в Лондон, агент компании побывал в Хайте, раза три вполне своевременно вмешался мистер Бин, и вот вслед за объявлением на Главной улице очень быстро из-за лесов появилась новая витрина. «Объединенные книгопродавцы» — гласила вывеска, и выведено это было оригинальными художественными буквами, которые, конечно же, привлекут завсегдатая книжных лавок, так же как умудренного жизнью пациента за сорок привлечет простая, без

затей, табличка «Доктор по внутренним болезням». А дальше стояло: «Артур Киппс».

По-моему, никогда еще Киппс не был так по-настоящему счастлив, как в эти недели, когда готовился открыть свою книжную лавку. Сильней радоваться он мог бы разве что галантерейному магазину.

Разумеется, на земле, да, пожалуй, и на небесах нет счастья большего, чем возможность открыть галантерейный магазинчик. Представьте, например, полный ящик тесьмы всех видов (безупречно свернутой и надежно скрепленной, чтоб не разматывалась) или, опять же, ряды аккуратных солидных пакетов, и в каждом — один какой-нибудь сорт крючков и проушин. А белые и черные катушки, а мотки цветного шелка, а маленькие, поменьше и совсем крошечные отделеньица с тоненькими пакетиками в ящике для иголок! Несчастные принцы и бедняги аристократы, которым бог весть почему не положено заниматься розничной торговлей, вкушают лишь жалкое подобие этой услады, когда любуются своими коллекциями марок или бабочек. Я, разумеется, говорю о тех, у кого есть к этому склонность; существуют на свете и такие олухи, у которых не екнет сердце при виде катушек мерсеризованных ниток или бесчисленных картонок с наборами булавок. Я же пишу для людей понимающих, пишу и сам поражаюсь, как это Киппс устоял против галантерейной лавочки. И, однако, он устоял. Но даже и книжную лавку открыть в тысячу раз интереснее, чем строить собственный дом по особому проекту, не ограничивая себя ни пространством, ни временем, да и вообще для человека с положением и солидным доходом нет занятия интереснее и увлекательнее. На том я и стою.

Итак, представьте себе Киппса, когда он собирается «поглядеть, как там поживает лавочка» — лавочка, которая не только не пробьет брешь в его доходах, но, напротив, увеличит их. Киппс шагает не слишком быстро, а завидев ее, замедляет шаг и склоняет голову набок. Он переходит на другую сторону улицы, чтобы лучше рассмотреть вывеску, на которой едва заметными белыми штрихами уже намечено его имя; останавливается посреди мостовой и разглядывает какие-то неуловимые подробности, на радость будущему соседу-ан-

тиквару, и, наконец, входит внутрь... Как славно пахнет краской и свежей сосновой стружкой! Лавка уже остеклена, и плотник прилаживает передвижные полки в боковых витринах. Маляр красит всевозможные приспособления (наверху полки, внизу ящики), в которых разместится большая часть товара, а прилавок — прилавок и конторка уже готовы. Киппс заходит за конторку — уже скоро она станет капитанским мостиком всей лавки,— смахивает опилки и выдвигает восхитительный денежный ящик; вот отделение для золота, вот для серебра, вот — для меди, банкноты запираются в самый нижний ящичек. Потом, облокотясь на конторку, подперев кулаком подбородок, Киппс мысленно расставляет по полкам воображаемый товар; книг столько, что за целый век не перечитаешь. Человек, который не поленится вымыть руки и ухитрится прочесть книгу с неразрезанными страницами, каждый день может отыскать среди этого изобилия истинное сокровище. Под прилавком справа притаилась бумага и веревка, готовые выскочить и обвиться вокруг проданного товара; на столе слева — художественные издания по искусству — кто его разберет, что это значит. Киппс раскладывает все по местам, предлагает товар воображаемому покупателю, получает незримые семь шиллингов и шесть пенсов, заворачивает покупку и с поклоном провожает покупателя. И только диву дается, как это он когда-то мог думать, что магазин — место безрадостное.

Когда ты сам хозяин, решает он, поразмыслив над столь трудной задачей,— это совсем другой коленкор.

И в самом деле другой коленкор...

Или вот перед вами еще картинка: Киппс с видом молодого жреца раскрывает свои новенькие, с девственно белыми страницами конторские книги и смотрит, смотрит в них, и глаз не может оторвать от несравненного штампа «Причитается Артуру Киппсу (кричащими буквами), «Объединенные книгопродавцы» (весьма скромным шрифтом). И вот перед вами Энн — она сидит у лампы, отбрасывающей яркое пятно света, и шьет забавные крохотные одевашки для неведомого пришельца, а напротив нее, по другую сторону лампы, расположился Киппс. Перед ним лежат печатный бланк, влажная подушечка, пропитанная густыми, жирными

зеленовато-фиолетовыми чернилами, в которых уже вымазаны его пальцы, в руке перо с загнутым кончиком на случай, если пациенту, находящемуся у него в руках, понадобится немедленная хирургическая помощь, и сам пациент — резиновая печать. Время от времени Киппс с величайшим тщанием прикладывает печать к бумаге, и на ней появляется прекрасный зелено-фиолетовый овал, в котором заключены зелено-фиолетовые слова: «Оплачено, Артур Киппс, «Объединенные книгопродавцы» — и дата.

А потом его внимание переносится на ящик с желтыми круглыми ярлычками, гласящими: «Эта книга куплена в лавке «Объединенных книгопродавцев». Он старательно проводит языком по одному ярлычку, наклеивает его на бумагу и тут же с важностью отдирает.

— Получается, Энн,— говорит он, глядя на нее сияющими глазами.

Ибо «Объединенные книгопродавцы» среди прочих блистательных и вдохновляющих затей придумали еще одно новшество: книги, купленные у них, они до истечения определенного срока принимали обратно как часть платы за новые. Когда компания прогорела, у множества людей остались на руках эти невыкупленные заклады.

5

Среди всей этой суеты, увлечения, походов в лавку и обратно, пока они не переехали на Главную улицу, в жизни четы Киппсов наступило величайшее событие: однажды под утро у Энн родилось дитя...

Киппс мужал на глазах. Робкая наивная душа, которая еще так недавно поражена была открытием, что у человека есть внутренности, и пришла в смятение при виде обнаженных бальным платьем женских плеч, простак, который мучился, не зная, куда девать свой шапокляк, и отчаянно боялся чая с анаграммами,— он наконец-то столкнулся с задачами поважнее. Он столкнулся с самым главным в жизни — с рождением человека. Он изведал часы, когда весь обращаешься в слух,— часы бессильного страха в ночи и на рассвете, а потом ему в руки вложили величайшее в мире чудо: слабенькое вопящее существо, невероятно волнующе мягкое и жалкое, с такими крошечными трогательными

ручонками, что сердце Киппса сжалось от одного взгляда на них. Киппс держал это существо в руках и осторожно, точно боясь сделать больно, коснулся губами его щеки.

И это чудо — его сын!

И в облике Энн он увидел что-то незнакомое и вместе такое родное, как никогда прежде. На висках и на верхней губе капельки пота, а лицо раскрасневшееся, не бледное, как он со страхом себе представлял. Лицо человека, что прошел через тяжкое, но и вдохновляющее испытание. Киппс наклонился и поцеловал ее, он ничего не сказал: у него не было слов. Ей еще нельзя было много разговаривать, но она погладила его по руке и уж одно-то непременно хотела ему сказать.

— В нем больше девяти фунтов, Арти,— прошептала она.— А малыш Бесси... он весил только восемь.

Ей казалось, что этот лишний фунт, которым Киппс может гордиться перед Сидом, равносилен Nunc dimittis[1]. Она еще с минуту глядела на него, потом в блаженном изнеможении закрыла глаза, и сиделка с материнской бесцеремонностью выпроводила Киппса из комнаты.

6

Киппс был слишком поглощен собственными делами, чтобы беспокоиться о дальнейших подвигах Читтерлоу. Тот ведь получил свои две тысячи; в общем, Киппс был даже рад, что они достались Читтерлоу, а не молодому Уолшингему, но и только. Что же до малопонятных успехов, которых он достиг и о которых сообщал в своих по большей части неразборчивых и всегда невразумительных открытках,—они были для Киппса точно голоса прохожих, которые доносятся до тебя на улице, когда ты спешишь по своим неотложным делам. Киппс откладывал эти открытки в сторону, они попадали в книги, застревали меж страниц, и он их продавал вместе со своим товаром, и покупатели потом находили их и сильно недоумевали.

Но вот однажды утром, когда наш книгопродавец еще до завтрака вытирал в лавке пыль, Читтерлоу вернулся и вдруг встал на пороге лавки.

---

[1] Ныне отпущаеши...— сбылось величайшее желание (*лат.*).

Это была полнейшая неожиданность. Читтерлоу явился во фраке, причем во фраке невероятно измятом, каким этот наряд обычно становится уже под утро; на взъерошенных рыжих волосах торчал крохотный цилиндр, нелепо надвинутый на лоб. Читтерлоу распахнул дверь — высокий, широкоплечий, с огромной белой перчаткой в руке, словно хотел показать, как здорово может лопнуть перчатка по шву,—и застыл на пороге, глядя на Киппса блестящими глазами, но тотчас принялся выделывать бровями и губами такое, на что способен лишь опытный актер, и все его существо излучало волнение— что и говорить, поразительное зрелище!

Звонок на двери звякнул и смолк. Долгую-долгую секунду стояла недоуменная тишина. Киппс был поражен до онемения; умей он изумляться в десять раз сильней, он изумился бы в десять раз сильней.

— Да ведь это Читтерлоу! — вымолвил он наконец, не выпуская из рук пыльной тряпки.

Но он все еще думал, что ему мерещится.

— Ш-ш! — произнес удивительный гость, не меняя своей картинной позы, и, взмахнув сверкающей лопнувшей перчаткой, прибавил:

— Хлоп!

Больше он не мог вымолвить ни слова. Потрясающая речь, которую он заготовил, вылетела у него из головы. Киппс следил за изменениями его лица, смутно ощущая справедливость учений Низбета и Ламброзо о гениях.

И вдруг лицо Читтерлоу передернулось, театрально неестественное выражение слетело с него, точно маска, и он расплакался. Он невнятно пробормотал что-то вроде «Дружище Киппс! Дорогой дружище! О, Киппс, дружище!»— и из горла его вырвался странный звук — не то рыдание, не то смешок. После этого он вновь обрел свою обычную осанку и стал почти прежним Читтерлоу.

— Моя пьеса, у-у-у,— рыдал он, вцепившись в руку друга.—Моя пьеса, Киппс! (Рыдание). Вы уже знаете?

— А что с ней?— воскликнул Киппс, и сердце у него сжалось. — Неужто...

— Нет! — рыдал Читтерлоу.— Нет. Успех! Дорогой мой! Дорогой мой друг! О-о... огромный успех!

Он отвернулся и утер слезы тыльной стороной ладони. Шагнул раз-другой по лавке и вернулся к Киппсу. Сел на один из художественных стульев — неизменную принадлежность всех лавок «Объединенных книгопродавцев» — и вытащил из кармана крохотный дамский, сплошь в кружевах платочек.

— Моя пьеса,— рыдал он и все прикладывал платочек то к одному, то к другому глазу.

Он безуспешно старался взять себя в руки и вдруг ненадолго превратился в маленькое жалкое существо. Его огромный нос высунулся из кружев.

— Я потрясен,— сказал он в платок и так и замер, нелепый, непонятный.

Потом снова сделал доблестную попытку вытереть глаза.

— Я должен был вам сказать,— произнес он, глотая слезы.— Сейчас возьму себя в руки,— прибавил он.— Спокойствие!— И затих на своем стуле...

Киппс глядел во все глаза, от души жалея жертву такого успеха. Вдруг он услышал шаги и кинулся к двери, ведущей в комнаты.

— Минутку,— сказал он.— Погоди, Энн, не входи в лавку. Тут Читтерлоу. Он что-то не в себе. Но он сейчас отдышится. Это он с радости. Понимаешь,— упавшим голосом договорил Киппс, будто сообщал о покойнике,— у пьесы-то успех.

И он втолкнул Энн обратно в комнату, чтобы она не дай бог не увидела, как плачет еще один мужчина...

Скоро Читтерлоу немного пришел в себя, но некоторое время еще оставался пугающе тихим и кротким.

— Я должен был приехать и сказать вам,— объяснил он.— Я должен был хоть кого-нибудь удивить. Мюриель... конечно... лучше всего бы ее. Но она в Димчерче.— Он громко высморкался и тотчас обратился в самого обыкновенного словоохотливого оптимиста.

— Вот, небось, обрадуется! — заметил Киппс.

— Она еще ничего не знает, дружище. Она в Димчерче... с приятельницей. Она бывала прежде на других моих премьерах... Предпочитает теперь держаться подальше... Я сейчас еду к ней. Я всю ночь не ложился... разговаривал с ребятами и все такое. Я малость

ошалел, самую малость. Но все потрясены! Все до единого!

Он уставился в пол и продолжал ровным голосом, без всякого выражения:

— Вначале публика малость посмеялась... но это еще не настоящий смех... а вот во втором акте... знаете, когда этому парню за шиворот заполз жук. Малыш Чисхолм провел эту сцену лучше некуда. И тогда уж публика пошла хохотать — дальше некуда! — Голос его ожил, стал громче. — Какой поднялся хохот! Я и сам хохотал! И не успели еще они остыть, мы им быстренько — третий акт. Всех захватило. Я в жизни не видал, чтобы премьера шла так бурно. Смех, смех, смех, смех, СМЕХ (он говорил все громче, под конец он уже почти кричал). Они смеялись над каждой репликой, над каждым жестом. Они смеялись уже и над тем, чем мы вовсе не собирались смешить... даже и не думали. Хлоп! Хлоп! Занавес. Сногсшибательный успех!.. Я вышел на сцену... но я и слова не сказал. Чисхолм что-то отбарабанил. А крики! Мы шли по сцене, и на нас будто обрушилась Ниагара. Такое было чувство, будто я никогда прежде не видал настоящей публики...

— А потом ребята... — от волнения голос его сорвался. — Дорогие мои ребятки, — пробормотал он.

И рекой полились слова, и с каждой минутой росла самоуверенность. Еще немного — и он стал прежним Читтерлоу. Он был до крайности возбужден. Казалось, он просто не может усидеть на месте. Как только Киппс перестал опасаться, что он опять заплачет, они прошли в столовую. Читтерлоу отечески поздоровался с миссис Киппс, сел, но тотчас вскочил. Подошел к колыбели, стоявшей в углу, рассеянно взглянул на Киппса-младшего и сказал, что он рад, если не из-за чего другого, то хотя бы из-за малыша. И тотчас снова заговорил о своем... Шумно выпил чашку кофе и принялся шагать по комнате, ни на миг не умолкая, а они посреди этого бурного словоизвержения пытались позавтракать. Только малыш спал как ни в чем не бывало.

— Вы не возражаете, что я не сижу, миссис Киппс?.. Меня никто бы сейчас не заставил сесть, разве только вы. О вас я думаю больше, чем о ком бы то ни было, о вас, и о Мюриель, и обо всех старых приятелях и добрых

друзьях. Ведь это означает богатство, это означает деньги... сотни... тысячи... Слышали бы вы, как они хохотали!

Он многозначительно замолчал, но мысли перебивали друг друга, и он не выдержал и заговорил обо всем сразу. Так бывает, когда стремительный поток прорвет плотину и затопит провинциальный городок средней величины — что только не всплывет тогда в его водовороте! Читтерлоу, к примеру, обсуждал, как он теперь будет себя вести.

— Я рад, что это произошло теперь. А не раньше. Я получил хороший урок. Теперь я буду очень благоразумен, поверьте. Мы узнали цену деньгам.

Он говорил, что можно купить загородную виллу; или снять «корсиканскую башню» из тех, что сохранились от старинных береговых оборонительных сооружений, и превратить ее в купальный домик, бывают же охотничьи домики; или можно поселиться в Венеции — она столько говорит душе артиста, раскрывает перед ним такие горизонты... Можно снять квартиру в Вестминстере или дом в Вест-Энде. И надо бросить курить и пить, прибавил Читтерлоу и пустился рассуждать о том, какие напитки особенно пагубны для человека с его конституцией. Но все эти рассуждения не мешали ему, между делом, подсчитать будущие доходы, исходя из того, что пьеса выдержит тысячу представлений дома и в Америке, или вспомнить о доле Киппса и сказать, с какой радостью он уплатит эту долю; не забыл он сказать и о том, как удивился и опечалился, когда через третье лицо, пробудившее в его душе самые разные воспоминания, узнал о подлом поступке молодого Уолшингема,— этого молодчика и всех ему подобных он, Читтерлоу, всю жизнь терпеть не мог. В этот поток слов каким-то образом затесались рассуждения о Наполеоне и нет-нет да и всплывали на поверхность. И все это вылилось в одну нескончаемую сложную фразу, состоящую из многих вводных и подчиненных предложений, входящих одно в другое наподобие китайских шкатулок, и от начала до конца в ней ни разу нельзя было даже заподозрить присутствие чего-либо, хоть отдаленно напоминающего точку.

Среди этого потока, точно луч света на картине Уотса, появилась принесенная почтальоном «Дейли

Ньюс», и пока она оставалась развернутой, воды пребывали в покое; целый газетный столбец был отведен лестному отзыву о спектакле. Читтерлоу не выпускал газету из рук. Киппс читал, склонясь над его левым плечом, Энн — над правым. Теперь Киппсу все это уже показалось убедительнее; даже тайные, невысказанные сомнения самого Читтерлоу рассеялись. Но тут он исчез. Он умчался вихрем, он хотел достать все утренние газеты, даже самый последний жалкий листок, и тотчас отвезти их в Димчерч — пускай Мюриель прочтет! Лишь восторженные проводы, устроенные ему его дорогими «ребятами» — друзьями-актерами, помешали ему проделать это сразу же на Черинг-кросс, и он тогда едва не опоздал на поезд.

К тому же и киоск еще не открывали. Читтерлоу был очень бледен, лицо его лучилось безмерным волнением и счастьем, он шумно распрощался и удалился бодрым шагом, почти вприпрыжку. Когда он вышел на освещенную солнцем улицу, им показалось, что его волосы за ночь еще отросли.

Киппсы увидели, как он остановил мальчишку-газетчика.

— Каждую самую последнюю газетенку,— донеслись до них раскаты его мощного голоса.

Мальчишке-газетчику тоже привалило счастье. До Киппсов донеслось что-то вроде негромкого «ура», которое он прокричал в завершение сделки.

Читтерлоу шел своей дорогой, размахивая огромной пачкой газет,— воплощение заслуженного успеха. Газетчик мигом успокоился, еще раз внимательно оглядел нечто, зажатое в кулаке, сунул это нечто в карман, с минуту смотрел в спину Читтерлоу и, притихнув, вернулся к своим обязанностям...

Энн и Киппс молча глядели вслед этому удаляющемуся счастью, пока оно не скрылось за поворотом дороги.

— Я так рада,— с легким вздохом вымолвила наконец Энн.

— И я,— живо отозвался Киппс.— Он работал прямо как никто, а ждал сколько...

Задумавшись, они прошли в комнаты, взглянули на спящего младенца и снова принялись за прерванный завтрак.

— Он работал прямо как никто, а ждал сколько! — повторил Киппс, нарезая хлеб.

— Может, это и правда,— чуточку грустно сказала Энн.

— Что правда?

— А вот что будут все эти деньги.

Киппс чуть поразмыслил.

— А почему бы и нет,— ответил он и на кончике ножа протянул Энн кусок хлеба.

— Но мы все равно будем держать лавку,— продолжал он, еще немного подумав.— Я теперь не больно верю в деньги после всего, что с нами приключилось.

7

Прошло два года, и, как знают все на свете, «Загнанная бабочка» до сих пор не сходит со сцены. Это и в самом деле оказалось правдой. На этой пьесе маленький захудалый театрик на Стрэнде разбогател; вечер за вечером великолепная сцена с жуком исторгает счастливые слезы у переполненного — яблоку негде упасть — зала, и Киппс — несмотря на то, что Читтерлоу никак не назовешь деловым человеком,— стал почти таким же богачом, как когда получил наследство. В Австралии, в Ланкашире, в Шотландии, в Ирландии, в Новом Орлеане, на Ямайке, в Нью-Йорке и Монреале народ толпится у дверей театров, привлеченный доныне неведомым юмором, заключенным в энтомологической драме, и способствует обогащению Киппса. Богатство, точно пар, поднимается над всей нашей маленькой планетой и оседает (по крайней мере часть его) в карманах Киппса.

— Чудно́, — говорит Киппс.

Он сидит в кухоньке за книжной лавкой, и философствует, и с улыбкой глядит, как Энн у огня купает перед сном Артура Уодди Киппса. Киппс всегда присутствует при этой церемонии, разве что его отвлекут покупатели; в этот час в комнате стоит аромат табака, мыла, семейного уюта, который ему непередаваемо мил.

— Гули-гули-гули, малыш,— нежно произносит Киппс, помахав трубкой перед носом сына, и, как все родители, думает, что немного найдется детишек с таким складным и чистеньким тельцем.

— Папа получил чек,— заявил Артур Уодди Киппс, высовываясь из полотенца.

— На лету все схватывает,— сказала Энн,— слова не успеешь вымолвить, а он уж...

— Папа получил чек,— повторил этот поразительный ребенок.

— Да, малыш, я получил чек. И положу его в банк для тебя, и там он будет лежать, пока ты не пойдешь в школу. Ясно? Так что ты с самого начала будешь знать, что к чему.

— Папа получил чек,— сказал чудо-сын, и мысли его переключились на другое: он принялся изо всех сил шлепать ногой по воде — во все стороны полетели брызги. При каждом шлепке он так закатывался от хохота, что приходилось поддерживать его в ванночке — как бы в приступе веселья не вывалился на пол. Наконец его вытерли с головы до ног, завернули в теплую фланельку, поцеловали, и Эмма, родственница и помощница Энн, отнесла его в кроватку. Энн вынесла ванночку в чулан и, вернувшись, застала мужа с погасшей трубкой и все еще с чеком в руках.

— Две тыщи фунтов,— сказал он.— Прямо чудно́. Мне-то они за что, Энн? Что я такого сделал?

— Ты-то сделал все, чтобы их не получить,— сказала Энн.

Киппс задумался над этим новым поворотом.

— Никогда нипочем не откажусь от нашей лавки,— заявил он наконец,

— Нам здесь очень хорошо,— сказала Энн.

— Будь у меня даже пятьдесят тыщ фунтов, все равно не откажусь.

— Ну, об этом можно не волноваться,— заметила Энн.

— Заводишь лавочку,— сказал Киппс,— и проходит целый год, а она все тут. А деньги, сама видишь, приходят и уходят! Нет в них никакого смысла. Добываешь их, надрываешься, а потом, когда и не ждешь вовсе, глядь — они тут как тут. Возьми хоть мое наследство! Где оно? И след простыл! И молодого Уолшингема след простыл. Все одно как играешь в кегли. Вот катится шар, кегли валятся направо и налево, а он себе катится дальше как ни в чем не бывало. Нет в этом ника-

кого смысла. Молодого Уолшингема след простыл, и ее тоже след простыл — сбежала с этим Ривелом, который сидел рядом со мной за обедом. С женатым мужчиной! А Читтерлоу разбогател! Господи! Ну до чего ж славное местечко — этот Джерик-клуб, где мы с ним завтракали! Получше всякого отеля. У них там ливрейные лакеи пудреные повсюду расставлены... не официанты, Энн, а ливрейные лакеи! Он разбогател, и я тоже... вроде разбогател... Как ни глянь, а нет в этом никакого смысла.— И Киппс покачал головой.

— Одно я придумал,— сказал он чуть погодя.

— Что?

— Положу деньги в разные банки, во много банков. Понимаешь? Пятьдесят фунтов сюда, пятьдесят туда. Просто на текущий счет. Я ни во что не собираюсь их вкладывать, не бойся.

— Еще бы, это все равно, что на ветер кидать,— сказала Энн.

— Я, пожалуй, часть закопал бы под лавкой. Только тогда еще и сна лишишься, станешь ходить по ночам проверять, на месте они или нет... Нет у меня теперь ни к кому веры... когда дело до денег доходит.— Киппс положил чек на краешек стола, улыбнулся, выбил трубку о каминную решетку, все не спуская глаз с этой волшебной бумажки.— А вдруг старик Бин вздумает удрать,— вслух размышлял он...— Правда, он хромой.

— Этот не удерет,— сказала Энн.— Он не такой.

— Я шучу.— Киппс встал, положил трубку на каминную полку между подсвечниками, взял чек и перед тем, как положить в бумажник, стал аккуратно его складывать.

Раздался негромкий звонок.

— Это в лавке!— сказал Киппс.—Все правильно. Содержи лавку — и лавка будет содержать тебя. Вот как я думаю, Энн.

Он аккуратно вложил бумажник во внутренний карман пиджака и лишь тогда отворил дверь...

Но книжная ли лавка содержит Киппса или Киппс содержит лавку — это одна из тех коммерческих тайн, которую людям вроде меня, с отнюдь не математическим складом ума, вовеки не разгадать. Только, слава богу, милейшая чета Киппсов живет и горя не знает!

Книжная лавка Киппса находится на левой стороне Главной улицы Хайта, если идти из Фолкстона, между платной конюшней и витриной, уставленной старинным серебром и прочими древностями; так что найти ее очень просто, и там вы можете сами его увидеть, и поговорить с ним, и, если пожелаете, купить у него эту книжку. Она у него есть, я знаю. Я очень деликатно об этом позаботился. Имя у него, разумеется, другое, вы, я полагаю, и сами это понимаете, но все остальное обстоит в точности так, как я вам поведал. Вы можете потолковать с ним о книгах, о политике, о поездке в Булонь, о жизни вообще, о ее взлетах и падениях. Быть может, он станет цитировать Баггинса, кстати, теперь в его лавочке на Рандеву-стрит, в Фолкстоне, можно приобрести любой предмет джентльменского гардероба Если вам посчастливится застать Киппса в хорошем расположении духа, он, быть может, даже поведает вам о том, как «когда-то» он получил богатое наследство

— Промотал его,— скажет он с улыбкой, отнюдь не печальной.— Потом получил еще... заработал на пьесах Мог бы не держать эту лавку. Но надо же чем-то заняться...

А может быть, он будет с вами и еще откровеннее.

— Я кой-чего повидал на своем веку,— сказал он мне однажды.— Да, да! Пожил! Да что там, однажды я сбежал от невесты! Право слово! Хотите верьте, хотите нет!

Вы, разумеется, не скажете ему, что он и есть Киппс и что эта книга написана про него. Он об этом и не подозревает. И потом, ведь никогда не знаешь, как человек к этому отнесется. Я теперь его старый, пользующийся доверием клиент, и по многим причинам мне приятно было бы, чтобы все так оставалось и в дальнейшем.

8

Однажды июльским вечером, в тот день недели, когда лавка закрывается раньше обычного, чета Киппсов оставила малыша с родственницей, помогающей по хозяйству, и Киппс повез Энн прокатиться по каналу. Пламеневшее на закате небо погасло, в мире было тепло, стояла глубокая тишина. Смеркалось. Вода струилась

и сверкала, высоко над ними простерлось бархатно-синее небо, ветви деревьев склонялись к воде — все как было тогда, когда он плыл домой с Элен и глаза ее казались ему темными звездами. Он перестал грести, поднял весла, и вдруг души его коснулась волшебная палочка, и он снова ощутил, какое это чудо — жизнь.

Из темных глубин его души, что таились под мелководным, заросшим сорняками ручьем его бытия, всплыла мысль, смутная мысль, никогда не поднимавшаяся на поверхность. Мысль о чуде красоты, бесцельной, непоследовательной красоты, которая вдруг непостижимо выпадает на нашу долю среди событий и воспоминаний повседневной жизни. Никогда прежде мысль эта не пробивалась до его сознания, никогда не облекалась в слова; она была точно призрак, выглянувший из глубоких вод и вновь ушедший в небытие.

— Арти,— окликнула Энн.

Он очнулся и ударил веслами по воде.

— А? — отозвался он.

— О чем это ты раздумался?

Он ответил не сразу.

— Вроде ни об чем и не думал,— с улыбкой сказал он наконец.— Нет, ни об чем.

Руки его все еще покоились на веслах.

— Знаешь, я, верно, думал про то, как все чудно́ устроено на свете. Да, вот про это, видать, и думал.

— Сам ты у меня чудачок, Арти.

— Правда? И я тоже так прикидываю: какой-то я не такой, как все.

Он опять немного подумал.

— А, да кто его знает,— вымолвил он наконец, распрямился и взмахнул веслами.

1905

В дни кометы

ПРОЛОГ

ЧЕЛОВЕК, ПИСАВШИЙ В БАШНЕ

Я увидел седого, но еще крепкого человека, который сидел за письменным столом и писал.

Он находился в комнате, в башне, очень высоко над землей, так что из большого окна влево от него виднелись одни только дали: морской горизонт, мыс и мерцание огней сквозь туманную дымку, по которому на закате за много миль узнаешь город. Комната была чистая, красивая, но чем-то неуловимым, какой-то своей необычностью она показалась мне удивительной и странной. Трудно было определить, какого она стиля, а простой костюм, в который одет был этот человек, не говорил ничего ни об эпохе, ни о стране, где все это происходило. «Быть может, это — Счастливое Будущее,— подумал я,— или Утопия, или Страна Простых Грез». У меня в голове промелькнули фраза Генри Джеймса и рассказ о «Великой Счастливой Стране», но так же быстро улетучились, не оставив и следа.

Человек писал чем-то вроде вечного пера — новейшее изобретение, значит, историческое прошлое тут ни при чем. Исписав быстро и ровно лист, он присоединил его к стопке на изящном столике под окном. Последние исписанные листы лежали в беспорядке, покрывая остальные, соединенные в тетради.

Он, видимо, не замечал моего присутствия, а я стоял и ожидал, когда он перестанет писать. Он был,

несомненно, стар, но писал без напряжения, твердой рукой...

Высоко над его головой наклонно висело вогнутое зеркало; какое-то легкое движение в нем привлекло мое внимание; я взглянул вверх и увидел искаженное и потому странное, но очень яркое, многоцветное отражение великолепного дворца, террасы, широкой и большой дороги со снующими по ней людьми, фантастическими, невероятными из-за кривизны зеркала. Я быстро обернулся, чтобы яснее рассмотреть все это из окна, но оно находилось слишком высоко; внизу ничего не было видно, и я снова заглянул в зеркало.

Но в эту минуту человек откинулся на спинку кресла. Он положил перо и вздохнул, точно говоря: «Ох уж эта работа! Как она меня радует и утомляет!»

— Что это за место? — спросил я. — И кто вы?

Он с изумлением оглянулся.

— Что это за место? — повторил я. — Где я нахожусь?

Он пристально посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей, потом черты его разгладились. Он улыбнулся и указал мне на стул у стола.

— Я пишу, — сказал он.

— Об этом?

— О Перемене.

Я сел. Кресло было очень удобное, свет падал сбоку.

— Если бы вы прочли... — начал он.

— Это объяснит мне? — спросил я, указывая на рукопись.

— Объяснит, — ответил он и, все еще глядя на меня, потянулся за новым, чистым листом бумаги.

Я окинул взглядом комнату, потом посмотрел на столик. На одной из стопок очень ясно выделялась цифра «1», и я взял ее, улыбнувшись в ответ на дружелюбный взгляд старика.

— Отлично! — сказал я, вдруг почувствовав себя легко и свободно.

Он кивнул мне и снова стал писать, а я с некоторым недоверием и любопытством раскрыл рукопись.

Вот эта история, написанная жизнерадостным, неутомимым стариком в его уютной башне.

КНИГА I

КОМЕТА

ГЛАВА I

ПЫЛЬ В МИРЕ ТЕНЕЙ

1

Я решил описать Великую Перемену, так как она повлияла на мою жизнь и на жизнь немногих близких мне людей, и делаю это главным образом для собственного удовольствия.

Давным-давно, еще в дни моей суровой и несчастной юности, хотелось мне написать какую-нибудь книгу. Скрипеть пером втайне от всех и мечтать о славе писателя было для меня большим утешением, и я очень интересовался литературным миром и жизнью литераторов. Даже и сейчас, среди довольства и покоя, я рад тому, что у меня есть время и возможность хоть частично осуществить свои юношеские безнадежные мечты. Но одно это вряд ли заставило бы меня сесть за письменный стол в современном мире, где так много живого и интересного дела даже для стариков. Я считаю, что такое обозрение моего прошлого необходимо для того, чтобы яснее понимать настоящее. Уходящие годы заставляют наконец оглянуться на прошлое; для семидесятилетнего человека события его былой молодости имеют гораздо больше значения, чем для сорокалетнего. А я уже утерял связь со своей молодостью. Старая жизнь кажется мне отрезанной от новой, кажется такой чуждой и бессмысленной, что иногда я начинаю сомневаться, была ли она вообще. Из памяти стерлись поступки, здания, места. Еще на днях гуляя после обеда по той местности, где когда-то пустые и мрачные окраины Суотингли тя-

нулись к Литу, я вдруг остановился и невольно спросил себя: «Неужели здесь, на этом самом месте, среди бурьяна, отбросов и черепков старой посуды, я украдкой заряжал свой револьвер для убийства? Полно, было ли это действительно в моей жизни? Неужели у меня могли возникнуть такие мысли и намерения? Может быть, это только страшный ночной кошмар, примешавшийся к моим воспоминаниям о прошлой жизни? Наверное, у многих еще здравствующих моих сверстников возникают такие же сомнения. Я думаю, что новым поколениям, которые сменят нас в великих делах человечества, понадобится множество таких воспоминаний, как мои, чтобы составить себе хоть некоторое понятие о том мире теней, что предшествовал нашим дням. К тому же моя история довольно типична для Перемены; она застала меня в разгаре любовного увлечения, и мне посчастливилось наблюдать зарождение нового порядка...

Память переносит меня за пятьдесят лет назад, в маленькую полутемную комнатку с подъемным окном, открытым в звездное небо, и я мгновенно чую особенный запах этой комнаты — едкий запах дешевого керосина, горящего в плохо заправленной лампе. Лет за пятнадцать до этого электрическое освещение было уже достаточно усовершенствовано, но бо́льшая часть населения продолжала пользоваться такими лампами. Вся первая сцена проходит в моем воспоминании под этот пахучий аккомпанемент. Так пахла комната вечером. Днем же в ней стоял более легкий запах — спертый, острый, который почему-то ассоциируется у меня с пылью.

Позвольте подробно описать вам эту комнату. Она была площадью примерно восемь на семь футов, а в вышину несколько больше. Потолок был беленый, кое-где потрескавшийся, покоробившийся, серый от копоти, а в одном месте расцвеченный желтоватыми и зеленоватыми пятнами от проникавшей сверху сырости. Стены были оклеены коричневато-серыми обоями с красными разводами, изображавшими не то изогнутые страусовые перья, не то цветы акантуса, не лишенные вначале, когда обои были еще новыми, своеобразной, тусклой живописности. В обоях зияли дыры — результат бесплодных попыток Парлода вбивать гвозди, чтобы развешивать на них рисунки. Один гвоздь как-то попал между

двумя кирпичами и удержался; теперь на нем, при ненадежной поддержке перетершихся и связанных узлами шнурков от шторы, висели полочки для книг из дощечек, покрытых голубым лаком и украшенных узорчатой американской бахромой, едва прикрепленной мелкими гвоздиками. Под полками стоял столик, который брыкался, как мул, при внезапном прикосновении чьего-либо колена. Он был покрыт скатертью, узор которой, черный с красным, разнообразили чернильные пятна — у Парлода вечно перевертывалась бутылка с чернилами; а посредине стола — главное в нашей картине — стояла зловонная лампа. Сделана она была из беловатого прозрачного материала, чего-то среднего между фарфором и стеклом; абажур из того же материала не защищал глаз и только выставлял напоказ пыль и керосин, обильно размазанные по всей лампе.

Неровные доски пола были покрыты облезлой темнокоричневой краской, а в одном месте тускло расцветал среди пыли и теней пестрый коврик.

Кроме того, в комнате был маленький чугунный камин, выкрашенный бурой краской, с совсем крошечной безобразной решеткой, тоже чугунной, сквозь которую виднелись серые камни очага. Огня в камине не было; из-за решетки виднелись только клочки бумаги и сломанная маисовая трубка; в угол был задвинут облезлый ящик для угля с оторванной ручкой. В те времена каждая комната отапливалась отдельно, и очаг давал больше грязи, чем тепла. Предполагалось, что небольшой камин, подъемное окно и неплотно закрывающаяся дверь достаточно вентилируют помещение.

У одной стены выдвижная кровать Парлода скрывала свои серые от старости простыни под ветхим, заплатанным одеялом, в то время как под ней нашли себе прибежище всякие ящики и картонки; а по обе стороны окна стояли старая этажерка с разной рухлядью и умывальник с нехитрыми туалетными принадлежностями.

Этот деревянный умывальник изобиловал точеными украшениями, сделанными наскоро, очевидно, для того, чтобы шишками и шариками на ножках и углах скрыть топорную работу. Затем он попал, очевидно, к очень досужему человеку, имевшему под рукой горшок с охрой, лак и набор мягких кистей и щеток. Он сперва выкрасил

умывальник охрой, потом вымазал лаком и затем, думается мне, принялся своими щетками и кистями разбивать лак бороздками и кругами под какое-то необыкновенное дерево. Законченный таким образом умывальник прослужил долгую и трудную службу; его рубили, кололи, давали ему пинка, били кулаками, пачкали, прожигали в нем дыры, околачивали его молотком, мочили, сушили — словом, он подвергался всевозможным испытаниям за исключением двух: его пока еще не сожгли и ни разу не чистили. И, наконец, после всех злоключений он нашел убежище в каморке Парлода под самым чердаком, чтобы выполнять несложные обязанности, возлагаемые на него чистоплотностью его последнего хозяина. При умывальнике имелся таз, кувшин, жестяное ведро, кусок желтого мыла в мыльнице, зубная щетка, кисть для бритья, похожая на крысиный хвост, мохнатое полотенце и еще два-три мелких предмета. В те дни только очень зажиточные люди имели более удобные умывальные приспособления, и надо заметить, что каждую каплю воды, употребляемую Парлодом, несчастная служанка — Парлод называл ее «рабыней» — приносила снизу на самый верх дома и затем уносила обратно. Мы уже начинаем забывать, что современная чистоплотность появилась, в сущности, очень недавно. Несомненно, можно смело утверждать, что Парлод никогда не купался и ни разу с самого раннего детства не мылся целиком с головы до ног. Мыться так в то время, о котором я рассказываю, вряд ли приходилось хотя бы одному из пятидесяти.

Комод, тоже оригинально разделанный под какое-то дерево, содержал в двух больших и двух маленьких ящиках весь гардероб Парлода, а деревянные крючки на двери для двух его шляп завершали меблировку «жилой комнаты» накануне Перемены. Впрочем, я забыл упомянуть о стуле с туго набитой «подушкой», довольно неуклюже скрывавшей недостатки плетеного сиденья, и забыл именно потому, что как раз сидел на нем в ту минуту, с которой удобнее всего начать мой рассказ.

Я описал комнату Парлода так подробно, чтобы помочь вам понять, в каком ключе написаны первые главы моего рассказа; однако не следует думать, что в то время я обращал хотя бы малейшее внимание на эту стран-

ную обстановку или на чадную лампу. Все это грязное безобразие казалось мне тогда самой естественной и обычной обстановкой человеческого существования, Таков был мир, который я знал. Мой ум был целиком поглощен более серьезными и захватывающими проблемами, и только теперь, в далеких воспоминаниях, эти мелочи кажутся мне примечательными и значительными, как внешнее проявление душевной сумятицы, в которую повергал нас старый мир.

2

Парлод с биноклем в руке стоял у раскрытого окна. Он искал новую комету, нашел, но не поверил этому и потерял ее снова.

Мне комета только мешала, ибо я хотел говорить с ним совсем о другом, но Парлод был поглощен ею. Голова моя горела, я был точно в лихорадке от забот и огорчений; я хотел поговорить с ним по душам или хоть облегчить свое сердце романтическими излияниями, поэтому я едва слушал то, о чем он мне говорил. Впервые в жизни услышал я о новой световой точке среди бесчисленных светящихся точек вселенной и отнесся к этому совершенно равнодушно.

Мы были почти ровесники: Парлоду было двадцать два года, а мне — на восемь месяцев меньше. Он служил, по его собственному определению, «переписчиком набело» у одного мелкого стряпчего в Оверкасле, а я был младшим служащим в гончарной лавке Роудона в Клейтоне. Мы познакомились в «парламенте» Союза молодых христиан Суотингли; оказалось, что мы оба посещаем курсы в Оверкасле: он изучал естествознание, а я стенографию. Мы стали вместе возвращаться домой и подружились. (Хочу напомнить вам, что Суотингли, Оверкасл и Клейтон соседствовали друг с другом в большой промышленной области Мидлэнда.) Мы поведали друг другу наши сомнения в истинности религии, признались в нашем интересе к социализму; раза два он по воскресеньям ужинал у моей матери, и я мог пользоваться его комнатой. Он был тогда высоким неуклюжим юношей с льняными волосами, длинной шеей и большими руками, очень увлекающимся и восторженным.

Два раза в неделю он посещал вечерние курсы в Оверкасле; его любимым предметом была физическая география, и таким образом чудеса космического пространства полностью захватили его. У своего дяди, фермера по ту сторону болот в Лите, он раздобыл себе бинокль, купил дешевую бумажную планисферу и астрономический альманах Уитекера; и долгое время дневной и лунный свет казались ему лишь досадными помехами в его любимом занятии — наблюдении за звездами. Его влекли к себе бесконечность просторов вселенной и те никому не известные тайны, что скрываются в этих мрачных бездонных глубинах. Он неустанно трудился и с помощью очень подробной статейки в популярном ежемесячнике «Небо», издававшемся для любителей астрономии, навел наконец свой бинокль на нового гостя нашей сферы, явившегося из космических пространств. С восторгом смотрел он на маленькое дрожащее световое пятнышко среди блестящих точек и смотрел не отрываясь. Я должен был подождать со своими излияниями.

— Удивительно! — вздохнул он и снова восторженно повторил: — Удивительно! — Не хочешь ли посмотреть? — обернулся он ко мне.

Мне пришлось посмотреть, а потом слушать о том, что этот едва заметный странник станет, и очень скоро, одной из величайших комет, какие когда-либо видел мир, и что она пройдет в стольких-то и стольких-то миллионах миль от Земли — совсем рядом, по мнению Парлода; спектроскоп уже исследует ее химические секреты, хотя никто еще не понял, что за странная зеленая полоса проходит по ней, и что комету уже фотографируют в то время, как она разворачивает хвост — в необычном направлении — в сторону Солнца, и что потом хвост опять свертывается. Я слушал одним ухом и все время думал о Нетти Стюарт, и о ее последнем письме ко мне, и об отвратительной физиономии старого Роудона, которого я видел сегодня днем. Я сочинял ответ Нетти и придумывал запоздалые возражения своему хозяину, и снова образ Нетти заслонял все остальные мысли...

Нетти Стюарт была дочерью старшего садовника богатой вдовы мистера Веррола, и мы с ней влюбились друг в друга и начали целоваться, когда нам не было еще

восемнадцати лет. Наши матери были троюродными сестрами и подругами со школьной скамьи; и хотя мать рано овдовела из-за несчастного случая на железной дороге и принуждена была отдавать комнаты внаем (у нее квартировал помощник клейтонского приходского священника) — словом, занимала более низкое положение в обществе, чем миссис Стюарт, они поддерживали дружеские отношения, и мать время от времени посещала домик садовника в Чексхилл-Тоуэрсе. Я обыкновенно сопровождал ее. И я помню, как ясным, светлым июльским вечером, в один из тех долгих золотистых вечеров, которые не уступают места ночи, а — скорее из любезности—допускают наконец на небо месяц с избранной свитой звезд, у пруда с золотыми рыбками, где сходились тисовые аллеи, Нетти и я робко признались друг другу в любви. Я до сих пор помню — и всегда испытываю волнение при этом воспоминании —то трепетное чувство, которое охватило меня тогда. Нетти была в белом платье, ее волосы спадали мягкими волнами над сияющими темными глазами; нежную шею охватывало жемчужное ожерелье с маленьким золотым медальоном посредине. Я поцеловал ее несмелые губы и потом целых три года — нет, наверное, в течение всей жизни, и ее и моей,— я готов был умереть за нее.

Вы должны понять — а понимать с каждым годом становится все труднее,— до какой степени тогдашний мир во всем отличался от нынешнего. Это был мрачный мир, полный беспорядка, болезней, страданий, которые можно было бы предотвратить; полный грубости и бессмысленной, непредумышленной жестокости, и тем не менее, а быть может, именно вследствие того, что весь мир был объят мраком, на долю человека выпадали иногда редкие минуты такой красоты, какая теперь стала уже невозможной. Великая Перемена совершилась навеки, счастье и красота окружают нас от рожденья до смерти, на земле теперь — мир, и в людях — благоволение. Никому и в голову не придет мечтать о возвращении бедствий прежнего времени, и, однако, даже тогда серую завесу мрака изредка пронизывала такая яркая радость, такое пылкое чувство, каких теперь уже не бывает. Уничтожила ли Перемена крайности в жизни или, быть может, так кажется мне просто потому, что молодость

моя ушла — да и силы зрелости уже на ущербе — и унесла с собой восторги и отчаяние, оставив мне только опыт, сострадание и воспоминания?

Не знаю. Чтобы ответить на этот неразрешимый вопрос, нужно было бы быть молодым и тогда и теперь.

Быть может, холодный наблюдатель даже и в старое время нашел бы мало красоты в наших фотографиях. Они хранятся в столе, на котором я пишу, и я вижу на них неловкого юнца в плохо сшитом костюме, купленном в магазине готового платья. А Нетти... Да и Нетти плохо одета, поза у нее напряженная и искусственная, но за фотографией я вижу ее живую прелесть, снова ощущаю то таинственное очарование, которое влекло меня к ней. Ее лицо живет даже и на фотографии, иначе я давно уничтожил бы этот портрет.

Красота не поддается описанию. Как жаль, что я не владею другим искусством и не могу нарисовать на полях моей рукописи то, чего не выразишь словами. Ее глаза смотрели так строго. Ее верхняя губа была чуточку короче нижней, и поэтому-то так мило складывался ее рот и расплывался в прелестную улыбку. О, эта милая, строгая улыбка!

Поцеловавшись, мы решили пока ничего не говорить родителям о нашем окончательном решении. Потом пришла пора расстаться. Застенчиво простился я с Нетти при посторонних, и мы с матерью пошли через освещенный луною парк — в чаще папоротника слышался шорох встревоженных ланей — к железнодорожной станции Чексхилла, чтобы вернуться в наш темный подвал в Клейтоне. Затем почти год я видел Нетти только в мечтах. При следующей встрече мы решили переписываться, но непременно тайно: Нетти не хотела, чтобы кто-нибудь в ее семье, не исключая даже единственной сестры, знал о ее чувстве. Я должен был отсылать свои драгоценные послания заклеенными в двойных конвертах, по адресу одной ее школьной подруги, жившей близ Лондона. Я мог бы даже теперь воспроизвести этот адрес, хотя и дом, и улица, и самый пригород давно исчезли без следа.

Но с перепиской началось отчуждение,— ведь мы впервые пришли в иное, нечувственное соприкоснове-

ние и пытались выразить свои мысли и настроения на бумаге.

Надо вам сказать, что мысль находилась тогда в очень странном состоянии; ее душили устарелые, застывшие штампы, она путалась в извилистом лабиринте всевозможных ухищрений, приспособлений, замалчиваний, условностей и уверток. Низкие цели и соображения извращали правду в устах человека. Я был воспитан моей матерью в странной, старомодной и узкой вере в известные религиозные истины, в известные правила поведения, в известные понятия социального и политического порядка, имевшие так же мало применения в реальной действительности для ежедневных нужд и потребностей людей, как белье, пересыпанное лавандой и спрятанное в шкафу. Ее религия и в самом деле пахла лавандой; по воскресеньям она отметала от себя реальную жизнь, убирала будничную одежду и даже всю хозяйственную утварь, прятала свои жесткие и потрескавшиеся от стирки руки в черные, тщательно заштопанные перчатки, надевала старое черное шелковое платье и чепец и шла в церковь. Меня она тоже брала с собой, приодетого и приглаженного. Там мы пели, склоняли голову, слушали звучные молитвы, присоединяли свои голоса к звучному хору и облегченно вздыхали, вместе со всеми вставая по окончании богослужения, которое начиналось возгласом: «Во имя отца и сына...» — и заканчивалось бесцветной краткой проповедью. Был в религии моей матери и ад с косматым рыжим пламенем, который казался ей ужасным, и дьявол, который был ex officio[1] врагом английского короля; верила она и в греховность плотских вожделений. Мы должны были верить, что большинство обитателей нашего бедного, несчастного мира будет на том свете искупать свои земные заблуждения и треволнения самыми изысканными мучениями, которым не будет конца, аминь. На самом же деле это адское пламя больше никого не пугало. Уже задолго до моего времени все эти ужасы потускнели и увяли, утратив всякую реальность. Не помню, боялся ли я всего этого даже в раннем детстве,— во всяком случае, меньше, чем великана, убитого в сказке Бинстоком,— а

---

[1] По должности (*лат.*).

теперь это вспоминается мне, точно рамка для измученного, морщинистого лица моей бедной матери, вспоминается с любовью, как часть ее самой. Мне кажется, что наш жилец, мистер Геббитас, пухлый маленький толстячок, так странно преображавшийся в своем облачении и так громогласно распевавший молитвы времен Елизаветы, немало способствовал ее увлечению религией. Она наделяла бога своей трепетной, лучистой добротой и очищала его от всех качеств, какие приписывали ему богословы; она сама была—если бы только я мог тогда понять это — лучшим примером всего того, чему хотела научить меня.

Так я вижу это теперь, но молодость судит обо всем слишком прямолинейно, и если вначале я вполне серьезно принимал все целиком: и огненный ад и мстительного бога, не прощающего малейшее неверие, как будто они были так же реальны, как чугуноплавильный завод Блэддина или гончарни Роудона,— то потом я так же серьезно выбросил все это из головы.

Мистер Геббитас иногда, как говорится, «обращал внимание» на меня: он не дал мне по окончании школы бросить чтение, и с наилучшими намерениями, чтобы уберечь меня от яда времени, заставил прочитать «Опровергнутый скептицизм» Бэрбла, и обратил мое внимание на библиотеку института в Клейтоне.

Достопочтенный Бэрбл совершенно ошеломил меня. Из его возражений скептику мне стало ясно, что ортодоксальная доктрина и вся эта потускневшая и уже ничуть не страшная загробная жизнь, которые я принимал так же безоговорочно, как принимают солнце, в сущности, не стоят и выеденного яйца, а окончательно убедила меня в этом первая попавшаяся мне в библиотеке книга — американское издание полного собрания сочинений Шелли, его едкая проза и воздушная поэзия. Я стал отъявленным атеистом. В Союзе молодых христиан я вскоре познакомился с Парлодом, который поведал мне под строжайшим секретом, что он «насквозь социалист», и дал прочесть несколько номеров журнала с громким названием «Призыв», начавшего крестовый поход против господствующей религии. Всякий неглупый юнец в отрочестве подвержен — и, по счастью, так будет всегда —философским сомнениям, благородному негодованию

и новым веяниям, и, признаюсь вам, я перенес эту болезнь в тяжелой форме. Я говорю «сомнениям», но, в сущности, сомнение куда сложнее, а это было просто отчаянное, страстное отрицание: «Неужели в *это* я мог верить!» И в таком состоянии я начал, как вы помните, писать любовные письма к Нетти.

Мы живем теперь в такое время, когда Великая Перемена во многом уже завершилась, когда в людях воспитывается известная духовная мягкость, ничего, впрочем, не отнимающая от нашей силы, и потому теперь трудно понять, как скована была и с каким трудом пробивала себе дорогу мысль тогдашней молодежи. Задуматься о некоторых вопросах уже значило чуть ли не решаться на бунт, и обыкновенный молодой человек начинал колебаться между скрытностью и дерзким вызовом. Теперь многие находят Шелли — несмотря на всю звучность и мелодичность его стиха — слишком шумным и устарелым, потому что теперь не существует больше его Анарха; но было время, когда всякая новая мысль неизбежно выражалась в эдаком битье стекол. Нелегко представить себе тогдашнее брожение умов, всегдашнюю готовность освистать всякий авторитет, вызывающий тон, которым постоянно хвастались мы, зеленые юнцы того времени. Я с жадностью читал сочинения Карлейля, Броунинга, Гейне, потрясшие не одно поколение, и не только читал и восхищался, но и следовал им. В письмах к Нетти излияния в любви перемешивались с богословскими, социологическими и космическими рассуждениями, и все это в самом высокопарном тоне. Не удивительно, что эти письма приводили ее в полное недоумение.

Я с любовью и даже, может быть, с завистью вспоминаю свою ушедшую юность, но мне было бы трудно защищаться, если бы кто вздумал осудить меня без снисхождения, как глупого, не чуждого рисовки, неуравновешенного подростка, как две капли воды похожего на свою выцветшую фотографию. Признаться, когда я пытаюсь припомнить свои усилия писать умные и значительные письма к возлюбленной, меня просто бросает в дрожь... И все же мне жаль, что хоть часть из них не сохранилась.

Она писала мне просто, круглым детским почерком и плохим слогом. В первых письмах чувствовалось робкое удовольствие от слова «дорогой»; помню, как я удивился, а потом, когда понял, обрадовался, прочитав рядом с моим именем слово «любый», что означало «любимый». Но когда начались мои философствования, ее ответы стали менее нежными.

Не хочу утомлять вас рассказом о нашей глупой детской ссоре, о том, как в одно из воскресений я отправился в Чексхилл без приглашения и еще больше испортил дело, а затем поправил его, написав письмо, которое она нашла «милым». Не буду рассказывать вам и о последующих наших недоразумениях. Виновником всегда оказывался я, и до последней ссоры я всегда мирился первый; а между ссорами мы пережили несколько моментов нежной близости, и я очень любил мою Нетти. Беда была в том, что в темноте и уединении я неотступно думал о ней, о ее глазах, о ее прикосновении, о ее сладком, чарующем присутствии; но, когда я садился за письмо к ней, меня обуревали мысли о Шелли, о Бернсе, о самом себе и о прочих совершенно неподходящих материях. Пылкому влюбленному труднее высказать свою любовь, чем тому, кто совсем не любит. Что же касается Нетти, то я знаю, она любила не меня, а эту сладостную таинственность. Разбудить в ней страсть суждено было не мне... Так тянулась наша переписка. Вдруг она написала мне, что сомневается, может ли она любить социалиста и неверующего; за этим письмом последовало другое, совершенно неожиданное и по стилю и по содержанию. Она считает, что мы не подходим друг другу, что у нас разные вкусы и убеждения, что она давно уже собирается вернуть мне мое слово. Итак, я получил отставку, хоть и не сразу понял ее. Письмо я прочел, когда пришел домой, получив от старого Роудона довольно грубый отказ прибавить мне жалованья. Поэтому я в тот вечер лихорадочно пытался както осознать и примириться с двумя неожиданными и ошеломляющими открытиями: и Нетти и Роудон совершенно во мне не нуждаются. А тут еще разговор о комете!

Каково же было мое положение?

Я до того сроднился с мыслью, что Нетти — моя на-

всегда, ибо таковы традиции «верной любви», что обдуманные, холодные фразы ее письма, после того как мы целовались, шептались и были так близки, потрясли меня до глубины души. И Роудон тоже меня не ценит! Мне казалось, что весь мир внезапно обрушился на меня, грозит сокрушить и уничтожить и что мне необходимо защитить свои права каким-нибудь решительным образом. Мое уязвленное самолюбие не находило утешения ни в вере моего детства, ни в неверии последних лет.

Хорошо было бы сейчас же уйти от Роудона и каким-нибудь необычайным и быстрым способом озолотить его конкурента Фробишера, владельца соседних гончарен!

Первую часть этой программы выполнить было нетрудно,— стоило только подойти к Роудону и объявить ему: «Вы еще обо мне услышите»,— но вторая часть могла и не удаться: Фробишер мог подвести меня и не разбогатеть. Это, впрочем, было не так важно. Важнее всего — Нетти. В голове у меня теснились обрывки фраз для письма к ней. Презрение, ирония, нежность — что выбрать?..

— Вот досада! — сказал вдруг Парлод.

— Что такое?

— Разожгли печи на чугуноплавильном заводе, и дым мешает мне смотреть на комету.

Я решил воспользоваться перерывом и поговорить с Парлодом.

— Знаешь,— начал я,— мне, наверно, придется все бросить. Старый Роудон не дает прибавки, а мне теперь нельзя будет продолжать работу на прежних условиях. Понимаешь? Придется, пожалуй, совсем уехать из Клейтона.

Парлод опустил бинокль и посмотрел на меня.

— Не такое теперь время, чтобы менять место,— сказал он, помолчав.

То же самое говорил мне Роудон, только более грубо.

Но с Парлодом я обыкновенно впадал в героический тон.

— Мне надоела эта дурацкая работа,— сказал я.— Лучше терпеть физические лишения, чем унижаться.

— Не уверен,— медленно протянул Парлод.

И тут начался один из наших бесконечных разговоров, тех пространных, запутанных, отвлеченных и вместе с тем интимных разговоров, которые до конца мира будут дороги сердцу каждого мыслящего юноши. Этого не изменила даже Перемена.

Конечно, я не могу теперь восстановить в памяти весь извилистый лабиринт слов, я не запомнил почти ничего из этого разговора, но могу ясно представить себе, как это было. Я, наверное, рисовался, как обычно, и, без сомнения, вел себя глупейшим образом, как оскорбленный и страдающий эгоист, а Парлод играл роль глубокомысленного философа.

Мы вышли прогуляться. Ночь была летняя, теплая и располагала к откровенности. Один отрывок разговора я запомнил очень хорошо.

— Временами я мечтаю,— сказал я, указывая на небо,— чтобы эта твоя комета или еще что-нибудь действительно столкнулась с землей и смела бы всех нас прочь со всеми стачками, войнами, с нашей сумятицей, любовью, ревностью и всеми нашими несчастьями.

— Вот как! — сказал Парлод, видимо, задумываясь над моими словами.— Это еще больше увеличит наши бедствия,— вдруг заявил он, хотя я уже говорил совсем о другом.

— Что именно?

— Столкновение с кометой. Это может отбросить мир назад. Оставшиеся в живых еще больше одичают.

— А почему ты думаешь, что кто-нибудь может остаться в живых?..

В таком стиле велась наша беседа, пока мы шли по узкой улице, где жил Парлод, и потом поднимались по лестнице и брели переулками к Клейтон-Крэсту и к большой дороге.

Но, увлекшись воспоминаниями о днях, предшествовавших Перемене, я совсем забыл, что места эти теперь неузнаваемо изменились, что узкая улица, лестница и вид с Клейтон-Крэста, да, в сущности, и весь тот мир, в котором я родился и вырос, давно исчезли из пространства и времени и чужды новому поколению. Вы не можете себе представить то, что вижу я,— темную пустынную улицу с рядами жалких домов, освещенную тусклыми газовыми фонарями на углах; не можете почувствовать

неровную мостовую под ногами, не можете заметить слабо освещенные окна и в них — тени людей на безобразных и пестрых от заплат, зачастую косо висящих шторах. Не можете пройти мимо пивной, освещенной немного ярче, не увидите ее окон, стыдливо скрывающих то, что происходит внутри, и из ее приотворенной двери вас не обдаст отравленным воздухом, и ушей ваших не коснется грубая брань, и не проскользнет мимо вас вниз по ступенькам крыльца съежившаяся фигурка бездомного ребенка.

Мы перешли более длинную улицу, по которой грохотал неуклюжий, пыхтящий паровичок, изрыгая дым и искры; а вдали блистали грязным блеском витрины магазинов, да фонари на тележках уличных торговцев роняли искры своего гарного масла в ночь. На этой улице смутно темнели фигуры пешеходов, а с пустыря между домами слышался голос странствующего проповедника. Вы не можете увидеть всего этого так, как вижу я, и не можете, если не видели картин великого Гайда, представить себе, как выглядели в свете газовых фонарей большие щиты для афиш, мимо которых мы проходили.

О эти щиты! Они пестрели самыми яркими красками исчезнувшего мира. На них на слоях клейстера и бумаги сливалась в нестройном хоре разноголосица новомодных затей; продавец пилюль и проповедник, театры и благотворительные учреждения, чудодейственное мыло и удивительные пикули, пишущие и швейные машины — все это вперемешку кричало и взывало к прохожему. Далее тянулся грязный переулок, покрытый угольной пылью; фонарей здесь вовсе не было, и только в многочисленных лужах поблескивали отраженные звезды. Увлеченные разговором, мы не обращали на это внимания.

Затем мимо огородов, мимо пустыря, засаженного капустой, мимо каких-то уродливых сараев и заброшенной фабрики мы вышли на большую дорогу. Она шла в гору, мимо нескольких домов и двух-трех пивных и сворачивала в том месте, откуда открывался вид на всю долину с четырьмя сливающимися шумными промышленными городами.

Правда, надо признать, что с сумерками в эту долину опускались чары какого-то волшебного великолепия и окутывали ее вплоть до утренней зари. Ужасающая бед-

ность скрывалась, точно под вуалью; жалкие лачуги, торчащие дымовые трубы, клочки тощей растительности, окруженные плетнем из проволоки и дощечек от старых бочек, ржавые рубцы шахт, где добывалась железная руда, груды шлака из доменных печей—все это словно исчезало; дым, пар и копоть от доменных печей, гончарных и дымогарных труб преображались и поглощались ночью. Насыщенный пылью воздух, душный и тяжелый днем, превращался с заходом солнца в яркое волшебство красок: голубой, пурпурной, вишневой и кроваво-красной с удивительно прозрачными зелеными и желтыми полосами в темнеющем небе. Когда царственное солнце уходило на покой, каждая доменная печь спешила надеть на себя корону пламени; темные груды золы и угольной пыли мерцали дрожащими огнями, и каждая гончарня дерзко венчала себя ореолом света. Единое царство дня распадалось на тысячу мелких феодальных владений горящего угля. Остальные улицы в долине заявляли о себе слабо светящимися желтыми цепочками газовых фонарей, а на главных площадях и перекрестках к ним примешивался зеленоватый свет и резкое холодное сияние фонарей электрических. Переплетающиеся линии железных дорог отмечали огнями места пересечений и вздымали прямоугольные созвездия красных и зеленых сигнальных звезд. Поезда превращались в черных членистых огнедышащих змеев...

А над всем этим высоко в небе, словно недостижимая и полузабытая мечта, сиял иной мир, вновь открытый Парлодом, не подчиненный ни солнцу, ни доменным печам,— мир звезд.

Так выглядели те места, где мы с Парлодом вели наши бесконечные разговоры. Днем с вершины холма на запад открывался вид на фермы, парки, большие богатые дома, на купол далекого собора, а иногда в пасмурную погоду на дождливом небе ясно вырисовывался хребет далеких гор. А еще дальше, невидимый за горизонтом, лежал Чексхилл; я всегда его чувствовал, и ночью сильнее, чем днем. Чексхилл и Нетти!

И когда мы шли по усыпанной угольным мусором тропинке, рядом с выбитой проезжей дорогой, и обсуждали свои горести, нам, двум юнцам, казалось, что с этого хребта наш взор охватывает целый мир.

С одной стороны там, вокруг грязных фабрик и мастерских, в тесноте и мраке ютились рабочие, плохо одетые, вечно недоедавшие, плохо обученные, всегда получавшие втридорога все самое худшее, никогда не уверенные, будет ли у них завтра даже этот жалкий заработок, и среди их нищенских жилищ, как сорная трава, разросшаяся на свалке, вздымались часовни, церкви, трактиры; а с другой стороны — на просторе, на свободе, в почете, не замечая нищенских лачуг, живописных в своей бедности и переполненных тружениками, жили землевладельцы и хозяева, собственники гончарен, литейных заводов, ферм и копей. Вдали же, среди мелких книжных лавчонок, особняков духовенства, гостиниц и других зданий пришедшего в упадок торгового города, оторванный от жизни, далекий, словно принадлежащий к иному миру, прекрасный собор Лоучестера бесстрастно поднимал к смутным, непостижимым небесам свой простой и изысканный шпиль. Так был устроен наш мир, и иным мы его в юности и не представляли.

Мы на все смотрели по-юношески просто. У нас были свои взгляды, резкие, непримиримые, и тот, кто с нами не соглашался, был в наших глазах защитником грабителей. В том, что происходит грабеж, у нас не было ни малейших сомнений. В этих роскошных домах засели землевладельцы и капиталисты со своими негодяями-юристами и обманщиками-священниками, а все мы, остальные,— жертвы их предумышленных подлостей. Конечно, они подмигивают друг другу и посмеиваются, попивая редкие вина среди своих бесстыдно разодетых и блистательных женщин, и придумывают новые потогонные средства для бедняков. А на другой стороне, среди грязи, грубости, невежества и пьянства, безмерно страдают их невинные жертвы—рабочие. Мы поняли все это чуть ли не с первого взгляда и думали, что нужно лишь решительно и настойчиво твердить об этом — и облик всего мира переменится. Рабочие восстанут, образуют рабочую партию с молодыми, энергичными представителями, вроде Парлода и меня, и добьются своего, а тогда...

Тогда разбойникам придется солоно и все пойдет наилучшим образом...

Если мне не изменяет память, это ничуть не умаляет достоинств того образа мыслей и действий, который нам с Парлодом казался верхом человеческой мудрости. Мы с жаром верили в это и с жаром отвергали вполне естественное обвинение в жестокости подобного образа мыслей. Порой в наших бесконечных разговорах мы высказывали самые смелые надежды на скорое торжество наших взглядов, но чаще мы пылко негодовали на злость и глупость человеческую, которые мешают таким простым и быстрым способом восстановить в мире истинный порядок. Потом нас охватывал гнев, и мы принимались мечтать о баррикадах и о необходимости насильственных мер.

В ту ночь, о которой я рассказываю, я был страшно зол, и та единственная из голов гидры капитализма, которую я представлял себе достаточно ясно, улыбалась точь-в-точь так, как улыбался старый Роудон, когда отказывал мне в прибавке к жалким двадцати шиллингам в неделю.

Я жаждал хоть как-нибудь отомстить ему, чтобы спасти свое самоуважение, и чувствовал, что, если бы смог убить гидру, я приволок бы ее труп к ногам Нетти и сразу покончил бы также и с этой бедой. «Ну, Нетти, что ты теперь обо мне думаешь?» — спросил бы я.

Вот приблизительно что я тогда чувствовал, и вы можете себе представить, как я жестикулировал и разглагольствовал перед Парлодом в ту ночь. Вообразите наши две маленькие, жалкие черные фигурки среди этой безнадежной ночи пламенеющего индустриализма и мой слабый голос, с пафосом выкрикивающий, протестующий, обличающий...

Наивными и глупыми покажутся вам понятия моей юности, в особенности если вы принадлежите к поколению, родившемуся после Перемены. Теперь все думают ясно и логично, все рассуждают свободно и принимают лишь очевидные и несомненные истины, поэтому вы не допускаете возможности иного мышления. Позвольте мне рассказать вам, каким образом вы можете привести себя в состояние, до известной степени сходное с нашим тогдашним. Во-первых, вы должны расстроить свое здоровье неумеренной едой и пьянством, забросить всякие физические упражнения; должны придумать себе

побольше несносных забот, беспокойств и неудобств; должны, кроме того, в течение четырех или пяти дней работать по многу часов ежедневно над каким-нибудь делом, слишком мелким, чтобы оно могло быть интересным, и слишком сложным, чтобы делать его механически, и к тому же совершенно для вас безразличным. После всего этого отправляйтесь прямо с работы в непроветренную, душную комнату и принимайтесь думать о какой-нибудь сложной проблеме. Весьма скоро вы почувствуете, что стали нервны, раздражительны, нетерпеливы; вы начнете хвататься за первые попавшиеся доводы и наудачу делать выводы или их опровергать. Попробуйте в таком состоянии сесть за шахматы — вы будете играть плохо и раздражаться. Попытайтесь заняться чем-нибудь, что потребует ясной головы и хладнокровия,— и у вас ничего не выйдет.

Между тем до Перемены весь мир находился в таком нездоровом, лихорадочном состоянии, был раздражителен, переутомлен и мучился над сложными, неразрешимыми проблемами, задыхаясь в духоте и разлагаясь. Самый воздух, казалось, был отравлен. Здравого и объективного мышления в то время на свете вообще не существовало. Не было ничего, кроме полуистин, поспешных, опрометчивых выводов, галлюцинаций, пылких чувств. Ничего...

Я знаю, что это покажется вам невероятным, знаю, что среди молодежи уже начинают сомневаться в значительности Перемены, которой подвергся мир; но прочтите газеты того времени. Каждая эпоха смягчается в нашем представлении и несколько облагораживается по мере того, как уходит в прошлое. Люди, подобные мне, знающие то время, должны своим точным, беспристрастным рассказом лишить ее этого ореола.

4

Всегда в наших беседах с Парлодом говорил главным образом я.

Мне думается, что теперь я смотрю на себя в прошлом совершенно беспристрастно: все так изменилось с тех пор, и я действительно стал совсем другим человеком, не имеющим, в сущности, ничего общего с тем хвастли-

вым, сумасбродным юношей, о котором рассказываю. Я нахожу его вульгарным, напыщенным, эгоистичным, неискренним, и он мне совсем не нравится; сохранилась разве что подсознательная симпатия — следствие нашего с ним внутреннего родства. Я сам был этим юношей, и потому могу понять и правильно объяснить мотивы его поступков, лишая его тем самым сочувствия почти всех читателей,— но зачем мне оправдывать или защищать его слабости?

Итак, обычно говорил я, и меня безмерно изумило бы, если б кто-нибудь сказал, что в наших спорах не я был умнейшим. Парлод был молчалив и сдержан, я же обладал даром многословия, столь необходимым молодым людям и демократам. Втайне я считал Парлода несколько туповатым; мне казалось, что он молчанием старается придать себе значительность, старается казаться более «ученым». Я не замечал, что в то время, как мои руки годились лишь для жестикуляции и для того, чтобы держать перо, руки Парлода умели делать всевозможные вещи, и мне не приходило в голову, что деятельность его пальцев как-то связана и с его мозгом. Не замечал я также и того, что беспрерывно хвастался своим умением стенографировать, своими писаниями, своей незаменимостью для предприятия Роудона, в то время как Парлод никогда не выставлял напоказ своих конических сечений и вычислений, над которыми он «потел» на лекциях. Теперь Парлод знаменит, он стал великим человеком в великое время, его исследования о пересекающихся радиациях невероятно расширили умственный горизонт человечества; я же в лучшем случае только дровосек в умственном лесу, водонос живой воды, и мне остается лишь улыбаться, да и сам он улыбается при воспоминании о том, как покровительственно я говорил с ним, как болтал и важничал перед ним в мрачные дни нашей юности.

В ту ночь меня несло еще безудержней, чем обычно. Роудон был, конечно, осью, вокруг которой вращались мои речи, Роудон и ему подобные хозяева, несправедливость «наемного рабства» и тот промышленный тупик, в который уперлась, по-видимому, наша жизнь. Но все это время я то и дело вспоминал о другом: Нетти не выходила у меня из головы и точно смотрела на меня загадоч-

ным взглядом. Моя возвышенная далекая любовь придавала байронический оттенок многим бессмыслицам, которые я изрекал, пытаясь удивить Парлода, и я ею бравировал.

Не хочу утомлять вас слишком подробным изложением речей неразумного юноши, отчаявшегося и несчастного, которого его собственный голос утешал в горестях и жгучих унижениях. Не могу теперь вспомнить, что именно говорил я тогда и что — в других наших беседах. Не помню, например, раньше ли, позже ли, или именно тогда я, как бы невзначай, намекнул на мое пристрастие к наркотикам.

— Ты не должен этого делать,— сказал внезапно Парлод.— Нельзя отравлять свой мозг.

Мой мозг и мое красноречие должны были сыграть немаловажную роль в грядущей революции.

Но одно место из разговора, который я описываю, я помню твердо: несмотря ни на что, я втайне решил не уходить от Роудона. Я просто чувствовал потребность обругать его перед Парлодом. Но в разговоре я так увлекся, что отступать было невозможно, и я вернулся домой с твердым намерением держаться со своим нанимателем решительно, если не вызывающе.

— Не могу больше выносить Роудона,— хвастливо сказал я Парлоду.

— Скоро наступит трудное время,— ответил Парлод.

— Да, зимой.

— Нет, раньше. У американцев перепроизводство, они снизят цены. В сталелитейной промышленности будет туго.

— Меня это не коснется. Гончарная стоит твердо.

— А затруднения с бурой? Нет. Я слышал...

— Что ты слышал?

— Это служебная тайна. Но не секрет, что в гончарном деле тоже будут затруднения. Уже идут займы и спекуляции. Предприниматели не ограничиваются, как прежде, одним делом. Это я могу тебе сказать. И двух месяцев не пройдет, как начнется «игра».

Парлод произнес эту необычайно длинную для него речь чрезвычайно рассудительно и веско.

«Игрой» на нашем местном жаргоне называлось такое положение, когда нет ни денег, ни работы, когда пред-

приятия стоят и голодные, мрачные люди слоняются без дела. Такие антракты считались в то время неизбежным следствием промышленного развития.

— Лучше держись за Роудона,— посоветовал Парлод.

— Вот еще!— сказал я, разыгрывая благородное негодование.

— Будет тревожное время,— сказал Парлод.

— Что ж из этого? — возразил я.— Пусть, и чем тревожнее, тем лучше. Рано или поздно этой системе придет конец. Капиталисты со своими спекуляциями и трестами только ухудшают и ухудшают положение. Зачем я буду сидеть у Роудона, поджавши хвост, как побитая собака, когда по улицам шествует голод? Голод — великий революционер. Когда он приходит, мы должны подняться и приветствовать его. Во всяком случае, я намерен так сделать.

— Все это прекрасно...— начал Парлод.

— С меня хватит,— перебил я его.— Я хочу наконец схватиться со всеми этими Роудонами. Если я буду голоден и зол, я, быть может, сумею уговорить голодных...

— У тебя есть мать,— как всегда, медленно и убедительно произнес Парлод.

Это и в самом деле было затруднение.

Но я перескочил через него посредством красивого, витиеватого оборота речи.

— Почему человек должен жертвовать будущностью человечества — или хотя бы своей собственной будущностью — только из-за того, что его мать лишена всякого воображения?

5

Было уже поздно, когда я расстался с Парлодом и вернулся домой.

Наш дом стоял на маленькой, но весьма почтенной площади, подле приходской церкви Клейтона. Мистер Геббитас, помощник приходского священника, занимал нижний этаж, а во втором жила старая дева мисс Холройд, рисовавшая цветы на фарфоре и содержавшая свою слепую сестру, которая жила тут же, в соседней комнате; мы с матерью жили в подвальном этаже,

а спали на самом верху, под крышей. Фасад дома скрывался под виргинским плющом, который разросся, несмотря на душный, пыльный воздух Клейтона, и густыми ветвями свешивался с крыши деревянного портика.

Поднимаясь на крыльцо, я видел, как мистер Геббитас при свете свечи печатает свои фотографические снимки. Это было главным наслаждением его скромной жизни — странствовать в обществе своего курьезного маленького фотографического аппарата для моментальных снимков; он приносил с собой обыкновенно множество негативов с очень плохим и туманным изображением красивых и интересных мест. Фотографическое общество проявляло их ему по сходной цене, и затем он круглый год проводил все свободные вечера, печатая с них фотографии, чтобы навязывать их потом своим ни в чем не повинным друзьям и знакомым. В клейтонской национальной школе висела, например, большая рама, наполненная его произведениями, с надписью, сделанной староанглийским алфавитом: «Виды Италии, снятые во время путешествия преподобного Е. Б. Геббитаса». Ради этого он, по-видимому, только и жил и путешествовал. Это было его единственной настоящей радостью. При свете заслоненной свечи я мог видеть его острый носик, его бесцветные глазки за стеклами очков, его сжатый от напряжения рот...

— Продажный лжец,— пробормотал я, ибо разве Геббитас не был частью той разбойничьей системы, которая осуждала нас с Парлодом на наемное рабство, хотя частью, конечно, не очень большой.

— Продажный лжец,— повторил я, стоя в темноте, куда не проникал даже слабый отсвет этой обретенной в странствиях культуры...

Мать открыла мне дверь.

Она молча посмотрела на меня, догадываясь, что со мной творится что-то неладное, и зная также, что расспрашивать меня бесполезно.

— Доброй ночи, мама,— сказал я, грубовато поцеловал ее, зажег свечу и, не оборачиваясь, стал подниматься по лестнице в свою комнату...

— Я оставила тебе поужинать, милый.

— Я не буду ужинать...

— Но, мой мальчик...

— Доброй ночи,— повторил я и ушел, захлопнув у нее перед носом свою дверь; свечку я тотчас же задул, бросился на постель и долго лежал, не раздеваясь.

Иногда эта молчаливая мольба матери очень меня раздражала. Так было и в эту ночь. Я чувствовал, что должен бороться против нее, что нельзя уступать ее мольбам, но все это было мне больно и нестерпимо мешало ей противиться. Мне было ясно, что я должен сам для себя продумать религиозные и социальные проблемы, сам решать, как вести себя и насколько разумны или неразумны мои поступки; я знал, что ее наивная вера мне не поможет, но она никогда этого не понимала. Ее религия была общепризнанной и незыблемой, ее единственным социальным принципом было слепое подчинение установленному порядку — законам, докторам, священникам, юристам, хозяевам и другим уважаемым людям, стоявшим выше нас. Для нее верить значило бояться. Хотя я изредка все же ходил с ней в церковь, она по тысяче мелких признаков замечала, что я удаляюсь от всего, что управляет ее жизнью, и ухожу во что-то страшное, неведомое. Из моих слов она догадывалась о том, что я так неискусно скрывал. Она догадывалась о моем социализме и о моем возмущении против существующего порядка, догадывалась о том бессильном гневе, который наполнял меня ненавистью против всего, что она считала священным. И все же она пыталась защитить не столько своих любезных богов, сколько меня самого! Казалось, ей постоянно хочется сказать мне: «Милый, знаю, что трудно, но бунтовать еще труднее. Не восставай, дорогой мой! Не делай ничего, что может оскорбить бога. Я уверена, что он поразит тебя, если ты его оскорбишь, непременно поразит».

Как многие женщины того времени, она была запугана жестокостью своей религии и потому совершенно покорилась ей. Тогдашний общественный строй сделал ее рабой самых жалких условностей. Он согнул ее, состарил, чуть ли не лишил зрения в пятьдесят пять лет: глядя на меня сквозь свои дешевые очки, она видела меня лишь в тумане; он приучил ее вечно тревожиться, и что он сделал с ее руками—бедными, милыми руками! Во всем свете не найдете вы теперь женщины с руками, так исколотыми

иглой, обезображенными работой, такими заскорузлыми, загрубелыми. Одно, во всяком случае, я могу сказать твердо: я ненавидел весь мир и жаждал изменить его и нашу участь не только ради себя, но и ради нее.

И все-таки в ту ночь я грубо оттолкнул ее. Я отвечал ей отрывочными фразами, оставил ее, озабоченную и огорченную, стоять в коридоре и захлопнул перед ней дверь.

Долго лежал я, возмущаясь несправедливостью и жестокостью, презрением ко мне Роудона, холодным письмом Нетти, своей собственной слабостью и незначительностью, всем тем, что я считал невыносимым и не мог изменить. В моем бедном утомленном мозгу безостановочно вертелись все мои горести: Нетти, Роудон, мать, Геббитас... Нетти...

И вдруг—безразличие. Часы где-то пробили полночь. Я был молод, и такие резкие переходы у меня бывали. Помню хорошо, что я вдруг встал, быстро разделся в темноте и заснул, едва коснувшись головой подушки.

Но как спала моя мать в эту ночь, я не знаю.

Как ни странно, но я не обвиняю себя за такое обращение с матерью, хотя за высокомерие с Парлодом очень себя упрекаю. Мне жаль, что накануне Перемены я вел себя таким образом по отношению к матери, и этот шрам в моем воспоминании о ней будет ныть до конца моих дней, но в тех условиях ничего иного нельзя было и ожидать. В то темное, смутное время нужда, работа, страсти рано захватывали людей, не оставляя их развивающемуся уму времени для свободного, ясного мышления; они погружались в исполнение какой-нибудь узкой, отдельной, но неотложной обязанности, требовавшей непрерывных и напряженных усилий, и их умственный рост приостанавливался. Они черствели и застывали на своей узкой стезе. Немногие женщины старше двадцати пяти лет и немногие мужчины старше тридцати одного — тридцати двух лет были еще способны к восприятию новых идей. Недовольство существующим порядком считалось безнравственным и, уж во всяком случае, неприятным свойством, и только одно противостояло всеобщей склонности человеческих установлений костенеть, ржаветь и работать спустя рукава, все хуже и хуже, неизбежно скатываясь к катастрофе,—

это был протест молодежи — зеленой, беспощадной молодежи. Мыслящим людям того времени казалось, что жестокий закон нашего существования допускает лишь две возможности: или молодежь должна покориться старшим и задохнуться, или, не обращая на них внимания, не повинуясь им, оттолкнув их в сторону, совершить свой робкий шаг по пути прогресса, пока она сама, в свою очередь, не окостенеет и тоже не превратится в препятствие прогрессу.

Мое поведение в ту ночь, то, что я грубо отстранил мать, не ответил ей и погрузился в свои собственные молчаливые размышления, кажется мне теперь своего рода символом трудных отношений между родителями и детьми накануне Перемены. Другого пути не было; эта вечно возрождающаяся трагедия казалась неотъемлемой частью самого прогресса. Мы не понимали в то время, что умственная зрелость не исключает гибкости ума, что дети могут почитать своих родителей и тем не менее думать самостоятельно. Мы были раздражительны и запальчивы, потому что задыхались в темноте, в отравленном, испорченном воздухе. Живой, непредубежденный ум, свойственный сейчас всем людям, решительность, соединенная с осмотрительностью, дух критики и разумная предприимчивость, которые распространены теперь по всему миру, были неизвестны тогда и несовместимы с затхлой атмосферой старого мира.

Так заканчивалась первая тетрадь. Я отложил ее и стал искать другую.

— Ну что? — спросил человек, который писал.

— Это вымысел?

— Это история моей жизни.

— Но вы... Среди этой красоты... Ведь вы не тот, выросший в горе и нищете молодой человек, о котором я прочел?

Он улыбнулся.

— После того произошла Перемена,— сказал он.— Разве я не ясно дал это понять?

Я хотел задать еще вопрос, но тут увидел вторую тетрадь и сразу же раскрыл ее.

ГЛАВА II

НЕТТИ

1

Не могу припомнить (так продолжался рассказ), сколько времени прошло между тем вечером, когда Парлод впервые показал мне комету,— я, кажется, тогда только притворился, что вижу ее,— и воскресеньем, которое я провел в Чексхилле.

За это время я успел объявить Роудону о своем уходе, действительно уйти от него и заняться усердными, но безрезультатными поисками другого места; успел передумать и наговорить много грубостей матери и Парлоду и пережить много тяжелого. Вероятно, я вел пылкую переписку с Нетти, но бурные подробности ее уже стерлись в моей памяти. Помню только, что я написал великолепное прощальное письмо, отвергая ее навеки, и получил в ответ короткую сухую записку, где говорилось, что если все и кончено между нами, то это еще не дает мне права писать к ней в таком тоне. Я как будто на это ответил что-то, как мне тогда казалось, язвительное, и на этом переписка прервалась. Должно быть, прошло не менее трех-четырех недель, потому что вначале комета была едва заметным пятнышком на небе и разглядеть ее можно было только в бинокль или подзорную трубу, а теперь она стала большой и белой, светила ярче Юпитера и отбрасывала собственные тени. Она очутилась в центре всеобщего внимания, все говорили о ней и, как только заходило солнце, отыскивали в небе ее все растущее великолепие. В газетах, в мюзик-холлах, на щитах и досках для объявлений — везде упоминалось о ней.

Да, комета уже царила над всем, когда я отправился к Нетти выяснять отношения. Парлод истратил два скопленных им фунта на покупку собственного спектроскопа и мог теперь каждую ночь сам наблюдать эту загадочную, удивительную зеленую линию. Не знаю, сколько раз смотрел я покорно на этот туманный, трепетный символ неведомого мира, мчавшийся на нас из бесконечной пустоты. Но наконец мое терпение истощилось,

и я стал горько упрекать Парлода за то, что он тратит свое время на «астрономический дилетантизм».

— Мы находимся накануне величайшего локаута в истории нашего графства,— говорил я.— Начнется нужда, голод; вся система капиталистической конкуренции сейчас — точно нагноившаяся рана, а ты проводишь все время, глазея на проклятую, дурацкую, ничтожную точку в небе.

Парлод с удивлением взглянул на меня.

— Да,— заговорил он медленно, с расстановкой, как будто это было для него новостью.— Это верно. И зачем это мне?

— Я хочу организовать вечерние митинги на пустыре Хоуденс.

— Ты думаешь, они будут тебя слушать?

— Да. Теперь будут слушать.

— Раньше не слушали,— сказал Парлод, глядя на свой любимый спектроскоп.

— В воскресенье в Суотингли была демонстрация безработных. Они дошли до того, что стали бросать камни.

Парлод молчал, а я продолжал говорить. Он словно что-то обдумывал.

— Но все-таки,— сказал он, неловким движением указывая на спектроскоп,— это тоже что-нибудь да значит.

— Комета?

— Да.

— Ну что она может значить? Ведь не хочешь же ты заставить меня поверить в астрологию! Не все ли нам равно, чтó там горит на небе, когда на земле голодают люди?

— Но ведь это... наука.

— Наука! Социализм теперь важней всякой науки.

Но ему не хотелось так легко отказаться от своей кометы.

— Социализм, конечно, нужен,— сказал он,— но если эта штука там, наверху, столкнется с землей, это тоже будет иметь значение.

— Ничто не имеет значения, кроме людей.

— А если она убьет всех?

— Вздор!

— Не знаю...— сказал Парлод, мучительно борясь с собой.

Он взглянул на комету. Он, по-видимому, собирался опять говорить о том, как близко к земле проходит комета, и о том, что́ это может повлечь за собой, но я предупредил его, начав цитировать что-то из забытого теперь писателя Рескина, представлявшего собой настоящий вулкан красноречия и бессмысленных поучений; Рескин оказал большое влияние на тогдашнюю легко возбудимую и падкую на красивые слова молодежь. Это было что-то о ничтожности науки и о высшем значении Жизни. Парлод слушал, смотря на небо и касаясь кончиками пальцев спектроскопа. Наконец он, видимо, решил.

— Нет,— сказал он,— я не согласен с тобой, Ледфорд. Ты не понимаешь, что такое наука.

Парлод очень редко высказывался в наших спорах так категорически. Я привык быть первой скрипкой во всех наших разговорах, и его возражение подействовало на меня, как удар.

— Не согласен со мной! — повторил я.

— Не согласен.

— Но почему?

— Я считаю, что наука важней социализма,— сказал он.— Социализм — теория. А наука... наука — нечто большее.

Это было все, что он мог сказать.

Мы начали горячо и путано спорить, как это с увлечением делает обычно невежественная молодежь. Социализм или наука? Разумеется, это противопоставление совершенно невозможное, все равно, что спорить о том, что лучше: быть левшой или любить лук. У меня хватило, однако, красноречия на то, чтобы рассердить Парлода, а меня разозлило его несогласие с моими выводами, и спор наш окончился настоящей ссорой.

— Отлично! — воскликнул я.— Теперь по крайней мере все ясно!

Я хлопнул дверью, точно взрывая дом, и в бешенстве зашагал по улице, зная, что, прежде чем я дойду до угла, Парлод уже будет стоять у окна и благоговейно любоваться своей дурацкой зеленой линией.

Мне пришлось по крайней мере с час ходить по улицам, прежде чем я смог успокоиться и вернуться домой.

И этот самый Парлод впервые открыл мне социализм!

Предатель!

Самые нелепые мысли приходили мне в голову в те дикие дни. Должен сознаться, что в этот вечер в моем воображении рисовались одни только революции, по лучшим французским образцам: я заседал в Комитете общественной безопасности и судил отступников. Отступник из отступников, Парлод тоже был в их числе; он слишком поздно понял свою роковую ошибку. Его руки были связаны за спиной, еще минута — и его поведут на казнь; в открытую дверь слышен был голос правосудия — сурового правосудия народа. Я был огорчен, но готов выполнить свой долг.

«Если мы наказываем тех, кто предает нас королям,— говорил я грустно, но решительно,— то тем более должны наказывать тех, кто приносит государство в жертву бесполезной науке». И с чувством мрачного удовлетворения я послал его на гильотину.

«Ах, Парлод, Парлод! Если бы ты послушался меня раньше, Парлод!»

Однако из-за этой ссоры я чувствовал себя глубоко несчастным. Парлод был моим единственным собеседником, и мне очень тяжело было проводить вечера вдали от него, думать о нем дурно и не иметь никого, с кем бы я мог поговорить.

Тяжелое это было для меня время, даже до моего последнего визита в Чексхилл. Меня томила праздность. Я проводил вне дома весь день, отчасти чтобы показать, что я усердно ищу работу, и отчасти чтобы избежать безмолвного упрека в глазах матери. «Зачем ты поссорился с Роудоном? Зачем ты это сделал? Зачем ты ходишь с мрачным лицом и гневишь бога?» Утро я проводил в газетном зале публичной библиотеки, где писал невероятные просьбы о невероятных должностях: например, я предложил свои услуги конторе частных сыщиков — мрачная профессия, основанная на низменной ревности, теперь, к счастью, исчезнувшая с лица земли. В другой раз, прочитав в объявлениях, что

требуются стивидоры [1], я написал, что хоть я и не знаю, в чем заключаются обязанности стивидора, но надеюсь, что смогу этому научиться. Днем и вечером я бродил среди призрачных огней и теней родной долины и ненавидел весь мир. Наконец моим странствиям был положен предел сделанным мною открытием: мои ботинки износились

О затяжная, мучительная горячка этих дней!

Я вижу теперь, что у меня был дурной характер, дурные наклонности и душу мою переполняла ненависть, но...

Для этой ненависти было оправдание.

Я был неправ, ненавидя отдельные личности, был неправ в своей грубости и мстительности по отношению к тому или другому лицу, но я был бы еще более неправ, если бы безропотно принял условия, предложенные мне жизнью. Теперь я вижу ясно и спокойно то, что тогда только смутно, хоть и остро чувствовал, вижу, что мои жизненные условия были невыносимы. Моя работа была скучна, трудна и отнимала у меня несообразно громадную часть моего времени; я был плохо одет, плохо питался, жил в плохом жилище, был дурно обучен и воспитан, моя воля была подавлена и мучительно унижена, я потерял уважение к себе и всякую надежду на лучшее будущее. Словом, это была жизнь, не имевшая никакой ценности. Окружавшие меня люди жили не лучше, многие даже хуже, но это было плохое утешение; было бы постыдно довольствоваться такой жизнью. Если некоторые покорялись и смирялись, то тем хуже для всех остальных.

Без сомнения, легкомысленно и безрассудно с моей стороны было отказаться от работы, но в нашей общественной организации все было так неразумно и бесцельно, что я не упрекаю себя ни в чем, жаль только, что это причиняло горе моей матери и тревожило ее.

Подумайте хотя бы о таком многозначительном факте, как локаут.

Это был плохой год, год всемирного кризиса. Вследствие недостатка в разумном руководстве крупнейший

---

[1] Стивидор — квалифицированный судовой грузчик.

стальной трест в Америке, банда предприимчивых, но узколобых владельцев сталелитейных заводов, выработал больше стали, чем могло потребоваться целому миру. (В то время не было способов вычислять заранее такого рода спрос.) Они даже не посоветовались с владельцами сталелитейных заводов других стран. Невероятно расширив производство, они за период своей деятельности привлекли огромное число рабочих. Справедливость требует, чтобы тот, кто поступает так опрометчиво и глупо, сам нес всю ответственность за это, но в то время виновники таких бедствий вполне могли свалить с себя на других почти все последствия своей недальновидности. Никто не видел ничего страшного в том, что пустоголовый «кормчий промышленности», вовлекший своих рабочих в пропасть перепроизводства, то есть неумеренное производство отдельного продукта, затем бросал их в беде, попросту увольнял; не было также в то время способов предотвратить внезапное, бешеное понижение цен, чтобы переманить к себе покупателей от конкурента, разорить его и частично возместить свои убытки за его счет. Такая внезапная распродажа по бросовым ценам известна под названием демпинга. Вот таким демпингом и занимались в тот год на английском рынке американские стальные магнаты. Английские предприниматели, разумеется, старались по возможности переложить свои потери на рабочих, и, кроме того, они добивались какого-нибудь закона, который предотвратил бы не бессмысленное перепроизводство, а демпинг,— не самую болезнь, а ее последствия. Тогда еще не знали, как можно предупредить демпинг или устранить причину несогласованного производства. Впрочем, это никого не интересовало, и в ответ на это требование образовалась своеобразная партия воинствующих протекционистов, соединивших смутные проекты судорожных контратак на иностранных промышленников с весьма ясным намерением пуститься в финансовые авантюры. Бесчестность и безрассудство этого движения так бросались в глаза, что это еще усиливало атмосферу всеобщего недоверия и беспокойства, а боязнь, что государственная казна может попасть в руки этих «новых финансистов», была так велика, что иные государственные деятели старого закала вдруг начинали утверждать, что ни-

какого демпинга вообще нет либо что это очень хорошо. Никто не хотел доискиваться правды, никто не хотел действовать. Стороннему наблюдателю все это могло показаться какой-то легковесной болтовней. Мир потрясают одна за другой невероятные экономические бури, а болтуны продолжают болтать. Цены, заработки — все рушится, как башни при землетрясении, а страдающие, сбитые с толку, неорганизованные рабочие массы выбиваются из сил, влачат жалкое существование и бессильны что-либо изменить, хоть и выражают порой яростный, но бесплодный протест.

Вам не понять теперь беспомощность тогдашнего строя. Одно время в Америке жгли не находившую сбыта пшеницу, а в Индии люди буквально умирали с голоду. Это похоже на дурной сон, не правда ли? Все это и было сном, таким сном, от которого никто не ждал пробуждения.

Нам, молодым, рассуждавшим с юношеской прямолинейностью и непримиримостью, казалось, что стачки, локауты, кризисы перепроизводства и все другие наши несчастья не могут быть следствием простого невежества и отсутствия мыслей и чувств. Нам казалось, что тут действуют какие-то более трагические силы, а не просто недомыслие и невежество. Поэтому мы прибегали к обычному утешению несчастных и темных: мы верили в жестокие и бессмысленные заговоры против бедняков — мы их так и называли — заговорами.

Все, о чем я рассказываю, вы можете увидеть в любом музее: там есть карикатуры на капиталистов и рабочих, украшавшие немецкие и американские газеты того времени.

2

Я порвал с Нетти красивым письмом и воображал, что все кончено раз и навсегда. «Женщины для меня больше не существуют»,— объявил я Парлоду, и затем больше недели длилось молчание.

Но еще до конца недели я уже спрашивал себя с волнением, что произойдет между нами дальше.

Я постоянно думал о Нетти, то с мрачным удовлетворением, то с раскаянием, представляя, как она жалеет

и оплакивает полный и окончательный разрыв между нами. В глубине души я не больше верил в конец наших отношений, чем в конец мира. Разве мы не целовались, разве не преодолели мы нашу полудетскую робость и застенчивость и не поверяли друг другу шепотом самое заветное? Конечно, она принадлежит мне, а я ей, наша разлука, ссоры, охлаждение — всего лишь узоры на фоне вечной любви. Так по крайней мере я чувствовал разрыв, хотя мысль моя принимала различные формы и направления.

К концу недели мое воображение неизменно возвращалось к Нетти, целые дни я думал о ней и видел ее во сне по ночам. В субботу ночью мне приснился особенно яркий сон. Ее лицо было красно и мокро от слез, волосы растрепались; когда я заговорил с ней, она от меня отвернулась. Этот сон почему-то произвел на меня тяжелое и тревожное впечатление. Утром я жаждал увидеть ее во что бы то ни стало.

В то воскресенье матери особенно хотелось, чтобы я пошел с ней в церковь. У нее была для этого двойная причина: она, конечно, надеялась, что посещение церкви благоприятно скажется на моих поисках работы в течение следующей недели, а кроме того, мистер Геббитас, загадочно сверкая очками, пообещал ей постараться что-нибудь сделать для меня, и ей хотелось напомнить ему об этом. Я согласился, но желание видеть Нетти оказалось сильнее. Я сказал матери, что не пойду с ней в церковь, и в одиннадцать часов отправился пешком за семнадцать миль, в Чексхилл.

Долгий путь казался еще более утомительным из-за ботинок. Подошва на носке одного ботинка отстала, а когда я срезал хлопавший кусок, то вылез гвоздь и принялся терзать меня. Зато ботинок после этой операции стал выглядеть более прилично и ничем не выдавал моих мучений. Я поел хлеба с сыром в небольшом трактире по дороге и к четырем часам был уже в чексхиллском парке. Я не пошел мимо дома, по большой дороге, заворачивающей к саду, а двинулся прямо через холм, около второй сторожки и вышел на тропинку, которую Нетти называла своей. Это была совсем дикая тропинка. Она вела к миниатюрной долине через красивую лощину, где мы обыкновенно встречались, а по-

том через заросли остролиста, вдоль живой изгороди, к саду.

Я очень живо помню, как шел через этот парк и внезапно встретил там Нетти. Весь долгий предыдущий путь свелся в моем воспоминании к пыльной дороге и к ботинку с гвоздями, но лощина, поросшая папоротником, нахлынувшие на меня сомнения и опасения и теперь представляются мне чем-то значительным, незабываемым, важным для понимания всего, что произошло затем. Где встречу я ее? Что она скажет? Я и раньше задавал себе эти вопросы и находил ответ. Теперь они опять возникли, но в ином смысле, и я не нашел ответа. По мере того как я приближался к Нетти, она переставала быть для меня только целью моих эгоистических устремлений, только предметом моей мужской гордости— она воплотилась в живое существо и стала самостоятельной личностью, личностью и загадкой, сфинксом, от которого я ускользнул лишь для того, чтобы снова с ним встретиться.

Мне трудно описать вам понятней любовь в старом мире.

Мы, молодежь, в сущности, не были подготовлены к волнениям и чувствам юности. От нас все держалось в тайне, нас ни во что не посвящали. Были, правда, книги, романы, все на редкость тенденциозного склада, считавшие необходимыми свойствами любви полнейшее взаимное доверие, абсолютную верность, вечную преданность, и это только усиливало естественное желание испытать это чувство. Многое существенное в сложном явлении любви было от нас совершенно скрыто. Мы случайно прочитывали что-нибудь об этом, случайно замечали то или другое, удивлялись, затем забывали и так росли. Потом возникали странные ощущения, новые, пугающие желания, чувственные сны; необъяснимые побуждения к самоотверженности начинали чудодейственно струиться среди привычных, чисто эгоистических и материалистических интересов мальчиков и девочек. Мы были подобны неопытным путникам, разбившим лагерь в сухом русле тропической реки,— внезапно мы оказывались по колено, а потом и по горло в воде. Наше «я» внезапно вырывалось на поиски другого существа, и мы не знали, почему. Нас мучила эта новая жажда — посвятить себя

служению существу другого пола. Мы стыдились, но нас томили желания. Мы скрывали это, как преступную тайну, и были полны решимости удовлетворить эти желания наперекор всему миру. В таком состоянии мы совершенно случайно сталкивались с каким-нибудь другим, так же слепо ищущим существом, и атомы соединялись.

Из прочитанных книг, из всех слышанных нами разговоров мы знали, что, раз соединившись, мы соединяемся навеки.

А потом мы открывали, что другое существо тоже эгоистично, что у него есть свои мысли и стремления и что они не совпадают с нашими.

Так жила и чувствовала молодежь моего класса и большинство молодых людей нашего мира.

Так я искал Нетти в воскресенье днем и внезапно увидел ее перед собой — легкую, женственно стройную, с карими глазами, с нежным, милым, юным личиком, затененным полями соломенной шляпки,— прелестную Венеру, которая должна была — я твердо решил это — быть только и исключительно моей.

Не замечая моего присутствия, стояла она, воплощение женственности, воплощение всей моей внутренней жизни и тем не менее отдельная от меня, неведомая мне личность, такая же, как я сам.

Она держала в руке открытую книгу, как будто читала ее на ходу, но это только казалось; на самом деле она стояла неподвижно, смотрела по направлению сероватой мшистой живой изгороди и... как бы прислушивалась. На ее полуоткрытых губах скользила тень сладостной улыбки.

3

Я живо помню, как она вздрогнула, услышав мои шаги, как изумилась, как взглянула на меня почти с ужасом. Я мог бы, наверное, и сейчас повторить каждое слово, сказанное ею при этой встрече, и почти все то, что я ей говорил. Мне так кажется, хотя, быть может, я и ошибаюсь. Но я не стану даже пытаться. Мы оба были слишком дурно воспитаны, чтобы правильно выразить то, что думали, и потому мы облекали свои чувства в неуклюжие, избитые фразы; вы, получившие лучшее воспитание, не поняли бы, что именно мы хотели сказать, и раз-

говор наш показался бы вам пустым. Но наши первые слова я приведу, потому что хотя тогда я не обратил на них особого внимания, потом они сказали мне очень многое.

— Вилли! — воскликнула она.

— Я пришел...— начал я, мгновенно забывая все заранее приготовленные красивые слова.— Я хотел застать тебя врасплох.

— Врасплох, меня?

— Да.

Она пристально посмотрела на меня. Я и теперь еще вижу перед собой ее милое, непроницаемое для меня лицо. Она как-то странно усмехнулась и слегка побледнела, но только на мгновение.

— Застать меня врасплох? Разве я что-нибудь скрываю? — спросила она вызывающе.

Я был слишком занят своими объяснениями, чтобы задуматься над ее словами.

— Я хотел сказать тебе,— начал я,— что все это не серьезно... все то, что я написал в письме.

4

Когда нам с Нетти было по шестнадцать лет, мы были вполне ровесниками. Теперь же мы стали старше почти на год и девять месяцев, и она... ее метаморфоза уже почти закончилась, а я еще только начинал становиться мужчиной.

Она сразу все поняла. Тайные мотивы, руководившие ее маленьким, быстро созревшим умом, мгновенно, интуитивно подсказали ей план действий. Она обращалась со мною, как молодая женщина с мальчиком, она видела меня насквозь.

— Но как ты добрался сюда? — спросила она.

Я сказал, что пришел пешком.

— Пешком! — В следующую секунду она уже вела меня в сад. Я, должно быть, сильно устал. Я должен сейчас же пойти с ней к ним и отдохнуть. Скоро будет чай. (Стюарты по старинному обычаю пили чай в пять часов.) Все будут так удивлены, когда увидят меня.

— Пешком! Подумать только! Впрочем, мужчинам семнадцать миль, наверно, кажутся пустяком. Когда же ты вышел из дому?

И всю дорогу она держала меня в отдалении, я даже не коснулся ее руки.

— Но, Нетти! Ведь я пришел поговорить с тобой.

— Сперва напьемся чаю, мой милый мальчик. Да и, кроме того, мы ведь разговариваем, разве нет?

«Милый мальчик» было ново и звучало так дико.

Она немного ускорила шаг.

— Мне надо тебе объяснить.

Но ничего объяснять мне не удавалось. Я сказал несколько бессвязных фраз, на которые она отвечала не столько словами, сколько интонацией.

Когда мы миновали живую изгородь, она пошла чуть медленнее, и так мы спустились по склону между буками к саду. Она все время смотрела на меня ясными, честными девичьими глазами. Но теперь-то я знаю, что через мое плечо она то и дело оглядывалась на изгородь. И что, несмотря на свою легкую, беспрерывную, хоть иногда и бессвязную болтовню, она все время о чем-то думала.

Ее внешность и одежда как бы завершали и подчеркивали происшедшую в ней перемену.

Смогу ли я припомнить и подробно описать ее?

Боюсь, что не смогу,— в тех терминах, которые употребила бы женщина. Но ее блестящие каштановые волосы, что прежде спускались по спине веселой косой, перехваченной красной ленточкой, уложены были теперь красивыми локонами над ее маленькими ушами, над щеками и мягкими линиями шеи; ее белое платье было длинным; тонкая талия, бывшая прежде чисто условным понятием, как в географии линия экватора, стала теперь гибкой и изящной. Год назад это было всего лишь милое девичье личико над неприметным платьицем да пара очень резвых и быстрых ног в коричневых чулках. Теперь под ее белым платьем заявляло о себе странное, незнакомое мне пышное тело. Все ее движения, в особенности новый для меня плавный жест руки, когда она подбирала непривычно длинное платье и при этом грациозно наклонялась вперед, очаровывали меня. Какой-то пробудившийся инстинкт научил ее набросить на плечи цветной шарф — мне кажется, вы назвали бы это шарфом,— из зеленой паутины, который то плотно прилегал к округлым линиям молодого тела, то вдруг взвивался под дунове-

нием ветра и, точно нежные щупальца, робко касался моей руки, будто желая сообщить мне что-то по секрету.

В конце концов она поймала шарф и укоризненно сжала его концы.

Через зеленые ворота мы прошли за высокую ограду сада. Я отворил их перед ней — это входило в скудный запас моих чопорных правил вежливости — и отступил; проходя, она на мгновение почти прикоснулась ко мне. Мы миновали домик садовника, нарядные клумбы и стеклянные теплицы слева, прошли по дорожке, обрамленной цветочным бордюром, между клумбами бегоний под тень тисов, в двадцати шагах от того самого пруда с золотыми рыбками, на берегу которого мы клялись друг другу в верности. Так мы дошли до украшенного глициниями крыльца.

Двери были широко открыты. Нетти вошла первая.

— Угадайте, кто пришел к нам! — воскликнула она.

Отец что-то неразборчиво ответил из гостиной, скрипнуло кресло; я догадался, что мы потревожили его послеобеденный сон.

— Мама! Пус! — позвала она своим звонким, молодым голосом.

Пус была ее сестра.

Нетти сообщила им с веселым восхищением, что я шел пешком от самого Клейтона; все окружили меня и тоже выражали изумление.

— Ну, уж теперь, когда вы пришли, сейчас же садитесь, Вилли. Как поживает ваша матушка? — говорил отец Нетти, посматривая на меня с любопытством.

На нем был праздничный костюм из коричневатого твида, но жилет ради удобства послеобеденного сна он расстегнул. Это был здоровый, румяный человек с карими глазами и очень эффектными рыжими бакенбардами, которые тянулись от висков до самой бороды — я и теперь вижу их перед собой. Его небольшой рост подчеркивал крепкое сложение; борода и усы были самыми яркими чертами его облика. Нетти унаследовала от него все красивое: белую кожу, блестящие карие глаза — и соединила это с живостью, полученной от матери. О ее матери у меня осталось воспоминание как о быстроглазой, чрезвычайно деятельной женщине. Мне кажется теперь, что она постоянно приносила или уносила какое-

нибудь кушанье или еще что-нибудь; со мной она всегда была добра и приветлива, ибо очень хорошо относилась к моей матери, да и ко мне тоже. Пус была девочка лет четырнадцати, я помню только ее холодные, блестящие глаза и бледное лицо, как у матери. Все они принимали меня очень дружелюбно; они считали меня «способным», и это мнение иногда выражалось очень лестным для меня образом. Теперь они окружили меня, и лица у них были довольно растерянные.

— Да садитесь же! — повторил отец.— Пус, принеси ему стул.

Разговор не клеился. Их, очевидно, удивляло мое внезапное появление и мой вид — я был усталый, бледный, пыльный; но Нетти и не думала поддерживать разговор.

— Ну вот,— воскликнула она внезапно и словно с досадой.— Подумать только! —И выскочила из комнаты.

— Господи! Что за девочка! — сказала миссис Стюарт.— Не знаю, что с ней делается.

Нетти вернулась только через полчаса. Ожидание показалось мне томительным, но она, видимо, бежала, так как совсем запыхалась. Без нее я мимоходом упомянул, что бросил службу у Роудона.

— Нечего мне там прозябать,— небрежно добавил я.

— Я забыла книгу в лощине,— сказала Нетти, все еще задыхаясь.— Ну, что чай? . Готов?

И даже не извинилась.

Но натянутую атмосферу не разрядил и чай. В доме старшего садовника чай пили основательно: подавались разные кексы, варенье, фрукты, и стол накрывался нарядной скатертью. Я сидел надутый, неловкий, встревоженный всем тем загадочным и неожиданным, что подметил в Нетти, говорил мало и только бросал на нее через кексы сердитые взгляды. Все красноречие, которое я подготавливал в течение целых суток, куда-то испарилось. Отец Нетти пытался вызвать меня на разговор. Ему нравилась и его удивляла моя способность говорить легко и свободно, тогда как он сам выражал свои мысли с большим трудом. Действительно, у них я был еще разговорчивей, чем с Парлодом, хотя вообще при посторонних был неловок и застенчив. «Вам бы следовало написать это в газеты. Непременно напишите. В

жизни не слышал такой ерунды!» — часто говорил мне мистер Стюарт. Или: «Ну и язык же у вас, молодой человек! Вам бы следовало стать адвокатом».

Но на этот раз я не блеснул даже в его глазах. Не находя других предметов для разговора, он вернулся к моим поискам нового места, но я даже тут не разговорился.

5

Долгое время я боялся, что мне придется вернуться в Клейтон, так и не сказав Нетти больше ни слова; она словно не замечала, что я ищу случая переговорить с ней, и я уже подумывал, не попросить ли ее выслушать меня вот так, при всех. Но мать Нетти, внимательно наблюдавшая за мной, прибегла к прозрачной хитрости, послав нас обоих, не помню с каким поручением, в одну из оранжерей. Поручение было какое-то пустое: дверь запереть или закрыть окно — всем было ясно, что это только предлог, и, наверно, мы его не выполнили.

Нетти нехотя послушалась. Она повела меня через одну из теплиц. По сторонам низкого, душного коридора с кирпичным полом стояли на подставках горшки с папоротниками, а за ними какие-то высокие растения, ветки которых были наверху расправлены и прикреплены так, что образовался густой лиственный свод. В этом тесном зеленом уединении она вдруг остановилась и обернулась, глядя мне в лицо, точно загнанный зверек.

— Красивые волосатики, правда? — сказала она, а глаза ее говорили: «Начинай».

— Нетти,— смущенно сказал я,— я был просто дураком, что написал тебе...

К моему изумлению, на ее лице я прочел, что она того же мнения. Но она ничего не ответила.

— Нетти! — решился я.— Я не могу без тебя, я люблю тебя.

— Если бы ты меня любил, ты бы никогда не написал таких вещей,— сказала она укоризненно, глядя на свои белые пальцы, перебиравшие листья папоротника.

— Но я не думаю того, что писал. По крайней мере, не всегда думаю.

На самом деле мне очень нравились мои письма, и я считал, что со стороны Нетти очень глупо этого не пони-

мать, но в данную минуту, разумеется, убеждать ее в этом было незачем.

— И все-таки ты это написал.

— А потом прошел семнадцать миль, чтобы сказать тебе, что я этого вовсе не думаю.

— Да. Но, может быть, все-таки думаешь.

Я растерялся и только пробормотал:

— Нет, не думаю.

— Тебе кажется, что ты... что ты любишь меня, Вилли, но это не так.

— Люблю! Нетти! Ты и сама знаешь, что люблю!

Она покачала головой.

И тут я прибег к самому героическому средству.

— Нетти,— сказал я,— ты мне дороже, чем... даже чем мои взгляды.

Она все еще не поднимала глаз от цветка.

— Это тебе сейчас так кажется,— сказала она.

Я разразился бурными протестами.

— Нет,— сказала она кратко,— теперь все изменилось.

— Как могли два письма все изменить?! — воскликнул я.

— Не в одних письмах дело,— отвечала она,— но все изменилось. И навсегда.

Она сказала это медленно, словно подыскивая выражения. Потом вдруг взглянула на меня и сделала легкий жест, показывающий, что разговор окончен.

Но я не допускал такого конца.

— Навсегда?.. Нет!.. Нетти! Нетти! Ты говоришь это не серьезно!

— Серьезно,— ответила она с твердостью, глядя на меня, и во всем ее облике сквозила решимость. Она точно внутренне приготовилась к взрыву протеста с моей стороны.

Разумеется, я разразился целым потоком слов, но они ее не трогали. Он стояла, как неприступная крепость, и, словно пушечными выстрелами, сметала своими возражениями мои беспорядочные словесные атаки. Я помню, что наш разговор свелся к нелепому спору о том, могу я ее любить или нет. Она стояла передо мною, непостижимо далекая и недоступная, красивая, как никогда, и это приводило меня в отчаяние.

Я уже говорил, что раньше, при встречах, мы всегда чувствовали взаимную близость, какое-то запретное, сладкое волнение.

Я умолял, доказывал. Я пытался объяснить ей, что даже грубые, непонятные письма я писал, желая быть ближе к ней. Я преувеличенно красиво расписывал, как я мечтал о ней, когда мы были в разлуке, и какой удар, какое мучение для меня найти ее такой чужой и холодной. Она смотрела на меня, видела мое волнение, но оставалась глуха к моим словам. Теперь эти слова, хладнокровно записанные на бумаге, могут показаться жалкими и слабыми, но тогда я был уверен в своем красноречии. Я говорил от всего сердца, я весь сосредоточился на одном чувстве. С полнейшей искренностью старался я передать ей то, что чувствовал при разлуке с нею, и выразить всю силу своей любви. Упорно, с усилиями и страданиями пробирался я к ее душе сквозь джунгли слов.

Выражение ее лица наконец начало изменяться с той неуловимой постепенностью, с какой светлеет на рассвете безоблачное небо. Я почувствовал, что растрогал ее, что ее жестокость тает, решимость смягчается, что она колеблется. Она еще не забыла нашу прежнюю близость. Но она не хотела сдаваться.

— Нет! — воскликнула она вдруг, встрепенувшись.

Она положила руку мне на плечо. Удивительная, новая мягкость послышалась в ее голосе.

— Это невозможно, Вилли. Все изменилось теперь, все. Мы ошиблись. Мы были оба глупыми подростками, и оба ошиблись. Теперь все изменилось навсегда. Это так.

Она повернулась и пошла прочь.

— Нетти! — закричал я и, продолжая умолять, шел за ней по узкому проходу к дверям теплицы. Я преследовал ее, как обвинитель, а она уходила от меня, как виноватая, которой стыдно своего поступка. Так вспоминается мне это теперь.

Больше мне не удалось с ней поговорить.

И все же я видел, что мои слова совершенно уничтожили ту преграду, которая возникла между нами при встрече в парке. Я то и дело ловил на себе взгляд ее карих глаз. Они выражали что-то новое — будто удивле-

ние, что между нами есть какая-то связь, сожаление, сочувствие. И при этом какой-то вызов.

Когда мы вернулись, я стал более свободно разговаривать с ее отцом о национализации железных дорог, сознание, что я могу еще влиять на Нетти, настолько улучшило мое настроение, что я даже шутил с Пус. Поэтому миссис Стюарт решила, что дело обстоит гораздо лучше, чем было на самом деле, и сияла от удовольствия.

Но Нетти оставалась задумчивой и мало говорила. Она была в каком-то недоумении, которого я не мог разгадать. Скоро она незаметно покинула нас и ушла наверх.

6

Я натер ногу и не мог вернуться в Клейтон пешком, но у меня в кармане был один шиллинг и пенни — этого хватило бы на билет от Чексхилла до Второй Мили, и я решил проехать хоть это расстояние по железной дороге. Когда я собрался уходить, Нетти неожиданно высказала необычайную заботливость обо мне. Я должен идти по большой дороге, утверждала она: сейчас слишком темно, чтобы пробираться напрямик к воротам сада.

Я напомнил, что ночь лунная.

— Да еще комета в придачу,— добавил старый Стюарт.

— Нет,— настаивала она,— ты должен идти по большой дороге.

Я не соглашался.

Она стояла рядом.

— Ради моего удовольствия,— умоляюще шепнула она, сопровождая слова выразительным взглядом, удивившим меня.

«Какое в этом может быть удовольствие?» — недоумевал я.

Быть может, я и согласился бы, если бы она не продолжала убеждать меня.

— Под остролистами подле изгороди темно, как в колодце. И еще эти борзые...

— Я не боюсь темноты,— возразил я.— Да и собак тоже.

— Но это ужасные собаки! А что, если хоть одна отвязана?

Это был аргумент девочки, которая не понимает, что темнотой и собаками можно напугать лишь особ ее пола. Я и сам без удовольствия думал об изголодавшихся огромных собаках, рвущихся с цепи, и о том концерте, который они зададут, услышав запоздалые шаги у лесной опушки, но поэтому-то и решил не уступать. Подобно большинству людей с живым воображением, я легко поддавался страху и искушению избегать риска и постоянно старался искоренять в себе эти чувства и скрывать их от других, и потому отказаться от кратчайшего пути, когда могло показаться, что причина этому — полдюжины собак, почти наверное привязанных на цепь, было невозможно.

Таким образом, наперекор Нетти я мужественно пустился в путь, чувствуя себя храбрецом и радуясь легкой возможности доказать свою храбрость, но слегка огорченный тем, что Нетти может остаться недовольна.

Месяц скрылся за тонким облачком, тропинка под буками была едва заметна. Я не был настолько поглощен своими любовными делами, чтобы забыть одну предосторожность, которую — должен сознаться — я всегда принимал, идя ночью по этому дикому и уединенному парку. Я вложил большой камень в один конец свитого из платка жгута, а другой конец обвязал вокруг кисти свой руки. Вложив это оружие в карман, я пошел более уверенно.

Наконец я вышел из чащи остролиста к углу изгороди и вздрогнул — передо мной был молодой человек во фраке, с сигарой в руке.

Я шел по дерну, мои шаги были не слышны. Он стоял освещенный луной, и его сигара мерцала, как кроваво-красная звезда, а я приближался к нему невидимкой в густой тени, но тогда я этого не понял.

— Добрый вечер,— крикнул он с шутливым вызовом.— Я пришел первый.

— А мне-то что до этого? — сказал я, выходя из тени.

Я неверно истолковал его слова. Между обитателями господского дома и деревенскими жителями постоянно возникали споры о праве пользования этой тропинкой. Я знал об этом споре, и нечего говорить, на чьей стороне были мои симпатии.

— Что?! — воскликнул он в изумлении.

— Вы думаете, я побегу,— сказал я и пошел прямо на него.

Его фрак, его воображаемый вызов разбудили во мне всю накопившуюся ненависть к людям его класса. Я знал его. Это был Эдуард Веррол, сын человека, которому принадлежало не только это огромное поместье и более половины гончарен Роудона, но также акции, угольные копи, поместья, земли, сдающиеся в аренду, по всему округу Четырех городов. Молодой Веррол был благородный и способный юноша — так про него говорили. Несмотря на его молодость, поговаривали о его кандидатуре в парламент; он хорошо учился в университете, и его всячески пропагандировали в нашей среде. С уверенностью и легкостью, как нечто само собой разумеющееся, он получал и принимал такие преимущества, за которые я пошел бы даже на пытку, а между тем, по моему твердому убеждению, я заслуживал их больше, чем он. И вот теперь он стоял предо мною, как олицетворение всего, что наполняло меня злобой. Однажды он остановился в своем автомобиле около нашего дома, и я задрожал от бешенства, заметив почтительное восхищение в глазах матери, когда она смотрела на него из-за занавески.

— Это молодой мистер Веррол,—сказала она.— Говорят, он очень умный.

— Еще бы им не говорить! — ответил я.— Черт бы побрал и его и их.

Но это все между прочим.

Он был явно поражен, увидев перед собой мужчину.

— Это еще кто такой? — спросил он совсем другим тоном.

Я доставил себе дешевое удовольствие, ответив, как эхо:

— А это еще кто такой?

— И что дальше? — спросил он.

— Я буду ходить по этой тропинке, сколько мне угодно, — заговорил я.— Понятно? Это общая тропинка, она принадлежит всем так же, как прежде принадлежала и эта земля. Землю вы украли — вы и вам подобные,— теперь вы хотите отнять у нас право ходить по ней. Скоро вы потребуете, чтобы мы вообще убирались с лица земли. Я вам уступать не намерен. Понятно?

Я был ниже его ростом и, вероятно, года на два моложе, но моя рука уже сжимала самодельный кистень в кармане, и я бы с радостью подрался с ним. Он отступил на шаг, когда я к нему приблизился.

— Вы, наверно, социалист? — сказал он настороженно, но спокойно и чуть насмешливо.

— Один из многих.

— Мы все теперь социалисты,— заметил он философски,— и я не имею ни малейшего намерения оспаривать ваше право идти по тропинке.

— Попробовали бы вы! — сказал я.

— Ни малейшего,— повторил он.

— То-то.

Он вновь сунул сигару в рот; наступила короткая пауза.

— Вы идете к поезду? — спросил он.

Не ответить было бы нелепо.

— Да,— отрезал я.

Он заметил, что в такой вечер приятно прогуляться.

Я колебался еще с минуту, но он стоял в стороне, дорога была свободна; мне, по-видимому, ничего не оставалось, как пойти дальше.

— Доброй ночи,— сказал он, когда я двинулся.

Я глухо буркнул то же самое.

Идя пустынной тропинкой, я чувствовал себя, точно бомба, начиненная проклятиями и готовая взорваться. Из нашего столкновения он, несомненно, вышел победителем.

7

Затем последовало необычайно ярко сохранившееся в моей памяти странное сплетение двух совершенно различных событий.

Когда я шел по последнему открытому лугу, перед Чексхиллской станцией, то заметил, что у меня две тени.

Это поразило меня и прервало мои мысли. Помню, как я вдруг заинтересовался этим явлением. Я резко обернулся и стоял, глядя на месяц и большую белую комету, внезапно вынырнувшую из облаков.

Комета стояла от луны градусов на двадцать. Как красив был этот зеленовато-белый призрак, па-

ривший в темно-синей глубине! Комета казалась ярче луны, потому что была меньше, но отбрасывала тень не такую черную, хотя и отчетливую... Заметив это, я пошел дальше, наблюдая за двумя бегущими передо мной тенями.

Я совершенно не помню хода моих мыслей в те минуты. Но внезапно — так внезапно, как если бы *вдруг*, завернув за угол, я на что-то наткнулся,— комета начисто исчезла из моего сознания, и у меня явилась новая мысль. Мне иногда приходит в голову, что мои две тени — одна женственно нежная и более короткая — внушили мне ее. Как бы там ни было, но в это мгновение я с уверенностью интуиции понял, зачем стоял у ограды сада молодой человек во фраке. Он ждал Нетти!

Стоило только этой мысли появиться, как все стало на свое место. Все недоумения этого дня, таинственная, невидимая преграда между мной и Нетти, что-то невыразимо странное в ней и ее поведении — все стало ясно и понятно.

Я знал теперь, почему она смутилась при моем появлении, зачем вышла из дому в этот послеобеденный час, почему так спешила увести меня в дом; знал, какова была та «книга», за которой она бегала, и знал также, зачем ей было нужно, чтобы я пошел на станцию по большой дороге. Все объяснилось в одно мгновение.

Вообразите себе, как я стоял,— маленький, черный человечек, точно громом пораженный и вдруг замерший на месте, как я потом снова двинулся вперед, крича что-то нечленораздельное и бессильно размахивая руками, а две тени все бежали вперед, словно насмехаясь надо мной. И кругом широкий, облитый лунным светом луг в рамке неясных, как мираж, далеких и низких деревьев, и надо всем этим ясный купол чудесной светлой ночи.

На минуту мое открытие оглушило меня; мысль как бы оцепенела, разглядывая плоды своего труда, а ноги машинально несли меня по прежней дороге, и вот уже в теплой вечерней темноте засветились неяркие огоньки станции Чексхилл...

Помню почти безумный взрыв бешенства, когда я внезапно очнулся, один в грязном отделении тогдашнего третьего класса. Я вскочил с криком разъяренного живот-

ного и изо всей силы стукнул кулаком деревянную стенку...

Странно: я совсем не помню своего состояния непосредственно после этого момента, но знаю, что затем — через минуту, быть может,— я уцепился за поручни вагона и хотел было спрыгнуть с поезда. Это должен был быть драматический прыжок, а потом я вернусь к ней, обличу ее и подавлю ее своим презрением. И так я висел, убеждая себя прыгнуть. Не помню, почему и как я раздумал, но, во всяком случае, не прыгнул.

Когда поезд остановился на ближайшей станции, я уже не думал о возвращении. Я сидел в углу, засунув под мышку свой ушибленный кулак, и, не замечая боли, старался обдумать как можно обстоятельнее план действий — действий, которые выразили бы всю безмерность моего негодования.

ГЛАВА III

РЕВОЛЬВЕР

1

— Эта комета столкнется с землей,— сказал один из двух пассажиров, вошедших в вагон.

— Неужели? — отозвался другой.

— Говорят, она из газа, эта комета. Не разорвет нас? Как полагаете?..

Какое мне было дело до всего этого?

Я думал только о мести, столь чуждой всему моему существу. Думал о Нетти и ее возлюбленном. Я твердо решил, что она ему не достанется, хотя бы для этого мне пришлось убить их обоих. О том, что за этим последует, я не думал, лишь бы сделать это. Все мои неудовлетворенные страсти обратились в бешенство. В ту ночь я без колебаний согласился бы на вечные мучения ради возможности отомстить. Тысячи вероятностей, сотни бурных предположений, целый вихрь отчаянных планов проносились в моем оскорбленном, ожесточенном сознании. Чудовищное, неумолимо жестокое отмщение за мое поруганное «я» — иного выхода для меня не было.

А Нетти? Я все еще любил ее, но уже с мучительной ревностью, с острой, безмерной ненавистью поруганной гордости и обманутой страсти.

2

За свой шиллинг и пенни я смог доехать только до Второй Мили, а дальше пришлось идти пешком. Помню, как, спускаясь с Клейтон-Крэста, я услышал визгливый голос, проповедовавший что-то небольшой праздничной толпе зевак при свете газового фонаря у щита для афиш. Бойкий, невысокий человек, с белокурой кудрявой бородкой, с такими же волосами и водянистыми голубыми глазами, говорил о приближающемся конце мира.

Я, кажется, в первый раз услышал тогда сопоставление конца мира с кометой, и все это перемежалось международной политикой и пророчествами Даниила.

Я остановился на минуту, в сущности, только потому, что мне преградила дорогу толпа слушателей, а затем меня поразило странное, дикое выражение его лица и его указующий в небо палец.

— Наступает конец вашим порокам и прегрешениям! — кричал он.— Там! Там, вверху, звезда страшного суда! Всем людям предначертано погибнуть! Всех ждет смерть! — Тут его голос перешел в какое-то тоскливое завывание.— А после смерти — страшный суд!

Я протолкался сквозь толпу и пошел дальше, и его странный, заунывный хриплый голос все преследовал меня. Я был занят одной и той же мыслью: где купить револьвер и как научиться владеть им? Вероятно, я забыл бы этого проповедника, если бы не увидел его потом в кошмарном сне, когда ненадолго заснул в ту ночь. Но бóльшую ее часть я провел с открытыми глазами, думая о Нетти и ее возлюбленном.

Три следующих, довольно странных дня прошли под знаком одной неотступной мысли.

Эта мысль была — купить револьвер. Я внушил себе, что должен либо поднять себя в глазах Нетти каким-нибудь необыкновенным, героическим поступком, либо убить ее. Другого выхода я не видел. Я чувствовал, что иначе я потеряю последние остатки своей гордости и чести, что иначе до конца жизни буду недостоин уважения, недостоин любви. Гордость вела меня к этой цели между порывами возмущения.

Однако купить револьвер было не так-то легко.

Меня беспокоило, как я буду держаться с продавцом, и я старательно подготовил ответ на тот случай, если ему вздумается спросить меня, зачем я покупаю оружие. Я решил сказать, что еду в Техас и думаю, что там оружие может пригодиться. Техас тогда считался дикой и беззаконной местностью. Так как я ничего не знал насчет системы или калибра, то мне нужно было суметь расспросить спокойно, на каком расстоянии можно убить мужчину или женщину из предлагаемого мне оружия. Всю практическую сторону моего предприятия я продумал достаточно хладнокровно. Трудно было также найти продавца оружия. В Клейтоне, в лавке, где продавались велосипеды, можно было найти мелкокалиберное ружье, но револьверы там продавались только дамские, слишком игрушечные для моей цели. Подходящий револьвер, большой, тяжелый и неуклюжий, с надписью «На вооружении в американской армии» я нашел наконец в витрине ломбарда на узкой Хай-стрит в Суотингли.

Покупка, для которой я взял из сберегательной кассы свои два с лишним фунта, совершилась без всяких затруднений. Продавец сообщил мне, где я могу купить патроны, и я отправился домой со вздувшимися карманами, вооруженный до зубов.

Покупка револьвера была, как я уже говорил, главнейшей задачей этих дней, но я все же не был настолько поглощен ею, чтобы не замечать того, что происходило на улицах, по которым я бродил, стремясь к осуществлению своей цели. Повсюду был ропот. Вся область Четырех городов хмуро и грозно выглядывала из-за своих узких дверей. Обычный живой поток людей, идущих на работу или по своим делам, замер, застыл. Люди собирались на улицах кучками, группами, как спешат по сосудам кровяные тельца к месту, где начинается воспаление. Женщины выглядели изможденными и озабоченными. Металлисты не согласились на объявленное уменьшение заработной платы, и начался локаут. Они уже «играли». Примирительный комитет изо всех сил старался предотвратить разрыв между углекопами и их хозяевами, но молодой лорд Редкар, самый крупный собственник угольных копей в округе и владелец всех земель в Суотингли и половины в Клейтоне, вел себя так высокомерно, что разрыв становился неизбежным. Это был красивый га-

лантный молодой человек; его гордость возмущалась при мысли о том, что какое-то «сборище грязных углекопов» намерено диктовать ему условия, и он не собирался им уступать. Редкар был с самого раннего детства окружен роскошью; на его изысканное воспитание была истрачена заработная плата пяти тысяч человек; необузданное, романтическое честолюбие наполняло его так щедро вскормленный ум. В Оксфорде он тотчас стал выделяться своим презрительным отношением к демократии. В его ненависти к толпе было нечто, покоряющее воображение: с одной стороны, блистательный молодой аристократ в своем живописном одиночестве, с другой — невзрачная, серая масса, одетая в дешевое тряпье, невоспитанная, вечно голодная, завистливая, низкая, ленивая и жаждущая жизненных благ, которых никогда не имела. Ради цельности общего впечатления забывали про бравого полицейского, охраняющего особу лорда, и упускали из виду тот факт, что лорд Редкар на законнейшем основании мог морить голодом рабочих, в то время как они могли добраться до него, только серьезно нарушив закон.

Он жил в Лоучестер-хаусе, милях в пяти за Чексхиллом; но отчасти для того, чтобы показать, как мало он придает значения своим противникам, а отчасти, вероятно, чтобы следить за продолжавшимися переговорами, он почти ежедневно появлялся в Четырех городах на своем большом автомобиле, делавшем шестьдесят миль в час. Можно было подумать, что чисто английское стремление к «честной игре» делало его бравое поведение вполне безопасным; тем не менее ему случалось нарываться на неприятности — во всяком случае, пьяная ирландка однажды погрозила ему кулаком.

Мрачная, молчаливая толпа, которая росла с каждым днем, состояла наполовину из женщин; она таила в себе неясную угрозу, как туча, залегшая неподвижно на вершине горы, и не покидала площади перед Клейтонской ратушей, где шла конференция...

Я считал, что я вправе смотреть на автомобиль лорда Редкара с ненавистью, вспоминая дыры в нашей крыше.

Мы снимали наш маленький домик по контракту у старого скряги по фамилии Петтигрю; сам он жил близ

Оверкасля, в вилле, украшенной гипсовыми изображениями собак и козлов. Несмотря на специальный пункт в нашем контракте, он не делал у нас решительно никакого ремонта, рассчитывая на робость моей матери. Как-то раз она не смогла уплатить в срок половины своей поквартальной платы за дом, и он отсрочил ее на целый месяц; опасаясь, что когда-нибудь ей снова понадобится такое же снисхождение, она превратилась с тех пор в смиреннейшую рабыню домохозяина. Боясь, как бы он не обиделся, она не решалась даже попросить его починить крышу. Но раз ночью дождь промочил ее кровать, она простудилась, а ее жалкое, старое стеганое одеяло вылиняло. Тогда она поручила мне написать старому Петтигрю смиренную просьбу — сделать в виде особой милости то, что он должен был делать по контракту. Одной из нелепостей прошлых дней было то, что даже существующие односторонние законы держались в тайне от народа, ими нельзя было пользоваться, их механизм нельзя было привести в движение. Вместо ясно написанного кодекса, прозрачные принципы и постановления которого теперь к услугам всех и каждого, в то время хитросплетения законов оставались профессиональной тайной юристов. Изнуренным работой беднякам постоянно приходилось выносить множество мелких несправедливостей из-за незнания законов и чрезвычайной дороговизны ведения судебного процесса, требовавшего к тому же массу времени и энергии. Для того, кто был слишком беден, чтобы нанять хорошего адвоката, не существовало правосудия; оставалась лишь формальная охрана порядка полицией и неохотно даваемые, небрежные советы должностных лиц. Гражданские законы в особенности являлись таинственным орудием высших классов, и я не представляю себе той несправедливости, которая могла бы заставить мою бедную мать обратиться к ним.

Все это, наверно, кажется вам невероятным, но могу вас уверить, что так и было.

Старый Петтигрю приезжал к моей матери, обстоятельно рассказал ей о своем ревматизме, осмотрел крышу и объявил, что она не нуждается в ремонте. Когда я узнал об этом, то дал волю своему обычному в эти дни чувству — пламенному негодованию — и решил взять дело в свои руки. Я написал домохозяину письмо и потре-

бовал исправления крыши в юридических выражениях, «согласно контракту». «Если это не будет выполнено в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, мы будем вынуждены обратиться в суд». Об этом героическом поступке я ни слова не сказал матери, и когда старый Петтигрю явился к ней в состоянии крайнего волнения, с моим письмом в руках, она возмутилась почти так же, как и он.

— Как мог ты написать старому мистеру Петтигрю такое письмо? — спросила она меня.

Я ответил, что старик Петтигрю — бессовестный мошенник или еще что-то в том же роде, и боюсь, что я вел себя очень непочтительно с матерью, когда она сказала мне, что все уладила — как именно, об этом она умолчала, но я мог и сам легко догадаться — и что я должен дать ей твердое и нерушимое слово больше в это не вмешиваться. Слова я не дал.

Делать мне тогда было нечего, и я немедленно в бешенстве отправился к Петтигрю, чтобы изложить ему все в должном свете. Но Петтигрю уклонился от объяснений. Он заметил меня, когда я всходил на крыльцо,— как сейчас, помню его кривой сморщенный нос, хмурые брови и седой вихор на голове, выглядывавший из-за оконной занавески,— и приказал служанке запереть дверь на цепочку и сказать, что хозяин меня не примет. Таким образом, мне пришлось снова взяться за перо.

Я не имел понятия о том, как вести дело судебным порядком, и тут мне пришла в голову блистательная мысль обратиться к лорду Редкару, собственнику земли, так сказать, феодальному главе, и сообщить ему, что в руках старого Петтигрю его рента обесценивается. К этому я прибавил несколько общих соображений об аренде, об обложении налогом земельной ренты и о частной собственности на землю. Лорд Редкар, который ненавидел простой люд и проявлял свое презрение к ним подчеркнуто унизительным обращением, вызвал мою особую ненависть тем, что поручил своему секретарю засвидетельствовать мне почтение и просить меня не соваться в его дела, а заниматься своими собственными. Письмо так разозлило меня, что я разорвал его в клочья и величественным жестом разбросал по всему полу, с которого

я потом — чтобы не затруднять этим мать — долго собирал клочки, ползая на четвереньках.

Я еще обдумывал громовой ответ, обвинительный акт против всего класса Редкаров, обличающий их нравы, их мораль, их экономические и политические преступления, но меня отвлекли мысли о Нетти. Не настолько, однако, чтобы я не ругался вслух, когда во время моих долгих блужданий в поисках оружия мимо меня проносился автомобиль благородного лорда. А потом я узнал, что мать ушибла колено и захромала. Опасаясь рассердить меня лишним напоминанием о крыше, она стала без меня сама передвигать свою кровать подальше от дыры в потолке и ушиблась. Вся жалкая мебель была составлена теперь к облезлым стенам: штукатурка потолка потемнела от сырости, а посредине комнаты стояло корыто.

Я рассказал вам все это, чтобы вы поняли, как плохо и неудобно тогда жили, чтобы вы почувствовали дыхание недовольства жарких летних улиц, волнение об исходе стачки, тревожные слухи, собрания и митинги, все более сумрачные лица полицейских, воинственные заголовки статей в местных газетах, пикеты у молчаливых, бездымных фабрик, зорко осматривающие каждого прохожего... Все это было, но вы понимаете, что до меня эти впечатления доходили только отрывочно, составляли живой зрительный и звуковой фон для моей навязчивой идеи, для осуществления которой мне так необходим был револьвер.

Я шел по мрачным улицам среди угрюмой толпы, и мысль о Нетти, о моей Нетти и ее титулованном избраннике беспрерывно разжигала во мне жажду мести.

3

Через три дня, в среду, произошел первый взрыв возмущения, который закончился кровопролитием в Пикок-Груве и затоплением всех угольных копей Суотингли. Мне пришлось присутствовать только при одном из этих столкновений, и это была лишь прелюдия к дальнейшей борьбе.

Отчеты прессы об этом происшествии очень разноречивы. Только прочтя их, можно составить себе понятие о необычайном пренебрежении к истине, которое бесче-

стило прессу той эпохи. В моем бюро есть пачка газет того времени — я их собирал,— и сейчас я просмотрел три или четыре номера того времени, чтобы освежить мои воспоминания. Вот они лежат передо мною — серые, странные, измятые; дешевая бумага порыжела, стала ломкой и протерлась в изгибах, краска выцвела, стерлась, и мне приходится обращаться с ними предельно осторожно, когда я просматриваю их кричащие заголовки. Когда читаешь их в безмятежной обстановке сегодняшнего дня, то по всему: по тону, по аргументам и призывам — кажется, будто их писали пьяные, обезумевшие люди. Они производят впечатление какого-то глухого рева, криков и воплей, звучащих в маленьком, дешевом граммофоне.

Только в номере от понедельника, да и то оттесненное на задний план военными новостями, я нашел сообщение о необычайных событиях в Клейтоне и Суотингли.

То, что я видел, произошло вечером. Я учился стрелять из своего драгоценного приобретения. Для этого я ушел за четыре или пять миль по тропинке через заросшую вереском пустошь и затем вниз к уединенной рощице, полной полевых колокольчиков, на полпути между Литом и Стаффордом. Здесь я провел день, с мрачным упорством практикуясь в стрельбе. Для мишени я принес с собою старую тростниковую раму от бумажного змея, которую можно было складывать и раскладывать, и каждый удачный выстрел отмечал и нумеровал, чтобы сравнивать с другими.

Наконец я убедился, что в тридцати шагах девять раз из десяти попадаю в игральную карту; к тому же стало темнеть, и мне уже трудно было различать начерченный карандашом центр. Я направился домой через Суотингли в том состоянии тихой задумчивости, которое бывает иногда у горячих людей, когда они голодны.

Дорога проходила между двумя рядами тесно стоявших жалких рабочих лачуг и дальше, там, у станции парового трамвая, где у фонаря стоял ящик для писем, принимала на себя роль главной улицы Суотингли. Вначале эта грязная, раскаленная солнцем улица была необычно тиха и пустынна, но за первым же углом, где приютилось несколько пивных, она стала многолюдной,

но все-таки было тихо, даже дети как будто присмирели, а люди стояли кучками и смотрели на ворота угольных копей Бенток-Бордена.

Там дежурили пикеты, хотя переговоры между хозяевами и рабочими в ратуше еще продолжались и официально работа не прекратилась. Но один рабочий копей, Джек Бриско, социалист, написал в руководящий орган английских социалистов «Призыв» резкое письмо по поводу событий, где разбирал побуждения лорда Редкара. За опубликованием этого письма немедленно последовало увольнение его автора. Лорд Редкар так писал дня через два в «Таймсе» (у меня есть этот номер, так же как и другие лондонские газеты за последний месяц перед Переменой): «Этому человеку заплатили и вышвырнули его вон пинком ноги. Каждый уважающий себя предприниматель поступил бы точно так же».

Это случилось накануне вечером, и рабочие еще не решили, что́ им следует предпринять в этом спорном и сложном случае. Но они тотчас начали полуофициальную стачку на всех угольных копях Редкара, за каналом, пересекающим Суотингли. Они прекратили работу, не предупредив хозяев и тем нарушив договор. Но в постоянной борьбе за свои права рабочие в те далекие дни то и дело ставили себя в невыгодное положение и совершали противозаконные поступки; все это происходило потому, что их бесхитростные умы жаждали немедленных действий и не терпели проволочек.

Не все, однако, рабочие покинули шахту Бенток-Бордена. Там что-то пошло не так — возможно, не было согласованности или еще чего-нибудь, но шахта работала. Среди забастовавших рабочих распространился слух, что лорд Редкар заранее держал наготове людей из Дурхэма и что они уже в шахте. Теперь невозможно с уверенностью сказать, как было дело. Сообщения газет разноречивы, но достоверного ничего нет.

Вероятно, я прошел бы через темную сцену, на которой разыгрывалась эта вялая промышленная драма, не задав ни одного вопроса, если бы случайно на той же сцене не появился одновременно со мною лорд Редкар и не привел тотчас же эту драму в движение.

Он объявил, что если рабочие хотят драться, то он обещает им такую драку, какой они еще не видыва-

ли, и весь тот день усиленно занимался военными приготовлениями, открыто собирая толпу «иуд», как мы называли штрейкбрехеров, которые, по его словам,— и мы этому верили — должны были заменить в копях прежних рабочих.

Я был очевидцем всего происшедшего около копей Бенток-Бордена и все-таки не знаю, что собственно там произошло.

Судите сами: я расскажу все, что видел.

Я спускался по крутой булыжной мостовой, глубокой, как ущелье,— тротуары по обе стороны поднимались футов на шесть над ее уровнем, и там тянулись однообразными рядами отворенные двери мрачных и низких домишек. Нагромождение приземистых, крытых шифером синеватых крыш и густо торчащих печных труб спускалось к открытому пространству перед копями, пространству, покрытому обломками угля и размешанной колесами грязью; налево тянулся заросший бурьяном пустырь, а направо были ворота копей.

За всем этим продолжалась главная улица с лавками, и прямо из-под моих ног появились рельсы парового трамвая, то блестевшие отраженным светом, то терявшиеся в тени, чтобы снова вынырнуть под грязно-желтым отсветом только что зажженного фонаря и затем пропасть за углом. Дальше лежала темная масса домишек — маленькие, прокопченные лачуги,— среди которых поднимались жалкие церквушки, питейные дома, школы и прочие здания, и над всем этим возвышались трубы Суотингли. Направо, над входом в шахту Бенток-Бордена, ясно рисовалось в тусклом полусвете большое черное колесо, и дальше, то тут, то там, такие же колеса над другими шахтами. Общее впечатление при спуске с холма — теснота и темнота под высоким, необозримым простором светлого вечернего неба, к которому поднимались черные колеса шахт. И над безмятежной глубиной этого неба царила комета — громадная зеленовато-белая звезда, на которую дивились все, у кого были глаза, чтобы видеть.

На западе на побледневшем вечернем небе ясно вырисовывалась линия горизонта; комета же взошла с востока из-за полосы дыма от заводов Блэддина. Месяц еще не всходил.

К этому времени комета уже начала принимать форму облака, знакомую всем по тысячам фотографий и рисунков. Сперва она была лишь крошечным пятнышком, видимым только в телескоп, потом сравнялась по величине и блеску с крупнейшей звездой; продолжая расти с часу на час, она в своем невероятно быстром, бесшумном и неотвратимом беге к нашей Земле достигла размеров Луны и переросла ее. Теперь это было самое великолепное зрелище на небе. Я никогда не видел фотографии, которая давала бы верное представление о комете, но вопреки общепринятому мнению о кометах у этой не было никакого хвоста. Астрономы заговорили было о двух хвостах, из которых один находился впереди ядра кометы, а другой сзади, но хвосты исчезли, так что комета имела скорее форму клуба светящегося дыма с более ярким ядром. При восходе она была ярко-желтой и принимала характерный зеленоватый цвет, лишь поднявшись над вечерним туманом.

Комета невольно притягивала мое внимание, несмотря на то, что я всецело был занят земными вещами. Я смотрел на нее со смутным предчувствием; мне казалось, что такое удивительное и прекрасное явление должно сыграть какую-нибудь роль, что оно не может быть совершенно безразлично для хода, для смысла моей жизни.

Но каким образом?

Я вспомнил о Парлоде, о панике и тревоге, распространяемой по поводу кометы, и об уверениях ученых, что комета весит так мало — самое большее несколько сот тонн рассеянного газа и тонкой пыли,— и что если бы даже она вся целиком, а не краем ударилась о Землю, то и тогда ничего бы не произошло. «В конце концов,— сказал я себе,— какое же значение для Земли может иметь звезда?»

Еще ниже по склону холма вырастали дома и здания, появились настороженные группы людей, чувствовалась какая-то напряженность, и я забыл про небо.

Поглощенный собою и мрачной мыслью о Нетти и о моей чести, я пробирался между этими затаенно грозными группами и был захвачен врасплох, когда внезапно на сцене начала разыгрываться драма...

Какая-то магнетическая сила притягивала всех к главной улице; она и меня увлекла, как бурный поток соло-

минку. Вся толпа одновременно загудела. Это не было какое-либо слово, а только протяжный звук, в котором слышались вместе и протест и угроза, нечто среднее между гулким «А!» и «Ух!». Затем послышался хриплый гневный крик: «Бу-бу-у!» В нем была почти звериная ярость. «Туут, туут», — послышался насмешливый ответ автомобиля лорда Редкара. «Туут, туут!» Слышно было, как он шипел и кряхтел, когда толпа вынудила его замедлить ход. Все двинулись к шахте, я тоже.

И тут я услыхал крик. В просвете между темными фигурами вокруг меня я увидел, как автомобиль остановился, потом снова двинулся; перед моими глазами мелькнуло что-то корчившееся на земле.

Впоследствии утверждали, что лорд Редкар сам правил автомобилем и умышленно наехал на мальчика, не желавшего сойти с дороги. Утверждали также, что мальчик был взрослым мужчиной, который пытался пройти перед автомобилем, когда тот медленно продвигался сквозь толпу, что этот человек был на волоске от гибели, спасся, однако, а потом поскользнулся на рельсах трамвая и упал. Обе версии напечатаны под кричащими заголовками в двух газетах, лежащих сейчас на моем столе. Установить правду так и не удалось. Да и может ли быть какая-нибудь правда в таком слепом столкновении страстей?

Толпа напирала, загудел рожок автомобиля, все шарахнулись шагов на десять вправо; послышался звук, похожий на револьверный выстрел.

Одно мгновение мне показалось, что все побежали. Какая-то женщина с завернутым в большой платок ребенком на руках налетела на меня с такой силой, что я отшатнулся назад. Все думали, что это был выстрел; на самом же деле с мотором произошло то, что в этих старомодных машинах называлось «преждевременной вспышкой». Тонкая струйка голубого дыма вилась над задней частью автомобиля. Беспорядочное бегство большей части толпы очистило пространство вокруг поля битвы, центром которой был автомобиль.

Упавший мужчина или мальчик лежал на земле, как черный комок, с вытянутой рукой и подергивавшимися ногами. Около него никого не было. Автомобиль остановился, и его три седока встали. Шесть или семь

фигур в черном окружали автомобиль и, казалось, удерживали его, не давая ему двинуться дальше. Один — это был Митчел, известный лидер рабочих—негромко, но яростно спорил с лордом Редкаром. Я стоял недостаточно близко, чтобы расслышать слова. Ворота копей сзади меня были открыты, и с той стороны к автомобилю могла подоспеть помощь. От него до ворот было шагов пятьдесят по черной грязи, потом вход в шахту и над ним вздымавшееся к небу черное колесо. Я стоял в толпе, нерешительным полукругом обступившей спорящих.

Инстинктивно мои пальцы стиснули револьвер в кармане.

Я пробрался вперед с самыми неопределенными намерениями и не слишком быстро, чтобы не дать опередить себя другим, спешившим присоединиться к небольшой кучке людей около автомобиля.

Лорд Редкар в своем широком меховом пальто возвышался над окружавшей его группой; он угрожающе размахивал руками и что-то громко говорил. Он держался смело, в этом надо признаться; он был высок и хорош собой, обладал звучным голосом и хорошими манерами. В первую минуту он целиком приковал к себе мое внимание. Он казался мне торжествующим символом всех притязаний аристократии, всего того, что вызывало во мне ненависть. Шофер сидел сгорбившись и пристально смотрел на толпу из-под локтя хозяина. Но Митчел тоже был крупный человек, и его голос тоже звучал твердо и громко.

— Вы задавили этого человека,— повторял он,— и не уедете отсюда, пока не посмотрите, что с ним.

— Уеду или не уеду — это мое дело,— ответил Редкар.— Сойдите и взгляните на него,— обратился он к своему шоферу.

— Не советую,— сказал Митчел, и шофер нерешительно остановился на подножке.

Тогда с заднего сиденья поднялся еще человек и, наклонившись, что-то сказал лорду Редкару. Только тут я обратил на него внимание. Это был молодой Веррол! Его красивое лицо было ясно видно в бледно-зеленом свете кометы.

Я сразу перестал слышать спор Митчела с лордом Редкаром, хотя голоса их становились все громче. Но-

вый факт отодвинул их на задний план. Молодой Веррол!

Моя цель сама шла мне навстречу.

Сейчас будет стычка, наверное, дело дойдет до драки, и тогда мы...

Что же мне делать? Я быстро это обдумал, и если только память не обманывает меня, я принял решение немедленно. Моя рука сжимала револьвер, но тут я вспомнил, что он не заряжен. Надо отойти в сторону и зарядить его. Я стал проталкиваться сквозь озлобленную толпу, снова окружившую автомобиль...

«По ту сторону дороги среди мусорных куч меня никто не увидит, и я заряжу револьвер»,— подумал я.

Высокий юноша, проталкивавшийся вперед со сжатыми кулаками, остановился около меня на секунду.

— Что это!—сказал он.—Испугались вы их, что ли?

Я быстро оглянулся через плечо, потом посмотрел на него и уже готов был показать ему свой револьвер, когда выражение его глаз вдруг изменилось. Он посмотрел на меня с замешательством и, проворчав что-то, вновь двинулся вперед.

Голоса сзади меня становились громче и резче.

Я заколебался, повернул было обратно, затем все-таки бросился бегом к кучам мусора. Какой-то инстинкт говорил мне, что никто не должен видеть, как я заряжаю револьвер. Значит, у меня было достаточно хладнокровия, чтобы подумать о последствиях того, что я намеревался сделать.

Еще раз взглянул я назад, туда, где шел спор,— или это была уже драка? — потом спрыгнул в яму, стал на колени среди бурьяна и стал поспешно заряжать дрожащими руками. Вложив один патрон, я встал и пошел, но не успел я сделать шагов двенадцать, как подумал о возможных осложнениях, вернулся назад и вложил в барабан остальные патроны. Я действовал медленно, как-то неловко и, кончив, начал припоминать, не забыл ли я чего. И потом, прежде чем подняться, я посидел в яме еще несколько секунд, сопротивляясь первому протесту разума против моего страстного порыва. Я думал, и на минуту зелено-белая комета вновь проникла в мое сознание; в первый раз я уловил какую-то связь между кометой и яростным волнением, охватившим лю-

дей, и с тем, что я сам намеревался сделать. Я собирался убить Веррола как бы с благословения этого зеленого сияния...

А как же Нетти?

Но думать об этом сейчас было просто невозможно.

Я снова вышел из-за мусорной кучи и медленно направился к толпе.

Конечно, я должен убить его...

Поверьте, что мне никогда не приходила в голову мысль о возможности убить молодого Веррола при подобных обстоятельствах. Я никогда не связывал его мысленно с лордом Редкаром и нашим черным промышленным миром. Он принадлежал к совершенно иному, далекому миру — миру Чексхилла, парков, садов, ясного солнца, страстных чувств, Нетти. Его появление здесь захватило меня врасплох и перевернуло все мои расчеты. Я был слишком измучен и голоден, чтобы думать логично, наше соперничество вмешалось в дело и увлекло меня. Я много думал раньше о столкновениях, обличениях, о решительных действиях; воспоминания об этих мыслях овладели мною с такой силой, точно это были бесповоротные решения.

Послышалось чье-то резкое восклицание, крик женщины; толпа, волнуясь, подалась назад. Началась драка.

Лорд Редкар, кажется, выскочил из автомобиля и свалил с ног Митчела; из ворот шахты уже бежали люди на помощь лорду.

Не без труда пробрался я сквозь толпу; помню, что двое высоких мужчин так меня сжали, что мои руки были точно пришиты к бокам, и совершенно не помню никаких других подробностей до того момента, когда меня почти силой вытолкнули в самую середину свалки.

Я наткнулся на угол автомобиля и очутился лицом к лицу с Верролом, который выходил с заднего сиденья. Его лицо в желтом свете автомобильного фонаря и зеленой кометы казалось странно обезображенным. Это длилось всего одно мгновение, но почему-то смутило меня. Он сделал шаг вперед, и странные отсветы исчезли.

Не думаю, чтобы он узнал меня, но он сейчас же догадался, что я хочу напасть на него, и размахнулся, задев меня по щеке.

Я инстинктивно разжал пальцы, сжимавшие в кар-

мане револьвер, выхватил правую руку и запоздало заслонился ею, а левой изо всех сил ударил его в грудь.

Он пошатнулся, и когда снова подался вперед, то я увидел по его лицу, что он узнал меня и очень удивлен.

— Ага, узнал меня, скотина! — крикнул я и снова ударил его.

В ту же минуту я был отброшен в сторону, оглушенный громадным кулаком, ударившим меня в челюсть. У меня осталось впечатление меховой громады, возвышавшейся над полем битвы, как некий герой Гомера,— это был лорд Редкар. Я упал. Но мне показалось, что он взвился куда-то к небесам; больше он не обращал на меня внимания. Громким голосом он кричал Верролу:

— Брось, Тедди! Ничего не выйдет. У пикетчиков стальные палки...

Меня задевали чьи-то ноги, какой-то углекоп в подбитых гвоздями сапогах споткнулся о мою ногу. Слышались крики, проклятия, затем все пронеслось дальше. Я перевернулся со спины на живот и увидел, как шофер, Веррол и за ним лорд Редкар, смешно подобрав полы своей шубы, гуськом бежали со всех ног в свете кометы к открытым воротам копей.

Я приподнялся на локтях.

Молодой Веррол!

Я даже не вынул револьвера, я совсем забыл о нем! Я весь перепачкался, колени, локти, плечи спина — все было покрыто угольной грязью. Я даже не успел вынуть свой револьвер!

Мною овладело нелепое чувство полного бессилия. Я с трудом поднялся на ноги.

Потом я повернулся было к воротам копей, но передумал и, прихрамывая, поплелся домой, смущенный и пристыженный. У меня не было ни желания, ни сил участвовать в развлечении — ломать и жечь автомобиль лорда Редкара.

4

Ночью от лихорадки, боли и усталости, а быть может, от плохо переваренного ужина из хлеба и сыра, я проснулся с отчаянием в душе от одиночества и стыда. Меня оскорбили, у меня не осталось ни чести, ни надежд... Я лежал в постели и в неистовой ярости проклинал бога, в которого не верил.

Так как моя лихорадка была следствием не только боли и усталости, но и брожения молодой страсти, то совершенно естественно, что в коротком сне, предшествовавшем пробуждению, в довершение всех моих мучений мне приснилась странно изменившаяся Нетти. С ясностью галлюцинации почувствовал я всю силу ее физической прелести, ее грации и красоты: В ней одной заключались все мои страстные стремления, вся моя гордость. Она была воплощением моей потерянной чести. Потеря Нетти казалась мне не только утратой, но и позором. Нетти — это жизнь, это все, в чем мне было отказано; она насмехалась надо мною, бессильным, побежденным. Я стремился к ней всей душой, и удар кулака снова ныл и горел на моей щеке, и я снова падал в грязь, к ногам своего соперника.

По временам меня охватывало что-то очень близкое к безумию, и я скрежетал зубами и сжимал кулаки с такой силой, что ногти впивались в мои ладони, и переставал кричать и изрыгать проклятия только потому, что мне недоставало слов. А один раз, перед самым рассветом, я встал с постели и с заряженным револьвером в руке сел перед зеркалом; но потом поднялся, уложил револьвер в комод и запер его подальше от соблазна мимолетных настроений. После этого я ненадолго заснул!

Такие ночи вовсе не были чем-нибудь редким или необыкновенным при старом строе. В каждом городе не проходило и ночи, чтобы тысячи людей не мучились бессонницей от горя и страданий. Тысячи людей были тогда таж же измучены и доведены до края безумия, как и я,— каждый из них был центром омраченного, погибающего мира...

Следующий день я провел, точно в мрачной апатии.

Я собирался пойти в Чексхилл, но не смог: ушибленная нога слишком распухла. Поэтому я остался дома, сидел с забинтованной ногой в нашей плохо освещенной подвальной кухне, предавался мрачному раздумью и читал. Моя добрая старая мать ухаживала за мной, и ее карие глаза озабоченно и пытливо наблюдали мою угрюмую сосредоточенность, мое мрачное молчание. Я не сказал ей, как ушиб ногу, почему так грязно мое платье. Платье она вычистила утром, прежде чем я встал.

О да! Теперь с матерями так не обращаются. Это, вероятно, должно меня утешить. Не знаю, сможете ли вы представить себе ту темную, грязную, неуютную комнату, с голым столом из сосновых досок, с ободранными обоями, с кастрюлями и котелком на узком, дешевом, пожирающем топливо очаге, с золою под топкой и с ржавой решеткой, на которую я положил свою забинтованную ногу. Не знаю также, сможете ли вы представить себе сидящего в деревянном кресле нахмуренного, бледного юношу, небритого, без воротничка, и маленькую робкую, перепачканную от стряпни и уборки добрую старушку, преданно ухаживающую за ним, и ее глаза с любовью устремленные на него из-под сморщенных век.

Она пошла покупать какие-то овощи и принесла мне газету за полпенни, вроде тех, что лежат сейчас на моем столе; только та, которую я тогда читал, была прямо из-под пресса, еще сырая; эти же так сухи и хрупки, что ломаются, когда я до них дотрагиваюсь. У меня сохранился экземпляр номера газеты, которую я читал в то утро. Газета выразительно называлась «Новый листок», но все, кто ее покупал, звали ее просто «Сплетник». В то утро газета была полна самых поразительных новостей, под еще более поразительными заголовками, до такой степени поразительными, что даже я отвлекся на минуту от собственных эгоистических огорчений. Англия была, по-видимому, накануне войны с Германией.

Из всех чудовищно-безумных явлений прошлого война была, без сомнения, самым безумным. Пожалуй, в действительности она причиняла меньше вреда, чем такое менее заметное зло, как всеобщее признание частной собственности на землю, но губительные последствия войны были так очевидны, что ею возмущались даже в то глухое и смутное время. Войны того времени были совершенно бессмысленны. Кроме массы убитых и калек, кроме истребления громадных материальных богатств и растраты бесчисленных единиц энергии, войны не приносили никаких результатов. Древние войны диких, варварских племен по крайней мере изменяли человечество; какое-нибудь племя считало себя более сильным физически и более организованным, доказывало это на своих соседях и в случае успеха отнимало у них земли и женщин и таким образом закрепляло



«В ДНИ КОМЕТЫ»



«В ДНИ КОМЕТЫ»

и распространяло свою власть. Новая же война не изменяла ничего, кроме красок на географических картах, рисунков почтовых марок и отношений между немногими, случайно выдвинувшимися личностями. В одном из последних припадков этой международной эпилепсии англичане, например, в условиях сильнейшей дизентерии при помощи массы скверных стихов и нескольких сотен убитых в сражениях покорили южноафриканских буров, из которых каждый обошелся им около трех тысяч фунтов стерлингов — за сумму вдесятеро меньшую они могли бы купить эту нелепую пародию на народ, всю целиком, и если не считать нескольких частных перемен — вместо одной группы почти совсем разложившихся чиновников другая, и так далее,— существенных изменений не было. (Что, впрочем, не помешало некоему легко возбудимому молодому австрийцу покончить с собой, когда Трансвааль в конце концов перестал быть «страной».) Побывавшие на месте военных действий после того, как война окончилась, не нашли там других изменений, кроме всеобщего обнищания и громадных гор пустых консервных банок, колючей проволоки и расстрелянных патронов; все осталось по-прежнему, и люди, хотя и несколько озадаченные, возвратились и к прежним привычкам и к прежнему непониманию друг друга; чернокожие по-прежнему жили в своих грязных лачугах, белые — в своих уродливых, скверно содержащихся домах...

Но мы в Англии видели или не видели все это глазами «Нового листка», наводившего на все некий невразумительный туман. Все мое отрочество от четырнадцати до семнадцати лет прошло под звуки этой бесплодной, пустой музыки: аплодисменты, волнения, пение и махание флагами, несчастия благородного Буллера и героизм Девета, который решительно всегда выходил сухим из воды,— в этом-то и заключается самое большое его геройство,— и мы ни разу не подумали, что все население страны, с которой мы воюем, не насчитывает и половины числа жителей, влачащих жалкое существование в пределах Четырех городов.

Но и до и после этого глупейшего столкновения глупостей назревал новый, более серьезный конфликт; он медленно, но настойчиво заявлял о себе, как о чем-то неотвратимом, порой на время затихая, но только для то-

го, чтобы вспыхнуть с еще большей силой, а порой, сверкнув острой недвусмысленной идеей, просачивался в самые неожиданные области: это был конфликт между Германией и Великобританией.

Когда я думаю о постоянно возрастающем количестве читателей, целиком принадлежащих новому миру, у которых о старом мире сохранились лишь смутные воспоминания раннего детства, то испытываю большое затруднение, как описать им бессмысленную обстановку, в которой жили их отцы.

На одной стороне были мы, британцы, сорок один миллион человек, завязшие в бесплодной экономической и нравственной тине, не имеющие ни мужества, ни энергии, ни ума, чтобы улучшить наше положение, не осмеливавшиеся в большинстве даже думать об этом. При этом наши дела были безнадежно переплетены с не менее сумбурными, хоть и в ином роде, чем наши, делами трехсот пятидесяти миллионов других людей, разбросанных по всему земному шару, среди которых были и германцы — пятьдесят шесть миллионов людей, находившихся ничуть не в лучшем положении, и в обеих странах суетились маленькие, крикливые создания, издававшие газеты, писавшие книги, читавшие лекции и вообще воображавшие, что они-то и есть разум нации. С каким-то необычайным единодушием они побуждали—и не только побуждали, но с успехом убеждали — обе нации употребить тот небольшой запас материальной, моральной и интеллектуальной энергии, которым они обладали, на истребительное и разрушительное дело войны. И ни один человек не мог бы указать хоть какую-нибудь действительную, прочную выгоду, которая искупала бы истребление людей и вещей и все зло войны, одинаково неизбежное, какая бы сторона ни победила, чем бы война ни кончилась. Все это я должен сказать, хотя, может быть, вы мне и не поверите, ибо без этого невозможно понять мою историю.

Это было какое-то совершенно необъяснимое всеобщее наваждение, и в микрокосме нашей нации оно представляло любопытную параллель с эгоистической злобой и ревностью моего индивидуального микрокосма. Это наваждение указывало на то, что страсти, унаследованные нами от наших звероподобных предков, полно-

стью преобладали над нашим разумом. Точно так же, как я, порабощенный внезапным несчастьем и злобой, бегал с заряженным револьвером, вынашивая в уме различные, неясные мне самому преступления, так и эти две нации рыскали по земному шару, сбитые с толку и возбужденные, с вооруженными до зубов флотами и армиями в полной боевой готовности. Только здесь не было даже Нетти для оправдания их безумия; не было ничего, кроме воображаемого соперничества.

И пресса была главной силой, натравливавшей эти два многочисленных народа друг на друга.

Пресса, эти газеты, такие непонятные нам теперь — все эти «Империи», «Нации», «Тресты» и другие чудовища того невероятного времени,— развились так же случайно и непредвиденно, как сорные травы в запущенном саду. Все тогда развивалось случайно, потому что не было в мире ясной, определенной воли, что могла бы направить его к чему-нибудь лучшему. Под конец эта «пресса» почти целиком попала в руки молодых людей особого типа, очень усердных и довольно неумных, которые не способны были даже понять, что у них, в сущности, нет никакой цели и что они с величайшим рвением и самоуверенностью стремятся к пустому месту. Чтобы понять то сумасшедшее время, коему положила конец комета, нужно помнить, что изготовление этих странных газет производилось с громадной затратой бесцельной энергии и с чрезвычайной поспешностью.

Позвольте описать вам очень кратко газетный день.

Вообразите себе наскоро спроектированное и наскоро выстроенное здание в одном из грязных, усыпанных клочьями бумаги переулков старого Лондона; через двери этого здания вбегают и выбегают с быстротой пушечного ядра люди в скверной, поношенной одежде, а внутри кучки наборщиков напряженно работают,— их всегда торопили, этих наборщиков,— у наборных касс, хватают проворными пальцами и перебрасывают с места на место тонны металла, точно в какой-то адской кухне. А этажом выше, в маленьких, ярко освещенных комнатах, точно в каком-то улье, сидят люди с всклоченными волосами и лихорадочно строчат. Звонят телефоны, постукивают иглы телеграфа, вбегают посыльные, носятся взад и вперед разгоряченные люди с корректурами и рукописями. За-

тем, заражаясь спешкой, начинают стучать машины, все быстрей и быстрей, с шумом и лязгом; печатники снуют около них с масляными лейками в руках, точно ни разу с самого дня рождения не успевшие вымыться, а бумага, содрогаясь, спешит соскочить с вала. Как бомба, влетает владелец газеты, спрыгнув с автомобиля, прежде чем тот успел остановиться, с полными руками писем и документов, с твердым намерением всех «подстегнуть», и точно нарочно всем только мешает. При его появлении даже мальчики-посыльные, ожидающие поручений, вскакивают и начинают бегать без всякого толку. Прибавьте ко всему этому беспрерывные столкновения, перебранку, недоразумения. С приближением рассвета все части этой сложной сумасшедшей машины работают все быстрее, почти доходя до истерики в спешке и возбуждении. Во всем этом бешено мятущемся здании медленно движутся одни только часовые стрелки.

Понемногу приближается время выхода газеты — венец всех этих усилий. Перед рассветом по темным и пустынным улицам бешено мчатся повозки и люди; все двери дома изрыгают бумагу — в кипах, в тюках, целый поток бумаги, которую хватают, бросают с такой яростью, что это похоже на драку, и затем с треском и грохотом все разлетается к северу, югу, востоку и западу. Внутри дома все стихает; люди из маленьких комнат идут домой; расходятся, зевая, наборщики; умолкает громыхание машин. Газета родилась. За производством следует распределение, и мы тоже последуем за связками и пачками.

Происходит как бы рассеяние. Кипы летят на станции, в последнюю минуту влетают в поезда, потом распадаются на мелкие пачки, которые аккуратно выбрасывают на каждой остановке поезда; затем их делят вновь на пачки поменьше, а те — на пачки еще меньше и, наконец, на отдельные экземпляры газеты. Утренняя заря застает отчаянную беготню и крики мальчишек, которые суют газеты в ящики для писем, в открывающиеся окна, раскладывают их на прилавки газетных киосков. В течение нескольких часов вся страна покрывается белыми пятнами шуршащей бумаги, а заголовки всюду выкрикивают большими буквами последнюю ложь, приготовленную для наступающего дня. И вот по всей стране в поездах, в постелях, за едой мужчины и женщины читают;

матери, дочери, сыновья нетерпеливо ждут, когда дочитает отец, миллион людей жадно читает или жадно ждет своей очереди прочесть. Словно какой-то колоссальный рог изобилия покрыл всю страну белой бумажной пеной...

И потом все исчезает удивительно, бесследно, как пена волн на песчаном берегу.

Бессмыслица! Буйный приступ бессмыслицы, беспричинное волнение, пустая трата сил без всякого результата...

Один из этих листков попал мне в руки, когда я с забинтованной ногой сидел в нашей темной подвальной кухне, и разбудил меня от моих личных тревог своими кричащими заголовками. Мать сидела рядом и, засучив рукава на своих жилистых руках, чистила картофель, пока я читал.

Этот листок походил на одну из бесчисленных болезнетворных бацилл, проникших в организм. Я был одним из кровяных телец в большом бесформенном теле Англии, одним из сорока одного миллиона таких же телец, и, несмотря на всю мою озабоченность, возбуждающая сила этих заглавных строчек подхватила меня и увлекла. И по всей стране миллионы читали в тот день так же, как и я, и вместе со мною поднялись и стали в ряды под магическим действием призыва — как тогда выражались? — Ах да: «Дать отпор врагу».

Комета была загнана на задворки последних страниц. Столбец, озаглавленный: «Знаменитый ученый утверждает, что комета столкнется с землей. Каковы будут последствия?..» — остался непрочитанным. Германия — я обыкновенно представлял себе это мифическое зловещее существо в виде затянутого в панцирь императора с торчащими усами и с большим мечом в руке, осененного черными геральдическими крыльями,— нанесла оскорбление нашему флагу. Так сообщал «Новый листок», и чудовище встало передо мною, грозя новыми оскорблениями; я ясно видел, как оно плюет на безупречное знамя моей страны. Кто-то водрузил британский флаг на правом берегу какой-то тропической реки, названия которой я до тех пор ни разу не слышал, а пьяный немецкий офицер, получивший двусмысленный приказ, сорвал этот флаг. Затем один из туземцев той страны — несом-

ненно, британский подданный — был весьма кстати ранен в ногу. И все же факты были не очень убедительны. Ясно было одно: таких вещей мы Германии не простим. Что бы там ни произошло, хотя бы и ровно ничего, но мы желаем получить удовлетворение, а Германия извиняться, по-видимому, не намерена.

«НЕ ПОРА ЛИ НАЧАТЬ?»

Таков был заголовок. И сердце начинало биться сильней...

В этот день я временами совершенно забывал Нетти, мечтая о битвах и победах на суше и на море, о бомбардировках и траншеях и о великой бойне, где погибнут многие тысячи людей.

Но на следующее утро я отправился в Чексхилл, на что-то смутно надеясь, позабыв про стачку, комету и войну.

5

Конечно, я отправился в Чексхилл без определенного плана убить кого-нибудь. У меня вообще не было никакого плана. В моей голове носился целый клубок драматических сцен — угрозы, изобличение, устрашение,— но убивать я не собирался. Револьвер нужен был мне для того, чтобы дать мне превосходство над противником, который был старше и сильней... Нет, даже не потому! Револьвер... Я взял его просто потому, что он у меня был, а я еще не умел рассуждать здраво. Носить револьвер казалось мне драматичным. Но, повторяю, никаких планов у меня не было.

Во время этого второго путешествия в Чексхилл у меня то и дело появлялись новые несбыточные мечты. В то утро я проснулся с надеждой — вероятно, это был самый конец позабытого сна,— что Нетти может еще смягчиться, что, несмотря на все происшедшее, в глубине ее сердца сохранилось доброе чувство ко мне. Возможно даже, что я неверно истолковал то, что видел. Быть может, Нетти все объяснит мне. И все же револьвер лежал у меня в кармане.

Сначала я хромал, но, пройдя мили две, забыл о своей больной ноге и зашагал как следует. А что, если я все-таки ошибся?

Уже идя по парку, я все еще думал об этом. На углу поляны около дома привратника несколько запоздалых голубых гиацинтов напомнили мне то время, когда я рвал их вместе с Нетти. Не может быть, чтобы мы действительно расстались навеки. Волна нежности нахлынула на меня, пока по лощинке я шел к роще остролиста. Но здесь нежная Нетти моей отроческой любви побледнела, на ее место стала новая Нетти моих страстных желаний, и мне вспомнился человек, которого я встретил при лунном свете; я подумал о том жгучем, неотступном стремлении, которое выросло с такой силой из моей свежей, весенней любви, и мое настроение вновь потемнело, как ночь.

Твердым шагом, с тяжестью на сердце, шел я буковым лесом, но у зеленых ворот сада меня охватила такая дрожь, что я никак не мог ухватиться за задвижку, чтобы поднять ее. Теперь я уже знал, что произойдет. Дрожь сменилась ознобом, бледностью и чувством жалости к самому себе. С изумлением я заметил, что мое лицо подергивается, щеки мокры, и вдруг я отчаянно разрыдался. Надо немного переждать, успокоиться. Я, спотыкаясь, повернул в сторону от ворот, рыдая, сделал несколько шагов и бросился на землю в чаще папоротника. Так лежал я, пока не успокоился. Я уже хотел отказаться от своего намерения, но потом все прошло, как тень от облака, и я спокойно и решительно вошел в сад.

Через отворенные двери одной из теплиц я увидел старого Стюарта. Он стоял, прислонившись к раме, засунув руки в карманы, и так задумался, что не заметил меня...

Я остановился в нерешительности, потом медленно пошел дальше, к дому.

Все здесь выглядело как-то необычно, но сперва я не отдавал себе отчета, что именно. Одно из окон спальни было открыто, и штора, обыкновенно поднятая, криво болталась вместе с полуоторвавшейся медной палкой. Эта небрежность показалась мне странной, обычно все в коттедже было на редкость аккуратно.

Дверь была широко отворена, вокруг все тихо. Но столовая, обычно тщательно прибранная, тоже удивила меня: это было в половине третьего пополудни, и три

грязных тарелки вместе с испачканными ножами и вилками валялись на одном из стульев.

Я вошел в столовую, заглянул в соседние комнаты и остановился в нерешительности. Потом постучал дверным молотком и крикнул: «Есть кто-нибудь дома?»

Никто не ответил мне, и я стоял, прислушиваясь в ожидании, сжимая в кармане револьвер. Напряженное ожидание еще более взвинтило мои нервы.

Я уже вторично взялся за молоток, когда в дверях показалась Пус.

С минуту мы молча смотрели друг на друга. Ее волосы были растрепаны, перепачканы, заплаканное лицо покрыто красными пятнами. Она глядела на меня с изумлением. Я ждал, что она скажет мне что-нибудь, но она выскочила из дверей и побежала.

— Послушай, Пус! — крикнул я.— Пус!

Я побежал за ней.

— Пус, что случилось? Где Нетти?

Она скрылась за углом дома.

Я в изумлении остановился, не зная, пытаться ли мне догнать ее. Что все это значит? Вверху послышались чьи-то шаги.

— Вилли,— окликнула меня миссис Стюарт.— Это ты?

— Да,— ответил я,— куда же все запропали? Где Нетти? Мне нужно поговорить с ней.

Она не отвечала, но я слышал шуршание ее платья. Наверно, она стоит на верхней площадке лестницы.

Я остановился внизу, ожидая, что она ко мне сойдет.

Вдруг послышались странные звуки, сквозь них прорывались бессвязные, скомканные, неясные слова, как бы выходящие из сжатого конвульсией горла, и, наконец, всхлипывания без всяких слов. Плакала, несомненно, женщина, но звуки походили на жалобный плач ребенка. «Я не могу... я не могу...» И больше ничего нельзя было разобрать. Плач доброй женщины, всегда кормившей меня таким вкусным пирожным, показался мне невероятным событием. Эти звуки испугали меня. В безумной тревоге поднялся я по лестнице; здесь на площадке стояла миссис Стюарт, склонившись над комодом подле отворенной двери ее спальни, и горько плакала. Никогда не видал я ее в таком горе. Большая прядь темных волос

выбилась из прически и упала на спину; никогда раньше я не замечал, что у нее есть седые волосы.

Когда я поднялся на площадку, она опять заговорила.

— Вот уж не ожидала, что мне придется сказать тебе такое, Вилли. Вот уж не ожидала! — Она опять опустила голову и начала рыдать.

Я молчал, я был слишком изумлен, но я подошел к ней поближе и ждал...

Никогда не видел я таких слез. Я и теперь еще вижу перед собой ее совершенно мокрый платок.

— Подумать только, что я дожила до такого дня!— простонала она.— В тысячу раз легче было бы мне видеть ее мертвой.

Я начал догадываться.

— Миссис Стюарт,— проговорил я хрипло,— скажите, что случилось с Нетти?

— И зачем только дожила я до этого дня! — всхлипнула она вместо ответа.

Я ждал, чтобы она успокоилась.

Наконец плач понемногу стал стихать. О револьвере я совсем забыл. Я все еще молчал, и она внезапно выпрямилась во весь рост, вытерла распухшие глаза и сразу проговорила:

— Она ушла, Вилли.

— Нетти?

— Ушла... Убежала... Убежала из родного дома. О Вилли, Вилли! Какой позор! Какой грех и позор!

Она тяжело оперлась на мое плечо, прижалась ко мне и снова заговорила о том, что ей легче было бы видеть дочь мертвой.

— Ну-ну, успокойтесь,—весь дрожа, проговорил я.— Куда она ушла? — спросил я потом как можно мягче.

Но миссис Стюарт была слишком поглощена своим горем, и мне пришлось обнимать и утешать ее, хотя ледяные пальцы уже сжали мое сердце.

— Куда она ушла? — спросил я в четвертый раз.

— Не знаю я... Мы не знаем... Ах, Вилли, она ушла вчера утром. Я сказала ей: «Нетти, не слишком ли ты приоделась для утреннего визита?» А она ответила: «В такой хороший день хочется хорошо одеться». Вот что

она мне сказала, и это были ее последние слова. Подумай, Вилли, дитя, которое я выкормила своею грудью.

— Да, да,— сказал я.— Куда же она ушла?

Миссис Стюарт снова зарыдала и начала рассказывать, спеша и захлебываясь слезами:

— Она ушла веселая, сияющая, ушла навеки из родного дома. Она улыбалась, Вилли, как будто радовалась, что уходит. («Радовалась, что уходит»,— повторил я, беззвучно шевеля губами.) «Ты слишком уж нарядилась,— сказала я ей,— слишком нарядилась». А отец говорит: «Пусть девочка наряжается, пока молода». И куда только она запрятала узел со своими вещами, чтобы потом унести? Ведь она ушла из родного дома навеки!

Наконец она успокоилась.

— Пусть девочка наряжается,— повторяла она,— пусть девочка наряжается, пока молода... Как нам теперь жить, Вилли? Он этого не показывает, но он совсем убит, убит, сражен в самое сердце. Она всегда была его любимицей. Никогда он не любил Пус так, как ее. А она причинила ему такое горе...

— Куда же она ушла?— перебил я ее наконец.

— Мы сами не знаем. Бросила своих близких, а сама доверилась... О Вилли, это убьет меня! Я бы хотела, чтобы мы вместе с ней лежали сейчас в могиле.

— Но...— Я смочил языком пересохшие губы и медленно проговорил: — Может быть, она ушла, чтобы выйти замуж?

— Если бы это было так! Я молю бога, чтобы это было так, Вилли. Я его умоляла, чтобы он заставил его сжалиться над ней, того, с кем она теперь.

— Кто он? — выпалил я.

— В своем письме она пишет, что он джентльмен. Пишет, что он джентльмен.

— Пишет? Она написала? Покажите мне письмо!

— Оно у отца.

— Но если она пишет... Когда вы получили письмо?

— Оно пришло сегодня утром.

— Но откуда оно пришло? Ведь можно узнать...

— Она этого не пишет. Она пишет, что счастлива. Любовь, она пишет, налетела на нее, как ураган...

— Проклятье! Где же письмо? Покажите мне его. А насчет этого джентльмена...

Она впилась в меня глазами.

— Вы его знаете?

— Вилли! —воскликнула она.

— Сказала она вам это или не сказала, вы знаете, кто он.

Она молча покачала головой, но это вышло совсем не убедительно.

— Молодой Веррол?

Она не ответила и тотчас же начала говорить о другом.

— Все, что я могла сделать для тебя, Вилли...

— Это молодой Веррол? — настаивал я.

Секунду, быть может, мы молча смотрели друг другу в глаза, отлично понимая друг друга... Потом она бросилась к комоду и вновь схватила мокрый носовой платок. Я знал, что она спасается от моих беспощадных глаз.

Моя жалость к ней исчезла. Она знала так же хорошо, как и я, что это был сын ее госпожи. И она уже давно это знала, она чувствовала.

С минуту я стоял над ней, возмущенный. Потом вдруг вспомнил про старого Стюарта в теплице, повернулся и стал спускаться с лестницы. На ходу я оглянулся и увидел, как миссис Стюарт, сгорбившись, медленно входит в свою комнату.

6

Старый Стюарт был жалок.

Я нашел его в теплице в той же позе и на том же месте, где видел раньше. Он не пошевелился, когда я подошел к нему, только мельком взглянул на меня и опять уставился на горшок с цветами.

— Эх, Вилли,— сказал он,— несчастный это день для всех нас.

— Что вы собираетесь делать? — спросил я.

— Мать так расстроена,— сказал он,— что я ушел сюда.

— Что вы намерены делать?

— Что же можно делать в таком случае?

— Что делать? Как что делать?! — воскликнул я.— Нужно...

— Он должен на ней жениться,— сказал Стюарт.

— Конечно, должен! Это-то он должен сделать, во всяком случае.

— Должен, да. Это... это жестоко. Но что я могу тут поделать? Предположим, он не захочет? Наверное, не захочет. Что же тогда?

Он умолк в безмерном отчаянии.

— И вот этот дом,—заговорил он, как бы продолжая про себя какую-то мысль,— мы в нем всю жизнь, можно сказать, прожили... Выехать из него... В моем возрасте... Нельзя же умирать в трущобе.

Я старался догадаться, какими мыслями заполняются в его голове секунды молчания между этими отрывочными словами. Его оцепенение и вялая покорность судьбе, сквозившие в этих словах, возмущали меня.

— У вас письмо? — резко спросил я.

Он полез в боковой карман, с минуту оставался неподвижным, потом очнулся, вытащил письмо, неловкими руками вынул его из конверта и молча протянул мне.

— Что это? — спросил он, впервые взглянув на меня.— Что это с твоей щекой, Вилли?

— Ничего, ушибся,— ответил я и развернул письмо.

Оно было написано на изящной зеленоватой бумаге и изобиловало обычными для Нетти избитыми и неточными выражениями. По почерку не было заметно следов волнения; он был круглый, прямой и четкий, как на уроке чистописания. Ее письма всегда походили на маски: за ними, точно за занавесью, скрывалось изменчивое очарование ее лица, совершенно забывался звук ее звонкого голоса, и можно было только изумляться тому, что такое ничем не примечательное существо полонило мое сердце и гордость.

Что говорилось в этом письме?

«Дорогая матушка!

Не тревожьтесь, что я ушла. Я нахожусь в безопасном месте с человеком, который очень меня любит. Я жалею вас, но иначе не могло быть. Любовь — такая мудреная вещь и овладевает человеком совсем неожиданно. Не думайте, что я стыжусь, я горжусь своей любовью, и вы не должны очень беспокоиться обо мне. Я очень, очень счастлива. (Последние слова густо подчеркнуты.)

Сердечный привет отцу и Пус.

Ваша любящая Нетти».

Странный документ! Теперь я вижу всю его детскую простоту, но тогда я читал его с мукой подавленного бешенства. Оно погрузило меня в бездонный позор, мне казалось, что я буду покрыт бесчестием, если не отомщу. Я стоял, смотрел на эти круглые, прямые буквы и не мог ни заговорить, ни пошевельнуться. Наконец я украдкой взглянул на Стюарта.

Он держал конверт в своих заскорузлых пальцах и смотрел на почтовую марку.

— Неизвестно даже, где она,— сказал он со вздохом, переворачивая конверт, и опустил руку.— Тяжело нам, Вилли. Жила она тут; не на что ей было жаловаться; все ее баловали. Даже по хозяйству никакой работы ей не давали. И вот она ушла, покинула нас, как птица, у которой выросли крылья. Не доверяла нам, вот что мне всего больнее. Кинулась очертя голову... Да, что-то с ней будет?..

— А с ним что будет?

Он покачал головой в знак того, что это уж совсем не его ума дело.

— Вы поедете за ней,— сказал я спокойно и решительно,— вы заставите его жениться на ней.

— Куда я поеду,— спросил он, беспомощно протягивая мне конверт,— и что я могу сделать?.. Если бы я даже и знал куда... Как же я могу оставить сад?

— Господи,— вскричал я,— нельзя оставить сад! Дело идет о вашей чести! Если бы она была моей дочерью... если бы она была моей дочерью... да я бы весь мир разнес на куски...

Я задохнулся.

— Неужели вы намерены снести это?

— Что же я могу сделать?

— Заставить его жениться! Отхлестать его кнутом! Отхлестать, как собаку, говорю я. Я бы его задушил!

Он тихонько почесал свою волосатую щеку, открыл рот и покачал головой. Потом невыносимым тоном тупого житейского благоразумия сказал:

— Нашему брату, Вилли, так поступать не полагается.

Я был в ярости. У меня даже появилось дикое желание ударить его по лицу. Раз в детстве я нашел птицу, всю истерзанную какой-то кошкой, и вне себя от невы-

носимой жалости и ужаса я убил птицу. То же чувство охватило меня теперь, когда эта позорно приниженная душа пресмыкалась передо мною в грязи. Потом я совершенно перестал принимать его в расчет.

— Можно посмотреть? — спросил я.

Он неохотно протянул мне конверт.

— Вот видишь,— сказал он, ткнув своим загрубевшим пальцем,— э-п-э-м. Что тут разберешь?

Я взял конверт. На почтовую марку в то время накладывался обыкновенный круглый штемпель с названием места отправления и числом. Но здесь либо нажим был слишком слаб, или мало было краски на печати, но оттиснулась только половина букв: «Шэп-м» и ниже очень смутно «заказное».

Меня точно озарило, и я тотчас же угадал название Шэпхембери. Самые пробелы помогли мне прочесть, или, быть может, на них остались слабые очертания букв или хоть намеки на них. Я знал, что это место находится где-то на восточном берегу, в Норфолке или Суффолке.

— Да ведь это...— воскликнул я и осекся.

Зачем ему знать?

Старый Стюарт быстро поднял на меня глаза и почти со страхом взглянул мне в лицо.

— Уж не разобрал ли ты названия? — спросил он.

«Шэпхембери — только бы не забыть»,— подумал я.

— Неужели разобрал? — настаивал он.

Я отдал ему конверт.

— Мне сначала показалось, что это Гемптон.

— Гемптон,— повторил он, вертя в руках конверт.— Гемптон. Где же тут Гемптон? Нет, Вилли, ты еще хуже меня разбираешь.

Он вложил письмо обратно в конверт и выпрямился, чтобы вновь спрятать его в боковой карман.

Рисковать было нельзя. Я вынул из кармана огрызок карандаша, отвернулся и быстро записал «Шэпхембери» на моей протертой и довольно грязной манжете.

— Ну что ж,— сказал я с видом человека, не сделавшего ничего особенного, и обратился к Стюарту с каким-то замечанием — уж не помню с каким,— но не успел его договорить.

К дверям теплицы кто-то подошел.

7

Это была старая миссис Веррол.

Не знаю, смогу ли я дать вам о ней ясное представление. Это была маленькая пожилая особа с необычайно светлыми льняными волосами и с выражением достоинства на остроносом лице. Она была очень богато одета. Я бы хотел, чтобы слова «богато одета» были подчеркнуты или напечатаны затейливым, староанглийским или, *пожалуй, даже готическим шрифтом*. Никто на свете не одевается теперь так богато, как она; никто — ни молодой, ни старый — не позволит себе такой некричащей и в то же время претенциозной роскоши. В фасоне ее платья не было ничего необычного, не было в нем и никакой особенной красоты или богатства красок. Господствующими цветами были черный или коричневый, и все богатство костюма заключалось в чрезвычайной дороговизне материала, из которого он был сшит. Она предпочитала шелковую парчу с очень пышным узором, дорогие черные кружева на шелку молочного или пурпурного цвета, сложные нашивки из полосок бархата; зимой она носила редкие меха. Ее перчатки были безукоризненны; изысканно-простая золотая цепочка, нитка жемчуга, множество браслетов довершали убранство этой маленькой женщины. Чувствовалось, что малейшая подробность ее костюма *стоит дороже*, чем весь гардероб дюжины таких девушек, как Нетти. Ее шляпа отличалась той простотой, которая стоит дороже драгоценных камней. Богатство — вот первый отличительный признак старой дамы, чистота — второй. Вы невольно чувствовали, что старая миссис Веррол необычайно чисто вымыта. Если бы мою милую, бедную, старую мать целый месяц кипятили в соде, то и тогда она не выглядела бы такой чистой, как неизменно выглядела миссис Веррол. Кроме того, все ее существо излучало третий отличительный признак — твердая, как скала, уверенность в почтительном подчинении ей всего мира.

В этот день она казалась бледной и утомленной, но такой же самоуверенной, как обычно. Мне было ясно, что она пришла допросить Стюарта относительно взрыва страсти, перебросившего мост над пропастью, разделяющей их семейства.

Но я, кажется, снова пишу на языке, незнакомом младшему поколению моих читателей. Зная мир лишь после Великой Перемены, они не поймут моего рассказа. И в этом случае я не могу, как в других, сослаться в подтверждение своих слов на старые газеты; об этих вещах никто не писал, так как все их понимали и все относились к ним определенным образом. Здесь, в Англии, да и в Америке, как, впрочем, и во всем мире, человечество делилось на две основных группы: на обеспеченных и необеспеченных. Собственно, знати ни в одной из этих стран не было, а считать за таковую английских пэров значило заблуждаться,—ни закон, ни обычай не устанавливал фамильного благородства; не было также в этих странах такой категории «неимущего дворянства», какая была, например, в России. Пэрство было наследственной собственностью, переходившей вместе с фамильной землей только к старшему сыну семьи; и выражения «Noblesse oblige» [1] оно никогда не оправдывало. Все остальные принадлежали к простонародью — таковой была вся Америка. Но вследствие частной собственности на землю, возникшей в Англии, благодаря пренебрежению феодальными обязанностями, а в Америке благодаря полному отсутствию политического предвидения, большие имущества искусственно скопились и удерживались в руках небольшого меньшинства, к которому поневоле попадало в залог всякое новое общественное или частное предприятие. Это меньшинство объединяли не традиции заслуг или благородства, а естественная тяга друг к другу людей, имеющих общие интересы и ведущих одинаково широкий образ жизни. Определенных границ у этого класса не было; сильные индивидуальности из рядов необеспеченных проталкивались в ряды обеспеченных, пользуясь для этого в большинстве случаев отчаянными и часто сомнительными средствами, а сыновья и дочери обеспеченных, вступив в брак с необеспеченными, промотав свое имущество или предавшись отвратительным порокам, впадали в нужду, в которой жило остальное население. Это население не имело земли и приобретало законное право на существование, лишь работая прямо или косвенно на обеспеченных. И такова была ограниченность и узость нашего мышления,

[1] Благородство обязывает (*франц.*).

такой глубокий эгоизм душил все чувства накануне последних дней, что очень немногие из обеспеченных способны были усомниться в том, что естественный, единственно мыслимый порядок вещей — это именно тот, который тогда существовал.

Я описываю здесь жизнь необеспеченных при старом порядке и надеюсь, что вы поймете, как она была беспросветна, но вы не должны воображать, будто обеспеченные жили безоблачно райской жизнью. Бездонная пропасть необеспеченности под их ногами давала себя чувствовать, хотя и оставалась непонятной. Жизнь вокруг них была безобразной. Они не могли не замечать ужасных зданий, дурно одетого народа, не могли не слышать вульгарных криков уличных продавцов дрянного товара. В их душах за порогом сознания жила тревога; у них не только не было логического мышления в вопросах общественно-экономических, но они инстинктивно отмахивались от всяких мыслей об этом. Их обеспеченность была слишком ненадежной, они постоянно боялись упасть в пропасть, и они постоянно привязывали себя новыми веревками; культивирование «связей», «интересов», стремление упрочить и улучшить свое положение были их постоянной и весьма постыдной заботой. Прочтите Теккерея, чтобы представить себе целиком ту атмосферу, в которой они жили. Кроме того, всевозможные бактерии относились без должного уважения к различию классов, и слуги тоже не всегда были достаточно хороши. Прочтите пережившие их книги. Каждое их поколение жаловалось на упадок «преданности» среди слуг, той преданности, которой ни одно поколение никогда не видело. Мир, оскверненный в одном месте, осквернен вообще; но этого они никогда не понимали. Они верили, что всего на всех все равно не хватит и что тут ничего не поделаешь, ибо такова воля божья, и страстно, с незыблемой уверенностью в своих правах держались за свою непомерно большую долю. Все практически обеспеченные принадлежали к «обществу», вращались в нем, и самый выбор этого слова достаточно характеризует их философию. Но если вы в состоянии понять те сумасшедшие идеи, на которых покоился старый мир, то поймете и все отвращение и ужас, которые эти люди питали к бракам с необеспеченными. С их девушками, с их женщинами это

случалось очень редко и для обоих полов считалось бедствием и преступлением против общества. Все что угодно, только не это.

Теперь вам, вероятно, ясна та ужасная судьба, которая в большинстве случаев ожидала девушку из класса необеспеченных, если она, полюбив, отдавалась любимому без брака, и вы поймете положение Нетти и молодого Веррола. Один из двух должен был принести жертву. А так как оба они были в состоянии сильнейшей восторженности и способны на любые жертвы друг для друга, то исход казался сомнительным, и миссис Веррол, естественно, беспокоилась, как бы страдающей стороной не оказался ее сын, как бы Нетти не вышла из этого пожара страсти будущей хозяйкой Чексхилл-Тауэрс. Конечно, такой исход был маловероятен, но все же он был возможен.

Я знаю, что такие законы и обычаи покажутся вам отвратительным плодом больного воображения; но они были непреоборимыми фактами в том исчезнувшем теперь мире, где я имел случай родиться, а безумием там считались мечты о лучшем строе. Подумайте только: девушка, которую я любил всей душой, для которой готов был пожертвовать жизнью, была недостаточно хороша, чтобы стать женой молодого Веррола. А между тем стоило мне только взглянуть на его гладкое, красивое, бесхарактерное лицо, чтобы признать в нем существо более слабое, чем я, и ничем не лучше. Он будет наслаждаться ею, пока она ему не надоест,— таково ее будущее. Яд нашей общественной системы до такой степени пропитал ее натуру, что фрак Веррола, его свобода, его деньги показались ей прекрасными, а я— грязным оборванцем, и она согласилась на подобное будущее. Чувство ненависти к общественным условиям, порождающим подобные случаи, называлось тогда «классовой завистью», а проповедники из благородных упрекали нас за самый мягкий протест против таких несправедливостей, каких теперь никто не стал бы выносить и никто не захотел бы чинить.

Какой был смысл постоянно твердить слово «мир», когда никакого мира не было? Единственная надежда, которая оставалась людям, заключалась в восстании, в борьбе не на жизнь, а на смерть.

Если вы уже поняли всю постыдную нелепость старой жизни, вы сами угадаете, как именно должен я был объяснить себе появление старой миссис Веррол.

Она пришла, чтобы уладить неприятное дело!

И Стюарты пойдут на компромисс — я это слишком хорошо видел.

Эта перспектива внушала мне такое отвращение, что я поступил очень неразумно и резко. Ни за что на свете не хотел я быть свидетелем встречи Стюарта с его хозяйкой, не хотел видеть его первого жеста и стремился избежать этого.

— Я ухожу,— сказал я и, не прощаясь со стариком, повернулся к двери.

Старая дама стояла на моем пути, и я направился прямо к ней.

Я видел, что выражение ее лица изменилось, рот слегка открылся, лоб сморщился, а глаза стали круглыми. Уже с первого взгляда она, очевидно, нашла меня странным субъектом, а шел я к ней с таким видом, что у нее перехватило дыхание.

Она стояла на верху лестницы из трех или четырех ступенек в теплицу. При моем приближении она отступила шага на два с видом достоинства, оскорбленного моим стремительным напором.

Я с ней не поздоровался.

Нет, впрочем, я поздоровался с ней. У меня теперь уже нет возможности извиниться за то, что я ей сказал. Вы видите, я рассказываю вам все до конца, ничего не скрывая. Но если мне удастся достаточно ясно объяснить вам, вы поймете и простите меня.

Я был охвачен дикой и неодолимой жаждой оскорбить ее, и я сказал, вернее, выкрикнул в лицо этой несчастной разодетой старухе, имея в виду всех ей подобных.

— Вы проклятые грабители, вы украли у нас землю! — крикнул я прямо ей в лицо.— Вы пришли предложить им деньги!

И, не дожидаясь ответа, я грубо прошел мимо и, быстро шагая с яростно сжатыми кулаками, вновь исчез из ее мира...

Я пытался потом представить себе, каким этот эпизод должен был показаться ей с ее точки зрения. До того

момента, когда она, взволнованная, спустилась в свой надежно укрытый от всего мира сад и пришла к теплице, разыскивая Стюарта, я в ее частном мире совершенно не существовал, или если и существовал, то как ничтожное черное пятнышко, промелькнувшее по ее парку. У зеленой теплицы, на вымощенном кирпичом проходе, я вдруг появился в ее мире в виде подозрительного, плохо одетого молодого человека, который вначале непочтительно вытаращил на нее глаза, а потом начал приближаться с нахмуренными бровями. С каждым мгновением я становился все больше, все значительнее, все страшнее. Поднявшись по ступеням с откровенной и вызывающей враждебностью, я остановился над ней, точно грозный призрак второй французской революции, и с ненавистью выкрикнул ей в лицо свои оскорбительные и непонятные слова. На секунду я показался ей грозным, как уничтожение. К счастью, дальше этого я не пошел.

А затем я исчез, и вселенная осталась тою же, какой была всегда, только дикий вихрь, пронесшись мимо, пробудил в ней смутное чувство тревоги.

В то время большинство богатых людей были убеждены, что имеют полное право на свое богатство, но мне это тогда и в голову не приходило. Я считал, что они смотрят на вещи точно так же, как я, но по своей подлости отрицают это. В сущности же, миссис Веррол была так же неспособна усомниться в неотъемлемом праве своей семьи господствовать в целом округе, как подвергнуть сомнению тридцать девять догматов англиканского вероисповедания или еще какие-либо из столпов, на которых надежно покоился ее мир.

Я, несомненно, ошеломил и ужасно напугал ее, но понять она ничего не могла.

Люди ее класса никогда, по-видимому, не понимали тех вспышек смертельной ненависти, которые порой освещали тьму, кишевшую под их ногами. Ненависть вдруг появлялась из темноты и через минуту исчезала снова, как возникает и исчезает во мраке угрожающая фигура на краю пустынной дороги при свете фонаря запоздалой кареты. Они относились к таким явлениям, как к дурным снам, волнующим, но несущественным, стараясь поскорей их забыть.

ГЛАВА IV

ВОЙНА

1

Оскорбив миссис Веррол, я почувствовал себя представителем и защитником всех обездоленных. У меня не было больше никакой надежды ни на гордость, ни на радость в жизни; я в ярости восстал против бога и людей. Теперь у меня уже не было никаких колебаний: я твердо и ясно знал, что мне делать. Я заявлю свой протест и умру.

Протест, а потом смерть. Я убью Нетти — Нетти, которая улыбалась, обещала и отдалась другому. Она казалась мне теперь олицетворением всей полноты счастья, всего, чего жаждало молодое воображение, всех недостижимых радостей жизни. Я убью и Веррола. Он ответит мне за всех, кто пользуется несправедливостью нашего общественного строя. Убью обоих, а потом пущу себе пулю в лоб и посмотрю, какое возмездие постигнет меня за решительный отказ от жизни.

Я так решил. Ярость моя не знала границ. А надо мной поднимался к зениту гигантский метеор, затмивший звезды и торжествующий над желтой убывающей луной, которая покорно следовала за ним внизу.

— Только бы убить! Только бы убить! — кричал я.

Моя горячка была так сильна, что я не замечал ни голода, ни усталости. Долго бродил я по пустоши, которая тянулась к Лоучестеру, говоря сам с собой, и только поздно ночью побрел обратно, за все долгие семнадцать миль даже не подумав об отдыхе, а ведь я ничего не ел с самого утра.

Я был словно не в своем уме, но хорошо помню все свои безумства.

Порой я, рыдая, бродил в этом ослепительном сиянии, которое не было ни днем, ни ночью. Порой я отчаянно и сумбурно спорил с тем, что я называл Духом всего сущего. Но при этом я всегда обращался к этому белому сверканию в небе.

— Почему я рожден лишь для того, чтобы терпеть унижения?—вопрошал я.— Почему ты дал мне гордость,

которую я не могу насытить, и желания, которые оборачиваются против меня и разрывают мне душу? Уж не шутишь ли ты со своими гостями здесь, на земле? Я — даже я! — неспособен на такие злые шутки.

— Почему бы тебе не поучиться у меня хоть какой-либо порядочности и милосердию? Почему бы тебе не исправить то, что ты натворил? Ведь я никогда не мучил изо дня в день какого-нибудь несчастного червяка, не заставлял его копошиться в грязи, которая ему отвратительна, не заставлял умирать от голода, не терзал его и не издевался над ним. Зачем же тебе так поступать с людьми? Твои шутки ничуть не смешны. Попробуй развлекаться не так жестоко, слышишь? Придумай что-нибудь, что ранит не так больно.

— Ты говоришь, что делаешь это нарочно, по крайней мере со мной. Ты заставляешь мою душу корчиться в нестерпимых муках. Ну как мне тебе верить? Ты забываешь, что я вижу и другую жизнь. Ну ладно, забудем обо мне; ну, а лягушка, раздавленная колесом? Или птица, которую растерзала кошка?

И после всех этих богохульств я нелепым ораторским жестом с вызовом вскидывал к небесам жалкую руку.

— А ну-ка, ответь мне на все это.

Неделю тому назад лунный свет расчерчивал парк белыми и черными полосами, теперь же свет окутывал землю ярким мерцающим сиянием. Необычайно низкий белый туман, не поднимавшийся выше трех футов над землей, задумчиво скользил по траве, а деревья возникали привидениями из этого заколдованного озера. Величественным, таинственным, странным казался мир в эту ночь, и ни души кругом, только мой слабый, надтреснутый голос раздавался в молчаливой, загадочной пустоте.

Иногда я рассуждал, как уже рассказывал ранее, иногда, спотыкаясь, брел вперед в мрачной рассеянности, иногда мои страдания были особенно остры и мучительны.

Клокочущий пароксизм бешенства вырывал меня из апатии, когда я вспоминал о Нетти: она насмехается надо мной, она, и с ней вместе Веррол, они в объятиях друг друга...

«Не допущу, не допущу!» — кричал я и в один из этих припадков бешенства выхватил из кармана револьвер и выстрелил в тишину ночи. Три выстрела.

Пули пронзили воздух, испуганные деревья все слабеющим отзвуком рассказывали друг другу о том, что я сделал, а затем снова все успокоила огромная терпеливая ночь. Мои выстрелы, мои проклятия, мои молитвы — да, я пытался и молиться — поглотило молчание.

Это был—как бы выразиться?—придушенный крик, затихший, потерявшийся во всепоглощающем царстве безмятежного сияния. Гром моих выстрелов и повторявшего их эха на одно мгновение потряс меня, а затем все стихло. Я увидел, что стою с поднятым револьвером, изумленный, проникнутый каким-то чувством, которого не мог понять. Я взглянул вверх на великую звезду и так и замер в созерцании.

— Кто ты? — спросил я наконец.

Я походил на человека, в безлюдной пустыне вдруг услышавшего чей-то голос...

Но прошло и это.

В Клейтон-Крэсте, помню, не было обычной толпы, которая каждый вечер сходилась сюда смотреть на комету; не было и маленького проповедника на пустыре, призывавшего грешников покаяться перед днем Страшного суда.

Было далеко за полночь, и все уже просто разошлись по домам. Но сразу мне это не пришло в голову, и безлюдье как-то встревожило меня. Газовые фонари были погашены, потому что ярко светила комета, и это тоже было непривычно и беспокойно. Уличный торговец газетами на затихшей Главной улице запер киоск и ушел спать, но одно объявление он забыл убрать. На нем огромными буквами отпечатано было единственное слово:

«ВОЙНА».

Представьте себе пустую, безлюдную, жалкую улицу, без единого звука, кроме гулкого эха моих шагов, и меня, остановившегося перед объявлением. И среди сонного покоя, на криво наклеенном впопыхах листе ясно видное при холодном, безжалостном свете метеора безумное, ужасное, полное безмерных бедствий слово:

«ВОЙНА».

2

Наутро я проснулся в том состоянии душевного равновесия, которое так часто следует за бурными порывами.

Было уже поздно, и мать стояла около моей постели. Она принесла мне завтрак на старом помятом подносе.

— Не вставай, дорогой,— уговаривала она.— Ты спал, когда я вошла. Ты вернулся в три часа ночи. Верно, сильно устал. Лицо у тебя,— продолжала она,— было белое, как полотно, а глаза блестели... Я просто испугалась, когда отворила. А на лестнице ты чуть не падал.

Я спокойно взглянул на вздувшийся карман своего пиджака. Револьвера она, кажется, не заметила.

— Я был в Чексхилле,— сказал я,— ты, наверно, знаешь?..

— Вчера вечером я получила письмо, дорогой.— Она наклонилась надо мною, чтобы поставить поднос мне на колени, и нежно поцеловала меня в голову. На минуту мы замерли в таком положении, ее щека касалась моей головы.

Я взял от нее поднос, чтобы положить конец этой паузе.

— Не трогай моего платья, мама,— сказал я резко, когда она протянула к нему руку.— Со щеткой я и сам управлюсь.

Она покорно направилась к двери, и тут я удивил ее словами:

— Ты очень добрая, мама, я знаю... Только пока, мама, милая, оставь меня. Оставь меня!

И она ушла от меня смиренно, как служанка. Бедное покорное сердце, измученное жизнью и мною!

В то утро мне казалось, что у меня никогда уже больше не будет таких приступов бешенства. Мною овладела печальная решимость. Моя цель казалась мне теперь непоколебимой, твердой, как скала, во мне не было уже ни любви, ни ненависти, ни страха,— была только острая жалость к матери из-за того, что должно случиться. Я медленно съел свой завтрак, раздумывая о том, как бы узнать, где находится Шэпхембери и как мне туда добраться. С деньгами было плохо — у меня не было и пяти шиллингов.

Я старательно оделся, выбрав наименее потертый из

своих воротничков, и выбрился тщательнее обыкновенного; затем я отправился в публичную библиотеку посмотреть на карту.

Шэпхембери оказался на побережье в Эссексе,— это означало сложное и долгое путешествие из Клейтона. Я пошел на станцию и переписал расписание поездов. Носильщик, к которому я обратился с вопросом, и сам не знал ничего толком про Шэпхембери, но кассир помог мне, и мы вдвоем разыскали все, что мне требовалось узнать. Потом я снова очутился на усыпанной углем улице. Мне нужно было по меньшей мере два фунта.

Я опять пошел в читальню публичной библиотеки раздумывать над этой задачей в газетном зале.

И тут я заметил, что публика с непривычной жадностью набрасывается на утренние газеты: в атмосфере читальни было что-то необычное, гораздо больше народу и разговоров, чем всегда. На минуту я удивился, потом вспомнил: «Да ведь война с Германией!» Предполагали, что в Северном море происходит морское сражение. Ну и пусть себе. Я вновь вернулся к своим мыслям.

Парлод?

Пойти помириться с ним и попросить денег взаймы?

Я обдумал это со всех сторон. Потом стал думать о том, что можно продать или заложить, но это было не так-то легко. Мое зимнее пальто и новое-то не стоило фунта, часы же не могли принести больше нескольких шиллингов. И все же эти две вещи кое-что дадут. Мать, вероятно, копит деньги на квартирную плату, но об этом мне противно было и думать. Она усиленно их прятала и держала в спальне запертыми в старом ящичке из-под чая. Я знал почти наверное, что добровольно она не даст из них ни пенса, и хотя уверял себя, что в деле страсти и смерти ничто не имеет значения, все же я не мог отделаться от мучительных укоров совести, когда вспоминал о ящичке из-под чая.

Нет ли других путей? Быть может, испробовав все остальные возможности, я смогу просто выпросить у нее несколько недостающих шиллингов? «Те, другие,—думал я, на этот раз довольно хладнокровно, про обеспеченных,— вряд ли разыгрывали бы свои романы на деньги, занятые у ростовщика. Как бы то ни было, я должен найти выход».

Я чувствовал, что день проходит, но это меня не тревожило. «Тише едешь, дальше будешь»,— говаривал Парлод, и я решил сначала обдумать все до последней мелочи, медленно и тщательно прицелиться и только потом уже действовать мгновенно, как пуля.

Идя домой обедать, я замедлил было шаг у ломбарда: не зайти ли сейчас же заложить часы,— но потом решил отнести их вместе с пальто.

Я ел, молча обдумывая свои планы.

3

После обеда — картофельная запеканка с капустой, чуть сдобренная свиным салом,— я надел пальто и вышел из дому, пока мать мыла посуду в судомойне.

В те времена судомойней в таких домах, как наш, называлось сырое, зловонное подвальное помещение позади кухни, тоже темной, но все-таки жилой. Наша судомойня была особенно грязна, потому что из нее был вход в угольный подвал — зияющую темную яму с хрустящими на кирпичном полу кусочками угля. Здесь была область «мойки» — грязное, противное занятие, следовавшее за каждой едой. Я до сих пор помню гнилую сырость этого места, запах вареной капусты, черные пятна сажи там, куда на минутку поставили сковородку или чайник, картофельную шелуху на решетке под сточной трубой и отвратительные лохмотья, называвшиеся «посудными тряпками». Алтарем этого храма была раковина — большой каменный чан для мытья посуды, отвратительный на ощупь, покрытый слоем жирной грязи; над ним находилась трубка с краном, устроенным таким образом, что холодная вода брызгала и окатывала каждого, кто его отвертывал. Этот кран снабжал нас водой. И в таком-то месте представьте себе маленькую старушку — мою мать,— неловкую и беспомощную, очень кроткую и самоотверженную, в грязном выцветшем платье, казавшемся теперь пыльно-серым, в изношенных грязных башмаках не по мерке, с руками, изуродованными черной работой, с непричесанными седыми волосами. Зимой ее руки потрескаются, и ее будет мучить кашель. И пока она моет там посуду, я ухожу продавать пальто и часы, чтобы покинуть ее.

Насчет заклада вещей у меня вдруг возникли непонятные колебания. Стесняясь закладывать в Клейтоне, где закладчик меня знал, я снес их в Суотингли на Линстрит, где купил свой револьвер. Тут мне пришло в голову, что не следует давать о себе столько улик одному и тому же человеку, и я унес вещи обратно в Клейтон. Не помню, сколько я получил за них, но денег не хватило на билет до Шэпхембери даже в один конец. Ничуть этим не обескураженный, я вернулся в публичную библиотеку посмотреть, нельзя ли где-нибудь сократить путь, пройдя миль десять — двенадцать пешком. Но башмаки мои были в самом печальном состоянии, вторая подошва тоже отпала, и мне пришлось примириться с мыслью, что такое путешествие пешком они не выдержат. Для обычной ходьбы они еще годились, но не для такой спешки. Я побывал у сапожника на Гэккер-стрит, но он не мог взяться за починку раньше чем через два дня.

Домой я вернулся без пяти три, решив, во всяком случае, ехать в Бирмингем с пятичасовым поездом, хотя и видел, что денег не хватит. Я бы охотно продал какую-нибудь книгу или еще что-нибудь, но не мог найти ничего ценного. Серебро матери — две десертных ложки и солонка — уже несколько недель лежали в закладе, попав туда в июне, в день взноса трехмесячной квартирной платы. Но я не терял надежды что-нибудь придумать.

Поднимаясь на крыльцо, я заметил, что мистер Геббитас выглянул из-за бледно-красных гардин с какой-то тревожной решимостью в глазах и тотчас же скрылся, а когда я проходил по коридору, он внезапно открыл свою дверь и перехватил меня.

Представьте себе мрачного неотесанного парня, в дешевом костюме того времени, настолько изношенном, что он весь лоснился, в выцветшем красном галстуке и с обтрепанными манжетами. Моя левая рука все время была в кармане, видимо, не желая расстаться с чем-то, что она там сжимала. Мистер Геббитас был ниже меня ростом, и каждый с первого взгляда отмечал в нем что-то острое, птичье. Мне кажется, он хотел бы походить на птицу, и была в нем какая-то птичья прелесть, но у него не было ни капли резвости и жизнерадостности, которая есть у птицы. Притом у птицы никогда не бывает

одышки и она не стоит, разинув рот. Мистер Геббитас был одет в сутану — обычное платье священников того времени, кажущееся теперь самым странным из всех тогдашних костюмов, причем оно было из самой дешевой черной материи, плохо скроено и плохо сидело на нем, выставляя напоказ круглое брюшко и короткие ноги. Белый галстук под круглым воротничком, над которым возвышалось наивное лицо и большие очки, был измят, в желтых зубах он держал короткую трубку. Хотя ему было не больше тридцати трех — тридцати четырех лет, кожа у него была вялая, а рыжеватые волосы начали уже редеть на макушке.

Теперь он показался бы на редкость странным существом уже по одному тому, что во всей его фигуре не чувствовалось ни тени физической красоты или достоинства. Вы нашли бы его совершеннейшим чудаком, но в старом мире он считался почтенной персоной. Год назад он был еще жив, но после Перемены его было не узнать. А в тот день это был очень неряшливый и невзрачный человечек. Уродливо и неряшливо было не только его платье; если бы его раздеть догола, то в отвисшем животе, вследствие вялости мускулов и отсутствия контроля над собственным аппетитом, в жирных плечах, в желтоватой нечистой коже вы увидели бы то же отсутствие стремления к красоте чистоты, отсутствие, в сущности, самого чувства этой красоты. Инстинктивно чувствовалось, что таким он был всегда, что он не только плыл всю жизнь по течению, ел все, что попадалось, верил во все, во что полагалось верить, и вяло делал то, что приходилось делать, но что и в жизнь-то он был вынесен тем же течением. Невозможно было представить, чтобы он был плодом гордого созидания или пылкой, страстной любви. Родился он просто с л у ч а й н о... Но ведь не он один — все мы были тогда только простыми случайностями.

Почему же я принимаю такой тон по отношению к одному только бедному священнику?

— Здравствуйте,— сказал он дружески развязным тоном,— давненько я вас не видел. Входите, поболтаем.

Приглашение жильца, снимавшего гостиную, равнялось приказанию. Мне бы очень хотелось отказаться — никогда еще подобное приглашение не было более несвое-

временным,— но никакой отговорки не приходило в голову, а он держал дверь открытой.

— Хорошо,— сказал я смущенно.

— Я буду очень рад, если вы зайдете,— продолжал он.— Не часто удается в нашем приходе поговорить с умным человеком.

«На какого черта я ему понадобился?» — думал я про себя. Он суетился вокруг меня с назойливым гостеприимством, бросал отрывистые фразы, потирал руки и смотрел на меня то поверх очков, то сбоку. Когда я уселся в его кожаное кресло, мне почему-то вспомнился кабинет зубного врача в Клейтоне.

— Зададут они нам хлопот на Северном море,— сказал он беспечно.— Я рад, что они хотят воевать.

Его комната говорила о том, что здесь живет человек образованный, и я всегда чувствовал себя там не в своей тарелке, так же, как и в этот раз. Стол под окном был завален фотографическими принадлежностями и последними альбомами снимков, сделанных во время путешествия за границей, а на американских полках по обеим сторонам камина за ситцевыми занавесками стояло необычное для того времени количество книг— не менее восьмисот вместе с альбомами и всевозможными учебниками. Впечатление учености еще усиливалось висевшим на зеркале маленьким деревянным щитом с гербом колледжа и фотографией в оксфордской рамке, украшавшей противоположную стену, где был изображен мистер Геббитас в полном наряде оксфордского студента. У середины этой стены стоял письменный стол с множеством ящичков и отделений, как будто владелец был не только культурным человеком, но и литератором. За этим столом мистер Геббитас писал обычно свои проповеди.

— Да,— говорил он, становясь на коврик перед камином,— рано или поздно война должна была начаться, и если мы уничтожим их флот, то дело будет кончено.

Он поднялся на цыпочки, потом опустился на пятки и нежно посмотрел сквозь очки на акварель своей сестры, изображавшую букет фиалок. Акварель висела над буфетом, служившим ему и кладовой, и чайным ларцом, и погребом.

— Да,— повторил он.

Я кашлянул, пытаясь придумать предлог, чтобы уйти.

Он предложил мне закурить — скверный старинный обычай! — и, когда я отказался, заговорил доверительным тоном об «этой ужасной стачке».

— Тут и война не поможет,— сказал он и на минуту стал очень серьезен.

Потом он заговорил о том, что углекопы, очевидно, нисколько не думают о своих женах и детях, раз они начали стачку только ради своего союза. Я стал возражать, и это немного отвлекло меня от решения поскорее уйти.

— Я не совсем согласен с вами,— сказал я, прочистив горло.— Если бы теперь рабочие не начали бастовать ради своего союза и допустили, чтобы он был разгромлен, то что будут они делать, когда хозяева вновь начнут снижать заработную плату?

На это он возразил, что не могут же рабочие рассчитывать на высокую заработную плату, если хозяева продают уголь по низкой цене.

— Не в этом дело,— возразил я,— хозяева несправедливы к ним, и рабочие вынуждены защищаться.

— Не знаю,— возразил мистер Геббитас,— я живу здесь, в Четырех Городах, довольно долго и, должен сказать, не думаю, что тяжесть несправедливостей, которые совершают хозяева, так уж велика...

— Вся тяжесть их ложится на рабочих,— согласился я, делая вид, что не понимаю его.

Мы продолжали спорить, а я в душе проклинал и спор и себя за неумение отделаться от собеседника и не мог скрыть своего раздражения. Три красных пятна выступили на щеках и на носу мистера Геббитаса, хотя он говорил по-прежнему спокойно.

— Понимаете,— сказал я,— я социалист. Я думаю, что мир существует не для того, чтобы ничтожное меньшинство плясало на головах у всех остальных.

— Дорогой мой,— сказал его преподобие мистер Геббитас,— я тоже социалист. Кто же теперь не социалист? Но это не внушает мне классовой ненависти.

— Вы не чувствовали на себе тяжести этой проклятой системы, а я чувствовал.

— Ах,— вздохнул он, и тут, как по сигналу, послышался стук в нашу парадную дверь, и, пока он прислушивался, мать впустила кого-то и робко постучалась к нам.

«Вот и случай»,— подумал я и решительно поднялся со стула.

— Нет, нет, нет,— запротестовал мистер Геббитас,— это за деньгами для дамского благотворительного общества.

Он приложил руку к моей груди, как бы желая силой удержать меня, и крикнул:

— Войдите!

— Наш разговор как раз начинает становиться интересным,— заметил он, когда вошла мисс Рэмелл, молодая — вернее, молодящаяся — особа, игравшая большую роль в церковной благотворительности Клейтона.

Он с ней поздоровался — на меня она не обратила никакого внимания — и подошел к письменному столу, а я остался стоять у своего кресла, не решаясь выйти из комнаты.

— Я не помешала? — спросила мисс Рэмелл.

— Нисколько,— ответил мистер Геббитас и, отперев стол, выдвинул ящик. Я невольно видел все его движения.

От него невозможно было отделаться, и это так злило меня, что деньги, которые он вынимал, даже не напомнили мне моих утренних поисков. Я хмуро прислушивался к его разговору с мисс Рэмелл и широко раскрытыми глазами смотрел, не видя, на дно плоского ящика, по которому были разбросаны золотые монеты.

— Они так неблагоразумны,— жаловалась мисс Рэмелл, точно кто-нибудь мог быть благоразумен при таком безумном общественном строе.

Я отвернулся от них, поставил ногу на решетку камина, облокотился на край каминной доски, покрытой плюшевой дорожкой с бахромой, и погрузился в изучение стоявших на нем фотографий, трубок и пепельниц. Что еще мне нужно обдумать до ухода на станцию?

Ах, да. С каким-то внутренним сопротивлением моя мысль сделала скачок — точно что-то силой толкало меня в бездну — и остановилась на золотых монетах, исчезавших в это мгновение, так как мистер Геббитас задвигал ящик.

— Не буду больше мешать вашему разговору,— сказала мисс Рэмелл, направляясь к двери.

Мистер Геббитас любезно суетился около нее, открыл дверь и пошел проводить ее по коридору. На мгновение я необычайно остро почувствовал близость этих десяти или двенадцати золотых монет...

Входная дверь захлопнулась, и он вернулся в комнату. Возможность побега была упущена.

4

— Мне надо идти,— сказал я, страстно желая поскорее выбраться из этой комнаты.

— Ну что вы, дружище, об этом нечего и думать. Да вам, наверное, и незачем уходить,— настаивал мистер Геббитас. Затем с видимым желанием переменить разговор, спросил:

— Что же вы не скажете мне своего мнения о книге Бэрбла?

Несмотря на мою внешнюю уступчивость, я был теперь очень зол на него. «Зачем я стану скрывать от него свои взгляды или смягчать их?—пришло мне в голову.— Зачем притворяться, будто я чувствую себя ниже его в умственном отношении и считаю более высоким его общественное положение? Он спрашивает, что я думаю о Бэрбле,— я выскажу свое мнение и, если понадобится, даже в резкой форме. Тогда он, может быть, отпустит меня». Я не садился и продолжал стоять у камина.

— Это та маленькая книжка, которую вы дали мне почитать прошлым летом? — спросил я.

— Убедительные доказательства, не правда ли? — спросил он с вкрадчивой улыбкой, указывая мне на кресло.

— Я невысокого мнения о его логике,— ответил я, продолжая стоять.

— Это был умнейший из епископов Лондона.

— Может быть. Но он защищал лукавыми хитросплетениями очень сомнительное дело.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что он неправ. По моему мнению, он своих положений не доказал. Я не считаю христианство истиной. Он только притворяется верующим и сам это знает. Все его рассуждения — чистый вздор.



«В ДНИ КОМЕТЫ»



«В ДНИ КОМЕТЫ»

Мистер Геббитас слегка побледнел и сразу стал менее любезен. Его глаза и рот округлились, даже лицо стало как будто круглее, а брови сдвинулись.

— Мне очень жаль, что вы так думаете,— вздохнул он.

Он не повторил своего приглашения садиться, сделал шаг или два к окну, потом снова обернулся ко мне и заговорил раздражающим тоном снисходительного превосходства:

— Надеюсь, вы допускаете...

Я не буду излагать вам его и мои доводы. Если они вас заинтересуют, вы найдете в каких-нибудь забытых уголках наших книгохранилищ истрепанные дешевые книжонки, какие выпускало, например, издательство «Просвещение», из которых я почерпнул свои доводы. В этом же своеобразном чистилище, вперемежку с ними и ничем от них не отличаясь, хранятся и бесчисленные «Ответы» ортодоксов церкви, словно трупы солдат двух враждующих армий в окопе, за который шло жаркое сражение. Все эти споры наших отцов — а они порой спорили очень ожесточенно — теперь ушли далеко за пределы нашего понимания. Я знаю, вы, молодые, читаете о них с недоумением и досадой. Вам непонятно, как разумные люди могли воображать, будто таким способом можно доказать что-либо. Все старые методы систематического мышления, все нелепости аристотелевой логики вслед за магическими и мистическими числами и путаной магией имен отошли в область невероятного. Вам не понять наших богословских страстей, как не понять и суеверий, что заставляли древних говорить о своих богах только иносказательно, дикарей — чахнуть и умирать только потому, что их сфотографировали, а фермера времен королевы Елизаветы возвращаться с полдороги, когда на пути ему попались три вороны, если даже он ехал в далекую и важную поездку. Даже я, сам прошедший через все это, вспоминаю теперь наши споры с сомнением и недоверием.

Мы и в наши дни принимаем веру — все люди живут верой; но в прежние времена все безнадежно путали подлинную веру с вымученными нелепыми верованиями, со способностью принять некие ложные истины. Я склонен думать, что и верующие и неверующие были

тогда лишены веры в нашем нынешнем ее понимании: для такой веры ум их был недостаточно развит. Они способны были поверить только в то, что можно увидеть, потрогать и назвать словами, точно так же, как их древние дикие предки не могли заключить какую-либо торговую сделку без определенных предварительных церемоний. Правда, они больше не поклонялись идолам и не искали утешения в иконах и паломничествах к святым местам, но все еще отчаянно цеплялись за печатное и вслух высказанное слово и за готовые формулы. Но к чему воскрешать отголоски старых словопрений? Скажу только, что в поисках бога и истины мы оба скоро вышли из себя и наговорили много нелепого. Теперь — с беспристрастной высоты моих семидесяти трех лет — я присуждаю пальму первенства его преподобию мистеру Геббитасу; моя диалектика была плоха, но его — еще хуже.

На щеках у него выступили красные пятна, голос стал крикливым. Мы все резче и резче прерывали один другого. Мы выдумывали факты и ссылались на авторитеты, имена которых я не умел как следует произнести, и видя, что мистер Геббитас избегает серьезной критики основ религии и упоминаний о немецких философах, я обрушил на него — не без успеха! — имена Карла Маркса и Энгельса, как толкователей библии. Глупейший спор! Отвратительный!

Наши голоса становились все громче, и в них все чаще прорывались нотки раздражения. Наверное, моя мать, стоя на лестнице, прислушивалась с возрастающим страхом, умоляя в душе: «Не оскорбляй ты *его*, дорогой. Не оскорбляй. Мистер Геббитас с *ним* в дружбе. Постарайся поверить тому, что говорит мистер Геббитас»,— хотя мы все еще делали вид, что уважаем друг друга. Уж не помню как, но на первый план в нашем споре выступило нравственное превосходство христианства перед всеми иными верованиями. В истории мы оба разбирались плохо и потому храбро обобщали факты, пользуясь больше всего собственной фантазией.

Я объявил христианство моралью рабов, а себя — учеником немецкого писателя Ницше, бывшего тогда в моде.

Должен сознаться, что для ученика я был весьма скверно знаком с творениями моего учителя. В сущности, все, что я знал об этом писателе, было мною почерп-

нуто из двух столбцов «Призыва», напечатавшего о нем статью за неделю перед тем... Но преподобный мистер Геббитас «Призыва» не читал.

Я знаю, что вам трудно мне поверить, но уверяю вас, что мистер Геббитас, безусловно, не слыхал даже имени Ницше, хотя этот писатель занял совершенно определенную и вполне ясную позицию в своих нападках на ту религию, хранителем которой был мой почтенный собеседник.

— Я ученик Ницше,— объявил я с таким видом, словно этим все сказано.

Мистер Геббитас так растерялся, услышав незнакомое имя, что мне пришлось его повторить.

— А знаете ли вы, что говорит Ницше? — злорадно наседал я на него.

— Во всяком случае, он получил должный ответ,— пытался вывернуться мой противник.

— От кого? — продолжал я наскакивать.— Скажите мне, от кого? — И я насмешливо ждал ответа.

5

Счастливый случай вывел мистера Геббитаса из затруднительного положения, а меня приблизил к роковому падению.

Не успел я задать свой вопрос, как послышался цокот лошадиных копыт и стук колес. Я увидел кучера в соломенной шляпе и великолепную карету, запряженную парой серых лошадей,— редкость для Клейтона.

Преподобный Геббитас подошел к окну.

— Как, да ведь это, кажется, старая миссис Веррол! Да, несомненно, это она и есть. Что ей от меня нужно?

Он повернулся ко мне, следы горячности исчезли с его лица, и оно сияло теперь, как солнце. Очевидно, не каждый день миссис Веррол удостаивала его визитом.

— Меня так часто прерывают,— сказал он, осклабившись.— Извините меня, я на минутку. А потом... потом я скажу вам насчет этого субъекта. Только не уходите, прошу вас, пожалуйста, не уходите. Уверяю вас... очень интересно.

Он вышел из комнаты, махая руками, чтобы удержать меня.

— Я *должен* уйти! — крикнул я ему вдогонку.

— Нет, нет, нет,—послышалось из коридора.—Я еще не ответил на ваш вопрос,— добавил он и, кажется, даже пробормотал «Полнейшее заблуждение» и побежал по лестнице навстречу старой даме.

Я выругался, подошел к окну и неожиданно для себя оказался совсем рядом с проклятым столом.

Я взглянул на него, затем на старуху, обладающую такой властью, и передо мной мгновенно встал образ ее сына и Нетти. Стюарты, без сомнения, уже признали совершившийся факт... И я тоже...

Что я здесь делаю?

Зачем я здесь торчу и теряю драгоценное время?

Я вдруг точно очнулся и почувствовал прилив энергии. Чтобы удостовериться, я еще раз взглянул на услужливо изогнутую спину священника, на длинный нос старой дамы и ее дрожащие руки и затем быстрыми точными движениями отпер ящик, положил в карман четыре золотых, запер ящик и снова выглянул в окно — они все еще разговаривали.

Отлично. Он, возможно, еще не скоро заглянет в ящик. Я посмотрел на часы. До поезда в Бирмингем оставалось двадцать минут. Успею купить новые ботинки и уехать. Но как отсюда выбраться?

Я смело вышел в коридор и взял свою шляпу и палку... Пройти мимо него?

Конечно, не может же он вступить со мной в препирательства, будучи занят с такой важной особой... И я смело спустился с крыльца.

— Мне нужен список всех, действительно заслуживающих...— говорила старая миссис Веррол.

Странно, но мне тогда и в голову не пришло, что передо мной мать человека, которого я иду убивать. Я как-то не смотрел на нее с этой точки зрения. Я думал о бессмысленности общественного строя, предоставляющего этой трясущейся старухе власть по собственному капризу давать и отнимать у сотен своих ближних насущные средства к жизни.

— Можно составить предварительный список,— говорил мистер Геббитас и взглянул на меня с озабоченным видом.

— Я должен идти,— ответил я на мелькнувший в его глазах вопрос и прибавил: — Я вернусь через двадцать минут.

И я ушел, а он тотчас же повернулся к своей покровительнице, как бы мгновенно забыв о моем существовании. Он, вероятно, втайне был доволен моим уходом.

Я был необычайно хладнокровен и чувствовал себя решительным и сильным, словно эта быстрая и ловкая кража воодушевила меня. Наконец-то я смогу осуществить свой план! Меня не пугали препятствия, я чувствовал, что преодолею их. Сейчас я пойду на Гэккер-стрит к сапожнику и куплю у него крепкую, хорошую пару ботинок — это займет десять минут,— до станции еще пять минут, и я в поезде! Я чувствовал себя сильным и безнравственным сверхчеловеком Ницше. Мне только не пришло в голову, что часы священника могут быть неверны.

6

На поезд я опоздал.

Отчасти потому, что часы Геббитаса отставали, а отчасти благодаря торговому упрямству сапожника, желавшего во что бы то ни стало примерить мне еще одну пару, хотя я и сказал ему, что больше у меня нет времени. Купив наконец последнюю пару и дав ложный адрес для отсылки моей старой обуви, я поспешил на станцию и тогда только перестал чувствовать себя ницшеанским сверхчеловеком, когда увидел хвост уходящего поезда.

Я решил не ехать из Бирмингема прямо в Шэпхембери, а сперва отправиться в Монксхемптон, оттуда в Уэйверн и затем, уже с севера, въехать в Шэпхембери. Правда, возможно, придется переночевать где-нибудь по пути, но зато это избавит меня от всяких преследований, кроме разве самых настойчивых. Ведь это еще не убийство, а только кража четырех фунтов.

Дойдя до Клейтон-Крэста, я уже совершенно успокоился.

У Крэста я оглянулся назад. Что это был за мир! Внезапно мне пришло в голову, что все это я вижу в последний раз. Если я настигну беглецов и исполню задуманное, я умру вместе с ними или буду повешен. Я оста-

новился и внимательнее всмотрелся в широкую безобразную долину.

Это была моя родная долина, и я думал, что ухожу из нее навсегда; и, однако, при прощальном взгляде группа городов, которая породила меня, унизила, искалечила и сделала тем, чем я был, показалась мне какой-то странной, необычной. Вероятно, я просто привык видеть широкий ландшафт, открывающийся с этого места, задернутым смягчающим покровом ночи, а теперь видел его при будничном свете яркого послеполуденного солнца. Отчасти это было, наверное, причиной того, что долина показалась мне чужой. Но, быть может, то напряженное душевное волнение, которое я переживал уже более недели, сделало меня более прозорливым, дало мне возможность проникнуть глубже в то, что казалось обычным, усомниться в том, что казалось несомненным. В первый раз я тогда заметил этот хаос копей, домов, гончарен, железнодорожных станций, каналов, школ, заводов, доменных печей, церквей, часовен, лачуг — вся эта беспорядочная громада уродливых дымящих случайностей, в которой люди жили так же счастливо, как лягушки в сорной яме. Здесь все теснилось, калечило друг друга и не обращало внимания ни на что вокруг. Дым заводских труб пачкал глину в гончарнях, грохот поездов на железных дорогах заглушал церковные песнопения, разврат кабаков подступал к дверям школ, а безрадостные жилища тупо жались друг к другу, теснимые со всех сторон чудовищно разросшимися фабриками. Человечество задыхалось среди творений рук своих, и все его силы уходили на то, чтобы умножать хаос, подобно тому, как бьется и все глубже увязает в трясине слепое раненое животное.

В тот день я не представлял себе это ясно. Еще менее понимал я, как все это связано с моими планами мщения и убийства. Я описал это ощущение удушливого хаоса так, как будто я об этом думал; на самом же деле я в то время лишь почувствовал это на минуту при взгляде на долину.

Никогда больше не увижу я этих мест.

Эта мысль вновь мелькнула у меня в голове. Но она меня вовсе не огорчила. У меня была возможность умереть на чистом воздухе, под ясным небом.

Из отдаленного Суотингли вдруг донесся неясный звук — вой далекой толпы, затем быстро последовавшие один за другим три выстрела.

На мгновение это меня смутило... Пускай, во всяком случае, я покидаю все это. Слава богу, я покидаю все это! Повернувшись, чтобы идти, я вспомнил о матери.

В скверном мире я ее оставляю. Моя мысль на минуту сосредоточилась на ней. Чрезвычайно живо представил я себе, как там, внизу, под этим послеполуденным солнцем суетится она, еще не зная, что потеряла меня, что-то делает, согнувшись, в подвальной кухне, может быть, пошла с лампой в судомойню, а может быть, терпеливо сидит, глядя в огонь, на котором кипятится чай для меня. Жалость и раскаяние охватили меня при мысли о горе, нависшем над ее ни в чем не повинной головой. Для чего же я это делаю?

Для чего?

Я снова остановился. Вершина холма уже отделяла меня от дома. Я почти готов был вернуться к матери.

И тут мне вспомнились деньги священника. Если он уже их хватился, то что меня ждет, когда я вернусь?

И если я вернусь, как мне положить их обратно?

И какая ночь предстоит мне после того, как я откажусь от мести? И что будет, когда вернется молодой Веррол? А Нетти?

Нет. Отступать уже поздно.

Но я мог бы все-таки поцеловать матушку на прощание, оставить ей записку, успокоить ее хоть на короткое время. Всю ночь она будет прислушиваться и ждать меня...

Не послать ли ей телеграмму со Второй Мили?

Нет, нельзя. Слишком поздно, слишком поздно. Это значило бы выдать себя, навести преследователей на прямой и ясный след, если они кинутся мне вдогонку. Нет, мать пусть не страдает.

Печально шел я к станции Вторая Миля, но теперь меня как будто вела какая-то иная воля, более сильная, чем моя.

В Бирмингем я приехал до захода солнца и как раз успел на последний поезд в Монксхемптон, где я намеревался переночевать.

ГЛАВА V

ПОГОНЯ ЗА ДВУМЯ ВЛЮБЛЕННЫМИ

1

Поезд в Монксхемптон, на который я сел в Бирмингеме, привез меня не только в места, где я никогда не бывал, но от дневного света, от соприкосновения с обычными вещами он перенес меня в волшебную ночь, над которой царил гигантский метеор.

В это время как-то особенно заметна стала смена дня и ночи. С ними менялась даже оценка всех земных событий. Днем комета фигурировала лишь в газетных статьях, ее оттесняли на задний план тысячи более живых интересов, она была ничто по сравнению с надвигавшейся на нас военной грозой. Это было астрономическое явление, где-то там, над Китаем, за миллионы миль от нас в небесной глубине. Мы про него забывали. Но как только заходило солнце, все взоры обращались к востоку, и метеор снова простирал над нами свою загадочную власть.

Все ждали его восхода, и тем не менее каждую ночь он поражал чем-нибудь неожиданным. Каждый раз он вставал блистательнее, чем можно было себе представить, увеличивался и странно изменял свои очертания. На нем образовался менее яркий, но более густой зеленый диск, который ширился вместе с ростом кометы,— тень Земли. Метеор светился своим собственным светом, так что эта тень не была черной и резко очерченной, а лишь светилась фосфорически и менее ярко, по мере того как гасло солнце. Когда метеор поднимался к зениту, в то время как остатки дневного света уходили вслед за опускающимся солнцем, зелено-белое освещение стирало краски дня и придавало всему на земле призрачный характер. Беззвездное небо вокруг него стало таким необыкновенно синим — такой синевы я не видел ни раньше, ни потом. Помню также, что, когда я выглянул из поезда, громыхавшего по направлению к Монксхемптону, я с изумлением заметил медно-красный цвет, примешивавшийся ко всем теням.

Безобразные промышленные городишки Англии превращались в фантастические города. Местные власти повсюду распорядились не освещать улицы — на них и без того ночью вполне можно было читать,— и когда я шел по незнакомым бледным, почти белым улицам Монксхемптона, круглоголовые тени электрических фонарей ложились мне под ноги. Освещенные окна светились красновато-оранжевым светом, точно отверстие какой-то фантастической завесы, протянутой пред раскаленной печью. Бесшумно ступавший полисмен указал мне сотканную из лунного света гостиницу, и человек с зеленым лицом отпер двери. Здесь я провел ночь. А наутро фантастическое жилище оказалось шумной и грязной маленькой харчевней, где отвратительно пахло пивом; хозяин был жирный и хмурый человек с красными пятнами на шее, а за дверью шумела людная улица, вымощенная булыжником.

Заплатив по счету, я вышел на улицу, где во все горло кричали продавцы газет, стараясь перекричать заливавшуюся громким лаем собаку. Они выкрикивали: «Поражение Великобритании в Северном море! Гибель военного корабля со всей командой!»

Я купил газету и пошел на станцию, читая по пути приведенные там подробности об этом торжестве старой цивилизации. Миной, пущенной с немецкой подводной лодки, был взорван громадный броненосец со всеми орудиями, взрывчатыми веществами, самыми дорогими и лучшими машинами того времени и с ним — девятьсот крепких, отборных людей. Я дочитался до военной горячки и не только забыл про комету, но забыл даже, зачем я пришел на станцию, зачем купил билет и еду в Шэпхембери.

Таким образом, жаркий день снова победил, и люди забыли про ночь.

Каждую ночь все блистательней и настойчивей сияла над нами красота, чудо, обещание из бездны, и мы притихали, очарованные. Но при первых же серых звуках дня, при стуке отпираемых болтов, при громыхании тележки с молоком мы забывали чудо, и наш обычный пыльный день, зевая и потягиваясь, снова вступал в свои права. Угольный дым застилал от нас небо,

и мы просыпались для грязной, беспорядочной рутины жизни.

— Жизнь всегда была такою,— говорили мы,— такою она и останется.

На великолепие этих ночей почти всюду смотрели только как на зрелище. Никакого значения ему не придавали. Что касается Западной Европы, то здесь лишь небольшая невежественная часть низших классов смотрела на комету как на предзнаменование конца света. В тех странах, где еще сохранилось крестьянство, все было иначе, но в Англии крестьяне давно уже исчезли. Здесь все были грамотные. В спокойное время, накануне такого внезапного разрыва с Германией, газеты исключили в своих статьях о комете всякую возможность возникновения паники. Бродяги с большой дороги, ребятишки в детской — и те знали, что весь этот блеск весит не больше нескольких десятков тонн. Этот факт был убедительно доказан чудовищным отклонением кометы, низринувшим ее прямо на нашу землю. Она прошла в непосредственной близи от трех небольших астероидов, не вызвав ни малейшего отклонения их пути, тогда как сама она уклонилась почти на три градуса. Когда она столкнется с Землей, то тем, кто окажется на той стороне нашей планеты, которая соприкоснется с кометой, представится чудесное зрелище, но больше решительно ничего не произойдет. Было сомнительно, окажемся ли мы этими счастливцами. Метеор будет занимать все большую и большую часть неба, причем тень нашей Земли будет приглушать его сияние; и, наконец, он покроет все небо светящимся зеленым облаком с белыми краями на западе и востоке. Затем наступит затишье — его продолжительность никто не пытался предсказывать,—и вслед за тем мы увидим ослепительное сверкание падающих звезд. Они могут оказаться какого-нибудь необычайного цвета вследствие неизвестного элемента, о котором свидетельствует зеленый пояс кометы. Некоторое время на нас будет сыпаться дождь падающих звезд. Возможно, писали газеты, что некоторые из них достигнут поверхности Земли и будут исследованы.

Наука утверждала, что больше ничего не произойдет. Вихрь разгонит зеленые облака, и весьма вероятно, что

разразятся грозы. Но сквозь потускневшие клочки кометы проглянет прежнее небо, прежние звезды, и все останется таким же, как и раньше. И так как событие это должно было произойти во вторник между часом ночи и одиннадцатью утра (я ночевал в Монксхемптоне в субботу), то на нашем полушарии оно будет видно только частично, а может быть, и вовсе не будет. Если явление произойдет поздней, то видны будут разве что падающие звезды. Так уверяла наука. И все же это не помешало последним ночам быть самыми великолепными и самыми памятными из всех, какие видело человечество.

Ночи стали очень теплыми. Я безрезультатно пробродил весь следующий день по Шэпхембери. А при восходе невиданно величественного ночного светила безмерно страдал от мысли, что его ореолом увенчана любовь Веррола и Нетти.

Взад и вперед, взад и вперед без устали ходил я по берегу моря, всматриваясь в лица прогуливавшихся пар, сжимая в кармане револьвер, со странной болью в сердце, не имевшей ничего общего с яростью. Наконец все гуляющие разошлись по домам, и я остался наедине с кометой.

Утренний поезд, привезший меня из Уэйверна в Шэпхембери, опоздал на целый час; говорили, что причиной этому была переброска войск навстречу возможному вторжению со стороны Эльбы.

2

Шэпхембери показался мне тогда странным местом. Впрочем, тогда я многое начинал находить странным. Теперь я понимаю, что место было действительно очень странное. Но для меня, непривычного к путешествиям, все казалось чуждым, даже море. До этого я всего два раза в жизни побывал с экскурсиями на побережье Уэльса, где огромные каменистые скалы на фоне гор придают ландшафту совсем иной характер, чем на восточных берегах Англии. Здесь жители называют скалами холмики рассыпчатой беловато-коричневой земли футов в пятьдесят вышиной.

Тотчас же по приезде я начал систематическое обследование Шэпхембери. Живо помню придуманный

мною план розысков и то, как моим расспросам мешало всеобщее стремление говорить только о возможности высадки немцев, прежде чем английский флот дойдет сюда из канала. Ночь с воскресенья на понедельник я провел в небольшом трактире в одном из переулков Шэпхембери. Так как поезда по воскресеньям ходили редко, то я попал в Шэпхембери лишь в два часа пополудни и до понедельника вечером не мог напасть на их след. Когда небольшой местный поезд, обогнув холм, стал приближаться к Шэпхембери, то замелькали огромные доски с рекламами, выставленные на участках, поросших высокой, колеблемой ветерком травой; они перерезали открывшуюся взору морскую даль. Большинство объявлений рекламировало всяческие яства или лекарства, которые следует после них принимать; раскрашены они были в расчете не столько на красоту, сколько на то, чтобы запечатлеться в памяти, резко выделяясь среди мягких тонов пейзажа восточного берега. Большинство этих реклам, игравших весьма важную роль в жизни того времени — только благодаря этим рекламам и могли существовать наши огромные, на много страниц газеты,— восхваляло, как я уже заметил, пищу, напитки, табак и, наконец, лекарства, обещавшие восстановить здоровье, подорванное употреблением вышеперечисленных предметов. Куда бы вы ни пошли, вам всюду напоминали ослепительными буквами, что в конце концов человек лишь немногим лучше червя, этого существа без глаз, без ушей, которое зарывается в землю, живет и не жалуется в своей питательной грязи, что человек, как и червь,— только «питательный канал с прилегающими к нему вспомогательными органами». Кроме того, там мелькали большие черно-белые доски с восхвалениями различных земельных участков под громким названием «поместий».

Индивидуалистическая предприимчивость старого времени привела к тому, что вся земля вокруг приморских городов, за исключением небольших пространств на южном и юго-восточном побережье, была распланирована на будущие улицы, а улицы — на участки и под постройки. Если бы эти планы осуществились, то все население нашего острова можно было бы поселить на морской берег. Но ничего этого, разумеется, не про-

изошло, берега были обезображены лишь в целях спекуляции. Рекламы агентов стояли повсюду, свежие и полинявшие, а плохо проложенные дороги зарастали травой, хотя кое-где на углах уже виднелись дощечки с названиями улиц: «Трафалгар-авеню» или «Морской проспект». То там, то сям какой-нибудь мелкий рантье или лавочник, скопивший небольшую сумму и доверившийся местному агенту, выстроил себе домик, и он стоял, унылый, скверно построенный, на дешевом участке, в неудачном месте, с шатким забором и развевающимся на ветру бельем.

Потом наш поезд пересек шоссе, и по сторонам потянулись ряды жалких кирпичных домиков — жилища рабочих, а также грязные черные сараи, из-за которых «участки» являют такое неприятное зрелище, что указывало на приближение к центру округа, который, по словам местного путеводителя, представлял собой «восхитительнейший уголок Восточной Англии, этого края цветущих маков». Потом снова жалкие дома, мрачная неуклюжесть электрической станции с высокой трубой, потому что полного сгорания угля тогда еще добиваться не умели, и наконец мы достигли железнодорожной станции в трех четвертях мили от центра этого «очага здоровья и развлечений».

Прежде чем начать расспросы, я тщательно осмотрел весь город. В начале дороги от станции к городу стояли ряды дрянных, по-видимому, влачивших нищенское существование, но очень претенциозных лавчонок, потом трактир и извозчичья биржа, затем после небольшого ряда маленьких красных вилл, наполовину скрытых в садиках, поросших кустарником, дорога переходила в главную улицу, слишком пеструю, но довольно красивую, погруженную в воскресный покой. Где-то вдали звонил церковный колокол, и дети в светлых новых платьях шли в воскресную школу. Через площадь, окруженную оштукатуренными домами, где сдавались комнаты — она была как две капли воды похожа на площадь в Клейтоне, только покрасивее и почище,— я дошел до вымощенной асфальтом и обсаженной живой изгородью набережной. Тут я сел на железную скамью, и мне бросился в глаза прежде всего широкий песчаный берег, кое-где покрытый грязью, с предназначенными

для купания будочками на колесах, обклеенными рекламами каких-то пилюль, затем фасады домов, смотревшие прямо на эти пищеварительные советы. Вправо и влево от меня тянулись террасами пансионы, частные отели, дома меблированных комнат; за ними на одной стороне — строящийся дом в лесах, а на другой, за пустырем, над всеми зданиями возвышался громадный красный отель. К северу на низких бледных холмах виднелись белые зубцы палаток, в которых расположились лагерем местные добровольцы уже под ружьем. К югу тянулись песчаные дюны, кое-где поросшие кустарником и группами хилых сосен, и, конечно, там тоже торчали доски реклам. Над этим пейзажем простиралось чистое голубое небо, солнце отбрасывало черные тени, а на востоке белело море. Было воскресенье, публика обедала, на улицах было пусто...

«Странный мир!» — подумал я тогда. Вам теперь он должен казаться просто непостижимым. Затем я стал обдумывать свои дела.

Как начать поиски? Что именно спрашивать?

Я долго думал об этом — сперва не очень настойчиво, ибо я был утомлен,— затем мне пришли в голову удачные мысли.

Разрешил я свою задачу довольно остроумно. Я сочинил следующую историю: мне случилось отдыхать в Шэпхембери, и я воспользовался этой возможностью, чтобы разыскать владелицу дорогого боа из перьев, забытого в отеле моего дяди в Уэйверне молодой дамой, путешествующей с молодым джентльменом — вероятно, это чета новобрачных. В Шэпхембери они должны были приехать в четверг. Я несколько раз повторил себе эту историю и придумал своему дяде и его отелю подходящие названия. Во всяком случае, это должно полностью оправдать все мои расспросы.

Я давно решил все это, но продолжал сидеть: у меня не хватало сил приступить к делу. Затем я направился к большому отелю. Он казался таким роскошным, что, на мой взгляд, это было самое подходящее место для богатого молодого человека из хорошей семьи.

Высокие массивные двери растворил передо мной иронически-вежливый помощник швейцара в великолепной зеленой ливрее. Он выслушал меня, все время поглядывая

на мое платье, и затем с немецким акцентом посоветовал мне обратиться к важному главному швейцару, который передал меня молодому человеку, восседавшему с царственным видом за конторкой, сверкавшей бронзой и полированным деревом, как в банкирской конторе, вернее, в десяти банкирских конторах, вместе взятых. Этот молодой человек, разговаривая, не сводил глаз с моего воротничка и галстука, а я и без того знал, что они ужасны.

— Мне нужно разыскать молодую даму и джентльмена, которые приехали в Шэпхембери в четверг,— сказал я.

— Ваши друзья?—спросил он с ужасающей иронией.

В конце концов выяснилось, что по крайней мере здесь они не останавливались. Быть может, позавтракали, но комнаты не снимали. Я вышел из отеля — дверь мне опять вежливо отворили — и, почувствовав себя оскорбленным и униженным в своем классовом достоинстве, решил в этот день больше никуда не обращаться с расспросами.

Моя решимость явно убывала, как отлив. Кругом было много гуляющей публики, и воскресное изящество их нарядов смущало меня. От смущения я даже забыл о своем намерении. Я чувствовал, что мой карман, вздувшийся от револьвера, бросается в глаза, и мне было неловко. Берегом моря я вышел за город и бросился на землю среди камешков и морских маков. Такое подавленное настроение не проходило до самого вечера. С заходом солнца я пошел на вокзал и стал расспрашивать носильщиков. Но оказалось, что они гораздо лучше помнят багаж, чем публику, а я не имел никакого понятия о том, какой багаж могли иметь с собой молодой Веррол и Нетти.

Затем у меня завязался разговор с очень нахальным стариком с деревянной ногой и серебряным кольцом на пальце, который подметал ступеньки с бульвара к морю. Он многое знал о молодых парах, говоря о них только в общих выражениях, и он ничего не знал о той молодой паре, которую я искал. Он напомнил мне самым неприятным образом о чувственной стороне жизни, и я был очень рад, когда канонерка, появившаяся в открытом море, начала давать сигналы береговой стра-

же и лагерю и оборвала его замечания о праздниках, пляжах и нравственности.

Я пошел дальше — отлив кончился, и я вновь был полон решимости,— сел на скамью на бульваре и стал наблюдать, как краснело поднимающееся облако холодного огня, погасив багряное зарево заката. Моя полуденная усталость проходила, кровь горячее текла в жилах. И когда сумрак и мягкое сияние кометы сменили пыльный солнечный день и отняли у этого чуждого мне места его своеобразную деловитость и бессмысленный практицизм, ко мне вернулся романтический пыл и страсть, и я снова начал думать о чести и отмщении. Я запомнил эту смену настроений, так как я очень ярко ее почувствовал, но думаю, что с меньшей отчетливостью то же самое много раз происходило и раньше. В старое время ночь и свет звезд обладали той задушевной несомненностью, которой лишен был день. День в городах и других населенных местах захватывал человека своей шумной суетой, рассеивал его, сталкивал с другими людьми, настойчиво требовал внимания. Темнота скрывала наиболее острые углы всего этого нагромождения людских нелепостей, и человек мог жить и мечтать.

В ту ночь у меня было странное ощущение близости Нетти и ее любовника, мне все казалось, что я могу внезапно столкнуться с ними. Я уже говорил, что долго бродил по бульварам, всматриваясь в каждую пару. Заснул я наконец в незнакомой спальне, увешанной безвкусно разрисованными цитатами из библии, проклиная себя за напрасно потерянный день.

3

Напрасно искал я их и на следующее утро, но после полудня я напал сразу на несколько следов, правда, очень запутанных. Раньше не находилось ни одной пары, похожей на Веррола и Нетти, теперь я открыл их целых четыре.

Каждая из них могла быть тою, которую я искал, и ни одна не внушала полной уверенности. Все они приехали в среду или в четверг. Две пары еще продолжали занимать свои комнаты, но ни одной не было дома. По-

зднее я сократил свой список, вычеркнув молодого человека в коричнево-сером костюме, с бакенбардами и длинными манжетами, сопутствуемого дамой лет тридцати с хвостиком, ярко выраженной леди. Мне противно было на них смотреть. Другая пара отправилась на далекую прогулку, и хотя я караулил их пансион до тех пор, пока свет волшебного облака не смешался с последними лучами необычайно красивого заката, я их все-таки пропустил. Оказалось, что они сидели в столовой за отдельным столиком, в амбразуре полукруглого окна со свечами под красными абажурами. Оба они то и дело поглядывали на великолепие, которое нельзя было назвать ни днем, ни ночью. Девушка в своем розовом вечернем платье показалась мне воздушной и прелестной—достаточно прелестной, чтобы взбесить меня; ее белые руки и плечи были прекрасной формы, а овал лица, светлые волосы около ушей—все было полно очарования. Но это была не Нетти, а ее счастливый спутник принадлежал к выродившемуся типу, удивительно часто встречавшемуся среди нашей старой аристократии,— блондин без подбородка, с большим острым носом и маленькой головкой, с томным выражением лица и с такой длинной шеей, что для нее нужен был бы целый рукав вместо воротничка. Я стоял под окном в ярком зеленоватом свете кометы, ненавидя и проклиная их за то, что они так надолго задержали меня, но ушел только тогда, когда они заметили меня — черное воплощение зависти, резко выделявшееся в ослепительном свете кометы.

С Шэпхембери было покончено. Теперь вопрос был в том, за которой из двух остающихся пар мне нужно следовать.

Я возвратился на бульвар, обсуждая этот вопрос сам с собой и бормоча при этом себе под нос, ибо в чудесном сиянии ночи было что-то такое, от чего человек словно пьянел и становился легкомысленным.

Одна из двух последних пар уехала в Лондон, а другая в Бунгало, дачный поселок близ Боун-Клиффа. Где же находится этот Боун-Клифф?

На верхней ступени лестницы к морю я нашел знакомого старика с деревяшкой.

— Добрый вечер,— приветствовал я его.

Он указал своей трубкой на море; на пальце блеснуло серебряное кольцо.

— Чудно́,— сказал он.

— Что такое?

— Прожекторы. Дым. Суда идут к северу. Если бы проклятый Млечный Путь не позеленел, можно было бы все разглядеть.

Он был так занят этим, что вначале не обращал внимания на мои вопросы, но наконец удостоил бросить через плечо:

— Знаю ли я Бунгало? Как же, знаю. Художники и тому подобное. Веселое житье! Совместное купание — просто безобразие, да.

— Но где это? — спросил я, вдруг разозлившись.

— Смотрите,— сказал он.— Что там блеснуло? Черт меня побери, если это не пушечный выстрел!

Выстрел был бы слышен прежде, чем суда приблизятся настолько, что видна будет вспышка.

Он не ответил. Пришлось доказывать ему на деле, что, пока не добьюсь своего, я его не оставлю в покое. Я наконец схватил его за плечо и встряхнул, и только тогда он оторвался от фантастической пляски огней на горизонте, выругался и обернулся ко мне.

— Семь миль по этой дороге,— сказал он.— А теперь убирайтесь ко всем чертям.

Я тоже выругался в знак благодарности и пошел в указанном направлении.

У конца бульвара полисмен, смотревший на небо, подтвердил мне указание старика с деревянной ногой.

— Дорога очень пустынна! — крикнул он мне вдогонку...

У меня была странная уверенность, что на этот раз я напал наконец на верный след. Темные массы Шэпхембери остались позади, и я шел в бледном сумраке со спокойствием путешественника, приближающегося к концу пути.

Я не могу припомнить это путешествие последовательно, помню только, что меня одолевала усталость. Море было гладкое и блестело, как зеркало, по его серебристой поверхности пробегала широкая зыбь, которая потом от

легкого бриза рассыпалась рябью. Дорога была то песчаная — нога утопала в серебристо-бесцветном песке,— то усыпанная сверкающим известняком. Сонные песчаные холмы поросли черным кустарником, то густыми группами, то отдельными кустами. Некоторое время я шел по лугу, и на траве неясно виднелись большие овцы, похожие на привидения; потом — по черному сосновому лесу, бросавшему густую тень на дорогу и выславшему на опушку искривленные, малорослые деревья. Вскоре стали попадаться сиротливые чародейки сосны, сурово простиравшие ко мне ветви, когда я проходил мимо. И среди леса, среди теней, молчания и света— вдруг нелепая в своей неуместности реклама строительной компании: «Строим дома на любой вкус».

Помню, что где-то в стороне упорно лаяла собака; помню, что несколько раз я вынимал из кармана и внимательно осматривал свой револьвер. Вероятно, я был полон мыслями о своем намерении, думал о Нетти и мщении, но сейчас я совершенно не помню этих чувств. Вижу только очень ясно зеленый отблеск, пробегавший по металлу револьвера, когда я вертел его в руках.

А надо мной высилось небо, чудесное, сияющее, беззвездное и безлунное, синяя пустая глубина горизонта между морем и кометой. Как-то раз далеко у сверкающего горизонта появились, словно призраки, три длинных черных военных судна без мачт, без парусов, без дыма, без огней, таинственные, темные и смертоносные. Они шли очень быстро, строго держа дистанцию. Когда я снова взглянул на них, они уже казались совсем крошечными и скоро пропали в светлом сумраке.

Один раз как будто сверкнула молния, и я принял это сперва за пушечный выстрел, но потом взглянул на небо и увидел бледный след зеленого огня. Воздух словно задрожал и затрепетал вокруг меня, кровь быстрее побежала по жилам, я словно ожил...

Где-то на моем пути дорога раздвоилась, но не помню, было ли это близ Шэпхембери или в самом конце моего странствия; помню только, что я стоял в нерешительности между двумя почти одинаковыми колеями.

Под конец я очень устал. Груда сваленных, увядших морских водорослей преградила мне путь; следы колес

виднелись в разных направлениях; я сбился с дороги и бродил, спотыкаясь между песчаными грядами, почти у самого моря; я сошел на край смутно блестевшей песчаной отмели; какой-то фосфорический блеск привлек меня к воде. Я наклонился и стал разглядывать искорки света, мелькающие на водной ряби.

Потом я со вздохом выпрямился и стоял, всматриваясь в пустынную тишину этой дивной последней ночи. Метеор провел свою блестящую сеть уже по всему небу и уходил теперь к западу; увеличилось синее пространство на востоке, дальний край моря потемнел. Одна звезда, убежав от великого сияния, выглянула в небе, мерцая и трепеща от своей смелости, и остановилась на границе невидимого.

Как хорошо! Как тихо и хорошо! Мир. Тишина. Непостижимое спокойствие, облаченное в гаснущее сияние...

Душа моя переполнилась, и я вдруг заплакал.

Что-то новое, неведомое текло в моей крови. Я почувствовал, что совсем не хочу убивать.

Я не хотел убивать. Я не хотел больше быть рабом своих страстей. Лучше уйти из жизни, уйти от дневного света, который горячит, будоражит и вызывает желания, уйти в холодную вечную ночь и отдохнуть. Игра окончена. Я проиграл.

Я стоял у края великого океана, мне страстно хотелось молиться, и я жаждал покоя.

Скоро на востоке вновь поднимется красная завеса и изменит все кругом, и снова на месте таинственной неопределенности воцарится серый, жестокий мир четкой несомненности. Сейчас отдых, передышка, но завтра я снова буду Вильямом Ледфордом, полуголодным, плохо одетым, неуклюжим, бесчестным человеком, язвой на лице жизни, источником тревог и горя даже для родной любимой матери. В жизни для меня не осталось никакой надежды, лишь месть перед смертью.

Так зачем она мне, эта жалкая месть? У меня вдруг промелькнула мысль, что можно сейчас же покончить со всем, а тех, других, оставить в покое.

Войти в это манящее море, в этот теплый плеск волн, где соединились вода и свет, остановиться, когда вода дойдет до груди, и вложить в рот дуло револьвера...

А почему бы и нет?

С усилием оторвался я от края воды и в раздумье стал подниматься по берегу...

Потом обернулся и посмотрел на море. Нет. Что-то во мне говорило «нет».

Надо еще подумать.

Идти было трудно: мешал глубокий песок и частый кустарник. Я сел среди черных кустов, опершись подбородком на руку. Револьвер я вынул из кармана, посмотрел на него и оставил в руке. Жизнь? Или смерть?

Мне казалось, что я вопрошаю самую глубину жизни, на самом же деле я незаметно задремал.

4

Двое купающихся в море.

Я проснулся. Все та же дивная белая ночь, и синяя полоса ясного неба не стала шире. Эти люди подошли, должно быть, в тот момент, когда я засыпал, и разбудили меня. Они были по грудь в воде и теперь выходили из нее, возвращаясь на берег. Впереди женщина, с волосами, обвитыми вокруг головы, и следом за ней мужчина; два стройных силуэта, посеребренные сиянием света в струях блестящей зеленой воды и мелких волн. Он плеснул в нее водой, она ответила тем же, вода уже доходила им только до колен, и через мгновение их ноги блеснули на серебристом песке.

На обоих были плотно прилегающие к телу купальные костюмы, не скрывавшие красоты молодых тел.

Она взглянула через плечо, увидела его ближе, чем ожидала, и с легким криком, пронзившим мне сердце, бросилась бежать прямо на меня; как ветер, пронеслась она мимо, мелькнула в черных кустах, он за нею, и оба скрылись за песчаным холмом.

Я слышал, как они кричали и смеялись, задыхаясь от бега...

Вдруг меня охватило бешенство. Я вскочил с поднятыми кулаками, окаменел на мгновение, бессильно грозя далекому небу.

Эта быстроногая купальщица, вся сотканная из света и красоты, была Нетти, и с нею он, ради которого она изменила мне.

Как молния, промелькнула мысль, что я мог здесь умереть, упав духом и не отомстив!

Через мгновение я уже гнался за беспечной, ничего не подозревавшей парой, неслышными шагами, по мягкому песку, с револьвером в руке.

5

Добежав до вершины песчаного холма, я увидел среди дюн дачный поселок, который искал. Где-то хлопнула дверь, беглецы исчезли. Я остановился, всматриваясь.

Невдалеке виднелась группа из трех домиков, они вбежали в один из них, но я не успел разглядеть, в который. Все двери и окна были растворены, и нигде не было видно огня.

Местечко, на которое я наконец наткнулся, возникло из протеста людей с артистическими наклонностями, ведущих бездумную жизнь и ненавидящих тесные рамки дорогих и чопорных приморских курортов той поры. В то время железнодорожные компании обыкновенно продавали вагоны, отслужившие известное число лет, и какой-то изобретательный человек придумал превратить эти вагоны в жилые домики для летнего отдыха. Это вошло в моду у того класса людей, в котором господствует дух богемы; они соединяли два-три вагона, и эти импровизированные жилища, выкрашенные в веселые цвета, с широкими верандами и навесами представляли самый приятный контраст с чопорностью курортов. Без сомнения, в этой бивачной жизни было много неудобств, поэтому такие поселки обыкновенно наполняла жизнерадостная молодежь, переносившая всякие неудобства весело и беспечно. Легкий муслин, банджо, китайские фонарики, спиртовки для стряпни — вот, кажется, отличительные признаки таких поселков. Но для меня это странное убежище искателей удовольствий оставалось загадочным и непонятным, и неясные намеки старика с деревянной ногой не уменьшали, а еще усиливали мое недоумение. Это было всего лишь сборище легкомысленных и праздных людей, но я видел его в самом мрачном свете, как все бедняки, отравленные вечной необходимостью убивать в себе всякую жажду радости. Беднякам, рабочим в замасленной одежде недоступны были чистота и красота, и они, обреченные на жизнь в грязи и мраке, мучимые неосуществимыми желаниями, со жгучей завистью и темными, мучительными подозрениями

глядели на жизнь своих ближних, которым повезло больше. Представьте себе мир, где простые люди считали любовь скотством.

В старом мире в основе половой любви всегда таилось что-то жестокое. Таково по крайней мере мое впечатление, которое я пронес через бездну Великой Перемены. Успех в любви считался ни с чем не сравнимым триумфом, неудача — позором...

Мне не казалось странным, что это дикое представление пронизывало насквозь все мои чувства и в тот момент сплело все эти чувства в один клубок. Я верил — и был прав, мне кажется,— что любовь всех истинно любящих была тогда своего рода вызовом, что, соединяясь в объятиях друг друга, они бросали вызов всему окружающему миру. Люди любили наперекор всему миру, а эти двое любили назло мне. Моя неистовая ревность подстерегала их любовные утехи. Отточенный меч, самый острый на всем свете, таился в их розовом саду.

Верно ли это или нет, но так мне тогда казалось. Я никогда не играл с любовью, я не был легкомысленным влюбленным. Я желал пламенно, я любил страстно. Быть может, поэтому-то я и писал такие неуместные и запутанные любовные письма: шутить такой темой я не мог...

Мысль о сияющей красоте Нетти, о том, как дерзко отдалась она, как легко досталась победителю, доводила меня до бешенства, почти превосходящего мои физические силы, слишком яростного для моего сердца и нервов. Я медленно спустился с песчаного холма к этому странному поселку чувственных радостей. Теперь в моем жалком теле жил могучий дух ненависти. Как карающий меч, я был отточен для страданий, смерти и жгучей ненависти.

6

Я остановился в раздумье.

Начать обходить один домик за другим, пока на мой стук не ответит один из тех двух? А если ответит служанка?

Или ждать и караулить, может быть, до утра? А тем временем...

Во всех ближайших домиках теперь все стихло. Если я подойду потихоньку, то через отворенные ок-

на, может быть, увижу или услышу что-нибудь такое, что наведет на след. Обойти вокруг крадучись или пройти прямо к двери? Сейчас настолько светло, что она узнает меня даже издалека.

Я опасался, что, впутав в свое дело расспросами третьих лиц, я рискую встретиться с изменниками в присутствии этих третьих лиц, и они могут отнять у меня револьвер, схватив за руки. И, кроме того, каким именем они тут назвались?

«Бум!» — Звук медленно дошел до моего сознания и тотчас же повторился.

Я с нетерпением обернулся, как человек, задетый дерзким прохожим, и увидел милях в четырех от берега на серебряной ряби волн большой броненосец, выбрасывавший из трубы красные искры. Когда я обернулся, снова сверкнул огонь орудий, стрелявших в сторону открытого моря, и в ответ над горизонтом тоже замелькали огни и заклубился дымок. Так осталось это в моей памяти; ясно вижу самого себя — я не сводил глаз с моря в состоянии какого-то глупого изумления. Как все это некстати! И что мне за дело до всего этого?

С прерывистым свистом взвилась ракета с мыса за поселком и врезалась жарким золотом в небесное сияние: послышались звуки третьего и четвертого выстрелов.

Окна темных домиков вспыхивали одно за другим квадратами алого света, вначале мигающего, а потом становившегося ровным. Показались темные головы, обращенные к морю, отворилась дверь и выбросила наружу полосу желтого света, сразу же утонувшего в блеске кометы. Это напомнило мне о том, что я должен сделать.

«Бум, бум!»

Когда я опять взглянул на большой броненосец, за его трубой дрожало маленькое пламя, похожее на факел. Слышно было, как работают его машины.

В поселке перекликались голоса. Из ближайшего домика вышел мужчина в белом купальном халате, до смешного напоминавший араба в бурнусе, и остановился, озаренный сиянием, не отбрасывая тени.

Он приставил руку козырьком над глазами, посмотрел на море и крикнул тем, кто был в домике.

Эти люди внутри — это они! Мои пальцы крепче сжали револьвер. Что мне за дело до этой военной бессмыс-

лицы? Я обойду кругом между песчаными дюнами и незаметно подойду к домикам с другой стороны. Морской бой может помочь мне, но в остальном он меня нисколько не интересует. «Бум! Бум!» Гулкие, потрясающие звуки докатились до меня, ударили по сердцу и смолкли. Сейчас Нетти выйдет посмотреть.

Одна, потом еще две закутанные фигуры вышли из домиков и присоединились к мужчине в белом халате. Тот показал рукой на море и звучным тенором стал давать объяснения. Я мог расслышать некоторые слова.

— Это — немецкое судно,— говорил он.— Теперь ему конец.

Кто-то стал возражать, слышались спорящие голоса, но слов я не разобрал. Я медленно пошел в обход, наблюдая за этой группой.

Они вдруг закричали все вместе, да так громко, что я остановился и посмотрел на море. На том месте, куда только что попал заряд, предназначенный для броненосца, взвился высокий фонтан. Второй фонтан взметнулся еще ближе к нам, за ним третий, четвертый, и тут на мысу, откуда взлетела ракета, появилось и медленно рассеялось вихревое облако пыли. Тотчас же вслед за этим раздался оглушительный взрыв, и обладатель тенора подпрыгнул и крикнул:

— Попали!

Да, так что я хотел?.. Разумеется, я должен пройти за домиками и приблизиться сзади.

Высокий женский голос кричал:

— Молодожены, молодожены, выходите же посмотреть!

Что-то слабо блеснуло в тени ближайшего ко мне домика, мужской голос ответил что-то неразборчивое, зато потом я ясно услышал голос Нетти:

— Мы только что купались.

Человек, который вышел первым, закричал:

— Разве вы не слышите пальбу? Идет бой, и совсем близко — милях в пяти от берега.

— Что? — отозвались из домика, и окно отворилось.

— Вон там.

Я не расслышал ответа из-за шороха моих собственных движений. Ясно, что эти люди поглощены морским

сражением и не посмотрят в мою сторону, поэтому я пошел прямо в темноту, туда, где была Нетти и куда влекли меня темные желания моего сердца.

— Смотрите! — закричал кто-то, указывая на небо.

Я взглянул вверх и... что это?.. Все небо было исчерчено яркими зелеными струями; они исходили из одного центра — где-то между западным горизонтом и зенитом. В сияющих облаках вокруг метеора началось странное движение — словно струи текли на запад и обратно на восток с таким треском, как будто по всему небу шла стрельба из призрачных пистолетов. Мне показалось, что сам метеор идет мне на помощь, что со своими бесчисленными пистолетами он спускается, как завеса, чтобы скрыть бессмыслицу, происходящую на море.

«Бум!» — прогремело орудие большого броненосца.

«Бум!» — отвечали преследовавшие его крейсеры.

Вид этих струящихся и пенящихся полос света на небе вызывал головокружение. С минуту я стоял, ослепленный и опьяненный. На минуту мысль моя оторвалась от будничной прозы. А что, если фанатики правы и наступает конец света? Какое торжество для Парлода!

Но тут мне пришло в голову, что все это происходит лишь для того, чтобы способствовать моей мести. Бой на море, небо над головой — все гремит и сверкает, как грозная оболочка моего деяния. Нетти вскрикнула шагах в пятидесяти от меня и снова разбудила во мне ярость. Я вернусь к ней среди этого ужаса, неся неожиданную смерть. Я настигну ее своей пулей среди леденящего страха и громовых раскатов. При этой мысли я вскрикнул — никто этого не слыхал — и пошел прямо на нее, открыто держа в руке револьвер.

Пятьдесят шагов, сорок, тридцать... Маленькая группа людей, все еще не замечающих моего приближения, росла в моих глазах и становилась все значительнее, а небо, стреляющее зеленым огнем, и сражение на море отступали все дальше и дальше. Кто-то выскочил из ближайшего домика с каким-то недоговоренным вопросом и остановился, увидя меня. Это была Нетти в какой-то кокетливой темной накидке, и зеленое сияние освещало ее прелестное лицо и белую шею. Я ясно видел выражение ужаса и отчаяния на ее лице при моем прибли-

жении; она стояла, точно что-то схватило ее за сердце и держало на месте как цель для моих выстрелов.

«Бум!» — раздался выстрел орудий броненосца, точно команда.

«Бэнг!» — вылетела пуля, посланная моей рукой. А ведь я не хотел убивать ее. Клянусь, в эту минуту я не хотел убивать ее.

«Бэнг!» — Я опять выстрелил, продолжая идти, и оба раза, по-видимому, не попал.

Она сделала шаг мне навстречу, продолжая пристально смотреть на меня, но тут кто-то подбежал, и рядом с нею я увидел Веррола.

Потом неизвестно откуда появился тяжеловесный, жирный иностранец в купальном халате, с капюшоном и отгородил их от меня. Он показался мне какой-то нелепой помехой. Лицо его выражало удивление и ужас. Он кинулся мне наперерез с протянутыми руками, словно пытался удержать бегущую лошадь. Он выкрикивал какую-то чепуху — хотел, кажется, уговорить меня, как будто уговоры могли что-нибудь изменить.

— Не вас, болван вы этакий! — крикнул я хрипло.— Не вас!

Но он все-таки заслонял Нетти.

Колоссальным усилием воли я удержался от порыва прострелить его жирное тело. Я помнил, что убивать его не должен. На мгновение я застыл в нерешительности, затем быстро бросился влево и обежал его протянутую руку, но увидел перед собой двух других, нерешительно преграждавших мне дорогу. Я выпустил третью пулю в воздух, прямо над их головами, и побежал на них; они разбежались в разные стороны; я остановился и увидел в двух шагах от себя бежавшего сбоку молодого человека с лисьей физиономией, видимо, намеревавшегося схватить меня. Видя, что я остановился с весьма решительным видом, он сделал шаг назад, втянул голову в плечи и поднял руку для самообороны. Путь был свободен, и впереди я увидел бегущих Веррола и Нетти; он держал ее за руку, чтобы помочь ей.

«Как бы не так!» — сказал я.

Я неудачно выстрелил в четвертый раз и тут в бешенстве от промаха бросился за ними, чтобы догнать и застрелить их в упор.

— Этих еще не хватало! — крикнул я, отмахиваясь от непрошеных защитников...

— Один ярд,— задыхаясь от быстрого бега, говорил я вслух.—Один ярд, и только тогда стрелять, не раньше.

Кто-то гнался за мной, может быть, несколько человек — не знаю, мы вмиг оставили их позади.

Мы бежали. Некоторое время я был весь поглощен однообразием бега и погони. Песок превратился в вихрь зеленого лунного света, воздух — в рокотание грома. Вокруг нас струился блестящий зеленый туман... Но не все ли нам равно? Мы бежали. Догоняю я или отстаю? Весь вопрос в этом. Они проскочили сквозь дыру вдруг вынырнувшей перед нами разрушенной ограды, на миг мелькнули передо мной и повернули вправо. Я заметил, что мы бежали теперь по дороге. Но этот зеленый туман! Казалось, мы прорывались сквозь его толщу. Они исчезали в нем, но я сделал бросок и приблизился к ним на дюжину футов, если не более.

Она пошатнулась. Он крепче вцепился в ее руку и потащил вперед. Потом они бросились влево. Теперь мы бежали уже по траве. Под ногами было мягко. Я споткнулся и упал в канаву, почему-то полную дыма, выскочил из нее, но они уже ушли в вихрящийся туман и смутно виднелись вдали, как привидения...

Я все бежал.

Вперед! Вперед! Я стонал от напряжения. Опять споткнулся и выругался про себя. Где-то сзади во мраке рвались пушечные снаряды.

Они скрылись! Все скрывалось, но я бежал. Потом еще раз споткнулся. Ноги мои путались в чем-то, что-то мешало мне двигаться; высокая трава или вереск, я не мог разглядеть,— всюду только дым, клубившийся у моих колен. Что-то кружилось и звенело в моем мозгу — тщетная попытка удержать темную зеленую завесу, которая все падала, складка за складкой, все падала и падала. Вокруг сгущалась тьма.

Я сделал последнее, отчаянное усилие, поднял револьвер, выпустил наудачу свой предпоследний заряд и упал, уткнувшись головой в землю. И вдруг зеленая завеса стала черной, а земля, и я, и все вокруг перестало существовать.

КНИГА II

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЗ

ГЛАВА I

ПЕРЕМЕНА

1

Казалось, будто я пробудился после освежающего сна. Я очнулся не сразу, а только раскрыл глаза и спокойно продолжал лежать, рассматривая целую полосу необыкновенно ярких красных маков, пламеневших на фоне пылающего неба. Вставала ослепительная утренняя заря, и целый архипелаг окаймленных золотом пурпурных островов плыл по золотисто-зеленому морю. Сами маки, с их бутонами на стеблях, напоминавших лебединые шеи, с их расписными венчиками и прозрачными поднятыми вверх мясистыми околоплодниками, как бы сияли и казались тоже сотканными из света, только более плотного.

Я спокойно, без удивления любовался несколько минут этой картиной, потом заметил мелькавшие среди маков щетинистые золотисто-зеленые колосья зреющего ячменя.

Смутный вопрос о том, где я нахожусь, появился в моем сознании и тут же исчез. Вокруг было тихо.

Вокруг было тихо, как в могиле.

Я чувствовал себя очень легко и наслаждался полным физическим блаженством. Я заметил, что лежу на боку, на помятой траве, среди поля, засеянного выколосившимся ячменем, но заросшего сорняками, и что все это каким-то необъяснимым образом насыщено светом и красотой. Я приподнялся, сел и долго любовался нежным

маленьким вьюнком, обвившимся вокруг стеблей ячменя, и курослепом, стлавшимся по земле.

Снова выплыл вопрос: что это за место и как я здесь уснул?

Но я не мог ничего припомнить.

Меня смущало, что мое тело было как бы не моим. Каким-то непонятным образом все казалось мне чуждым: и мое тело, и ячмень, и прекрасные маки, и медленно, все шире разливающийся блеск зари там, позади меня,— все это было мне незнакомо. Я чувствовал себя так, как будто я был частицею ярко раскрашенного окна и заря пробивалась сквозь меня. Я чувствовал себя частью прелестной картины, полной света и радости.

Легкий ветерок прошелестел, наклоняя колосья ячменя и навевая новые вопросы.

Кто я? С этого следовало начать.

Я вытянул левую руку, грубую руку, с обшмыганным рукавом, но я воспринимал ее словно не настоящую, а написанную Боттичелли руку какого-нибудь нищего. Я несколько минут внимательно смотрел на красивую перламутровую запонку манжеты.

Мне припомнился Вилли Ледфорд, которому принадлежала эта рука, как будто этот Вилли был вовсе не я.

Кончено! Мое прошлое — в общих туманных чертах — стало воскресать в памяти яркими неуловимыми обрывками, словно предметы, рассматриваемые в микроскоп. Мне вспомнились Клейтон и Суотингли: узкие темные улицы, как на гравюрах Дюрера, миниатюрные и привлекательные своими мрачными красками,— по ним я шел к своей судьбе. Я сидел, сложив руки на коленях, и припоминал мое странное бешенство, завершившееся бессильным выстрелом в сгущавшийся мрак конца. Воспоминание об этом выстреле заставило меня содрогнуться.

Это было так нелепо, что я невольно улыбнулся со снисходительным сожалением.

Бедное, ничтожное, злое и несчастное существо! Бедный, ничтожный, злой и несчастный мир!

Я вздохнул от жалости не только к себе, но и ко всем пылким сердцам, истерзавшимся умам, к людям, полным надежд и боли, обретшим наконец покой под удушливой мглой кометы. С тем старым миром покончено, он не существует более. Они все были так слабы и несчаст-

ны, а я теперь чувствовал себя таким сильным и бодрым. Я был вполне уверен, что умер; ни одно живое существо не могло бы обладать такой совершенной уверенностью в добре, таким всеобъемлющим чувством душевного покоя.

Кончена для меня та лихорадка, которая называется жизнью. Я умер, и это хорошо, но... поле?

Я почувствовал какое-то противоречие.

Значит, это райская нива, засеянная ячменем? Мирная и тихая райская нива ячменя с неувядающими маками, семена которых даруют мир.

2

Конечно, странно было обнаружить ячменные поля в раю, но это, вероятно, еще не самое удивительное, что мне предстоит увидеть.

Какая тишина! Какой покой! Непостижимый покой! Он настал для меня наконец. Как все тихо: ни одна птица не поет. Должно быть, я один в целом мире. Не слышно птиц, замолкли и все другие звуки жизни: мычание стад, лай собак...

Что-то похожее на страх закралось мне в душу. Все вокруг прекрасно, но я одинок! Я встал и ощутил горячий привет восходящего солнца, казалось, стремившегося навстречу мне с радостными объятиями поверх колосьев ячменя...

Ослепленный его лучами, я сделал шаг. Нога моя ударилась о что-то твердое, я нагнулся и увидел мой револьвер, синевато-черный, как мертвая змея.

На мгновение это меня озадачило.

Но я тотчас совершенно забыл о нем. Меня захватила эта сверхъестественная тишина. Восходит солнце, и ни одна птица не поет.

Как прекрасен был мир! Прекрасен, но безмолвен! По ячменному полю направился я к старым кустам крушины и терновника, окаймлявшим поле. Проходя, я заметил среди стеблей мертвую, как мне показалось, землеройку, а затем неподвижно лежавшую жабу. Удивляясь тому, что жаба при моем приближении не отпрыгнула в сторону, я остановился и взял ее в руки. Тело ее было мягкое, живое, но она не сопротив-

лялась; глаза заволокла пелена, и она не двигалась в моей руке.

Долго стоял я, держа это маленькое безжизненное существо в своей руке. Затем очень осторожно наклонился и положил ее на землю. Я весь дрожал от какого-то ощущения, не поддающегося описанию. Теперь я стал внимательно разглядывать землю между стеблями ячменя и всюду замечал жучков, мух и других маленьких существ, но все они не двигались, а лежали в том положении, в каком упали, когда их обдало газом; они казались не живыми, а нарисованными. Некоторые из них мне были совсем неизвестны. Вообще я очень плохо знал природу.

— Господи! — воскликнул я.— Неужели же только я один?

Я шагнул дальше, и что-то резко пискнуло. Я поглядел по сторонам, но ничего не увидел, а только заметил легкое движение между стеблями и услышал удаляющийся шорох крыльев какого-то невидимого существа. При этом я снова взглянул на жабу — она уже смотрела и двигалась. И вскоре нетвердыми и неуверенными движениями она расправила лапки и поползла прочь от меня.

Меня охватило удивление, эта кроткая сестра испуга. Впереди я увидал коричнево-красную бабочку, сидевшую на васильке. Вначале я подумал, что ее шевелит ветер, но затем заметил,— крылышки ее трепещут. Пока я смотрел на нее, она ожила, расправила крылья и вспорхнула с цветка.

Я следил за ее извилистым полетом, пока она не исчезла. И так жизнь возвращалась ко всем существам вокруг меня, возвращалась медленно, напряженно — все начинало пробуждаться, расправлять крылья и члены, щебетать и шевелиться.

Я шел медленно и осторожно, боясь наступить на какое-либо из этих оглушенных, с трудом пробуждающихся к жизни существ. Изгородь поля зачаровала меня. Она текла и переплеталась, как великолепная музыка: тут было много волчьих бобов, жимолости, пузырника и мохнатого горошка; подмаренник, хмель и дикий ломонос обвивали ее и свешивались с ветвей; вдоль канавы ромашки высовывали свои детские личики то рядами, то целыми букетами. В жизни я не видел такой симфо-

нии цветов, ветвей и листьев. И вдруг в глубине изгороди я услышал щебетание и шорох крыльев пробудившихся птиц.

Ничто не умерло, но все изменилось, все стало прекрасным. Я долго стоял и ясными, счастливыми глазами смотрел на сложную красоту, расстилавшуюся передо мной, удивляясь, как богат земной мир...

Жаворонок нарушил тишину переливчатой трелью; один, потом другой; невидимые в воздухе, они ткали из этой синей тишины золотой покров.

Земля точно создавалась вновь — только повторяя такие слова, могу я надеяться дать хоть какое-нибудь понятие о необычайной свежести этого зарождающегося дня. Я был так захвачен изумительными проявлениями жизни, так отрешился от своего прошлого, полного зависти, ревности, страстей, жгучей тоски и нетерпения, точно я был первым человеком в этом новом мире. Я мог бы необычайно подробно рассказать, как у меня на глазах раскрывались цветы, рассказать об усиках вьющихся растений и былинках трав, о лазоревке, которую я бережно поднял с земли,— прежде я никогда не замечал нежности ее оперения,— о том, как она раскрыла свои большие черные глаза, посмотрела на меня, бесстрашно усевшись на моем пальце, не торопясь, распустила крылья и улетела; я мог бы рассказать о массе головастиков, кишевших в канаве; они, как и все существа, живущие под водой, не изменились под влиянием Перемены. Так я провел первые незабвенные минуты после пробуждения, совершенно забыв в восторженном созерцании каждой мелочи все великое чудо, происшедшее с нами.

Между живой изгородью и ячменным полем вилась тропинка, и я, довольный и счастливый, неторопливо пошел по ней, любуясь окружающим, делая шаг, останавливаясь и делая еще шаг, пока не добрался до деревянного забора; отсюда вела вниз лесенка, а там, внизу, шла густо заросшая по краям дорога.

На старых дубовых досках забора красовался размалеванный круг с надписью: «Свинделс. Пилюли».

Я уселся на ступеньку, пытаясь понять значение этой надписи. Но она приводила меня в еще большее недоумение, чем револьвер и мои грязные рукава.

Вокруг меня пели птицы, и хор их все увеличивался.

Я читал и перечитывал надпись и наконец связал ее с тем, что на мне все еще моя прежняя одежда и что там, у моих ног, валялся револьвер. И вдруг истина предстала предо мной во всей ее наготе. Это не новая планета, не новая, *блаженная жизнь*, как я предположил. Эта прекрасная страна чудес — все та же Земля, все тот же старый мир моей ярости и смерти. Но все это походило на встречу со знакомой замарашкой, умытой, разодетой, превратившейся в красавицу, достойную любви и поклонения...

Возможно, что это тот же старый мир, но во всем какая-то перемена, все дышит счастьем и здоровьем. Возможно, что это тот же старый мир, но с затхлостью и жестокостью прежней жизни навсегда покончено — в этом я, во всяком случае, не сомневался.

Мне припомнились последние события моей прежней жизни: яростная, напряженная погоня — и затем мрак, вихрь зеленых испарений и конец всего. Комета столкнулась с Землей и все уничтожила—в этом я был вполне уверен.

Но потом?..

А теперь?

И мне вдруг живо представилось все, во что я верил в детстве. Тогда я был твердо убежден, что неминуемо наступит конец света — раздастся трубный глас, страх и ужас охватят людей, и с небес сойдет судия, и будет воскресение и Страшный суд. И теперь мое воспаленное воображение подсказывало мне, что день этот, должно быть, уже наступил и прошел. Он прошел и каким-то непонятным образом обошел меня.

Я только один остался в живых в этом мире, где все сметено и обновлено (за исключением, конечно, этой рекламы Свинделса), может быть, для того, чтобы начать снова...

Свинделсы, без сомнения, получили по заслугам...

Некоторое время я думал о Свинделсе и о бессмысленной назойливости этого сгинувшего навеки создания, торговавшего ерундой и наводнившего всю страну своими лживыми рекламами, чтобы добиться — чего же? — чтобы завести себе нелепый, безобразный огромный дом, действующий на нервы автомобиль, дерзких и льстивых

слуг и, быть может, при помощи низких уловок и ухищрений добиться звания баронета как венца всей своей жизни. Вы не можете себе вообразить всю мелочность и всю ничтожность прошлой жизни с ее наивными и неожиданными нелепостями. И вот теперь я в первый раз думал об этом без горечи. Раньше все это казалось мне подлым и трагичным, теперь же я видел во всем только бессмыслицу. Смехотворность человеческого богатства и знатности открылась мне во всем блеске новизны и озарила меня, словно восходящее солнце, и я захлебнулся смехом. Свинделс, проклятый Свинделс! Мое представление о Страшном суде вдруг превратилось в забавную карикатуру: я увидел ангела — лик его закрыт, но он посмеивается — и огромного, толстого Свинделса, которого выставляют напоказ под хохот небесных сфер.

— Вот премилая вещица, очень, очень милая! Что с ней делать?

И вот у меня на глазах из огромного, толстого тела вытягивают душу, словно улитку из раковины.

Я долго и громко смеялся. Но вдруг величие всего совершившегося сразило меня, и я зарыдал, зарыдал отчаянно, и слезы потекли у меня по лицу.

3

Пробуждение начиналось всюду с восходом солнца. Мы пробуждались к радости утра; мы шли, ослепленные радостным светом. И повсюду одно и то же. Было непрерывное утро. Было утро, потому что до тех пор, пока прямые лучи солнца не пронзили атмосферу, изменившийся азот ее не возвращался в свое обычное состояние, и все уснувшее лежало там, где упало. В своем переходном виде воздух был инертен, не способен произвести ни оживления, ни оцепенения; он уже не был зеленым, но не превратился еще в тот газ, который теперь живет в нас...

Мне думается, каждый испытал то же, что я старался описать,— чувство удивления и ощущение радостной новизны. Это часто сопровождалось путаницей в мыслях и глубокой растерянностью. Я ясно помню, как сидел на ступеньке и никак не мог понять, кто же я такой; я задавал себе самые странные метафизиче-

ские вопросы. «Я ли это? — спрашивал я себя.— И если это действительно я, то почему я не продолжаю яростно разыскивать Нетти? Теперь Нетти и все мои страдания кажутся мне очень далекими и чуждыми. Как мог я так внезапно исцелиться от этой страсти? Почему мой пульс не бьется сильнее при мысли о Верроле?»

Я был всего лишь одним из миллионов людей, переживших в то утро те же сомнения. Мне кажется, что человек после сна или обморока твердо знает, кто он, по привычным ощущениям своего тела, а в то утро все наши обычные телесные ощущения изменились. Изменились и самые существенные химические жизненные процессы и соответствующие нервные реакции. Сбивчивые, изменчивые, неопределенные и отуманенные страстями мысли и чувства прошлого заменились прочными, устойчивыми, здоровыми процессами. Осязание, зрение, слух— все изменилось, все чувства стали тоньше и острее. Если бы наше мышление не стало более устойчивым и емким, то мне кажется, множество людей сошло бы с ума. Только благодаря этому мы смогли понять то, что случилось. Господствующим ощущением, характерным для происшедшей Перемены, было чувство огромного облегчения и необычайной восторженности всего нашего существа. Очень живо ощущалось, что голова легка и ясна, а перемена в телесных ощущениях, вместо того чтобы вызывать помрачение мысли и растерянность — обычные проявления умственного расстройства в прежнее время,— теперь порождала только отрешение от преувеличенных страстей и путаной личной жизни.

В рассказе о моей горькой, стесненной юности я постоянно старался дать вам понять всю ограниченность, напряженность, беспорядочность пыльной и затхлой атмосферы старого мира. Не прошло часа после пробуждения, как мне стало вполне ясно, что каким-то таинственным способом все это навсегда миновало. То же почувствовали и все вокруг. Люди вставали, глубоко, полной грудью вдыхали струю обновленного воздуха, и прошлое отпадало от них; они легко прощали, не принимали ничего близко к сердцу, могли начать все снова...

И тут не было ничего необычного, не было чуда, изменившего весь прежний строй мира, а была лишь перемена материальных условий, перемена атмосферы,

которая мгновенно освободила людей. Иных она освободила и от жизни... В сущности же, человек нисколько не изменился. Мы все, и даже самые жалкие из нас, знали еще до Перемены по счастливейшим мгновениям, пережитым и нами и другими людьми, знали из знакомства с историей, музыкой и другими прекрасными вещами, из легенд и рассказов о героях и о славных подвигах, как высоко может подняться человечество, как величествен может быть почти каждый человек при благоприятных условиях; воздух был отравлен, беден всеми благородными элементами, и это делало такие моменты редкими и замечательными, но теперь все это изменилось. Изменился воздух, и Дух Человеческий, дремавший, оцепеневший и грезивший лишь о темных и злых делах, теперь пробудился и удивленными, ясными глазами снова смотрел на жизнь.

4

Чудо пробуждения я встретил в одиночестве, сначала смехом, а потом слезами. Только спустя некоторое время я встретил другого человека. Пока я не услыхал его голоса, мне и в голову не приходило, что в этом мире есть и другие люди. Мне казалось, что все исчезло вместе с былыми бедствиями. Я выбрался из той пропасти, в которой себялюбиво и трусливо прозябал, и сердцем слился со всем человечеством; мне даже казалось, что я и есть все человечество. Я смеялся над Свинделсом, как смеялся бы над самим собою, и крик человека показался мне всего лишь неожиданной мыслью, промелькнувшей у меня в голове. Но когда крик повторился, я откликнулся.

— Я ушибся,— проговорил незнакомый голос.

Я тотчас же спустился на дорогу и увидел Мелмаунта, сидевшего у канавы спиной ко мне.

Некоторые случайные впечатления этого утра очень глубоко врезались в мою память, и я уверен, что, когда я увижу великие тайны потустороннего мира, а этот мир испарится из моей памяти, точно утренний туман под солнцем, эти ничтожные мелочи забудутся последними; они будут последними клочьями тающей туманной пелены. Я мог бы и теперь подобрать мех в цвет воротника его пальто для автомобильной езды, мог бы

изобразить красками бледный румянец его толстой щеки и светлые ресницы, освещенные солнцем. Шляпы на нем не было, и его большая голова с выпуклым лбом и мягкими светло-рыжими волосами была наклонена вперед, так как он внимательно рассматривал свою вывернутую ногу. Его спина казалась громадной, и во всей его массивной фигуре было что-то привлекательное.

— Что с вами? — спросил я.

— Послушайте,— ответил он звучным, ясным голосом, стараясь обернуться, чтобы посмотреть на меня, и я увидел профиль с правильным носом и чувственной толстой губой, хорошо известный карикатуристам всего мира.— Я говорю, плохо мое дело. Я упал и вывихнул ногу. Где вы?

Я обошел его кругом и остановился перед ним. Он снял с ноги ботинок, носок и подвязку, кожаные шоферские перчатки валялись в стороне, и он своими толстыми пальцами ощупывал больное место, чтобы определить повреждение.

— Да ведь вы Мелмаунт! — воскликнул я.

— Мелмаунт,— повторил он задумчиво.— Да, меня так зовут,— продолжал он, не поднимая головы.— Но это не имеет никакого отношения к моей ноге.

Несколько секунд мы молчали, и он только слегка стонал от боли.

— Знаете ли вы, что случилось в мире? — спросил я.

Он, по-видимому, закончил свой осмотр и сказал:

— Она не сломана.

— Знаете ли вы,— повторил я,— что случилось с Землей?

— Нет,— ответил он, в первый раз равнодушно взглянув на меня.

— Разве вы ничего не замечаете?

— Да, правда...

Он улыбнулся, и улыбка его была неожиданно очень приятной; в глазах мелькнул интерес.

— Я был слишком занят моими внутренними ощущениями, но теперь вижу необычайный блеск всего окружающего. Вы это имели в виду?

— Да, отчасти это. И какое-то странное ощущение, ясность ума...

Он задумчиво смотрел на меня.

— Я очнулся,— сказал он, припоминая.

— И я...

— Я заблудился — не помню каким образом. Был какой-то зеленый туман...

Он уставился на свою ногу, стараясь вспомнить.

— Что-то связанное с кометой. Я был у изгороди в темноте... пытался бежать... и потом, вероятно, упал в канаву. Вон там,— указал он кивком головы,— лежит сломанная деревянная изгородь, я, вероятно, споткнулся о нее, когда бежал по полю.

Он посмотрел туда и добавил:

— Да...

— Было темно,— заметил я,— и откуда-то появился зеленый туман или газ. Это последнее, что я помню...

— И потом вы очнулись? Я тоже... с необычайным удивлением. В воздухе, несомненно, есть что-то странное. Я... Я мчался по дороге на автомобиле, был очень возбужден и занят своими мыслями. Я доехал.— Он с торжеством поднял палец.— Да, вспомнил! Броненосцы... Теперь я вспомнил. Мы растянули наш флот отсюда до Текселя. Мы прорвались через них и через минированную Эльбу. Мы потеряли «Лорда Уордена», черт возьми! Да, «Лорд Уорден!» Линейный корабль, стоивший два миллиона фунтов стерлингов,— и этот дурак Ригби говорил еще, что это пустяки. Погибли тысяча сто человек... Да, теперь я припоминаю. Мы точно с неводом прошли Северное море, а североатлантический флот караулил их у Фарерских островов, и ни на одном судне не было запаса угля даже на трое суток. Был ли это сон? Я говорил все это множеству собравшихся людей, стараясь успокоить их,— может быть, это был митинг? Они были настроены воинственно, но очень напуганы. Странный народ! Большинство из них были пузаты и лысы, как гномы. Где это было? Ах да, конечно. Был большой обед... устрицы... в Колчестере. Я там был, чтобы доказать, что весь этот страх перед вторжением — чистейшая чепуха... И я ехал обратно... Но все это, кажется, было так давно... Нет, по-видимому, недавно. Конечно, совсем недавно... Я сошел с автомобиля у подъема, хотел пройти по тропинке через холм,— все говорили, что за одним из их линейных кораблей гнались вдоль берега. Да, несомненно. Я слышал их пушки...

Он задумался.

— Странно, что я мог забыть. А вы слышали выстрелы?

Я ответил, что слышал.

— И это было прошлой ночью?

— Да, прошлой ночью. В час или два утра.

Он склонил голову на руку и посмотрел на меня с искренней улыбкой.

— Как все странно,— сказал он.— Все кажется каким-то нелепым сном. Как вы думаете: было такое судно «Лорд Уорден»? Вы действительно верите тому, что мы пустили эту железную громаду на дно ради забавы? Ведь это был сон. А между тем это в самом деле произошло.

С точки зрения прежнего времени было просто невероятно, что я так свободно беседовал с таким важным человеком.

— Да,— ответил я,— это так. Чувствуешь, что очнулся от чего-то большего, чем зеленый газ. Кажется, будто прошлое нам только почудилось.

Он нахмурил брови и задумчиво потрогал ногу.

— Я говорил речь в Колчестере,— сказал он.

Я думал, что он расскажет об этом еще что-нибудь, но у него еще не исчезла привычка к сдержанности, и он промолчал.

— Очень странно,— заговорил он потом,— эта боль скорей интересна, чем неприятна.

— Вы чувствуете боль?

— Да, болит лодыжка. Она или сломана, или вывихнута. Я думаю, что вывихнута. Очень больно ею двигать, но сам я нисколько не страдаю. Нет ни малейшего признака общего недомогания, обычного при местном повреждении...

Он снова задумался, потом продолжал:

— Я говорил речь в Колчестере, она была о войне. Теперь я начинаю припоминать. Репортеры записывали, записывали... Макс Сутен, 1885. Шум, гам. Комплименты по поводу устриц. Гм... О чем я говорил? О войне? Да, о войне, которая неизбежно будет долгой и кровопролитной, возьмет дань с замков и хижин, потребует жертв!.. Фразы! Риторика!.. Уж не был ли я пьян прошлой ночью?

Он снова нахмурил брови, согнул правое колено, оперся на него локтем и подпер подбородок рукой. Его серые, глубоко сидевшие глаза из-под густых, нависших бровей, казалось, вглядывались во что-то, видимое только ему самому.

— Боже мой! — прошептал он.— Боже мой!

И в голосе его слышалось отвращение. Его крупная неподвижная фигура, освещаемая солнцем, оставляла впечатление величия, и не только физического; я почувствовал, что нельзя сейчас мешать ему думать. Прежде мне не приходилось встречать подобных людей; я даже не знал, что такие люди существуют...

Странно, что теперь я не могу припомнить моих прежних представлений о государственных деятелях, но я вряд ли вообще думал о них как о реальных людях с более или менее сложной духовной жизнью. Мне кажется, что мое понятие о них слагалось очень примитивно — из сочетания карикатур с передовыми статьями газет. Конечно, я не питал к ним никакого уважения. А тут без всякого раболепия или неискренности, словно это был первый дар Перемены, я очутился перед человеком, по отношению к которому чувствовал себя низшим и подчиненным, и стоял перед ним, повторяю, без раболепия и неискренности, и говорил с ним с почтительным уважением. Мой жгучий и закоренелый эгоизм — или, быть может, мое положение в жизни? — никогда не позволил бы мне раньше вести себя так.

Он очнулся от задумчивости и, все еще недоумевая, сказал:

— Эта моя речь прошлой ночью была отвратительной, вредной чепухой. Ничто не может этого изменить. Ничто... Да... Маленькие жирные гномы во фраках, глотающие устриц. Пфуй!

Естественным последствием чуда этого утра было то, что он говорил со мной просто и откровенно, и это ничуть не уменьшало моего уважения к нему. И это тоже было естественным для этого необыкновенного утра.

— Да,— сказал он,— вы правы. Все это, бесспорно, было, а между тем мне не верится, чтобы это было наяву.

5

Воспоминания этого утра необычайно ярко выделяются на фоне мрачного прошлого мира. Я помню, что воздух полон был щебета и пения птиц. У меня осталось странное впечатление, будто к этому присоединился отдаленный радостный звон колоколов, но, вероятно, этого не было. Тем не менее в острой свежести явлений, в росистой новизне ощущений было что-то такое, что оставило впечатление ликующего перезвона. И этот толстый, светловолосый, задумчивый человек, сидящий на земле, был тоже по-своему прекрасен даже в неуклюжей позе, словно его и в самом деле создал великий мастер силы и настроения.

И (такие вещи очень трудно объяснить) со мною, с человеком, ему совершенно незнакомым, он говорил вполне откровенно, без опасений, так, как теперь люди говорят между собой. Прежде мы не только плохо думали, но по близорукости, мелочности, из страха уронить собственное достоинство, по привычке к повиновению, осмотрительности и по множеству других соображений, рожденных душевным ничтожеством, мы приглушали и затемняли наши мысли прежде, чем высказать их другим людям.

— Я начинаю припоминать,— заметил он и, как бы раздумывая вслух, высказал мне все, что вспомнил.

Жаль, что я не могу в точности воспроизвести каждое его слово; он целым рядом образов, набросанных отрывистыми мазками, поразил мой ум, только начинавший мыслить. Если бы я сохранил точное и полное воспоминание о том утре, я буквально и тщательно все передал бы вам. Но за исключением некоторых отчетливых подробностей у меня сохранилось только смутное общее впечатление. Мне приходится с трудом восстанавливать в памяти полузабытые слова и изречения и довольствоваться только передачей их смысла. Но мне кажется, будто и теперь я вижу его и слышу, как он говорит:

— Под конец сон этот стал невыносимым. Война так ужасна! Да, ужасна. Какой-то кошмар душил нас всех, и никто не мог избежать его.

Теперь он уже совсем отбросил свою сдержанность.

Он показал мне войну такою, какой каждый видит ее теперь. Но в то утро это казалось удивительным. Он

сидел на земле, совершенно забыв о своей голой распухшей ноге, относясь ко мне, как к случайному собеседнику и в то же время как к равному, и высказывал как бы самому себе то, что его особенно мучило.

— Мы могли бы предупредить эту войну. Любой из нас, пожелавший высказаться откровенно, мог бы предупредить ее. Нужно было только немного откровенности. Но что мешало нам быть откровенным друг с другом? Их император? Конечно, его положение основывалось на нелепейшем честолюбии, но, в сущности, он был человек благоразумный.— Он несколькими четкими фразами охарактеризовал германского императора, германскую прессу, германцев и англичан. Он говорил об этом так, как мы могли бы это сделать теперь, но с некоторой горячностью, как человек, сам в этом виновный и теперь раскаивающийся.

— Их проклятые ничтожные профессора, застегнутые на все пуговицы! — воскликнул он.— Ну, возможны ли такие люди? А наши? Некоторые из нас тоже могли бы действовать решительнее... Если бы многие из нас твердо стояли на своем и вовремя предотвратили эту нелепость...

Он продолжал невнятно шептать что-то, затем смолк...

Я стоял, не спуская с него глаз, понимая его, и поучался. Я до такой степени забыл о Нетти и Верроле, что почти все это утро они казались мне действующими лицами какой-то повести, которую ради беседы с этим человеком я отложил в сторону, чтобы дочитать ее потом, на досуге.

— Ну, что ж,— сказал он, внезапно очнувшись от своих мыслей.—Мы пробудились. Теперь всему этому необходимо положить конец. Каким образом все началось? Дорогой мой мальчик, как случилось, что все это началось? Я чувствую себя новым Адамом... Как вы думаете, со всеми ли происходит то же самое, или мы снова встретим тех же гномов и те же дела?.. Но будь, что будет!

Он попытался было встать, но вспомнил о больной ноге и попросил меня помочь ему добраться до его домика. Нам обоим ничуть не показалось странным, что он попросил моей помощи и что я охотно оказал ее ему. Я помог ему забинтовать лодыжку, и мы пусти-

лись в путь, причем я служил ему костылем. Направляясь к утесам и морю, мы оба напоминали некое хромое четвероногое, ковылявшее по извилистой тропинке.

6

От дороги до его домика, за изгибом залива, было около мили с четвертью. Мы спустились к морскому берегу и вдоль белых, сглаженных волнами песков, качаясь и прыгая на трех ногах, подвигались вперед, пока я наконец не изнемогал под его тяжестью, тогда мы садились отдохнуть. Его лодыжка была действительно сломана, и при малейшей попытке стать на эту ногу он испытывал страшную боль, так что нам потребовалось около двух часов, чтобы добраться до его дома, да и то только потому, что на помощь к нам явился его слуга, иначе мы шли бы еще долго. Слуги нашли автомобиль и шофера искалеченными у поворота дороги, близ дома, и искали Мелмаунта в той же стороне, а не то они увидели бы нас раньше.

По пути мы большею частью сидели то на траве, то на меловых глыбах или на поваленных деревьях и разговаривали с откровенностью, свойственной доброжелательным людям, беседующим без всяких задних мыслей и без враждебности, с обычной теперь свободой, которая в то время была большой редкостью. Больше говорил он, но по поводу какого-то вопроса я рассказал ему, насколько мог подробно, о своей страсти, которую к этому времени перестал понимать, о погоне за Нетти и ее возлюбленным, о намерении убить их и о том, как меня настиг зеленый газ.

Он смотрел на меня своими строгими, серьезными глазами, кивал головою в знак того, что понимает меня, а потом задавал мне краткие, но меткие вопросы о моем образовании, воспитании и о моих занятиях. Его манера говорить отличалась одной особенностью: он иногда делал краткие паузы, которые, однако, не затягивали его речи.

— Да,— заметил он,— да, конечно. Какой же я был глупец.

И больше он ничего не говорил, пока мы прыгали на трех ногах по берегу до следующей остановки. Вначале

я не понимал, какая связь может быть между моим рассказом и его самообвинением.

— Предположите,— сказал он, тяжело дыша и усаживаясь на сваленное дерево,— что нашелся бы государственный деятель...— Он обернулся ко мне.— И он решил бы положить конец всей этой мути и грязи. Если бы он, подобно тому, как ваятель берет свою глину, как зодчий выбирает место и камень, взял и сделал бы...— Он вскинул свою большую руку к чудесному небу и морю и, глубоко вздохнув, прибавил:

— Нечто достойное такой рамы.

И затем пояснил:

— Тогда, знаете ли, совсем не случалось бы таких историй, как ваша...

— Расскажите мне об этом еще,— сказал он потом.— Расскажите о себе. Я чувствую, что все это миновало, что все теперь навсегда изменилось... Отныне вы не будете тем, чем были до сих пор. И все, что вы делали до сих пор, теперь не имеет никакого значения. Для нас, во всяком случае, не имеет. Мы встретились с вами — мы, разделенные в том мраке, который остался там, позади нас. Рассказывайте же.

И я рассказал ему всю мою историю так же просто и откровенно, как передал ее вам.

— Вон там,— сказал он,— где эти утесы спускаются к морю, по ту сторону мыса находится поселок Бунгало. А что вы сделали с вашим револьвером?

— Я оставил его там, в ячмене.

Он взглянул на меня из-под светлых ресниц.

— Если и другие люди чувствуют то же, что и мы с вами,—заметил он,—то сегодня много револьверов будет валяться в ячмене...

Так беседовали мы — я и этот большой, сильный человек,— с братской любовью и откровенностью. Мы всей душой доверяли друг другу, а ведь раньше я всегда держался скрытно и недоверчиво со всеми. Я и теперь ясно вижу, как на этом диком, пустынном морском берегу, который весь уходил под воду во время прилива, стоит он, прислонившись к обросшему раковинами обломку корабля, и смотрит на утонувшего беднягу матроса, на которого мы наткнулись. Да, мы нашли труп недавно уто-

нувшего человека, не встретившего ту великую зарю, которой мы наслаждались. Мы нашли его лежащим в воде, среди темных водорослей, в тени обломков. Вы не должны преувеличивать ужасы прежнего мира: смерть была тогда в Англии таким же тяжелым зрелищем, как теперь. Это был матрос с «Ротер Адлера», с того самого германского линейного корабля — мы тогда не знали об этом,— который менее чем в четырех милях от нас лежал у берега, среди известняка и ила, представляя собою разбитую и исковерканную массу машин, залитую во время прилива и хранившую в своих недрах девятьсот утонувших матросов, и все они были людьми сильными и ловкими, способными хорошо работать и приносить пользу...

Я очень ясно помню этого бедного матросика. Он утонул, потеряв сознание от зеленого газа; его красивое молодое лицо было спокойно, но кожа на груди обожжена кипевшей водой, а правая рука, видимо, сломанная, искривлена под странным углом. Даже эта бесполезная, ненужная смерть при всей ее жестокости дышала красотой и величием. Все мы вместе сливались в этот момент в многозначительную картину: и я, простой пролетарий, одетый в скверное платье, и Мелмаунт в своем широком пальто, отороченном мехом,— ему было жарко, но он так и не догадался снять пальто; прислонившись к обломкам, он с жалостью глядел на несчастную жертву той войны, возникновению которой он так содействовал.

— Бедняга,— сказал он.— Бедный ребенок, которого мы, путаники, послали на смерть! Посмотрите, как величаво и красиво это лицо и это тело! Подумать только, так бесполезно погибнуть!

Я помню, выброшенная на берег морская звезда, стараясь пробраться обратно к морю, медленно проползла вдоль руки мертвеца, осторожно нащупывая дорогу своими «лучами»; за ней на песке оставалась неглубокая борозда.

— Этого больше не должно быть,— задыхаясь, говорил Мелмаунт, опираясь на мое плечо,— не должно быть.

Но больше всего мне вспоминается Мелмаунт в ту минуту, когда он сидел на известковой глыбе и солнце освещало его широкое потное лицо.

— Мы должны покончить с войной,— тихо, но решительно говорил он,— это бессмыслица. Сейчас такая масса людей умеет читать и думать, что войны легко можно избежать. Боже мой! Чем мы, правители, только занимались! Мы дремали, как люди в душной комнате, слишком отупевшие и сонные и слишком скверно относившиеся друг к другу, чтобы кто-нибудь поднялся, раскрыл окно и впустил свежую струю воздуха. И чего только мы не натворили!

Я до сих пор вижу его крупную, мощную фигуру. Он возмущался самим собою и удивлялся всему, что было раньше.

— Мы должны все изменить,— повторял он, взметнув свои большие руки к морю и небу.— Мы сделали так мало, и одному богу известно, почему.

Мне все еще рисуется этот своеобразный гигант, каким он показался мне тогда на этом побережье, освещенном торжествующим блеском утреннего солнца; над нами летали морские птицы, у ног лежал труп с ошпаренной грудью — символ грубости и бесполезной ярости слепых сил прошлого. И как существенная часть картины мне вспоминается также, что вдали, за песчаной полосой, среди желто-зеленого дерна, на вершине низкого холма, торчала одна из белых реклам-объявлений о продаже земельных участков.

Он говорил, как бы удивляясь тому, что делалось прежде.

— Пробовали ли вы когда-нибудь представить себе всю низость, да, низость каждого человека, ответственного за объявление войны? — спросил он.

Потом, как будто нужны были еще доказательства, он стал описывать Лейкока, который первым в совете министров произнес чудовищные слова.

— Это,— говорил Мелмаунт,— маленький оксфордский нахал с тоненьким голоском и запасом греческих изречений, один из недорослей, вызывающих восторженное поклонение своих старших сестер. Почти все время я следил за ним, удивляясь, что такому ослу вверены судьбы и жизнь людей... Было бы лучше, конечно, если бы я то же думал и о самом себе. Ведь я ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать всему этому! Этот проклятый дурак

упивался значительностью минуты и, выпучив на нас глаза, с восторгом восклицал: «Итак, решено — война!» Ричовер пожимал плечами; я слегка протестовал, но сразу уступил... Впоследствии он мне снился...

— Да и что это была за компания! Все мы боялись самих себя — все были только слепыми орудиями... И вот подобного рода глупцы доводят до таких вещей.— Он кивком указал на труп, лежавший около нас.

— Интересно узнать, что случилось с миром... Этот зеленый газ — странное вещество. Но я знаю, что случилось со мною — обновление. Я всегда знал... Впрочем, хватит быть дураком. Болтовня! Это нужно прекратить.

Он попытался встать, неуклюже протянув руки.

— Что прекратить? — спросил я, невольно сделав шаг вперед, чтобы помочь ему.

— Войну,— громко прошептал он, положив свою большую руку мне на плечо, но не делая дальнейших попыток встать.— Я положу конец войне — всякой войне. Нужно покончить со всеми подобными вещами. Мир прекрасен, жизнь великолепна и величественна, нужно было только раскрыть глаза и посмотреть. Подумайте о величии мира, по которому мы бродили, словно стадо свиней по саду. Сколько красоты цвета, звука, формы! А мы с нашей завистью, нашими ссорами, нашими мелочными притязаниями, нашими неискоренимыми предрассудками, нашими пошлыми затеями и тупою робостью только болтали да клевали друг друга и оскверняли мир, словно галки, залетевшие в храм, как нечистые птицы в святилище. Вся моя жизнь состояла из сплошной глупости и низости, грубых удовольствий и низких расчетов, вся, с начала до конца. Я жалкое, темное пятно на этом сияющем утре, позор и воплощенное отчаяние. Да, но если бы не милость божья, я мог бы умереть сегодня ночью, как этот несчастный матросик; умереть, так и не очистившись от своих грехов. Нет, больше этого не будет! Изменился ли весь мир или нет — все равно. *Мы двое видели эту зарю...*

Он на минуту замолчал, потом заговорил:

— Я восстану и явлюсь пред очи господа моего и скажу ему...

Его голос перешел в неразборчивый шепот, он с трудом оперся на мое плечо и встал...

ГЛАВА II

ПРОБУЖДЕНИЕ

1

Так настал для меня великий день.

И так же, как я, на той же заре пробудился и весь мир.

Ведь весь мир живых существ был охвачен тем же беспамятством; в какой-нибудь один час при соприкосновении с газом кометы вся атмосфера, окутывавшая земной шар, внезапно переродилась. Говорят, что в одно мгновение изменился азот воздуха, а через час или около того превратился в газ, годный для дыхания, отличавшийся, правда, от кислорода, но поддерживавший его действие, словно укрепляющая и исцеляющая ванна для нервной и мозговой системы. Я точно не знаю тех химических изменений, которые тогда произошли, и тех названий, которые дали им химики, так как моя работа отвлекла меня от этого; знаю только, что переродились и я и все люди.

Я представляю себе, как это явление произошло в пространстве: одно мгновение в жизни планеты, легкий дымок, легкое вращение метеора, приближавшегося к нашей планете, подобной шару, летящей в космосе со своей ничтожной, почти неощутимой оболочкой облаков и воздуха, с темными омутами океанов и сверкающими выпуклостями материков. И когда эта мошка из беспредельного пространства коснулась земли, прозрачная внешняя оболочка нашей планеты окрасилась в густой зеленый цвет и снова прояснилась...

Затем в течение трех часов или больше — мы знаем, что Перемена совершалась в течение приблизительно трех часов, так как все часы продолжали ходить,— повсюду люди, животные и птицы — словом, все живые существа, дышащие воздухом,— замерли в беспамятстве.

В тот день повсюду на земле, где дышат живые существа, так же глухо шумел воздух, так же распространялся зеленый газ, так же с хрустом низвергался поток падающих звезд. Индус прервал свою утреннюю работу в поле, чтобы посмотреть, подивиться и упасть; ки-

таец в синей одежде упал головой вперед на чашку с полуденной порцией риса; удивленный японский купец вышел из своей лавки и тут же свалился у ее дверей; зеваки у Золотых Ворот упали без чувств в то время, когда поджидали появления великой звезды. То же самое случилось во всех городах мира, во всех уединенных долинах, во всех домах и жилищах, палатках и на открытом воздухе. В море пассажиры больших пароходов, жаждущие зрелищ, тоже любовались кометой и удивлялись, а потом, внезапно охваченные ужасом, кидались к трапам и падали без чувств; капитан зашатался на своем мостике и упал; кочегар растянулся на угле: машины продолжали работать, никем не управляемые, пароход шел вперед, и встречавшиеся мелкие парусные суда рыбаков, тоже потерявшие управление, опрокидывались и шли ко дну.

Грозный голос ощутимого, осязаемого Рока воскликнул: «Стой!» И в самом разгаре игры действующие лица падали и замирали. Мне вспоминается целый ряд картин. В Нью-Йорке произошло следующее: в большей части театров публика разошлась, но в двух, особенно переполненных, дирекция, опасаясь паники, продолжала давать представление среди наступившего мрака, и публика, наученная многочисленными несчастными случаями, не вставала со своих мест. Зрители продолжали неподвижно сидеть — только в задних рядах произошло движение,— и потом, одновременно теряя сознание, ряд за рядом склонялись на спинки кресел и соскальзывали или падали на пол. Парлод утверждает, хотя я не знаю, на чем основана его уверенность, что спустя час после момента великого столкновения азот потерял свою необычную зеленую окраску, и воздух стал так же прозрачен, как всегда. Все дальнейшее происходило при совершенно прозрачном воздухе, и если бы кто-нибудь не потерял сознания, то он мог бы видеть, как все это происходило. В Лондоне это случилось ночью, но в Нью-Йорке, например,— в самый разгар вечерних увеселений, а в Чикаго — ближе к ужину, и улицы были полны людей. Луна, вероятно, освещала улицы и площади, усыпанные валявшимися телами, по которым электрические трамваи без автоматических тормозов продолжали свой путь, пока не останавливались из-за груды человеческих тел, мешавших

движению. Люди лежали в своих обычных костюмах в столовых, ресторанах, на лестницах, в вестибюлях — словом, всюду, где их застигла катастрофа. Игроки, пьяницы, воры, подстерегавшие жертву в потайных местах, пары, предававшиеся порочной любви, были застигнуты тут же, на месте, чтобы очнуться потом с пробужденным сознанием и угрызениями совести. Америку, повторяю, час встречи кометы с землей застал в самый разгар вечернего оживления, Великобританию же ночью. Но, как я уже говорил, Великобритания не очень-то крепко спала, так как была охвачена войной и ждала решающей битвы и победы. По Северному морю сновали военные суда, словно сеть, ловящая врагов. На суше этой ночью тоже ожидали больших событий. Германские войска стояли под ружьем от Редингена до Маркирха, колонны пехоты в прерванном ночном походе полегли рядами, как скошенное сено, на всех дорогах между Лонгнионом и Тианкуром и между Аврикуром и Доненом. Холмы за Спинкуром были густо усыпаны затаившейся французской пехотой; французские передовые отряды лежали рядами среди лопат, которыми они копали еще не законченные траншеи и окопы, извивавшиеся на пути передовых отрядов немецких колонн, вдоль гребня Вогезских гор через границу, около Бельфора, почти вплоть до Рейна...

Венгерские и итальянские крестьяне зевали, думая, что еще не рассвело, и поворачивались на другой бок, чтобы впасть в сон без сновидений. Магометанский мир в это время молился на своих ковриках и так и не успел закончить молитву. В Сиднее, в Мельбурне, в Новой Зеландии туман появился после полудня и разогнал толпы народа, собравшиеся на бегах и на крокетных площадках; выгрузка судов была приостановлена, и люди высыпали на улицы, чтобы зашататься и упасть...

2

Я мысленно переношусь в леса, пустыни и джунгли земного шара, к жизни животных, которая остановилась, как и человеческая, и рисую себе тысячи проявлений этой жизни, прерванной и как бы замороженной, подобно тем замерзшим словам, которые Пантагрюэль встретил в море. Оцепенели не только люди — все живые су-

щества, дышащие воздухом, превратились в бесчувственные, мертвые предметы. Животные и птицы валялись среди поникших деревьев и на траве в охвативших мир сумерках; тигр растянулся рядом с только что убитой им жертвой, истекшей кровью во сне без сновидений... Даже мухи с распростертыми крыльями валились на землю, а паук, съежившись, повис в своих полных добычи тенетах; бабочки спускались на землю, как ярко разрисованные снежные хлопья, падали и замирали. Только одни рыбы, по-видимому, не пострадали...

Кстати, о рыбах; я вспомнил об одном странном эпизоде в этом великом всемирном сне. Необыкновенные приключения экипажа подводной лодки «Б-94» всегда казались мне примечательными. Это были, кажется, единственные люди, совершенно не видевшие зеленого покрывала, распростертого над всей землей. В то время как все на земле замерло, они пробирались в устье Эльбы, очень медленно и осторожно скользя над илистым дном мимо минных заграждений в лабиринте зловещих стальных раковин, начиненных взрывчатым веществом. Они прокладывали путь для своих сотоварищей с плавучей базы, дрейфовавшей вне опасной зоны. Затем в канале, по ту сторону вражеских укреплений, они наконец всплыли, чтобы наметить себе жертвы и пополнить запас воздуха. Это, вероятно, случилось до рассвета, так как они рассказывали о ярком блеске звезд. Они изумились, увидя в трехстах ярдах от себя броненосец, севший на мель среди тины и при отливе опрокинувшийся набок. На броненосце был пожар, но никто не обращал на это внимания — никого среди странной и ясной тишины это не интересовало,— и смущенным и ничего не понимавшим морякам казалось, что не только этот корабль, но и все темные корабли кругом наполнены мертвыми людьми.

Им, должно быть, пришлось испытать самое странное ощущение: они не впали в бессознательное состояние; они тотчас и, как мне говорили, с внезапным приступом смеха начали дышать обновленным воздухом. Никто из них не владел пером, никто не описал своего удивления, мы не имеем сведений о том, что они говорили. Но мы знаем, что эти люди бодрствовали и работали по меньшей мере за полтора часа до всеобщего пробуждения, так что, когда немцы наконец пришли в себя и встали, то увидели, что

англичане хозяйничают на их судне, что подводная лодка беспечно качается на волнах, а ее экипаж, перепачканный и усталый, в каком-то яростном возбуждении хлопочет при блеске зари, спасая своих лишившихся чувств врагов от страшной смерти в воде и огне...

Но участь нескольких кочегаров, которых матросам подводной лодки так и не удалось спасти, напоминает мне целый ряд ужасных событий, происшедших во время Перемены, событий, о которых нельзя умолчать, хотя Перемена в общем принесла миру счастье и благоденствие. Невозможно забыть, как неуправляемые корабли разбивались о берег и шли ко дну со всеми уснувшими на них людьми; как автомобили мчались по дорогам и разбивались; поезда шли вперед, невзирая ни на какие сигналы, и, к удивлению очнувшихся машинистов, оказывались на совсем не подходящих путях, с погасшими огнями в топках, или, что еще хуже, удивленные крестьяне или очнувшиеся сторожа находили вместо поездов груды дымящихся развалин. Литейные печи в Четырех Городах продолжали пылать, и их дым, как прежде, стлался по небу. Огни вследствие происшедшей перемены в составе воздуха вспыхивали ярче...

3

Представьте себе то, что произошло в промежуток времени между составлением и печатанием того экземпляра «Нового Листка», который лежит теперь передо мною. Это была первая газета, отпечатанная на земле после Великой Перемены. Она имеет такой вид, как будто ее долго таскали в кармане, она почернела, потому что отпечатана на бумаге, которую никто не предполагал долго хранить. Я нашел ее на столе беседки в саду гостиницы, где я поджидал Нетти и Веррола, чтобы переговорить с ними,— об этом я еще расскажу. При взгляде на газету мне вспоминается Нетти в белом платье на зелено-голубом фоне освещенного солнцем сада — она стоит и всматривается в мое лицо, в то время как я читаю...

Газета так потерта, что листы ее ломаются по сгибам и рассыпаются в моих руках. Она лежит на моем столе как мертвое воспоминание о мертвой эпохе и мучитель-

ных страстях моей души. Помню, что мы обсуждали последние новости, но никак не могу вспомнить, что мы говорили; знаю только, что Нетти говорила очень мало, Веррол же читал газету из-за моего плеча... и мне не нравилось, что он читает ее из-за моего плеча.

Эта газета, лежащая теперь передо мною, вероятно, помогла нам преодолеть первое замешательство при этом свидании.

Но обо всем, что мы говорили и делали тогда, я расскажу позднее...

Этот номер «Нового Листка» был набран вечером, и только потом значительную часть стереотипа пришлось заменить. Я недостаточно знаком со старыми способами печатания и не могу передать, как это происходило, но впечатление такое, будто целые столбцы были вырезаны и заменены новыми. Вообще газета кажется грубой и развязной, новые столбцы отпечатаны чернее и грязнее, чем старые, исключая левую сторону, где недостает краски и печать неровная. Один из моих приятелей, немного знакомый с прежним типографским делом, говорил мне, что типографская машина, на которой печатался «Новый Листок», возможно, была в ту ночь испорчена и что утром, после Перемены, Бенгхерст, чтобы отпечатать этот номер, арендовал соседнюю типографию, может быть, зависевшую от него в денежном отношении.

Начальные страницы целиком принадлежат старому времени, и только две полосы в середине подверглись изменениям. Здесь на четыре столбца протянулся необычный заголовок—«Что случилось». Затем весь столбец пересекают кричащие подзаголовки: «Идет великая морская битва. Решается участь двух империй», «Донесение о потере еще двух...»

Эти сообщения, как я понимаю, теперь не заслуживают никакого внимания. Вероятно, это были предположения и новости, сфабрикованные в самой редакции.

Интересно сложить все эти истрепанные и потертые отрывки и перечитать выцветший первый плод мысли новой эпохи.

В замененных частях газеты простые, ясные статьи поразили меня своим смелым и необычным языком среди остальной высокопарной болтовни на плохом англий-

ском языке. Теперь они кажутся мне голосом здравомыслящего человека среди выкриков сумасшедших. Но они свидетельствуют также и о том, как быстро Лондон пришел в себя и какой небывалый прилив энергии ощутило его громадное население. Перечитывая статьи, я поражаюсь тому, сколько тщательных исследований, экспериментов и выкладок было произведено в этот день прежде, чем была отпечатана газета... Но это все между прочим. Когда я сижу, задумавшись над этим уже пожелтевшим листом, мне снова рисуется та странная картина, которая мелькнула в то утро в моем воображении,— картина того, как переживали эту Перемену в тех газетных редакциях, которые я вам описывал.

Каталитическая волна, вероятно, захватила редакции в самом разгаре спешной ночной работы, особенно горячей, ибо она была вызвана как кометой, так и войной, и преимущественно войной. Весьма вероятно, что Перемена проникла в типографию незаметно, среди шума, крика и электрического света, обычной ночной обстановки; внезапно мелькнувшие зеленые молнии, может быть, даже остались там незамеченными, а спускавшиеся волны зеленого газа показались клочьями лондонского тумана. (В то время в Лондоне он был не редкостью даже летом.) Но наконец Перемена проникла и в типографию и сразила всех присутствующих.

Если что-нибудь и могло предупредить их, то разве только внезапная суматоха и шум на улицах и наступившая вслед за тем мертвая тишина... Никаких других признаков свершившегося они заметить не могли.

Они не успели даже остановить печатные машины: зеленый газ неожиданно обволок и одурманил всех, повалил на пол и усыпил. Мое воображение всегда разыгрывается, когда я представляю себе эту первую картину Перемены в городах. Меня удивляло, что во время происходившей Перемены машины продолжали работать, хотя я не могу как следует уяснить себе, почему; и тогда и теперь это кажется мне странным. Человек, по-видимому, так привык считать машины чем-то почти одушевленным, что его поражает их независимость, которую так наглядно показала Перемена. Электрические лампы, например, эти тусклые шары, окруженные зеленоватым сиянием, вероятно, еще неко-

торое время продолжали гореть; среди сгущавшегося мрака громадные машины грохотали, печатали, складывали, отбрасывали в сторону лист за листом этот сфабрикованный отчет о сражениях с четвертушкой столбца кричащих заголовков, и здание по-прежнему вздрагивало и вибрировало от их шума. И все это происходило несмотря на то, что никто из людей уже не управлял машинами. То там, то сям под сгущавшимся туманом неподвижно лежали скрюченные или растянувшиеся человеческие тела.

Поразительная картина, вероятно, представилась бы глазам того человека, который мог бы преодолеть действие газа и все это увидеть.

Когда у печатных машин истощился запас краски и бумаги, они все же продолжали впустую вертеться и грохотать среди всеобщего безмолвия. Машины замедлили ход, огни стали гореть тускло и потухать вследствие уменьшения энергии, доставляемой с электрической станции. Кто мог бы теперь подробно рассказать о последовательности всех этих явлений?

А затем, как вы знаете, среди смолкшего людского шума зеленый газ рассеялся и исчез, через час его уже не было, и тогда, быть может, над землей пронесся легкий ветерок.

Все звуки жизни замерли, но остались другие звуки, которые торжественно раздавались среди всеобщего молчания. Равнодушному миру часы на башнях пробили два, потом три раза. Часы тикали и звонили повсюду, на всем оглохшем земном шаре...

А затем появился первый проблеск утренней зари, послышался первый шелест возрождения. Может быть, волоски электрических ламп в типографиях были еще накалены и машины продолжали слабо работать, когда скомканные кучи одежды снова превратились в людей, начавших шевелиться и изумленно раскрывать глаза. Печатники, конечно, были озадачены и смущены тем, что заснули. При первых лучах восходящего солнца «Новый Листок» пробудился, встал и с удивлением оглянулся на себя.

Часы на башнях пробили четыре. Печатники, измятые и всклокоченные, но чувствовавшие себя необычайно свежо и легко, стояли перед поврежденными машина-

ми, удивляясь и спрашивая друг друга, что произошло; издатель читал свои вечерние заголовки и недоверчиво смеялся. Вообще в то утро было много безотчетного смеха. А на улицах кучера почтовых дилижансов гладили шеи и растирали колени своих пробуждающихся лошадей...

Затем, не торопясь, разговаривая и удивляясь, печатники стали печатать газету.

Представьте себе этих еще не вполне очнувшихся, озадаченных людей, по инерции продолжавших свою прежнюю работу и старавшихся как можно лучше выполнить дело, которое вдруг стало казаться странным и ненужным. Они работали, переговариваясь и удивляясь, но с легким сердцем, то и дело останавливаясь, чтобы обсудить то, что они печатали. Газеты получены были в Ментоне с опозданием на пять дней.

4

Теперь позвольте рассказать вам о небольшом, но очень ярком моем воспоминании — о том, как некий весьма прозаический человек, бакалейщик по имени Виггинс, пережил Перемену. Я услышал его историю в почтовой конторе в Ментоне, когда пришел туда в Первый день, спохватившись, что надо послать матери телеграмму. Это была одновременно бакалейная лавка, и когда я туда вошел, Виггинс разговаривал с хозяином этой лавки. Они были конкурентами, и Виггинс только что пересек улицу — его лавка помещалась напротив,— чтобы нарушить враждебное молчание, длившееся добрых двадцать лет. В их блестящих глазах, в раскрасневшихся лицах, в более плавных движениях рук — во всем сквозила Перемена, охватившая все их существо.

— Наша ненависть друг к другу не принесла нам никакой пользы,— объяснял мне потом мистер Виггинс, рассказывая о чувствах, владевших ими во время разговора.— И покупателям нашим от этого тоже не было никакой пользы. Вот я и пришел сказать ему об этом. Не забудьте моих слов, молодой человек, если когда-нибудь вам случится иметь собственную лавку. На нас просто глупость какая-то нашла, и сейчас даже странно, что прежде мы этого не понимали. Да, это

была не то чтобы злоба или зловредность, что ли, а больше глупость. Дурацкая зависть! Подумать только: два человека живут в двух шагах друг от друга, не разговаривают двадцать лет и все больше и больше ожесточаются один против другого!

— Просто понять не могу, как мы дошли до такого положения, мистер Виггинс,— сказал второй бакалейщик, по привычке развешивая чай в фунтовые пакетики.— Это было упрямство и греховная гордость. Да ведь мы и сами знали, что все это глупо.

Я молчал и наклеивал марку на свою телеграмму.

— Да вот, только на днях,— продолжал он, обращаясь ко мне,— я снизил цену на французские яйца и продавал их себе в убыток. А все почему? Потому что он выставил у себя в витрине огромное объявление: «Яйца — девять пенсов дюжина»,— и я увидел это объявление, когда проходил мимо. И вот мой ответ,— он указал на объявление, где было написано: «Яйца — восемь пенсов за дюжину того сорта, что в других местах продается по девять».— Хлоп — и на целый пенни дешевле! Только чуть дороже своей цены, да и то не знаю. И к тому же...— Он перегнулся ко мне через прилавок и закончил выразительно:— Да к тому же и яйца-то не того сорта!

— Ну вот, кто в здравом уме и твердой памяти стал бы проделывать такие штуки? — вмешался Виггинс.

Я послал свою телеграмму, владелец лавки отправил ее, и, пока он этим занимался, я поговорил с Виггинсом. Он так же, как и я, ничего не знал о существе Перемены, которая произошла со всем миром. Он сказал, что зеленые вспышки его встревожили и он так заволновался, что, посмотрев немного на небо из-за шторы на окне спальни, поспешно оделся и заставил одеться всю семью, чтобы быть готовыми встретить смерть. Он заставил их надеть праздничное платье. Потом они все вышли в сад, восхищаясь красотой и великолепием представшего им зрелища и в то же время испытывая все возрастающий благоговейный страх. Они были сектанты и притом весьма ревностные (в часы, свободные от торговли), и в эти последние, величественные минуты им казалось, что в конце концов наука все-таки ошиба-

ется, а фанатики правы. С зеленым газом на них снисходила все большая уверенность в этом, и они приготовились встретить своего бога...

Не забудьте, что это был самый заурядный человек, без пиджака и в клеенчатом фартуке, и рассказывал он свою историю с простонародным акцентом, который резал мое изысканное стратфордширское ухо, и рассказывал без всякой гордости, словно между прочим, а мне он казался почти героем.

Эти люди не бегали в растерянности взад и вперед, как многие другие. Эти четверо простых людей стояли позади своего дома, на дорожке сада, среди кустов крыжовника, и страх перед богом и судом его охватывал их стремительно, с неодолимой силой,— и они запели. Так стояли они — отец, мать и две дочери — и храбро, хоть, должно быть, и немного заунывно пели, как поют все сектанты:

В Сионе пребывая,
Душа моя ликует,—

а потом один за другим упали на землю и застыли.

Почтмейстер слышал, как они пели в сгущающейся тьме...

В изумлении слушал я, как этот раскрасневшийся человек со счастливыми глазами рассказывал мне историю своей недавней смерти. Невозможно было поверить, что все произошло только за последние двенадцать часов. Все прошедшее теперь казалось ничтожным и далеким, а ведь всего двенадцать часов назад эти люди пели в темноте, взывая к своему богу. Я так и видел всю картину, словно крошечную, но очень четкую миниатюру в медальоне.

Впрочем, не один этот случай произвел на меня такое глубокое впечатление. Очень многое из того, что случилось перед столкновением кометы с Землей, кажется нам теперь уменьшенным в десятки раз. И у других людей — я узнал об этом позднее — тоже осталось ощущение, словно они как-то вдруг невероятно выросли. И маленький черный человечек, который в бешенстве гнался по всей Англии за Нетти и ее возлюбленным, наверно, был ростом со сказочного гнома, да и вся наша прежняя жизнь — всего лишь жалкая пьеска в тускло освещенном кукольном театре...

5

В воспоминаниях об этой Перемене мне всегда рисуется фигура моей матери.

Я помню, что однажды она рассказывала мне.

Ей не спалось в ту ночь. Звуки падающих звезд она принимала за выстрелы, так как в течение всего предшествующего дня в Клейтоне и Суотингли были волнения. И вот она встала с постели, чтобы посмотреть. Она боялась, что в волнениях буду замешан и я.

Но когда произошла Перемена, она не смотрела в окно.

— Когда я увидала, дорогой, как падают звезды, словно дождь,— рассказывала она,— и подумала, что ты попал под него, то решила, что не беда, если я помолюсь за тебя, мой дорогой, что ты не будешь на это сердиться.

И вот мне рисуется другая картина: зеленый газ спустился, потом рассеялся, а там у заплатанного одеяла моя старушка мать стоит на коленях, все еще сложив свои худые, скрюченные руки, и молится за меня.

За жидкими занавесками и шторами, за кривыми, потрескавшимися стеклами я вижу, как блекнут звезды над трубами, бледный свет зари ширится по небу и как ее свеча вспыхивает и гаснет...

Она тоже прошла со мной сквозь безмолвие — эта застывшая, согбенная фигура, коленопреклоненная в страстной мольбе, обращенной к тому, кто, как она думала, может защитить меня; тихая фигура в тихом мире, мчащемся сквозь пустоту межпланетного пространства.

6

С рассветом пробудилась вся земля. Я уже рассказывал, как проснулся и как, всему удивляясь, бродил по преображенному ячменному полю Шэпхембери. То же чувствовали и все вокруг. Вблизи меня Веррол и Нетти, совершенно забытые мною в то время, пробудились рядом и среди безмолвия и света прежде всех звуков услышали голоса друг друга. И жители поселка Бунгало, бежавшие и упавшие на морском берегу, тоже очнулись; спавшие крестьяне Ментона проснулись и приподнялись

на своих постелях среди непривычной свежести и новизны; искаженные ужасом лица тех, кто молился в саду, разгладились, люди зашевелились среди цветов, робко коснулись друг друга, и каждому пришла в голову мысль о том, что он в раю. Моя мать очнулась на коленях, прижавшись к кровати, и встала с радостным сознанием, что молитва ее была услышана.

Солдаты проснулись и, столпившись между рядами запыленных тополей вдоль дороги к Аллармонту, болтали и распивали кофе с французскими стрелками, вызвавшими их из тщательно замаскированных траншей среди виноградников на холмах Бовилля. Стрелки были несколько смущены, так как погрузились в сон в напряженном ожидании ракеты, которая должна была послужить сигналом открыть огонь. Увидав и услыхав движение внизу на дороге, где был неприятель, каждый из них почувствовал, что не может стрелять. По крайней мере один новобранец рассказал историю своего пробуждения и описал, каким странным показалось ему ружье, лежавшее рядом с ним в окопе, и как он взял его на колени, чтобы рассмотреть. Затем, когда ему яснее припомнилось, для чего служит это ружье, он бросил его, радуясь, что не совершил преступления, и вскочил, желая ближе вглядеться в людей, которых ему предстояло убить. «Славные ребята»,— подумал он. Сигнальная ракета не взвилась. Внизу люди уже не строились в ряды, а сидели у обочины дороги или стояли группами, разговаривая и обсуждая официальную версию причин войны, казавшуюся им теперь невероятной.

— К черту императора! — говорили они.— Что за нелепость! Мы ведь люди цивилизованные. Пусть поищут других дураков для такого дела... Где кофе?

Офицеры сами держали своих лошадей и разговаривали с солдатами запросто, не соблюдая никакой субординации. Несколько французов, выйдя из траншей, беззаботной походкой спускались с холма. Другие стояли в задумчивости, все еще держа ружья в руках. Этих последних рассматривали с любопытством. Слышались отрывочные замечания: «Стрелять в нас? Что за нелепость! Ведь это все почтенные французские граждане». В военной галерее, среди руин старого Нанси, есть картина, на которой очень хорошо изображена эта сцена при

ярком утреннем освещении: вы видите старинную форму солдат, их странные головные уборы, перевязи, сапоги, патронташи, фляги для воды, мешки вроде туристических, которые эти люди таскали на спине,— словом, все их странное обмундирование. Солдаты приходили в сознание постепенно, один за другим. Мне иногда думается, что если бы обе враждебные армии пробудились мгновенно, то, может быть, они по привычке, в силу инерции возобновили бы битву. Но люди, пробудившиеся прежде других, стали с удивлением осматриваться и успели немного подумать...

7

Повсюду слышался смех и лились счастливые слезы.

Простые, обыкновенные люди вдруг обнаружили, что все вокруг ясно и светло, а сами они полны сил, способны на все то, что прежде казалось невозможным, и не способны делать то, от чего прежде не могли удержаться; увидели, что они счастливы, полны надежд, готовы трудиться на благо других и решительно отказались поверить, что произошла всего лишь перемена в их крови и материальной основе жизни. Они отказались от тела, с которым родились на свет, как некогда дикие обитатели верховьев Нила выбивали себе клыки потому, что они делали их похожими на зверей. Люди объявили, что на землю снизошел некий Дух, и не желали признавать никаких иных объяснений. И в известном смысле Дух действительно снизошел на землю, сразу же после Перемены началось Великое Возрождение, последнее, самое всеобъемлющее, глубокое и самое непреходящее из всех приливов религиозного чувства, которые когда-либо носили это имя.

Но, в сущности, оно резко отличалось от всех бесчисленных предшествующих возрождений. Все прежние возрождения были этапами болезни, а это оказалось первым признаком выздоровления; оно было спокойнее, полнее, преображало разум, чувства и веру — весь внутренний мир человека. В старину и особенно в странах, где господствующей религией было протестантство, все, что касается религии, насаждалось вполне откровенно, а отсутствие исповеди и образованных пастырей делало взры-

вы религиозных чувств бурными и заразительными, в различных формах и масштабах духовное обновление было естественным проявлением религиозной жизни и происходило почти постоянно — порой жителей какой-нибудь деревушки вдруг одолевали угрызения совести, порой на молитвенном собрании в какой-нибудь миссии людьми овладевало необычайное волнение, порой буря охватывала целый континент, а порой с барабанным боем, флагами, афишами и автомобилями в города являлась целая организованная армия спасателей душ. Ни разу за всю мою жизнь я не принимал участия ни в чем подобном, ибо это меня ничуть не привлекало. Хоть нрав у меня всегда был горячий, я был настроен слишком критически (или, если хотите, скептически — ведь это, в сущности, одно и то же) и был слишком застенчив, чтобы кинуться в эти водовороты. Правда, несколько раз мы с Парлодом сидели где-то в задних рядах на молитвенных собраниях возрожденцев, посмеивались, но все же ощущали какую-то тревогу.

Я видел такие возрождения достаточно часто, чтобы понять их природу, и ничуть не удивился, когда узнал, что до пришествия кометы во всем мире, даже среди дикарей и людоедов, периодически происходили такие же или, во всяком случае, очень похожие перевороты. Мир задыхался, его лихорадило, и все это означало не что иное, как бессознательное сопротивление организма, чувствующего, как убывают его силы, закупориваются сосуды и что жить ему осталось недолго. Подобные возрождения неизменно следовали за периодами убогого и ограниченного существования. Люди повиновались своим низменным и животным порывам, и в конце концов в мире воцарилось невыносимое озлобление. Какое-либо разочарование, разбитые надежды показывали людям — смутно, но достаточно ясно, чтобы разглядеть,— мрак и ничтожество их существования. Внезапное отвращение к бессмысленной ничтожности их извечного образа жизни, понимание его греховности, чувство недостойности всего окружающего, жажда чего-то понятного, устойчивого, чего-либо более значительного, более широкого общения между людьми, жажда новизны и отвращение к старым привычкам охватывали их. Души людей, способных на более благородные поступки, внезапно начинали рвать-

ся из рамок мелочных интересов и узких запретов; из этих душ вдруг слышался вопль: «Только не это, довольно, довольно!» Их потрясало страстное стремление выбраться из темницы собственного «я» — страсть, которую они не умели высказать, и, безысходная, немая, она изливалась одними слезами.

Я как-то видел — помню, это было в Клейтоне, в методистской молельне,— старого Паллета, кающегося торговца скобяными изделиями. Как сейчас вижу его прыщеватое жирное лицо, странно перекошенное в мерцающем свете газовых рожков. Он отправился к скамье, предназначенной для подобных спектаклей, и, брызгая слюной и слезами, покаялся в каком-то мелком распутстве — он был вдовцом,— и от горя он раскачивался, вздрагивая всем своим дряблым телом. Он излил скорбь и отвращение к содеянному в присутствии пятисот человек, от которых в обычное время утаивал каждую свою мысль и каждое намерение. И любопытно, что мы, двое юнцов, нисколько не смеялись над этой всхлипывающей карикатурой, ибо в то время все это было в порядке вещей; нам в голову не приходило даже улыбнуться. Мы сидели серьезные и сосредоточенно наблюдали все это,— разве что с некоторым удивлением.

Только потом, да и то сделав над собой усилие, мы посмеялись над этим...

Повторяю: возрождения прежних времен были всего лишь судорогами предсмертного удушья. Они очень ясно показывают, что накануне Перемены все люди уже понимали: в мире неблагополучно. Но эти частые озарения были чересчур мимолетны. Порывы растрачивались в беспорядочных криках, жестах и слезах, они были всего лишь мгновенными вспышками прозрения. Скудость и ограниченность бытия, низость во всех ее видах вызывали отвращение, но и оно тоже было ограниченным и низким. После короткой вспышки искреннего чувства душа вновь погрязала в лицемерии. Пророки спорили, кто из них выше. Вне всякого сомнения, среди кающихся было немало соблазнителей и соблазненных и не один Анания шел домой обращенный, а возвратясь, прикидывался чудотворцем. И почти все новообращенные были нетерпеливы и ни в чем не знали меры,— презирали здравый смысл, были неразборчивы в средствах, восставали

против всякой уравновешенности, опыта и знания. Раздувшись от избытка благодати, точно истончившиеся от старости, переполненные вином мехи, они знали, что лопнут при малейшем соприкосновении с суровой действительностью и трезвым советом.

Итак, прежние возрождения выдыхались, но Великое Возрождение не выдохлось — оно крепло и чуть ли не для всего христианского мира стало наконец непреходящим проявлением Перемены. Многие ничуть не сомневались, что это и есть второе пришествие, и не мне оспаривать обоснованность этого убеждения,— ведь оно почти всегда означало, что люди живут год от года более широкой и разносторонней жизнью.

8

Мне вспоминается еще одна мимолетная встреча. Случайное, бессвязное воспоминание, и тем не менее оно олицетворяет для меня Перемену. Это воспоминание о прекрасном лице женщины, которая с пылающими щеками и блестящими, полными слез глазами молча прошла мимо меня, стремясь к какой-то неведомой мне цели. Я встретил ее в день Перемены, когда, чувствуя укоры совести, шел в Ментон, чтобы телеграммой известить мать, что со мною все обстоит благополучно. Я не знаю, куда и откуда шла эта женщина; я никогда больше не встречал ее, и только ее лицо, сияющее новой и светлой решимостью. стоит передо мной, как живое...

Но таково же было в тот день состояние всего мира.

ГЛАВА III

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

1

Странным, необычайным было то заседание совета министров, на котором я присутствовал; оно происходило через два дня после Перемены на даче Мелмаунта, и на нем возникла мысль о конференции,

где будет составлена конституция Всемирного Государства.

Я присутствовал на нем, потому что жил у Мелмаунта. У меня не было причин предпочитать одно место другому, а здесь, на даче, к которой его привязывала сломанная нога, не было, за исключением секретаря и слуги, никого, кто помог бы ему начать огромный труд, предстоявший всем правителям мира. Я знал стенографию, а так как на даче не было даже фонографа, то после того, как лодыжку ему забинтовали, я сел за стол и начал писать под его диктовку.

Для тогдашней медлительности, вполне, впрочем, уживавшейся с лихорадочной спешкой, характерно, что секретарь не знал стенографии и что там вообще не было телефона. С каждым сообщением или поручением приходилось идти за полмили в деревенскую почтовую контору, помещавшуюся в Ментоне в бакалейной лавке...

Так я сидел в комнате Мелмаунта—стол его пришлось отодвинуть в сторону — и записывал то, что требовалось. В то время мне казалось, что во всем мире нет комнаты лучше этой; я и теперь бы узнал яркую, веселую обивку того дивана, на котором, как раз напротив меня, лежал великий государственный деятель; узнал бы тонкую дорогую бумагу, красный сургуч и серебряный письменный прибор на столе, за которым я сидел. Я знаю теперь, что прежде мое присутствие в этой комнате показалось бы просто невероятным, так же как и раскрытая дверь и даже то, что секретарь Паркер мог свободно туда входить и выходить, когда хотел. В прежнее время заседание совета министров представляло собой тайное сборище, а вся общественная жизнь соткана была из тайн и секретов. В те дни каждый скрывал что-нибудь от всех остальных, так как все были недоверчивы, хитры, лукавы, лживы и притом большей частью без всякого разумного основания. Эта таинственность исчезла из нашей жизни почти незаметно.

Я закрываю глаза и снова вижу этих людей, слышу их спокойные голоса. Я вижу их сначала порознь, при трезвом свете дня, а затем всех вместе, собравшихся вокруг затененных абажурами ламп, в таинственном полумраке. При этом мне очень ясно вспоминаются также

крошки бисквитов, капля пролитой воды, которая сначала блестела, а затем впиталась в зеленое сукно стола...

Особенно хорошо помню я фигуру лорда Эдишема. Он, как личный друг Мелмаунта, прибыл на дачу за день до остальных. Позвольте мне описать вам этого человека, только этого одного из пятнадцати, затеявших последнюю войну. Он был самый младший член правительства, всего лишь лет сорока, обходительный и жизнерадостный. У него был четкий профиль, улыбающиеся глаза, бескровное, чисто выбритое лицо, приветливый, мягкий голос, тонкие губы и непринужденные, дружелюбные манеры. Он, казалось, был создан для своего места, обладая философским и бесстрастным складом ума. Перемена застала его за любимым развлечением, которому он неизменно предавался в свободное время,—за ужением рыбы, и я помню, как он говорил, что когда очнулся, то голова его находилась на расстоянии всего лишь одного шага от воды. В трудные минуты жизни лорд Эдишем неизменно отправлялся на субботу и воскресенье удить рыбу, чтобы сохранить ясность мысли, а когда трудных минут не было, то он удил потому, что ничто не мешало ему предаваться любимому занятию. Он явился с твердой решимостью совершенно отказаться, между прочим, и от ловли рыбы. Я был у Мелмаунта, когда он приехал, и слышал, как он это говорил, и мне было очевидно, что он пришел к тем же взглядам, как и мой хозяин, только более наивным путем. Я оставил их поговорить, но затем вернулся, чтобы записать те пространные телеграммы, которые они отправляли своим еще не прибывшим коллегам. Без сомнения, Перемена так же сильно подействовала на него, как и на Мелмаунта, но он сохранил свою привычку к изысканной вежливости, иронии, добродушным шуткам и выражал свое изменившееся отношение в вещам, свои новые чувства, как светский человек старого времени, очень сдержанно и словно стыдясь своей восторженности. Эти пятнадцать человек, управлявшие Британской империей, на редкость не соответствовали моему о них представлению, так что я в свободные минуты внимательно за ними наблюдал. В то время политики и государственные деятели Англии составляли особый класс, теперь совершенно исчезнувший. В некоторых отношениях они не

походили на государственных деятелей никакой другой страны, и мне кажется, ни одно из существующих их описаний не соответствует действительности... Вы, может быть, читаете старые книги? Если это так, то в «Холодном доме» Диккенса вы найдете их характеристику с примесью несколько враждебного преувеличения; грубой лестью и резкой насмешкой отличается характеристика, которую дает им Дизраэли, случайно игравший среди них главную роль, не понимая их и угождая двору; в повестях же миссис Хемфри Уорд изображены, быть может, несколько преувеличенно, но довольно верно, претензии этих людей, принадлежавших к числу несменяемых правителей Англии. Все эти книги еще существуют и доступны любознательным. Сочинения философа Бейджгота и поэта истории Маколея дают некоторое понятие о методе их мышления; писатель Теккерей раскрывает изнанку их социальной жизни; несколько иронических замечаний, а также личных воспоминаний и описаний, принадлежащих перу таких писателей, как, например, Сидней Лоу, можно найти в сборнике «Житница Двадцатого Столетия». Но все же ни одного точного портрета этих людей не сохранилось. Тогда они казались слишком близкими и слишком великими; теперь же их совсем перестали понимать.

Мы, простые люди прежнего времени, черпали свои представления о наших государственных деятелях почти исключительно из карикатур — самого могущественного оружия в политических распрях. Как и почти все при старом строе, эти карикатуры появились сами собой; они были неким паразитическим наростом на хилом теле демократических идеалов и стремлений, в конце концов только они одни и остались от этих идеалов. Карикатуры изображали не только личностей, руководивших нашей общественной жизнью, но и все основы той жизни, причем в смешном и пошлом виде, так что под конец почти совершенно уничтожили все серьезные и благородные чувства и побуждения по отношению к государству. Британское государство почти всегда изображалось в виде краснолицего, толстобрюхого фермера, гордящегося своим кошельком. Соединенные Штаты изображались в виде хитрого мошенника с худощавым лицом, одетого в полосатые брюки и синий сюртук. Главные министры государства

изображались в виде карманных воришек, прачек, клоунов, китов, ослов, слонов и невесть чего, а дела, касавшиеся благосостояния миллионов людей, изображались и обсуждались, как шутки в какой-нибудь идиотской пантомиме. Трагическая война в Южной Африке, принесшая неисчислимые бедствия многим тысячам семейств, полностью разорившая две страны и причинившая смерть и увечья пятидесяти тысячам людей, изображалась в виде комической ссоры между буйным и вспыльчивым чудаком, с моноклем в глазу и орхидеей в петлице, по имени Чемберлен, и «старым Крюгером», упрямым и очень хитрым стариком в чудовищно потасканной шляпе. Борьба велась попеременно, то с чисто звериной яростью, го затихая. Ловкачи-казнокрады нагревали руки на этой идиотской ссоре, а под маской этих дурачеств шествовала сама судьба, пока наконец балаганное шутовство не раскрылось и не обнаружились страдания, голод, пожарища, разрушения и позор... Эти люди достигли славы и власти в таких условиях, и в тот день они казались мне актерами, внезапно отказавшимися играть смешные и глупые роли; они смыли грим с лица и перестали притворяться.

Даже в тех случаях, когда представление было не очень смешным и позорным, оно все же вводило в заблуждение. Когда я читаю, например, о Лейкоке, у меня возникает представление о незаурядном, деятельном, хоть и несколько взбалмошном уме и крепком мужественном теле человека, произносящего ту речь «Голиафа», которая так содействовала ускорению враждебных действий. Но на самом деле это был плешивый заика с писклявым голосом, мучимый угрызениями совести, и ничуть вместе с тем не заслуживающий той презрительной характеристики, которую мне первоначально дал о нем Мелмаунт. Я сомневаюсь, чтобы широкая публика получила когда-нибудь надлежащее представление о том, какими были эти люди до Перемены. С каждым годом наш интерес и сочувствие к ним с невероятной быстротой уменьшаются. Это отчуждение не может, конечно, лишить их того значения, которое они имели в прошлом, но оно лишает впечатление, производимое их личностями, всякой реальности. Их история становится все более и более чуждой, словно какая-то непонятная вар-

варская драма, разыгрываемая на забытом языке. Все эти премьеры и президенты важно проходят перед нами в целом ряде карикатурных изображений, их рост нелепо преувеличен политическими котурнами, их лица прикрыты большими, крикливыми, нечеловеческими масками, их речи, переданные на шутовском уличном жаргоне, не имеющие ничего общего со здравым человеческим смыслом, ревут и скрипят на страницах прессы. Вот она перед нами, эта галерея непонятных и выцветших фигур, теперь забытая, никому не нужная и не вызывающая никакого интереса. Сама ничтожность этих фигур ныне так же непонятна, как жестокость средневековой Венеции или богословие древней Византии. А между тем эти политические деятели управляли и оказывали влияние на жизнь почти четверти всего человечества, их шутовские драки потрясали весь мир, подчас, быть может, веселили его, волновали и причиняли неисчислимые бедствия.

Я видел этих людей, хоть и разбуженных Переменой, но все еще одетых в странные одежды былого времени и сохранивших его манеры и условности; они уже отрешились от своих взглядов, но им все же приходилось постоянно возвращаться к ним, как к исходной точке. Мой обновленный ум сумел в них разобраться, и мне думается, что я их действительно понял. Тут был Горрел-Браунинг, министр без портфеля, крупный круглолицый человек; тщеславие и сумасбродство, привычка к пространным банальным речам несколько раз самым нелепым образом одерживали верх над его обновленным духом. Он боролся с этим и сам смеялся над собой. И вдруг он сказал просто и с глубоким чувством, и всем стало очень больно:

— Я был тщеславный, самодовольный и надменный старик. От меня здесь мало толку. Я весь отдался политике, интригам, и жизнь ушла от меня.

Потом он долго сидел молча.

Тут был и лорд-канцлер Кертон, человек несомненно умный; его бледное, тяжелое, гладко выбритое лицо вполне подошло бы для бюста кого-нибудь из цезарей. У него был негромкий, хорошо поставленный голос и самодовольная, порой слегка кривая улыбка, а в глазах мгновениями вспыхивала насмешливая искорка.

— Мы должны прощать,— сказал он.— Должны прощать даже самим себе.

Эти двое сидели во главе стола, так что я хорошо видел их лица. Маджетт, министр внутренних дел, человек небольшого роста, со сморщенными бровями и застывшей улыбкой на тонких, суховатых губах, прибыл вслед за Кертоном, он почти не участвовал в обсуждении, лишь изредка вставлял разумные замечания, а когда зажгли висячие электрические лампы, то в его глазных впадинах причудливо сгустились тени, и это придало ему насмешливый вид иронизирующего беса. Рядом с ним восседал важный пэр, граф Ричовер, самодовольный, беспечный, игравший роль британско-римского патриция двадцатого столетия. Он занимался почти исключительно и одинаково усердно скачками, политикой и сочинением литературных очерков в духе своей роли.

— Мы не сделали ничего путного,— сказал он.— Что же касается меня, то я корчил из себя важную фигуру.

Он задумался, без сомнения, о тех долгих годах, когда он разыгрывал патриция, о прекрасных огромных дворцах, служивших рамкой для его особы, о скачках, прославивших его имя, о своих восторженных выступлениях, в которых он потчевал всех пустыми мечтами, о своих бесплодных олимпийских затеях...

— Я был глупцом, — заключил он кратко.

Все слушали его молча, сочувственно и почтительно.

Геркера, министра финансов, я мог рассмотреть только отчасти, из-за спины лорда Эдишема. Геркер принимал деятельное участие в прениях, сильно наклоняясь вперед, когда говорил. У него был низкий, хриплый голос, большой нос, грубый рот с отвислой, вывороченной нижней губой и глаза, окруженные сетью морщин...

Я хорошо запомнил этих людей и их слова. Может быть, я и записывал их тогда, но совершенно этого не помню. Где и как сидели Дигби Прайвет, Ривель, Маркгеймер и другие, я уже забыл. Мне запомнились лишь их голоса, замечания и реплики...

Получалось странное впечатление, что все эти люди, кроме, может быть, Геркера и Ривеля, не особенно желали той власти, которая находилась теперь в их руках, а достигнув ее, не стремились сделать ничего особен-

ного. Они занимали места министров и до момента просветления не стыдились этого, но и недостойного шума из-за этого не поднимали. Восемь человек из числа этих пятнадцати прошли одну и ту же школу и получили одинаковое образование: немного греческого, немного элементарной математики, куцее естествознание, немножко истории, затем чтение самых благонамеренных английских авторов семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков. Все эти восемь человек с молоком матери всосали одну и ту же тупую, джентльменскую манеру поведения, в сущности, ребяческую, лишенную всякой фантазии, всякой остроты и художественности. Под ее влиянием в трудные минуты жизни люди способны впадать в сентиментальность и считать великой добродетелью простое и вдобавок довольно неумелое выполнение своих обязанностей. Ни один из этих восьми человек не соприкасался с действительной жизнью, они жили словно в шорах: от няньки перешли к гувернантке, от гувернантки—в школу, из Итона в Оксфорд, а из Оксфорда перешли к рутине политической и общественной деятельности. Даже их пороки и недостатки соответствовали *известным понятиям о хорошем* тоне. Они, еще будучи в Итоне, тайком посещали скачки, а из Оксфорда делали вылазки в город, чтобы познакомиться с жизнью увеселительных заведений, и затем все исправились. Теперь они все внезапно увидели свою ограниченность.

— Что нам делать?— спросил Мелмаунт.— Мы пробудились, и мы в ответе за нашу Империю...

Я знаю, что из всего, что я могу рассказать о старом мире, этот факт покажется самым неправдоподобным, но я действительно видел это своими глазами, слышал своими ушами. Да, не подлежит ни малейшему сомнению: эта клика людей, составлявшая правительство целой пятой части всей обитаемой земли, управлявшая миллионом вооруженных людей, распоряжавшаяся невиданным флотом и правившая империей наций, языков, народов, все еще блистающей в наше великое время,— эта правящая клика не имела никакого единого мнения о том, что нужно делать с миром. Они составляли правительство в течение трех долгих лет, и до Перемены им никогда не приходила в голову мысль о том, что необ-

ходимо иметь об этом единое мнение. У них его совсем не было. Эта великая империя плыла как бы по течению, бесцельно ела, пила, спала, носила оружие и необычайно гордилась тем, что для чего-то существует на свете. Но у нее не было ни плана, ни цели; она ни к чему не стремилась. В таком же положении находились и другие великие империи, и их, как плавучие мины, несло течением. Как ни нелеп должен вам теперь показаться британский совет министров, но он ничуть не был нелепей остальных правительственных органов: государственных советов, президентских комиссий и любого прочего из своих недальновидных соперников...

2

Я помню, что в то время меня очень поразило отсутствие всяких споров и различия мнений относительно общих основ нашего теперешнего государства. Эти люди жили до тех пор среди условностей и заученных правил. Они были преданы своей партии, свято хранили все ее тайны и оставались верны британской короне; были крайне внимательны ко всякому старшинству и первенству и способны полностью подавлять в себе пагубные сомнения и пытливость и все отлично умели держать в узде порывы религиозного чувства. Они, казалось, были защищены какой-то незримой, но непроницаемой стеной от всех опрометчивых и опасных раздумий, от социалистических, республиканских и коммунистических теорий, следы которых можно найти в литературе последних лет перед появлением кометы. Но эта стена рухнула в самый момент пробуждения, зеленый газ как бы промыл их мозг, растворил и унес прочь сотни жестких перегородок и препятствий. Они как-то сразу признали и усвоили все то хорошее, что было в нашей пропаганде, которая в дырявых сапогах и с протертыми локтями так громко и тщетно стучалась прежде в двери их разума. Это казалось пробуждением от нелепого и гнетущего сна. Все они легко и естественно вступили на широкую, светлую дорогу логичного и разумного соглашения, по которой идем теперь мы и весь современный мир.

Я попытаюсь изложить перед вами те основные принципы, которые как бы испарились из их ума. На первом плане тут фигурирует древняя система «собственности», вызывавшая такую чудовищную путаницу в деле управления землей, на которой мы живем. Даже в прежние времена никто не считал эту систему справедливой или идеально удобной, но все принимали ее как должное. Предполагалось, будто общество, живущее на земле, совершенно порвало связь с землей, за исключением отдельных, частных случаев, когда требовалось право на пользование проезжими дорогами или пастбищами. Вся остальная земля была самым фантастическим образом раздроблена на участки, на длинные полосы, квадраты или треугольники различной величины, начиная с сотни квадратных миль и кончая несколькими акрами; вся земля находилась в почти неограниченном распоряжении целого ряда управителей, носивших название землевладельцев. Эти управители владели землей почти так же, как мы теперь владеем своими шляпами; они ее покупали, продавали и разрезали на куски, как какой-нибудь сыр или окорок, они могли свободно истощать ее, оставлять в запустении или воздвигать на ней безобразные, хотя и очень дорогие здания. Если обществу нужно было построить дорогу или пустить трамвай, если нужно было где-то воздвигнуть город, или хоть небольшой поселок, или даже просто место для прогулок, то в таких случаях приходилось заключать кабальные договоры с каждым из самодержцев, владевших этой землей. Нигде на всем земном шаре ни один человек не мог шагу ступить без того, чтобы предварительно не уплатить аренды или оброчной подати одному из этих землевладельцев, в то время как те не были связаны практически никакими обязанностями по отношению к номинальным местным или общегосударственным властям той страны, в которой находились их владения.

Я знаю, что это похоже на бред сумасшедшего, но таким сумасшедшим было тогда все человечество. В старых странах Европы и Азии передача местной власти в руки земельных магнатов была вначале оправданна; но землевладельцы, в силу всеобщей развращенности тех времен, уклонялись от своих обязанностей и не выполняли их. А в так называемых новых странах — в Соеди-

ненных Штатах Америки, в Капской колонии, в Австралии и в Новой Зеландии — в течение нескольких десятилетий девятнадцатого века происходила бешеная раздача земли в вечное владение любого человека, пожелавшего присвоить ее. Были ли там уголь, золото или нефть, богатая, плодородная почва или удобное местоположение для гавани или города — все равно.

Одержимое навязчивой идеей, безрассудное правительство сзывало всех, кого придется, и множество низких, продажных и жестоких авантюристов сбегалось для того, чтобы основать новую земельную аристократию. После короткого века упований и гордости население великой республики Соединенных Штатов Америки, на которую человечество возлагало столько надежд, превратилось большею частью в толпу безземельных бродяг, а землевладельцы и железнодорожные короли — владельцы пищи (ибо земля — это пища) и минеральных богатств — управляли всем, подавали ей, как нищей, милостыню в виде университетов и расточали свои богатства на такую бесполезную мишурную и безумную роскошь, какой никогда еще не видел мир. До Перемены никто из этих государственных деятелей не находил в этом ничего неестественного, теперь же все они увидели в этом сумасбродную и уже исчезнувшую иллюзию периода умопомешательства.

И точно так же, как земельный вопрос, решали люди сотни других вопросов о различных системах и установлениях, о всех сложных и запутанных сторонах человеческой жизни. Они говорили о торговле, и я только теперь впервые узнал, что может быть купля и продажа, при которых никто ничего не теряет; они говорили об организации промышленности, и она уже рисовалась мне под руководством людей, не ищущих в ней никаких личных и низменных выгод. Туман издавна привычных представлений, запутанных личных отношений и традиционных взглядов рассеялся на всех ступенях процесса общественных отношений людей. Многое из того, что скрывалось долгие века, раскрылось теперь с предельной ясностью и полнотой. Эти пробудившиеся люди смеялись здоровым, всеисцеляющим смехом, и вся эта путаница школ и колледжей, книг и традиций, весь хаос различных веро-

ваний, полусимволических, полуформальных, вся сложная, расслаблявшая и сбивавшая с толку система внушений и намеков, среди которых юношество терялось в сомнениях, утрачивало гордость, честь и самоуважение, превратились теперь всего лишь в забавное воспоминание.

— Юношество нужно воспитывать сообща,— сказал Ричовер,— и говорить с ним вполне откровенно. До сих пор мы не столько воспитывали его, сколько скрывали от него жизненные явления и расставляли ему ловушки. А ведь как легко можно было все это сделать, и как легко это сделать теперь!

Как легко можно все это сделать!

Эти слова в моих воспоминаниях звучат как лейтмотив всего заседания совета министров, но когда они были сказаны, в них слышалось огромное облегчение, сила, и звучали они молодо и уверенно. Да, все можно сделать легко, если есть искренность и смелость. Да, когда-то такие общеизвестные истины казались новостью, чудесным откровением.

При такой широте перспектива войны с немцами — с этой мифической храброй вооруженной дамой, которая называлась Германией,— сразу перестала занимать умы, оказалась всего лишь ничтожным, исчерпанным эпизодом. Мелмаунт уже заключил перемирие, и все министры, с удивлением вспомнив о войне, свели вопрос о мире к простой договоренности о некоторых частностях. Вся схема управления миром казалась им теперь непрочной и недолговечной в большом и малом, а всю невообразимую паутину церковных и светских округов, областей, муниципалитетов, графств, штатов, департаментов и наций с их властями, которые никак не могли договориться между собой и разделить сферу влияния; всю путаницу мелких интересов и претензий, в котором кишело, как блохи в грязной, старой одежде, множество ненасытных юристов, агентов, управителей, директоров и организаторов; всю сеть тяжб, барышничества, соперничества и все заплаты старого мира — все это они отбросили прочь.

— Что теперь нужно? — спросил Мелмаунт.— Вся эта неразбериха слишком прогнила, чтобы заниматься ею. Мы должны начать все сначала. Так начнем же.

3

«Мы должны начать все сначала». Эти простые, мудрые слова показались мне тогда необычайно смелыми и благородными. Когда Мелмаунт произнес их, я готов был отдать за него жизнь. На самом же деле в тот день все было так же туманно, как мужественно: нам еще совсем не ясны были будущие формы того, что мы теперь начинали. Ясно было только одно: старый строй должен неизбежно исчезнуть...

И вскоре — сперва, правда, с остановками, прихрамывая,— руководимое истинно братскими чувствами человечество приступило к созиданию нового мира. Эти годы, первые два десятилетия новой эпохи, были в своих ежедневных подробностях периодом радостного труда, и каждый видел главным образом свою долю работы и почти не охватывал целого. Только теперь, оглядываясь назад, когда прошло столько лет, с высоты этой башни, я вижу живую последовательность всех перемен, вижу, как жестокая неразбериха былых времен прояснилась, упростилась, растворилась и исчезла. Где теперь тот старый мир? Где Лондон, этот мрачный город дыма и все застилающего мрака, наполненный грохотом и беспорядочным гулом, с лоснящейся от нефти, кишащей баржами рекой в грязных берегах, с мрачными башнями и почерневшими куполами, с печальными пустынями закоптелых домов, с тысячами истасканных проституток и миллионами всегда спешащих клерков? Даже листья на его деревьях были покрыты сальной копотью. Где чисто выбеленный Париж, с зеленой, аккуратно подстриженной листвой, с его изысканным вкусом, тонко организованным развратом и армиями рабочих, стучавших своими деревянными башмаками по мостам при сером холодном свете зари? Где теперь Нью-Йорк, этот великий город лязга металла и бешеной энергии, обуреваемый ветрами и конкуренцией, с его небоскребами, которые соперничают друг с другом и тянутся все выше к небу, безжалостно затеняя то, что осталось внизу? Где заповедные уголки тяжеловесной пышной роскоши, таившиеся в его дебрях? Где бесстыдный, драчливый, продажный порок заброшенных трущоб? Где все отталкивающее безобразие его кипучей жизни? И где теперь Филадельфия с ее

бесчисленными особняками? Где Чикаго с его нескончаемыми, обагренными кровью бойнями и многоязычными мятежными трущобами?

Все эти обширные города уступили место другим и исчезли, как мои родные гончарни, мой черный край; наконец начали жить и те, кто был искалечен, голоден и изуродован, затерян в их лабиринтах, среди их забытых и заброшенных жилищ и их громадных, безжалостных, плохо придуманных промышленных машин. Все эти города, огромные и случайные, исчезли без следа. Нигде во всем мире вы не увидите в наши дни ни одной дымящей трубы, не услышите плача измученных непосильным трудом голодных детей. Не почувствуете мрачного отчаяния исстрадавшихся женщин; шум зверских ссор и драк на улицах, все постыдные наслаждения и вся уродливость и грубость тщеславного богатства — все это исчезло вместе со старым строем нашей жизни. Оглядываясь на прошлое, я вижу, как при сноске домов в воздух, очищенный зеленым газом, поднимаются громадные клубы пыли; я снова переживаю Год Палаток, Год Строительных Лесов, и, как торжество новой темы в музыкальной пьесе, возникают великие города Нового времени. Появляются Керлион и Армедон, города-близнецы нижней Англии, с извилистым летним городом Темзы между ними; изможденный, грязный Эдинбург умирает, чтобы восстать снова белым и высоким под сенью его древних гор; и Дублин, тоже преображенный,— роскошный, светлый и просторный, город веселого смеха и теплых сердец, он радостно блестит под снопами солнечных лучей, пронизывающих мягкий, теплый дождь. Я вижу большие города, которые построила Америка, вижу Золотой Город, с его вечно зреющими плодами на широких приветливых дорогах, и Город Тысяч Башен — город колокольного перезвона. Я снова вижу Город Театров и Церквей, Город Солнечной Бухты и новый город, который все еще называют Ута; вижу Мартенабар, этот огромный белый зимний город горных снегов, с куполом обсерватории и с величественным фасадом университета, раскинутого на утесе. Вижу и менее крупные города: церковные приходы, тихие места отдохновения, поселки, наполовину укрывшиеся в лесу, с речушками, журчащими по их улицам, деревни, обвитые узором кедровых аллей; деревни садов,

роз, удивительных цветов и постоянного жужжания пчел. По всему миру свободно разгуливают наши дети, наши сыновья, которых старый мир обратил бы в жалких клерков и приказчиков, в изнуренных пахарей и в слуг; наши дочери, которые прежде были бы худосочными работницами, проститутками и потаскушками, измученными заботой матерями или иссохшими, озлобленными неудачницами. Теперь же все они, радостные и смелые, разгуливают по всему миру, учатся, живут, работают, счастливые и сияющие, добрые и свободные. Я представляю, как они, побродив в торжественной тишине римских развалин, среди пирамид Египта или по храмам Афин, появляются затем в счастливом Мейнингтоне или в Орбе с его дивной белой тонкой башней... Но кто может описать полноту и радость жизни, кто может перечислить все наши новые города, рассеянные по всему миру, города, воздвигнутые любящими руками для живых людей, города, вступая в которые люди проливают слезы радости: так они прекрасны, изящны и уютны...

Я, наверно, предвидел это будущее уже тогда, когда сидел там, позади дивана, где лежал Мелмаунт; но теперь я знаю, как все это выполнено, и действительность не только оправдала мои грезы, но и превзошла их. Однако кое-что я все же предвидел, иначе почему бы мое сердце билось тогда так радостно?

КНИГА III

НОВЫЙ МИР

ГЛАВА I

ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПЕРЕМЕНЫ

1

До сих пор я ничего не говорил о Нетти и совсем отошел от личной моей истории. Я пытался дать вам понятие о всеобщем перерождении, о влиянии ослепительно быстрого восхода, о том, как он все заливал своим светом и пробуждал к жизни. В воспоминаниях вся моя жизнь до Перемены рисуется мне каким-то темным коридором, лишь со стороны озаряемым иногда мимолетными слабыми проблесками красоты. Все же остальное представляет тупую боль и мрак. И вот внезапно стены, так мучительно давившие меня, рушатся и исчезают, и я, ослепленный, смущенный и счастливый, вступаю в этот сладостный, прекрасный мир, с его чудесным, непрерывным разнообразием, с его неисчерпаемыми возможностями и наслаждениями. Если бы я обладал музыкальным дарованием, то сочинил бы мелодию, которая разливалась бы по миру шире и шире, впитывая в себя по пути другие мелодии, и поднялась бы наконец до экстаза торжества и радости. Она звучала бы гордостью, надеждой возрождения в утреннем блеске, весельем неожиданного счастья, радостью с трудом, после мучительных усилий, достигнутой цели; она была бы подобна только что раскрывшемуся бутону и счастливой игре детства, подобна матери, плачущей от счастья со своим первенцем на руках, подобна городам, строя-

щимся под звуки музыки, и большим кораблям, увешанным флагами, окропленным вином и скользящим среди ликующей толпы на свою первую встречу с морем. В этой музыке звучала бы Надежда, уверенная, сияющая и непобедимая, и все закончилось бы триумфальным шествием Надежды-победительницы, под звуки фанфар и со знаменами вступающей в широко раскрытые ворота мира.

И тут из этого лучезарного тумана радости появляется перерожденная Нетти.

Так она снова пришла ко мне, изумительная и непонятно почему забытая мной.

Она появляется, и с нею вместе — Веррол. Она появляется сегодня в моих воспоминаниях, как появилась тогда: вначале облик ее не совсем ясен, слегка искажен, словно и сейчас я вижу ее сквозь потрескавшиеся и немного помутневшие стекла почтовой конторы и бакалейного магазина в Ментоне. Это случилось на второй день после Перемены, и я отправлял тогда телеграммы Мелмаунта относительно его переезда на Даунинг-стрит.

Сперва Нетти и Веррол представились мне маленькими, неправильными фигурками: стекло искривляло их и изменяло их жесты и походку. Я почувствовал, что мне следует помириться с ними, и с этим намерением я вышел из лавки, когда задребезжал дверной звонок.

Увидав меня, они остановились как вкопанные, и Веррол воскликнул так, словно он давно меня искал:

— Вот он!

А Нетти воскликнула:

— Вилли!

Я подошел к ним, и обновленный мир вдруг предстал передо мной в ином свете.

Я словно в первый раз увидел этих людей — так они были красивы, благородны и человечны. Казалось, будто я никогда еще как следует их не видел, и действительно, я всегда смотрел на них сквозь туман своей эгоистической страсти. Прежде они были частью всеобщего мрака и низменности старого мира, а теперь их коснулось всеобщее обновление. И вдруг Нетти — и моя любовь к ней, и моя страсть к ней снова ожили во мне. Перемена, расширившая сердца людей, не уничтожила любви, скорей она бесконечно расширила силу люб-

ви и облагородила ее. Нетти стала центром той мечты о переустройстве мира, которая всецело овладела мною и наполнила мой ум. Тонкая прядь волос упала ей на щеку, губы ее раскрылись в обычной милой улыбке, а глаза были полны удивления, приветливого внимания, бесстрашного и дружеского участия.

Я взял ее протянутую руку и изумился.

— Я хотел убить тебя,— сказал я, стараясь постичь все значение этого желания, которое казалось мне таким же нелепым, как желание пронзить кинжалом звезды или убить солнечный свет.

— Мы потом искали вас,— сказал Веррол,— и не могли найти... Мы слышали еще один выстрел.

Я перевел взгляд на него, и рука Нетти выпала из моей. Я вспомнил, как они упали вместе, и подумал, как сладостно было пробуждение на этой заре рядом с Нетти. Мне представилось, как, держась за руки, промелькнули они передо мною в последний раз в сгущающемся тумане. Зеленые крылья Перемены распростерлись над их неверными шагами. Так они упали. И пробудились — любящие, вместе, в райское утро. Кто может сказать, как ярок был для них солнечный свет, как прекрасны цветы, как сладостно пение птиц?

Так думал я, но губы мои говорили иное:

— Пробудившись, я бросил мой револьвер.

От сильного смущения я говорил пустые слова.

— Я очень рад, что не убил вас, что вы здесь — невредимые и прекрасные...

— Послезавтра я возвращаюсь назад в Клейтон,— объяснял я.— Здесь я стенографировал для Мелмаунта, но теперь это почти кончено...

Оба они молчали, и хоть я и сам вдруг почувствовал, что теперь все это ничего не значит, я продолжал объяснять:

— Его перевозят на Даунинг-стрит, где у него есть целый штат, так что во мне не будет надобности... Вы, конечно, несколько удивлены, что я тут у Мелмаунта. Видите ли, я встретил его... случайно... тотчас же после моего пробуждения. Я нашел его на дороге, у него была сломана нога. Теперь мне нужно в Клейтон, чтобы помочь подготовить один доклад. Я очень рад, что

снова вижу вас обоих,— тут голос мой слегка дрогнул,— и хочу с вами попрощаться и пожелать вам всего хорошего.

Это вполне соответствовало тому, что мелькнуло у меня в голове, когда я увидел их в окно бакалейной лавки, но совсем не выражало моих чувств и мыслей в ту минуту. Я продолжал говорить лишь для того, чтобы не было неловкого молчания. Но я чувствовал, как трудно мне будет расстаться с Нетти, и тон моих слов был не совсем искренен. Я замолчал, и мы с минуту глядели друг на друга, не говоря ни слова.

Всего больше открытий при этом свидании, мне думается, сделал я. Мне впервые стало ясно, как, в сущности, мало отразилась Перемена на моем характере. Я в этом мире чудес забыл на время свою любовь. Только и всего. Я ничего не утратил, ничего не лишился, мой характер остался таким же, только несравнимо выросло умение мыслить и владеть собой, и новые интересы захватили меня. Зеленый газ исчез, омыв и отполировав наши умы, но мы остались самими собой, хоть и жили теперь в новой, лучшей атмосфере. Мои влечения не изменились; очарование Нетти только усилилось благодаря тому, что мое восприятие стало живее и острее. Стоило мне только ее увидеть и взглянуть в ее глаза, как мое влечение к ней мгновенно пробудилось, но уже не безумное и необузданное, а разумное.

Я испытывал то же самое, что и в былое время, когда после своих писем о социализме отправлялся в Чексхилл.

...Я выпустил ее руку. Нелепо было бы так расставаться. Мы все это чувствовали и поэтому испытывали неловкость, из которой вывел нас, кажется, Веррол, сказав, что в таком случае нам нужно завтра где-нибудь встретиться и проститься; получалось, таким образом, что встретились мы только для того, чтобы сговориться о новом свидании. Мы условились, что на следующий день сойдемся все трое в Ментонской гостинице и вместе пообедаем.

Да, пока нам больше нечего было сказать друг другу...

Мы расстались с чувством неловкости. Я пошел вниз по деревне, не оглядываясь, удивляясь себе и испытывая большое смущение. Я словно открыл что-то такое, что расстраивало все мои планы, и это меня огорчало. В пер-

вый раз я возвращался, занятый своими мыслями, а не увлеченный работой для Мелмаунта. Я не мог не думать о Нетти, и в голове моей теснились мысли о ней и о Верроле.

2

Разговор, который мы вели втроем на заре Новой эры, глубоко врезался мне в память. Он дышал какой-то свежестью и простотой; в нем сказывались молодость, радость жизни и восторженность. Мы с наивной робостью разбирали самые трудные вопросы, которые Перемена поставила на разрешение людей. Помнится, мы их плохо понимали. Весь старый строй человеческой жизни разрушился и исчез, не было ни узкого соперничества, ни жадности, ни мелочной вражды, ни завистливой отчужденности. Но что же будет теперь? Вот тот вопрос, который обсуждали и мы и еще миллионы и миллионы людей...

По какой-то странной случайности это последнее свидание с Нетти неразлучно соединено в моих воспоминаниях с хозяйкой Ментонской гостиницы.

Ментонская гостиница была одним из немногих уютных уголков прежнего времени. Это была весьма процветающая гостиница, где охотно останавливались приезжие из Шэпхембери: здесь можно было пообедать и напиться чаю. При ней была широкая зеленая лужайка для крикета, окруженная беседками из вьющихся растений, среди клумб жабрея, мальв, синих дельфиниумов и многих других высоких простых летних цветов. Позади стояли лавры и остролисты, за ними возвышалась крыша гостиницы, и над нею вырисовывалась на фоне золотистой зелени бука и синего неба вывеска: Георгий Победоносец на белом коне, убивающий дракона.

Поджидая Нетти и Веррола в этом месте, словно предназначенном для свиданий, я начал беседовать с хозяйкой, широкоплечей веснушчатой улыбчивой женщиной. Мы говорили о первом утре после Перемены. Матерински ласковая, говорливая рыжеволосая женщина дышала здоровьем и была вполне уверена, что теперь все в этом мире изменится к лучшему. Эта уверенность и что-то в ее голосе вызвали во мне глубокую симпатию к ней.

— Теперь мы пробудились,— говорила она,— и все то, что было глупо и бессмысленно, теперь будет исправлено. Почему? Да уж так, я в этом уверена!

Ее добрые голубые глаза глядели на меня очень дружелюбно. Ее губы, когда она молчала, складывались в приятную, легкую улыбку.

В нас все еще были сильны старые традиции; все английские гостиницы в те дни поражали посетителей своей дороговизной, и я спросил ее, что будет стоить наш завтрак.

— Да ничего не платите,— сказала она,— или уплатите, сколько хотите. Эти дни ведь у нас праздник. Я думаю, как бы мы ни устроили наши дела, нам все же придется и платить и брать плату с посетителей, но я уверена, что мы не будем впредь волноваться из-за этих пустяков. К тому же я лично никогда особенно не интересовалась деньгами. Нередко я думала о том, как нужно поступать и что мне сделать, чтобы все уходили от меня довольные. О деньгах я не забочусь. Да, многое изменится, в этом нет сомнений, но я останусь здесь и буду делать счастливыми тех людей, которые проходят по нашим дорогам. Местечко здесь уютное, когда люди веселы; нехорошо только, когда они завистливы, скупы, утомлены, или объедаются не в меру, или когда напиваются и начинают буянить. Много счастливых лиц видела я здесь, и многие приходят ко мне, как старые друзья, но теперь будет еще лучше.

Она улыбалась, эта добродушная женщина, преисполненная радости, жизни и надежды.

— Я поджарю для вас и для ваших друзей такую яичницу,— сказал она,— какую они найдут только разве на небе. Я чувствую, что готовлю в эти дни так, как никогда прежде, и сама радуюсь.

Как раз в эту минуту Нетти и Веррол показались под простой аркой из пунцовых роз, украшавшей вход в гостиницу. Нетти была в белом платье и широкополой шляпе, а Веррол в сером костюме.

— Вот мои друзья,— сказал я. Но, несмотря на магическое действие Перемены, что-то затемнило мое солнечное настроение, как тень от облака.

— Красивая парочка,— заметила хозяйка, когда они пересекали бархатистую зеленую лужайку.

Они действительно составляли красивую пару, но это мало радовало меня... скорей, напротив, огорчало.

3

Эта старая газета, этот первый после Перемены номер «Нового Листка», эти рассыпавшиеся куски — последняя реликвия исчезнувшего века. При легком прикосновении к этому листку я мысленно переношусь через пропасть в пятьдесят лет и снова вижу, как мы втроем сидим в беседке за столом, вдыхаю аромат шиповника, которым был напоен воздух, и во время продолжительных наших пауз слышу громкое жужжание пчел над гелиотропами.

Это было на заре нового времени, а мы все трое еще несли на себе родимые пятна и одежды старого мира.

Я вижу себя, смуглого, плохо одетого юношу, с синевато-желтым синяком под челюстью от удара, нанесенного мне лордом Редкарром. Наискось от меня сидит Веррол; он выше меня ростом, лучше одет, светел и спокоен; он на два года старше меня, но не кажется старше, так как у него более светлая кожа. А напротив меня сидит Нетти и внимательно смотрит на меня своими темными глазами. Никогда еще я не видал ее такой серьезной и красивой. На ней все то же белое платье, в котором я видел ее там, в парке, а на нежной шее все та же нитка жемчуга и маленький золотой медальон. Она сама все та же и вместе с тем так сильно изменилась; тогда она была девушкой, теперь стала женщиной, и за это же время я испытал такие муки и совершилась Перемена! На одном конце стола, за которым мы сидим, постлана безукоризненно чистая скатерть и подан вкусный, просто сервированный обед. Позади меня ярко зеленеют сады и огороды, освещенные щедрым солнцем. Я вижу все это. Я снова как бы сижу там и неловко ем, а на столе лежит газета, и Веррол говорит о Перемене.

— Вы не можете себе представить,— говорит он своим обычным, уверенным и приятным голосом,— как много эта Перемена изменила во мне. Я все еще не могу прийти в себя. Люди моего склада так странно созданы; прежде я этого не подозревал.

Он через стол наклонился ко мне, видимо, желая, чтобы я вполне его понял.

— Я чувствую себя как некое существо, вынутое из его скорлупы,— очень мягким и новым. Меня приучили известным образом одеваться, известным образом думать, известным образом жить; я вижу теперь, что все или очень многое из всего этого было ложной и узкой системой классовых традиций. Мы терпимо относились друг к другу, но были акулами для всего остального человечества. Да, хороши джентльмены, нечего сказать! Просто непостижимо...

Я помню, каким тоном он это сказал, вижу, как он поднял при этом брови и мягко улыбнулся.

Он замолчал. Ему хотелось высказать это, хотя мы собирались переговорить о другом.

Я слегка наклонился вперед и, сжав бокал в руке, спросил:

— Вы собираетесь пожениться?

Они посмотрели друг на друга.

Нетти тихо сказала:

— Уходя из дома, я не думала о замужестве.

— Знаю,— ответил я, с усилием поднял глаза и встретился со взглядом Веррола.

— Я думаю,— ответил он мне,— что мы навсегда соединили нашу судьбу... Но тогда нас охватило какое-то безумие.

Я кивнул головой и заметил:

— Все страсти — безумие,— но тут же усомнился в справедливости своих слов.

— Почему мы это сделали? — спросил он внезапно, обращаясь к ней.

Она сидела, опустив глаза и опершись подбородком о переплетенные пальцы.

— Так уж пришлось,— проговорила она по старой привычке уклончиво.

И тут она вдруг как бы раскрылась, умоляюще взглянула мне в глаза и заговорила с внезапной искренностью.

— Вилли,— сказала она,— я не хотела сделать тебе больно, право, не хотела. Я постоянно думала о тебе

и об отце, о матери, только это ничего не меняло, не заставляло меня свернуть с избранного пути.

— Избранного! — сказал я.

— Что-то меня захватило,— продолжала она,— ведь в этом так трудно разобраться...

Она горестно покачала головой.

Веррол молча барабанил пальцами по столу и затем снова обратился ко мне.

— Что-то шептало мне: «Бери ее». Все шептало. Я чувствовал бешеную страсть. Не знаю, как это случилось, но все, повторяю, или помогло этому, или не имело для нас никакого значения. Вы...

— Продолжайте,— заметил я.

— Когда я узнал про вас...

Я взглянул на Нетти.

— Ты никогда не говорила ему обо мне?

И при этом вопросе я почувствовал, как что-то старое кольнуло меня в сердце.

Веррол ответил за нее:

— Нет, но я догадался. Я видел вас в ту ночь, все мои мысли и чувства были обострены. Я понял, что это были вы.

— Вы восторжествовали надо мной... Если бы я мог, то восторжествовал бы над вами,— сказал я.— Но продолжайте.

— Все словно сговорилось окружить нашу любовь ореолом прекрасного. В ней была безотчетная душевная щедрость. Она означала катастрофу, она могла бы погубить ту политическую и деловую карьеру, к которой я готовился с детства, которая была для меня вопросом чести. Но от этого любовь только стала еще притягательнее. Она сулила Нетти позор, гибель, и это еще более усиливало соблазн. Ни один здравомыслящий или порядочный человек не одобрил бы наш поступок, но в этом-то и был самый сильный соблазн. Я воспользовался всеми преимуществами своего положения. Это было низко, но в то время это не имело никакого значения.

— Да,— заметил я,— все верно. И та же мрачная волна, которая подхватила вас, влекла и меня в погоню за вами с револьвером в руке и с безумной ненавистью в сердце. А ты, Нетти? Какое слово соблазнило тебя? «Пожертвуй собою»? «Бросайся в пропасть»?

Руки Нетти упали на стол.

— Я сама не знаю, что это было,— заговорила она от всего сердца.— Девушки не приучены так разбираться в своих мыслях и чувствах, как мужчины. Я и теперь не могу разобраться. Тут было множество мелких, подленьких причин, бравших верх над долгом. Подлые причины. Мне, например, нравилось, как он хорошо одевается.— Она улыбнулась, сверкнула улыбкой в сторону Веррола.— Я мечтала, например, что буду, как леди, жить в отеле, иметь прислугу, дворецких и прочее. Это отвратительная правда, Вилли. Да, меня пленяли такие гадкие вещи и даже еще худшие.

Я все еще вижу, как она каялась передо мною, высказываясь с откровенностью, такой же яркой и поразительной, как и заря первого великого утра.

— Не все было так мелко,— тихо заметил я после молчания.

— Нет,— сказали они в один голос.

— Но женщина более разборчива, чем мужчина,— добавила Нетти.— Мне все представлялось в виде маленьких, ярких картинок. Знаешь ли ты, что... в этой твоей куртке есть что-то... Ты не рассердишься, если я скажу? Нет, теперь, конечно, не рассердишься!

Я покачал головой.

— Нет.

Она говорила очень проникновенно, спокойно и серьезно.

— Сукно на твоей куртке не чисто шерстяное,— сказала она.— Я знаю, как ужасно быть кругом опутанной такими мелочами, но так оно и было. В прежнее время я ни за что на свете не призналась бы в этом. И я ненавидела Клейтон и всю его грязь. А кухня! Эта ужасная кухня твоей матери! К тому же я боялась тебя, Вилли. Я не понимала тебя, а его я понимала. Теперь другое дело, но тогда я знала, чего он хочет. И к тому же его голос...

— Да, — согласился я, ничуть не задетый этим открытием.— Да, Веррол, у вас хороший голос. Странно, что я никогда прежде этого не замечал.

Мы помолчали немного, всматриваясь в свои обнаженные души.

— Боже мой! — воскликнул я.— Каким жалким лоцманом был наш ничтожный рассудок в бурных волнах наших инстинктов и невысказанных желаний, в сумятице ощущений и чувств — совсем как... как куры в клетке, смытые за борт и бестолково кудахтающие в морских просторах.

Веррол одобрительно улыбнулся этому сравнению и, желая продолжить его, сказал:

— Неделю назад мы цеплялись за наши клетки и то вздымались с ними на гребень волн, то опускались. Все это было так неделю назад. А теперь?

— Теперь,— сказал я,—ветер утих. Буря жизни миновала, и каждая такая клетка каким-то чудом превратилась в корабль, который справится с ветром и морем.

4

— Что же нам делать? — спросил Веррол.

Нетти вынула темно-красную гвоздику из букета, стоявшего в вазе перед нами, и принялась осторожными движениями разворачивать лепестки и выдергивать их один за другим. Я помню, что она занималась этим во время всего нашего разговора. Она укладывала эти оборванные, темно-красные лепестки в длинный ряд и снова перекладывала их то так, то сяк. Когда наконец я остался один с этими лепестками, узор все еще не был закончен.

— Что ж,— сказал я,— дело кажется мне совсем простым. Вы оба,— я запнулся,— любите друг друга.

Я замолчал; они тоже молчали, задумавшись.

— Вы принадлежите друг другу. Я думал об этом, обдумывал с разных точек зрения. Я желал невозможного... Я вел себя дурно. Я не имел никакого права гнаться за вами.

Обратившись к Верролу, я спросил:

— Вы считаете себя связанным с ней?

Он утвердительно кивнул головой.

— И никакие социальные влияния, никакие изменения теперешней благородной и ясной атмосферы — это ведь может случиться — не заставят вас вернуться к прежнему?..

Он ответил, глядя мне прямо в глаза:

— Нет, Ледфорд, нет.

— Я не знал вас,— сказал я,— и был о вас совсем другого мнения.

— Да, я был другим человеком,— возразил он.

— Теперь все изменилось,— заметил я.

И умолк, потеряв нить разговора.

— А я,— заговорил я снова, мельком взглянув на опущенную голову Нетти, а затем склонился вперед, внимательно рассматривая лепестки,— так как я люблю Нетти и всегда буду любить ее и так как любовь моя полна страсти и мне невыносимо видеть, что она ваша, и всецело ваша,—мне остается только уйти. Вы должны избегать меня, а я вас... Мы должны жить в разных концах земли. Я должен собрать всю силу воли и отдаться другим интересам. В конце концов страсть— еще не все в жизни! Может быть, она все в жизни для животного и дикаря, но не для нас. Мы должны расстаться, и я должен забыть. Иного выхода нет.

Я не поднимал глаз, а продолжал внимательно смотреть на эти лепестки, так неизгладимо запечатлевшиеся в моей памяти, и напряженно ждал; но я чувствовал согласие в позе Веррола. Первой молчание прервала Нетти.

— Но...— начала она и запнулась.

Я подождал продолжения, потом вздохнул, откинулся на спинку стула и, улыбаясь, заметил:

— Это очень просто теперь, когда мы обладаем хладнокровием.

— Но разве это просто? — спросила Нетти и сразу зачеркнула этим все, что я говорил.

Я поднял глаза и увидел, что она смотрит на Веррола.

— Понимаешь,— сказала она,— Вилли мне нравится. Трудно рассказать, что чувствуешь... но я не хочу, чтобы он ушел от нас вот так.

— Но тогда,— возразил Веррол,— как же...

— Нет,— прервала его Нетти и смешала все аккуратно разложенные лепестки в одну кучку. Потом принялась очень быстро раскладывать их в длинный прямой ряд.

— Это так трудно... Я никогда в жизни не пыталась до конца разобраться в самой себе. Но я знаю одно: я дурно поступила с Вилли. Он... он полагался на

меня. Знаю, что полагался. Я была его надеждой. Я была той обещанной радостью... которая должна была увенчать его жизнь, была самым лучшим, лучшим из всего, что он до сих пор имел. Он втайне гордился мною... Он жил надеждой. Когда мы с тобой начали встречаться... я знала, что это было почти предательство.

— Предательство? — сказал я.— Ты только ощупью искала свою дорогу, а это было не так-то легко и просто.

— Ты считал это изменой.

— Не знаю.

— Во всяком случае, я считала это изменой и отчасти считаю и теперь. Я была нужна тебе.

Я слабо запротестовал, потом задумался.

— Даже когда он пытался убить нас, — говорила она своему возлюбленному, — я втайне сочувствовала ему. Я вполне понимаю все те ужасные чувства, это унижение... унижение, через которое он прошел.

— Да,— заметил я,— но я все же не вижу...

— И я не вижу. Я только стараюсь увидеть. Но знаешь, Вилли, ты все же часть моей жизни. Я знаю тебя дольше, чем Эдуарда. Я знаю тебя лучше, я знаю тебя всем сердцем. Ты думаешь, что я никогда тебя не понимала, не понимала ничего, что ты мне говорил, твоих стремлений и прочего. Нет, я понимала, понимала больше, чем мне это казалось в то время. Теперь... теперь мне это ясно. То, что мне нужно было понять в тебе, было глубже того, что мне дал Эдуард. Теперь я знаю... Ты часть моей жизни, и я не хочу лишиться ее теперь, когда я это поняла... не хочу потерять тебя.

— Но ты любишь Веррола.

— Любовь — такая непостижимая вещь... И разве есть одна любовь? Разве только одна? — Она повернулась к Верролу и продолжала: — Я знаю, что люблю тебя. Я могу теперь говорить об этом. До сегодняшнего утра я не могла бы. Кажется, будто мой ум вырвался из удушливой тюрьмы. Но что такое эта моя любовь к тебе? Это множество влечений... к различным твоим свойствам... твой взгляд... твои манеры... Это все ощущения... ощущение чего-то красивого, нежного... Лесть тоже, ласковые слова, и мои надежды, и самообман. И все это свивалось в клубок и захватывало меня, ибо во мне

пробуждались сокровенные, неосознанные чувства и влечения, и тогда мне казалось, будто этого довольно. Но это было далеко не все — как бы мне пояснить? Это все равно, что светлая лампа с очень толстым абажуром и все остальное в комнате скрыто, но вы снимаете абажур — и вот все остальное тоже видно — все тот же свет, только теперь он освещает...

Она остановилась, и мы некоторое время молчали, а Нетти быстрыми движениями руки составила из лепестков пирамиду.

Образные выражения всегда отвлекают меня, и в уме моем, словно припев, звучали ее слова: «Все тот же свет»...

— Ни одна женщина не верит этому,— вдруг объявила Нетти.

— Чему?..

— Ни одна женщина никогда этому не верила.

— Ты должна выбрать себе одного,— сказал Веррол, понявший ее прежде меня.

— Нас для этого воспитывают. Об этом нам говорят и пишут в романах. Люди так и смотрят, так и ведут себя, чтобы внушить нам: завтра придет тот, единственный. Он станет для тебя всем, а все остальные ничем. Оставь все остальное, живи только для него.

— И мужчинам твердят то же самое о их будущей жене,— сказал Веррол.

— Только мужчины этому не верят. У них более самостоятельный ум... Мужчины никогда не ведут себя так, будто они этому верят... Не обязательно быть старухой, чтобы это *знать*. *Они* не так созданы, чтобы этому верить. И женщины тоже не так созданы, но их воспитывают по шаблону, приучают скрывать свои тайные мысли чуть ли даже не от самих себя.

— Да, это верно,— заметил я.

— Ты их, во всяком случае, не скрываешь,— сказал Веррол.

— Теперь нет, теперь я говорю все, что думаю... Благодаря комете. И Вилли. И тому, что *я, в сущности*, никогда не верила всему этому, хотя и думала, что верю. Глупо отстранить от себя Вилли, принизить, оттолкнуть и никогда его больше не видеть, когда мне он так

нравится. Жестоко, преступно, безобразно торжествовать над ним, точно над каким-то побежденным врагом, и думать, что я при этом могу быть спокойна и счастлива. Закон жизни, предписывающий подобные поступки, бессмыслен. Это эгоистично и жестоко. Я...— В ее голосе послышалось рыдание.— Вилли, я не хочу!

Я сидел и в мрачном раздумье следил за быстрыми движениями ее пальцев.

— Да, это жестоко,— начал я наконец, стараясь говорить спокойно и рассудительно.— И все-таки это в порядке вещей... Да... Видишь ли, Нетти, мы все еще наполовину животные. Мы, мужчины, как ты сама сказала, обладаем более самостоятельным умом, чем женщины. Комета этого не изменила, а только помогла нам это понять. Мы появились на свет в результате бурного слияния слепых, неразумных сил... Я возвращаюсь к тому, что сейчас сказал: мы увидели наш жалкий разум, нашу жажду лучшей жизни, самих себя плывущими по течению страстей, инстинктов, предрассудков и полуживотной тупости... Вот мы и цепляемся за все, точно люди, проснувшиеся на плоту.

— Ну, вот мы и вернулись к моему вопросу,— мягко вставил Веррол.— Что же нам делать?

— Расстаться,— ответил я,— потому что наши тела, Нетти, не бесплотны. Они остались теми же; я где-то читал, что наше тело носит в себе доказательство нашего происхождения от весьма низких предков; насколько мне помнится, строение нашего внутреннего уха и зубов унаследовано нами от рыб; у нас имеются кости, намекающие на наше родство с сумчатыми животными, и сотни признаков обезьяны. Даже твое прекрасное тело, Нетти, носит эти следы... Нет, Нетти, выслушай меня до конца.— Я нетерпеливо наклонился вперед.— Наши ощущения, страсти, желания, их сущность, как и сущность нашего тела,— чисто животные, и в них соперничество слито с желанием. Ты исходишь теперь от разума и обращаешься к нашему разуму, и это возможно, когда человек потрудился физически, насытился и теперь ничего не делает; но, возвращаясь к жизни, мы возвращаемся к материи.

— Да-а,— протянула слушавшая внимательно Нетти,— но мы приобрели над нею власть.

— Только в какой-то мере повинуясь ей. Волшебных средств для этого нет; чтобы покорить материю, нужно разъединить врага и взять в союзники ту же материю. При помощи веры человек может сдвинуть горы в наше время, это правда. Он может сказать горе: «Сдвинься с места и ввергнись в море»,— но он способен на это только потому, что помогает и доверяет своему брату-человеку, потому, что обладает достаточным знанием, умом, терпением и смелостью, чтобы привлечь на свою сторону железо, сталь, динамит, краны, грузовики, общественные средства. Мне не победить мою страсть к тебе, если я буду постоянно видеть тебя и только разжигать эту страсть. Я должен удалиться, чтобы не видеть тебя, занять себя другими интересами, отдаться борьбе, участвовать в общественной деятельности...

— И забыть? — спросила Нетти.

— Не забыть,— отвечал я,— но перестать вечно думать о тебе.

Она несколько секунд молчала.

— Нет,— проговорила она наконец, уничтожив последнюю фигуру, сложенную из лепестков, и взглянула на Веррола, который в эту минуту пошевелился и облокотился на стол. До этого он сидел, наклонившись вперед, и пальцы его рук были сцеплены.

— Знаете ли,— сказал Веррол,— я об этом почти не думал. В школе, в университете об этом не думают. Там, наоборот, мешают думать. Теперь все это, конечно, изменят. Мы, по-видимому,— он задумался,— по-видимому, касаемся вопросов, с которыми сталкивались, когда читали древних, когда пытались толковать, например, Платона, но никому и в голову не приходило перевести их с мертвого языка на язык живой жизни...

Он умолк и затем, как бы отвечая на какой-то свой невысказанный вопрос, продолжал:

— Нет. Я согласен с Ледфордом, Нетти, что люди по самой природе своей исключительны. Разум свободен и общается со всем миром, но женщина может принадлежать только одному мужчине. Все соперники должны быть устранены. Мы созданы для борьбы за существование, борьба — наша сущность; все живущее борется за существование, а значит, и самцы борются из-за самок

и по отношению к каждой женщине один одерживает победу. Остальные же удаляются.

— Как животные,— заметила Нетти.

— Да...

— В жизни есть и многое другое,— сказал я,— но в общем это так.

— Но ведь вы не боретесь! — воскликнула Нетти.— Все это изменилось потому, что у людей есть разум.

— Ты должна выбрать,— сказал я.

— А если я предпочитаю не выбирать?

— Ты уже выбрала.

— Ох,— воскликнула она не без досады.— Почему мы, женщины, всегда рабыни пола? Неужели же наступивший великий век Разума и Света ничего в этом не изменит? И мужчины тоже. Я нахожу все это нелепым. Я не считаю такое решение вопроса правильным, это только дурные привычки прошлого, которое... Инстинкты! Но ведь вы не позволяете вашим инстинктам руководить вами во множестве других дел. Вот я теперь между вами. Вот Эдуард. Я люблю его потому, что он веселый и приятный, и потому, что... ну, просто потому, что он мне нравится. И вот Вилли, частица моего я, моя тайная любовь, мой старый друг. Почему мне нельзя иметь обоих? Разве я не разумное существо, что вы всегда должны думать обо мне только как о женщине? Всегда видеть во мне только предмет борьбы? — Она на мгновение замолчала и вдруг обратилась ко мне с неожиданным предложением:— Останемся вместе, все трое. Не будем расставаться. Разлука — это ненависть, Вилли. Почему бы нам не остаться друзьями? Почему бы не встречаться, не разговаривать?

— Разговаривать? — сказал я.— Разговаривать о таких, например, вещах, как сейчас?

Я взглянул через стол на Веррола, и наши взоры встретились; мы старались взаимно проникнуть в душу друг друга. Это была честная, прямая проверка, откровенная борьба.

— Нет,— решил я.— Между нами это невозможно.

— Никогда? — спросила Нетти.

— Никогда,— убежденно ответил я.

Я сделал над собою усилие.

— В таких вопросах мы не можем бороться с законом и обычаями,— сказал я.— Подобные страсти слишком тесно связаны с нашим сокровенным существом. Хирургическая операция в этих случаях лучше, чем медленно изнуряющий недуг. Моя любовь требует от Нетти всего. Любовь мужчины не преклонение, а требование, вызов... К тому же,—тут я вставил самый веский довод,— я теперь отдался новой возлюбленной, и теперь я изменяю тебе, Нетти. За тобой и выше тебя стоит будущий Город Мира, и я участвую в его строительстве. Дорогая моя, ты только счастье, а он... он зовет меня! И даже если я только кровью своей окроплю камни, положенные в его основание,— я почти надеюсь, Нетти, что такова и будет моя доля,— я все равно хочу участвовать в строительстве этого города.

Я старался говорить как можно более убедительно.

— Никакие сердечные бури,— прибавил я несколько неловко,— не должны отвлекать меня от этого.

Минута молчания.

— В таком случае мы должны расстаться,— сказала Нетти. Глаза у нее были такие, будто ей дали пощечину.

Я утвердительно кивнул головой.

Снова наступило молчание; потом я встал. Мы все трое встали и расстались почти враждебно, без слов. Я остался в беседке один.

Я даже не посмотрел им вслед. Помню только, что почувствовал ужасную пустоту и одиночество. Я снова сел и глубоко задумался.

Вдруг я поднял голову. Нетти вернулась и стояла передо мной, пристально глядя на меня.

— После нашего разговора я все время думаю,— сказала она.— Эдуард позволил мне прийти к тебе одной. И я чувствую, что одна я, может быть, лучше смогу поговорить с тобой.

Я ничего не ответил, и это ее смутило.

— Я не думаю, что мы должны расстаться,— сказала она.— Нет, я не думаю, что нам нужно расстаться,— повторила она.— Люди живут по-разному. Не знаю, поймешь ли ты меня, Вилли. Ведь так трудно высказать то, что чувствуешь. Но мне нужно это высказать. И если нам предстоит расстаться навсегда, я хочу, чтобы было ска-

зано все. Раньше у меня были женские инстинкты и женское воспитание, которые заставляют женщину скрывать свои чувства. Но... Эдуард не все для меня... Пойми, Эдуард не все для меня! Мне хочется как можно яснее высказать тебе это. Одна — я еще не человек Во всяком случае, ты частица моего я, и я не в силах от тебя отказаться. К тому же я не понимаю, зачем мне от тебя отказываться. Между нами существует кровная связь. Мы вместе росли. Мы вошли в плоть и кровь друг друга. Я понимаю тебя. Право же, теперь я тебя понимаю. Я как-то сразу стала тебя понимать, и теперь я действительно понимаю тебя и твои мечты. Я хочу помогать тебе. Эдуард .. У Эдуарда нет никакой мечты... Мне страшно подумать, Вилли, что мы можем расстаться.

— Но мы уже решили, что должны расстаться.

— Но почему?

— Потому что я люблю тебя.

— А зачем мне скрывать, Вилли? Я тоже люблю тебя.

Наши взоры встретились. Она покраснела, но решительно продолжала:

— Ты глупый. Вся эта история глупая. Я люблю вас обоих.

— Нет,— сказал я,— ты сама не понимаешь, что говоришь.

— Ты хочешь сказать, что я должна уйти?

— Да, да. Уходи.

С минуту мы молча смотрели друг на друга, как будто из непостижимых, темных глубин силилось прорваться на поверхность что-то затаенное, невысказанное. Она хотела заговорить и запнулась.

— .Но нужно ли мне уйти? — спросила она наконец; губы ее дрожали, и слезы блистали в глазах, как звезды.

— Вилли...— снова заговорила она, но я прервал ее:

— Уходи. Да, уходи!

Мы снова замолчали.

Она стояла вся в слезах, олицетворенное сострадание, стремясь ко мне, жалея меня. Дыхание более широкой любви, которая выведет наконец наших потомков за пределы суровых и определенных обязательств личной жизни, коснулось нас как первое мимолетное дуновение вольного ветра, летящего с небесных высей. Мне хо-

телось взять ее руку и поцеловать, но я задрожал и понял, что силы изменят мне при первом прикосновении к ней...

И мы расстались, так и не приблизившись друг к другу, и Нетти ушла нерешительным шагом, оглядываясь, ушла со своим избранником, к избранной ею доле, ушла из моей жизни, и мне показалось, что с нею ушел из жизни солнечный свет...

После этого я, вероятно, сложил газету и положил ее в карман. Но последнее, что осталось в моей памяти,— это лицо Нетти, поворачивающейся, чтобы уйти.

6

Я помню все это очень ясно до сих пор. Я мог бы ручаться за верность каждого слова, вложенного мною в уста каждого из нас. И тут в моих воспоминаниях наступает провал. Я смутно припоминаю, что вернулся на дачу; припоминаю суматоху при отъезде Мелмаунта и отвращение, которое мне внушала энергия Паркера; помню также, что, спускаясь вниз по дороге, я очень хотел проститься с Мелмаунтом наедине.

Быть может, я уже колебался в моем решении навсегда расстаться с Нетти, так как, кажется, собирался рассказать Мелмаунту все подробности нашего свидания...

Я не помню, однако, чтобы мы с ним говорили об этом или о чем-либо еще, мы только наспех пожали друг другу руку. Впрочем, я не уверен. Все это изгладилось из моей памяти. Но я очень ясно и твердо помню, что чувствовал мрачное отчаяние, когда его автомобиль тронулся, поднялся на гору и исчез за холмом. Тут я впервые вполне ясно понял, что, в сущности, эта Великая Перемена и мои новые широкие планы не сулили мне в жизни полного счастья. При его отъезде мне хотелось кричать, протестовать, как будто против какой-то несправедливости. «Слишком рано,— думал я,— слишком рано оставлять меня одного».

Я чувствовал, что принес чересчур большую жертву, отказавшись от любви и страсти, от Нетти, чьей близости я так жаждал, от всякой возможности бороться за нее,— в сущности, от себя самого, и чувствовал, что после такой жертвы несправедливо было тотчас же

предоставить мне, с моим израненным сердцем, одиноко идти по пути сурового, холодного долга общественного служения. Я чувствовал себя новорожденным, голым и беспомощным.

— Нужно работать! — повторял я, стараясь вызвать в душе героические чувства, и со вздохом повернулся, радуясь тому, что на пути, который я избрал, меня по крайней мере ждет скорая встреча с моей дорогой матушкой.

Но, как ни странно, я помню, что провел вечер в Бирмингеме необыкновенно интересно и был в очень хорошем настроении. Я провел ночь в Бирмингеме потому, что движение поездов нарушилось и я не мог ехать дальше. Я отправился послушать оркестр, который давал в общественном парке концерт старой музыки, и завел разговор с одним человеком, который отрекомендовался бывшим репортером одной небольшой местной газеты. Он горячо говорил о переполнявших его планах переустройства жизни на земле, и я помню, что его благородные мечты вдохновили и меня. При лунном свете мы отправились к местечку под названием Бурнвилль, и дорогой он говорил о новых общественных постройках взамен старых изолированных жилищ и о том, как теперь будут жить люди.

Местечко Бурнвилль имело некоторое отношение к нашему разговору. Тут одна частная промышленная фирма сделала попытку улучшить жилищные условия рабочих. С нашей современной точки зрения такая попытка казалась бы в высшей степени ничтожным проявлением благожелательности, но в то время она считалась чем-то из ряда вон выходящим, так что люди издалека приезжали посмотреть на чистенькие домики с ваннами, устроенными под полом кухни (выбрали удобное место!), и другими блестящими приспособлениями. Никто в тот агрессивный век, по-видимому, не замечал опасности, грозившей свободе оттого, что рабочие становились арендаторами и должниками своих хозяев, хотя давно уже был издан закон, запрещавший выдавать заработную плату натурой. Но мне и моему случайному знакомому казалось в ту ночь, что мы всегда предвидели эту опасность, и мы не сомневались, что жилищный вопрос должен быть разрешен

общественным, а не частным путем. Но больше всего нас интересовала возможность устройства общих детских, общих кухонь и комнат для общего отдыха и развлечений, что дало бы значительную экономию труда, а вместе с тем предоставило бы жильцам больше простора и свободы.

Это было очень интересно, но все же мне было невесело, и когда я лег в постель в ту ночь, то думал о Нетти и о том, как странно переменились ее вкусы, и в иные минуты я по-своему даже молился. В ту ночь я молился — признаюсь вам — тому идолу, которого я воздвиг в сердце своем, идолу, который и по сей день олицетворяет для меня непостижимое, Великому Искуснику и Творцу, незримому властелину всех, кто строит мир и преображает человечество.

Но до и после этой молитвы мне все чудилось, что я вновь вижу Нетти, говорю с ней, убеждаю... А она так и не вступила в храм, где я творил свою молитву.

ГЛАВА II

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МОЕЙ МАТЕРИ

1

На следующий день я вернулся домой в Клейтон.

Новое необычайное сияние мира казалось еще ярче здесь, где витали мрачные воспоминания о безотрадном детстве, мучительном отрочестве и горестной юности. Мне казалось, будто я в первый раз вижу здесь утро. Ни одна труба не дымила в тот день, ни одна плавильная печь не работала, люди были заняты другими делами. Ярко блиставшее жаркое солнце сияло в воздухе, лишенном пыли, придавая странно веселый вид узким улицам. Я встретил много улыбающихся людей — они возвращались домой с общественного завтрака, временно устроенного в ратуше, впредь до лучшей организации этого дела, и в числе других увидел Парлода.

— Ты был прав относительно кометы! — тотчас воскликнул я.

Он подошел и сжал мою руку.

— Что здесь происходит? — спросил я.

— Нам доставляют пищу из других мест,— сказал он.— Мы начнем с того, что снесем все эти лачуги, а жить пока будем в палатках на пустырях.

Он начал рассказывать мне о предпринятых работах. Земельные комитеты Мидленда принялись за работу очень быстро и успешно, и план перераспределения населения в общих чертах был уже намечен. Сам Парлод занимался в наскоро созданном инженерном училище. Пока вырабатывались схемы работ, почти все стали снова посещать школы, чтобы приобрести возможно больше технических знаний и навыков ввиду предполагаемых обширнейших переустройств.

Он проводил меня до двери моего дома, и тут я встретил старого Петтигрю, спускавшегося по лестнице. Он был весь в пыли, и вид у него был усталый, но глаза смотрели веселее, чем обычно, и он довольно неловко нес непривычными руками корзину с рабочими инструментами.

— Как ваш ревматизм, мистер Петтигрю? — спросил я.

— Диета способна творить чудеса,— отвечал старик и посмотрел мне в глаза.— Эти дома,— сказал он,— очевидно, будут снесены, и наши понятия о собственности подвергнутся очень значительному пересмотру в свете разума; пока же я стараюсь хоть как-нибудь починить эту ужасную крышу. Подумать только, что я еще спорил и отлынивал!

Он поднял руку умоляющим жестом; углы его большого рта опустились, и он горестно покачал головой.

— Что было, то прошло, мистер Петтигрю.

— Ваша бедная, бесценная матушка! Такая хорошая, честная женщина! Такая простая, добрая и всепрощающая! Подумать только! Мой дорогой юноша,— мужественно закончил он,— я краснею от стыда.

— Весь мир краснел на заре первого дня после Перемены, мистер Петтигрю, да еще как краснел. Теперь все это забыто. Всем пришлось стыдиться того, что происходило до вторника.

Я протянул ему руку в знак прощения, забывая, что я тоже был вором, и он пожал ее и пошел своей доро-

гой, все еще качая головой и повторяя, что ему стыдно, но как будто несколько утешенный.

Отворилась дверь, и показалось радостное лицо моей бедной старой матушки.

— Вилли, мой мальчик, это ты, ты!

Я кинулся к ней по ступенькам, боясь, что она упадет.

Как она прижалась ко мне в коридоре, дорогая моя матушка!

Но прежде она все же затворила дверь. В этом сказалась старая привычка остерегаться моего своенравного характера.

— Милый, милый мой, много же пришлось тебе испытать горя! — И она прильнула лицом к моему плечу, опасаясь рассердить меня слезами, которые не в силах была сдержать.

Она всхлипнула и на мгновение притихла, крепко прижимая меня к сердцу своими старыми, натруженными руками...

Потом поблагодарила меня за телеграмму, и я, обняв, повел ее в комнату.

— Со мной все хорошо, мама,— сказал я,— мрачные дни миновали, прошли навсегда.

Тут она осмелилась дать себе волю и расплакалась, и это были слезы облегчения.

За пять тягостных лет она ни разу не показала мне, что еще может плакать...

2

Бедная моя матушка! Ей не суждено было долго жить в этом обновленном мире. Я не знал, как мало дней ей осталось, и делал то немногое (для нее это, быть может, было не так мало), что мог, чтобы загладить мою грубость в дни ненависти и возмущения. Я старался быть всегда вместе с ней, так как замечал, что она без меня тоскует. Не то чтобы были у нас общие мысли или развлечения, но ей нравилось видеть меня за столом, смотреть, как я работаю или как расхаживаю по комнате. В этом мире для нее уже не было подходящей работы, остались только те мелкие услуги, выполнять которые усталой и измученной старушке легко и приятно, и

мне кажется, что она была даже счастлива перед смертью.

Она все еще придерживалась своих нелепых старых религиозных взглядов восемнадцатого столетия. Она так долго носилась с этим своеобразным амулетом, что он стал как бы частицей ее самой. Но Перемена повлияла даже на ее упорную веру.

Я однажды спросил ее:

— Неужели же вы все еще верите в этот ад с его неугасимым огнем, дорогая матушка? Неужели при вашем нежном, любящем сердце вы можете в него верить?

Она поклялась, что верит.

Какие-то богословские хитросплетения заставляли ее верить в это, и однако...

Задумавшись, она несколько минут молча смотрела на цветущие примулы, потом положила дрожащую руку мне на плечо и сказала, как бы разъясняя мое детское заблуждение:

— Но знаешь ли, дорогой Вилли, я не думаю, что кто-нибудь попадет туда. Я никогда этого не думала...

3

Этот разговор запомнился мне потому, что меня покорило тогда умение матушки смягчать добротой души суровые богословские догмы, но он был лишь одной из наших бесчисленных бесед. После обеда, когда кончались дневные работы, я обыкновенно гулял с матерью в садах Лоучестера, выкуривал две-три папиросы и слушал ее сбивчивые речи обо всем, что ее занимало, пока не наступало время вечерних научных занятий. Как странно было бы раньше, если бы молодой человек из рабочей среды занимался изучением социологических вопросов, и как естественно это теперь!

Великая Перемена сделала очень мало для восстановления физических сил моей матери — она слишком долго прожила в своей мрачной подвальной кухне в Клейтоне, чтобы теперь основательно окрепнуть. Она только разгоралась, как угасающая искра в пепле под дуновением свежего воздуха, и это, несомненно, ускорило ее конец. Однако последние дни ее жизни были тихие,

спокойные, полные безоблачного счастья. Жизнь ее напоминала те ветреные, дождливые дни, которые разгуливаются только для того, чтобы блеснуть вечерней зарей. Ее день уже миновал. Среди удобств новой жизни она не приобрела новых привычек, не делала ничего нового, и только старое осветилось для нее более радостным светом.

Она вместе с другими пожилыми женщинами нашей общины жила в верхних комнатах Лоучестер-хауса. Эти верхние комнаты были просты, просторны, изящно и хорошо отделаны в георгианском стиле и приспособлены таким образом, чтобы доставлять их обитательницам возможно больше удобств, не заставляя их прибегать к посторонней помощи. Мы заняли различные так называемые «большие дома» и обратили их в общественные столовые — кухни там были для этого достаточно просторны — и в уютные жилища для людей старше шестидесяти лет, для которых уже наступило время отдыха. Мы приспособили для общих целей не только дом лорда Редкара, но и дом в Чексхилле — старая миссис Веррол оказалась достойной и умелой домоправительницей — и большинство прекрасных особняков в живописной местности между областью Четырех Городов и Уэльскими горами. К этим большим домам обыкновенно примыкали различные надворные постройки: прачечные, квартиры для семейной прислуги, помещения для скота, молочные фермы и тому подобные здания, терявшиеся в зелени; мы все это обратили в жилища и к ним вначале добавили палатки и легкие деревянные коттеджи, а позднее пристроили более солидные жилые помещения. Чтобы быть ближе к матери, я занял две комнаты в одном из новых общественных зданий, которыми наша община обзавелась раньше других; это было мне очень удобно, так как вблизи находилась станция электрической железной дороги, по которой я отправлялся на наши ежедневные совещания и для исполнения моей секретарской работы в Клейтоне.

Наша община была одной из первых, упорядочивших свое хозяйство. Нам очень помог деятельный лорд Редкар, прекрасно чувствовавший, как живописен дом его предков и как благотворно может влиять на людей его красота. Это он предложил избрать направление

дороги по буковым лесам и усеянным колокольчиками папоротниковым зарослям Вест-Вуда так, чтобы не нарушить очарования роскошного, густого, дикого парка, и мы могли гордиться нашими окрестностями. Когда рабочие начали переселяться, представители почти всех остальных общин, возникавших по городам-садам вокруг промышленной долины Четырех Городов, являлись к нам изучать расположение наших построек и архитектуру квадратных зданий, которыми мы заменили переулки между «большими домами» и резиденциями духовенства вокруг кафедрального собора, а также и то, как мы приспособили все эти здания к нашим новым социальным потребностям. Некоторые утверждали, правда, что превзошли нас. Но в одном они не могли нас превзойти: нигде во всей Англии не было таких рододендронов, как в наших садах: они родились только в наших краях, на щедрой торфяной почве без применения извести.

Эти сады были разбиты более пятидесяти лет тому назад, при третьем лорде Редкаре; в них было много рододендронов и азалий, и находились они в местах, так хорошо защищенных и так ярко освещаемых солнцем, что там росли и цвели огромные магнолии. Здесь росли также высокие деревья, обвитые красными и желтыми вьющимися розами, разнообразные цветущие кустарники, прекрасные хвойные деревья и такая пампасовая трава, какой не было ни в одном другом саду. В тени кустов раскинулись широкие лужайки и поляны с изумрудными газонами и разбросанными по ним цветниками роскошных роз, весенних луковичных цветов, первоцветов, нарциссов и примул.

Моей матери больше всего нравились в саду эти клумбы с маленькими круглыми блестящими глазками из бесчисленных желтых, красновато-коричневых и пурпурных цветов, и весною, в Год Строительства, она каждый день ходила посидеть на ту скамью, откуда лучше всего были видны эти цветники. Кроме красоты, цветы давали ей, мне кажется, ощущение изобилия и богатства. В прежнее время ей всегда приходилось довольствоваться только самым необходимым.

Сидя на этой скамье, мы молча думали или разговаривали, чувствуя, что хорошо понимаем друг друга.

— Знаешь,— сказала она мне однажды,— рай — это сад.

Мне захотелось немного подразнить ее.

— Да ведь там алмазы, стены и врата из алмазов и все поют.

— Алмазы для тех, кому они любы,— с глубоким убеждением ответила матушка и, немного подумав, продолжала: — Конечно, там всего хватит для всех. Но для меня рай не в рай, если там не будет сада. Надо, чтобы был славный солнечный садик... И еще надо чувствовать, что те, кого мы любим, где-то близко.

Вы, люди более счастливого поколения, не можете себе представить прелести этих первых дней новой эры, чувства уверенности в завтрашнем дне, необычайных контрастов. По утрам, за исключением лета, я вставал до зари, завтракал в скором, плавно идущем поезде и не раз, вероятно, встречал восход солнца, выезжая из маленького туннеля, прорезавшего Клейтон-Крэст, а затем бодро принимался за работу.

Теперь, когда мы перенесли все жилые дома, школы и все необходимые учреждения подальше от областей угля, железной руды и глины, отбросили, как ненужный хлам, тысячи разных «прав» и опасений, руки у нас были развязаны, и мы принялись за дальнейшую работу. Мы соединяли разрозненные предприятия, вторгались в прежде запретные для нас частные поместья, соединяли и разделяли, создавали гигантские объединенные предприятия и мощные земельные хозяйства, и долина из арены жалких человеческих трагедий и подло конкурирующих промышленников превратилась в сгусток своеобразной величественной красоты, дикой красоты могучих механизмов и пламени. Это была Этна, а мы чувствовали себя титанами. В полдень я возвращался домой, принимал ванну, переодевался в поезде и, весело болтая, обедал в клубе, помещавшемся в столовой Лоучестер-хауса, а затем проводил тихие послеобеденные часы в зеленом парке.

Иногда в минуты раздумья матушке даже казалось, что все это только сон.

— Да, это сон,— говорил я ей,— это действительно сон, но только он ближе к яви, чем кошмары прежних дней.

Ей очень нравилась моя новая одежда; она говорила, что ей нравятся новые фасоны, но не это одно радовало ее. К двадцати трем годам я вырос еще на два дюйма, стал на несколько дюймов шире в груди и на сорок два фунта увеличился в весе. Я носил костюм из мягкой коричневой ткани, и матушка часто гладила мой рукав и любовалась материалом: она, как и всякая женщина, любила материи.

Иногда она вспоминала прошлое, потирая свои бедные грубые руки, которые так и не сделались мягкими. Она рассказывала мне многое о моем отце и о своей молодости, чего я прежде не слыхал. Слушая рассказы моей матери, я понимал, что некогда она была страстно любима и что мой покойный отец плакал от счастья в ее объятиях; я испытывал такое чувство, точно находил в забытой книге засушенные и поблекшие цветы, все еще испускающие легкий аромат. Иногда она осторожно пыталась даже заговорить о Нетти теми шаблонными, пошлыми фразами старого мира, которые, однако, в ее устах совсем не звучали плоско и озлобленно.

— Она не стоила твоей любви, дорогой,— говорила она, предоставляя мне отгадывать, о ком идет речь.

— Ни один мужчина не стоит любви женщины,— отвечал я,— и ни одна женщина не стоит любви мужчины. Я любил ее, дорогая мама, и этого нельзя изменить.

— Есть и другие,— возражала она.

— Не для меня,— отвечал я,— я уже сжег свой запас пороху. Не могу я начинать снова.

Она вздохнула и ничего больше не сказала.

В другой раз она сказала:

— Ты будешь совсем одинок, дорогой, когда меня не станет.

— Поэтому вы не должны покидать меня,— сказал я.

— Дорогой мой, мужчине необходима женщина.

Я ничего не ответил.

— Ты слишком много думаешь о Нетти, милый. Если бы я могла дожить до твоей женитьбы на какой-нибудь славной, доброй девушке!

— Дорогая матушка, мне не нужна жена... Может быть, когда-нибудь... кто знает? Мое время еще не ушло.

— Но ты совсем не интересуешься женщинами.

— У меня есть друзья. Не тревожьтесь, матушка. В этом мире достаточно дела для человека, хотя бы он и вырвал любовь из своего сердца. Нетти была, есть и будет для меня жизнью и красотой. Не думайте, что я потерял слишком много.

(Потому что втайне я еще надеялся.)

Однажды она вдруг задала мне вопрос, который удивил меня:

— Где они теперь?

— Кто?

— Нетти и он.

Она проникла в сокровенные тайники моего сердца.

— Не знаю,— ответил я кратко.

Ее сморщенная рука слегка коснулась моей.

— Так лучше,— сказала она, как бы уговаривая меня.— В самом деле... так лучше.

Что-то в ее дрожащем, старческом голосе на мгновение вернуло меня к прошлому, к мятежному чувству прежних дней, когда нам внушали покорность, уговаривали не оскорблять бога, и все это неизменно вызывало в моей душе гневный протест.

— В этом я сомневаюсь,— сказал я и вдруг почувствовал, что не в силах больше говорить с ней о Нетти. Я встал и отошел от нее, но потом вернулся, принес ей букет из бледно-желтых нарциссов и заговорил о другом.

Но не всегда я проводил мое послеобеденное время с ней. Иногда моя подавленная жажда видеть Нетти была так сильна, что я предпочитал оставаться один, гулял, ездил на велосипеде и начал учиться верховой езде, которая развлекала меня. Лошади к этому времени уже успели пожать плоды Перемены. Не прошло и года, как жестокий обычай — перевозка тяжестей на лошадях—почти совершенно исчез; перевозка, пахота и другие конные работы всюду производились при помощи машин, а лошадь — прекрасное животное — была отдана молодым для развлечения и спорта. Я любил ездить верхом, особенно без седла. Я находил, что спорт, требующий напряжения всех сил, хорошо действует при приступах мучительной тоски, иногда нападавшей на меня; а

когда верховая езда надоедала, я отправлялся к авиаторам, парившим на своих аэропланах за Хорсмарден-хилл... Но не реже, чем раз в два дня я всегда отправлялся к матери и, мне помнится, отдавал ей по меньшей мере две трети своего свободного времени.

4

Когда матушка стала чувствовать ту слабость, ту потерю жизненных сил, от которой много старых людей умирало в начале новой эпохи тихой, безболезненной смертью, то, по новому обычаю, за ней вместо дочери стала ухаживать Анна Ривз. Она сама пожелала прийти. Мы немного знали Анну; она иногда встречалась с моей матерью и помогала ей в саду; Анна всегда искала случая помочь ей. Мне она казалась всего лишь одной из тех добрых девушек, которых не лишен был мир даже в худшие свои времена и которые как бы служили противоядием в нашей тогдашней жизни, полной гнета, ненависти, безверия. Упорные и бескорыстные, они несли свое тайное, безмолвное служение, делали свое трудное, упорное, добровольное, неблагодарное, бескорыстное дело, как заботливые дочери, как няньки, как преданные служанки, как незаметные ангелы-хранители семьи. Анна была на три года старше меня. Вначале я не видел в ней никакой красоты: это была невысокая, крепкая, румяная девушка с рыжеватыми волосами, светлыми густыми бровями и карими глазами. Но ее веснушчатые руки всегда готовы были ловко и искусно прийти на помощь, а ее голос успокаивал и подбадривал...

Вначале я видел в ней только сестру милосердия, в синем платье с белым передником, двигавшуюся в тени у постели, на которой моя старушка мать спокойно приближалась к смерти. Иногда Анна выходила вперед, чтобы что-нибудь сделать или просто успокоить, и матушка всегда улыбалась ей. Но вскоре я понял и оценил красоту ее мягкой женственности, всегда готовой помочь, прелесть ее неутомимой доброты и нежности, глубину и богатство голоса, спокойствие, исходившее из каждого ее слова. Я заметил и запомнил, как однажды исхудалая старая рука моей матери похлопывала ее сильные руки, усыпанные золотистыми пятнышками, когда Анна поправляла ей одеяло.

— Она очень добра ко мне,— заметила однажды матушка.— Добрая девушка. Словно родная дочь... У меня, в сущности, никогда не было дочери...

Она замолчала и задумалась, потом прибавила:

— Твоя маленькая сестра рано умерла.

Я никогда прежде не слыхал о своей маленькой сестре.

— Десятого ноября,— продолжала мать,— умерла, когда ей было два года, пять месяцев и три дня... Я плакала, много плакала. Это было, когда ты еще не родился. Так много времени прошло с тех пор, а я еще вижу ее, как живую. Я была тогда молода, и твой отец был очень добр ко мне. Я вижу ее ручонки, ее неподвижные маленькие ручонки... Говорят, теперь маленькие дети уже не будут умирать...

— Да, дорогая матушка,— ответил я.— Теперь все будет иначе.

— Доктор из клуба не мог приехать. Твой отец дважды ходил за ним. У него были другие больные, которые ему платили. Тогда твой отец поехал в Суотингли, и тот врач тоже не соглашался приехать, если ему не заплатят. А твой отец даже переоделся, чтобы иметь более приличный вид, но денег у него не было даже на обратный проезд. Мне было так тяжело ждать с больной малюткой на руках... И мне до сих пор думается, что доктор мог бы ее спасти. Но так всегда было с бедняками в те старые, дурные времена, всегда. Когда же доктор наконец приехал, то рассердился, что его не позвали раньше, и ничего не стал делать. Он рассердился, что ему раньше не объяснили, в чем дело. Я умоляла его, но было уже поздно.

Она говорила все это очень тихо, опустив веки, словно рассказывала о каком-то сне.

— Мы постараемся теперь устроить все это лучше,— сказал я. Странное, мстительное чувство вызвала во мне эта трогательная история, глухо и монотонно рассказанная умирающей.

— Она говорила...—продолжала мать,—она говорила удивительно хорошо для своего возраста... Гиппопотам.

— Что? — переспросил я.

— «Гиппопотам», дорогой мой, очень ясно произнесла она однажды, когда отец показывал ей картинки...

И ее молитвы... «Теперь,— говорила она...— я ложусь спать». Я вязала ей маленькие чулочки. Я сама вязала, дорогой, труднее всего было связать пятку...

Она закрыла глаза и уже рассказывала не мне, а себе самой. Она тихо шептала что-то непонятное, обрывки фраз — призраки давно минувшего прошлого... Ее бормотание становилось все неразборчивее...

Наконец она заснула, я встал и вышел из комнаты; но я не мог забыть об этой мимолетной, радостной и полной надежд маленькой жизни, зародившейся только для того, чтобы снова так необъяснимо уйти в безнадежность небытия, думал о моей маленькой сестренке, о которой я прежде никогда не слышал...

Меня охватила мрачная злоба на все невосполнимые страдания прошлого, которых легко можно было избежать и в которых история моей сестренки была лишь маленькой кровавой каплей. Я шагал по саду, но там мне показалось слишком тесно, и я вышел побродить по вересковым равнинам. «Прошлое миновало»,— повторял я себе, и все же через эту двадцатипятилетнюю пропасть мне слышались рыдания моей бедной матери, оплакивавшей малютку, которая страдала и умерла. По-видимому, дух возмущения, несмотря на все преобразования последнего времени, не совсем заглох во мне... Наконец я успокоился, кое-как утешившись тем, что наша судьба никогда не открывается нам заранее, да ее и нельзя, быть может, открыть нашим темным умам, и, во всяком случае,— а это куда важнее — мы обладаем теперь силой, мужеством, новым даром разумной любви; какие бы жестокости и горести ни омрачали прошлое, теперь уже мы не увидим больше тех тягот и несправедливостей, которые составляли основу старой жизни. Теперь мы можем предвидеть, предотвращать и спасать.

— Прошлое миновало навсегда,— повторял я твердо, но со вздохом, увидав с дороги сотни окон старого Лоучестер-хауса, освещенных лучами заходящего солнца.— Эти горести уже больше не горести.

Но я не мог отделаться от чувства печали и сожаления о бесчисленных жизнях, сломленных и погибших в страданиях и во мраке прежде, чем очистился наш воздух...

ГЛАВА III

ПРАЗДНИК МАЙСКИХ КОСТРОВ И КАНУН НОВОГО ГОДА

1

Матушка все-таки умерла внезапно, и ее смерть была ударом для меня. Диагностика в то время была далека от совершенства. Врачи вполне сознавали недостаточность своих знаний и делали все возможное, чтобы их пополнить, но все-таки они были на редкость невежественны. По какой-то не замеченной вовремя причине болезнь ее обострилась, ее начало лихорадить, она ослабела и быстро умерла. Я не знаю, какие предпринимались меры. Я не понимал, что с ней, пока не настал конец.

В это время происходили приготовления к грандиозному празднику Майских костров в Год Стройки. Это было первое из десяти великих сожжений всего негодного хлама, которыми открылся новый век. Современная молодежь едва ли сможет представить себе, с какой грудой всякого бесполезного сора приходилось нам иметь дело; если бы мы не установили специального дня и времени года, то по всему миру непрерывно горели бы мелкие костры, и мне кажется, что мысль о возрождении древнего праздника майских и ноябрьских очистительных огней была вполне удачной. Вместе с именем неизбежно ожила и старая идея этих празднеств — очищение; чувствовалось, что здесь сжигается не один только материальный мусор,— в эти костры бросалось и множество такого, что словно бы относилось к жизни духовной: судебные дела, документы, долговые обязательства, исковые прошения, приговоры судов.

Люди с молитвой проходили между кострами, и те, кто находил утешение в ортодоксальной вере, приходили туда по своей собственной воле молиться о том, чтобы вся ненависть мира сгорела в этих кострах, и это был прекрасный символ новой и более разумной терпимости, которой теперь обладали люди. Ибо теперь, когда они покончили с низкой ненавистью, можно найти бога живого даже в пламени Вааловом.

Нам приходилось сжигать много мусора в этих громадных очистительных кострах. Во-первых, почти все дома и здания прежнего времени. Под конец во всей Англии из каждых пяти тысяч зданий, существовавших до пришествия кометы, едва ли осталось хоть одно. Из года в год, по мере того как мы воздвигали новые жилища, сообразуясь с более разумными и здоровыми потребностями наших новых социальных семей, мы сносили все большее количество этих наскоро, без всякой красоты и фантазии, недобросовестно построенных безобразных домов, без простейших удобств, в которых ютились жители начала двадцатого столетия; мы сносили их, пока, повторяю, не осталось почти ни одного старого здания. Из всего их жалкого и скучного скопища мы пощадили только самые красивые и интересные. Целые дома мы, конечно, не могли перетащить к нашим кострам, но мы сожгли их уродливые сосновые двери, их ужасные оконные рамы, их лестницы, доставлявшие столько мучений прислуге, их мрачные, затхлые буфеты, кишащие паразитами обои с заплесневевших стен, пропитанные пылью и грязью ковры, безобразные, но претенциозные столы и стулья, шкафы и комоды; старые, засаленные книги и украшения — грязные, прогнившие и жалкие украшения,— в числе которых, я помню, встречались иногда даже *набитые какой-то трухой дохлые птицы!* Все это мы сожгли. Особенно ярко горели безобразно раскрашенные, с несколькими слоями краски, деревянные резные предметы. Я уже пытался дать вам понятие о мебели старого века, описав спальню Парлода, комнату моей матери, гостиную мистера Геббитаса,— какое счастье, что в нашей жизни сейчас ничего не осталось от этого безобразия! Важно уже одно то, что теперь вы не увидите ни прежнего неполного сгорания угля, покрывавшего все копотью, ни дорог без травы, которые походили на шрамы и постоянно обдавали вас пылью. Мы сожгли и уничтожили большую часть старых частных зданий, все деревянные изделия, всю мебель, за исключением нескольких тысяч предметов, отличавшихся явной и бесспорной красотой, из которых развились теперешние формы мебели; сожгли все прежние занавеси, ковры, все старые одежды, сохранив в наших музеях

лишь немногие тщательно продезинфицированные образцы.

Об одеждах прошлого времени теперь пишешь с особенной брезгливостью. Костюмы мужчин носились в течение нескольких лет бессменно, подвергаясь лишь поверхностной и случайной чистке не чаще раза в год. Их шили из темных материй неопределенного рисунка, чтобы не так заметна была их изношенность, причем материя была мохнатая и пористая, точно нарочно для того, чтобы лучше пропитываться грязью. Многие женщины носили юбки из такой же материи, и к тому же столь длинные и неудобные, что они волочились по ужасной грязи наших дорог, где постоянно ходили лошади. В Англии у нас гордились тем, что никто не ходил босиком,— правда, ноги у большинства были так безобразны, что обувь была им необходима, но для нас сейчас совсем непонятно, как они могли засовывать свои ноги в эти невообразимые футляры из кожи или из подделок под кожу. Я слышал, что физическое вырождение, явно начавшееся в конце девятнадцатого века, было вызвано не только разными вредными веществами, употреблявшимися в пищу, но происходило также, и в большой мере, от негодной обуви, которую все тогда носили. Люди избегали всяких физических упражнений на открытом воздухе, так как при этом обувь их быстро изнашивалась, жала и натирала ноги. Я упоминал уже о той роли, какую сыграла обувь в моей юношеской любовной драме, и потому я с чувством торжества над побежденным врагом отправлял грузовик за грузовиком дешевых ботинок (непроданные запасы из складов Суотингли) на сожжение около Глэнвильских плавильных печей.

Трах! — И они летели в печь, и пламя с ревом пожирало их. Никогда уже никто не простудится из-за их картонных промокающих подошв, никто не натрет мозолей из-за их дурацкой формы, никогда их гвозди не будут вонзаться в ноги и причинять боль...

Большая часть наших общественных зданий сносилась и сжигалась по мере того, как мы осуществляли наш новый план строительства. Прежние сараи, именовавшиеся у нас театрами, банки, неудобные торговые помещения, конторы (эти в первый же год) и все «бессмыс-

ленные копии» псевдоготических церквей и молелен — эту безобразную скорлупу из камня и извести, воздвигавшуюся без любви, фантазии и чувства красоты, которую богачи бросали в виде подачки своему богу, наживаясь на нем так же, как на своих рабочих, которым они затыкали рот дешевой пищей,— все это было снесено с лица земли в течение первого же десятилетия. Затем нам пришлось освободиться от устарелой системы паровых железных дорог с их станциями, семафорами, заграждениями и подвижным составом, от всей этой сети неудачных, громыхающих и дымящих приспособлений, которые при прежних условиях протянули бы, может быть, свое ненужное, чахнущее, вредоносное существование еще с полвека. Затем последовала обильная жатва изгородей, вывесок, щитов для объявлений, безобразных сараев, всего ржавого и погнувшегося железа, всего вымазанного смолой, всех газовых заводов и складов бензина, всех повозок, экипажей и телег — все это подлежало уничтожению...

Перечисленного мною, наверно, достаточно, чтобы дать понятие о величине наших костров, о том, сколько в те годы нам приходилось сжигать, плавить, сколько труда потребовалось на одно дело разрушения, не говоря уже о созидании.

Но это была лишь грубая материальная основа тех костров, которые разгорались во всем мире, из пепла которых предстояло возродиться фениксу. За ними последовали в огонь внешние видимые доказательства бесчисленного множества претензий, прав, договоров, долгов, законодательных постановлений, дел и привилегий, коллекции знаков отличия и мундиров, не настолько интересных или красивых, чтобы их стоило сохранять, пошли на усиление пламени, так же как и все военные символы, орудия и материалы, за исключением некоторых действительно славных трофеев и памятников. Бесчисленные шедевры нашего старого, фальшивого, зачастую продажного изящного искусства постигла та же участь: громадные картины, написанные масляными красками для удовлетворения запросов полуобразованного мелкого буржуа, покрасовавшись одно мгновение в пламени, тоже сгорели. Академические мраморные изваяния превращены были в полезную известь;

громадное множество глупых статуй и статуэток, разных фаянсовых изделий, занавесок, вышивок, плохих музыкальных инструментов и нотных тетрадей с дрянной музыкой постигла та же участь. В костры побросали также много книг и связок газет; из частных домов одного только Суотингли — а я считал его, и не без оснований, вообще неграмотным поселком — мы собрали целую мусорную телегу дешевых, плохо отпечатанных изданий второсортных английских классиков, по большей части очень скучных, никем не читаемых, и целую фуру растрепанных бульварных романов с загнутыми, захватанными углами, скверных и бессодержательных,— свидетельство истинно британской умственной водянки... И, когда мы собирали эти книги и газеты, мне казалось, будто мы сваливаем не просто печатную бумагу, а извращенные и искаженные идеи, заразительные внушения, догматы трусливой покорности и глупого нетерпения, подлые, тупые измышления в защиту сонной лености мысли и робких уверток. При этом я испытывал не просто злорадное удовлетворение, а нечто куда большее.

Повторяю, я был так занят этим делом мусорщика, что не заметил тех слабых признаков перемены в состоянии здоровья матушки, которые иначе не ускользнули бы от моего внимания. Мне даже показалось, что она немного окрепла, на лице появился легкий румянец и она стала разговорчивей...

Накануне праздника Майских костров, когда кончилась наша очистка Лоучестера, я отправился по долине в противоположный конец Суотингли, чтобы помочь рассортировать склады нескольких отдельных гончарен, состоявшие главным образом из каминных украшений и имитаций под мрамор, но отобрать можно было очень немногое. Здесь-то наконец по телефону отыскала меня Анна, ухаживавшая за моей матерью, и сообщила, что матушка внезапно скончалась утром, почти тотчас же после моего ухода.

Я не сразу поверил; это неминуемое событие страшно потрясло меня, как будто я никогда его не предвидел. Я продолжал машинально работать, потом апатично, в каком-то отупении, почти с любопытством направился в Лоучестер.

Когда я прибыл туда, все уже было сделано, и я увидел среди белых цветов бледное лицо моей старушки матери. Выражение его было совершенно спокойное, но несколько холодное, суровое и незнакомое.

Я вошел к ней в тихую комнату один и долго простоял у ее постели. Потом присел и задумался...

Наконец, пораженный странным безмолвием и сознавая, какая бездна одиночества раскрылась передо мной, я вышел из этой комнаты в мир, в деятельный, шумный, счастливый мир, занятый последними радостными приготовлениями к торжественному сожжению мусора прошлого.

2

Ночь этого первого майского праздника была самой ужасной, одинокой ночью в моей жизни. Она вспоминается мне отрывочно: какие-то отдельные вспышки бурного чувства, а что было между ними — не помню.

Помню, что я стоял на высокой лестнице Лоучестерхауса, хоть и не помню, как попал туда из комнаты, где лежала моя мать, и как на площадке встретил Анну, поднимавшуюся вверх в то время, как я собирался спуститься вниз. Она только что услыхала о моем возвращении и поспешила мне навстречу. Мы оба остановились, сжимая друг другу руки, и она внимательно всматривалась в мое лицо, как это иногда делают женщины. Мы простояли так несколько мгновений. Я не мог ничего сказать ей, но чувствовал ее волнение. Я постоял, ответил на ее дружеское крепкое пожатие, затем выпустил ее руку и после странного колебания нерешительно стал спускаться по лестнице. Мне тогда и в голову не пришло задуматься над тем, что она чувствовала и переживала.

Помню коридор, освещенный мягким вечерним светом, по которому я машинально сделал несколько шагов в направлении столовой. Но при виде столиков, услышав гул голосов — кто-то передо мной вошел и распахнул дверь,— я почувствовал, что не хочу есть... Потом я, кажется, ходил по лужайке у дома, собираясь уйти на вересковую равнину, чтобы остаться одному, и кто-то,

проходивший мимо, что-то сказал мне о шляпе. Оказалось, я забыл захватить ее.

Отрывочно вспоминаются мне луга, позлащенные заходящим солнцем. Мир казался мне необычайно пустым без Нетти и матери, а жизнь—бессмысленной. Я уже снова думал о Нетти...

Потом я вышел на вересковую равнину, избегая возвышенностей, где собирались зажечь костры, и ища уединенных мест...

Помню, что я сидел у калитки в конце парка, у подножия холма, скрывавшего от меня костер и толпу вокруг него; сидел и любовался закатом. И залитые золотом земля и небо казались мне крохотным воздушным пузырьком, затерявшимся в бездне человеческого ничтожества. Затем в сумерки я шел вдоль живой изгороди по незнакомой тропинке, над которой носились летучие мыши...

Я провел эту ночь на открытом воздухе, без сна; но около полуночи я почувствовал голод и поужинал в маленькой гостинице по дороге в Бирмингем, за многие мили от своего дома. Я бессознательно избегал холмов, на которых собирались толпы людей, любовавшихся кострами, но и в гостинице было немало посетителей, и со мной за столиком сидел человек, которому хотелось сжечь несколько ненужных закладных. Я говорил с ним об этих закладных, но мысли мои заняты были совсем другим...

Скоро на холмах зажглись огненные цветы тюльпанов. Черные фигурки сновали кругом, пятная основания огненных лепестков; остальные массы людей поглощала тихая, мягкая ночь. Избегая дорог и тропинок, я брел один по полям, но до меня доносился гул голосов и треск и шипение больших костров.

Пройдя по пустынному лугу, я лег в тенистой ложбине и стал смотреть на звезды. Мрак скрывал меня, но я слышал шум и треск Майских костров, сжигавших хлам минувшего, и голоса людей, проходивших мимо огня и возносивших молитвы об избавлении от духовного рабства.

Я думал о матери, о моем новом одиночестве, о моей тоске по Нетти.

В эту ночь я передумал многое, главным образом о безграничной любви и нежности, охватившей меня после Перемены, о моем страстном стремлении к той единственной женщине, которая одна только и могла удовлетворить все мои желания...

Пока жива была матушка, ей в известной степени принадлежало мое сердце, ей отдана была моя нежность, без которой невозможно жить, она смягчала душевную пустоту; но теперь я вдруг лишился этого единственного возможного утешения. В эпоху Перемены многие считали, что громадный духовный рост человечества уничтожит личную любовь, но он только сделал ее менее грубой, более полной и более жизненно необходимой. Видя, что люди полны жажды деятельности и готовы с радостью оказывать друг другу всевозможные услуги, многие полагали, что им более не нужно будет той доверчивой интимной близости, которая составляла главную прелесть прежней жизни. Они были правы в одном: близость эта уже не нужна была как опора в стремлении к личной выгоде, в борьбе за существование; но ведь любовь как потребность духа, как высшее ощущение жизни осталась.

Мы не уничтожили личной любви, а только очистили ее от грязной шелухи, от гордости, подозрительности, от продажности и соперничества, и она предстала теперь перед нами сверкающей и непобедимой. Среди красоты и разнообразия новой жизни стало еще очевидней, что для каждого человека существуют некие личности, таинственно и неизъяснимо гармонирующие с ним; одно присутствие их доставляет удовольствие, одно их существование придает интерес жизни, их индивидуальные свойства сливаются в полную, совершенную гармонию с теми, кому предназначено их полюбить. Без этого нельзя жить. Без них весь прекрасный обновленный мир — это оседланный конь без седока, ваза без цветов, театр без представления... И для меня в эту майскую ночь стало так же ясно, как ясно горели костры, что только Нетти, одна Нетти, может одарить меня этим чувством гармонии. Но она ушла; я сам настоял на нашей разлуке и теперь даже не знал, где она. В первом же порыве добродетельного безумия я навсегда вырвал ее из моей жизни!

Так мне казалось, когда я, никем не видимый, лежал во мраке, призывая Нетти, и рыдал, прильнув лицом к земле, рыдал, когда повсюду разгуливали веселые люди, а расстилавшийся дым костров, словно облако, заволакивал далекие звезды, и красные отблески огня, смешиваясь с тенями и яркими искрами, плясали и переливались по всему миру.

Нет, Перемена освободила нас только от пошлых страстей, от чисто физического сладострастия, от низких помыслов и грубых причуд, но от любви она нас не освободила. Она дала еще бо́льшую *власть эросу*. И в ту ночь я, отвергший его, расплачивался слезами и муками за свою вину перед ним...

Не помню уж, как я встал, как бесцельно блуждал между полуночными огнями, избегая смеющихся и веселых людей, целыми толпами направлявшихся домой между тремя и четырьмя часами утра, очищенных и обновленных, чтобы начать новую жизнь. Но на заре, когда пепел праздничных огней остыл — было холодно, и я дрожал в моей тонкой, летней одежде,— я прошел через поля к рощице, где виднелась масса темно-синих гиацинтов; во всем этом мелькнуло что-то знакомое, и я остановился в недоумении. Затем я невольно сделал несколько шагов в сторону: изуродованное дерево сразу воскресило былые воспоминания. Да, это то самое место! Тут я стоял, там повесил свой старый бумажный змей и принялся обучаться стрельбе из револьвера, подготовляясь к встрече с Верролом.

Не было уже ни змея, ни револьвера, миновала горячка и слепота прошлого; последние его следы испепелились и исчезли в яростном огне первомайских костров. И вот я шел теперь по земле, усеянной серым пеплом, направляясь к большому дому, где покоился одинокий, покинутый прах моей дорогой матери.

3

Измученный и несчастный, вернулся я в Лоучестерхаус; захваченный бесплодной тоской по Нетти, я совсем и не думал о будущем.

Горе влекло меня в этот большой дом, чтобы еще раз взглянуть на застывшие навек черты, которые когда-то

были лицом моей матушки; когда я вошел в комнату, Анна, сидевшая у открытого окна, встала навстречу мне. Она, видно, ждала. Она тоже была бледна от бессонной ночи, проведенной в комнате матери. Она бодрствовала до утра, смотря то на покойницу, то на первомайские огни вдали, и очень хотела, чтобы я пришел. Я молча стал между нею и постелью матери.

— Вилли! — прошептала она, и ее глаза, все ее тело казались воплощением жалости.

Невидимая воля сблизила нас. Лицо моей матери было строго и повелительно. Я повернулся к Анне, как ребенок к нянюшке. Я положил руки на ее сильные плечи, она привлекла меня к себе, и сердце мое уступило. Я спрятал лицо на ее груди, приник к ней и зарыдал...

Она жадно обнимала меня и шептала: «Полно, полно!», — утешая меня, как ребенка... Вдруг она принялась целовать меня. Она с жадной силой страсти целовала мое лицо и губы. Она целовала меня губами, солеными от слез. И я тоже целовал ее...

Затем мы вдруг отпрянули друг от друга и стояли, смотря друг другу прямо в глаза.

4

Мне кажется, что от прикосновения губ Анны образ Нетти совершенно исчез из моей памяти. Я полюбил Анну.

Мы отправились в совет нашей группы, называвшейся тогда коммуной, и она была записана моей женой, а через год родила мне сына. Мы много времени проводили вместе и вели задушевные беседы. Она была и навсегда осталась моим верным другом, и мы долго были страстными любовниками. Она всегда любила меня, и я всегда в душе питал к ней нежную благодарность и любовь; всегда при встрече мы дружески обменивались приветливыми взглядами и крепкими рукопожатиями, и с того первого часа мы всю нашу жизнь были друг для друга надеждой, помощью и убежищем, радостной опорой и задушевными собеседниками... Но скоро моя любовь и стремление к Нетти вернулись снова, как будто никогда и не исчезали.

Теперь всем понятно, как это могло случиться, но в те мрачные дни, когда мир лихорадило, это считалось невозможным. Я должен был бы подавить в себе эту вторую любовь, не думать о ней, скрывать ее от Анны и лгать всем людям. По теории старого мира только одна любовь имела право существовать, только к одному человеку, нам же, плывущим по морю любви, трудно даже понять это. Предполагалось, что мужчина всецело сливается с любимой женщиной, а женщина — с любимым мужчиной. Ничего не должно оставаться для других, а если что осталось, то это считалось позором. Они составляли тайный замкнутый круг из двух существ, к которому примыкали только рождаемые ими дети. Ни в одной женщине, кроме своей жены, он не должен был находить ничего красивого, ничего приятного, ничего интересного; и то же самое было обязательно для его жены. В былое время мужья и жены укрывались парами в защищенные маленькие домики, словно животные в свои норы, намереваясь любить друг друга, но в этих «домашних очагах» супружеская любовь на деле быстро превращалась в ревнивую слежку за тем, чтобы не нарушалось нелепое право собственности друг на друга. Первоначальное очарование быстро исчезало из их любви, из их разговоров, сознание собственного достоинства — из их совместной жизни. Предоставлять друг другу свободу считалось страшным позором. То, что мы с Анной, любя друг друга и совершив вместе наше свадебное путешествие, продолжали жить каждый своей жизнью и не свили семейного гнездышка, пока она не стала матерью, показалось бы тогда угрозой для нашей нерушимой верности. А то, что я продолжал любить Нетти, которая тоже различной любовью любила и меня и Веррола, считалось бы нарушением святости брачных уз.

Тогда любовь была жестоким, собственническим чувством. А теперь Анна могла предоставить Нетти жить в мире моей души так же свободно, как роза допускает присутствие белых лилий. Если я мог наслаждаться нотами, не встречающимися в ее голосе, то она только радовалась тому, что я могу слушать и другие голоса, потому что она меня любила. И она тоже любовалась красотою Нетти. Теперь жизнь так богата и щедра, дает такую дружбу и столько интересов, столько помощи и уте-

шения, что ни один человек не мешает другому наслаждаться всеми формами красоты. Для меня Нетти всегда была олицетворением красоты, того божественного начала, которое озаряет мир. Для каждого человека существуют известные типы, известные лица и формы, жесты, голос и интонация, обладающие этими необъяснимыми, неуловимыми чарами. В толпе доброжелательных, приветливых мужчин и женщин — наших ближних — они безошибочно притягивают нас. Они невыразимо волнуют нас, пробуждают те глубокие эмоции и чувства, которые без них оставались бы дремлющими, они вскрывают и объясняют нам мир. Отказаться от этого объяснения — значит отказаться от солнечного блеска, значит омрачать и умерщвлять жизнь... Я любил Нетти, любил всех, кто походил на нее, поскольку они напоминали мне ее голос, ее глаза, ее стан, ее улыбку. Между мной и моей женой не было никакой горечи из-за того, что великая богиня Афродита, царица живых морей, дарующая жизнь, являлась мне в образе Нетти. Это нисколько не ограничивало нашу любовь, так как теперь в нашем изменившемся мире любовь безгранична; это золотая сеть над миром, связующая все человечество.

Я много думал о Нетти, и всегда все прекрасное, трогавшее меня, прекрасная музыка, чистые густые краски, все нежное, все торжественное напоминало мне о ней. О ней шептали звезды и таинственный свет луны, солнце сияло в ее волосах, сыпалось на них тонкими блестками, лучилось и сверкало в их прядях и завитках... И вот неожиданно я получил от нее письмо, написанное прежним четким почерком, но более выразительное, яркое. Она узнала о смерти матушки, и мысль обо мне так упорно преследовала ее, что она решилась нарушить молчание, которое я на нее наложил. Мы стали переписываться как друзья, вначале с некоторою сдержанностью, и я все больше и больше жаждал ее увидеть. Сначала я скрывал от нее это желание, но наконец решил открыться. И вот в день Нового Года — Четвертого Года новой Эры — она приехала ко мне в Лоучестер. Как хорошо помню я этот приезд, хотя с тех пор прошло около пятидесяти лет! Я вышел в парк ей навстречу, так как хотел встретиться с ней наедине. Было тихое, очень ясное и холодное утро, земля была устлана свежевыпавшим снегом, а

все деревья унизаны неподвижным кружевом блестящих кристаллов инея. Восходящее солнце чуть-чуть позолотило этот белый ковер, и сердце мое отчаянно билось от радости. Я помню и теперь освещённые солнцем снежные хребты прибрежных холмов на фоне ясного голубого неба... И я увидел женщину, которую любил; она шла между тихими белыми деревьями...

Я сделал богиню из Нетти, а она явилась ко мне как женщина. Она шла ко мне тепло одетая, но трепещущая, глаза ее были влажны, руки протянуты, на губах играла прежняя знакомая, милая улыбка. Из созданной мною грезы о ней она выступила как существо, полное желаний, сожалений и человеческой доброты. Ее руки, когда я взял их, были немного холодны. Она сияла, как богиня, и ее тело было храмом моей любви. Но я почувствовал что-то новое — ее живую плоть и кровь, ее дорогие, смертные руки...

ЭПИЛОГ

ОКНО БАШНИ

Вот что написал приятный на вид седовласый человек. Я так увлекся первой частью его истории, что совсем забыл об авторе, о его красивой комнате и о высокой башне, где мы сидели. Но, дочитывая до конца, я снова почувствовал странность всего окружающего. Мне становилось все яснее, что это было человечество иное, не то, которое я знал, человечество сказочное, с другими обычаями, верованиями, понятиями и чувствами. Комета изменила не одни только условия жизни и человеческие установления, но и умы и сердца. Она лишила человечество прежних, привычных свойств, отняла у него мстительность, злость, мелкую жгучую зависть, непостоянство, капризы. В конце, в особенности при описании смерти матери, меня уже не волновала его история. Майские огни сжигали то, что во мне еще жило и чем я возмущался, в особенности этим возвращением Нетти. Я читал теперь не так внимательно; я уже не чувствовал заодно с автором и не всегда понимал, что именно он хочет сказать. Эрос — его властелин! И он

и его преображенные сограждане прекрасны и благородны, как фигуры героев на больших картинах или статуи богов, но от людей они так же далеки, как эти боги. По мере того, как осуществлялась Перемена, с каждым ее новым практическим шагом пропасть все более расширялась, и мне становилось все труднее следить за рассказом.

Я положил последнюю тетрадь и встретил дружелюбный взгляд автора. Он по-прежнему казался мне очень симпатичным.

Меня смущал один вопрос, но я не решался задать его. Он казался мне, однако, настолько важным, что я наконец спросил:

— И вы... вы стали ее возлюбленным?

Он приподнял брови и ответил:

— Конечно.

— Но ваша жена?..

Он, видимо, не понял меня.

Я колебался, меня смущала пошлость моих вопросов.

— Но...— начал я,— вы оставались любовниками?

— Да,— ответил он.

Я усомнился в том, что мы понимаем друг друга, и сделал еще более смелую попытку.

— А других возлюбленных у Нетти не было?

— У такой красивой женщины! Я не знаю, сколько человек любило в ней красоту, не знаю и того, что находила она в других. Но мы, понимаете ли, мы четверо были большими друзьями, помощниками, любовниками в мире любовников.

— Четверо?

— Ну да, четвертый — Веррол.

Мне внезапно представилось, что мое возмущение мрачно и низко, что дикие подозрения и грубая ревность моего старого мира не существуют для этих людей, исчезли из их утонченной жизни.

— Вы устроили, следовательно,— сказал я, стараясь смотреть на вещи как можно шире,— один общий домашний очаг?

— Домашний очаг! — воскликнул он и посмотрел на меня, а я, не знаю почему, посмотрел на свои ноги. Какие неуклюжие, безобразные ботинки! И какой грубой и бесцветной показалась мне моя одежда! Каким грязным

казался я среди этих изящных, доведенных до совершенства вещей! На минуту я поддался чувству возмущения. Я хотел отделаться от всего этого. В конце концов, все это не в моем вкусе. Мне захотелось сказать ему что-нибудь такое, что осадило бы его; захотелось бросить ему оскорбительное обвинение и, таким образом, окончательно убедиться в верности моих подозрений. Я поднял голову и увидел, что он встал.

— Я совсем забыл,— сказал он.— Вы думаете, что старый мир еще существует. Домашний очаг!

Он протянул руку, и большое окно бесшумно раздвинулось донизу, и я увидел панораму волшебного города. На минуту предо мною совершенно ясно предстали колоннады и площади, деревья, унизанные золотистыми плодами, кристальные воды, музыка, радость, любовь и красота, растекающиеся по живописным и извилистым улицам. Я разглядел и ближайших людей, уже не искаженных зеркалом, висевшим над нами. Они не оправдывали моих подозрений... и все же... это были те же прежние люди, но измененные. Как выразить эту перемену словами? Так преображается женщина в глазах влюбленного, так преображается женщина благодаря любви. Они казались восторженными...

Я стоял рядом с ним и смотрел. Мое лицо и уши горели; меня смущало неприличие моего любопытства и угнетало чувство глубокого нравственного различия. Он был выше, чем я.

— Вот наш очаг,— сказал он, улыбаясь и задумчиво глядя на меня.

1906.

Индекс 70665.

СОДЕРЖАНИЕ

Герберт Уэллс
Собрание сочинений в 15 томах.
Том VII.

Редактор тома
Э. Кабалевская.

Иллюстрации художника
П. Караченцова.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 15/VIII 1964 г. Тираж 350 000экз. Изд. № 1531. Зак. 1648.
Форм. бум. 84X108[1]/32. Физ. печ. л. 18,0+4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 29,93. Уч.-изд. л. 31,70. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.